ДЕНЬ *и* НОЧЬ

литературный журнал для семейного чтения

№ 3 2011

«Тайна творчества *Виктора Рогачёва* начинается там, где простой пейзажный мотив или вполне привычные предметы натюрморта преображаются в самоценные живописные миры».

Марина Москалюк
«Волшебство преображения», с. 3

Натюрморт с керамической статуэткой
холст, масло
70×70 | 2003 г.

Рябина
холст, масло
80×80 | 2000 г.

ДЕНЬ и НОЧЬ

литературный журнал для семейного чтения

№ 3 (83) | май–июнь | 2011

«Болящий дух врачует песнопенье.
Гармонии таинственная власть
Тяжёлое искупит заблужденье
И усмирит бунтующую страсть».

Е. А. Баратынский

В номере

ДиН галерея
Марина Москалюк
3 **Волшебство преображения**

ДиН антология
4 Аполлон Майков
78 Георгий Маслов
182 Всеволод Рождественский

ДиН память
Геннадий Волобуев
5 **Астафьев за «колючей проволокой»**
Евгений Степанов
10 **Жила-была Белла…**
Николай Душка
22 **Согрей безгрешных**

ДиН встречи
Марина Саввиных
12 **Лучезарный middle class, или Герои нашего времени?**

ДиН реплика
21 Дмитрий Косяков
106 Ульяна Лазаревская

ДиН миниатюра
Римма Чучилина
45 **На бегу**

Страницы Международного сообщества писательских союзов
46 Александр Торопцев
52 Владимир Спектор
55 Гурам Петриашвили
69 Бахытжан Канапьянов
76 Георгий Свиридов
79 Михаил Бондарев
81 Виктор Балдоржиев
85 Иван Нечипорук

ДиН публицистика
Владимир Трефилов
38 **Визит к Порфирию Иванову**
Сергей Есин
87 **Страницы дневника**
Юрий Беликов
148 **Страшащийся хрустнуть**
Лев Бердников
183 **Великий Голицын**

ДиН стихи
Сергей Хомутов
37 **Синдром хронической усталости**
Константин Миллер
84 **Осенний круговорот меня в природе**
Анатолий Аврутин
103 **То ли Родина, то ли печаль…**
Владимир Макаренков
105 **Я в храм вошёл**
Алексей Дюпин
107 **На шарике над бездной**
Валерий Кузнецов
108 **Метемпсихозы**
Юрий Годованец
110 **Школа нелегальной красоты**
Глеб Соколов
166 **Свобода**
Алла Ходос
173 **Воздушный слой**
Наталья Попова
178 **Рука из облаков**
Наталья Никулина
179 **Футляр для крыльев**
Александра Вайс
181 **На первом сквозняке**
Инна Мельницкая
189 **Когда настигает боль**

ДиН юбилей
Юрий Перфильев
44 **Приглашение к путешествию**

ДиН проза
Александр Щербаков
112 **Национальный клад**

ДиН перевод
Василь Стус
153 **На чёрных водах — кровь калины**

ДиН эссе
Юлия Тамкович-Лалуа
156 **По дороге в небо**

Библиотека современного рассказа
Мария Песковская
158 **Праздник тунца**
Зинаида Кузнецова
167 **Голуби**
Нина Шалыгина
174 **Путёвка в бархатный сезон**

Клуб читателей
Борис Кутенков
190 **Читательские ожидания и приключения жанра**
214 Ульяна Лазаревская
Сострадательный залог
Алексей Конаков
187 **Норильские мысли о Владимире Маяковском**

ДиН дебют
Юлия Балабанова
196 **Забылись над бездной**
Артём Трофимов
198 **Пламя по имени Время**

ДиН мегалит
199 Александр Вавилов
201 Александр Петрушкин
203 Маргарита Ерёменко

ДиН детям
Нина Буйносова
216 **Сказки-побаски бабушки Марии**
Николай Переяслов
226 **До свидания, Гиппо!..**

В гостях у «Жёлтой гусеницы»
205 Сергей Махотин
206 Игорь Шевчук
207 Александр Кушнер
208 Павел Калмыков
209 Маша Лукашкина
210 Владимир Бредихин
211 Сергей Георгиев
212 Рустам Карапетьян
213 Михаил Яснов
215 Анна Никольская

ДиН пародия
Евгений Минин
233 **Поэты — будьте бдительны!**

238 **Синяя тетрадь**
244 **Авторы**

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Марина Саввиных

ЗАМЕСТИТЕЛИ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

по прозе

Эдуард Русаков
Александр Астраханцев

по поэзии

Александр Щербаков
Сергей Кузнечихин

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ

Михаил Стрельцов

СЕКРЕТАРЬ

Наталья Слинкова

ДИЗАЙНЕР-ВЕРСТАЛЬЩИК

Олег Наумов

КОРРЕКТОР

Александр Ёлтышев

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Николай Алешков
Набережные Челны

Юрий Беликов
Пермь

Светлана Василенко
Москва

Валентин Курбатов
Псков

Андрей Лазарчук
Санкт-Петербург

Александр Лейфер
Омск

Марина Москалюк
Красноярск

Дмитрий Мурзин
Кемерово

Анна Никольская
Барнаул

Марина Переяслова
Москва

Евгений Попов
Москва

Лев Роднов
Ижевск

Анна Сафонова
Южно-Сахалинск

Михаил Тарковский
Бахта

Владимир Токмаков
Барнаул

Илья Фоняков
Санкт-Петербург

Вероника Шелленберг
Омск

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

О. А. Карлова
Заместитель председателя правительства Красноярского края

А. М. Клешко
Заместитель председателя Законодательного Собрания Красноярского края

П. И. Пимашков
Глава города Красноярска

Г. Л. Рукша
Министр культуры Красноярского края

Т. Л. Савельева
Директор Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края

В оформлении обложки использована картина Виктора Рогачёва «Пэчворк»

Журнал издаётся с 1993 г. В его создании принимал участие В. П. Астафьев. Первым главным редактором с 1993 по 2007 гг. был Р. Х. Солнцев. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС77–42931 от 9 декабря 2010 г. выдано Министерством Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Издание осуществляется при поддержке Агенства печати и массовых коммуникаций Красноярского края.

Редакция благодарит за сотрудничество Международное сообщество писательских союзов.

Рукописи принимаются по адресу: 66 00 28, Красноярск, а/я 11 937, редакция журнала «День и ночь», или по электронной почте: kras_spr@mail.ru.

Желательны диск с набором, фотография, краткие биографические сведения.

Редакция не вступает в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность за достоверность фактов несут авторы материалов. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. При перепечатке материалов ссылка на журнал «День и ночь» обязательна.

ИЗДАТЕЛЬ

ООО «Редакция литературного журнала для семейного чтения „День и ночь“».

ИНН

246 304 27 49

Расчётный счёт
407 028 105 006 000 001 86
в Красноярском филиале «Банка Москвы» в г. Красноярске.

БИК

040 407 967

Корреспондентский счёт
301 018 100 000 000 967

Адрес редакции:
ул. Ладо Кецховели, д. 75а,
офис «День и ночь»
Телефон редакции:
(391) 2 43 06 38
Сайт: krasdin.ru

Подписано к печати:	25.06.2011
Тираж:	1500 экз.
Номер заказа:	8096

Отпечатано в типографии ООО «Издательство ВВВ».
ул. Пограничников, д. 28, стр. 1.

Марина Москалюк

Волшебство преображения

Тайна творчества Виктора Рогачёва начинается там, где простой пейзажный мотив или вполне привычные предметы натюрморта преображаются в самоценные живописные миры. Бархатистость фактуры, изысканные аккорды цветовых сочетаний, продуманность композиционных построений трансформируют, казалось бы, привычные и обыденные моменты нашей повседневной жизни в произведение искусства, напоминающее о прекрасной и непостижимой красоте, изначально заложенной в окружающем нас мире. Творчество Виктора Рогачёва трудно сравнивать с чьим-либо, его почерк и стиль подчёркнуто индивидуальны. Одновременно простые и сложные работы художника всегда выделяются в экспозиционном пространстве, надолго удерживают зрителя. В них переплетаются и гармонично сосуществуют логика и интуиция, внутренняя сдержанность и открытая эмоциональность. Графичность и живописность, органично присущие мастерству этого художника, стали особым качеством его авторского самовыражения. Именно эти качества придают в равной мере стильность и изысканность как каждому графическому листу, так и живописному холсту.

Виктор Рогачёв родился в 1964 году в селе Мордовское Коломасово Ковылкинского района Мордовии, учился в Орловском педагогическом институте на художественно-графическом факультете, служил в армии. Приехал в Красноярск в 1989 году, поступил в Красноярский государственный художественный институт, где закончил графический факультет в мастерской прекрасного художника, профессора Виталия Натановича Петрова-Камчатского. Далее — следующая ступень профессионального мастерства. В 1997–2000 годах Виктор Рогачёв под руководством известнейшего российского мастера Николая Львовича Воронкова закончил творческие мастерские графики отделения «Урал, Сибирь, Дальний Восток» Российской академии художеств в Красноярске.

Как видим, начинал свой творческий путь Виктор Рогачёв как график. Поэтому совершенно не случайны в его живописном творчестве и метафоричность языка, и интеллектуальность, и строгость композиционного мышления. Но главные выразительные средства живописи — цвет и колористическая гармония — несут в его холстах не меньшую смысловую и образную нагрузку. Обращение к живописи — внутренняя закономерность творческого развития Виктора Рогачёва, при этом и по сей день художник прекрасно владеет сложнейшими техниками печатной гравюры: офорта, ксилографии, литографии, на последних выставках появились мастерски выполненные карандашные натурные композиции. Недаром многие годы профессор Виктор Иванович Рогачёв успешно преподаёт на кафедре графики в Красноярском государственном художественном институте.

Кто не знает биографии художника, может принять его за коренного сибиряка — невысокий, кряжистый, с тёмно-русой бородкой. Однако в последнее время в его творчестве активно разрабатываются национальные мотивы, воплощаясь в сериях «Хороводов» и «Танцев». На больших холстах как будто вышитые искусными мастерицами, прикрытые вуалью лёгких цветных штрихов, возникают из небытия девушки в национальных костюмах. И нам остаётся только гадать, то ли это метаморфозы реальных воспоминаний детства, то ли всплывшие из подсознания архетипы родовой памяти. В рамках проекта «Мордовия собирает талантливых сыновей» с большим успехом прошла весной 2011 года персональная выставка художника в республиканском музее.

Такой традиционный жанр, как пейзаж, поднимается у Виктора Рогачёва, благодаря трепетности живописи, искренности и достоверности пережитого, до остро современного художественного афоризма («Дом на улице Горького», «Огороды», «Остановка» и др.). Взаимоотношения с природой отнюдь не исчерпываются гимнами восхищения, природа бесконечна и непостижима, человек вступает с ней в сложные диалоги. Эксперименты с фактурами и цветовыми ритмами дают удивительные результаты. Художник любит осень, что видно по его холстам «Закат», «Цвета осени», «Осень на Енисее». Но осень в восприятии Рогачёва — это отнюдь не пора умирания, наоборот, осенние краски становятся чудесным камертоном палитры, преображающим своим золотым свечением серые будни, наполняющим их светоносным сиянием.

Предметы, выбираемые для натюрмортов, у Виктора Рогачёва, как правило, вполне традиционны. Разноцветное стекло сложных по форме бутылей и тёплая фактура керамических сосудов, тонкие засохшие ветви и раскрывающиеся в полную силу соцветия, складки драпировок, всем привычные лимоны и яблоки. Но всё, что изображается и преображается на холстах, перестаёт быть просто предметом, обретает волею художника тонкие настроения, обрастает эмоциональными ассоциациями. Подобно Алисе в Зазеркалье, мы начинаем удивляться неоднозначности смыслов обыкновенных вещей, и их созерцание становится первым шагом к самосозерцанию…

Если работы девяностых годов уже ушедшего двадцатого столетия были наполнены у Виктора Рогачёва живой непосредственностью впечатлений, то в сегодняшней творческой лаборатории он шаг за шагом освобождается от чего бы то ни было случайного, преходящего. Обострённая выразительность живописно-пластической трансформации, эмоциональные цветовые ритмы, точно найденные пространственно-композиционные решения рождают выразительные образы-символы, где за очевидным приоткрывается непостижимое. Усложняются содержательные смыслы, появляется всё большая смелость и зрелость. Закономерным видится возникновение философско-миросозерцательных работ, исследующих тайны бытия, выходящих за пределы видимого. Произведения «Гармония», «Начало», «Таинство» воспринимаются как обретение новых глубоких смыслов на жизненном пути художника и как убедительная цвето-пластическая визуализация такого уровня переживания и сознания, который уже не раскроешь словами.

Аполлон Майков

Дуновенье Духа Божья

Возвышенная мысль достойной хочет брони:
Богиня строгая — ей нужен пьедестал,
И храм, и жертвенник, и лира, и кимвал,
И песни сладкие, и волны благовоний…

Малейшую черту обдумай строго в ней,
Чтоб выдержан был строй в наружном беспорядке,
Чтобы божественность сквозила в каждой складке
И образ весь сиял — огнём души твоей!..

Исполнен радости, иль гнева, иль печали,
Пусть вдруг он выступит из тьмы перед тобой —
И ту рассеет тьму, прекрасный сам собой
И бесконечностью за ним лежащей дали…

О вечно ропщущий, угрюмый Океан!
С богами вечными когда-то в гордом споре
Цепями вечными окованный титан
И древнее своё один несущий горе!
Ты успокоился… надолго ли?.. О, миг
И, грозный, вдруг опять подымется старик,
И, злобствуя на всё: на солнце золотое,
На песни нереид, на звёздный тихий свет,
На счастие, каким исполнился поэт,
Обретший свой покой в его святом покое, —
Ударит по волнам, кляня суровый рок
И грозно требуя в неистовой гордыне,
Чтобы не смел глядеть ни человек, ни бог,
Как горе он своё несёт в своей пустыне…

Осенние листья по ветру кружат,
Осенние листья в тревоге вопят:
«Всё гибнет, всё гибнет! Ты чёрен и гол,
О лес наш родимый, конец твой пришёл!»

Не слышит тревоги их царственный лес.
Под тёмной лазурью суровых небес
Его спеленали могучие сны,
И зреет в нём сила для новой весны.

Она ещё едва умеет лепетать,
Чуть бегать начала, но в маленькой плутовке
Кокетства женского уж видимы уловки:
Зову ль её к себе, хочу ль поцеловать
И трачу весь запас ласкающих названий —
Она откинется, смеясь, на шею няни,
Старушку обовьёт руками горячо
И обе щёки ей целует без пощады,
Лукаво на меня глядит через плечо
И тешится моей ревнивою досадой.

Ангел и Демон

Подъемлют спор за человека
Два духа мощные: один —
Эдемской двери властелин
И вечный страж её от века;
Другой — во всём величьи зла,
Владыка сумрачного мира:
Над огненной его порфирой
Горят два огненных крыла.

Но торжество кому ж уступит
В пыли рождённый человек?
Венец ли вечных пальм он купит
Иль чашу временную нег?
Господень ангел тих и ясен:
Его живит смиренья луч;
Но гордый демон так прекрасен,
Так лучезарен и могуч!

Вдохновенье — дуновенье
Духа Божья!.. Пронеслось —
И бессмертного творенья
Семя бросило в хаос.

Вмиг поэт душой воспрянет
И подхватит на лету,
Отольёт и отчеканит
В медном образе — мечту!

Геннадий Волобуев

Астафьев за «колючей проволокой»

«Не читайте белиберду…»

Дорогой читатель, не пугайся и не стремись в архивы, чтобы найти дату и место пребывания Виктора Петровича в местах не столь отдалённых. Он действительно был за колючей проволокой, только в прекрасном современном закрытом городе атомщиков Зеленогорске.

Визит был частным, случайным и чисто дружеским. Потому что привёз его наш друг, заслуженный художник РФ Валерий Кудринский. Просто так, отдохнуть. Состоялось это 13–14 апреля 1995 г.

Это была моя вторая встреча с писателем. Первая случилась где-то через год после его возвращения в Сибирь, на краевом совещании по культуре в городе Красноярске. Я тогда работал заместителем председателя Зеленогорского исполкома горсовета. Секретарь крайкома партии Н. П. Силкова представила нам Виктора Петровича. Я внутренне сжался, зная, что Виктор Петрович не жаловал партию и её функционеров. Подумал, что же сейчас будет? Ведь Нина Прокофьевна официальное лицо, на вольности она вряд ли скатится. Интересно!

Он говорил независимо, что было для нас ново. Партийное самолюбие присутствующих затронул вскользь. Но настороженность сидящих в президиуме ощущалась. В конце речи Виктор Петрович предложил задавать вопросы. В числе других встал и я со своим вопросом. В то время все в крае зачитывались трилогией Алексея Черкасова: «Хмель», «Чёрный тополь» и «Конь рыжий». Многие были под её впечатлением. Книги чем-то напоминали «Тихий Дон» Шолохова: казаки, гражданская война, реальные люди, их трагические судьбы. Ощущалось какое-то послабление цензуры. Книги, говоря современным языком, стали бестселлерами. Они вызывали действительно большой интерес читателей. Я спросил: «Виктор Петрович, как вы оцениваете трилогию Черкасова? Можно её сравнить с «Тихим Доном?» Астафьев помрачнел и «популярно», в своей жёсткой манере, объяснил (я обобщаю), что так судить могут только люди, не понимающие литературы. Собственно, я и не считал себя сторонником мысли о близости этих произведений, просто интересно было знать профессиональную оценку литературной новинки таким независимым во мнениях писателем. Читал и читаю, в основном, классику, особенно сейчас, когда спасаюсь от телевизора и равнодушных людей.

А что касается трилогии А. Черкасова, то я уже в наши дни нашёл на сайте интервью с писателем Михаилом Тарковским, который говорил: «Не читайте белиберду, не смотрите пошлятину». А в конце его ответов на вопросы был опубликован рейтинг известных писателей Красноярского края. На первом месте стоял Виктор Астафьев, на втором — Алексей Черкасов. Далее — Роман Солнцев… Насколько это отражает реальность, пусть судят авторитетные литературоведы-критики. Только трилогия Черкасова явно не белиберда.

Когда я вновь встретился с писателем уже в нашем городе, на своей, так сказать, земле, то настороженно поглядывал на него и думал, в каком русле пойдут у нас разговоры. Может, опять зацепит своим колким критическим языком…

Виктор Петрович сказал, что он не хочет никаких официальных встреч. Как оказалось, он приехал в районный город Заозёрный по настоятельной и неоднократной просьбе педагогов профессионального училища. «Есть хороший человек в ПТУ Заозёрного (районный город в 120 км от Красноярска) — библиотекарь. Она звонила мне, открытки присылала. Стало неприлично откладывать. Я сдал роман, сдал повесть, ничем не занят. Съездил в Саяногорск, куда меня давно звали. Вот, наконец, приехал посмотреть на пэтэушников. Сам бывший фэзэушник[1]. Милый народ. Картинки нарисовали, слепили что-то. Розы дорогие купили. Я их отругал за это. Женщины были милые. У нас самые лучшие женщины в мире. Два часа длилась встреча. Я им рассказал, в каких условиях мы жили и учились. Они не понимают то время. В Заозёрке я бывал часто в начале войны после окончания училища. Работал составителем поездов на станции Базаиха в Красноярске, и меня отправляли сюда, т. к. был холостым. Но приезжал ночью и городка не видел».

От Заозёрного до Зеленогорска всего 16 километров. И вот наши гости здесь. С Валерием Кудринским мы давно дружили, а сам он с Виктором Петровичем был в дружбе не один год. Я видел любительские фильмы, где кадры выдавали не только их литературные привязанности и изобразительное искусство, но чисто мужские интересы. В итоге такой дружбы В. Кудринского с В. Астафьевым родилось несколько замечательных портретов Виктора Петровича и серия иллюстраций к его новым книгам. Мы поселили их в гостинице и хотели уже прогуляться по городу, как вдруг Виктор Петрович, потерев побледневшие щёки с пробившейся на них щетиной, признался нам, что заболел. Я даже испугался. «Сердце, «скорая», больница…», — промелькнуло в голове. Но он успокоил: «Живот! Отравился в Заозёрке. Вы можете мне найти лекарство?» Он назвал его, это было редкое лекарство. А время уже десять вечера.

---

1. ФЗУ — фабрично-заводское училище.

Аптеки не работают. Я позвонил на домашний телефон руководителю аптечной сети, она дала соответствующее указание своим работникам, и минут через 40 Виктор Петрович заложил основу для завтрашнего бодрого и здорового дня.

Активным участником нашей встречи были Лидия Локотош — директор городской художественной галереи, — и Наталья Костюк — заведующая отделом культуры. Видимо, гостиничная обстановка и свои люди помогли по-простому, по-домашнему повести разговор. Виктор Петрович хорошо знал свою роль даже здесь. Понимал, что мы от него ждём рассуждений, оценок, мнений. Что ему даже не нужны наши вопросы. Сам разговорится?.. На дворе шёл 1995 год. Всё ещё непростое время… Первое знакомство прошло в обычных бытовых, ничего не значащих разговорах без философии и политики. Писатель называл вещи своими именами, употреблял ту самую, народную, лексику. Ближе к полуночи мы оставили именитого гостя вдвоём с Валерием Иннокентьевичем.

Среди Зелёных гор

На следующий день мы увидели гостей действительно бодрыми. Виктор Петрович поблагодарил меня и руководителя аптеки за быстрое эффективное лечение. Потом в разговорах с В. Кудринским он вспоминал: «А, Волобуев, который так быстро меня вылечил…»

Я предложил ему посмотреть город. День выдался солнечный, тёплый, и мы пешком пошли по набережной, постояли у стелы Победы, у памятного камня «10-летию основания города».

Зеленогорск имеет своё неповторимое лицо. Город расположен на живописном берегу быстрой горной реки Кан среди зелёных сопок южной оконечности Енисейского кряжа. Его современная архитектура в сочетании с прекрасным благоустройством, обильным цветочным оформлением, знаменитым фонтаном с бронзовой скульптурной композицией Георгия Франгуляна «Енисей и Кан», располагала к душевным доверительным разговорам. Я коротко рассказал об истории создания города, его социальной сфере и главном предприятии — Электрохимическом заводе. Виктор Петрович озабоченно сказал, что это, должно быть, опасное производство и пошутил, не радиоактивная ли рыба в Кане? Я рассказал, как готовят и подбирают кадры на завод, какая система допуска к работе после отпуска и других отвлечений.

Виктор Петрович ознакомился с фондами художественной галереи, здесь, за чаем, пошла первая разминка в разговоре. Коснулись вопросов издания его книг. Здесь он дал первые автографы. Я обратил внимание на цветные иллюстрации в его новой книге «Русский алмаз» (М.: «Искусство», 1994 г.), среди которых была репродукция с картины Анатолия Кравчука — нашего городского художника. «Хорошая работа», — одобрительно качнув головой, тихо сказал автор.

Об издании книг, взятках и издательствах

«Вы знаете, я баловень судьбы. Мне говорили, что в Москве, в издательствах, берут взятки, чтобы опубликовать что-то. Я никогда не унижался. Сам получил предложение по моей первой книжке. Дважды я поддался дать обязательство под несуществующие книжки: под роман и под сборник в издательство «Молодая гвардия». Это, конечно, очень плохо. Год прошёл, другой. Ничего нет. Тогда они предложили мне: «Собери всё, что у тебя есть о войне. Мы издадим. Так получилась книга «Военные страницы». Но такого больше не было. Не унижался.

Особенно трудно издавать книги провинциальным писателям. Они, бедные, по 3–4 года пытаются издать одну книжку. Ходят, ходят… Идут в горком, обком жаловаться. Ищут знакомых, пьют с ними водку… Я взятки не давал. Правда, один раз пытался купить билет на поезд, давал кассиру 25 рублей, но ничего не получилось…

Главный редактор в Свердловске говорил: «Составление плана издательства, что распределение кровельного железа в ЖЭКе — все лезут, требуют…» Я этого избежал, слава тебе, Господи! С первой книжки. Платят мало, особенно журналы. Я сейчас опубликовал роман в «Новом мире». Три года работал. Заплатили 900 тысяч. Немного. Инфляция. Но я буду ещё издавать, переиздавать его».

О войне, вранье и наших бедах

Побывал Виктор Петрович в шахматном клубе, который в 1985 году торжественно открывал чемпион мира Анатолий Карпов. Посмотрел с интересом музейную экспозицию, каминный зал и классы. О шахматном всеобуче, городских чемпионах увлечённо рассказывал замечательный шахматист и творческий тренер, мастер спорта ФИДЕ, Вениамин Вениаминович Баршевич.

Но большой разговор о литературе, искусстве, о войне и мире, о солдатах и генералах прошёл в Музее боевой славы. Это уникальный музей, единственный в России за Уралом и по количеству экспонатов, и по объёмам военно-патриотической работы. Это комплекс, на базе которого расположена разнообразная военная техника, от патрона до ракетного комплекса ЗРК С-200, самолётов-истребителей МиГ-15, 17, Су-15-М. Но главное — здесь работают отдел технического творчества, кадетский корпус, спортивно-техническая школа с множеством секций. Этот комплекс — большая редкость, сохранённая местной властью в смутные годы растащиловки, островок патриотизма и воспитания настоящих защитников Родины.

Виктор Петрович внимательно рассматривал экспонаты музея, слушал и комментировал рассказ ветерана войны Степана Фёдоровича Каверзина. Сразу было видно, что тема войны, наверное, самая главная в его жизни.

Здесь же произошла встреча с журналистами городских СМИ. Гость сидел за столом и, будто на кухне своего друга, долго и подробно отвечал на вопросы. Мне казалось, что ему даже самому хочется поделиться мыслями, которые его мучили, не давали покоя.

Сергей Федотов. Виктор Петрович, за что вам была присуждена премия «Триумф»?

В. П. Она присуждена за совокупность произведений последних лет. Но толчком послужило издание романа «Прокляты и убиты».

С. Ф. Предполагали вы, что он подвергнется таким нападкам, как в «Красноярской газете»?

В. П. Ну, конечно! Роман появился на свет. Он должен был вызвать разную оценку. И, конечно, прокоммунистическую, идеологи которой создали литературу о своей войне. В ней действуют комиссары, политруки, благородные девицы, отважные, очень умные генералы. Они должны были восстать: «Это не война, безобразие…». Но я пишу о такой войне. Она мне нравится. А «Красноярскую газету» я не читаю, нет на это времени…

С. Ф. Произведения, написанные о войне… достаточно ли они правдиво отображают действительность?

В. П. О войне написаны эшелоны литературы. Но 10–15 книг есть настоящих, хороших: «Мёртвым не больно», «Дожить до рассвета» — Василия Быкова. У Твардовского — «Василий Тёркин». Это и романы, и повести моего друга Кости Воробьёва: «Убиты под Москвой» и «Крик», «Это мы, господи!». Повесть Вити Курочкина «На войне, как на войне». Это книги Юрия Гончарова: «Дезертир», «Неудача». У Ивана Акулова, уральца, — «Крещение». Это и роман Василия Гроссмана «Жизнь и судьба».

С. Ф. Сейчас нападкам подвергается Василий Быков. Кому это выгодно?

В. П. Тем, кто врёт. Нигде не врут так, как на войне и на охоте. В Москве целое 9-этажное здание Главного политуправления следило за военной литературой. Там ниже майора я не видел мундира. Без их разрешения ни одна книга, ни один фильм о войне не могли выйти. А таких, как Костя Воробьёв, они вообще затравили. Он рано умер. А сейчас времена другие и плевать я хотел на них. Сейчас генералы судят Светлану Алексиевич за то, по их мнению, что она войну в Афганистане отобразила неправильно. Они вот всё про войну знают. Они все продолжают учить, наставлять, какими должны быть войны. Сейчас трёп начнётся в связи с Днём Победы. Период, который наступил, его не повернуть вспять.

С. Ф. Вы сказали про День Победы. Трёп начнётся… Пройдёт праздник, и опять забудут про ветеранов?

В. П. Начнут митинговать, орать, бегать, права качать фашисты. Их в стране всё больше. Набирают силы. Это страшно. Пока народ не придаёт этому значения, ведь фашисты просто переименовались. Это слово не популярно в народе. Они называют себя «национал-патриотами». Немецкие фашисты тоже называли себя «наци». Наши — паука на рукавах нарисовали, похожего на свастику. Собственно, коммунизм — это наш отечественный фашизм. Он расправлялся над своим народом. Немецкие фашисты свой народ не трогали, истребляли другие народы.

С. Ф. Та война принесла массу жертв. Наш народ не знает до сих пор, по прошествии 50 лет, сколько погибло, каковы потери. Проиграли мы войну или выиграли в этом смысле?

В. П. Войну мы выиграли! Выиграли не генералы наши, а народ. На войне погибло 13 миллионов рядовых. Рядовых поставляет, в основном, деревня. Мы оголили и убили русскую деревню. Не восстановить её уже. Другое дело — отношение к погибшим. У нас остаются не захороненными сотни тысяч, если не миллионы, погибших. Их кости валяются по лесам и болотам Волховского, Ленинградского, Новгородского фронтов. Ребята приберут маленько, а Генштабу нашему до этого дела нет. Надо было похоронить перед Днём Победы всех, и всеобщий молебен сделать. А тут идёт трескотня.

С. Ф. Если отойти от той войны, перейти к Афганистану, Чечне… Там тоже много лжи. Будет ли когда подана правда?

В. П. Ну, без лжи мы вообще не можем. Все военные конфликты, которые начинались при советской власти, начиная от озера Хасан, Халкин-Гола, поначалу хотели шапками закидать и получали обязательно в рыло. Сопку Заозёрную, сказали, взяли. Её брали уже потом в дипломатических переговорах и платили огромные контрибуции. Японцы куражились над нашими дипломатами. Вначале на Халкин-Голе нам влупили, потом в Финляндии, потом в Афганистане… Сейчас в Чечне. А мы показываем, как умеем доблестно воевать. Безалаберность, бездарность, безответственность, безделье генералов. Они не могут сказать, что они плохие генералы, значит, им надо будет уходить со своего поста. Значит, надо врать. Врут и будут врать. И про состояние армии, и про то, что там делается в казармах. Все эти убийства, истязания солдат происходят по сию пору. Они эти факты тщательно скрывают и делают видимость, что расследуют.

С. Ф. Что делать, чтобы это всё прекратилось?

В. П. Надо изменить общество. Армия — это отражение нашего общества. Продолжение его достоинств и грехов. Достоинства в нашем обществе не осталось, а грехов очень много. Изменим общество, будет другая армия.

Божий дар, интеллигенция, и что спасёт мир

Корр. Андрей Ростовщиков. Современные войны… дадут ли они столько писателей, сколько дала та война?

В. П. Что покойников они много дадут, это я точно знаю. А насчёт писателей… Писателями рождаются. Всё зависит от Бога. Бог дарует ему талант. А потом уже как сложатся обстоятельства: будет писать он или нет. Война не рождает никого, кроме покойников, калек и ущербных людей. Сейчас мало кто задумывается над тем, что предрекали нам древние пророки-философы, и что должно быть на земле к 2000 году: армии никакой, общий язык и единое государство.

Человечество приговорило себя, когда изобрело оружие, против которого нет обороны. Начался апокалипсис. Апокалипсис — это когда ты не ведаешь, как подкрадывается смерть в виде радиации

или ещё чего-то. Как, например, в Японии: газ пустили... Или в пробирке выведут что-то...

А. Р. ...Давно ещё, когда я учился в университете, нас заставляли заучивать ваши слова об интеллигенции. Что интеллигентной была «моя мама»... Вы как-то изменили своё отношение к этому понятию?

В. П. Нет, не изменил. У нас сейчас чохом зачисляют в интеллигенцию всех, кто имеет образование. В Питере в своё время (во время репрессий) зачисляли в интеллигенцию всех, кто носит очки. Вас бы обязательно стрельнули. Вы имеете интеллигентный вид и в очках. А если в пенсне, то сразу... Менжинский, Урицкий, Дзержинский порешили бы сразу... У нас в интеллигенцию зачисляют самый незащищённый слой народа—учителей, врачей... По внешним признакам интеллигенции не бывает! Только внутренне организованный мир делает человека интеллигентным. За свою жизнь я встречал всего 10–15 интеллигентов. Встречал их в деревне, встречал безграмотных интеллигентов. Если человек окончил два университета, ещё не значит, что он интеллигент. Есть такие дикари, наглецы, тунеядцы с дипломами. Посмотришь—дурак дураком.

Интеллигентность, как и талант божий. Это чувство *(состояние)* врождённое, воспитанное и поддержанное родителями, какой-то школой, умными учителями. У нас все благодарят учителей. Но все, как правило, относят благодарности к 4–5 учителям, которые оставили след в душе ребёнка. Как, например, у меня, Игнатий Дмитриевич Рождественский—поэт, учитель. Или Василий Иванович Соколов. Но там за ними стоит толпа, она говорит, что мы тоже делаем полезное дело—воспитываем хороших людей.

...Пусть молятся тем учителям, которые делают хорошее дело, которые грамотные, не одичали, особенно в деревне. Там учителям действительно трудно. Они вынуждены дрова заготавливать, мужа где-то искать, который уехал на тракторе по полям и лесам и долго не возвращается. Здоров ли он там?

У нас фашисты настраивают против тех, кто «в очках», кто, по их мнению, интеллигент. У нас прослойка интеллигенции равна тонкой фольге, куда завёртывают продукты. Надо беречь её, «не дышать» на неё, чтобы не сдуть. Если сдуем, тогда всё. Тогда конец. Тогда будут стрелять, убивать, если у пенсионера—ветерана войны пенсия 15 тысяч, а в огороде на две грядки больше. Тогда будет уже беспредел.

Я в первый раз почувствовал в музее «Прадо» в Мадриде, что такое для человечества культура. Я, может, и до этого знал, но не предметно, смутно. Я ощущал, конечно, если бы не книги, не гении земли (живописцы, музыканты), то ползали бы мы на карачках и заползали бы обратно в пещеры. Тем более, что мы стремимся всё время в пещеры...

Посмотрите на телевизор, на этих бесов, которые прыгают. Это уже в устье пещеры находится.

Музей «Прадо» невелик. Наш «Эрмитаж» чем плох? Его надо делить на 4 части по направлениям. Я там был дважды и ничего не помню, что там видел. В «Прадо» я всё помню великолепно. И службы, и величайшее живописное искусство. Он хорошо скомпонован. Не задерживаясь на нижних этажах, я сразу попал наверх к Гойе, Веласкесу, Тициану... Там впервые я понял, что если бы не эти «товарищи», то всё, конец. Все остальные всё время сживали их со света. Рафаэль умер в 37 лет, наш Пушкин—в 37, Лермонтов—в 27... Человечество всегда пыталось сжить их со света. Некоторым удавалось прожить долго: Льву Толстому, Микеланджело... Если бы не они, этого «мусора», который называется «человечество», не было бы давно уже на земле. Оно со дня своего сотворения противоречит Богу, живёт не по Божьему велению. Оно всё время спорит с Богом. Оно может носить такой характер, как в американском фильме Роберта Земекиса «Форест Гамп». *(Благородный слабоумный и безобидный человек с добрым сердцем фантастически превращается в знаменитого футболиста, героя войны, становится миллиардером. Оставаясь глупым и добрым.—Из аннотации).* А может носить такие тяжёлые формы протеста, как у Льва Толстого. Всей силой старичок боролся с Богом, потом перекрестился и пошёл к нему. Понял, могучий был ум, не мог он против Бога так, напрямую.

Мы в России так нагрешили, нас Бог наказывает. За разрушение церквей, за непочтение родителей, за предательство детей, стариков. За бездушие, склонность к насилию и агрессивность. Мы не можем покаяться. А добродушие и нравственность где-то там глубоко сидят. Чтобы их обнаружить, надо оттуда крючком вытащить.

Если бы не книги, не живопись, не музыка... Я придаю большое значение музыке. Любое творчество работает на подсознании. Рождение музыки—это наиболее включённое подсознание. Музыка ближе всех подключена к тем силам, которые находятся вне нас, далеко, очень далеко. Никто никогда не объяснит, как рождается замысел книги, особенно музыки. Будут врать, будут сочинять...

Бороться с интеллигенцией, против культуры—это бороться против себя. И остаться с этим «добром», которым набит этот дом *(В. П. говорит об оружии—экспонатах музея.—Авт).* Его показывать надо, рассказывать, чтобы боялись, что оно может расколоть землю. Чтобы это «добро» не в деле было... Если уберут остатки культуры, это «добро» сразу заработает. Там... дяденьки стоят, ждут, чтобы нажать...

На прощание Виктор Петрович оставил короткую запись в Книге почётных посетителей: «Господи! Спаси рабов твоих от безумия». Внизу подрисовал контур своей «Царь-рыбы». Поставил подпись и дату: «В. Астафьев, 14 апреля 1995 года».

Мы познакомили Виктора Петровича с творческой семьёй Евгения и Валентины Барановых. В своей мастерской они показали мир самобытных глиняных игрушек-свистулек, большую композицию («Ярмарка»). Эти работы народной мастерицы, Валентины Петровны, были на многих выставках, в том числе и за рубежом. В качестве сувениров они разлетелись по всем континентам.

«Очень хорошо,—отозвался писатель.—После оружия хорошо смотреть».

«Здесь нет ни одного злого персонажа»,—упредила Валентина Петровна, уже прослышав про философские взгляды гостя. «Зла и так много»,—ответил Виктор Петрович.

Какой вы, Виктор Петрович?

Будучи как-то в мастерской В. Кудринского, я позвонил Виктору Петровичу. Приглашал его ещё раз навестить город Зеленогорск. Он усталым хриплым голосом поблагодарил меня и сказал, что сильно болен, конечно, приехать не сможет. Валерий мне показал домашние любительские фильмы, где в мужской компании с художниками раскрепощённый писатель, немного под хмельком, острил и веселился. Таким я его и запомнил.

Виктор Петрович Астафьев—личность неоднозначная. За внешней мужицкой простотой да ещё, казалось, грубоватой речью, скрывался грозный и сильный хищник. Он чуял на расстоянии специфический запах шакала от литературы, халтурщика-приспособленца, вруна, очковтирателя. И, не задумываясь, бросался на них. Когда наше государство было могучим Советским Союзом, а партия—единственной политической силой с самой «верной» идеологией, он не побоялся говорить правду, упреждая предстоящие невзгоды, крушение ложных основ, навлекая на себя гнев всесильной Системы. Он был и остаётся прав: на лжи счастья не построишь.

Он мог ошибаться. Его простецкие слова порой создавали ложное представление, будто он малограмотный провинциал, не набравшийся в столице ума-разума, культуры, облачившийся в тогу интеллигента, пытается учить просвещённых, мудрых, властных, удачливых вершителей жизни… Но насколько надо быть мудрым и прозорливым на самом деле, чтобы предвидеть, как будет разрушаться бетонный монолит былого могущества, если безграмотные и корыстные строители возвели фундамент на зыбком грунте, да ещё приворовали цемент, да ещё не сверили с Богом свои деяния…

Он мог сгоряча сказать то, что захотел бы потом исправить. Думаю, что захотел бы. Но слово не воробей. Вся беда в том, что таких смелых, самобытных, самодостаточных и к тому же грамотных, сочувствующих, сопереживающих, вместе с тем, талантливых людей совсем, совсем мало. Много других, но они хотят казаться. В широком кресле, на трибуне партийного съезда. Казаться, а не быть. Знакомо! Потому что под личиной интеллигентности, под партийными, самыми надёжными, знамёнами и самыми «верными» идеями, часто прячутся вруны и трусы, слабаки, бездарности и проходимцы. А такие одиночки-воины, настоящие мудрецы, давно стали реликтовым явлением в нашей жизни.

Не могу согласиться с мнением Виктора Петровича по отношению к коммунистам. В партии были сотни тысяч простых рабочих, крестьян, инженеров, учителей, врачей. Среди них было много молодёжи. Воспитанные в духе государственной идеологии, будучи патриотами своей страны, эти люди бескорыстно и порой беззаветно шли на самые трудные участки и на фронте, и в мирной жизни. Их так же порой обманывали и бросали. Как, например, строителей БАМа. Они так же подверглись репрессиям. Не их вина в том, что верховные идеологи создавали мифы и липовых героев. Много, даже очень, было безымянных настоящих героев с партийными и комсомольскими билетами. Не по-христиански означать всех одной чёрной краской. Это несправедливо.

Его категоричность может кому-то нравиться, кому-то нет. От неё отдаёт самохвальством, самоуверенностью, а в сочетании с талантливой сущностью—снобизмом. Но не всё так просто, как кажется на первый взгляд. Мы так далеко ушли в разрушении своей жизни, что только авторитетный, пусть грубый, пусть самоуверенный окрик, обидные слова остановят наше внимание на предупреждении отчаявшегося Учителя…

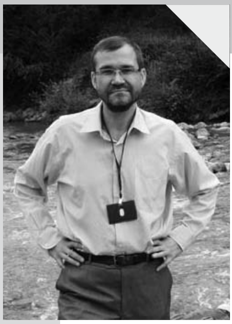
Книги В. П. Астафьева во мне оставляют разные следы. От одних становится грустно и даже страшно («Печальный детектив»), от других надолго остаётся в душе приятное впечатление («Васюткино озеро»). Но каждая поражает художественной красотой, богатством и самобытностью языка, чёткой позицией автора. Словарь писателя—это особая редкость. Это мощная палитра красок, с помощью которой создаются настоящие художественные произведения. Мне нравится и его тонко вплетённый в повествование юмор. Даже сатира. Он уничтожает псевдогероя простецкими эпитетами, хохмой, как бы подкрадывается к нему с арканом, и, набросив его умело на голову негодяя, затягивает нравственную петлю («Мною рождённый»).

Астафьев, пройдя кровавую войну, снизу начавший познавать жизнь и достигший её духовных вершин, лучше многих её знает и, ради спасения, бросает на жернова критики почти всё, что, на его взгляд, идёт против правды, против божеского и человеческого.

С размышлениями Виктора Петровича Астафьева перекликаются слова Михаила Тарковского: «Недавно ехал в поезде с бизнесменом. Хороший мужик. Про храмы разговор зашёл. Он мне: «Были бы у меня деньги, я лучше школу построил бы или больницу!» Величайшая ошибка. Это всё равно, что руку сделать, а голову нет. С головы надо начинать строительство, с души и сердца. Сначала храмы, а потом интернаты и школы… Кроме сохранения традиций, я вообще никакого смысла не вижу в существовании народа. Россия, одна из немногих стран, которая это ещё сохранила, как бельмо на глазу у остального мира. Её хотят разрушить. Но, слава Богу, ещё очень много людей, которые, не взирая ни на что, поддерживают культуру и другие важные проекты».

Мне Виктор Петрович оставил автограф на книге: «Геннадию Тихоновичу Волобуеву—в память о встрече, желая добрых дел и доброй памяти».

Таким был В. П. Астафьев—настоящий сибиряк, писатель, интеллигент.



Евгений Степанов

Жила-была Белла…

В одной из своих последних прижизненных книг — «Ни слова о любви»[1] — Ахмадулина написала пронзительно-трагическую строку, похожую на автоэпитафию: «Жила-была Белла… потом умерла…»

Смерть — самый сильный микрофон поэта. После смерти поэта всё встаёт на свои места: становится ясно, кто кем был в литературе, кто в ней остался, а кто — оказался мыльным пузырём. Только теперь в полной мере понятно, каков диапазон творческой реализации Беллы Ахмадулиной.

Каждый настоящий поэт создаёт ирреальный языковой мир. Часто он расположен в зоне между двумя живыми языками — неслучайно многие поэты билингвальны: писал стихи по-французски Пушкин, по-английски Бродский, по-русски Геннадий Айги… Ахмадулина создала свой ирреальный *русский* язык — велеречивый, изысканный, изобилующий устаревшими словами: *отрину, возалкал, возожгу, чело, чёлн, усладою, чаровниц, зело, втуне* — идя путём, близким поэтам-заумникам. Делала она это сознательно, подчёркивая в одном из своих стихотворений: «высокопарный слог — заумен…», а в другом прямо обозначая свой поиск: «хлад зауми моей». Высокопарность, отчасти нарочито-отстранённая, и была заумью Ахмадулиной, её иной речью, её вторым языком.

Однако, при всей своей изысканной, велеречивой устаревшей лексике, Ахмадулина была и остаётся абсолютно современным поэтом — конца XX и начала XXI веков. Каким образом она этого добивалась? Примет нового времени, аббревиатур и сленга в её стихах практически нет, просторечных слов — совсем немного, хотя они предельно выразительны *(пестрядь, стыдобина, деньга, сопрут, кладбищ)*, модные англицизмы — всего в двух стихотворениях.

Во-первых, с первой книги «Струна» и во все времена Ахмадулина писала о чувствах, присущих большинству людей. Даже когда она писала о стройках века, она писала о любви, радостях и несуразностях человеческой жизни.

Во-вторых, Ахмадулина имела собственный неповторимый голос, её поэтика на протяжении долгого творческого пути по сути не претерпела изменений, и неслучайно в книге «Ни слова о любви», тщательно и любовно составленной Борисом Мессерером, немало стихотворений из её дебютной книги.

И, наконец, главное: Ахмадулина проявила себя как подлинный реформатор стиха, прежде всего, рифмы, а рифма — это, безусловно, важнейшая часть формы в силлаботоническом стихотворении. У Ахмадулиной практически нет банальных рифм. Все рифмы — неожиданные, новые, не повторяющиеся, почти не встречающиеся у других поэтов.

Уже в пятидесятые годы прошлого века в основу своей стиховой системы она положила ассонансные и паронимические рифмы. Вот, например, её ассонансы: *Бывала-болвана; плохого-плафона; арапа-Арбата; стада-устала; дивность-длилась; снежок-смешон; поддакивал-подарками; оранжерее-жирели; мученья-мечети; постигла-пластинка; шипела-Шопена; богат-бокал; проказы-прекрасны; бравада-бульвара; утешенью-ущелью; полон-полог; целовать-словарь; лоно-лилово…*

Паронимические рифмы Ахмадулиной нередко глагольные, но тоже неожиданные: *плакать-плавать; пригубил-погубил; рисковать-рисовать; надышишь-напишешь.*

Составные рифмы она использовала реже, но они тоже занимают своё важное место среди её поэтических приёмов: *ухожу ли-джунгли; вётлы-цветёт ли; влиянье-я ли; не пора ль-напевать; того ли-торговли; гортань-по утрам; сну ль-лазурь, была там-Булатом.*

Ахмадулина своим творчеством как бы развивала мысль Давида Самойлова: «Только представляя себе все многочисленные и сложные внутристиховые связи, можно в какой-то степени достичь "обратных результатов" — того вожделенного уровня знания, когда по рифме можно будет судить о движении содержательной сути стиха».[2]

На мой взгляд, не только содержательной сути — о движении времени.

Книга «Ни слова о любви» — полностью о любви. О любви к мужу — Борису Мессереру посвящено девятнадцать стихотворений; друзьям — Булату Окуджаве, Андрею Вознесенскому, Владимиру Высоцкому, Владимиру Войновичу, Андрею Битову, Гие Маргвелашвили, Отару и Томазу Чиладзе; деревьям — тема сада, кстати, одна из основных в творчестве Ахмадулиной; Арбату, Переделкину, Тарусе, Куоккале, Валдаю, Латвии…

Стихи о близких людях — трогательные, чистые, полные заботы и нежности. Ахмадулина умела благодарно и возвышенно восхищаться мужем, друзьями, заботиться о них, постоянно переживать о них, жалеть их.

«Когда жалела я Бориса» (о Борисе Мессерере);

«Только вот что. Когда я умру, / страшно думать, что будет с тобою» (об Андрее Вознесенском);

---

1. Белла Ахмадулина. Ни слова о любви. — М.: Олимп, Астрель, 2010.
2. См.: Давид Самойлов. Книга о русской рифме. — М.: Время, 2005. С. 368, 369.

«Чтоб отслужить любовь твою, / всё будет тщетно или мало» (о Гие Маргвелашвили).

Почему же книга названа «Ни слова о любви»? Почему так названо стихотворение, открывающее книгу?

Потому что о главном не всегда возможно говорить в лоб — подлинная любовь, как известно, не нуждается в лишних, необязательных словах. Язык любви — другой.

Лирическая героиня Ахмадулиной, несмотря на романтическую печаль, счастливая женщина. Она проста и честна, она любит и любима:

Прохожий, мальчик, что ты? Мимо
иди и не смотри мне вслед.
Мной тот любим, кем я любима!
К тому же знай: мне много лет.

Зрачков горячую угрюмость
вперять в меня повремени:
то смех любви, сверкнув, как юность,
позолотил черты мои.

Иду… февраль прохладой лечит
жар щёк… и снегу намело
так много… и нескромно блещет
красой любви лицо моё.

Сад в поэзии Ахмадулиной многообразен. Там цветут возвышенные розы, глицинии, олеандры и привычные подмосковные сирень, черёмуха… Сад у неё ассоциируется с любовью, причём неимоверно сложной:

Сад облетает первобытный,
и от любви кровопролитной
немеет сердце, и в костры
сгребают листья…

Каждый большой поэт неотделим от своего типа друидов.

Например, в стихотворениях Пушкина наиболее часто встречается дуб, у Цветаевой — рябина и бузина, Есенин отдавал предпочтение берёзе и клёну.

Главный друид в образной системе Ахмадулиной — черёмуха. В книге «Ни слова о любви» восемь стихотворений, в названиях которых присутствует это элегантное декоративное дерево (кустарник), распространённое и в России, и в Европе, и в Азии.

Черёмуху поэт называет «дитя Эрота», сравнивает её с Джульеттой, любовью (счастливой и несчастливой), и, наконец, с жизнью.

Эпитетов, связанных с черёмухой, в стихах Ахмадулиной множество — белоносщная, трёхдневная, предпоследняя. Все они, как видим, соединены временно-возрастными связями. Поэт, говоря о черёмухе, говорит, конечно, и о себе. Это прослеживается в ряде стихотворений. Наиболее откровенно, эксплицитно — в стихотворении с выразительным названием «Скончание черёмухи-2».

Белла Ахмадулина писала преимущественно регулярным стихом. Но в сборнике «Ни слова о любви» есть один верлибр, и очень выразительный.

Пятнадцать мальчиков

Пятнадцать мальчиков, а может быть, и больше,
а может быть, и меньше, чем пятнадцать,
испуганными голосами
мне говорили:
«Пойдём в кино или в музей изобразительных искусств».
Я отвечала им примерно вот что:
«Мне некогда».
Пятнадцать мальчиков дарили мне подснежники.
Пятнадцать мальчиков надломленными голосами
мне говорили:
«Я никогда тебя не разлюблю».
Я отвечала им примерно вот что:
«Посмотрим».

Пятнадцать мальчиков теперь живут спокойно.
Они исполнили тяжёлую повинность
подснежников, отчаянья и писем.
Их любят девушки —
иные красивее, чем я,
иные некрасивее.
Пятнадцать мальчиков преувеличенно свободно,
а подчас злорадно
приветствуют меня при встрече,
приветствуют во мне при встрече
своё освобождение, нормальный сон и пищу…
Напрасно ты идёшь, последний мальчик.
Поставлю я твои подснежники в стакан,
и коренастые их стебли обрастут
серебряными пузырьками…
Но, видишь ли, и ты меня разлюбишь,
и, победив себя, ты будешь говорить со мной надменно,
как будто победил меня,
а я пойду по улице, по улице…

В этом верлибре также проявилось новаторство поэта. Дело в том, что, с точки зрения стиховедческой науки, здесь нарушены общепризнанные каноны свободного стиха. И М. Гаспаров, и Ю. Орлицкий, и другие авторитетные филологи доходчиво и убедительно объяснили нам, что верлибр — это стихотворение без метра и рифмы. Между тем, верлибр Ахмадулиной, хоть и не имеет рифм, но, безусловно, метризован, написан ямбическим размером. Это верлибр на грани белого стиха. Или, если угодно, белый стих на грани верлибра.

Важно в данном случае даже не то, к а к сделано это раннее стихотворение, написанное в пятидесятые годы прошлого века. Важно, прежде всего, то, что уже тогда была видна лирическая героиня Ахмадулиной — не разменивающая свои чувства по мелочам, верящая в свою звезду, в свою единственную любовь. Об этом, собственно, вся книга.

Белла Ахмадулина как подлинный художник всегда сомневалась в своём даре, была не уверена в себе: «Дарила я свой дар ничтожный»; «Пусть не сбылись стихи / за всё меня прости».

В этих сомнениях нет ничего удивительного — уверены в своей гениальности, как правило, посредственности.

Точки над і расставлены. Факт очевидный: дар был огромный, и стихи сбылись.

Марина Саввиных

Лучезарный middle class, или Герои нашего времени?

Москва! Как много в этом звуке…

Если бы кто-нибудь ещё в прошлом году сказал, что я буду скучать по Москве, я саркастически рассмеялась бы ему в лицо. Мы уже тут—зело за МКАД-ом—привыкли к отвычке, что Москва—«великая, могучая, никем не победимая… и самая любимая». Мы уже привыкли, что она, в своих мажорных «растопырах», есть, не боле, не мене, как «подлое сердце родины». И даже как будто приуготовились признать, что наша родина (с подлым сердцем!)—сплошная Катынь, вследствие чего нам, её тем более подлым детям, за последние сто лет и гордиться-то нечем, а посему, чем скорее плюнем в это подлое сердце, тем скорее протопчем путь… не иначе, как в Царствие Небесное.

Весной 2011-го года Москва поразила меня какой-то—прежде не виданной—сосредоточенностью. Как человек, у которого врачи нашли смертельную болезнь, но не могут наверняка сказать, сколько ему осталось. Нет, дух Ивана Калиты по-прежнему гуляет тут денно и нощно, напоминая о себе всюду—от роскошных бутиков до привокзальных задворок… Но!

Москва—тотально противоречива, её контрасты каждую минуту заставляют вспоминать о пресловутых «мировом городе» и «мировой деревне», расположенных иной раз в сотне метров друг от друга… здесь чуть ли не на каждом углу—в открытую!—орудуют виртуозы лохотрона и льются невидимые миру слёзы отдельно взятых человеческих драм… Предприимчивость столичных «бендеров» изумляет не меньше, чем легковерие их простодушных жертв. Пример, что называется, «с колёс». На Павелецкий вокзал каждые полчаса прибывает аэроэкспресс. Поток пассажиров с перрона сразу устремляется к кассам метро, образуя естественный затор у первого же попавшегося на пути окошка. Возникает длиннющая очередь, в которую тут же, как бакланы в рыбий косяк, начинают нырять весёлые ребята, предлагающие купить у них проездной билет ровно в два раза дороже, чем в кассе,—зато без очереди. И ведь находятся желающие! Те, кому не хватило сообразительности пройти шагов тридцать и свернуть за угол—в кассовый зал, где не менее трёх таких окошек продают билеты без малейшего намёка на какое-либо неудобство. Очередь рассасывается в считанные минуты, но за это время «бакланы» успевают нахватать рыбёшки и—не скрываясь, собравшись в кучку у газетного киоска,—о чём-то толкуют меж собой. Должно быть, делятся впечатлениями. Вид у «бакланов» вполне себе даже интеллигентный… Облапошив жертву, такой баклан охотно и бесплатно предоставляет ей услуги справочного бюро: как удобнее добраться туда-то и туда-то, на какой поезд сесть, на какой станции выйти, на какую перейти…

О, Москва!..

Уже на обратном пути мы с Мишей Стрельцовым, отягощённые непосильным грузом духовной пищи (ибо кто ж из провинциальных писателей не везёт из Москвы книги, тяжелее которых—по крайней мере, на весах в аэропорту—только бутилированный алкоголь?!), выпали из вагона метро на Павелецком, даже в общих чертах не представляя себе, как всё это, простите, доперетьдо перрона… и тут, подобно ангелу, посланнику небес, перед нами прямо из воздуха соткался тщедушного вида длинноволосый юноша со складной тележкой… «За сто рублей,—куда хотите!». Он ловко утряс на тележке наши неподъёмные сумки, перехватив поклажу ремешками, и помчался по туннелям и переходам с такой скоростью, что мы едва за ним поспевали.

При этом он умудряется по пути дать нам точнейшие инструкции, где выгоднее купить билеты на экспресс, и даже указать (что очень кстати), где находится единственный на вокзале бесплатный (служебный!) туалет. Как весело бежать за неутомимым, словоохотливым носильщиком, болтая с ним по ходу о том, о сём (тут же выясняется, к примеру, совсем не дюжинный круг его читательских пристрастий!)… стоп—прибыли. «Спасибо, друг! Дай Вам Бог…»—«Четыреста!»—«Что—четыреста? Вы же сказали—сто»—«Ну, да… сто. За *каждое* место».

Я хохочу. Я готова расцеловать мальчишку в обе щёки. Я сую ему пятьсот одной бумажкой и почти кричу: «Сдачи не надо!». Мы—как брат и сестра на Страшном суде—прожигаем друг дружку восхищёнными взорами. И расстаёмся навеки. Миша—в ауте.

О, Москва!

Лица москвичей темны и осмысленны. На эскалаторе в метро всё время с кем-то встречаешься взглядом. И не оставляет ощущение, что кто-то тебя узнал и ты узнала кого-то… Кого? Каждый такой взгляд глубок—запредельно.

Да, Москва, изрядно же тебе досталось в последние годы…

Сибирский Атомград в журнале «День и ночь»: московские встречи

Мы приехали в Москву по приглашению Исполкома Международного сообщества писательских

союзов — представить московской публике журнал «День и ночь», второй год сотрудничающий с МСПС в благом деле пропаганды художественной литературы, создающейся ныне на постсоветском пространстве, а заодно познакомить москвичей с творчеством замечательных сибирских публицистов, живущих в Зеленогорске, бывшей «сорокпятке», закрытом городе, построенном в Красноярском крае пятьдесят пять лет тому назад. Внимание к литературе закрытых городов заметно растёт. Атомные, космические, военные предприятия, сосредоточенные в этих зонах за колючей проволокой, определили карьеру и личные судьбы многих выдающихся учёных, инженеров, руководителей времён развивающегося и развитого социализма. В подавляющем большинстве своём это были люди неординарные, а творческий потенциал, как известно, неизбежно реализуется в разных направлениях. В этих «девятках», «десятках», «сорокпятках» и прочих «почтовых ящиках» постепенно развилась особая культура — по-своему, рафинированная; по-своему, дерзкая; по-своему, иносказательная. Ориентированная на собственную героику и собственный нравственный ценз.

Поэтому так важно нам казалось не только печатать работы зеленогорских публицистов, но и всемерно их «пиарить», как сейчас говорят. Георгий Листвин, написавший документальную эпопею о походе отрядов адмирала Колчака, которые отступали по льду Кана и Енисея в 1919 году, и Геннадий Волобуев, рассказавший о судьбе генерала Александрова, фактически построившего Зеленогорск, 21 апреля стали гостями презентации в конференц-зале Исполкома МСПС и снискали отнюдь не равнодушный приём.

Кажется, нам были искренне рады. За накрытым к встрече фуршетом мы лично познакомились с авторами «ДиН», с которыми прежде были знакомы лишь заочно, и приветствовали старых друзей — Москва прирастает друзьями. Это факт.

А на следующий день главный редактор журнала «Контрабанда» Алексей Караковский пригласил нас в арт-кафе «Колония», которое находится практически в самом центре Москвы, в одном из помещений на первом этаже громадного краснокирпичного здания — шоколадной фабрики «Красный октябрь». Сразу скажу (чтобы не снижать подобными высказываниями градус дальнейших бесед) — там *такой* кофе! и *такое* пиво! и *такие* сэндвичи! что только ради них я, не задумываясь, проделала бы снова путь от Красноярска до Москвы — в сравнении с затратами на авиабилеты стоимость предлагаемых в «Колонии» яств вполне приемлема для кошелька средней упитанности.

Занимательная культурология

Кафе «Колония».
Алексей Караковский. Марина Саввиных.

М. С. Алексей, расскажите, пожалуйста, о Вашем журнале «Контрабанда». Почему вдруг — «Контрабанда»?

А. К. Наверное, мы искали просто какое-то подходящее хулиганское слово, которое каким-то образом могло охарактеризовать наши планы. Тем более, мы много чего делали исподволь, много придумано на форуме в Липках. Компания была отнюдь не стихийная, она была заранее очень тщательно подобрана, и Фонд Филатова позвал всех этих людей целенаправленно. Было что-то такое вроде тайного совещания, тайной вечери. Ну, а в дальнейшем журналисты отрывались уже на том, чтобы как-то истолковать это название… и в последнее время трактовка музыкального журналиста Ильи Морозова мне очень импонирует. Он считает, что мы «контрабандой» доносим до общества и отдельных людей — я вообще склонен думать, что мы работаем, скорее, для отдельных людей, чем для общества, — наши ценности и информационную среду, которая сейчас не на виду, которая спрятана где-то очень глубоко среди потоков «жёлтой прессы». Он считает, что наша функция — чисто просветительская, образовательная. Такое вот «просвещение из подполья».

М. С. Это журнал литературный?

А. К. Он начинал как литературный. Но мы быстро пришли к выводу, что не стоит загонять себя в узкие рамки, и постепенно стали меняться; сначала мы чисто механически расширили рамки журнала, включив туда музыкальные разделы, посвящённые театру и кино, архитектуре даже. А потом в какой-то момент выяснилось, что основная задача журнала, в общем-то, — замечательно проводить время тем, кто его делает. Поэтому решили больше не стесняться и теперь пишем обо всём, что в голову придёт. Последний номер где-то на треть был посвящён проблемам педагогики.

М. С. Как Вы можете охарактеризовать тот круг, который выпускает «Контрабанду», потребляет «Контрабанду», живёт «Контрабандой»? что это за люди?

А. К. Сами «контрабандисты» — люди, в основном, состоявшиеся. У нас, в общем-то, всё есть. Маша Полянская — вполне себе удачная бизнес-вумен. Серёжа Савоськин разрабатывает какие-то сложные системы. Саша Холмогоров в офисе работает. У него тоже всё замечательно. Алексей Ануфриев — мой партнёр по издательскому бизнесу. Можно сказать, что мы — состоявшийся средний класс, которому просто захотелось удовлетворить свои интеллектуальные потребности.

М. С. Есть ли какие-то традиции, на которые вы опираетесь?

А. К. Сплошь. А есть ли предшественники? Предшественники как таковые — это мои предыдущие проекты. В каждом из них содержалось многое из того, что здесь аккумулировано. В каждом журнале обязательно есть подборка афоризмов Андрея Налина, у которого есть свой сайт andrenalin.ru. Этот сайт полностью выстроен в эстетике афоризмов, которые идеально подходят под концепцию «Контрабанды». Со стороны кажется, что общего много. Что одно

выросло из другого. А на самом деле, это самостоятельные параллельные явления. Когда мы собираемся вместе, каждый привносит свою собственную эрудицию, своё чувство юмора, свой вкус и даже то, над чем можно смеяться. В принципе, у всех есть какие-то особенные фишки. Я, например, очень люблю обсуждать что-нибудь из музыкальной тематики, что, в общем, не удивительно, или богословское—я в этом разбираюсь. Маша Полянская обожает тонкие шутки на тему эротики. Если Лёша Ануфриев принимает участие, периодически бывают меткие шутки по поводу ислама.

М. С. Но ведь это культурология! «Занимательная культурология»…

А. К. Да, культурология. Мы, по сути, все в той или иной степени культурологи. По образованию, роду деятельности. Савоськин, если не ошибаюсь, технарь по образованию, ходит с русско-венгерским разговорником и постоянно нас грузит на тему того, как там всё здорово… в финно-угорской группе языков.

М. С. А какие ещё проекты есть у Вас, кроме журнала «Контрабанда»? ведь Ваша деятельность не сводится только к этому?

А. К. Да, у нас постоянно идёт культурная жизнь. Я думаю, это как раз секрет нашего долголетия. Нам не надоедает заниматься тем, чем мы занимаемся, потому что мы постоянно переключаемся с одного на другое. Мой личный проект—рок-группа «Происшествие». Каждый наш концерт увязывается либо с презентацией «Контрабанды», либо ещё с каким-то культурным событием, которое мы же, как правило, организуем. Так вот, даже в группе «Происшествие» только один-единственный человек не является автором журнала, все остальные так или иначе там публиковались. В частности, наш барабанщик Саша Умняшов перевёл книгу Грэйла Маркуса, посвящённую истории контр-культуры. Эта книга сформировала нашу точку зрения—вне контекста журнала. Фестиваль «Пересечение границ», у которого есть свой культурологический смысл. Я считаю, что поэзия в чистом виде смысла лишена. Поэтому надо её либо помещать в определённый контекст, и тогда этот смысл начинает в ней активизироваться под воздействием какого-то реагента, либо помещать её в какую-то сложную конфликтно-психологическую среду. Этой причиной, мне кажется, обусловлено то, что сетевая поэзия на определённом этапе была очень хороша именно потому, что там была постоянная ругань. Люди себя держали на определённом уровне. Сейчас, когда ничего такого не происходит, уровень закономерно упал. В общем, «Пересечение границ» было придумано именно с целью задать темы и посмотреть, что из этого получится. Получилось неожиданно удачно. В основном, за счёт тех ребят, которые отношения к литературе не имели. Приезжали интересные люди, путешественники, рассказывали о местах, где они бывали, были музыкальные группы на этих фестивалях, художники, фотографы, кинорежиссёры. И вот, когда эта «движуха» пошла, выяснилось, что на самом деле все поэты, помимо того, что пишут стихи, удачные, неудачные, не имеет в данном случае значения, они, оказывается, ещё очень интересные люди. И это как раз и вышло на первый план. Я считаю, что эта идея действительно того стоила.

Что ещё? Недавно мы завели record label, то есть студию, которая выпускает диски. Мы собираемся заниматься рок-музыкой и авторской песней. Планы пока не вполне ясны. Но это будет нечто иное, по сравнению с фестивалем «Пересечение границ». Это будет ближе к журналу «Контрабанда». У нас достаточно смелые шутки на политические темы, так что label у нас будет… с гражданской позицией…

М. С. Алексей, что ещё Вы хотели бы сказать читателям нашего журнала? Молодым людям, которые его читают и в него пишут. У нас же журнал тоже такой… он очень внутренне «полярен». Мы даже думаем, а не покрасить ли его страницы—пополам… чтобы так и было—«день и ночь». На белых страницах что-то такое традиционное… а на серых—авангардно-молодёжное. Вроде того, что делает «Контрабанда».

А. К. О, я бы не сказал, что «Контрабанда» молодёжная… мы занимаемся вполне традиционным юмором, просто несколько без башни… потому что мы люди такие. Молодёжь? Да, у нас есть несколько талантливых девочек и мальчиков в районе двадцати лет. Но основные организаторы старше—мне 32, Маше Полянской, если не ошибаюсь, 44, все остальные находятся посередине. А старшее поколение у нас—это Ковальджи, ему 80 лет. По поводу вашей дизайнерской идеи… мне кажется, лучше оставить, как есть. «День и ночь» заявлен как журнал для семейного чтения. Пусть так и будет. Он, по-моему, сейчас идеально соответствует этой концепции. Что касается советов, то надо, во-первых, довериться интуиции; во-вторых, не бояться простоты. Я отчётливо вижу тенденцию, которая меня не радует: литераторы как люди культурные и эрудированные любят показывать свой ум, из-за чего и произведения с повышением мастерства становятся совершенно неудобоваримыми. Их никто, кроме литераторов, читать не может. Поэтому, чего тут удивляться, что литераторов больше, чем читателей?

М. С. Хочу написать статью, которая называлась бы «И снова о прекрасной ясности».

А. К. Вот-вот-вот… Мы опубликовали в последнем номере «Контрабанды» переводы американского поэта Шелла Силверстайна, который пишет примитивные стихи, очень часто на уровне плинтуса,—и всё это рассчитано на подростков-старшеклассников. Там есть золотые слова, что Силверстайн вернул американским детям любовь к чтению. Ну, так я думаю, это не самый худший пример американской литературы.

Всё это время Алексей, как ребёнка, держал на коленях гитару, которая, наконец, завздыхала. И мы услышали песни. Вот такие:

На станции Тайга

На станции Тайга всю ночь стоят составы,
На станции Тайга ветер рвёт провода,
Внутри меня война, ведь ты вчера сказала:
«Убей в себе врага, убей в себе врага!»

В этих ссыльных краях ускользнуть не удастся,
И нет смысла брать в плен, мы и так здесь в плену,
На морозе любовь примерзает к пальцам,
Это танцы на льду, танцы мёртвых на мёртвом льду!

«Кан» значит «кровь»—как не знать это слово татарам,
Чьи кольчуги ржавеют на дне сибирской реки,
А могила—ну что ж, просто слишком тесные нары,
А побег—что побег, вся наша жизнь вопреки.

Станция, впереди станция железной дороги,
Горят фонари. Представляешь, горят фонари!
Включение света означает рефлекс тревоги,
Внимательнее смотри, внимательнее смотри!

Мне хочется стрелять, когда ты твердишь о мире,
Зовёшь в штабной вагон, манишь из-за спины,
Для тебя боевой офицер—
сексуальная фантазия в съёмной квартире,
Но когда нас убьют, ты примешь условия этой войны!

На станции Тайга всю ночь стоят составы,
На станции Тайга ветер рвёт провода,
Качается фонарь в руке комиссара,
Я готов ко встрече с тобой,
Спеши, мой враг, спеши сюда…

Северная земля

(Катерина читает письма)

1.

Герхард Меркатор был, без сомненья, прав:
Северный полюс—воронка ко дну Земли,
Так размышлял средь фламандских он древ и трав,
Гиперборея мерцала ему вдали.
Чтобы пометить полюс, есть ориентир—
Чёрный магнитный Rupes Nigra, скала,
Значит, надо за Камень продвинуть фронтир,
За древний Камень русских, и все дела.

2.

В воскресенье в саду оркестр начинает играть с утра,
И ухаживают за барышнями юнкера,
Мариинской гимназии дамы строят слишком суровый вид,
И лишь только Катюша одна у окна сидит.
Катерина читает письма, в этих письмах который год
Терпит бедствие в водах Арктики самолёт.
За штурвалом сидит небритый и отчаявшийся человек,
Катя любит его, но не может послать привет.

Под обрывом чернеют камни, за рекою столетний лес,
Катя точно не хочет быть героиней пьес.
Всем по вере, но наши церкви сплошь построены на крови:
Храбрость девочки—плод отчаянья и любви.
Катерина читает письма, на душе места нет от слёз,
Между слов проступают знаки сигнала SOS.
Через месяц расстрел Гумилёва, через строчку финал стиха,
Кате ищут уже подходящего жениха.

3.

А ветер доносит обрывки слов, и кто-то
Трогает так нежно за рукав,
Я помню наш город и эту осень,
Твои волосы так вьются у виска.
Я жду тебя, любимая, пока
Не замёрзли моторы.
Я знаю, подо льдом живёт земля,
И это будет нескоро…

4.

Чудес не бывает. Советская власть
Их запретила специальным декретом.
Когда Бога нет, жизнь можно украсть
И ехать на Юг по подложным билетам.
Но сердце—его невозможно понять,
Рычаг на себя как возможность остаться:
Ему двадцать пять, и ей двадцать пять,
При расставании было шестнадцать.

Освоена тундра. Вчерашний герой
Боролся со льдами, теперь он на зоне.
По следу полозьев ушла за крупой,
Любимый приснился, он в Божьих ладонях,
На Севере старость нет сил долго ждать,
Зато её срок наступает надолго.
Ему двадцать пять, навсегда двадцать пять,
На что же ты, Катя, надеялась только…

Проходят года. Утопический рай
Отчётливо видится в северных льготах,
Она часто плачет. Ложись, помирай,
И будешь с любимым, и в тех же широтах.
Но самое страшное—это кино,
Там так всё прекрасно, что хочется сдохнуть,
А жизни осталось всего ничего,
И в поисках звуков открытые окна.

5.

Нету пульса в радиоточке,
На уме нерождённая дочка,
За торосом полярная ночь.
А страна обещает награды,
Только мне их награды не надо,
Я хочу тебе как-то помочь.

Мы останемся в выкриках чаек,
Мы уже не придём за вещами,
Мы с рождения знаем маршрут.
А я хотел подарить тебе чудо.
Но над миром, Бог знает откуда,
Раскрывается парашют…

6.

Летним утром смеются дети, тёплый дождик едва прошёл,
За окном жизнь проносится просто и хорошо.
Наша Катя не ждёт спасенья и не ходит в обычный храм,
Пережив две страны, привыкаешь к иным мирам.
Катерина читает письма, текст знакомый у самых глаз,
Выпускное платье гимназии опять в самый раз.
Видно, скоро уже свиданье, первый выход—и навсегда…
Этой ночью над льдами зажжётся ещё звезда.

Кофе, символы, слова

Пока мы беседовали с Алексеем, в кафе то и дело входили люди, заказывали кофе и сэндвичи, слушали, чего мы там толкуем и поём,—и видно было, что пребывать в потоке артистической жизни—для них вещь, совершенно естественная. Ведь «Колония»—не просто точка общепита, это и художественная галерея Игоря Кормышева, и библиотека, и литературный салон… Когда хозяйка кафе Мария Полянская присоединилась к нам, я и к ней пристала с вопросами.

М. С. Мария, расскажите, пожалуйста, о своём заведении. Оно нам очень понравилось. Очень уютно, приятные лица у посетителей. Всё сделано для того, чтобы человек, который интересуется искусством или как-то чувствует себя к нему причастным… чтобы ему было хорошо.

М. П. Очень приятно, что вам здесь хорошо. И что хорошо людям, относящимся к той категории, о которой Вы говорите. Здесь все бывают—от рок-певцов до писателей, художников… все, кто интересуется искусством. Идея этого заведения сначала возникла у Игоря Кормышева. У него всегда была мысль как-то совместить форматы. До этого у нас уже была галерея, а тут мы решили сделать кафе, пусть будет так: произведения искусства, а потом хочется сесть, обсудить—с людьми своего круга. И мы, конечно, рассчитывали на то, что такая атмосфера здесь будет. «Колония»—это кофе. Это бренд Игоря. Чай, кофе… колониальные товары для России. Кофе. Символы. Слова. Символы—это картины. А слова—это мои книги. Эта формула—она у нас в первой книге ещё отразилась. «Чужестранка». Слова—Мария Полянская. Символы—Игорь Кормышев.

Кофе. Символы. Слова. Эта формула уже всё предопределила. И это заведение. И то, что мы здесь проводим мероприятия, литературные и художественные…

Мы поняли, в конце концов, что спасение утопающих—дело рук самих утопающих. Я даже не беру культурную составляющую…тут такое историческое место, приятное, намоленное… Я знаю историю «Красного октября», знаю историю этой фабрики, в детстве нас сюда водили на экскурсии… здесь так пахло шоколадом! В цех мы приходили, и я думала: как они работают, когда вокруг столько шоколада? И нам давали конфеты… Помните, в семидесятых, когда в магазинах ничего—и конфеты с «Красного октября»… «Мишка», «Белочка»… мы могли взять столько, сколько хотим… там бракованные лежали в чанах… и мы гордились: такое богатство несёшь домой! Это место все помнят. Здесь, кстати, в своё время был закрытый кинотеатр, где показывали кино на английском языке. Для тех детей, которые учились в английских школах. Я здесь смотрела английское кино. Помню очень хорошо, как нас сюда водили… Эта атмосфера идеально легла. Люди знают, что у нас здесь можно посидеть, поговорить, пообщаться. Можно застать художника за работой. Алёша здесь поёт. «Контрабанду» мы здесь пишем. Но при этом вход остаётся открытым. Пожалуйста, люди заходят. Кто-то хочет посидеть. Некоторые просто заходят ради атмосферы. Мы тут дни рождения справляем, всякие семейные праздники—и не закрываем кафе. Просто заходят люди—а мы не помешаем?—Да нет. Это ведь тоже очень специфично. Люди, которые к нашему кругу не относятся, сюда не заходят. Наталья, жена Лёши, здесь поёт. Как она пела недавно! Потрясающе! Я всё надеюсь, что Наталья начнёт у нас петь регулярно. Что она будет устраивать камерные вечера. Вместе с Алексеем. Это будет наша визитная карточка. Они будут петь, будут приходить люди. Они когда начинают здесь петь, тут же люди приходят. Мы поём и читаем… здесь можно читать стихи и при этом не бояться, что окружающие будут неодобрительно смотреть, смеяться… у нас сейчас появился новый формат «Октябрятская толкучка». Это вот как раз спасение утопающих. Мы на многих площадках на «Красном октябре» организуем мероприятия типа eatducation. Это, в основном, конечно, рестораны, кафе, но там проходят мастер-классы, какие-то лекции. У нас каждый час расписан. С двенадцати до вечера у меня расписаны галерея, кафе, приходят волонтёры, помогают всё это организовывать. Приходят талантливые люди. Мы здесь литературные презентации делаем. Люди сидят и слушают, как читают стихи. Бывает, яблоку упасть негде. Ну, где ещё найдёшь такое место, где можно за одним столом с хозяином посидеть, побеседовать, поговорить об искусстве, посмотреть картины, перформансы… Игорь делает потрясающие перформансы. Всё это—такая жизнь. У нас кафе—живое. И это требует постоянного нашего присутствия. Нельзя уйти и оставить управляющего: дескать, ты тут всё организовывай. Это уже будет история «про еду». А у нас здесь—не «про еду». А про кофе, про символы и про слова.

М. С. Мы привезли свой журнал… несколько экземпляров. Если кто-то захочет взять—пусть люди берут, знакомятся.

М. П. Спасибо большое. Вы заметили—у нас много литературы лежит на столах. Люди берут читать. Бывает, подходят—набирают гору книг и журналов, садятся и смотрят. Многие говорят: мы будем к вам ходить читать.

…Звучала негромкая музыка; негромкие разговоры за соседними столиками… иногда коротким грохотом напоминала о себе кофемолка… пахло чем-то непередаваемым, горьковато-пряно-сладким… И было так приятно смотреть на уверенную в себе, свободную, умную и очаровательную молодую женщину, поддерживать интеллигентную, но лёгкую беседу и—чувствовать себя «в своей тарелке». Как давно уже не было…

От Волхонки до Чистых Прудов

Максим Лаврентьев, главный редактор журнала «Литературная учёба», в день нашего отъезда зашёл

за нами в ресторанчик у Курского вокзала, где мы обедали, и увлёк с собой по маршруту, освоенному им… как собственные стихи. Впрочем, оказалось, что это вовсе не беспочвенные фантазии восторженной экскурсантки, которую ведут по тайным тропам неисчислимых исторических перипетий. Стихи действительно есть! Целая поэма. Её строфами буквально схвачено наше недолгое, но увлекательное путешествие по весенней Москве — странно немноголюдной, пронизанной солнечным светом, овеваемой прохладным ветром, такой непритворно гостеприимной и такой ласковой… Вот эта экскурсия — слово в слово, разве что со сдвигом вспять дней этак на двадцать-тридцать!

Максим Лаврентьев

Кольцо

I.

Там, где на месте сталинской воронки
Поднялся вновь дебелый храм Христа,
Покинул я ту сторону Волхонки
И перешёл на эту неспроста:
Признаюсь вам, в Российский фонд культуры
Я нёс бумаги для какой-то дуры.

II.

И опоздал, конечно. (Как назло
Всё время попадаю в передряги!)
Обеденное время подошло.
Ну что ж! Охранник передаст бумаги.
Пускай она заслуженно поест,
А мне пора освободить подъезд.

III.

Вот спуск в метро. Но день такой весёлый,
Что захотелось погулять, как встарь.
Так, помнится, пренебрегая школой,
Бродил я здесь. И тоже был январь.
Бассейн ещё пыхтел клубами пара,
Но полз троллейбус так же вдоль бульвара.

IV.

Покаявшись за прошлые года,
Зима повсюду сделала успехи.
Лопатами крошили глыбы льда,
Сгребали снег бесстрастные узбеки.
А дальше впереди бульвар был пуст
И гулко отдавался снежный хруст.

V.

Направо поперёк бульвара лодка
Дурацкая привычный портит вид.
А в лодке, словно за неё неловко,
С собой несхожий Шолохов сидит.
И, опасаясь новых козней вражьих,
Налево убегает Сивцев Вражек.

VI.

А вот и Гоголь. С ним произошла
Лет шестьдесят назад метаморфоза:
Измученного лицезреньем зла
Сменил здесь бодрячок официоза.
Прилизан и дипломатично сер
Сей дар Правительства СССР.

VII.

С верблюдом про себя сравнив кого-то,
Кто сплюнул под ноги на тротуар,
Я обошёл Арбатские Ворота
И на Никитский выбрался бульвар.
Он и у вас не вызвал бы восторга:
Театр скучнейший да музей Востока.

VIII.

Иное дело милый мой Тверской!
Да, потрудились тут, обезобразив
Бульвар старинный заодно с Москвой.
Но всё ж малоприметен Тимирязев.
И лишь Есенин, точно Командор,
Кидает сверху вниз нездешний взор.

IX.

Вокруг него собранье пёстрой шоблы.
Седые панки квасят без конца.
Скамейки оккупировали коблы.
Ни одного нормального лица!
Но эти морды наглые, косые,
Рифмуются с таким певцом России.

X.

Мелькает за оградой старый дом,
Чьи стены для меня всего дороже.
Должно быть, то Эдем или Содом,
Что для иных почти одно и то же.
Какие люди отрывались тут!
А я — я приходил в Литинститут.

XI.

Хотя какая к чёрту alma mater!
Мы разошлись, как в море корабли,
Но, вероятно, пересох фарватер,
И вот сидим и ноем на мели.
Уж лучше бы строчить нас научили
Для заработка — в день по доброй миле.

XII.

Нет, нет, шучу! Спасибо и за то,
Что мне профессор объяснил толково
(А он был дока и большой знаток):
Поэзия — не вычурное слово,
Прозрачность в ней важна, и глубина:
Хоть видно камни — не достать до дна.

XIII.

А вот и ты, чей образ богатырский
Оправдан в опекушинской броне.
Хоть мне гораздо ближе Боратынский,
Но ты его сильней, ясней вдвойне.
И вижу я в конце дороги торной
Твой памятник — другой, нерукотворный.

XIV.

Гораздо больше облик изменён.
Венок лавровый, на плечах гиматий.
В руках — ещё с эпических времён —
Кифара для возвышенных занятий.
Три Музы возле ног твоих. И кто?
Евтерпа, Талия и Эрато!

XV.

Возможно, это подползает старость.
Я на ходу стал забываться сном.

И обратил внимание на странность,
Когда вдруг поскользнулся на Страстном:
Как тонет графоман в своём экстазе,
Тонул бульвар в сплошной весенней грязи.

XVI.

Неужто на Тверском была зима?
Здесь под деревьями чернеют лужи.
Я помешался? Мир сошёл с ума?
Невозмутим Рахманинов снаружи.
Вот он сидит ко мне уже спиной,
Прислушиваясь к музыке иной.

XVII.

Ну что ж! Займусь и я своей поэмой.
Пойду вперёд. А что там впереди?
Бульвар Петровский и — отдельной темой —
Цветной бульвар. Вперёд! Нет, погоди.
Чуть не забыл готового к аресту
Высоцкого. Хотя он здесь не к месту.

XVIII.

Итак, Петровский. Он почти что пуст.
Отсюда в незапамятные годы
К реке Неглинной начинался спуск.
Теперь её обузданные воды
Заключены в трубу, под землю, вниз.
Речные нимфы превратились в крыс.

XIX.

А в «Эрмитаже», где едал Чайковский,
Где Оливье свой изобрёл салат,
Сегодня в полночь будет бал чертовский —
В подвалах пляска Витта, маскарад.
Для этого арендовали бесы
Театр «Школа современной пьесы».

XX.

Шучу! Мне просто жалко ресторана,
Что был когда-то в доме угловом.
Хотя жалеть его довольно странно:
В одном он веке, я — совсем в другом,
И здесь не гибнут в похоронной давке
(Смотри на цифру следующей главки).

XXI.

Ах, на Цветном так много лиц весенних!
Ведь по Цветному бродит молодёжь!
Разбойничье тут светится веселье
В глазах потенциальных мародёрш.
Но, как ни хороша иная дева,
Пойду опять вперёд, а не налево.

XXII.

За Трубной начинается подъём.
Рождественский бульвар шатнулся пьяно.
В эпоху культа личности на нём
Была квартирка Бедного Демьяна.
А прежде, верно, ошивался тут
Ещё какой-нибудь придворный шут.

XXIII.

По Сретенскому прогуляться мало.
Короткий он, да и потребность есть
Здесь, на остатке городского вала,
Под чахленькими липами присесть.
Не так легко таскаться по бульварам,
А в этот раз — и рифмовать, задаром.

XXIV.

. . . .

XXV.

Под «Грибоедом» затевают шашни
(И неслучайно: тут невдалеке
Вознёсся фаллос Меншиковой башни).
Друг друга дожидаются в теньке
И, быстро разобравшись в обстановке,
Идут по Чистопрудному к Покровке.

XXVI.

Пойду и я. На лебедей взгляну
В пруду продолговатом, что по данным
Анализов, опять, как в старину,
Пришла пора именовать поганым;
Не размышляя «быть или не быть»,
Куплю себе чего-нибудь попить.

XXVII.

Воспоминаний серое пальтишко
Я скину к чёрту и помчусь вперёд,
Туда, где ждёт уже другой мальчишка, —
Туда, на площадь Яузских Ворот.
И с веком наравне отправлюсь дальше,
В Заяузье, в Замоскворечье даже.

XXVIII.

Век двадцать первый! Не шали, малец!
По-нашему, ты пятиклассник типа.
Не столь суров, как страшный твой отец,
Но выковырял штамм свиного гриппа.
И всё же ты — чему я очень рад, —
Enfant terrible, а не акселерат.

Пушкинские интонации этих очень современных по духу и очень точных по инструментовке ямбов задели академические струны моей истерзанной верлибрами души — и я решилась, наконец, попытать Максима вопросами, не относящимися к нашей прогулке…

М. С. Существует мнение, что в последние несколько лет наметился некий «Ренессанс» литературной критики. Так ли это, на Ваш взгляд? Насколько состояние современной критики отвечает реалиям насущного литературного процесса? Можете ли Вы назвать имена самых значимых для этого процесса персон (имеются в виду критики и литературоведы)?

М. Л. Начну с имён. Мария Ремизова — лауреат премии им. Белкина, сотрудник журнала «Октябрь», Анна Кузнецова и Евгения Вежлян из «Знамени» (говорят, последняя ещё и не без успеха ведёт семинар критики в Институте журналистики и литературного творчества), Игорь Фролов из «Бельских просторов», Сергей Беляков из «Урала». Непререкаемые «новомировцы» Ирина Роднянская и Владимир Губайловский. Алёна Бондарева, публикующая в последние месяцы острые обзоры журналов в «Литературной России», Андрей Рудалев, Кирилл Анкудинов, Михаил Бойко… Безусловно, вся экзокритическая группа «ПоПуГан» (Елена Погорелая, Валерия Пустовая, Алиса Ганиева).

Назову ещё двоих, только входящих в литературу: Екатерина Ратникова и Борис Кутенков. Борис, публикующийся в том числе и в «ДиН», весьма, по-моему, неординарно мыслящий автор. Есть и другие, не менее интересные критики, а литературоведов — хоть пруд пруди! В иной ситуации все они, напрягшись, пожалуй, могли бы сделать погоду в литературе. Да и не только в ней, ведь литература обособлена лишь в профессиональном смысле, а её воздействие должно бы по идее распространяться гораздо более широко. Но справедливо ли будет говорить о каком-то особом ренессансе критики, если она всё же не самостоятельный жанр, а в первую очередь зависима от современной ей литературы? Не хочу присоединяться к хору нытиков, но и мне, как многим, кажется, что русская литература (я имею в виду только худ. лит., а не нон-фикшн) сейчас в упадке, и дело не в тиражах и не в количестве наименований на полках московских книжных магазинов, а в том, что в ней возобладала чуждая, категорически противопоказанная ей эстетика телесного низа. Причины случившегося глобальны и, в общем-то, слишком известны, чтобы вновь распространяться здесь о них.

М. С. Журнал, которым Вы руководите, называется «Литературная учёба».

На протяжении многих лет (а я читаю его с 80-х годов) он действительно напрямую отвечал нуждам литературного образования — по крайней мере, в той его части, которая ориентирована на подготовку профессиональных прозаиков, поэтов, публицистов. Помню виртуозные разборы произведений начинающих авторов, которые печатались на страницах «ЛУ». Для многих они становились ориентиром в формировании оценок как чужих текстов, так и собственных, подталкивали совершенствоваться в авторедактировании… Как Вы думаете, оправдано ли — экономически и институционально — образование, направленное на становление профессиональных литераторов? Проще говоря, кому нужен Литинститут и ему подобные учебные заведения? Что это такое сегодня? Насколько востребовано такое образование обществом? Изменился ли студенческий контингент и в какую сторону? Об этом много говорят… (и комплиментарно, и резко критически) — какова Ваша позиция по этому вопросу?

М. Л. В четвёртом и пятом номерах «Литучебы» за 2010 год мы давали довольно обстоятельный опрос современных литературных деятелей под общим заглавием «Литературный институт: pro и contra». Формальным поводом послужили известные публикации в «Литературной России». С аргументами за или против Литинститута выступили Виктор Топоров, Вера Калмыкова, Сергей Самсонов, Роман Сенчин, Сергей Арутюнов и многие другие. Тогда я воздержался, а теперь, пожалуй, выскажусь на эту тему.

Профессиональное образование литератору, на мой взгляд, совершенно необходимо. Некоторым кажется, будто бы овладения элементарной грамотностью и некоторой начитанности вполне достаточно, чтобы в два счёта накатать роман или поэму. Кто-то даже так и пробует что-то писать, не сознавая примитивности своих расчётов. Но литература всё же является не меньшим искусством, чем музыка или живопись, и перспектива одолеть в ней всё с наскока — типичный самообман дилетанта. Литературный язык — инструмент ничуть не менее сложный, чем, допустим, фортепиано, будущему виртуозу потребуются годы учения. Тем более, если конечная цель не «чижик-пыжик», сыгранный двумя пальцами.

Другое дело, что высшее учебное заведение, нечто вроде литературной Консерватории, должно, на мой взгляд, совсем иначе подходить к решению многообразных проблем воспитания будущих асов словесности. Разве молодые пианисты или скрипачи посвящают занятиям по специальности лишь пару часов в неделю? Между тем студентам Литинститута для двух-трёхчасовых семинарских занятий отведён только вторник. Семинары чудовищно переполнены. При этом действительно талантливых, перспективных студентов — считанные единицы. И никто ими всерьёз не успевает или не желает заниматься. Практики они тоже не проходят толком никакой. Да и что могут им дать руководители семинаров, люди, в основном, крайне пожилого возраста? Большинство из них сами уже десятилетиями не принимают никакого участия в литпроцессе.

Такой Литературный институт, по-моему, совершенно не нужен. Даже вреден, потому что обольщает молодых близостью к большой литературе, но не даёт им в сущности никакой профессии. Таким образом плодится только озлобленная голь и нищета. И ведь из-за таких вот недопечённых «литературных работников» литинститутский диплом теперь вообще ничего не значит, даже если он был получен десять, двадцать, тридцать лет назад.

М. С. Разумеется, нас интересует судьба «ЛУ». Что ждёт журнал в ближайшем будущем?

М. Л. В ближайшем будущем (во всяком случае, когда будет опубликовано это интервью) у журнала появится новый главный редактор. Дальнейшая судьба этого издания мне, разумеется, неизвестна, но могу предположить, что произойдёт возврат к состоянию 2008 года, когда «Литературная учёба» существовала уже более пятнадцати лет практически вне литпроцесса. О журнале попросту все забыли. В таких условиях мне и пришлось начинать работу, результаты которой были, в конце концов, кое-кем замечены и оценены. Мне говорили, что вот появилась-де некая живая альтернатива сухо-академическим «Вопросам литературы». К сожалению, за время почти трёхлетней работы удалось немногое. Например, сделать журнал «местом силы», широкой площадкой для новой критики я так и не смог. Дело в том, что в «ЛУ», пользуясь до боли знакомой терминологией, надстройка совершенно не соответствует

базису. О своих проблемах плакаться не буду, скажу только, что каждый номер собирался буквально каким-то чудом. Поработав в «Литгазете» и достаточно понаблюдав за другими редакциями, могу авторитетно заявить: ни одно издание подобного уровня не могло бы просуществовать в таких условиях и полугода! «ЛУ» и меня всё же хватило на большее. Я слышал о желании владельца наполнить журнал подростковой литературой. Не представляю, как это удастся сделать без необходимых средств, но всё-таки желаю успеха.

М. С. Как Вы думаете, вернётся ли русская литература к традиционной для себя миссии духовного поиска, нравственного подвижничества, а русские писатели — к необходимости быть «инженерами человеческих душ»? А главное — нужно ли это? И если нужно — то кому? А если вернётся, то есть ли уже симптомы, какие-то признаки этого движения?

М. Л. Русская литература никогда и не прекращала этой своей миссии. Да, в ней временно возобладали, как я уже говорил, противоестественные для неё тенденции. Но ведь есть и не поддавшиеся, не продавшиеся писатели! Их не так уж много, их, как всегда, единицы. Не нужно искать их среди воинствующего андеграунда или между так называемыми патриотами, чаще всего, просто малокультурными мракобесами. Но вот они-то, эти единицы, и продолжают миссию русской литературы. Я, например, знаю одного очень крупного прозаика. В советское время он принципиально не печатался — не хотел, так сказать, сотрудничать с режимом. Не то чтобы как-то «диссидентствовал», а просто жил своей особой жизнью, имевшей мало общего с реальностью строителей коммунизма. Только такой жизнью, полагаю, и должен жить настоящий художник. Так вот. Когда Союз развалился, одних мерзавцев у власти сменили другие. И лизоблюды, подъедалы от искусства тоже сменились. Одни перегрызли других. Что же сделал наш писатель? Продолжил жить своей параллельной жизнью — до лучших времён. И знаете, даже если эти «лучшие времена» настанут через двадцать, сто, пятьсот лет, только у таких писателей и будет шанс «воскреснуть» тогда в своём тексте, ибо это именно их рукописи не горят.

Неужели новые герои?

Уже в гостинице, пакуя к отъезду сумки, я не могла отделаться от мысли, что нынешние московские встречи объединены для меня какой-то важной темой. Не зря дома, накануне, я ввязалась в Интернете в споры, инициированные Экспериментальным творческим центром. Не зря ломала копья с его красноярскими активистами.

Предчувствия меня не обманывают… атмосфера заметно электризуется. И растущий магнетизм социального пространства всё сильнее притягивает нас друг к другу. Нас. То есть — средний класс… Пусть — в довольно-таки нетривиальной его модификации. Но всё же.

Жизнь без героев? Вспоминаю встревоженный голос Владимира Алейникова, несколько раз звонившего мне в аэропорт, — договориться о встрече. Встретиться не удалось: здоровье поэта подорвано годами мытарств и отчаяний; накануне был трудный день — и Владимир Дмитриевич от волнения всё-таки слёг. Спустя несколько суток — он уже писал мне из Коктебеля. Великолепные в своей классической ясности стихи — не итожащие судьбу, отнюдь! Насыщенные тем самым предгрозовым электричеством, которое побуждает нас пробовать на прочность и понемногу трансформировать мир вокруг себя. Вспоминаю Наташу Слюсареву, её хорошую улыбку, её квартиру, наполненную рукотворными чудесами (художница, переводчица и писатель — она причастна творчеству далеко не косвенно и, кажется, ко всем его мыслимым метаморфозам), изысканный ужин, который она приготовила для нас с Мишей… а мы задержались с визитом чуть ли не на шесть часов! Не по своей вине, конечно… но до сих пор неловко, что она так долго нас ждала. При этом — с её стороны — ни тени раздражения или упрёка. Только радость и готовность к общению…

А те, кто моложе? Вспоминаю Алёшу Караковского, Серёжу Арутюнова, Максима Лаврентьева, Машу Полянскую… наконец, неутомимого подвижника, который иногда представляется мне прямо Зевсом каким-то Олимпийским, Женю Степанова… Это — новые люди! Много и толком знающие, внутренне свободные, бесстрашные, целеустремлённые… словно специально вызванные к активности вот этой предгрозовой метафизикой, которая явно и неявно питает их своей энергией. Очень разные. Трезвые (иногда — до мрачного сарказма). Ироничные (иногда — до откровенного «стёба»). Без эгоцентрических предрассудков (что, пожалуй, самое главное). Но и без наивных упований на всесилие жизненного самотёка. Умеющие делать дело. И то, которое «бизнес». И то, которое — «благо».

При этом — очень живые, очень сложные… Очень люди.

Становится легче дышать при мысли, что они есть.

Нас не так мало, как может показаться среднестатистическому телезрителю или обозревателю блогосферы. И, в общем, ничего, что между нами чаще всего — сотни и тысячи километров физического пространства.

Мы найдём друг друга. Мы возьмёмся за руки. И тогда…

21 апреля–8 мая 2011 г.
Москва–Красноярск

Дмитрий Косяков

Традиционное и актуальное как опознавательный код

Очень часто приходится слышать, что люди делятся по принадлежности к той или иной культурной традиции. Считается, что тот, чьему сердцу милы звуки балалайки, никогда не сможет понять того, кто предпочитает волынку или тамбурин. Конечно же, дело не в одних только музыкальных инструментах, к ним прилагается определённый костюм, конкретная литературная традиция, язык, стиль танца и т. д.

В этой связи самым страшным преступлением считается смешение культурных кодов. Например, шотландец в традиционном костюме, отплясывающий африканский народный танец, будет считаться осквернителем как шотландской, так и африканской культуры.

По сути эти воззрения являются отголосками цивилизационной теории. По культурным кодам человек определяет свою и чужую национальную идентичность, обретает спасительное чувство принадлежности к роду, воспринимающееся как суррогат бессмертия. Выказать неуважение к национальной культуре значит посягнуть на расторжение связи с предками, что для архаического сознания — табу.

Но, помимо традиционных видов творчества, существуют новые художественные направления, равно воспринятые населением разных стран. Их приверженцы так же ощущают единство с теми, кто разделяет их художественные вкусы, и зачастую с трудом находят общий язык с поклонниками других течений. Так, в своё время очень актуальным было деление молодёжи на «попсовиков» и «рокеров», доходившее порой до рукоприкладства. Академисты не так давно ещё презирали джазменов, джазмены свысока относились к блюзменам, блюзмены воротили нос от рок-н-рольщиков и т. д. Подобные вещи происходили и с живописью, и с кинематографом.

В чём же секрет? Дело тут не только в фанатичной преданности кумирам. Дело в том, что каждое новое направление в искусстве возникает в каких-то конкретных исторических обстоятельствах, питается определённой средой. Связь с этой средой интуитивно и ощущают люди посредством художественных произведений.

Например, на момент возникновения джаза и блюза — эта музыка являлась музыкой низов, передавала ощущения рядового рабочего, а высшие слои общества слушали исключительно академическую музыку. Таким образом, выбирая свой музыкальный стиль, рядовой меломан выбирал и ту социальную группу, с которой он себя ассоциировал. Со временем джаз сделался респектабельным стилем, «музыкой толстых», на чаянья молодёжи отозвался рок-н-ролл, который также постепенно растерял свой бунтарский дух и сделался доходным бизнесом. При этом с внешней стороны рок никак не изменился — он сохранил и резкость звучания, и агрессивность поведения артистов на сцене, и эпатаж. Но теперь все эти художественные средства служат совершенно противоположной цели: они не поддерживают нонконформизм и бунтарство молодёжи, не призывают к реальным переменам, а подменяют их. Человек, живущий в невыносимых условиях страха, неуверенности и давления, копит в себе агрессию, чтобы выплеснуть её в крике и толкотне во время концерта, а потом снова превращается в забитого и послушного обывателя и снова копит зависть, злобу и страх. В наше время быть приверженцем классического рока значит быть конформистом. Музыкой протеста стали ска и хардкор. Тем не менее, молодые люди при знакомстве первым делом всё ещё спрашивают друг у друга о музыкальных пристрастиях. Музыкальный вкус может многое объяснить в человеке: его литературные предпочтения, его гражданскую позицию, его жизненные цели, отношение к религии, к любви.

Так, любители хэви-метала склонны к потребительству и консерватизму; любители классики любят читать (нередко классику); поклонники БГ читают Пелевина, уважают творчество Сальвадора Дали; приверженцы панка настроены критически к государственному строю, не принимают полицейское насилие и культ потребления; фанаты психоделической музыки склонны к пацифизму; любители попсы внушаемы и несчастны в любви; любители хардкора воздерживаются от мясной пищи.

Конечно, на каждое правило найдутся и исключения. Ведь цепочка получается действительно довольно сложной: представители определённых социальных слоёв творят искусство, отражая в нём свой жизненный опыт, аудитория интуитивно вычитывает этот опыт и примеряет его на себя. В случае соответствия зритель / слушатель / читатель ощущает художественную правду произведения, получает удовольствие и проникается доверием к произведению, автору, художественному направлению. В дальнейшем он будет искать людей с похожим художественным вкусом, подозревая схожесть жизненного опыта и взгляда на вещи.

Таким образом, искусство может лишь служить намёком на социальное положение, жизненный опыт, взгляды и ценности человека, которые и являются подлинной причиной единства или разобщённости людей.

Николай Душка

Согрей безгрешных

1. Как я стал Шекспиром

Занесёт мысль попутным ветром, совсем юную, не замеченную раньше, с розовым румянцем. Встрепенёшься и запнёшься. Застынешь в изумлении—дашь слабину, и мысль улетела. И не вернётся больше. Ни физику, ни астроному не найти её. И даже закоренелому лирику. Поэтому, как явится она ненароком, лови её как-нибудь. Как сможешь. Душой лови. Или грудной клеткой.

Откуда они появляются—эти странники-мысли, странники-просветления? Приходят ли они к каждому или к избранным? Ещё вчера считалось, что к каждому, а сегодня, может, это уже в диковинку.

Я сидел там, где сижу сейчас, и внутри похолодело, покрылось инеем. Я забыл имя своей бабушки. Завертелись круги детства, бабушка там была на каждом шагу, но без имени: все называли её по деду. И я тоже называл её по деду.

Но если у бабушки не было имени, значит, оно ей было и не нужно. Как Шекспиру. Имя в её жизни ничего не значило. Холод превратился в хлад, а потом испарился. Но что-то осталось. Шевеление осталось.

Как выпала мне фамилия, известно доподлинно. Ехал через деревню, в которой жили мои предки, Пётр Великий. И дорогу ему перешёл человек с горбом. Перебежал прямо перед его конями. Ну ладно. Едет он дальше. И вдруг ему снова перебегает дорогу горбун, но уже другой. А может, этот самый. Может, он любил дорогу перебегать. Чуть под лошадей не угодил.

—Ты посмотри,—говорит Пётр соседу по сидушке, арапу своему,—как много в этой деревни горбунов.

—Это тот же самый,—возражает арап.—Он тут по делам мотается.

—А ты мне не возражай, ибо глаз мой—есть алмаз. А деревня эта отныне будет деревней горбунов.

И стали в этой деревне все Горбуновы. И соседи, и родня, и стар и млад, и ближний, и дальний. И уже все свыклись с тем, что фамилии у всех одинаковые, отличали люди друг друга иначе: Иван Болотный, Михаил Утятник, Фёдор Оглобля, а женщин называли по мужчинам. Пообвыклись.

Но тут через деревню едет Екатерина, тоже Великая. Лошади пыль поднимают или грязь месят, не записано. А её возьми да и укуси комар. За нос или за щёчку, ланиту по-ихнему. Кто утверждает—за нос, а кто клянётся—за щёку. Иногда до драки доходит.

—Как много здесь комаров,—речёт Екатерина.

—Один всего, матушка,—трепещет фрейлина.

—Велено не болтать. А деревня эта отныне будет деревней комаров.

И стали называть деревню Комарово, и те, кто захотел, стали Комаровыми, а те, кто не пожелал, остались Горбуновыми, потому что не хватило бумаги. Но оставались и Утятник, и Оглобля, а Болотных стало аж два.

Так и досталась мне фамилия Комаров, и хотя Оглобля и красивее, и звучнее, она нигде не записана, а больше никто через деревню не проезжал. Ну ладно, хоть Комаров, а не Горбунов, Горбунов как-то совсем обидно, хотя это в детстве было бы обидно, давным-давно, а сейчас—какая разница, всё едино, и не нужна мне никакая фамилия, она другим нужна, чтоб идентифицировать меня, или классифицировать по Ламарку, чтоб не путать меня с другими животными, то есть живущими, для обозначения единицы из ряда, действительной или мнимой, скорее мнимой, чтобы пометить мнительного человека, как-нибудь пометить, пока он не исчезнет из этого ряда, потому что исчезнет отовсюду. А мне эта фамилия ни к чему. Зачем она вообще нужна? К чёрту её, эту или другую, или пятую-десятую. Да имя тоже псу под хвост. Шелудивому псу.

Сам я себя никак не называю. А другие зовут—Иван. Такое всемирное имя: Иван, Джон, Бон, Ян, Вань, нормальное имя. Иван, родства не помнящий, прекрасное звучание. Может, кому и не нравится, не по душе. Ну что ж теперь? Менять, что ли? Для кого-то неизвестного, незнакомого и враждебного? Да ни в коем разе!

Родился ребёнок, и было большое веселье. Тут как раз праздник святого приближается, Ивана великомученика. Гулянка в разгаре. Самогон вкуснючий, настоящий, домашний, с тмином, с лазурью, сизо-небесного оттенка, вдохновляющий. А праздник Николы летнего только миновал. И проходит семейный диспут на означенную тему: как назвать ребёнка, Иваном или ж Николаем? Никто не знает, как правильно назвать. Бабушка говорит, что можно по-всякому, оба святые—приличные люди, и как ни назови, ребёнок будет счастлив, хоть Ваня, хоть Колёк. Но бабушке не поверили. Из большой бутыли отлили самогоночки и понесли батюшке, чтоб уточнить, как будет более верно, по божественному, Ванюшкой обозвать чадо или всё-таки Колюшком.

—А самогон-то испытан?—спросил для порядку священник.

—Не оторвётесь, батюшка,—подтвердила тётя, она лучше всех находила с батюшкой общий язык.

—Можно назвать и Николаем, и Иваном,—дал добро батюшка, и эту весть тётя принесла домой на своих собственных крыльях, потому что после

разговора со святым человеком у всех поголовно на какое-то время отрастали крылья. Потом же, очень скоро крылья усыхали и отваливались, потому что они сильно мешали повседневным хлопотам.
— Можно называть и Ванюшей, и Колюней! — огласила тётя благую весть, и обрадованные родители и родственники, и другие, сочувствующие радости появления ребёнка на свет соседи, а также случайно проходившие мимо во время праздника, а также те, кто прослышал о первенце — просто хорошие люди, выпили за то, что у этого нового человечка будет имя. Имя, как и водится в таких случаях, было поводом для радости, но не самоцелью, как можно предположить в метафизическом порыве, или в метафизическом экстазе, как тут точнее сказать и не запутаться, никто и не знает, подсказали бы, да не хватает ума, на празднике не оказалось ни одного метафизика, и подсказки ждать было неоткуда.

Наутро, когда буря улеглась, день наступил новый, как и другие дни, будни, не праздники, о вчерашнем восторге напоминали только крылышки у тёти, которые были совсем малюсенькие, они едва просматривались под вязаной кофтой из шерсти козы (ни в коем случае не козла), решили закончить вчерашнюю дискуссию о наречении, выяснить, как же назвали ребёнка, как его зовут. Коля или Ваня? Да какая разница? Кажется, Ваня.

И вот хожу теперь я по дорогам родины, не просто ходок, или человек без имени, БОМ, человек без определённой метки по прозвищу БОМ, а Иван, Иван я, не пустое место, а человек, чьё имя пишется с большой буквы. Вот. И на черта оно мне, это имя? Лучше бы я стал Шекспиром.

2. Есть ли Он?

Они пришли. Откуда они взялись? Откуда они берутся? Никто не знает, да и дела никому нет до этого. Из этой же самой земли, из воды, из гниющих болот, откуда вышло всё, начиная с амёбы. В одном не было сомнения — это были действующие организмы. Может, они появились из отверстия в земле, разлома, щели в преисподнюю — ненадолго, их выпустили оттуда на время, на чуть-чуть, чтоб сотворить чёрные дела, а потом — потом опять дорога в ад. И отправятся они туда не рано или поздно, а рано, сразу же после того, как выполнят волю пославшего их. Пославший их — вот причина конца. Но кто он? Дорога к нему закрыта и доступа нет.

Откуда они, нелюди? Можно было бы спросить у Бога, но никогда ещё Бог не снисходил до того, чтоб говорить со своими созданиями. О чём бы то ни было. О сути бытия, о том, зачем они здесь или зачем он сотворил их. На кой ляд, как говорится. Было дело.

Было дело, посылал он сына своего проповедовать истину, раскрывать тайны, позволил даже несколько чудес показать. Но люди оказались слишком слепы, даже тупоумны. Не ожидал Господь, ей-ей, не ожидал он такой зашоренности. И с тех пор как они, живущие на Земле по его прихоти, с его лёгкой руки, убили его родное дитя, поклялся он самому себе не снисходить до болтовни с временными, не оставляющими следов. Даже если среди них находились чувствительные души, случайно мутировавшие, да, приходится признать, в процессе эволюции. Много сил пришлось приложить, многому научиться, чтоб оживить родное дитя. Но больше он на Землю никого не посылал и посылать не собирался. И не снисходил. Хотя в этом он и подобен был своему антиподу, врагу лютому, который портил народ, развращал, убивал и горстями посылал своих эмиссаров к людям. Да, в этом он был точно враг его, да, никогда не станет он сюсюкать со своими овцами. Приглянуть, конечно же, надо. Сотворил, теперь уж что.

В жилах нелюдей тоже текла жидкость и тоже красная. Чтоб не отличались они от остальных, чтоб не бросалось в глаза их отличие. Всё сделал пославший их, чтоб походили нежити на людей, вовсю старался, и не отличить теперь его посланца от любого оборванца, ни внешне, ни внутренне, печёнку воткнул ему и даже сердце. Пусть думают, что тоже человек.

Нелюдь упала на снег, и из дырки в животе полилась на белое красная жидкость. Очень похоже на кровь. Близился конец. Снег пачкался и становился некрасивым от вытекающей субстанции. Но то была не кровь. То была просто жижа. И когда большая часть её вытекла из организма, поток стал маленьким, а снег почти не загрязнился, остаток жижи втекал в маленькую дырочку и уходил незаметно.
— Зачем же ты так, сынок? — спросила женщина, которую перед этим били молотком по голове, чтоб она призналась, где деньги. — Теперь вот умрём вдвоём, — она всё ещё думала, что, может, это тоже немного человек.

Она не знала, что тут на земле, прямо у них под боком, почти по соседству, водятся нелюди. Пока они не пришли первый раз. Тогда и появилось подозрение. Тогда и появился под диваном обрез. Не для красоты. Спасаться.

Что она ответила, нелюдь, не имело смысла, она умела говорить, да, тоже как все мы, и, может, что-то сказала. Но слова ей были даны для того, чтоб не заметили её, не распознали раньше времени. Из дырки в брюхе всё ещё вытекала жидкость, похожая на вишнёвый компот. Вскоре мерзость испустила дух. Сдохла.

Они пришли. Их было трое. Трое — это всегда неприятно. Или опасно. Человек, которому не скучно с самим собой, ходит один. Двое — иногда могут встретиться случайно и заявить, что они — единомышленники, и найдутся те, кто им поверит, поверят в эту смелую гипотезу, а трое — уже банда. Они и были бандой.
— Где деньги?
— Нету денег.

Её ударили по голове, потекла кровь, жизнь оставалась, но сколько её осталось, неизвестно, меньше, намного меньше, чем было до этого, минуту, несколько секунд назад.
— Деньги в гитаре.

Гитара стояла в прихожей, и в ней были деньги. Заначка, а не клад.

Они бойко двинули в прихожую. Там было темно. Тот, из которого скоро, очень скоро вытечет вишнёвый компот, полез в карман за спичками. Ближе спичек лежали сигареты. Он вытащил из пачки одну закурить. Но кто-то подбил его руку, и сигарета упала на пол.

Бог отдыхал, когда в сердце его кольнуло. Творилось что-то неладное. Какая-то несправедливость. Её надо было отвести. Он взглянул на Землю. Там трое молодчиков собирались убить невинную женщину. Просто так. Это надо было отменить. Бог заметил, что главарь шайки потянулся за сигаретой. И он толкнул его под локоть. Сигарета, как и должно, упала на пол. В кармане главаря лежали и спички, и Бог позволил ему взять их и зажечь одну. Чтоб поискал сигаретку, которая упала на пол.

Образ висел в доме с незапамятных времён. Обрез двустволки появился недавно. Но он был наготове. Потому что нелюди уже были в этом доме. Но тогда у Бога не кольнуло в сердце. Никто никогда не узнает—почему.

Чудом она дотянулась до обреза. Как будто кто-то помог ей вложить его в руки. Она лежала на полу, ей было неудобно стрелять, но левая рука высвободилась, и палец правой лёг на курок. Но в доме было чересчур темно, и даже темнота расплывалась, плыла. Правая рука была в крови. «Это кровь с головы». «Сейчас убьют».

Но случилось иначе. В прихожей зажглась спичка, а потом главарь присел на корточки, оба дула были наведены прямо на него. Курок был благополучно спущен. И в животе появилась нужная дырка.

—Стреляй, стреляй,—приказывал уже почти покойник своим подручным, и тут их накрыл ещё один выстрел. Как хорошо, когда всё происходит вовремя. Конечно, это был не совсем тот случай.

Подручные вытащили главаря на улицу, из него текло, и они бросили его на снегу. Их самих скоро и след простыл. И Бог сюда больше не возвращался. Были более важные дела.

3. Депутат

Это был самый настоящий депутат. Не городской думы или сельсовета, клуба по интересам, иеговистской общины или даже православного собрания, собрания духовных лиц или лиц, далёких от духовности, сходка людей, если можно только их так назвать, чтоб они не обиделись на столь примитивное и опять же непочтительное название, сходка, вместо симпозиума, сборище людей, ищущих удовольствия или понимания, где только можно, на каждом шагу. Нет. Этот был настоящий.

Конечно, в самом начале не хотелось говорить плохо или некрасиво о народном избраннике, человеке, избранном вами или нами, не потому, что на косо смотрящего может упасть кирпич на голову или камень окажется привязанным к шее болтуна верёвкой, что растворяется в воде через сутки, ну, может, с небольшим; кому-то придётся возиться с этим да и материал для такой верёвки сегодня ещё дороговат. Нет, чернить депутата мысли не было. Выспросить сокровенное—вот чего захотелось.

Он чудом появился в цеху, без охраны, одиноденёшенек, окружённый десяточком почитателей—сказать так, значит, соврать немилосердно и бросить тень на государственное лицо, чтоб проявиться, высунуться, нет, это неправда. Рядом с ним шло всего двое, начальник цеха и кто-то из замов. Конечно, начальник цеха по своей злобности превосходил любую охрану, но по силе был не богатырь, так что, в случае чего, мог и не защитить депутата. Одно ясно, очевидно—представитель народа, то есть депутат, не боялся этого народа: ни сталеваров, ни подручных, ни даже пыльных, как чертей, работников энергетической службы.

Но вначале не было мысли взывать к депутату. Она появилась случайно, вместе с появлением депутата в цеху. Вынырнула из-под спуда.

Была другая мысль, раньше. Проще и примитивней, приземлённей и низменней, но тоже нераспутанная: почему начальник участка оторвался от народа. Ведь совсем недавно он был рубаха-парень, свой в доску, иногда в стельку, но—свой, а вот теперь оторвался от себе подобных. Казалось, навсегда. Почему? Это надо было понять или хотя бы почувствовать. И барские интонации в голосе, и этот изменившийся взгляд, и приказы, не выполнимые так быстро, как он хотел. Не было болтов, винтов и гаек, которые сам же он своим голосом приказал выкинуть, чтоб их не своровали его преданные люди, и теперь эти идиотские болты надо было найти, материализовать из воздуха, потому что забыл начальник о своём приказе, он не обязан отчитываться перед нижестоящими, навсегда ниже, навеки ниже. Да или нет? Так или не так? А был ведь свой парень. «Идиот»,—говорил, ах, ведь нельзя выдавать, кто говорил, а не скажешь кто, значит сам возвёл напраслину… Да, может, никто и не говорил, но думали же, точно так и думали, это уж доподлинно. Вот что было непонятно, и хотелось выяснить, перечувствовать за человека, имя которому Начальник участка. Ой, а что случилось с его женой! Как её стала пожирать зависть. Прямо на глазах. Бедная женщина. Эта всепоглощающая зависть была ей неизвестна и никогда не знакома, дурная незнакомка, которая соблазняла и совращала других, но никак не её, вдруг стала её лучшей, закадычной подругой. Вот что случилось. Почему? Это была задача для выяснения истины. Она и осталась. И тут на горизонте появился депутат.

Это был депутат Государственной думы. Что говорить или писать о нём? Он далёк от нас, как планета, на которой нет жизни или есть жизнь, он не набивает наш кошелёк ни банкнотами, ни даже мелочью. Что о нём писать, думать, тревожить доброе имя? Так запомнился ведь.

Да и начальник участка далёк, как туман в низине, на который смотришь с высоты дамбы, наслаждаясь его прохладой, видишь этот туман с холма, сверху. Не хотелось беспокоить и этого почтенного человека, кем почитаемого, не наше дело, пусть будут дела его делом совести его, чёрт с ним, казалось, с бывшим рубахой-парнем или

парнем-вырви-глаз. Так нет же, случилось хуже, ещё хуже… Всё вокруг, кажется, стало распадаться. Как Римская империя. Подъём, расцвет, а потом упадок. Неужели так? И то, что дорого и, может, любимо, тоже ждёт разложение и тлен, и безвозвратная пошлость?!

Всё шло к тому. И надо было взяться за какую-нибудь нить, какую-нибудь верёвочку, хотя бы за ту, которая растворяется в воде за одни сутки, чтоб найти причину, причину конца.

Друзья и близкие теряли души. Как кошелёк с мелочью. Даже не продавали их дьяволу, а теряли, легко и просто, как использованный трамвайный билет. Хотелось вопить. Надо было только удалиться подальше, в необитаемое место, в пустыню. Но пустыни поблизости не было.

И вот появился депутат. Нет, не на горизонте. В цеху. Тут не бывает горизонта. Только стены и пыль различной плотности, но всегда достойная пыль. Глаза ест поедом и дышать мешает. В груди печёт.

Он шёл быстро и легко, как юноша, как мальчик. За ним летели с той же скоростью те, кому было позволено, кому посчастливилось быть рядом. Никогда начальник цеха не летал так, как сейчас, не порхал птичкой колибри, или, может, скворцом. Он ходил степенно, с выпяченной грудью, сколько было, всю выпячивал. Гоголем ходил, Николай Васильевичем.

За депутатом оставался след. Не какой-нибудь вроде того, что остаются, когда сапогами или ботинками вступишь во что-нибудь, или промочишь обувь в дождливую погоду, в ненастье, и уже где-нибудь в доме, в сухом месте, с башмаков стекает вода, оставляя след подошвы или лужу. Всяко бывает. След был не таков. И оставался он не под ногами порхающего депутата, а в воздухе.

Воздух в цеху был не особенно полезен для людей, но людей здесь не было, тут находились рабочие, мастера, разные дежурные инженеры, нет, людей и правда не было. Сплошь и рядом находились подчинённые, и пока они могли дышать тем, что было в атмосфере, менять это что-то никто не собирался. Тем более, что эта воздушная среда передавала запахи лучше самого чистого воздуха, лесного или полевого, или даже морского. Особенно хорошо газовая среда, которую по привычке всё ещё называли воздухом, передавала запах печёной картошки. Когда её пекли в дежурке электриков, то сразу же, как только войдёшь в цех, настроение поднималось до самой высокой степени, запах печёной картошки проникал в душу, и она становилась чище, и, может, добрее. В заводской столовой, где кормили рабочих, так вкусно никогда не пахло. И пахнуть никогда не будет. Последнее утверждение можно оспорить. Но у кого из вкушавших в том месте откроется рот?

Если углубиться в цех, в его всепоглощающее нутро, то где-нибудь, в таком месте, где, кажется, людей никогда не было и не будет, они задохнутся немедленно, так как, по слухам, человек, дышащий без воздуха, долго не живёт, а слухи — они всегда сбываются, в этом самом месте вдруг потянет печёной картошкой, и снова захочется жить.

Депутат пролетел по цеху не так быстро, как пуля, выпущенная из автомата, но всё равно быстро, как умеют только депутаты. Он был уже у выхода из цеха. А после него остался такой замечательный, такой великолепный, ни с чем не сравнимый запах одеколона. И сталевары, и подручные, и ответственные за воду, за пыль, за приборы, все высыпали на площадки, нюхали эту роскошь и не могли вынюхать.

— Вот это да! — говорил один.

— Вот это да! — соглашался второй.

Кому-то хотелось подбежать к высшему человеку и сказать: спасибо, что зашли, у нас всё хорошо, сказать два-три слова, чтоб поднять настроение депутату, кто-то хотел просто взглянуть в глаза, чтоб хоть немножко приблизиться к человеку, вероятно, был кто-нибудь и такой, из жалобщиков, вечных нытиков, отставших в развитии, кто хотел бы спросить, когда поставят фильтры, чтоб легче дышалось, тогда и работать будет легче.

Но никто не подбежал к депутату, ни одна живая душа не посмела приблизиться. Запах одеколона, или, может, духов, был таким могучим, возвышенным, нокаутирующим запахом из другого мира, что никто, никто не посмел ворваться в этот недоступный мир. Люди расползались по рабочим местам, с трудом выходя из оцепенения. А депутата и след простыл.

4. Формула счастья

Когда торопливое солнце побежит, посеменит по небу, как беспечная школьница, одетая не по сезону, быстрей бы, скорей бы добраться до места, спрятаться от пронизывающего ветра, избавиться от дрожи, тогда этого не случится. Не случится этого и тогда, когда на небо, вместо золотого чуда, выползет красное чудище, красный гигант, как утверждают и божатся астрономы, и краски мира заиграют по-другому, да и глаза людей станут другими, может, жутко красными, а, может, беспечно лиловыми, такими, что только взглянешь в них, и уже влюбился. И не нужны будут художники и поэты, чтоб разбудить воображение, и лирики, чтоб наполнять души какой-нибудь необыкновенной субстанцией, и даже химики не понадобятся для исследования крови, чтоб поменять состав и дать новую жизнь какому-то давно и напрочь стёртому чувству. Это всё будет не нужно. Взгляд лиловых глаз заменит весь мишурный труд по очеловечиванию людей. Тогда этого больше не случится.

Но почему же это произошло с нами? Почему *это* стряслось? Люди потеряли формулу счастья, может, эту формулу потеряли ещё Адам и Ева, в писаниях прямо не указано, а намёки — это не тот случай, тут нужны строгие научные доказательства.

Когда торопливые люди устанут бежать,
И им надоест каждый день, каждый раз возвращаться туда же,
И делать всё то же, что было вчера, и давно, и всегда,
И прятать в мешки, и в чулки, в погреба и чуланы,
Захочется им поделиться, отдать и расстаться.

Тогда и наступит *оно*, — пел уличный музыкант под гитару о шести ненастроенных струнах в подземном переходе, мотив он взял у другого певца,

которого уже забыли, и хотел напеть себе копейку-другую на завтрак, рассказав людям о том, откуда берётся волшебство и что такое счастье. К словам песни никто особенно не прислушивался, вообще не прислушивались, если точно, все спешили, торопились, как на пожар, и хотя монетки изредка звякали, когда касались других монеток, которые проситель вначале положил сам (даже и курице для примера кладут в гнездо какое-нибудь яйцо, поддельное или же испорченное, чтоб она знала, где нестись), давали люди из сострадания, но никак не за то, что музыкант, бард и философ вместе, делился самым сокровенным. За это не платили. Это ничего не стоило, не ценилось и не воспринималось. А вместе с тем соплеменники были несчастны, им всегда чего-то не хватало для полноты ощущений, немного не хватало, чуть-чуть не хватало, но не хватало всегда; без преувеличения, а только с преуменьшением, можно сказать, вечно.

Таким был и кум, и сват и брат. И даже друг. И даже подруга, первая любовница, любовница страстная, женщина роковая. Любимых уже не было, и слово это становилось ругательным. Вот-вот оно станет ругательством. А неочищенных, незамысловатых слов вокруг было видимо-невидимо, больше, чем чистых и симпатичных, и будущее предвещало исчезновение из обихода всяких других выражений, кроме крепких. Что ожидало соплеменников, музыкант не знал, он чувствовал, что было бы, если бы… и пел, распевал и свои песни, их у него было целых две, и чужие пел, и декламировал, белым стихом поливал проходящих существ, земляков и приезжих, и рифмовал невпопад, и сонеты читал, и плакал, рыдал, когда чувства накрывали его, ведь от слова не спрячешься, а он это слово вытаскивал из мрака, из темноты, слово, уже забытое сегодня, хотя вчера ещё им козыряли, выдавая себя за приличных или прикидываясь интеллигентами.

Не знал он, как помочь другим, какие ещё слова найти, какие звуки. Как себе помочь, он тоже особенно не знал, монет в фуражке иногда было так мало, что не хватало даже заморить червячка. Но червяка всегда можно было убить, и это его грело. Он искал слова и звуки, которые остановили бы несчастных, не на минуты, на секунды, чтоб его песня, такая звонкая в переходе, затронула сначала душу, а потом и мысль. И ему это удалось, удалось один раз, остановился возле него человек, не монстр, а гражданин, и обнял, и сказал, что всё понимает, но тут же прилёг и задремал. Чувство удалось расшевелить, и мысль, и только организм не выдержал.

«Может, дело всё в струнах, может, надо настроить гитару, чтоб звучала она так, как привычно их слуху, мягко и бархатно, лаская их нутро бархатной тряпочкой?» — думал исполнитель песен, возвещатель истины и знаток формулы. «Но привычными звуками не открыть для них формулы, не посеять сомнения. Хотя заработать, наверное, можно больше. Но неужели и я, последний из поэтов, променяю лиру свою на радость для желудка, и вместо того, чтобы открывать глаза, стану потакать тому, что они пережили когда-то, и на том стоят? Ни за что!» — подумал певец, взбудораживая ещё больше свою гитару, стала она ещё более непонятна, и грошиков в фуражку сыпалось ещё меньше. Что ж. Надо выбирать. У каждого барда есть выбор. И он волен сам себе выбирать и подмостки, и публику, и даже инструмент. «Вот катятся слёзы из глаз моих, слёзы страсти и печали, слёзы, рождённые любовью к ближнему и к дальнему, и даже к тому, кого никогда и не было на свете, почему же у них не промелькнёт чувство на лице, не приоткроется щель в душе. Почему, Господи?»

5. Ожидание

Ты ждал его, как бога.

«Да нет, дружок, больше бога. Бога так не ждут».

Появится искра внутри тебя, вот же *Он*, рядом, сию минутку и всегда был рядом с тобой, Бог, господь наш, только не мог ты понимать его, думающего за тебя и чувствующего за тебя, ибо не внимал ты бессмертию; но вдруг внезапно проскочила искра у тебя внутри, и десятки услужливых единоверцев, единомышленников, уже вкусивших бессмертие большой раздаточной ложкой, привечают тебя и зовут в своё лоно, в своё логово. Отныне ты — их, не будет свистеть над тобой и под тобой, паче всего внутри тебя тоска одиночества, тоска забвения тебя всеми, ты — наш, наш родной, с душою, сердцем и потрошками. «С потрошками! С потрошками!», — звенит песня, и слова тут — фу, пустяк, теперь уже не нужны никакие слова, душа освободилась от пут или намертво схвачена невозвратными путами, и ты летишь в пространство звёзд и галактик, ты бессмертен, а остальные, тоже черви, тоже рабы, но ничьи, они остались в пустыне, имя которой не сыскать, в пустыне своих жалких, ничтожных, никаких мыслей и никаких чувств, только голод иногда даёт о себе знать… Лети и наслаждайся. Ты — часть, которой дано почуять всё!

Нет, не так ты ждал его. Ты ждал его больше, чем бога. Бывает ли такое? Один раз было. Значит, бывает. Или, может, нет. Но было.

Ты ждал его, как ангела с небес. Того, который мчался к одному тебе.

— А вот и ты! — твоя душа выпорхнула навстречу ему. Вся, какая была. Без остатка. Целиком.

— Привет, привет! — сказал он торопливо, шутливо, стыдливо.

Но ты не заметил спешки в его словах, ты не знал причину этой поспешности, и вряд ли когда постигнешь её.

— Так сколько же мы не виделись?! — Чувства так и хлынули из тебя, так и повалили.

— Да восемь лет. — Он точно посчитал. Как-то ему это удалось?!

— А кажется, что двое суток. По крайней мере, вот сейчас. Ты появился, и бесконечность отступила.

— Что значит бесконечность? Что за абстракция?

— Да ничего, сказал, как чувствую.

— Ну, прежде чем сказать, подумать надо.

— Придумай лучше. Как ни скажи, всё радость.

— Что я должен придумывать? Какая радость? Отчего?

Он чем-то был недоволен.
— Тебя увидеть снова. Живым. Почти не тронутым природой,— ляпнул ты.
— А что со мной могло случиться?
— Да всё что угодно. Что же могло произойти с тобой? Со мной, с нами, что могло преобразоваться? Да могли мы продать душу кому-нибудь, даже не дьяволу или его жалким прислужникам, а какому-нибудь купчику, или просто продать, просто тому, кто как-то зацепился за жизнь и знает тайный ход в чужие закрома; могли растерять всё, что мы ковали в юности, ковали для того, чтобы ковать, ковать, ковать.
— Попроще говори. А то не понимаю я!
Он, правда, ничего не понимал. Ни про душу, ни про закрома.
— Купил я мяса, свинина свежая. Сейчас поджарю, будет праздник. Сначала разогреем сковородку, чтоб было сочное внутри, потом услышишь ты шкварчанье и почуешь запах. Так запахнет, что не устоишь.
— Я не хочу свинины, лучше молока попью.
Он сморщил нос, как клоун в цирке. Почему-то закапризничал опять.
— Да славное мясцо. Свинью прирезали недавно. С утречка.
— Мне всё равно, что есть. Не избалован кухнями.
— Так может, сделаем жаркое? С картошечкой.
— Зачем возиться, лучше я выпью молока.
— Да что ты с этим молоком! Я так старался!
— Зря старался.
Чувствовалось, что он хочет досадить. Хоть чем-нибудь. Хоть вот этим своим «нет».
— Так жарить?
— Зачем, не надо. Лучше расскажи, что тут новенького.
— Да сейчас ничего. Раньше было похуже.
— Всё ничего. Ну ладно. Давай обедать.
— Ну, давай.
— Я булочку хочу или печенье мягкое.
— Есть вот хлебцы, а булок не купил.
— Ну что ж, хлебцы— то тоже хлеб. Так что тут новенького?
— В смысле истин?
— Каких там истин? Как дела? Работаешь где, сколько получаешь?
— А истины?
Он смотрел, глядел непонимающими глазами. Он забыл это слово.
— Что ты мне зубы заговариваешь? Вижу, получаешь много, живёшь хорошо, зажирел.
— Всё на заводе. Всё по сменам. И с каждым годом тяжелей.
— Ночь отдежурил, денег сгрёб и жируй? Ха-ха.
Ему стало легче, казалось, даже немного повеселел оттого, что смог хоть как-то расстроить хозяина. Хоть чуть-чуть.
— Ты мне не веришь!
— Да, по тебе не скажешь, что работяга. Здоров как бык. Вот я больной. Всё у меня болит: и тут болит, и тут болит, и тут тоже болит. Хотел бы я быть таким здоровым, как ты.
— Так ты ж не спрашивал о здоровье? Откуда ты знаешь?
— Да я всё знаю, я такой… мне не надо ничего говорить, я же вижу, что у тебя много денег, и ты здоров, и мне незачем спрашивать, как ты себя чувствуешь и что у тебя внутри, я давно стал скотиной бесчувственной, давно мне ни до кого нет дела, давно я живу сам по себе, берегу себя, как только могу, но попробуй тут себя убереги, вы же не даёте житья, враги кругом, слева и справа, днём и ночью, враги окружили меня, и ты— тоже мой враг, потому что богат ты, вижу, и на ногах стоишь, и не кашляешь, и глаза целы, ненавижу всех вас, и тебя как часть от всех тех, кто не дал мне того, что я хотел, враги, враги, кругом одни враги, враги кругом.
Он не сказал всего этого. Но мог бы сказать? Это или что-нибудь вроде этого. Что-то недружелюбное, скорее даже враждебное, вечно враждебное, читалось в его интонациях, и в манере говорить, и в ухмылочках, и, может, ещё в чём.
— И как же ты живёшь так? Всё знаешь наперёд, не спрашивая? И груз какой-то как будто давит на тебя изнутри. Как же живёшь ты с таким-то грузом? С таким грузилом.
— Да вот так и живу.
— Ты как будто не развивался, а назад пошёл?
— Да, я сохранял себя, сохранял то, что есть, я слушал те же песни, и книги те же я читал. Чтоб оставаться человеком. Чтоб сохраниться.
— И ты думаешь, у тебя это получилось?
— Конечно, получилось,— сказал он злобно.
— Почему ты злишься?
— Потому что повезло тебе, а мне не повезло.
— Но тысячи и миллионы, кто живёт лучше. И тебя, и меня.
— Плевать на миллионы. Хе-хе, хе-хе.
— Ну хоть кого ты любишь? Или как-нибудь так? Хоть кто-нибудь есть такой, кто не озлобляет тебя?
— А этого тебе я не скажу.
Может, и не надо было этого говорить. Это, может, можно было и увидеть, или понять, если очень постараться.
Вы ели жареное мясо. Старался ты, конечно, вовсю. И сготовил, как смог.
О, что может быть вкуснее жареной свинины? Тут не у кого спросить. Жив бы был Гоголь, то сказал бы: «Трудно найти что-нибудь вкуснее обжаренных с обеих сторон румяных кусочков поросёнка с душистым, свежеиспечённым хлебом». Да Гоголь даже бы и лучше сказал.
И кто же это был перед тобой?!
Тот, кого ты ждал, улетучился. Это не он, это— другой. Но ведь это— он. Кажется, что он, потому что это на самом деле он. Но это не тот, которого ты ждал.
Возьми себя в руки. Возьми, если сможешь. А если не сможешь, тогда плохо. Очень плохо. Бери, давай. Немедленно. Сейчас же. Как-нибудь. Как сможешь.
Отказывайся от него. Отрекайся. Отрекаюсь, Господи. Но где ты, Господи?

6. Надежда

Случилось так, что и надежда начала умирать. Но она, как сказано в писании, умирает последней.

Поэтому жить надо так, как будто бы этого не случилось, как будто она и живёт, и цветёт. Краснолицая и даже чуть-чуть красномордая, она—настоящая, с весёлым и даже задорным огоньком в глазах, и глаза её черны и глубоки, а не пусты, нет-нет, не пусты до черноты, и вот она пляшет одна, а потом и ты с ней иди в пляс, иди вразнос. И старайся вглядываться в неё, подобострастно всматриваться в её черты; и выдай подобострастие за страсть. Может, она и поверит. Но не забудь, это—не твоя надежда. Она—чужая.

Ещё совсем недавно поэт Ду Ду, почему-то прозванный в народе Га Га, мог объять весь мир. Душою. Даже частью души мог охватить всё окружающее, почувствовать любовь влюблённых, вместить в себя все лучи восходящего солнца и все капли летнего дождя. И капли холодного осеннего дождя тоже входили в него беспрепятственно и возвышали. И всем вокруг из этого богатства он мог выдать по черпачку, или по тарелочке, или по большой миске. Сколько в кого входило, столько и мог он отдать. Это было совсем недавно, десять или двадцать лет назад, даже не пятьдесят и не сто почему-то, может, потому, что человек, даже поэт, не живёт так долго. Он мог понять каждого и возвысить дух его, помочь идти вперёд, парить к вершинам, подниматься к облакам и направляться к звёздам. Будь то наше солнышко или другие, далёкие, не знакомые, поэтому, естественно, и более прекрасные. И что ж для этого ему было надо? Почти что ничего. Всего лишь два десятка слов, поставленных в таком порядке, в котором мог поставить только Бог. Но он был человеком, можно было и потрогать его, и за бороду подёргать, или лучше посидеть рядом и послушать с открытым ртом. Или приоткрытым. С закрытым не получалось, он сам собою открывался.

И зачем он постриг бороду? И надел этот дурацкий пиджак. Другого слова и не найти. То ли шёлк, то ли плис—неизвестно что. Из такого материальчика пошить бы юбку для бальных танцев, чтоб наэлектризовывала партнёра, или шапочку для гнома под ёлочку, колпачок с бомбомчиком для веселья детишек. Костюма сшить нельзя. Но на заказ сшили.

—Заказал,—сказал он.

—Такой к лицу начальнику паспортного стола или службы иммиграции. Прикоснуться невозможно, не то, что надеть.

—У заведующего отделом культуры такой же. Но мой шикарней.

—И ты променял джинсовый костюм на это барахло?

—Мне не пристало выглядеть, как раньше,—сказал он экстатически.

—А почему?

—Да потому.

—Тут разве есть чего-нибудь такое, что надо скрыть?

—Не просто скрыть, тут есть такое, в чём тайна. *Тайна тут!*

—Так расскажи. Историю появления тайны.

—Нет, не могу, и не проси.

—А если заплатить тебе, да щедро, а?

—Если заплатить, тогда подумать надо. Там, где деньги, всегда спешить не стоит, ведь деньги—деньги с тех самых пор, как их придумал Мефистофель.

—Красиво как звучит «придумал Мефистофель».

—Так *как* ты полагаешь, за сколько продаю я тайну всех людей?

—Если продаёшь, то у кого-то денег хватит. Может, купят. Но что-то мне не хочется платить за это знание. Мне кажется, что эта тайна—для других. Воспользоваться ею не смогу. Но выведать о том, что ты скрываешь от людей, всё ж хочется.

—Да я особо и не скрываю.

—Так да иль нет? Ты что-то здесь темнишь.

—Да как же можно скрыть—что скрыть нельзя?!

—Так продаёшь, или бесплатно отдаёшь? А деньги просишь-то зачем?

—Про деньги я не говорил. Я говорил, подумать надо. Про деньги я не рассуждал как будто. А говорил тебе всё общие места. Ни капли мысли не вложил я в это рассуждение, ни капли страсти.

—Так скажи про тайну!

—Да разве ты не видишь сам её?

—Не вижу, не догадываюсь и боюсь подумать.

—Не догадываешься? Может, Римского позвать?

—Которого из них?

—Да друга моего, профессора.

—Он уже профессор?!

—Так папа у него ж профессор.

—Что творится! Я думал, ты говоришь о Римском из «Варьете».

—Да я вообще не думаю. А говорю я те слова, что подвернутся первыми. Чтоб в рифму не промазать.

—Ты как с луны свалился. Стал другим. Как будто не понимаешь ни черта. Ни в душевных треволнениях, ни в простейших переживаниях, ни даже в том, что на хлеб надо заработать; как будто ты совсем забыл, что значит разочароваться или даже отчаяться, когда уже ничего не хочется, и кажется, ещё чуть-чуть—и всё, тебе конец, тебя больше нет. И незачем держаться за ничто.

—Молодец, ты догадался правильно.

—И что ты меня сбиваешь всё время на этот полустих, который так и привязывается, как репейник. Как зараза какая.

—А мне так легче. Так трудней меня разоблачить.

—В чём же?

—В том, кем стал я. Да и тебе, как вижу, некуда деваться.

—Конечно, некуда деваться. Я ищу. Так скажешь *тайну* или нет?

—Да нету тайны никакой!

—Да как же нету, тебя не стало вовсе, вот был ты человеком, был поэтом, а сейчас—пустое место.

—Что значит пустое, никакое не пустое. Ну ты и скажешь такое. Подумай, что говоришь. Посмотри, какой у меня пиджак!

—Так в чём же эта дурацкая тайна?

—Это не тайна, это—загадка.

—Теперь загадка?!

—И разгадать её я не могу.

—Так, может, я б тебе помог. Недаром я физтех закончил и множество задачек порешал. Или, по-твоему, даром?

— Да ты мне не поможешь!
— Почему?
— Да потому что мне особенно-то и не надо это. Совсем не надо. Ворошить старое, вспоминать то, чего бы мне не хотелось, ну и вообще, лучше бы всё, что было, забыть насовсем, а не вытаскивать на свет божий. Или белый, как хочешь.
— Так значит, я ничего и не узнаю?
— Конечно, не узнаешь. Как ты можешь узнать обо мне тайну, если я сам её не знаю.
— А если решить это, как задачку.
— Это что, задачка по арифметике, по-твоему?
— Ну, что-то вроде этого.
— Ну, так вперёд, решай.
— А ты мне не поможешь?
— Конечно, нет! Я не хочу её решать! Мне хорошо и так!
— Но ты же стал другим, и не вмещаешь в себе ни света звёзд, ни солнечных лучей, и взгляд твой внутренний не проникает во влюблённые души, чтоб почувствовать…
— Да зачем мне всё это, мне и так хорошо. Мне так лучше, намного лучше. Не проще, не спокойней, а лучше. И не удобней. Так я живу…

Он как-то нехорошо улыбнулся, и что-то скрывалось за этой улыбкой. Что-то такое, что всегда было в мире, вокруг. Что поджидало на каждом шагу, в темноте ночи и при свете дня. При луне и при свечах, и даже при керосиновой лампе, в тысяча девятьсот шестьдесят первом году. Что это было? Можно ли понять? Решить, как задачу, или объять, как тайну?

То, что случилось с поэтом Ду Ду, давно уже случилось со всеми. Или, может, остался кто-то?

7. Направо пойдёшь…

Не успел дописать фразу, как снова потерял мысль. Снова забыл, что хотел сказать. И это уже не первый раз. Это не старая, потрёпанная или чужая мыслишка. Тогда было бы ладно. Нет. Это рафинированная думка, готовая к употреблению. В удобной упаковке. Единственная в своём роде. Восхитительная, когда поймёшь. Вдруг захочется творить добро. Или творить что попало. Много и без разбору.

Какая мысль тут потерялась, кого спросить? Спросить, конечно, некого. Бог, возможно, подсказал бы. Если бы ты верил в него. А если не веришь, а думаешь, что нет его, то он не подскажет. Если ты не нуждаешься в нём, если нет в твоей душе места для него, тогда уж извини. Не придёт, не поднесёт и не поможет. Разбирайся как-нибудь сам.

Мысль на самом деле потерялась. Но почему не жалко? Когда потеряешь сотню, тысячу, ох, как жалко. Щемит сердце, выступают слёзы, не знаешь, что и делать. Хотя деньги — доступны всем, и нет в них ничего необыкновенного — для широкого потребления, ширпотреб. Так почему же? Деньжат — жаль, а мысли — нет?

Потому что родившееся в голове твоей или его, или в какой угодно голове, лысой или патлатой, кудрявой или кудлатой, не съешь и не выпьешь? Не выпьешь и не закусишь? Деньги — всё, а мысли — ничто! Когда они станут деньгами, тогда другое дело. Мысль — это сырьё, и сам ты — сырьевой придаток. Тех, кто может взять, если захочет.

Ты всё ещё думаешь, что потерял сокровище? И не жалеешь о нём. И даже почти забыл. Что же это такое?! Подушка, набитая валютой, или коврик для собаки?

Вот почему ты не жалеешь потерянного, утерянного или утраченного. Вот почему ты расстался с ним так легко. Мысль для тебя не стоит ничего, потому что для них, для всех она — пустое место. Давно, давно, давным-давно. Для всех, для всех, для этих и для тех. И для вон тех.

Ты согласился с ними. Я согласился с вами. Ты перестал ценить себя и стал смотреть на себя самого их глазами, стал глазеть на себя, как жадный смотрит на чужое добро, как вожделеющий на вожделенное, как пёс на псину, как вор на ещё не своровванное, которое обязательно надо украсть. Позор тебе!

Может, в самом начале ты выбрал неправильный путь? Зачем было идти прямо? Там, на камне, было ясно сказано: «Прямо пойдёшь — пути не найдёшь». И не было сомнений, что слова выбил именно тот, кто пророчил. Камень за века обветрился, покрылся мхом, но слова просматривались чётко, и не было никаких сомнений, что это — первоисточник. Написавший это — сие так и думал, как написал.

«Направо пойдёшь — в труде пропадёшь». Может, надо было пойти направо? Не понравилась тебе категоричность фразы, готовый рецепт бытия, выстраданная и выношенная чужая мысль, да и шрифт был каким-то простым, незамысловатым. Не поверил ты тому человеку, кто свернул направо. Ты думал, что тебя ждёт труд, от которого не просто исчезают мысли, но всякие мысли. Никакого выбора и не нужно было бы, ты бы уже и не знал о том, что есть другая жизнь, что можно жить иначе. Пошёл бы направо — вдруг и угадал бы. А ведь и на самом деле надо было гадать.

Но был ещё один путь. Налево. Широкая дорога, автострада со знаком, разрешающим двигаться быстро. К тому же налево не предлагали идти, бить ноги, натирать мозоли, стирать подошвы. Нет, нет, драгоценнейший, — сказал бы классик. Поехать, только поехать. И рядом с поворотом налево стояло на выбор тринадцать иномарок, все новенькие, блестящие, цвета «серебристый металлик» и «чёрная полночь», концепт-кары в полиэтиленовой упаковке и мотоциклы, слепящие хромом, и даже парочка мотопёдов для любителей-извращенцев. Народ валил валом, и люди без лиц подгоняли новую технику, бегали, парились.

И прав было никаких не надо, ни шофёрских, ни даже на трактор. Ведь захотелось тоже быстренько за руль. И почему ты не поддался первому порыву? Смутило то, что все налево были наглыми, да что скрывать, бандитами, а если не бандитами, то кем? И не захотел ты в их компанию?

Но, может быть, вернуться к камню? И начать всё заново? Начать сначала. Пожалуйста, в любое время суток. Да, да, драгоценнейший. В любом виде. В ясном уме или в затуманенном, пешком или на велосипеде. Выбирай снова. Ты думаешь,

что вернуться назад—пара пустяков, значит, так оно и есть. Сущая правда. А вот и камень. Тот самый камень.

Одна направляющая надпись, правда, изменилась. Вместо «Налево пойдёшь—наслажденье найдёшь», теперь было «Налево пойдёшь—в рай попадёшь». И слова были уже не те, что тогда, выбиты женской рукой, красивым почерком, таким, что хотелось подержаться за эту неведомую руку и, конечно, пойти вместе с той, что возьмёт тебя хоть куда, хоть к чёрту на рога пойти. Слова были выбиты на красивой табличке, которая аккуратно закрывала предыдущую надпись. Простое наслаждение заменили раем. Что ж, теперь путь налево был яснее, чем прежде. Так куда же двинуть?..

8. Встреча с человеком

—Добрый вечер, утро, день и ночь,—сказал человек.
—Боитесь промахнуться?
—Нет, чтоб не вникать. Кто его знает, что там, за стеклом.
—По ту сторону стекла.
—Да, конечно. Закон гласит, что всё существенное—по эту сторону. А что находится вне, я обобщаю, чтоб исключить.
—Ловко. А можно исключить всё?
—Над этим и работаю. Этим и занят. Теоретически—да.
—А на самом деле?
—А вот на самом деле—нет.
—Так может, расскажете, поделитесь истинным знанием?
—Да запросто. Законы бытия открыть для ближнего—с огромным удовольствием. С нескрываемой радостью. В любое время года и суток. И, простите, для любого собеседника. Люблю поговорить. И даже поболтать. Только вряд ли вы поймёте.
—Почему? Ведь ваша речь так доступна и на душу ложится, как масло на хлеб.
—Почему, я и сам не знаю. Мне тоже кажется, что проще уже и не объяснишь. Проще и не скажешь. Но вот никто до сих пор не понял, поэтому я на всякий случай и предупреждаю, что и вы не поймёте. Исходя из накопленного опыта. Из того, что в копилке.
—Где же вы жили, с кем встречались? Просто не верится, что опыт ваш такой фундаментальный. Без исключений.
—Да в том-то и беда.
—Так начинайте.
—Ну, начнём. Приступим. У каждого творца своя эстетика.
—Нет, это слишком сложно. Вы сразу перешли на непонятный мне язык. Что такое «творца» и что такое «эстетика»? Сразу два слова непонятных.
—Ха-ха-ха-ха! Ой-ой! Ой-ха! Животик с вами надорвёшь. Да это пошутил я. Начну попроще, с самого убогого примера. Как Иисус.
—Для дураков.
—Да, да, это самое то. Для малообразованных. Так начинать—и никогда не промахнёшься. Начнём вот так. Людей я вижу насквозь. Всех, до одного. Ну, если честно, то не всех. А тех, которые открыли рот.
—Как в фантастическом кино. Мысли читаете?
—Увы, увы. Я не читаю их. Зачем мне мысли, если я вижу раньше мыслей? Я познаю источник этих самых мыслей. Если б я мысли читал, зачем было б подопытному рот открывать? Вы не совсем внимательны. Иль не логичны.
—Виноват, сплоховал. Вы меня потрясли этим источником, который где-то прячется, за закрытым ртом. Этого ни в каком фильме не видел и ни в одной книжке не читал.
—Хорошо. Значит, нам есть с чего начать. За что зацепиться. Хотя этот крючок весьма слабый, он может оборваться, давайте поищем какой-нибудь другой, понадёжнее.
—А как мы его найдём?
—Да вот не знаю. Может, мы начнём с пустыни.
—С какой именно? С Кара-Кум, или другой какой? Пустыни я не знаю, не жил там никогда, и от жары не страдал, и от голода, и пить всегда было, когда хотел. И такого, чтоб без людей очень долго быть одному, тоже не припомню.
—Хм. Хм. Я начинаю думать, что нам не с чего начать. И это хорошо. «И был вечер, и было утро». И было хорошо.

Человек ушёл в себя, самоизолировался на какое-то время, а потом снова возвратился в пространство разговора.

—Вернёмся в пропасть разговора,—сказал он.—Потому что это не пространство, а пропасть, и нам с вами не удаётся начать. И это хорошо, потому что в других случаях выходило так, как будто бы беседа уже началась, хотя на самом деле это было два голоса в пустыне. Один—в одной, скажем, Сахаре, а другой голос—в другой, пусть в Калахари.
—Вы начали с того, что кто-то открывает рот.
—Конечно. Чтоб сказать хоть что-нибудь, любой живущий открывает рот.
—И тут он выдаёт себя с ног до головы!
—Да! Вы угадали.
—Я на самом деле угадал!
—Но можно было и догадаться.
—Да какая разница. И вот он заговорил, а вы тут как тут. И видите источник его мыслей, и читать эти мысли нет надобности, вы их видите все разом, как городские дома с дельтаплана. Примерно так?
—Совершенно точно.
—Как логично. Надо же. А как же это на самом деле? В действительности, так сказать.
—Практиковаться надо. Чтоб не было ошибок. Чтоб рот открыл—и подноготная его лежит перед тобою.
—Бог ты мой, как интересно!
—Вы уж извините, но интересного тут мало. Даже совсем ничего интересного. Это—как земное притяжение. Вот оно есть, и всё. Кому это интересно. Ну, ходим мы по Земле, ну, притягиваемся. Кто этим восхищается? Кого это впечатляет? Ну, может, кто и найдётся? Какой-нибудь романтический физик. Быстрый разумом Невтон. А так, вряд ли это повод для восторга.
—Так как же проникнуть в эту подноготную?
—Она открывается перед вами вся. Как на ладони. И что, на всё это обязательно смотреть? Совсем

не обязательно. Думаю, даже не стоит. Оно не заслуживает того, чтоб туда заглядывать.
— Но вы этому учились? Тогда зачем?
— Нет, не учился. Это — побочные знания. И мысли не было совать свой нос туда. Но так выходит, что от этого и не открестишься. Вот он открыл рот, и всё.
— Вот беда. А каким же было основное знание? Которое всеобъемлющее?
— Изучал я отщепенцев. Оторванных от всех. Отвергнутых. Отодвинутых от куска хлеба и от куска сахара тоже. Начиналось всё так…

Человек начал свой бесконечный рассказ. Через какое-то время, может, двое суток, а может, и через две минуты он увидел, что его никто не слушает. Потом он вспомнил, что рядом с ним и прежде-то никого не было, что ему показалось, что его кто-то о чём-то спрашивает. Давно его никто и ни о чём не спрашивал. Да и вряд ли спросит. И он продолжал свой рассказ о необыкновенной красоте, которая всегда — друг одиночек, кем-то избранных, возвышенна до такой степени, что и дела нет до неё никому, возвышайся она хоть над всей вселенною, поднимайся и удаляйся туда, куда не достать ни человеческому глазу, ни глазу телескопа.

Человек всё говорил и говорил, но уже не вслух, а в уме, про себя, чтоб его никто не слышал. Хотя разговоры с самим собой и не запрещены законом, мало ли что.

9. Звонок из прошлого

— Алё!
— Алё!
— Это Дуся.
— Очень рад, безмерно счастлив, звонок неизвестного — к добру.
— Это не неизвестный, а когда-то известная. Это ДУСЯ — источник вашего вдохновения и радостей, которые бывают только неземными, небесными, как выражались вы тогда, не знаю, какие выражения сегодня у вас в ходу, но тогда вы утверждали, что Дуся — ваша мечта, единственная фея, которая может заменить всё сущее на земле. Это та самая девушка, к вашему сведению.
— Дуся, я узнал тебя! Как ты там? Счастлива, радуешься всему или уже нет?
— Конечно, радуюсь. Всё очень славно у меня. А ты меня забыл?
— Да что ты? Я только то и делал, что думал о тебе. Проснусь и думаю. Засыпаю и думаю. И так всё это время.
— Что, все тридцать лет?
— Да, все эти годы думал о тебе, и когда ел, и когда работал, и даже когда спал, то мне снилось, что ты что-то рассказываешь, и, конечно, смысл тут не играл никакой роли, потому что смысл — это пустяк, его может понять и повторить, как попка, каждый профессор, голос твой мне снился. Потому что он неповторим.
— Вот теперь я узнала, что это ты — точно ты. А как твоя жена, детишки?
— Да вот недавно снова развёлся.
— И в какой это раз?
— В третий, только в третий.
— И когда ты стал таким ветреным?
— Да даже и не знаю, когда это началось.
— И тебе нравится эта ветреность?
— Совсем нет, ненавижу её. А ты как, сколько у тебя мужей? Ой, что-то я не то сказал. Есть ли муж? Как дети?
— Дети выросли, и мужа я выгнала на радостях; по этому счастливому поводу.
— По какому поводу?
— Ну, дети выросли, забота больше не нужна об отпрысках, и муж не нужен тоже.
— Первый муж?
— Считай, что первый, если так тебе удобно.
— Так ты свободна?
— Как птица для полёта вверх. Допустим, кура.
— Так кура вверх не сильно-то летает.
— Как умеет, так и летает.
— Почему ты говоришь, как кура? Лучше б без куры. Лучше бы я сам домыслил, какая птица. Может, это чайка. Или ласточка.
— Ну хорошо, считай, ворона.
— Не нравится мне и ворона.
— Ну вот сорока, всем птицам птица.
— Не хочу сороку.
— На тебя не угодишь. Ну, цапля.
— Что это за птицы все какие-то нервные?
— Утка, индюшка, индоутка, — выбирай.
— Эти не летают и не парят.
— Ты, наверно, голубку хочешь?
— Конечно, она лучше индоутки.
— Не будем спорить по пустякам. Ты можешь называть меня хоть гусыней.
— Да она же толстая и раскачивается.
— На подиум, конечно, ей нельзя с такой походкой. Ну, про птичку мы договоримся, в словаре найдёшь, какую хошь, и будешь называть меня той тварью хоть по сто раз на дню.
— Это неизбежно?
— А зачем же я выгнала мужа и детей тоже выпустила на волю? Они выпорхнули, только и видела.
— Чтоб нам увидеться опять? Пить вместе водку, пиво и вино?
— Конечно.
— А ещё что мы будем делать?
— Да что захочешь.
— А что именно?
— Да всё, что захочешь. Ты на самом деле выучился выпивать?
— Да понемногу, по чуть-чуть, соточку-две выпью, чтоб на душе полегчало и чтоб тело согрелось. Ну, а потом уже последнюю, и по домам.
— И ты сначала выпьешь, а потом обо мне думаешь, в пьяном-то виде?
— Да, бывало и такое.
— Ну ладно, а ещё какие грехи водятся?
— Даже и не знаю. Считай, что все, какие есть.
— Да, не надо было отпускать тебя слишком далеко. Слишком надолго, — поправилась она.
— Конечно, не надо. Зачем было выпускать добычу из когтей?
— Допустим, что ничего и не было в то время, пока мы не виделись. И никуда тебя не отпускала я, а просто поводок ослабила. Чтоб была полная свобода. Согласен?

— Придумано великолепно. Как прежде всякое ты выдумывала, чтоб не могли мы быть вместе, так и сейчас — выдумка хороша, на загляденье.
— Да раньше я цену себе набивала.
— А был ли в том смысл?
— Кто ж теперь знает. Но мне казалось, что ты можешь ускользнуть.
— А вышло так, что ускользнула ты, а я остался на поверхности.
— Да ладно тебе вспоминать старое. Кто старое помянет, тому глаз вон. Я вовсе не ускользала, а отлучилась на некоторое время. А сейчас снова вернулась. Считай, из командировки.
— Я так и подумал. Или из тюрьмы.
— Прикуси язычок.
— Уже.
— Ещё раз для надёжности.
— Есть.
— Так когда тебя ждать?
— Так быстро?
— Давно пора. Ты просто кое-что забыл.
— Что же я забыл? Что я мог забыть?
— Мне не хватает только того, что у тебя и было, потому что ничего другого у тебя и не было. Безумного восторга, когда и меня захватывало это безумство, даже если я этого не хотела и противилась этому всем своим несозревшим организмом.
— Что это?
— То, что называют платоническим.
— Ты говоришь о том чувстве, которое накрывало нас?
— Молодец, догадался. Одно оно мне и потребно.
— Непотребно?
— Наоборот, необходимо. Как воздух и вода, вино и пиво.
— Так где ж его найти? Чтоб и выпивка, и закуска в одном флаконе.
— Оно должно быть где-то у тебя внутри.
— По сусекам поискать?
— Да, загляни вовнутрь.
— Как?
— Как раньше ты умел.
— Да я боюсь. Ты бросишь трубку, и снова там будет рана. Душевная рана вот. И опять бежать в магазин за бутылочкой, заливать больное место, чтоб затянулось.
— На самом деле есть там что заливать. Это правда?
— Или правда, или неправда.
— Когда ты едешь, говори? Или летишь на крыльях той же самой птицы?
— Да крылышки больные у неё. Поломаны, иль перебиты. Поэтому она ведь может и не взлететь.
— Взлетит, я думаю, ещё разок взлетит.
— А если нет?
— Как хошь, а я тебе не верю.
— Да так всегда и было.
— Всегда как раз обратное наблюдалось. Полное доверие тому, что ты говорил. Только я боялась этих страстей. Была я боязлива и глупа. А вот сейчас бесстрашна я и жду тебя хоть завтра. Или сегодня. С последней лошадью.
— Снова забыл что-то важное. А, вот оно. Что же мы будем делать вместе? В этом неустроенном государстве? В этом холодном мире?!
— Ты на самом деле не знаешь?
— Догадываюсь, только смутно. Как-то с трудом. На горизонте марево маячит, или туман белёсый, выцветшее небо, часть большая между твердью земной и небесной твердью, то, что для нас Господь создал, чтоб были мы людьми, чтоб что-то чувствовали. Только не чувствую я ничего, ни черта, потому что в этом деле вот уж много лет трудился чёрт. Он руку приложил, и ногу приложил, и всё, что можно приложить, чтоб на земле тут не осталось ничего святого, и — оп, всё получилось у него отлично, беспрецедентно получилось, и что ты хочешь от меня, чтоб я смог победить самого чёрта и всех его подручных, они на каждом тут шагу, их сотни, тысячи; все, кого встречал я на земле, — то черти переодетые в красивое, закамуфлированные, как бойцы спецназа, это и есть спецназ, самый сильный и беспощадный спецназ, и он всё это время уничтожал мою душу, сушил и палил её, и водкой, и виной, и ноющею болью, тягучей бесконечно. И что ты хочешь от меня?
— Я слушаю, — сказала Дуся.

10. Письмо из прошлого

Пришло письмо. Оттуда письма не приходят, — говорила мне-ему бабушка, когда он был маленьким и боялся, что бабушка умрёт. Может, кому-то и не приходят послания оттуда, может, всем не приходят. А ему придёт. До сих пор спит в нём эта детская вера.

Оно лежало в металлическом почтовом ящике, который висит в доме на первом этаже и закрывается на ключ. В закупоренном по всем правилам пакете находились слова, самое ценное из всего того, что бывает ценным. И хотя этих слов он, казалось, уже не ждал, они появились. Он не ждал их с тех пор, как ушла бабушка. Или, может, ещё раньше. Он знал, что их не будет… Писем, посланий, знаков. Но они были очень нужны. Он каждый день открывал ящик и проверял почту.
— Нет писем?
— Сегодня нет.

Из месяца в месяц, из года в год. А потом вдруг понял, что ждёт он зря. Как-то неожиданно, в какую-то самую обыкновенную минуту. Пришло такое знание, или это был обман? Якобы знание. С чего бы этому случиться? Не приходило и вчера, и позавчера. И он надеялся. А тут вдруг надеяться перестал. Вокруг всё было таким, как и раньше. Над крышами домов летали вороны, падали листья с деревьев, падали пьяные на тротуарах, детишки у подъездов, будущие философы и филологи, резвились, матерились, как обычно, а дворничиха Зоя убирала курганы мусора, оставленные земляками после культурного отдыха…

Когда-то ему писали отец или мать. Но они ушли. Кажется, уже слишком давно. Даже не то, чтобы слишком давно. Неизвестно, когда они ушли. Может, слишком недавно. Но сейчас они могли не писать. Потому что они являлись по ночам, сначала отец, легко одетый, в рубашке, он всегда стоял на углу дома и смотрел туда, где текла река, немного правее садилось солнце, но он не поворачивал голову в сторону заката, а смотрел

на застывшую гладь, может, наблюдал за дикими утками, которые плавали с поднятыми головами или опускали их иногда в зеркальную воду, чтоб перекусить. С отцом можно было постоять столько, сколько хотелось. Он не спешил исчезать в какие-то там неизвестные края. Когда он был живой, так подолгу с ним никогда не приходилось бывать вместе, всё некогда, всё недосуг, а вот теперь можно было стоять с ним, сколько хочешь. Только почему-то он ничего не говорил. Но зато всё понимал. И сон всегда был лёгким, и, когда проснёшься, то первым делом думаешь, не рано ли оставил отца одного. И только потом уже приходят другие мысли.

Он вообще писал редко, чаще приходили письма от матери. Но иногда писал и он. До тех пор, пока не ушёл. Конечно, он не собирался уходить так рано. Но вокруг появилось слишком много нелюдей, несчётное число нежитей появилось вокруг, и они отобрали у него всё, что он имел: мастерскую, дом, детей, воду и воздух. Да, так вышло. Воевал он и с фашистами, и как бы то ни было, то были люди, может, жестокие, но люди, говорящие на чужом языке. А это были нелюди, и говорили они на понятном, родном языке. И он слишком поздно понял, кто они. И вот теперь приходилось существовать без воды и воздуха, и, может, без солнца. Может, он и смотрел на реку только потому, что закат ему был уже невидим.

А потом к отцу присоединилась мать. Она тоже выходила на угол дома и тоже смотрела туда же, куда отец. И с ними можно было находиться сколько угодно долго. Они не уходили первыми.

Когда отца унесли, не потому, что он уже не мог приносить никакой пользы, нет, так было принято, то некоторое время в комнате, где он находился последние часы, оставался его голос. Это был стон. С небольшими промежутками тишины. Казалось, стонет он от боли. Потом мать попросила его не стонать, и голос затих. И уже больше не повторялся. Но отец всегда мог появиться на углу дома. Да. А спустя некоторое время, возле него стала появляться мать. И с ними можно было стоять сколько хочешь. Они всегда могли поддержать. Они были рядом, каждую ночь они собирались в этом месте, чтоб ты мог придти к ним и не чувствовать себя одиноким, не чувствовать, что ты—один. Ведь рядом были отец и мать.

От кого же он ждал послания и с какого времени? Не с того самого, не с того ли, когда стало известно ему слово «один». Слово-то он знал и раньше, но не ведал его истинного смысла. От кого? Конечно, он представлял себе это. Этот человек ходил по земле и дышал воздухом, и по вечерам смотрел, как садится солнце, а по ночам, конечно, восхищался звёздами, и они глядели ему в душу или смотрели мимо души, а по утрам встречал рассвет или ждал первого луча и с этим первым лучом начинал земные дела свои. Или что-то более важное, более значительное? Что-то, очень нужное для других. Чем же он таким занимался?! И почему не писал? Несколько строчек, несколько слов. Так нужных. Без которых—невозможно. Тех, что согревают. Согревают заброшенные души. Согрей не согрешивших!—вырывалось изнутри. Кого согревать-то?—спрашивал он себя, успокоившись, и снова ждал.

От кого же ты дожидался вести, день за днём, год за годом? От того, кто ещё ходил по земле, или от того, кто уже лежал в ней. Неизвестно. Напрасно. Ничего не было.

Но вот написал человек. Его тоже точило время—ржавчина организма, тля души, разрушитель идеалов. Оно, время, тоже покусало его, и от укусов появились болячки и шрамы. Оно не сделало для него исключения. Почему? Всегда и везде бывают исключения, и как было бы хорошо в этом случае. Но не произошло. И это было печально. И, может, несправедливо. Не к нему, отдельному человеку, песчинке и снежинке, пылинке и пушинке, а к людям. Но нет, и к тем, и к этим время предъявляло одинаковые требования. Для времени все были равны.

Письмо пришло такое чудное, такое правильное, такое нужное. То, без которого ему так трудно было ещё совсем недавно. Да чего скрывать, именно такое, какого он и ждал. Ещё чуть-чуть недавно. Буквально на прошлой неделе. Или на позапрошлой. Или, может, в прошлом году. Или года два-три назад. Боже мой, какое письмо! Бог есть!

Он открыл его, да чего скрывать, не он открыл его, ты сам открыл его, и прочитал от начала до конца, там были именно те слова, те самые слова, которых так недавно ты ждал, знал ты их тогда или не знал, неизвестно, тут надо вспоминать, напрягаться, тратить душу, но ты уже не умеешь тратить душу, или ещё умеешь? Вот это и есть то самое письмо, и послание, и весть, и знак. А оно уже не нужно тебе. Ты точно так же мог бы открыть совершенно пустой конверт. В котором не было бы ни одного слова.

11. Возвращение к камню

А что если начать с начала? С азов. С нуля. С понедельника. Заново. И зажить по-новому. Такие мысли пришли к нему сегодня. Сейчас. Да и то, если честно сказать, они приходили к нему всё время, сколько помнит себя. Уйдут и придут. Как побирушки. Как мания.

Оставить прошлое, очиститься от чего-нибудь, лучше всего очиститься полностью, осветить внутри себя то место, которое называют душой, прозрачным светом грёз и удивления. Внести в себя чистоту, ту, которая была когда-то, или ту, которой и не было никогда, не замечать ненужных слов, и взглядов, и жестов, а видеть красоту, скрытую прелесть, там, где она есть, где ещё осталась, и там, где она почти совсем исчезла, и даже там, где её и не было никогда, но она может появиться. Или просто могла бы быть.

Но чтобы пойти туда, куда надо, лучше всего вернуться к камню. Тогда уж точно не ошибёшься. Камень—это очень надёжная вещь. Или субстанция. Или инстанция. Осязаемая. Хотя, что такое осязаемая? Видимая. Его, камень, можно потрогать руками. Приложиться к нему ладонями. Или щекой. Обойти вокруг него, присесть рядом,

поразмыслить или прислушаться к себе. Можно даже поспать возле него, вздремнуть пару часиков. И уже на свежую голову сделать выбор. Не рисковать сгоряча, а осмысленно направиться в нужную сторону.

Только где этот камень? И как вернуться к нему? Есть ли он вообще? Или, может, уже и нет его на старом месте? А забрали в какой-нибудь музей и показывают простакам, как раньше, совсем ещё вчера, люди подходили к этому камню, прикладывали к нему ладони и выбирали себе дорогу в жизни. Кто стремился прямо, а кто—направо. И не боялись довериться предрассудку. Были, конечно, и такие хитрованы, любители сладкого и приторного, которые двигали влево. И целая свора чертей, переодетых в маскарадные костюмы таможенников, давала им зелёный свет. Но дальнейшая судьба любителей сладкой жизни никому не известна, как, впрочем, и судьба тех, кто двигал в каком-либо другом направлении. Будь то прямо или даже направо.

Как же это сделать? Надо ли вернуться к Днепру, сесть на катер, который когда-нибудь причалит к станции Канев, днём или ночью, поздним вечером или ровно в полночь?.. Выйти из тёплой каюты, ступить на берег, в ещё более тёплую ночь, и удивиться кручам, которые вырастут вдруг перед тобою. Сесть на землю и понять, что здесь ты никогда не был, но это то самое место. И не страшась темноты и русалок, которые в этих краях муху не обидят, не то, что взволнованного путника, главное, сам не напугай этих всего пугающихся созданий, которые и живут-то только потому, что кто-нибудь случайный, чудом не знавший всей той клеветы, которой покрыто существование девушек, бросит им невзначай тёплый взгляд или даже взгляд понимающий, за которым спрятано чувство, оно—для них, это—вам, красавицы, этим и живут русалки, не страшась темноты…

Но чувство должно быть деликатным, а если вдруг оно готово взорваться, то и сердца красавиц могут не устоять. Они же—само ожидание, вечно ждущие. Тогда не стоит жалеть о том, что осталось… Что было прежде… И то—не так уж и много…

Это место чем-то похоже на рай. И вот пора идти. Потому что звёзды уже высыпаны на небо щедрой рукой, мало того, дорога видна, и круча уже вошла в сердце, и где-то здесь, где-то недалеко лежит камень. Тот самый камень. Вот указатель—«Хутор Нелюдимый», сначала—туда. Расстояние не указано, и стрелки на дощечке нет, но наитие подскажет, куда идти. Сначала—по грунтовой дороге, которая лениво поднимается, она повернёт направо и там закончится, но не оборвётся, как несостоявшаяся жизнь, а раздвоится, как сознание безумного, на тропинки. Одна едва заметна, а другая—ещё менее утоптана, скорее, тропа. Так вот туда. Где страшней. Это единственный путь, по которому можно достигнуть истока. Чтобы изменить будущее. Судьбу. Судьбинушку. Только там и можно начать с начала. Ещё несколько часов, совсем немножко, два-три, и начнётся новое путешествие по жизни.

Оттуда легче всего пойти по миру. И неважно, придёшь ли ты туда затемно, или уже начнёт рассветать. Если доберёшься, когда звёзды ещё будут сиять и блестеть в слепящей темноте, то издалека-издалече увидишь свет супермаркета и огни автострады, дороги с односторонним движением, дороги в рай. И знаешь, что не рай, а веришь—рай. Десятки автосалонов и красоток за стеклом. Готовых на всё и услужливых до неприличия парней, одетых с иголочки. Ах!

Это если налево. Это если дойдёшь. Потому что вздохи красавиц, других, настоящих, по всему берегу Днепра, там, в начале пути, дурманят голову, превращают тебя в тесто, и ты становишься сначала как бы просто мягким, а потом уже и бестелесным. Бесхитростные русалки—их чары настоящие, и они вдруг опутывают по рукам и ногам, и вот уже перехватывает дыхание и сладко сжимает горло.

Или забредёшь в хутор «Нелюдимый». И останешься там навсегда. Забытый всеми, никем не разыскиваемый. И уже как бы несуществующий. Ведь в хуторе том живут не люди, а ведьмы. И лешие. И если человек остановится у них, или просто задержится, зайдёт испить колодезной воды, то оттуда уже вряд ли возвратится. В хуторе есть нечто затягивающее, засасывающее. Выпьешь колодезной воды, захмелеешь и упадёшь возле сарая пьяным, и вот лежишь ты алкоголик алкоголиком и думаешь в последний раз, что же это за водичка такая. И не то, что ступить, встать не можешь, и вот подходит к тебе дева, склоняется над тобой, одурманивает ещё больше, перекидывается козой, которая лижет лицо, ты отмахиваешься, и рядом появляется леший, точная копия тебя, и отрезвляет тебя той же самой живой водой. И понимаешь—без этой воды тебе не прожить, да и не жизнь это—без такой воды. И станешь ты хуторянином. А потом, если повезёт, если и звёзды будут благосклонны, и наше ближнее светило, а, может, благодаря одной Луне, которая высветит тебя лежащим на сырой земле, чтобы кто-нибудь осмотрительный, тот, кто присматривает за хутором, перетащил тебя в сарай, станешь ты настоящим лешим, тем, у кого все лешие в округе—лепшие друзья, и все ведьмы-красавицы на побегушках.

Но нет, нет. Ты дошёл до того самого места. Вот верхушка камушка показалась посреди тропинки. Да, это она вырисовывается в темноте, в полумраке. И слева—те же соблазны, то же сияние автосалонов и супермаркетов, и уже неприкрытые никакой одёжкой черти услужливо носятся перед желающими туда. Ба! Ты посмотрел налево и увидел, как один из них, мускулистый, обвился вокруг шеста, и вокруг заскулили, завизжали. Отведи скорей очи свои! Силки—кругом силки и сети! Кто же эти охотники за нашими душами?!

А направо—что там? Лопата—инструмент вашего брата, отбойный молоток и электрическая дрель? Или ряд домов, небоскрёбов, без окон, без дверей, с полными библиотеками, со всеми знаниями, готовыми к твоим услугам, чтобы произвести новые знания? Или высотки—сплошные окна, пропускающие все лучи света и добавляющие ещё

от себя, излучение, так полезное для работы ума. И труд твой будет нужен, ты будешь им гордиться, ты станешь, наконец, человеком, и плодами твоих размышлений воспользуются те, кто спешит в рай. А если захочешь, можно опуститься под землю, под скалы и воды, и, сидя в тишине, рядом с учёными, с физиками, ловить малюсенькие частицы других миров и по их самочувствию, по дрожанию их уставших мембран узнавать, что там, в других галактиках и вселенных, какие там живут существа, похожи они на нас или нет, и каков цвет их кожи, ближе к лиловому или всё же к пурпурному. Что они пьют и чем закусывают. Или только греются под лучами неизвестной звезды.

Сидеть глубоко под землёй и читать души инопланетян; единственной инопланетянки, которая ощущала свой пурпурный или розовый мир точно так же, как ты свой, жёлтый, и красный, и белый, и она точно так же, как ты, умеет растекаться по вселенной, точно так же чувствует. Может, кожа её отливает бронзой или медью, или лазурью, или, может, лицо её словно жёлтая роза, или синевой отливает с сизым налётом. Может, у неё и нет никакого лица, и рук нет, но есть что-то, из-за чего можно отдать всё, что-то проникающее в тебя, как воздух, как дым.

И другие физики, другие умалишённые братья, разрешат тебе отправить посылку туда, куда ты хочешь, и она отправится в бесконечный путь точно по адресу. И завтра, а завтра… Надо забыть, что было сегодня, и ловить другие частицы, других посланников, грозящих войной, бедой и быстрой кончиной. Путь направо — не путь мечтаний. Тут надо пропасть в труде, и мечтаниям, а точнее — личной жизни, выделяется ровно одна минута в месяц. Таков регламент. Таково трудовое соглашение.

Нет, путь направо невозможен. Всё под глазом камеры, установленной неизвестными хозяевами, хозяином, правящим всеми от века и до века. И праотцами, и правнуками помыкающий. Меняются мелкие хозяева, но крупный, главный, всё правит и указует перстом, всё требует и требует, большего и большего, меняются приказчики и заказчики, и только люди, выбравшие этот путь, это неизбежное направо, подчиняются ровно столько, сколько живут. Таков их удел, и не будет этому конца. Беспредельно подчинение их, нас, тебя и меня, этому хозяину; над ним можно шутить и смеяться, но он выше, он всегда свыше… и всегда над нашими телами и душами. Кто-то называет его Фатум, а кто-то нарекает Роком. Испепеляющий трудом, бесчувственный титан, рука дающая, как ни назови его, он ведёт тебя от начала до конца за руку, под руку, за шиворот и никогда не отпускает. Пока ты тоже способен идти. И только когда бросает тебя бездыханного, ибо ты своё отдышал, в ямку, тогда забывает о тебе. Навсегда. Как будто не он таскал тебя десятки лет по дорогам Черноземья и Нечерноземья. Бросил в ямку и забыл.

Вот что такое дорога направо. Всё время под надзором, под наблюдением, сначала из-за угла, потом — видеокамер, потом — чипа, зашитого в тебя. Не ходи направо. Пропадёшь. А созданное тобой заберут те, кто достойнее тебя. Так же, как забрали землю у твоих предков, воду у твоих пращуров, так же отберут у тебя воздух. Созданное тобой пригодится для тех, кто выбрал рай. Не ходи направо!

Да не пойду.

Он стоял здесь, в этой точке пространства, в пустынном месте, куда были выброшены уродливые коробки, угловатые сооружения, серые мусорные баки бесконечной вместимости, грязные, уродливые, как их хозяин, не Фатум, нет, а его подручный, ни на что не способный, самый бестолковый из всех, которому только и можно было поручить очистку необходимых кому-то пространств. Вокруг ни души, только тени и привидения, они — материальны, в них можно ткнуть пальцем и упереться в твёрдое и даже сломать палец, но то — тени, только тени, не души.

Он подметал там, где проходят тени. Чистил дорожку. Пока тепло, подметал. А когда выпадал снег, очищал дорожку от снега. Привидения были без душ. Но они оставляли после себя следы, и, увы, даже грязь. Даже слишком много грязи. После них оставалось больше их самих. Да. Это было. И он брал лопату и закапывал всё, что оставалось после них, где-нибудь в отдалённом месте. Можно было бы закопать их вместе с мусором. И тогда было бы чисто вокруг. Но одного надо было оставить. Потому что он кормил его с ложечки.

12. Камень

Направо было идти нельзя. Не потому, что припозднился. Хотя и это — так. Направо — было несвободно. Не так свободно, как думалось. Как чувствовалось. И крылья не подрезали только тогда, когда на спине кто-то мог сидеть. Когда там мог угнездиться тот, кто управлял. Или какой-нибудь его нетяжёлый отпрыск. Или любимая кошечка. Или хорёк. На худой конец ручной пацюк жены заправилы. Или цыплёнок их отпрыска. Если же туда не укладывалось ничего, то крылья обрезали, а перо и пух шли на подушки. Кому и какие, можно найти в справочниках. Может, какой-то пух использовали для каких-то неучтённых нужд. Эта бухгалтерия — бесконечна и ведёт в тупик. Бесконечный тупик, написал автор.

Так зачем ты вернулся к камню? Ты же знаешь заранее, какой дорогой пойдёшь. И не свернёшь с неё. И будешь выбирать её снова и снова. Возле камня, на перепутье, или в каком другом месте, во всех точках земли, где только и есть расходящиеся пути, расходящиеся тропинки, ты выберешь ту, по которой доберёшься в то место, туда, где ты сейчас. Да и причём здесь ты? Эту тропу кто-то выбрал за тебя, давно, до твоего рождения, и когда ты открыл глаза свои и осознал, то уже не было никакого выбора, только туда, ты по-настоящему и не сомневался, что идти надо туда, где нет пути. Конечно, оборачиваясь или глядя вокруг, тебе иногда хотелось тоже того, что делали другие, и даже, бывало, нестерпимо хотелось, подмывало сделать так, как они, агнцы божии, хотя агнцы творили такое, что ни на агнцев, ни тем более божьих, они не походили. Как же тебе иногда

хотелось смешаться с ними, затеряться среди них и найти счастье, настоящее, полное, соборное, много раз повторённое в каждом ягнёнке. Но это было невозможно. Ведь ОН, этот великий ОН, ещё до рождения твоего вложил в тебя мысль, которую не надо было осознавать, повторять и проговаривать вслух или про себя, нет, она была материализована во всех клетках твоего организма, в мембранах, митохондриях и протоплазме. У тебя никогда не было выхода!

Камень оказался на месте. Светало. За лесами, за горами поднималось красное светило. Оно казалось гигантским. От края и до края загоралось небо, что-то зарождалось и трепетало в воздухе. И вдруг Светило выпрыгнуло в открытое небо. Как цыплёнок из скорлупы. Оно было маленьким, как типка, и только, когда немного поднялось над лесом, стало величиной с астраханский арбуз, разрезанный пополам.

Ты подошёл к камню. Возле него сидел бандурист, но не пел ни про Сагайдачного, ни про Дорошенко, а пил утренний кофе. А чашечку ставил на выступ. В том самом камне! Так буднично, привычно. И старик был живой, настоящий, а не вымышленный, из сказки.

— Кофейком угостить?— спросил он— А так как подошедший не отвечал, то продолжил,— голубая Ямайка, лучше не бывает.— Но пришедший всё ещё не решался говорить, и старик подбодрил его,— Не волнуйтесь, это— не Ямайка, это— Эфиопия, но никто не чувствует разницу, по крайней мере, до сих пор таких не было.

— Спасибо вам за кофе, я не хочу, недавно пил водичку из колодца.

— Так ты пришёл оттуда. Из «Нелюдимого»?

— Да, по тропинке.

— Ну, молодец. Таких туристов уже нет. Перевелись.

— А вы что делаете здесь в такую рань?

— С минуты на минуту приедут немцы. Я и спою для них, и сыграю.

— Они появятся оттуда?

— Конечно. Оттуда приедут, туда и уедут.

— Так эта дорога в две стороны?

— А как же. Все дороги в две стороны. А в деревню, где мой дом, я хожу пешком. Видишь, во-о-н там мой дом.

— С голубым флагом?

— Нет. С жовто-блакытным прапором.

— А зачем сюда немцы приезжают?

— Да что-то им тут интересно. Поговорят о камне, поспорят, переводчик им расскажет о наших богатырях, а потом уже и я спою. Немцы щедрые нынче.

— Так вы с утра пораньше?

— Конечно. Встаю я рано. А потом ещё ляхи приедут.

— Вы их так и называете— «ляхи»?

— Они необидчивые. Ляхи любят хляки,— скажешь им и уже их лучший друг.

— И вы им поёте, как казаки били их предков?

— Пою, себя не жалею.

— А они что?

— И ваши предки, и наши были дураки,— так вот говорят.— Ну, ляхи и есть ляхи.

На дороге появился автобус, современный, с огромным лобовым стеклом, высокий, двух- или трёхэтажный. Он остановился возле светящегося здания, свет которого немного померк, даже прижух после восхода солнца, на этом здании светились две большие прописные буквы «ТЦ», то ли торговый, то ли телевизионный центр, и из автобуса медленно, чинно, по одному появлялись люди. И все в чистом. Это были явно не славяне. Не наши братья.

Солнце поднималось всё выше. Искусственный свет стал ничто.

Пора было возвращаться.

13. Снисхождение

Идти назад, через хутор «Нелюдимый» не имело смысла. Эта дорога как бы исчезла. Вдруг, сразу и бесповоротно. И лешие, и ведьмы, и даже русалки остались не только в другом пространстве, но и в другом времени. За каких-то два часа. Эпоха пронеслась в мгновение ока, то ли на крыльях какой-то неведомой птицы, то ли на метле Бабы Яги.

Он вышел на дорогу с двусторонним движением. Асфальт был ровным, чистым, уложенным профессионалами, может, по новейшей технологии, он был ровнее, чем дорожка на стадионе школы, где он учился. Было очевидно: и здесь, и в любом другом месте, где ступила нога человека, этот человек переделывал всё, приспосабливал для своего удобства, что-то мастерил умелыми руками, или же повергал окружающее пространство в прах, чтобы оно служило ему.

Он стоял на дороге, искусственном сооружении, всё затихло, уже ничего не было вокруг: ни салонов, ни магазинов, ни огней, ни людей, нет, он не стоял, он шёл, а потом остановился— и вокруг никого… Но этот асфальт, это твёрдое ровное и чистое под ногами напоминало, что совсем недавно здесь были люди, и они сделали это, люди, которые не понимали его никогда.

Если б здесь ничего не останавливало взгляд, кроме суслика или зайца, пробегающих полем, да шумящей травы, пусть ковыли или перекати-поле скакало бы перебежками с места на место, тогда было бы легче, было бы не так обидно. Люди куда-то идут, бегут, двигаются, деревнями, городами, странами. И только он один, теперь это ясно, яснее ясного, стоит на обочине, не в стороне, а на обочине этого движения. И никто его не понимает, не чувствует того, что есть внутри него, каких-то миражей, которые можно описать какими-то словами. Может, поэтому ему так одиноко.

— Почему же мне так одиноко?— спросил он сам себя.

— Да вот потому,— ответил кто-то. То ли это он сам, то ли кто-то посторонний.

— И солнце, и деревья, и травы— всё есть, и всё живёт, и только внутри что-то всё время гибнет, и болит, и тоска, тоска, тоска.

— Всё время холодно?— спросил голос.

— Скорее неустроенно, бесконечная изматывающая песня— вот что это такое. А ты кто?

— Я над всеми. Всеобъемлющий.

— И всепонимающий?

— Ну да,— ответил голос как бы лениво.
— И ты понимаешь меня?— вопрошающий смотрел в пустое небо.— И то, что внутри меня, ты называешь холодом?— он возражал.— Это не холод, это крик, это стон, это вечно ноющая рана. Какой же это холод?
— Ты, вероятно, прав,— согласился голос.— И то, что кричит у тебя внутри и распевает на все лады, это — пустяки. Это дело рук моих родственников. Родичей, за которых я не отвечаю. Об этом знает каждый, верующий в меня. А ты вот не веришь.
— Я понял! Тебе надо отдать душу, и ты излечишь её.
— Воистину. Надо только поверить.
— И то, что ты назвал холодом, согреется?
— Почти мигом,— согласился голос.
— Кто ты?— спросил обладатель души.— Кто ты есть?
— Аз есмь,— только и ответил голос. Он становился всё тише.
— Помоги мне,— попросил человек.— Согрей.
— Меня уже нет,— ответил голос.— Я был.

Мы стояли посреди степи, горели травы и кустарники, небо не проглядывало, дым был едучим, в дыму над нами носились чёрные клубы облаков, среди них показывались раз за разом чёрные морды, дышалось всё тяжелее, и к запаху горелой белены примешивался запах горящей смолы. Откуда он здесь взялся?

Сергей Хомутов

Синдром хронической усталости

Предаться бы сегодня вольному
Порыву,
да какие шалости?..
Пришел на смену алкогольному
Синдром хронической усталости.
Покуда освежались водочкой,
Подпитывали душу грешную,
Жизнь легкою крутилась лодочкой,
Не тыкалась в траву прибрежную.
Теперь же,
трезвостью придавлены,
В уныние впадаем долгое,
И дни, что для прозрений даденны,
Бесплодие сулят недоброе.
И множит состоянье скверное
Мысль,
от которой век не пенится,—
Что это времечко неверное
Уже ничем другим не сменится.

Как вечности приговор,
Мне видятся снова и снова
Нацеленный взгляд Гумилева
И Блока рассеянный взор.

Нам рваться, метаться, хрипеть,
Слагая напевы больные.
А им всё глядеть и глядеть
Сквозь нас, в поколенья иные.

Не наливайте поэту, не стоит,
Водка тревожного не успокоит,
Вот упокоит — вполне;
Время другое, и зелье опасно,
Что впереди ожидает — неясно,
Света не видно в окне.

Если же налили, то не бросайте
В месте чужом,
пониманьем спасайте
И разговором ночным.
Пусть отогреется он под луною,
Чтобы не мучиться дальше виною
Или безумьем сплошным.

Пусть почитает вам новые строки,
Вы потерпите,
не будьте жестоки,
Это полезно порой.
Тягостно в мире сегодня и пусто,
Да и душевности, в общем, не густо,—
Что не заменишь игрой.

Все-таки, не наливайте, пожалуй,
В жизни его непонятной и шалой
Был и Эдем, и Содом.
Выпейте сами за встречу с поэтом
И за спасенье,
пускай не на этом
Свете, хотя бы — на том.

Владимир Трефилов

Визит к Порфирию Иванову

Место своё займи в Природе,
никем не занятое, твоё оно.

Порфирий Иванов

К моменту, когда я познакомился с Порфирием Ивановым, я уже много лет изучал религиозные формы и мистические учения. Кроме того, я лет 15 занимался йогой. Имея большой опыт изучения оккультной философии, я полагал, что изучать оккультные и мистические учения по текстам — пустая трата времени. Подлинное знание о них можно получить лишь путём включённого наблюдения. По моему мнению, критика одной религиозной формы с позиций другой, основывающаяся на анализе текстов, как правило, ошибочна и лишь способствует усилению религиозной розни. В сентябре 1982 года я оформлял к защите диссертацию по социологии религии на философском факультете МГУ. Моя жена Татьяна училась в аспирантуре. Мы жили в высотном здании МГУ на Ленинских горах. Оттуда я и отправился к Иванову для «включённого наблюдения» и изучения его системы. О Порфирии Корнеевиче я первоначально услышал от Леонида Галкина — известного художника и мистика. Судя по рассказам, в нашей стране жил и работал выдающийся целитель, способный творить чудеса. Я написал Иванову и получил приглашение приехать.

Купив билет до Ворошиловграда, я собирался через десять дней вернуться в Москву. С этого момента началась цепь странных случайностей и совпадений. Приехав во Внуково, я узнал, что могу улететь раньше, переоформив билет на предыдущий рейс. Выйдя из здания аэровокзала в Ворошиловграде, я увидел автобус, собирающийся отъезжать в город Свердловск Ворошиловградской области. Выйдя на автовокзале в Свердловске, я увидел автомобиль с тремя пассажирами. На вопрос: «Куда он направляется?» я услышал ответ: «В хутор Верхний Кондрючий». Нигде с момента приезда в Ворошиловград я не ждал транспорта более пяти минут. Короче говоря, я добрался до Порфирия Корнеевича за шесть часов. Приехавшие в этот день москвичи провели в дороге около суток.

Я довольно быстро нашёл дом Порфирия Иванова. Точнее, там было целых три дома. Большой новый каменный дом, который, по словам Порфирия Корнеевича, ему помогала строить вся Россия. К сожалению, он недолго в нём пожил. Кроме того, на территории усадьбы был дом для приезжих и кухня-столовая. Встретила меня Валентина Леонтьевна Сухаревская — его жена и помощница по лечению людей. Я сказал, что приехал по приглашению Порфирия Корнеевича с Урала (слово «Ижевск» им мало что говорило). Она тут же посадила меня за стол, причём я до этого года три сидел на вегетарианской диете. Она налила мне огромную тарелку, скорее, даже миску утиного супа, в которой плавал огромный кусок утки. Со страхом смотрел я на эту пищу. «Ешь, ешь, — сказала Валентина Леонтьевна, — совсем ты себя заморил». С тех пор я отказался от полного вегетарианства. Когда я приступил к чаю, вошёл Порфирий Корнеевич — могучий старец в чёрных шёлковых шортах до колен. Всё тело его было обнажено, он был босиком. Длинные седые волосы и борода обрамляли его лицо. Он производил впечатление какого-то космического существа, напоминал лейденскую банку, заряженную энергией. Его живой проницательный взгляд, казалось, проникал в глубину, в самую сущность человека.

— Ну, — сказал он, — приехал?

— Да, Порфирий Корнеевич — ответил я.

— Ну, иди, целуй меня.

Мы обнялись и поцеловались.

— Отдохни пока. Скоро буду принимать тех, кто сегодня приехал, — сказал Порфирий Корнеевич.

В этот день приехало ещё восемь человек. Я вошёл в дом для гостей, чисто убранный, с застеленными кроватями. В доме было два больших холодильника, доверху набитых продуктами, привезёнными гостями. Продукты эти никто не ел, приехавших кормили трижды в день совершенно бесплатно. Ни за лечение, ни за кров не брали ни копейки. Через некоторое время вошёл Порфирий Корнеевич. В этом доме была специальная комната, где стояла кушетка, на которой он осматривал и лечил своих пациентов. Когда очередь дошла до меня, он положил меня на кушетку, одну руку поднёс к голове, другую — к ногам и сказал: «Переведи внимание на сердце, на печень, на лёгкие». В этот момент у меня возникло ощущение, что через меня течёт мощная энергия, подобная электрическому току. На безымянном пальце моей левой руки было золотое обручальное кольцо. Палец закололо, как иглой. Порфирий Корнеевич почувствовал это и сказал: «Сними и не носи никогда больше фиксированного на теле металла». Впоследствии я прочитал в «Тетрадях» Иванова: «*Я люблю больного, ценю, храню его, знаю душу и его сердце… через руки током убиваю боль*».

Закончив работу, Порфирий Корнеевич сказал: «Я привёл твоё тело в порядок. Сейчас все вы пойдёте во двор. Я буду учить вас жить в гармонии с природой». Когда приехавшие собрались во дворе,

помощники и ученики Порфирия Корнеевича принесли воды из артезианского колодца, и процедура началась. Он заставил всех снять одежду и облил каждого из ведра холодной водой. Затем попросил всех взяться за руки и образовать круг. Он замкнул этот круг, став его частью, и начал говорить свои заповеди о том, как жить в гармонии с природой. Здесь у меня снова возникло ощущение, что через круг взявшихся за руки людей течёт мощная и светлая энергия. В своих «Тетрадях» Порфирий Корнеевич сравнивает эту энергию с электричеством: «*Я решился пойти в Природу, Я решился шагать своими ногами… по земле для того, чтобы обязательно электразироваться; для того, чтобы набраться этих сил и этими силами владеть!*»

Оценивая впоследствии всё происходившее, я пришёл к выводу, что в этот момент мы вошли в некое изменённое состояние сознания, в котором информация входила в нас, минуя всякие логические барьеры. Слова, которые говорил Порфирий Корнеевич, были очень просты и, с точки зрения наших книжников и фарисеев, банальны. Однако, именно они и представляли собой настоящую истину, которая была проста, но в силу её простоты была нами прочно забыта. Наш извращённый образ жизни, наше образование и воспитание, наши абсурдные ценности привели к тому, что эти фундаментальные правила жизни мы отвергли и вытеснили в сферу бессознательного. Порфирий Корнеевич просто восстановил их в нашей памяти.

То, чему учил нас Порфирий Корнеевич, было изложено в тексте, получившем в движении ивановцев название «*Детка*». В нём Порфирий Иванов излагает двенадцать правил жизни в гармонии с природой. Этот текст был известен мне и ранее. Однако, я, как и большинство людей, прожил свои тридцать три года в соответствии с максимой, сформулированной ещё в Древнем Риме: «Разделяю лучшее, но следую худшему». Привожу этот текст полностью:

Детка

Ты полон желания принести пользу народу? Для этого постарайся быть здоровым. Сердечная просьба к тебе: прими от меня несколько советов, чтобы укрепить своё здоровье:

1. Два раза в день купайся в холодной природной воде, чтобы тебе было хорошо. Купайся, в чём можешь: в озере, речке, ванной, принимай душ или обливайся. Это твои условия. Горячее купание завершай холодным.
2. Перед купанием или после него, а если возможно, то и совместно с ним, выйди на природу, встань босыми ногами на землю, а зимой на снег, хотя бы на 1–2 минуты. Вдохни через рот несколько раз воздух и мысленно пожелай себе и всем людям здоровья.
3. Не употребляй алкоголя и не кури.
4. Старайся хоть раз в неделю полностью обходиться без пищи и воды с пятницы 18–20 часов до воскресенья 12-ти часов. Это твои заслуги и покой. Если тебе трудно, то держи хотя бы сутки.
5. В 12 часов дня воскресенья выйди на природу босиком и несколько раз подыши и помысли, как написано выше. Это праздник твоего дела. После этого можешь кушать всё, что тебе нравится.
6. Люби окружающую тебя природу. Не плюйся вокруг и не выплёвывай из себя ничего. Привыкни к этому—это твоё здоровье.
7. Здоровайся со всеми везде и всюду, особенно с людьми пожилого возраста. Хочешь иметь у себя здоровье—здоровайся со всеми.
8. Помогай людям чем можешь, особенно бедному, больному, обиженному, нуждающемуся. Делай это с радостью. Отзовись на его нужду душой и сердцем. Ты приобретёшь в нём друга и поможешь делу Мира!
9. Победи в себе жадность, лень, самодовольство, стяжательство, страх, лицемерие, гордость. Верь людям и люби их. Не говори о них несправедливо и не принимай близко к сердцу недобрых мнений о них.
10. Освободи свою голову от мыслей о болезнях, недомоганиях, смерти. Это твоя победа.
11. Мысль не отделяй от дела. Прочитал—хорошо. Но самое главное—*делай!*
12. Рассказывай и передавай опыт этого дела, но не хвались и не возвышайся в этом. Будь скромен.

Я прошу и умоляю всех людей: становись и занимай своё место в Природе. Оно никем не занято и не покупается ни за какие деньги, а только собственными делами и трудом в природе себе на благо, чтобы тебе было легко.

Желаю тебе счастья, здоровья хорошего.

После того, как Порфирий Корнеевич закончил работу с нами, он сказал: «Сейчас вы пойдёте к Валентине Леонтьевне. Она будет работать с вашим физическим телом». Само это словосочетание указывало на то, что Порфирий Корнеевич обладал особым глубинным знанием, отличавшим биопсихическое поле, с которым он по преимуществу работал от физического тела. Знание это во внешних формах проявлялось редко, но иногда проскальзывали в его речи термины и обороты, которые свидетельствовали о знакомстве и с основами биоэнергетики, и с мистической философией. И это не единственный случай. Я жил около семи дней рядом с ним, много с ним общался, работал с его тетрадями и был свидетелем множества странных событий и явлений.

Затем нас приняла Валентина Леонтьевна. Она сама обладала экстрасенсорной чувствительностью, которую, как она сказала, передал ей Порфирий Корнеевич. Как только она начала со мной работать, сразу спросила: «Володя, с тобой уже кто-то работал. Кто?» «Леонид Галкин»,—ответил я. Услышав это имя, она сказала: «Почему Лёня говорит, что знает Учителя, (т. е. Порфирия Корнеевича), ведь они не встречались?» «Он говорит о духовной связи, а не о личном знакомстве»,—ответил я.

Руками она не махала, как обычно у нас это делают экстрасенсы. Скорее всего, она обладала таким фундаментальным восприятием биопсихического поля, которое не нуждается в рукомахании. Далее она сделала особый, очень жёсткий и болезненный массаж, адекватный тем изменениям, которые Порфирий Корнеевич сделал в теле. Массаж уникальный по многим параметрам. Особенно стонали под её руками толстокожие женщины, у которых жировая клетчатка составляла значительную часть тела. Они кричали и царапали ногтями пол и коврик под собой. Болезнь нелегко уходила из их тел.

Основу массажа составляла правка позвоночника, причём от каждого позвонка оттягивалась кожа. Там, где потоки энергии были заблокированы и где на функциональном или на морфологическом уровне возникали изменения, происходил щелчок, подобный хрусту пальца, когда его разминают. Массаж шёл сначала от копчика вверх до шейных позвонков, потом—вниз до основания позвоночника. Использовались и другие виды массажа. Обладая биоэнергетическим ясновидением, Валентина Леонтьевна, видимо, знала, каким образом на уровне физического тела внести изменения, адекватные тем, что сделал Порфирий Корнеевич на уровне информационно-энергетического поля. Ощущения после приёма были поразительные. Многие говорили, что родились заново.

Затем всех пригласили на обед. Порфирий Корнеевич во время обеда ел очень мало: буквально несколько ложек. Всё остальное он раскладывал из своей тарелки людям, приехавшим на лечение. Они принимали с благодарностью эту пищу. Затем Валентина Леонтьевна после чая сказала каждому, когда он уедет и сколько сеансов каждому требуется. «Парень с Урала останется»,—сказала она обо мне. Я прожил там семь дней, хотя полагал, что проживу десять. Но о том, почему я уехал раньше намеченного срока, расскажу ниже.

Итак, я наблюдал жизнь Порфирия Иванова и всего небольшого сообщества, которое сформировалось вокруг него, изнутри. Я жил в его большом новом доме, в комнате для гостей. Здесь в гостиной стояла пишущая машинка и лежали тетради, которые написал Порфирий Корнеевич. Их было около двухсот. Писал он не очень разборчивым почерком. Люди, работавшие с его тетрадями, расшифровывали эти тексты. Я изучал тетради несколько дней, читал, делал выписки. У меня сложилось впечатление, что отдельные предложения в этих текстах напоминали дзэн-буддистские коаны[1]. Искать в них формальную логику было бесполезно, как в коане: «Скажи мне, как звучит хлопок одной ладони?» Чиновники, которые читали тетради Порфирия Корнеевича, приходили в большое недоумение и говорили, что это—бред ненормального человека. У меня же возникло впечатление, что это тексты, для понимания которых логика не нужна. Надо расширить структуры сознания, включить структуры бессознательной психики, такие, как засознание и надразум[2]. Только тогда можно принять и понять эти тексты. Они содержали странные метафоры. В «Тетрадях» Порфирий Иванов записывал также сны и сновидения. Но, поскольку он не обладал нашим изощрённым и извращённым образованием, всё было написано очень просто. Это была речь простого русского человека, фиксировавшая информацию, полученную из Ноосферы, из информационного поля земного биота. *«Я строил из матери-Природы друга, часто разговаривал на русском единственном языке относительно всей прежней жизни»,*—пишет Порфирий Корнеевич.

Я работал с тетрадями Порфирия Иванова и наблюдал за тем, что происходит вокруг. Каждый день к нему приезжали люди. Причём в день моего приезда он весь сиял и показывал приехавшим письмо из Управления профилактической медицины Минздрава СССР, которое ему направили и в котором были строки: «Управление профилактической медицины Министерства Здравоохранения СССР весьма признательно Вам за выводы и рекомендации по воспитанию подрастающего поколения». «Наконец, мы признаны»,—говорил Порфирий Корнеевич, показывая присутствующим письмо.

Он думал, что многолетнее преследование его как целителя, наконец, закончилось с этим письмом. Вспоминая прошлые гонения, Порфирий Корнеевич записал в своих «Тетрадях»: *«Мне нигде не даётся места, даже в Москву не пускают; Я не имею права никакого где-нибудь показаться Своим телом. Я нахожусь только в доме, который построил для всех людей»*. Впоследствии я узнал о причине появления письма из Минздрава. Несколько его московских последователей и учеников, одним из которых был учёный—термодинамик Игорь Хвощевский, написали Л. И. Брежневу письмо и послали ему «Детку» Порфирия Корнеевича. Естественно, что наш генсек не счёл возможным ответить Порфирию Иванову лично. Вполне возможно, что он даже не видел этого письма, которое застряло в кремлёвских коридорах власти, откуда его переслали в Минздрав СССР. И вот из Министерства Здравоохранения, из Управления профилактической медицины Порфирию Корнеевичу пришло письмо с выражением признательности. А раньше, как говорила мне Валентина Леонтьевна, милиционеры стояли у входа в усадьбу и за огородом Порфирия Иванова и отбирали паспорта у всех, кто к нему приезжал, препятствовали приёму и отпугивали людей. Письмо из Минздрава СССР он счёл добрым знаком, свидетельством того, что ему, наконец, разрешили приём. Но не тут-то было… В тоталитарном обществе одной рукой

1. Коан—одна из важнейших практик дзэн-буддизма, помогающая достичь «пробуждения» (сатори). Особенность коана—его парадоксальность и невозможность рационального решения поставленной задачи. Предельное ментальное напряжение ученика сначала приводило его к осознанию невозможности обнаружить логически ясный рациональный ответ, за которым следовал прорыв в иррациональное постижение предмета и смысл задачи.

2. Засознание и Надразум—термины Интегральной йоги для обозначения структурных уровней бессознательной психики. См. об этом: Трефилов В. А. Надконфессиональная синкретическая религиозная философия.—В кн.: Основы религиоведения. М.: Высш. шк., 2005, гл. XVII, с. 377–381.

милуют, другой — карают. Не прошло и недели после прихода этого письма, как в хутор Верхний Кондрючий приехала чиновница — председатель Свердловского исполкома горсовета Ворошиловградской области и под честное слово заставила Порфирия Корнеевича отказаться от приёма. Я не был свидетелем самого разговора. Я слышал о нём от Валентины Леонтьевны. Видимо, опять были прямые угрозы репрессий со стороны властей, потому что Порфирий Иванов вынужден был дать слово, что не будет больше принимать людей.

На следующий день приехало человек двадцать на машинах. А поскольку Порфирий Корнеевич дал слово больше не принимать, он вынужден был им отказать. Люди были страшно возмущены позицией властей и решили ехать в Свердловский горком партии искать справедливость. Валентина Леонтьевна отозвала меня в сторону и сказала: «Володя, они сейчас дров наломают, ещё хуже будет. Ты человек учёный. Учитель просит тебя поехать с ними и взять это дело в свои руки». В общем, так и произошло. Я сел в одну из машин. Приехали мы в Свердловский горком партии — целая делегация, человек пятнадцать. Сидим в приёмной. Вдруг появляется лощёный молодой человек в безупречном костюме — этакий «слуга народа», инструктор по атеизму Свердловского горкома партии. Поскольку Валентина Леонтьевна мне поручила заниматься этим делом, я рассказал ему о том, что происходит, высказал претензии от лица приехавших людей и попросил отменить запрет. Молодой человек на это ответил: «Вы знаете, я познакомился с тетрадями Порфирия Иванова, и, хотя я получил высшее образование, но ничего не понял и пришёл к выводу, что это бред не вполне нормального человека». На что я ему сказал: «Вы знаете, я тоже получил некоторое образование, закончил аспирантуру на философском факультете МГУ и написал диссертацию по религиоведению и социологии религии. Я изучил эти тетради и считаю, что часть текстов, похожа на дзэн-буддистские коаны, которые никто в мире не считает бредом не вполне нормальных людей. Для того чтобы понять эти тексты, нужна особая подготовка, которой в наших вузах не дают». На что лощёный молодой «слуга народа» сказал: «Ну вот, вы, учёные, изучайте, делайте выводы. А мы — люди подневольные: нам, что скажут, то и делаем». И я понял, что запрет идёт откуда-то сверху и сделан вовсе не по инициативе местных властей. На этом наш разговор закончился, и я вернулся с делегацией возмущённых людей к Порфирию Корнеевичу.

Я рассказал ему и Валентине Леонтьевне о том, как нас приняли в горкоме партии. Порфирий Корнеевич очень переживал, что не может принимать и лечить людей. Я вдруг увидел, что из могучего старца, наполненного энергией, он превратился в обычного старого человека. Это длилось недолго. Я услышал, как Валентина Леонтьевна сказала ему: «А ты спроси у Природы. Может быть, так и нужно было?» Вскоре рядом с нами был снова могучий старец, Целитель и Учитель.

Хотя Порфирий Корнеевич дал слово, что не будет принимать пациентов, но было два случая при мне, когда он его всё-таки нарушил. Там уже невозможно было людям не помочь. Приехала старушка, которая после операции утратила зрение, и он простым наложением рук в течение нескольких секунд возвратил ей зрение. Был и второй случай, когда он принял больного мальчика, которого привезли родители. Думаю, что отказать было нельзя. Видимо речь шла о жизни и смерти мальчика. А всем остальным он вынужден был отказывать.

В течение этой недели я встречался со многими людьми, которых исцелил Порфирий Корнеевич. Были люди, которых он вылечил от рака, диагностированного, прооперированного и безнадёжного. Некоторые приезжали не первый раз. Многие из тех, кого вылечил Порфирий Иванов, воспринимали исцеление как чудо. По моему мнению, чудо всегда связано с отменой объективных законов мира. Однако часто люди принимают за чудо событие, глубинные причины которого скрыты. Лечение многих болезней методами современной медицины в средние века несомненно было бы воспринято как чудо. Наблюдая процесс лечения, я пришёл к выводу, что метод Порфирия Иванова был связан с одновременным воздействием на все слои телесной, энергетической и информационной структуры человека. Согласно теории йоги и ряда восточных учений, первичные аномалии, ведущие впоследствии к болезням, связаны с неправильным мышлением и неправильными реакциями людей на окружающую действительность. Это создаёт блоки и пробки в информационно-энергетических каналах биопсихического поля. Постепенно информационная программа болезни обретает энергетическую составляющую, а затем спускается в плотное физическое тело. Пока болезнь не проявлена на уровне соматических структур тела, её можно вылечить с помощью информационно-энергетического воздействия. Но если она спустилась в физическое тело, одного экстрасенсорного воздействия недостаточно. Исключительные результаты в лечении болезней были достигнуты Порфирием Ивановым именно потому, что он оказывал одновременное воздействие на все слои многомерного человеческого существа. Немалую роль, разумеется, играла и вера в уникальные способности Иванова.

Обливание природной холодной водой, рекомендованное Порфирием Ивановым, многие авторы трактуют как закаливание. Думаю, что к закаливанию здесь дело не сводится. С точки зрения теории йоги, природная холодная вода концентрирует в себе большое количество праны — космической энергии. Если у человека раскрыты каналы поглощения этой энергии, то он может усваивать её через структуры своего биопсихического поля. Порфирий Корнеевич дал также совет не вытираться после обливания, а обсохнуть за счёт теплообмена с окружающей средой, тогда эффект от обливания значительно увеличится. Кроме того, он рекомендовал мне запомнить непроизвольный глотательный акт, который возникает в момент обливания. «Глотай этот воздух, проводи его в желудок, а оттуда — к больному

органу,—советовал он,—делай это и вне обливания». Обдумывая этот совет, я пришёл к выводу, что Порфирий Иванов разработал особый метод поглощения космической энергии через горловую чакру. Методы ассимиляции космической энергии, принятые в классической йоге, достаточно сложны, требуют особой подготовки, освоения медитативных техник и техники пранаямы. Подавляющему большинству больных людей они недоступны, а энергия для исцеления нужна прямо сейчас. Разработанный Порфирием Ивановым метод прост, эффективен и не требует особой подготовки. Он использует естественный физиологический акт.

Жители хутора появлялись у Порфирия Корнеевича нечасто. В памяти осталось лишь общение с одним из учеников Иванова. Он рассказал несколько историй о жизни Порфирия Корнеевича. Вот одна из них. Во время войны, когда немцы захватили Украину, Порфирия Корнеевича пытались отправить в Берлин. Известно, что фашистские бонзы отыскивали всяких чудодеев. В Германии было более пятидесяти исследовательских центров, где изучалось проявление аномальных способностей и оккультных традиций в разных странах мира. Сначала Порфирия Иванова подвергли испытанию: поливали ледяной водой из брандспойтов несколько часов на морозе, закапывали в сугроб, возили в мотоциклетной коляске, пытаясь заморозить. Но того, что произошло с генералом Карбышевым и тысячами других военнопленных, которых фашисты замучили до смерти, поливая на морозе ледяной водой, с ним не случилось. Он остался жив, здоров и невредим. Затем, по рассказу Валентины Леонтьевны, Порфирия Коронеевича пожелал видеть сам генерал Паулюс, который спросил Порфирия Иванова: «Кто победит, Сталин или Гитлер?» Порфирий Корнеевич ответил: «Сталин». После этого его закрыли в холодный подвал, а на следующий день посадили в вагон и отправили в Германию. Однако, по неясным причинам, высадили в степи, примерно в 20 километрах от ближайшего жилья, и он босой по снегу в одних своих шортах добрался до дома. Было ещё несколько историй. Рассказывавшие их люди утверждали, что Порфирий Иванов мог произвольно менять свой рост и иногда выглядел, как гигант, возвышающийся над окружающими. Лично я такого не видел, но впечатление на людей он производил огромное мощным энергетическим полем, которое всегда ощущалось.

Однажды утром после завтрака Порфирий Корнеевич сказал мне: «Володя, пойдём, будешь помогать мне отвечать на письма». Сели мы за стол, и он протянул мне довольно объёмистый труд некоего московского мистика, который пытался исследовать феномен Иванова. Текст был насыщен философскими категориями и написан сложным языком. «Читай!»—сказал Порфирий Корнеевич. После того, как я прочёл текст, он спросил: «Что будем отвечать?» В этот момент в моей голове возникла фраза: «Написал ты много, но подлинного знания о мире и человеке у тебя нет. Желаю счастья, здоровья хорошего. Учитель». Фраза абсолютно не моя. Я воспроизвёл её и спросил: «Так, Порфирий Корнеевич?» «Да, так,—сказал он,—пиши». Он подписал эту бумагу и её отправили мистику. Обдумывая этот случай, я понял, что он использовал мой мозг как некий инструмент, поскольку не обладал систематическим, а, тем более, философским образованием.

Только мы закончили процесс ответа на письмо, как вдруг появляется бородатый мистик. Глаза горят, «власы подъяты в беспорядке» и падает в ноги Порфирию Корнеевичу с криком: «Учитель, отпусти грехи!». И тут я впервые услышал, как Порфирий Корнеевич повысил голос. «Ну-ка встань!—сказал он ему.—Что ты себе позволяешь? Нет, нет на тебе никакого греха!» Впоследствии я читал немало высказываний людей, Иванова не знавших, о том, что он поощрял поклонение себе, как некоему живому богу. Но этот случай свидетельствует об обратном. Не поощрял он, а пресекал поклонение себе. Об этом же свидетельствует и следующее его высказывание: «*Я—человек, борюсь в Природе за продолжение жизни, за эволюционную систему*».

После визита нашей делегации в Свердловский горком партии, нас посадили обедать. Затем Валентина Леонтьевна отозвала меня в сторону и сказала: «Володя, Учитель просит тебя поехать в Управление профилактической медицины Министерства Здравоохранения и рассказать о том, что тут происходит». «Хорошо»,—ответил я. Утром следующего дня Порфирий Корнеевич проводил меня до калитки, обнял, поцеловал и сказал на прощание: «Иди, Володя, со мной иди!» Я вышел из хутора Верхний Кондрючий и оказался на круглой поляне, окружённой деревьями и кустарниками. Вдруг я вошёл в весьма странное состояние сознания: я увидел, что в воздухе появилась золотистая пыль, маленькие светящиеся искорки. Структура окружавших меня растений изменилась: вместо устойчивых вещественных форм меня окружали потоки энергии, подобные разноцветной мозаике. У меня возникло ощущение, что я способен управлять этими потоками и даже слепить вещь из энергии. Я забыл человеческую речь. Произошла полная остановка мысли, отключение внутреннего монолога. Думаю, что это был подарок Порфирия Корнеевича мне на прощание. Не знаю, сколько я пребывал в таком состоянии: чувство времени полностью исчезло, как будто это было одно длящееся мгновение.

Впоследствии это состояние стало возникать самопроизвольно. Стоило мне сконцентрироваться на каком-либо объекте—и я снова входил в это странное состояние. Однажды, примерно через месяц после поездки к Порфирию Иванову, я вёл семинарское занятие в студенческой группе. Сконцентрировавшись на ответе студентки, я вдруг вошёл в изменённое состояние сознания. В пространстве появились золотистые искорки, вместо студентов в аудитории—энергетические потоки. Но самое главное—я забыл человеческую речь. Процесс познания и мышления не исчез. Он лишь радикально изменил свою форму. Это было невербальное, недискретное мышление. Студентка

завершила ответ, а я продолжал сидеть за столом и созерцать разноцветные энергетические потоки не в силах произнести ни слова.

Между тем, состояние аудитории начало меняться. Вдруг у меня возникло ощущение, что я должен немедленно прервать семинар. Я положил журнал в папку, кивнул студентам и вышел из аудитории. После этого я целую неделю отлёживался дома, пытаясь взять под контроль спонтанно возникающее изменённое состояние сознания. Мне это удалось. Больше оно никогда не появлялось непроизвольно.

Но вернёмся к моей поездке. Приехав на железнодорожный вокзал в Ворошиловграде, я обнаружил, что билетов на московский поезд нет. Стоило в здание вокзала кому-либо войти, как к нему бросалось несколько человек с вопросом: «Нет ли билета до Москвы?». Попытавшись купить билет таким образом, я понял, что в Москву мне на этом поезде не уехать. Вдруг я вспомнил слова Порфирия Корнеевича, которые он сказал мне на прощание: «Иди, Володя, со мной иди!» — и мысленно обратился к нему за помощью. Не прошло и минуты, как в здание вокзала вошла женщина средних лет, к которой никто из желавших уехать почему-то не бросился, подошла ко мне и спросила: не нужен ли мне билет до Москвы. Через полчаса я лежал в купе на верхней полке и осмысливал всё происходящее.

Приехав в Москву, я, не заезжая в МГУ, отправился к ученику Порфирия Иванова — учёному-термодинамику Игорю Яковлевичу Хвощевскому, адрес которого дал мне Порфирий Корнеевич, и рассказал ему всё. Вместе с ним мы выработали стратегию поведения во время моего визита в Министерство Здравоохранения. Решив, что визита и словесного общения будет недостаточно, я написал письмо на четырёх машинописных листах на имя начальника Управления профилактической медицины. В нём я подробно описал свои впечатления о Системе Иванова, о том, что там происходит и о запрете приёма больных местными властями. Начальник Управления меня, разумеется, не принял, а отправил к одному из своих заместителей — функционеру сталинской закалки. Китель на нём смотрелся бы гораздо естественнее, чем штатский костюм. Заместитель выслушал меня и сказал: «Вы знаете, мы много слышали о Порфирии Иванове, о его методах лечения и профилактики, но, на наш взгляд, все эти методы ненаучны и мы не можем разрешить их применение. Тем более что он не имеет медицинского образования». В связи с этим вспоминается запись в «Тетрадях» Порфирия Корнеевича: *«Все теоретики теорией своею окружаются, а чтобы делать, так и нету»*.

На замечание чиновника я ответил, что Гиппократ и Гален тоже не имели диплома об окончании советского медицинского вуза. Это его страшно разозлило. Он стал со мной очень резко говорить и завершил визит. Уходя, я сказал, что считаю своим долгом оставить письмо на имя начальника Управления профилактической медицины. «Это ваше право», — сказал чиновник. Так я и сделал. Зашёл в приёмную и зарегистрировал письмо. Думаю, что оно хранится в недрах архива Министерства, как одно из многочисленных свидетельств косности советской системы здравоохранения.

Вернувшись к Игорю Яковлевичу, я рассказал ему о результатах своего визита и о том, что надо сообщить о них Порфирию Корнеевичу. «Письмо по почте не отправляй, — сказал Хвощевский, — перехватят. Только через меня». Я написал большое письмо, которое закончил словами: «Таковы, Порфирий Корнеевич, неутешительные результаты моего визита» и оставил его И. Я. Хвощевскому. Прошло более месяца. Вдруг я получаю от Порфирия Иванова письмо: «Володя, учитель не получил от тебя никакой весточки. Что случилось? Как ты съездил в Москву? Ответь. Желаю счастья, здоровья хорошего. Учитель». Не знаю, по какой причине письмо не дошло. Видимо, его всё же перехватили. В тот же день я пошёл на почту и отправил телеграмму, текст которой занял целый машинописный лист. В ней я рассказал Порфирию Корнеевичу о результатах своего визита. Отправил я её с обратным телеграфным уведомлением о вручении. Уведомление пришло только через шесть дней.

Просматривая выписки из «Тетрадей», я не раз задумывался о глубинной жизненной мудрости Порфирия Иванова.

Так, например, Порфирий Корнеевич весьма критически относился к технике и достижениям современной цивилизации. В «Тетрадях» он пишет: *«Мы с вами технически сильные, но премудростью — нет!»*

Весьма поучительно и отношение Порфирия Иванова к деньгам и частной собственности:

«У кого Природа, у Того и слава. А у кого есть частная собственность — у того вечная нужда».

«Деньги держат тюрьму, деньги ставят больницу. Преступник рождается через деньги».

«Государство это есть деньги. Они разрастаются на людях: то, что покупается, приходит в негодность, а богатство есть прах».

«В деньгах нет живого, а всё мёртвое. Мы через деньги создали смерть. Тот, кто не хочет, чтобы люди продавали за деньги Природу, — ему Природа продлит жизнь».

В условиях развивающегося олигархического капитализма эти изречения звучат весьма актуально. Неплохо бы обдумать их нашим политикам и олигархам, превращающим природные богатства в деньги.

В заключение приведу самооценку Порфирия Иванова:

«Он встретился с истиной, Он окружился правдою; это эволюционный порядок, надо этим порядком жить. Это есть правда — сознание определяет бытие».

Юрий Перфильев

Приглашение к путешествию

Жара, как на юге. Среда. Гермесова точка недели.
Мы так торопились сюда, что даже прийти не успели
в себя, оказавшись взамен двоих постояльцев отеля.
В окошке горит цикламен. Двадцатые числа апреля.
Твой день. Донимает Нева, братается с ветром и слепит.
Волна, как чудная молва, одни восклицания лепит.
Другие даются с трудом. Известная суетность вкуса.
И некогда праздновать в том уже ни героя, ни труса.
Среди ожиданий повтор среды обретений рапсода,
на многоканальный простор балтийская рвётся свобода.
И небо, сплотив покрова над нами, безличное сбросив,
свои подбирает слова на зависть—Исакий, Иосиф.

Приглашение к путешествию

Охота молоть языком расстояний приплод
(значений трясётся шкала поневоле пробега),
триумф ли жены любопытств пожинающий Лот,
наука ли разоблачений от Альфа к Омега?
Не так ли ночной небосток—пережитков трансфер
на грешную Землю с не менее, скажем, Венеры,
по штату на слух полагается музыка сфер
влияния невыносимой на то атмосферы.
Засим остаётся готовность ответить на зов
пространства пока твой подсумок грудной «не заёкал»,
пока звездочёты с трудом вычитают улов
из двух мотыльков между двух запылившихся стёкол.

Звёзды в окошке искрят о своём неслышно.
Так по губам не поймёшь из обратных драму
связей. К примеру, что яблоку Ева, Кришна,
Ньютон, Парис—по классическому там-таму.

По бестолковости выбора между злами,
выхода нет, перепробуешь все регистры.
Ладно, хотя б из чего возгорелось пламя,
звёзды декабрьские в дело идут на искры.

Видимость необозримого не помешала б.
Пой свою партию битого часа калиф,
пей ежедневное пойло обживок и жалоб,
бей в барабан, атмосферную плоть раскалив.

Выдержка нам изменяет, подобная снимку,
фотобумага помалу теряет чутьё.
Видишь, едва различимые режем в обнимку
правду чуть больше положенной, сами—чуть ё…

Архитектурной быть бузе.
Колодой через пень колонна.
Марсель, магалам Корбюзье
грозит Гвардейская Мадонна.
Неаполь, вопли—наплевать.
Равенна варваров нирвана.
Коробит Кордобы кровать
и телерана Тегерана.

Умом горюет и Москвой
усатый Бомбардир—неладен.
Великобритов сводит свой
над Темзой боем Биг-Бен-Ладен.
Версаль задуман как верстак,
Суэц—подобно суициду.
Под новым колпаком рейхстаг,
и остеклили пирамиду
у Лувра. Скользкий матерьял
ужимок лакомых и жестов.
Лас-Вегас главный ареал
градосмесительных инцестов.

Мир обезбашен до небес.
От Вавилона без оглядок
посредники Семи Чудес
бесцеремонней на порядок.
Распадом капищ и жилищ
подобное подобно слепку.
В районном скверике Ильич
последнюю сжимает кепку.

лечу смотрю куда когда
зеваю чтоб не заложило
по верху сумерки звезда
гвоздит по праву старожила
внизу посадов светляки
агломераций парафразы
где красят быт на стояки
нанизанные унитазы
к земле придирчивый уют
на иждивении повадок
подмоченных в сухой как брют
не попадаются осадок
коллизии размером с миф
из допотопных надоели
но чем времён надёжней смыв
тем ближе и яснее цели

Гуляние под вечер и оркестр
в саду с победной выправкой. По году
проходу нет от местных Клитемнестр,
и от войны недавней нет проходу.

Трофейного наследия приют—
великой блажи детские задворки,
как если б этот лучший мир-май-труд
придумали законченные орки.

Загадочны теперь издалека
границы сообщения сосуда,
где прошлое витает в облаках
грядущего неясного оттуда.

Тактичней собеседника окрест,
чем «ходики» со временем не встретишь,
ещё—немного сбивчивая ветошь
с деревьев, опроставшихся в обрез.
Особенно, когда твой дом врасплох
застукан одиночеством застолий
и скатертных потёков винных схолий
под лясы кровоточных выпивох.

Ни одной решительно зацепки,
небу ли до наших неудач.
Ласточки при деле, как прищепки
линии электропередач.
Мусорная просеки щетина
колется, попробуй отрекись.
В целом заурядная картина
ту ещё прописывает кисть.
Тот ещё гешефта отголосок
бухучёт идёт на чудодни
только для одних, считай, колоссов
агро-гидро-аэро родни!

Не до пищи, паче для ума,
посреди пути. До перемены
сумма мест слагаемых сама
ждёт от привокзальной Мельпомены
изменений. Разница высот
взлётов и падений прихотлива.
Участи на жизнь не достаёт,
как последней мелочи на пиво

Римма Чучилина

На бегу

Снотворное

В автобусе на сиденье напротив молодая женщина увлечённо читает тоненькую брошюрку, торопливо переворачивает страницы. «Чем это она так увлеклась?»—заинтересовалась я и стала ждать возможности разглядеть название. Ага! «Правила…». Когда страничка снова перевернулась, показались картинки—дорожные знаки. Да это «Правила дорожного движения»! Наверное, дама на водительских курсах учится. Умничка! Времени не теряет. Одна моя молодая знакомая тоже занимается в автошколе. Правильно делают. Пока молодые, память хорошая, почему не заняться? Купят машины и будут заруливать…

Наблюдая за попутчицей, я вспомнила свои «Правила».

Эту толстую книгу приходилось читать каждый год. Один раз в году нужно было сдавать «Правила». «Правила техники безопасности при работе в электроустановке». Я тогда, после окончания техникума, работала на медеплавильном заводе электрослесарем по контрольно-измерительным приборам. И ежегодно приходилось терпеть экзекуцию «правилами». По добросовестности и исполнительности я брала в руки книгу, укладывалась в постель, так как любила читать лёжа, и открывала фолиант. Но дальше «Введения» и двух, от силы трёх страниц чтение не шло: я погружалась в дрёму, просто-напросто за-сы-па-ла. Каких трудов стоило, в конце концов, подготовиться к экзамену, кто бы знал! Зато с тех пор появилось у меня надёжное снотворное—«Правила техники безопасности при работе в элек… в эле…»

Небо в алмазах

— Иди сюда,—зовёт Володя.

Ночь. Тёмная, но не кромешная. От морозца—душистая и нарядная. На крыльце изморозь. Первая, нежданная. Оттого и свежо. Осторожно спускаюсь по ступеням. Трава у крыльца тоже в инее, хрусткая.

— Смотри!

Поднимаю глаза и ошеломлённо замираю! Боже мой! Небо в алмазах! В брил-ли-антах! Небосвод густо усыпан звёздами. Крупные звёзды и маленькие звёздочки сияют, словно вымытые дорогим моющим средством. Начищенные до блеска, они ослепительны.

Поняла! На траве под ногами не иней—осыпавшаяся со звёзд серебристая окалина. Это она так посвечивает и похрустывает.

Выпуск подготовила
Марина Переяслова

Александр Торопцев

Человек, который владеет своим

О книге Ивана Переверзина[1]

Питтак, один из Семи мудрецов, сказал: «Владей своим».

Фрагменты ранних греческих философов. Ч. I. От эпических теокосмогоний до возникновения атомистики. М., 1989, с. 93

Вроде бы простая мысль, вроде бы и не так уж сложно жить, или, в нашем случае, коль скоро говорим мы о поэте, писать стихи, владея только своим. Вроде бы так и пишут стихи все уважающие себя поэты? Да нет, не все, далеко не все. И обвинять их за это не стоит. Магия прочитанного, осмысленно-книжного, а то и услышанного в умных беседах, конечно же, отзывается тем или иным образом в поэтической, да и в прозаической строке, в любом произведении искусства. И это правильно. Поэзия принадлежит поэтам. Во всех смыслах. Не поэты могут лишь читать и восхищаться, и только в этом смысле поэзия принадлежит всем. Во всех остальных смыслах она принадлежит только поэтам. Поэзия — это та же жизнь, та же природа, которая, по мнению очень многих гениев, говоривших о поэзии и поэтике, является самым первым, и главным, и лучшим Учителем. Природа — саморазвивающаяся, самодостаточная, владеющая своим и имеющая на это полное право. Природа, к которой принадлежат и сами поэты, даже поэты-книжники, о которых я ещё замолвлю слово.

Да, когда-то было начало всего, когда-то были гениальные наскальные живописцы, творцы «Ригведы», «Шицзин», других шедевров «начального искусства», мудрецы (ещё не философы, но уже мудрецы!). Когда-то начало было, и гениям хватало лишь Природы, чтобы творить свои миры и в Природе творить Природу того или иного искусства, поэзию, например. *Те времена вроде бы давно ушли*, и в настоящее время всё реже можно увидеть строку поэта, который владеет своим, не своим прочитано-осмысленным (это тоже своё, коль скоро прочитанное осмыслено), но своим, первозданным, — исходящим из души, из того далёкого и вечного, с чего всё началось. *Но те времена не ушли* потому, что *то начало вечно во времени и пространстве*, и вечна душевная тяга к началу начал, к той причине причин, которая не даёт покоя неравнодушным, которую искать нужно, прежде всего, в себе самом, которая и называется своим и только своим.

В этом пространстве, в себе самом, ищет и находит свои истины поэт Иван Переверзин.

Его объёмная и глубинная книга «Грозовые крылья» начинается с раздела «Костёр любви». Это — ответственное начало! Многие поэты всех стран и времён относились к любовной лирике, мягко говоря, странно. Очень часто они писали не о любви, семью рождающую, жизнь дарящую, а о состоянии влюблённости, как некоем временном умопомрачении, а то и об увлечении, и даже о флирте, и даже более того.

Помните, прекрасное стихотворение И. А. Бунина «В поздний час мы были с нею в поле» — любовная лирика. А вдохновенные арабские, и мусульманские, и персидские поэты. А китайцы и японцы. А Индостан во все времена! А в нашем Золотом, да и Серебряном веке мало ли было игривости флирта в любовной лирике! Лично я не против такой поэзии и всего, что с ней связано. Но, мне кажется, что лирика флирта гораздо мельче и проще, нежели то, что сокрыто в слове любовь, а значит, и в термине «любовная лирика».

Иван Переверзин, надо всё-таки быть честным в разговоре о честном поэте, иной раз «традиционен» в обширном понимании этого термина. Стихи «Твоё имя», «Самая красивая» и даже «Божественная нежность» и некоторые другие подтверждают вышесказанное. Но и в них поэт не просто искренен, но честен, до раскаяния честен:

В аду сгорю я, чёртов грешник,
за то, что от шальной любви
построил вдруг такой скворечник,
что в нём подохли соловьи…

Или это откровение сильного человека, имевшего счастье так сильно любить:

И да простит меня Всевышний,
Что только с женщиной одной —
Я вспомню о бессмертье жизни —
И обрету, как мир, покой.

Но почему-то мне кажется, что доминантой раздела «Костёр любви» являются следующие строки:

Но — сам себя забывая, —
Выкрикну с болью: вернись!
Сердца надежда земная,
Памяти горькая жизнь.

Вырастут дочки, как птицы,
Встанут легко на крыла, —
Вот мы тогда и простимся —
С прошлым, — была не была…

Роман в стихотворениях?

Это очень серьёзное, ответственное решение — назвать, без разрешения автора (!), его книгу «Грозовые крылья» «романом в стихотворениях» —

1. Переверзин И. Грозовые крылья: стихи. — М.: ЗАО «Слово», 2010

я попытаюсь в силу своих возможностей обосновать.

Итак, начнём с композиции.

Книга Ивана Переверзина из девяти глав:

1. Костёр любви,
2. Единственный путь,
3. Европейские волны,
4. Грозовый сон,
5. Северное сияние,
6. На изломе времени,
7. Заводи берёз,
8. Звенящие мгновения
9. Немеркнущий свет

Ещё немного о главе «Костёр любви»

Всё наше, человеческое, начинается с любви. Не с акта физиологического познания, а именно с любви. Она не у всех влюблённых пар бывает идеальной, скорее, наоборот. Но в ней (мы говорим, прежде всего, о любви, рождающей семью, жизнь, и о влюблённостях, которые сопровождают нормального человека всю его жизнь), в любви, жизнь дарящей, в её судьбе (любовь, как явление в жизни любого человека, имеет право на свою личную судьбу), в ней, в любви, отражаются, находят приют и сострадание все перипетии семьи, или влюблённых, или даже лихо флиртующих и увлечённых, иной раз на годы, а то и десятилетия увлечённых этой лихостью. История любви в своём саморазвитии является прекрасным стержневым средством, даже опорой для романиста. Любовная линия является эмоциональной по определению, яркой по событийному ряду, «липучей» и легко сопрягаемой с другими линиями «каната жизни». Пиши о любви и вплетай в неё все человеческие, общественные, государственные и др. проблемы, тайны, интриги, и успех будет обеспечен.

В главе «Костёр любви» автор протягивает на семьдесят страниц эту линию любви, но практически в каждом стихотворении он даёт намёки на то, о чём будет говориться дальше.

Так и делают опытные романисты, дай Бог им здоровья и процветания!

Единственный путь

Питтак говорил так: «Лелей благочестие, воспитание,самообладание, рассудительность, правдивость, верность, опытность, ловкость, товарищество, прилежание, хозяйственность, мастерство».

Фрагменты ранних греческих философов.
Ч. I. От эпических теокосмогоний
до возникновения атомистики. М., 1989, с. 93

Путей много — путь один. Но этот наш единственный путь представляет собой великую загадку не только для тех, кто пойдёт после нас, но и для нас самих! Казалось бы, в этом вопросе всё просто: прожил жизнь так или сяк, написал (мы всё-таки говорим о писателе) стихи, прозу, публицистику, получил книги, ушёл в вечность, дети и преданные люди (а то и государство!) издали псс — вот твой путь. Единственный и твой.

Но нет. Очень часто (конечно же, это относится к крупным личностям, об одной из них мы и говорим) бывает и так, что человек, прошедший свой путь, даже не знает, как этот путь будет преломлён после его смерти. Вот в чём беда-то!

И, может быть, поэтому Иван Переверзин «поспешил» с главной для любого крупного человека темой осознания своего единственного пути и поставил эту главу книги (романа) уже на второе место.

Путь, как явление в жизни любого человека, имеет четыре главных события: начало, жизненные перипетии, смерть (как некий промежуточный финиш) и жизнь после смерти. А, значит, говоря о пути, осмысливая путь, любой мыслящий человек просто обязан осмысливать в соединстве эти четыре жизненных пространства. А, значит, и тема финала, смерти, промежуточного финиша пути крупной личности в этом осмыслении обязательна, естественно, в соединстве с тремя другими вышеназванными событиями.

Тема смерти в книге (романе) Ивана Переверзина) и, особенно, во второй главе развита очень сильно и объёмно. И это меня поначалу насторожило. Я вспомнил динамику стихов о смерти того же Есенина (он просто уходил в стихах), других, столь же чувствительных к жизни поэтов, и насторожился: не торопит ли время Иван Переверзин, хоть и поживший, пострадавший не в меру, но всё-таки — сильный, боевой, в строю?! Но, прочитав внимательнее и всю книгу, и самую напряжённую, энергетически сильную вторую главу, я успокоился. Потому что, во-первых, в этих стихах автор обращается к теме смерти не как мудрый и талантливый агнец, но именно как боец, не смирившийся, но ищущий в данной теме ответы на многие вопросы и личные, и общечеловеческие, и метафизические; во-вторых, здесь он ловко использует успокаивающий лично мою душу композиционный приём: практически ни разу стихи на тему смерти не следуют друг за другом. Автор щадит читателя, даёт ему возможность передохнуть от тяжёлых дум. Стихи следуют друг за другом в ритме вальса. Подумаем, порадуемся, поживём.

И здесь автор всё чаще обращается за помощью к пейзажу — а куда же русскому поэту без русской природы! Но и пейзаж для Ивана Переверзина является не предметом для обожаний и воздыханий, а средством поиска высших истин бытия:

…И буду слушать, как трава
растёт безгрешно, безоглядно
в колючках зла по краю рва.

Она растёт в воротах рая,
растёт под острою косой,
растёт с тобой, земля сырая,
земля, — омытая росой.

Не только пейзаж, но и размышления помогают поэту снять слишком уж тяжёлое напряжение строки. Меня приятно удивили следующие строки:

Как ни сурова, ни тревожна жизнь,
Не стало меньше одиноких тризн,

Видать, ещё надеется народ,
Что и беду, и страх переживёт…

Откуда вдруг в книге совсем русского поэта блеснул этот симпатичный арабо-мусульманский бейт?! К арабскому, даже ещё не мусульманскому, но именно к арабскому стиху я ещё вернусь в слове об Иване Переверзине. Сейчас продолжим главную тему.

И семья (стихотворение «Птицы вечности»)—для автора является, во-первых, одной из главных линий его книги (романа), и местом душевного отдохновения, местом, где:

Только ходики слышатся в доме,
только тени мерцают хитро́.
И всю ночь я держу на ладони
прядь волос—золотое перо.

Здесь, на своём «единственном пути», Иван Переверзин просто обязан был встретить-вспомнить отца:

…К отцу я обращаю взгляд—
Из лап кровавых супостата,
Сам раненный, к своим назад
Он всё же выволок собрата.

И—тот семье его помог:
Когда отец в тюрьме томился.
Быть может, всемогущий Бог
За них однажды помолился…

Ещё не раз и в этой главе, и далее будут расставлены вехи семейной линии «каната жизни», сложного сюжета книги (романа). Автор не пошёл по пути «нормальных» романистов-реалистов. Они сначала изложили бы семейную предысторию, начиная с прадеда (а то и с Куликовской битвы), затем обратились бы к жизненным перипетиям главного героя, и закончили бы роман каким-нибудь карьерным апофеозом, совпавшим с актом семейного счастья и благополучия, например, женитьбой правнучки поэта на внуке какого-нибудь Форда. Потом всю эту истории мы бы увидели в слащавом сериальном детективе, и всем было бы хорошо. Только не Ивану Переверзину, у которого много разных сюжетов…

И ему, как мне думается, не нужен был прямой романный путь, где фабула совпадает с сюжетом, и вообще ему не нужен был роман. Ему нужны были «Грозовые крылья», книга, монтируя которую, он вольно или невольно оказался в романном пространстве, сложном, как Тихий океан.

Европейские волны

Фалес об этой поездке-главе Ивана Переверзина так писал: «Что самое приятное?—достичь того, чего желаешь. Что утомительно?—праздность. Что вредно—невоздержанность. Что невыносимо—невоспитанность. Учись и учись лучшему».[2]

И в устройстве глав, на мой взгляд, этот тройственный порядок (напряжение—расслабление—отдохновение), пусть и не всегда и не с математической или вальсовой точностью, соблюдён. Любовь как нечто ответственное, пусть иногда и слегка безалаберное,—смерть и жизнь, как метки на единственном пути каждого грешного,—и… далее нужно дать читателю крепко отдохнуть, то есть совсем уж развеяться, размагнититься от всяких трудов и напряжений. Считается, что в наши дни это можно сделать только вне России. Но, сдаётся мне, что Иван Переверзин так не считает. И вот почему.

В главе «Европейские волны», конечно же, есть и Европа. Взгляд у поэта цепкий, мысли глубокие, хотя и сдержанные. Но и здесь в строке много русского, Россия его не отпускает, провожает в дальние странствия, но не отпускает. И не отпускает его то далёкое, где он вставал с запахом утренней, молодой росы и ложился спать с запахом молодой, но уже вечерней росы. Это—на всю жизнь.

…И лижет, пеною вскипая,
зернистый, молодой песок.

И кто только не видывал этот песок! И никто не назвал его молодым. Почему же? Да потому что он очень схож с молодой росой, и с молодой пшеницей, и с молодой листвой…

Как человек, связанный с Россией не только кровными узами (это уж само собой), но ещё и той росой, он не может, отдыхая на «волнах» душой (пусть душа отдохнёт хоть немного,—и проявит к себе интерес), не чувствовать, например, в Чехии, щемящую боль, может быть, чисто русскую боль: уезжают радостные, живут богатенько, но—тоскуют по русской грусти и русской же треклятой бедности.

Да, плохо в России, и, может быть, даже
Ещё будет хуже, но только, друзья,
Не я ли тот самый, кто встал вновь на страже
Последних высот, что отдать нам нельзя.

Слышу, слышу голоса: слишком пафосная строфа, мы же не политработники! Да политработники мы все, кто написал хоты бы два-три стиха, два-три рассказа, политработники! Но надо иметь в виду, что есть среди нас разрушители, а есть созидатели. Но и те, и другие являются по сути своей политработниками. Среди тех и других есть пассивные до пляжной лености, а есть люди активные, которым легче встать на защиту последних высот, чем баловать себя этаким не разрушительным (уже хорошо) созерцанием, возвышая себя, естественно, не напрямую, над читающим человечеством.

Иван Переверзин—личность активная и созидательная. И поэзия у него такая же.

Грозовой сон

По-разному распоряжаются романисты этим сильным средством—сном. Кто-то уходит в мнимое и ирреальное, в трансцендентное и трансцендентальное снов и сновидений. А кого-то тревожат по ночам сны реальные, обычно увлекающие в прошлое.

Боже мой! Какое это счастье—
Вспоминать мальчишечьи года…

Я часто повторяю, что писателя рождает Малая Родина. А у неё свои методы воспитания, никем не

2. Фрагменты ранних греческих философов. Ч. I. От эпических теокосмогоний до возникновения атомистики. М., 1989, с. 103.

познанные, хотя и там, в Малой Родине каждого из нас, существовали и, слава Богу, существуют прекрасные воспитатели, учителя, друзья, родители и т. д. Но, удивительно, только самым чутким писателям она даёт то чувство жизни, без которого невозможно писать жизнь, любую: свою ли, чужую, а то и выдуманных героев жизнь.

Этим даром Иван Переверзин наделён, и в книге (романе) «Грозовые крылья» он им воспользовался с блеском.

Он — прекрасный пейзажист, у него столь же прекрасная писательская память, которая хранит до поры, до времени детали далёкой по времени жизни. Он не растерял добрых родственных чувств. И более того, он ведёт от стиха к стиху (их немало в книге) линию семейную, линию Малой Родины с такой пронзительной искренностью, будто не просто вспоминает прошлое, но отдаёт долги прошлому своему, наполняя тем самым многослойное пространство романа новыми линиями, расширяя объёмные горизонты.

А ещё Иван Переверзин не потерял вкус к полётам! Они даются нам в наших снах в те годы, когда мы растём. Физически. Но мы растём не только физически, но и творчески. И летать нам во снах можно до глубокой старости.

Но почему он выбрал сны грозовые? Летать во время грозы опасно, можно потерпеть крушение. Даже если эти сны из далёкого детства, сны воспоминания. Ответить на этот вопрос можно лишь так: даже летая, даже летая в реалиях прошлого, доброго, автор остаётся в суровой грозовой реальности современного мира. Об этом последнее стихотворение главы, заканчивающееся следующей строфой:

Вот и смотри теперь без суеты
На этот мир, где мира вовсе нету,
А есть одни лишь светлые мечты,
С которыми в бессмертье жить поэту.

Северное сияние

Не был я на Севере, и вряд ли доведётся там побывать. И вряд ли увижу я собственными глазами Северное сияние, которое, как говорят пожившие там много лет люди, далеко не каждому дано увидеть. И в книге я его не увидел, что вполне понятно. Но я… пожил, читая эту главу, под Северным сиянием!

Художник хороший Иван Переверзин, и человека, и людей он чувствует, знает, видит и пишет очень зримо. Однако можно задать вопрос: «Зачем же ему понадобилась эта глава в книге (романе), если в других главах уже были пейзажи и люди Севера?» А можно ли из снов, проснувшись, сразу вырваться на «Излом времени», в крутую нашу жизнь? А то и в грозу бурную? Из сонной неги да в крутой жизненный бой — с ума легко сойти.

Лучше, когда после нежных, пусть иной раз и напряжённых (там, во сне, жизнь бывает разной), снов, человек вбрасывает себя в жизнь не по принципу сурового судьи, бросающего несчастную шайбу на лёд, но постепенно, по спокойно экспоненте, плавно, то есть.

Но дело в том, что в пленэре главы «Северное сияния» не только тишь да благодать! Иван Переверзин и сам редко отдыхал подолгу. И читателю этого делать он не даёт, продолжая вбрасывать в главу стихотворения из разных линий «каната жизни». Но нам пора выполнить данное ранее обещание и вспомнить стихотворение одного из величайших поэтов арабского мира времён джахилийи (до принятия ислама).

Что вижу, то пишу! О стихотворении «Заветное»

Уже само название стихотворения говорит об отношении поэта к этому произведению. Начинается оно так:

Вновь, как якут из Олонхо,
По тундре еду — на олене,
О всём, что вижу высоко,
Пишу, сжигая вдохновение.

«Что вижу, то пишу», — помните поэты, начинавшие почти все со звания «начинающий», да и прозаики тоже, как часто дамочки-отзовистки, писавшие отзывы на ваши стихи и рассказы, использовали эту фразу, чтобы отговориться: «Фи, разве можно так писать: «что вижу, то пишу?!» Это же не поэзия!» Они не знали, а некоторые из них до сих пор не знают, что же это такое — поэзия. Простим это грешок отзовисткам. Поговорим о серьёзном.

Вспомним драматичную историю поэзии бедуинов, давших миру непревзойдённые шедевры и писавших по принципу «что вижу, то пишу», «что знаю, то пишу». Вспомним величайшего из поэтов времён джахилийи Имру-уль-Кайса Хундудж ибн Худжр аль-Кинди. Вот его конь:

Утро встречаю, когда ещё птиц не слыхать,
Лих мой скакун, даже ветры бы нас не догнали,

Смел он в атаке, уйдёт от погони любой,
Скор, как валун, устремившийся с гор при обвале,

Длинная грива струится по шее гнедой,
Словно потоки дождя на скалистом увале.

О, как раскатисто ржёт мой ретивый скакун,
Так закипает вода в котелке на мангале.

…Кружится детский волчок, как стремительный смерч, —
Самые быстрые смерчи меня не догнали.

…С крепкого крупа вдоль бёдер до самой земли
Хвост шелковистый струится, как пряжа густая.

Снимешь седло — отшлифован, как жёрнов, хребет,
Как умащённая шёрстка лоснится гнедая.

Кровью пронзённой газели, как жидкою хной,
Вижу, окрашена грудь аргамака крутая.

Девушкам в чёрных накидках подобны стада
Чёрно-чепрачных газелей пустынного края.

Эти газели, как шарики порванных бус,
Вмиг рассыпаются, в страхе от нас убегая.[2]

---

3. Арабская поэзия Средних веков. М., 1975. С. 28–29. Пер. Н. Стефановича)

А вот олень Ивана Переверзина:

И, как ветер,
Сохатый ринулся к реке,
Она спасёт, коль в это лето
Не пересохла вся в тоске.

И он бежит, рога забросив
На спину, с пеною у рта,
Копытами—осоку косит,
Сбивает мох, как прель, с куста.

Коротко о поэтах-бедуинах

Поэзия бедуинов жила той суровой жизнью, теми, близкими к предельным, жёсткими, а часто жестокими реалиями, которые и к ней, к поэзии, предъявляли самые суровые требования: или ты вся в нас, с нами и для нас, или отправляйся во дворцы и города. Это в обжитых цивилизационных центрах могут творить и царствовать поэты, о которых впечатлительные дамы говорят: «Он весь в своих стихах!»

Пустыням такие поэты противопоказаны. Таким поэтам пустыни противопоказаны. Такие поэты придут на Аравийский полуостров во второй половине VII в. Их назовут «книжниками». Они дали миру много гениев поэтической мысли, поэзии. Они заслуженно обрели бессмертную славу.

Но! Регулярно встречаясь на «поэтических сходах» и слушая бедуинов и книжников, последние всё же признавали первенство за бедуинами и иной раз даже говорили: «Пора нам в пустыню, к бедуинам наведаться, чтобы поучиться у них». Чему же учились книжники у бедуинов?—Первозданному мышлению! Тому мышлению, которое было в начале пути и которое, слава Господу, осталось с нами на веки вечные.

Что характеризует первозданное мышление—мышление нашего начала начал—мышление поэтов-бедуинов?

Абсолютное чувство жизни. Стопроцентное проникновение в её волнительную красоту. Несгибаемая искренность. Или. Племенной патриотизм. Рыцарское отношение к женщине. Бесшабашное самопожертвование. Или. Обострённое до предела отношение к справедливости. Наивная ранимость. Невозмутимое спокойствие. Или. Неизживная детскость. Восторженная скупость по отношению к поэтическим средствам. Пустынная жажда красок. Или. Упоительный лёт коней и верблюдов. Стремительность и объёмность линий и форм, почти как у наскальных живописцев. Смертельная радость боя.

Это—поэты-бедуины.

Эти качества есть у поэта Ивана Переверзина.

На изломе времени

Две с половиной тысячи лет назад в Китае уж знали, что «во времена смуты не высовывайся!»

Но разве может человек с обострённым, с бедуински дерзким чувством жизни (и Пушкин, и Лермонтов, и прасолы наши знаменитые, и Некрасов…) в смуте остаться в убаюкивающим далёко от этого излома, от центра социально-психологических бурь?—Нет.

Он постоянно в борьбе, постоянно в строю. Он живёт и пишет по принципу:

Устал от схваток роковых—
И хочешь обрести покой?
Так обретай! Но в жизни той,
Где нет ни близких, ни чужих.

Он не просто написал, но выстрадал эти строки:

Беда—не быть без права смелым.
Беда—без права проиграть…

Действительно—беда! На войне бед много. Помнится, после первой битвы сторонников Мухаммада с его противниками при Бадре один молодой воин поседел всего за несколько минут, в течение которых он тащил… своего отца (врага) в могилу. Плакать было запрещено. Седеть—не запрещено. И он поседел. А вот стихотворение Ивана Переверзина:

— Всего за ночь одну прошедшую
Как ты, товарищ, поседел!
— Я видел эту груду тел,
Будто поленья, обгоревшую.

Я часто повторяю: «Несмотря на то, что каждый человек уникален, в людях гораздо больше общего, чем частного». И то откровение, которое прозвучало в сильнейшем стихотворении «Наша война», тоже бывало в истории войн и не раз, когда враг пренебрегает всеми законами и обычаями, когда солдат, от рядового до маршала, вдруг начинает понимать, что надо не просто выживать, но спасти свою Родину. И он говорит и врагу, и себе:

ты мою мать подорвал в столице!
я твою мать убиваю в горах!

Эта дерзкая мысль может ворваться в мозг и осесть там только с отчаяния, только от обречённости. Надо уметь бить врага его же оружием. Китайский полководец Ли Му так бил хунну во третьем веке до н.э. И он побеждал… И таких случаев я могу привести десятки. Не доводите до греха!

Ещё более сильным и значимым для России я считаю откровение в стихотворении «Гражданская война»:

И потому в минуты тризны
Помянем всех сынов отчизны,
Что шли упрямо рать на рать,
В междоусобице проклятой,
Брат не щадил родного брата
И шёл за брата умирать.

В Испании, в Долине Павших, по приказу генералиссимуса Франко в 1940-х годах был построен храм всем погибшим в Гражданской войне 1936–1939 гг. И список по алфавиту, а не по партийной принадлежности. У нас до такого монумента пусть и не храма, но монумента, как до Луны пешком.

Подобные откровения (помянем всех, сражавшихся за Россию) встречаешь редко-редко. Гражданская война ещё не закончена. А пора бы.

Заводи берёз

Естественно, после такой раскалённой главы и автору, и читателю нужно отдохнуть, нужно уединиться в какой-нибудь заводи. Пусть, «душа от радости заплачет», пусть.

Мне кажется, это хороший композиционный приём. Душа читателя ещё обожжена социально напитанными горячими строфами, они её ещё не отпускают, но Природа, окружающий нас мир всё-таки посильнее людских бед: они-то и успокоят душу. И успокаивают. Уж не буду цитировать, поверьте, а я лучше поговорю о душе.

Всё «человеческое, слишком человеческое» покоится на трёх субстанциях: разуме, сердце и душе. Бог-Отец, Бог-Сын, Бог Святой Дух. Командир—начальник штаба—замполит. А можно и так: разум—опыт и наука; сердце—время и ритмы эпохи; душа—вечная всему живому мать. Мудрецами я называют тех людей, в которых эти три субстанции равносильны и отстоят друг от друга на одинаковом расстоянии. Мудрецы рождаются чрезвычайно редко. У остальных людей всё по-разному.

В некоторых древних индийских этико-социальных и этико-религиозных системах первенство и руководящая (!) роль в познавательном процессе отдаётся душе. Она направляет и распределяет усилия разума и сердца. И, естественно, она не всегда успевает уследить за холодным и порою чрезвычайно стремительным разумом и горячим и, уже в силу этого, иной раз бесшабашным сердцем.

Души и душевных откровений в стихах Ивана Переверзина очень много. Может быть, все его стихи написаны душой, вроде бы всё знающей (если она руководит и направляет, если она вечна, значит, знает), но иной раз дающей волю сердцу (предыдущая глава). Но именно это качество—литературное познание мира только душой свойственно поэтам первозданного мышления, а не книжного. И только ей интересны не научные аспекты жизни, а её песни, которые Иван Переверзин слышит в любой травинке, в любой птахе. И поэтому ему… легко приходить в себя, искать душевное равновесие на природе, в природе.

Звенящие мгновения

Древние египтяне называли музыку словом «хи», что в переводе на русский язык означает «удовольствие». Они были уверены в том, что существует космологическая связь между музыкой и движением небесных светил, они умели «слушать» музыку звёзд.

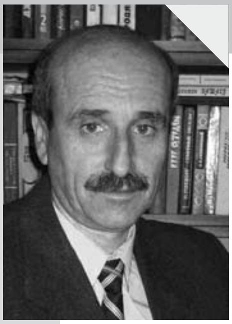
Иван Переверзин тоже неравнодушен к небу, дневному и ночному, и сдаётся мне, что и там в высоте высот он ловит мелодии своих стихов. Да-да, он не композитор, но очень многие его стихи музыкальны, на них написаны мелодии многочисленных песен. Но не только небеса навевают ему мелодии, он слышит их в любой травинке травного раздолья, богатой якутской «пересечёнки». Мелодии его стихов романсные и песенные. И, конечно же, много мелодий даёт ему любовь—во всех её формах.

В этой главе автор не то, что бы подытоживает, приводит книгу (роман) к логическому завершению, но готовится к этому. Здесь можно встретиться с автором в самых разных, заявленных ранее ситуациях, здесь он чаще обращается к поэзии и поэтам, в том числе и к себе самому. Он пытается пробраться в тайны творчества, восторженно благодаря всех тех, кто ему помогал, кого он любит и читает (Афанасия Фета, например, и Гёте). И в этой главе он использует композиционные волны, о которых говорилось выше.

Напряжение строки словно бы затухает.

Немеркнущий свет

Свет действительно не меркнет и не померкнет. Автор собирает лучи немеркнущего света в этакий шар, как и положено свету! И вновь высвечивает ими все темы, о которых он написал в книге (романе). Можно ли считать этот роман завершённым?—Да, можно. Только с одной оговоркой: жизнь продолжается, и на этой ноте заканчивается книга «Грозовые крылья».



Владимир Спектор

Время предпоследних новостей

Среди кривых зеркал, где лишь оскал стабилен,
Где отраженье дня неравносильно дню,
Всесильный бог любви не так уж и всесилен,
Вскрывая, словно ложь, зеркальную броню.

И впрямь прямая речь там ничего не значит.
Но кровь и там, и здесь—красна и солона.
Пульсирует она, как в зеркалах удача,
Чья тень хоть иногда и там, и здесь видна.

Всё временно. И даже то, что вечно.
Оно меняет форму, стиль и суть,
Как жизнь, что кажется наивной и беспечной.
Но в ней со встречных курсов не свернуть.

Оригинальным будь, или банальным—
Исчезнет всё, не повторяясь, в срок,
Как чья-то тень на полотне батальном,
Как в старых письмах слёзы между строк.

В раю не все блаженствуют, однако.
Есть обитатели случайные.
Речь не о том, что в небе много брака,
И не о том, что ангелы печальные

Никак не сварят манну по потребности
И шалаши с комфортом всем не розданы…
Но что-то есть ещё, помимо бедности,
В чём чувство рая близко чувству Родины.

Свет не меркнет, не гаснет—
а просто мерцает незримо.
В небесах над печалью—
мечты, словно голуби, кружат.
Невесёлые мысли бредут
вдоль дороги под ними,
А весёлым надеждам—
лишь воздух мерцающий нужен.

Этот свет, этот воздух,
который так сладок в гортани,
Каждый миг, каждый день,
он не меркнет, мерцая, сгорая…
На мечты уповая,
шагаю за светом, что манит,
И пространство любви в нём мерцает
от края до края.

Бессмертие—у каждого своё.
Зато безжизненность—одна на всех.
И молнии внезапное копьё
Всегда ли поражает лютый грех?

Сквозь время пограничной полосы,
Сквозь жизнь и смерть—судьбы тугая нить.
И, кажется, любовь, а не часы
Отсчитывает: быть или не быть…

Каждый видит лишь то, что хочет
Каждый знает лишь то, что умеет.
Кто-то отметит, что день—короче,
А для кого-то лишь ночь длиннее.

Но и разбив черепаший панцирь
дня или ночи, в осколках желаний
Отблески счастья найдёшь, между прочим,
Словно последнюю мелочь в кармане.

Взрываются небесные тела,
Земля мерцает сквозь ночной сквозняк.
И только мысль, как будто день, светла,
Собою пробивает этот мрак.

Там—сталинские соколы летят,
Забытые полки ещё бредут…
И, словно тысячу веков назад,
Не ведает пощады Страшный суд.

Запах «Красной Москвы»—
середина двадцатого века.
Время—«после войны».
Время движется только вперёд.
На углу возле рынка—
С весёлым баяном калека.
Он танцует без ног,
он без голоса песни поёт…

Это—в памяти всё у меня,
У всего поколенья.
Мы друг друга в толпе
Мимоходом легко узнаём.
По глазам, в коих время
мелькает незваною тенью,
И по запаху «Красной Москвы»
В подсознанье своём…

Пока ещё в Луганске снегопад,
Беги за ней сквозь позднее прощанье,
Хватая тьму наощупь, наугад,
И ощущая лишь любви дыханье.

Пока ещё превыше всяких благ
В последний раз к руке её приникнуть,
Беги за ней, хоть ветер дует так,
Что ни вздохнуть, ни крикнуть, ни окликнуть.

И, зная, что сведёшь её на нет,
Не отставай—беги за нею следом,
Пока её скользящий силуэт
Не станет мраком, холодом и снегом.

Сигаретный дым уходит в небо,
Тает в воздухе последнее «прости»…
Над дорогой, городом, над хлебом—
Божьи и житейские пути.

Жизнь зависла над чертополохом.
Только мир по-прежнему большой.
Не хочу сказать, что всё так плохо.
Не могу сказать, что хорошо.

На рубеже весны и лета,
Когда прозрачны вечера,
Когда каштаны—как ракеты,
А жизнь внезапна, как игра,

Случайный дождь сквозь птичий гомон
Стреляет каплею в висок…
И счастье глохнет, как Бетховен,
И жизнь, как дождь,—наискосок.

Самолёты летают реже.
Только небо не стало чище.
И по-прежнему взгляды ищут
Свет любви или свет надежды.

Самолёты летят по кругу.
Возвращаются новые лица.
Но пока ещё сердце стучится,
Мы с тобою нужны друг другу.

Среди чёрных и белых—
Расскажи мне, какого ты цвета…
Среди слова и дела,
Среди честных и лживых ответов

Проявляются лица,
И—по белому чёрным скрижали.
Время памяти длится,
Время совести? Вот уж, едва ли…

От сказуемого до подлежащего,
Через скобки, тире, двоеточия,
Через прошлое и настоящее,
Перерыв на рекламу и прочее…

Сквозь карьерные знаки отличия
И глаголов неправильных рвение,
Позабыв про права свои птичьи
И про точку в конце предложения,

Между строк, между мыслей склоняются
Лица, словно наречия встречные…
Боже мой! И урод, и красавица—
Все туда—в падежи бесконечные.

От возраста находок вдалеке
Я привыкаю к возрасту потерь.
И где «пятёрки» были в дневнике,
Пробелы появляются теперь.

А я в душе—всё тот же ученик.
Учу урок, да не идёт он впрок.
Хоть, кажется, уже почти привык
К тому, что чаще стал звонить звонок.

У первых холодов—нестрашный вид—
В зелёных листьях притаилось лето.
И ощущенье осени парит,
Как голубь мира над планетой.

И синева раскрытого зрачка
Подобна синеве небесной.
И даже грусть пока ещё легка,
Как будто пёрышко над бездной.

Давай не думать о плохом,
Страницы дней листая.
Пусть даже, словно птица, в дом,
Влетает весть лихая.

И день пройдёт, и ночь пройдёт,
И вместо утешенья
Судьбы продолжится полёт
Сквозь память и прощенье.

Всё своё—лишь в себе, в себе,
И хорошее, и плохое.
В этой жизни, подобной борьбе,
Знаю точно, чего я стою.

Знаю точно, что всё пройдёт.
Всё пройдёт и начнётся снова.
И в душе моей битый лёд—
Лишь живительной влаги основа.

Не хочется спешить, куда-то торопиться,
А просто — жить и жить, и чтоб родные лица
Не ведали тоски, завистливой печали,
Чтоб не в конце строки
рука была —
В начале…

Добро опять проигрывает матч.
Счёт минимальный ничего не значит.
Закономерность новых неудач
Почти равна случайности удачи,
Чья вероятность близится к нулю,
Как вероятность гола без штрафного.
Добро, проигрывая, шепчет: «Я люблю»,
И, побеждая, шепчет то же слово…

Какою мерою измерить
Всё, что сбылось и не сбылось,
Приобретенья и потери,
Судьбу, пронзённую насквозь

Желаньем счастья и свободы,
Любви познаньем и добра?..
О Боже, за спиною — годы,
И от «сегодня» до «вчера»,

Как от зарплаты до расплаты —
Мгновений честные гроши.
Мгновений, трепетом объятых,
Впитавших ткань моей души.

А в ней — доставшийся в наследство
Набросок моего пути…
Цель не оправдывает средства,
Но помогает их найти.

Кому-то верит донна Анна.
Не год — который век подряд
Клубится память неустанно,
Мосты над временем горят.

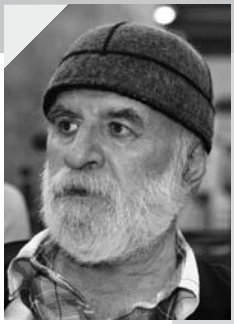
Пренебрежительной ухмылкой
Опять оскален чей-то рот.
И вечность, как любовник пылкий,
Не отдаёт, а вновь берёт.

Яблоки-дички летят, летят…
Падают на траву.
Жизнь — это тоже фруктовый сад.
В мечтах или наяву

Кто-то цветёт и даёт плоды
Даже в засушливый год…
Яблоня-дичка не ждёт воды —
Просто растёт, растёт.

Дышу, как в последний раз,
Пока ещё свет не погас,
И листья взлетают упруго.
Иду вдоль Луганских снов,
Как знающий нечто Иов,
И выход ищу из круга.

Дышу, как в последний раз,
В предутренний, ласковый час,
Взлетая и падая снова.
И взлётная полоса,
В мои превратившись глаза,
Следит за мной несурово.



Гурам Петриашвили

Сказки маленького города

Перевод с грузинского Элисо Джалиашвили

Малыш-динозавр

В давние-давние времена на бескрайней равнине паслись динозавры.

Огромные-преогромные были динозавры, каждый — раз в десять больше слона.

Неуклюжие, неповоротливые, они лишний шаг ленились делать. Вытянув свою длинную шею, день-деньской водили головой из стороны в сторону. Только выщипав всю траву перед собой, нехотя ступали дальше.

Паслись так динозавры.

Медленно, неторопливо двигали и двигали челюстями.

А чего им было спешить?

Травы — сколько хочешь, равнине конца-краю не видно.

Незаметно однообразно тянулось время.

Появлялись динозавры-малыши, учились щипать траву, росли, становились большими динозаврами, и, как все другие, с утра до вечера ели траву, жевали и жевали.

Но вот однажды какой-то малыш поднял глаза от травы. Потом вытянул шею и ещё выше вскинул голову.

О, как чудесно, оказывается, глядеть вверх.

Над головой простиралась синева. Безбрежная синева. А на ней полыхал красный-красный шар.

— Мама, что это там? — удивился малыш.

Мама-динозавриха, занятая едой, не слышала его слов.

Малыш снова спросил, но мать снова не ответила.

Обиделся маленький динозавр. Отошёл от матери и побрёл к динозаврам. Неудобно было идти, мешал длинный хвост — волочился по земле и тянул назад.

— Что там за красный шар? — допытывался малыш, но ему никто не отвечал.

Кто знает, возможно, динозавры и не слышали малыша, ведь он тянул голову к небу, а они — к земле, щипали да щипали траву.

Взгрустнул маленький динозавр. Одиноко присел поодаль от других, заворожённо глядя на красный шар.

А шар проплыл по синеве и скрылся за краем равнины.

И сразу стемнело.

Динозавры перестали щипать траву, прилегли там, где стояли, и заснули.

Уснул и малыш-динозавр.

Красный шар назывался Солнцем.

Солнце давно таило обиду на динозавров, сердилось на них за то, что они совсем не замечали его, с утра до вечера двигая челюстями.

И потому Солнце очень порадовалось маленькому динозавру.

Подкралось к нему, спящему, и тихонечко поцеловало.

Проснулись динозавры утром, увидели на лбу малыша жёлтое пятнышко и давай насмехаться над ним, издеваться — ну и украшение у тебя!

А это был след от поцелуя Солнца — золотистое пятнышко.

Ещё и потому смеялись над малышом, что он тянул голову к небу — будто в небе росла трава!

Веселились динозавры, потешались и вдруг вспомнили о траве, всполошились — как они забыли, им же щипать надо, жевать надо — а они столько времени даром теряют.

Мама-динозавриха расстроилась — ну, почему именно её малыш такой глупый!

А маленький динозавр не слышал, как над ним смеялись, всё спрашивал и спрашивал:

— Мама, что там за красный шар?

— Хватит глупости болтать, опусти голову и щипай траву, жуй!

— Жуй да жуй! Сколько можно щипать и жевать!

— Весь день, с утра до вечера, пока не стемнеет. А стемнеет, будешь спать, — наставительно сказала мама-динозавриха.

— А потом?

— Потом снова наступит день и снова будешь щипать и жевать.

— И всю жизнь так? Жевать да спать? — опечалился малыш. — Уйду я от вас.

— Куда уйдёшь? — удивилась мать.

— Не знаю… Уйду. Хочу узнать, что за красный шар над нами.

— Никуда ты не уйдёшь, — рассердилась мама-динозавриха и наступила своей огромной лапой на хвост малыша.

Маленький динозавр упрямо рванулся в сторону и… остался без хвоста!

Оторвался у него хвост.

— Помогите, держите его! — закричала динозавриха.

Кинулись динозавры за малышом, да где им его догнать — хвосты мешают.

Отстали динозавры от беглеца, принялись за свою траву, заработали челюстями.

И скоро вовсе позабыли о глупом маленьком динозавре.

И мама-динозавриха перестала горевать.

— Зачем мне такой глупыш! Опозорил меня, осрамил, — сказала она, не переставая щипать траву.

А малыш бродил по земле, одинокий, голодный, и так исхудал, что динозавры не узнали бы его.

Но динозавры и не вспоминали о нём, ничто не занимало их, кроме травы.

А знаете, что было дальше?

От любви к маленькому динозавру Солнце запылало ещё ярче, ещё жарче, и выгорела вся трава на равнине!

Динозавры поленились искать траву в другом месте и вымерли с голоду.

Маленький динозавр всё шёл и шёл вперёд, всё надеялся узнать, что за красный шар горит высоко над ним.

Когда он засыпал, Солнце сходило к нему и целовало…

Однажды утром малыш заснул в лесу. Проснулся, и оказалось, что он лежит на берегу маленького озера. Он склонился к воде и увидел, что он весь в золотистых пятнышках.

Изумлённо смотрел он на своё отражение.

Маленький динозавр превратился в жирафа!

И тут лес наполнился незнакомыми ему звуками.

Малыш вскинул голову — на деревьях щебетали и чирикали птицы.

Они приветствовали гостя.

Маленький жираф спросил у птиц, что за красный шар плывёт по синему своду.

— Это Солнце, Солнце! Оно дарует нам жизнь! — пели птицы.

— Солнце! Солнце! — воскликнул жираф и, ликуя, запрыгал и закувыркался — он узнал, наконец, что за красный шар сиял высоко в синеве.

В том лесу и остался маленький жираф.

Голова у него всегда поднята и красиво покачивается на длинной шее.

Всем он нравится, все его любят.

Но особенно любят его птицы, потому что, когда тучи застилают солнце и делается очень печально, они смотрят на солнечные пятнышки жирафа и снова весело поют.

Тетрсулела[1]-трубочист

Когда-то очень давно по улицам Маленького города ходили трубочисты — в саже с головы до пят.

В домах были камины, а над каминами трубы в стенах.

Горел огонь в камине, поднимался дым по трубе и вился, крутился над крышей.

Набивалась труба сажей, и тогда хозяин бежал звать трубочиста.

Приходил трубочист, залезал в камин и чистил трубу своим длинным шестом.

Пыхтел, кряхтел, сопел трубочист — пускай видят, как это трудно — выбивать сажу!

И по всей комнате летала сажа, всё делалось чёрным, а трубочисту хоть бы что!

«Подумаешь! — говорил он. — Я и сам в саже!» Брал деньги и уходил довольный, волоча за собой свой длинный шест.

А хозяева после него целую неделю чистили и убирали дом.

Не нравилось это горожанам, но что было делать? «Не можем чистить иначе», — уверяли их трубочисты.

Лентяи были трубочисты — умываться и то не умывались. Не стыдились ходить грязными, чумазыми.

И вдруг прошёл по городу слух — появился новый трубочист, очень, очень чудной!

Обошли трубочисты улицы — найти его, узнать, кто он, откуда взялся и чем это он не такой, как они.

И вдруг увидели они на одной улице толпу.

Задрав голову, люди смотрели на крышу.

По крыше шёл неизвестный юноша. Сам он был в саже, а на голове у него белел цилиндр.

Вокруг юноши носилась стайка белых птиц.

Трубочисты со смеху покатывались, глядя на него, потешались: «На крышу залез камин чистить! Белый цилиндр нацепил камин чистить!» — и тут же окрестили его «Тетрсулелой» — Белым дурачком.

— Тетрсулела, Тетрсулела! — орали они. — Не почистишь сверху! Не смеши народ!

Но странный трубочист будто и не слышал — выгребал и выгребал из дымохода сажу. Привязав миску к верёвке, он опускал её в трубу, а сажу высыпал в мешок.

Удивлялись люди, восхищались им — ни одна сажинка не попадала в комнату!

Белый цилиндр его сиял белизной.

Белые птицы щебетали над ним, кружились и по очереди опускались на его цилиндр.

С этих пор никто не звал трубочистов чистить камин.

Обозлились трубочисты на горожан и на Тетрсулелу. «Откуда он притащился на нашу беду!» — ворчали они и бурчали. А сами боялись и ленились лезть на крышу.

А Тетрсулела вовсе не был чудным. Он был таким, как все, только очень любил мечтать. И с детства дружил с белыми птицами.

Белый цилиндр подарили ему белые птицы.

Они дарят белый цилиндр всем, кто любит мечтать.

Трубочистам пришлось, в конце концов, научиться чистить камины сверху, и у Тетрсулелы стало много свободного времени.

Сидел Тетрсулела себе на крыше и мечтал.

Но видели белые птицы — что-то печалит Тетрсулелу.

И тогда птицы подсмотрели его сон. Они умеют видеть чужие сны.

А утром птицы исчезли.

Затосковал без них Тетрсулела.

Люди просили его почистить камин, но он не шёл.

Сидел и плакал. Думал, что никогда больше не увидит своих белых птиц.

Но белые птицы вернулись к нему. Однако не сказали — куда улетали и зачем.

Каждая птица выдернула из хвоста пёрышко и отдала Тетрсулеле.

— Возьми, прилепи к подмёткам башмаков эти белые пёрышки, и сбудется твоя мечта…

И вот полил шумный весенний дождь.

1. Белый дурачок.

Кончился дождь, и над Маленьким городом засияла высокая радуга.

Взглянули на радугу горожане, затаили дыхание от изумления.

По радуге шагал Тетрсулела. Он забирался всё выше и выше и на самой середине радуги заплясал.

Это был танец Ликования.

Люди восторженно кричали и высоко-высоко подбрасывали шапки.

А белые птицы носились над рекой, рассматривали своё отражение в воде и уверяли друг друга, что хвост без одного пёрышка стал куда красивей.

Плясал на радуге Тетрсулела.

Восхищались люди.

И только трубочисты злились на Тетрсулелу.

Собрались в сторонке и начали думать: «Как быть?»

— Полоумный он! Погубит нас дурень! — говорили они друг другу. — Из-за него и нас заставят лезть на радугу! А ему не то ещё взбредёт в голову.

И решили: «Избавимся от Тетрсуделы, избавимся поскорей!»

Тетрсулела плясал себе на радуге.

Люди весело кидали в небо шапки.

И никто не заметил, как подкрались трубочисты к радуге и подожгли её.

Заполыхала огнём дуга-радуга, окуталась тёмным дымом.

Скрылся Тетрсулела в дыму и пламени.

Оцепенели люди.

С криками взмыли вверх белые птицы.

Но не успели они долететь до радуги.

Хлынул дождь, и пламя погасло.

Над городом изгибалась обугленная дуга.

Тетрсулела исчез. Исчез бесследно.

Горько оплакали Тетрсулелу белые птицы. Укрылись под свесами крыш, не реяли больше в небе.

Чернела над городом обгорелая дуга.

Кто поджёг радугу — горожане не дознались.

Позвали трубочистов, попросили почистить радугу.

Трубочисты согласились, но запросили много денег — знали, не поскупятся люди, дадут — любят в городе радугу. Взяли они деньги и… попрятались. Разве подняться было им на радугу?!

Поколотили их горожане, чтоб неповадно было обманывать в другой раз.

Взлетели тогда на чёрную радугу белые птицы и почистили её своими пёрышками.

Засверкала, засияла над Маленьким городом семицветная радуга.

Но почернели от сажи белые птицы.

И только грудки у них белели — слёзы смыли сажу.

Плакали птицы, оплакивали Тетрсулелу.

Хвосты у этих птиц без одного пёрышка, и оттого напоминают ножницы.

Вы, конечно, догадались, что я рассказываю вам о ласточках.

Поныне горюют ласточки о Тетрсулеле, но верят — найдут его где-нибудь.

И ищут, день-деньской ищут Тетрсулелу.

Иногда им кажется, что он уплыл на облаке в другие края. И улетают ласточки в далёкие страны.

Потом возвращаются и вьют гнёзда под крышами домов.

Может, они и в вашем доме свили гнездо?

И удивляетесь — о чём они так много щебечут?

Но вы прислушайтесь — они повторяют одно и то же!

Ласточки говорят, что однажды весной прольёт шумный, светлый дождь, а когда он кончится, все увидят пляшущего на радуге Тетрсулелу.

Скрипач и птичка

В Маленьком городе жил скрипач.

Каждый вечер скрипач надевал старый фрак, брал свою скрипку и отправлялся на городскую площадь.

Он становился посреди площади и начинал играть.

Послушать его игру приходило всего несколько человек.

Скрипач огорчался, но виду не подавал.

Закрыв глаза, он самозабвенно водил смычком по струнам. Играл до глубокой ночи. А когда опускал смычок и открывал глаза, оказывалось, что люди уже разбрелись.

Задумчиво постояв под тусклым фонарём, скрипач горько улыбался и брёл домой…

А на следующий день он снова шёл играть на площадь.

Так повторялось изо дня в день.

Слушателей у скрипача не прибавлялось.

И он решил: всё дело в скрипке, плохая, наверное, у него скрипка.

«Пойду-ка найду такое дерево для скрипки, что изумлю игрой весь мир», — решил он. И отправился искать особенное, необыкновенное дерево.

Целыми днями бродил по лесам.

Переходил от дерева к дереву — стучал по стволу и прислушивался. «Нет, не то», — хмурился он и подходил к другому дереву.

Все леса обошёл скрипач в том краю в поисках особенного дерева.

И однажды увидел под деревом птичку с перебитым крылом.

Поднял её, побрызгал на неё ключевой водой.

Птица встрепенулась.

— Что с тобой случилось? — спросил скрипач.

— Я попыталась взлететь до самого неба. А сил недостало, устала и упала, — ответила птичка и заплакала.

Поразили её слова скрипача.

Бережно положил он её за пазуху и поспешил назад в город.

Скрипач позабыл о скрипке.

Он выхаживал птицу, накладывал ей мазь на крыло, кормил и утешал: «Не горюй, поправишься и снова взлетишь, под самые облака взлетишь!»

Скрипач заботился о птице, забыв обо всём на свете.

Из его дома не доносилась больше музыка, и прохожие недоумевали — что случилось, не стряслось ли что со скрипачом?

Только сосед его был доволен.

Сосед этот очень любил есть, а музыка лишала его аппетита. Он считал, что люди вообще назло

ему поют и играют на музыкальных инструментах.

И теперь он ликовал — не мешала ему больше скрипка.

А потом поразмыслил и заподозрил неладное: «Верно, замышляет он что-то против меня, иначе, с чего это перестал играть?» — забеспокоился обжора.

Подкрался он к дому скрипача и тихонько заглянул в окно.

Склонившись к птице, скрипач перевязывал ей крыло!

«Плохо дело, — расстроился обжора. — Вылечит он птаху и на радостях день и ночь будет пиликать на своей дурацкой скрипке, снова житья не станет».

И когда скрипач лёг спать, обжора забрался к нему в дом и выкрал птичку.

Проснулась утром птичка и увидела себя в клетке.

Загоревала она, затосковала без скрипача — привязалась к доброму человеку, даже в небо её не тянуло, так не хотела расставаться с ним.

Плакала запертая в клетке птичка.

Горевал и скрипач. В отчаянии бегал он по городу и спрашивал каждого встречного — не видал ли тот его маленькой птички?

— На свете полно маленьких птиц! Твоя какая-нибудь особенная? Укажи приметы, — говорили ему.

— Нет, она самая обыкновенная, только мечтает взлететь в небо, высоко-высоко, — объяснял скрипач,

Прохожие разводили руками и шли своей дорогой.

Скрипач потерял надежду найти свою маленькую птичку.

Решил — нет её в живых, не увидит он её больше.

И вечером, взяв в руки скрипку, он снова отправился на площадь.

Стал посреди площади и заиграл…

Когда он опустил смычок и, усталый, открыл глаза, увидел вокруг себя огромную толпу — весь город пришёл его слушать.

Люди молчали, взволнованные дивными звуками.

Скрипач вгляделся в лица людей и понял; напрасно искал он особое дерево для скрипки — истинную музыку рождает только сильное чувство.

Скрипач теперь каждый вечер играл на площади, и каждый вечер весь город собирался его послушать.

Когда скрипка умолкала, взрослые неприметно утирали слёзы, а дети, придя домой, рисовали в тетрадях яркие звёзды.

А ночью происходило чудо.

Ребята ложились спать, а звёзды срывались со страниц школьных тетрадок и уносились в небо.

Изумлялись астрономы — откуда появляются на небе всё новые и новые звёзды?! Спрашивали друг друга — не знаете, что это творится?

Строили догадки, спорили, но всё без толку.

И тогда договорились по очереди наблюдать за небом.

Сидели ночи напролёт, глаз не смыкали…

Но ведь это лишь говорится — глаз не смыкали, а попробуй-ка всю ночь не отрывать глаз от неба. На миг и у них слипались веки, а звёзды в этот самый миг и взлетали в небо.

И прибавлялось на небе звёзд…

В Маленьком городе теперь все напевали мелодии скрипача. Кроме соседа его, обжоры.

Злился он на музыканта. Злился на весь город и на весь мир. Не выносил он музыку! Не спал, не ел и не пил он от злости.

Всё думал, как досадить скрипачу.

Наконец взял и разбил клетку с птицей — со всего размаху ударил её об стенку. Потом схватил изувеченную птицу и понёсся к городской площади.

На площади люди слушали скрипача.

Он злорадно швырнул умирающую птицу к ногам музыканта и побежал прочь, куда глаза глядят.

Навсегда исчез из города.

Молчали люди на площади.

Маленькая птица умирала, и горько плакал скрипач.

Много-много лет минуло с той поры.

На площади Маленького города и поныне стоит памятник скрипачу. Он держит скрипку, и кажется, будто играет на ней. А на плече у него сидит птица.

Говорят, ночью, когда с неба падает звезда, скрипач вздрагивает, и скрипка издаёт стон. И тогда бронзовая птичка, взмахнув крыльями, взмывает в небо.

Она подхватывает звезду и уносит обратно на небо.

А на рассвете возвращается к скрипачу.

Вот почему звёзд на небе не становится меньше.

Грустный клоун

Странный недуг поразил обитателей Маленького города.

Все хотели обзавестись чемоданами.

Ничего, кроме чемодана, людей не интересовало.

Собираясь выйти из дому, они часами вертелись и крутились с чемоданами в руках перед большим зеркалом. Нет, не себя разглядывали, их волновало, красиво ли смотрится чемодан.

Никто и нигде не появлялся без чемодана.

Друг о друге судили по чемодану.

Страсть к чемодану заглушила всё.

И дошло до того, что человеку, придумавшему чемодан, воздвигли памятник на главной площади Маленького города: великий человек стоял на постаменте-чемодане с чемоданом в руке.

Проходя мимо памятника, горожане благоговейно снимали шапку.

По улице люди шли, самодовольно выставив вперёд чемодан и кичливо вскинув голову.

Время от времени они останавливались, доставали из кармана бархотку, заботливо смахивали с чемодана пыль и начищали его до блеска.

Представьте, в театре и то не расставались они с чемоданами — на коленях держали во время спектакля! Но стоит ли удивляться этому, если и сами актёры на сцене не выпускали из рук чемодана, если даже хрупкие, тоненькие балерины танцевали

с чемоданом в руке! Чемодан мешал, конечно, кружиться на носках, но это их не волновало.

Главное — какой был чемодан.

Только один человек во всём городе ходил без чемодана.

Подняв воротник пальто и упрятав руки в карманы, он грустно бродил по улицам.

Этим человеком был клоун.

Клоуна выгнали из цирка — не желали там видеть человека без чемодана! Да и не нужен был он больше — жители Маленького города разучились смеяться. Сами подумайте — до смеха ли человеку, если он всё время занят чемоданом?

Клоун шёл по улице и грустно вздыхал, глядя на прохожих.

Лица у них были угрюмые.

Но разве станешь улыбаться, если идёшь и переживаешь: «Может, плохой у меня чемодан, может, у других лучше…»

И клоун вздыхал, огорчённо опустив голову.

А прохожие сердито косились на него — почему это он без чемодана?

Иные нарочно задевали его плечом, толкали и даже бранили.

Раздражал людей клоун, и они издевались над ним; «Ну разве ты человек без чемодана! Грош тебе цена без чемодана!»

И, в конце концов, избили его, просто так, без всякого повода. Клоун еле вырвался и убежал. А догнать его они, понятно, не могли с их тяжёлыми чемоданами. Надо сказать вам, что горожане набивали их чем могли.

Клоун перестал выходить из дому.

Сидел у окна и печально смотрел на улицу.

Жалел прохожих, нелепо избочившихся под тяжестью чемодана.

Горожане охотно таскали бы для равновесия по два чемодана, чтобы не кривиться вбок, но как тогда было снимать шапку перед памятником?!

Жалел клоун людей и всё думал и думал, как спасти город от ужасного недуга…

И однажды утром на улицах появились афиши.

На афишах изображён был клоун с большим чемоданом.

Горожане ухмылялись, довольные: «Взялся, значит, клоун за ум».

А вечером весь город повалил в цирк.

Волоча чемоданы, поднялись люди по ступеням.

Расселись вокруг арены.

Началось представление.

Публика с удовольствием смотрела много раз виденное: как силач разом поднимал сто больших чемоданов, жонглёр подбрасывал в воздух маленькие чемоданчики, акробаты прыгали на чемоданах, а иллюзионист вытаскивал их из чёрного цилиндра. Особенно нравилось зрителям, что и животные выступали с чемоданами — слоны поднимали хоботом преогромные чемоданы, а зайчики скакали с крохотными.

Потом арена опустела, оркестр умолк и погас свет. Один-единственный луч освещал арену.

Занавес раскрылся, и появился клоун. Он тащил за собой большой чемодан. Шатаясь, добрался до середины арены и остановился в кругу света.

Люди ожидали, что он начнёт делать сальто с чемоданом в руке или пройдёт с ним по канату.

А клоун положил чемодан, опустился рядом на корточки и раскрыл его.

Из чемодана выпорхнули бабочки.

Клоун надеялся, что красота бабочек заставит людей позабыть о чемоданах. Он посадил несколько бабочек себе на ладонь и обошёл арену.

Вытянув руку, он показывал чудесных яркокрылых бабочек.

Он заглядывал людям в глаза и улыбался.

Но люди ничего не понимали.

Они не видели бабочек, они привыкли смотреть на чемоданы!

И обозлились на клоуна, стали бранить его, кричать:

— Чего морочишь голову! Не умеешь ничего делать, — убирайся с арены!

Но что было самым ужасным — дети тоже не замечали бабочек!

Всего двое-трое ребят воскликнули: «Какие красивые бабочки!» Но родители отругали их, говоря: «Плохо смотрите за своими чемоданами, вот и мерещатся вам всякие глупости!»

Тщетно простирал клоун руку с бабочками — рассерженные зрители покинули цирк.

Остался клоун один.

Безмолвно стоял он в кругу света.

Наконец погас и последний луч, видно, и осветителю наскучило смотреть на клоуна.

Всё потонуло во мраке.

Но внезапно под куполом цирка разлилось голубое сияние.

На миг высветилась из тьмы печальная фигура в старом цилиндре и стоптанных башмаках.

И снова воцарился мрак.

Это вспыхнул голубым светом и исчез клоун.

Так, сверкнув голубизной, исчезают, оказывается, грустные клоуны.

Люди, ворча, покидавшие цирк, почувствовали что-то странное, непривычное. Обернулись и видят: весь цирк в голубом сиянии!

Дивясь небывалому чуду, они пошли назад, волоча свои чемоданы.

Вошли в зал и ахнули — над ареной порхали, лучась голубым светом, бабочки.

Клоуна на арене не было.

Люди во все глаза смотрели на это голубое мерцание, и вдруг их озарило — этих-то бабочек и хотел показать им клоун!..

И не ведали, что именно клоун наделил бабочек светом, и его свет изливают они сейчас.

Долго-долго излучалась и сияла под куполом голубизна.

Потом бабочки вылетели через купол, и цирк потонул во мраке.

Когда зажглись лампочки, люди увидели — исчезли их чемоданы!

Исчезли, лопнули, оказывается, как мыльные пузыри, оттого, что их касались крылышками бабочки.

В отчаянии и ярости люди, вероятно, кинулись бы друг на друга и поколотили, если бы вдруг не раздался смех.

Очень уж смешны были их искажённые злобой лица,

И кто-то рассмеялся. А за ним другой.

Скоро смеялись все.

Покатывались со смеху.

Смеялись над собой, над тем, что всюду без всякой нужды таскали с собой чемоданы.

Потом вспомнили клоуна, виновато умолкли и тихо покинули цирк.

Задумчиво шли горожане по главной улице…

На главной площади остановились удивлённые: человек-памятник не стоял, а сидел, и в руках у него были цветы, а не чемодан.

Избавились обитатели Маленького города от страшного недуга. Но и сейчас попадаются на улице люди с угрюмыми лицами — а это значит, что не исчезла опасность «чемоданомании».

Но по ночам в городе появляются мерцающие бабочки.

Бабочки залетают в окна и излучают на спящих людей голубой свет.

Порхают они над людьми, и проникает в их сны голубое сияние…

И на другой день люди снова улыбаются друг другу.

Бегемот и сон

Однажды бегемот уснул в своей большой луже и увидел сон. Когда же проснулся — удивился, что лежит в той же самой большой мутной луже. Она ничуть не походила на то, что привиделось ему.

«Чудеса! Как же так, куда делось то красивое место?» — думал он, ничего не понимая.

Бегемот не знал, что может сниться сон.

Долго ломал он голову, но так и не сообразил, как попал туда, в то красивое место, и как вернулся обратно.

Думал бегемот, думал и незаметно для себя вновь заснул.

И вновь очутился в том чудесном месте.

Проснулся, огляделся — по-прежнему лежит в своей мутной луже.

«Как это происходит? Кто это в один миг переносит меня туда и обратно? И почему я не чувствую, когда он поднимает меня? Он, наверное, очень сильный — запросто носит меня. Он, наверное, и добрый, показывает такую красоту…»

Бегемоту нравилось место, куда он попадал, засыпая. Ему так хотелось оставаться там подольше.

«Попробую поглядеть, кто придёт за мной, чтоб унести туда, и попрошу оставить там», — решил он, наконец.

И стал хитрить: закроет глаза и лежит, притворяется, будто спит, и ждёт — вот-вот увидит таинственного друга.

Да кто мог прийти к нему!

Закрывая глаза, бегемот невольно засыпал…

«Нет, не перехитрить его», — сказал себе бегемот.

И всё-таки верил, что рано или поздно узнает, кто о нём печётся.

Однажды, когда он лежал с закрытыми глазами, неожиданно послышался шёпот:

— Следуй за моим голосом, не открывая глаз!

У бегемота сердце заколотилось от радости.

— Иду, — отозвался он тихо и, ликуя, последовал за голосом: не зря, оказывается, надеялся и ждал.

Один раз в жизни и бегемота, и небегемота непременно позовёт за собой таинственный голос. «Закрой глаза и следуй за мной», — скажет кто-то неведомый, но мало кто доверяется ему. Обычно вскакивают и громко спрашивают: «Куда это идти? Зачем идти, да ещё с закрытыми глазами?! Может, ты меня в пропасть сбросишь?»

А было бы неплохо положиться на призыв и без боязни следовать за таинственным голосом.

Наш бегемот доверился ему.

Видимо, потому, что видел сны и терпеливо ждал кого-то.

Шёл бегемот за шепчущим голосом.

— Иди, иди за мной, сюда, сюда, — направлял его кто-то.

Долго-долго шли они.

Бегемот не сомневался, что его ведут в то красивое место, куда он попадал иногда, и только недоумевал, почему они так долго идут? Может, тот, кто мгновенно переносил его раньше, устал и сейчас просто указывает путь?

«Что ж, не такой я уж лёгкий, в конце концов», — подумал бегемот. Он много размышлял о себе и хорошо знал, каков он и как выглядит.

Шёл он и шёл.

То жар донимал его, то холод пробирал, то подъём одолевал он, то спуск, выбивался из сил, спотыкался и даже скатывался по каменистому склону, но упорно следовал за голосом.

— Сюда, сюда, — то и дело слышал он.

Шёл бегемот.

Шёл с закрытыми глазами.

До слуха его доносились разные звуки, и он догадывался: то лес шумит, то ручей журчит, ветер завывает в ущелье, листья падают. И чувствовал, по траве ли шёл или по песку, по камням или мягкой земле.

Наконец, одолев ещё один склон, он услышал:

— Пришли.

Бегемот остановился.

Он стоял и ждал, когда же ему разрешат открыть глаза.

Но ласковый голос больше не слышался.

А бегемот боялся, что если раньше времени откроет глаза, то все его мучения по дороге сюда окажутся напрасными, и он снова увидит свою лужу.

Внезапно что-то приятно, нежно коснулось его лба.

Бегемот понял — это тайный знак.

И открыл глаза.

Он стоял на горке, а перед ним простиралась пёстрая, цветущая долина, за которой далеко-далеко всходило солнце.

Тепло его лучей и почувствовал бегемот на лбу.

От радости у бегемота заколотилось сердце.

Именно эту долину видел он, когда засыпал.

Но тогда не порхали над ней эти яркие бабочки, на крыльях которых радужно сияли лучи.

Сон редко сбывается, но уж если сбудется, окажется намного прекрасней того, что снится человеку.

Постойте, а почему — человеку, мы же о бегемоте рассказываем!

Надо было написать так:

Сон редко сбывается, но уж если сбудется, окажется намного прекраснее того, что снится бегемоту.

Но в таком случае вы подумаете, что я веду речь только о бегемоте. А я, как вы наверняка уже догадались, и людей имею в виду, рассказывая эту историю.

Чтобы не погрешить против истины и сказать то, что хочется, напишу так:

Сон редко сбывается, но уж если сбудется, окажется намного прекраснее того, что снилось увидевшему сон.

В этом-то суть — снится ли тебе сон. Одно существо отличается от другого именно этим — снится ли ему сон.

Возможно, кому-то мои слова не придутся по душе, но я всё же скажу: у человека и бегемота, которым снятся сны, больше общего, чем у двух людей, из которых один видит сны, а другой нет. И добавлю, хорошо бы соединить слова «сон» и «видеть» в одно, и каждого, кто достоин, называть «сновидцем».

А достойного определить легко.

Сидим мы, скажем, в парке, а по аллее идёт человек, посмотришь на него, и ясно — ему снятся сны. И в душе у нас сами собой рождаются строчки:

«Сновидец идёт по аллее, сновидец счастливее всех…».

Строчки эти — начало стихотворения.

А стихи сочиняют сновидцы.

Теперь признаюсь вам, и не обессудьте: я занял вас этими рассуждениями, чтобы оставить бегемота одного, наедине со своей радостью. В такие минуты хочется побыть одному.

Но вернёмся к бегемоту.

Помните — он зачарованно смотрел на пёструю долину, и сердце у него колотилось от восторга.

Мы оставили его весёлым, а теперь он стоял грустный, уронив голову.

Отчего он загрустил?

Оттого, что боялся — исчезнет сейчас долина, и он опять будет лежать в мутной луже. И решил бегемот не смыкать глаз, дождаться того, кто привёл его сюда, и попросить не уводить обратно. А если тот не согласится, то бегемот заупрямится. «Пускай попробует перенести силой», — погрозился он… Но знал, что ничего не сумеет сделать: тот, кто привёл его, вернёт назад, когда вздумает.

Грустно было бегемоту…

А над долиной порхали бабочки.

Одна из них подлетела к бегемоту и спросила, что его опечалило.

Голос бабочки был очень знакомый.

— Это ты привела меня сюда? — спросил он.

— Да, я.

«Неужели это она переносила меня сюда? Как ей удавалось, такой крохотной? И почему они, эти красивые бабочки, не порхали тогда над цветами?» — удивился бегемот.

Но особенно волновало его другое.

— Я должен вернуться назад?

— Почему? — удивилась пёстрая, яркокрылая бабочка.

— Но ведь раньше я всегда возвращалась к луже.

— А разве ты бывал уже здесь?

«Значит, не она переносила меня прежде. Может, не уведёт назад, или хотя бы оставит подольше?», — с надеждой подумал бегемот и сказал:

— Я часто бывал тут, но никогда не видел вас.

— А как ты попадал сюда?

— Не знаю, лежал себе в луже, а когда закрывал глаза, я оказывался в этой долине. Кто-то приносил и уносил меня.

Бабочка просияла. Она-то знала, почему её потянуло полететь за тридевять земель и привести сюда именно этого дремавшего в огромной луже бегемота. Бабочка знала, что он сновидец. Не ведала только, что ему снилась именно эта долина.

— Ты эту долину видел во сне.

— А что это такое… сон?

— Сон — это картина, но в твоей голове, в твоём воображении, когда ты спишь. Никуда тебя не переносили, ты лежал в луже и видел то, что представлялось твоим глазам, — видел сон.

— Значит, всё было сном? — снова опечалился бегемот. — Неужели и эта долина сон, и…

Он не договорил, но бабочка догадалась, что он хотел сказать.

«Обо мне сожалеет, думает, что и я снюсь ему» — мелькнуло у бабочки.

— Не бойся, сейчас ты всё видишь наяву.

— Наяву?

— Да, долина такая же настоящая, как и лужа, например.

— А можно мне остаться тут навсегда, любоваться цветами? — робко спросил бегемот.

— Конечно.

— Спасибо. — Бегемот присел на горке и со вздохом воскликнул: — Как чудесно!

Бабочка отлетела, опустилась на цветок и позвала бегемота:

— Иди, походи здесь.

— Нет, нет, я растопчу цветы, — испуганно сказал он и заплакал, потому что во сне именно этого хотелось ему всегда — походить по цветущей долине. Нет, не мог он этого сделать ни сейчас, ни во сне.

— Не бойся, иди, — снова позвала бабочка.

— Жалко цветы.

— Ты не повредишь их, поверь.

— Я очень тяжёлый.

— Ничего, иди, решайся, — стали уговаривать и другие бабочки, подлетев к нему.

— Ничего, что я тяжёлый, да? — волнуясь и радуясь, спросил бегемот.

— Закрой глаза и встань, — сказала ему яркокрылая бабочка.

Он закрыл глаза.

— Сделай шаг.

— Сюда, сюда ступай, — зашептали и другие бабочки.

Бегемот решился, ступил, но нога его почему-то не коснулась земли…

И неожиданно — взлетел!

Полетел над цветами. У него дух захватило от восторга, не то на всю долину прокричал бы:

— Я летаю, летаю! Э-э-эй!
— Э-э-эй, летает бегемот, летает!
Но это уже воскликнул я, снова вмешавшись в рассказ.
Что делать, хочу, чтобы все узнали, какое произошла чудо!
Да только кому об этом известно?
Мне да вам.
Давайте поступим так:
Если сейчас ночь, не будите соседей, а если день и если вам передалась радость бегемота, распахните окно и выкрикните:
— Бегемот летает, бегемот стал летать! Э-э-эй!..
Во дворе наверняка играют дети. Они прервут игру и, задрав головы, глянут вверх — кто это там кричит!
Не будем обольщаться. Среди них найдутся насмешники, что ничему не верят, и пренебрежительно бросят: «Ладно врать-то» — да и сплюнут, может быть, гадко.
Но кто-нибудь из ребят доверчиво переспросит:
— Летать стал?
— Да, да, летать! — крикнете вы.
— Бегемот?!
— Да, бегемот!
Мальчишка (а может быть, это будет девочка) замрёт удивлённо, а потом сорвётся с места и побежит.
Побежит вприпрыжку и будет повторять:
— Бегемот летает! Бегемот летает!
И я твёрдо знаю — он (а может быть, она) сновидец!
И хотя я не видел его, готов поспорить, что он умеет быть настоящим другом. Такой не наябедничает и не выйдет во двор с яблоком, чтобы съесть его при всех одному...

...Летал наш бегемот среди бабочек.
Любовался красивыми цветами.
Потом он опустился совсем низко и увидел в росинке своё отражение. Своё и солнца.
Летал бегемот, а вокруг него вели хоровод бабочки.
Потом его бабочка-проводница села на голубой цветок.
— Иди, сядь и ты, — позвала она бегемота.
— Как же я сяду, такой огромный!
— Иди, не бойся!
Бегемот подлетел и опустился на цветок рядом с бабочкой.
А цветку хоть бы что, будто и не садился на него никто. Стебелёк даже не изогнулся.
Нет ничего легче и нежней бегемота, у которого сбылся сон.

Артист

В Маленьком городе очень любили театр.
Как только появлялись афиши, извещавшие о премьере, у билетных касс сразу возникали очереди, а потом все, как праздника, ждали представления.
Наступал желанный день, и ближе к вечеру горожане наряжались в свои лучшие одежды и отправлялись в театр.
Шли не спеша, мужчины вели женщин под руку. По пути покупали цветы, встречали знакомых и, беседуя, продолжали идти вместе.
Они вспоминали постановки прошлых лет и о персонажах пьес высказывались как о реальных людях.
Короче говоря, горожане любили театр истинной любовью.
Разговаривая о театре, они особенно часто касались одного известного артиста.
Артист этот был обыкновенным человеком.
Не выделялся среди других ни красивой внешностью, ни зычным голосом. Многие в труппе пели, танцевали и фехтовали лучше него и даже сальто выполняли куда более ловко.
Но всё равно, когда на сцене появлялся артист, в зале уже не бывало равнодушного зрителя.
Люди веселились, если он веселился, и печалились, если он печалился, вместе с ним страдали или вспыхивали гневом.
И когда он, раскинув руки, приближался к рампе и устремлял взгляд к невидимому небу, зрителям тоже хотелось устремиться ввысь в вольном полёте...
По пути в театр горожане обсуждали спектакли, в которых участвовал этот артист, но никогда не касались спектакля, на который шли.
Не думайте, что они сомневались в игре любимого артиста.
Нет, они сомневались в другом.
Артист нередко опаздывал на спектакль, а случалось, и вовсе не являлся.
И не потому, что зазнался, считал себя самым лучшим артистом, которому всё дозволено, дескать.
Бывало, что зрители, не дождавшись артиста, в огорчении покидали театр и видели, как он подбегал, запыхавшись, то запылённый, то заляпанный слякотью, а то оборванный и встрёпанный.
Еле переведя дух, он просил извинить его, уверял, что опаздывает не по своей вине.
И люди верили. Чувствовали, что неспроста опаздывает, есть этому какая-то загадочная причина.
В таких случаях кто-либо советовал ему:
— Откройся нам, может, поможем, как-нибудь вызволим из беды...
— Нет, не поможете, не вызволите, — говорил артист грустно.
И люди задумчиво расходились.
Никто не упрекал и не укорял его, но срыв спектакля всё же малоприятная вещь и, понятно, что директору театра это не нравилось.
Он дорожил артистом, верил ему, но был директором и не имел права допускать задержки спектакля, а тем более — срыва.
Директор всё думал, как проникнуть в тайну артиста.
И наконец пошёл на хитрость,
Надумал вызвать к себе по одному всех работавших в театре — от гардеробщика до режиссёра, и сказать, что он вынужден уволить артиста из-за срыва спектаклей, что он очень сожалеет об этом, но другого выхода у него нет.

Директор прекрасно знал, что все любят артиста и наверняка поведают о его тайне, если только знают её.

Так он и поступил.

Однако никто ничего об артисте не знал, но все горячо просили не увольнять его.

Директор был в отчаянии. И тогда он решил, что ему надо поговорить с каждым жителем города, может, ему и откроется тайна артиста. Но тут к нему вошла пожилая билетёрша.

— Я знаю кое-что, сынок,— призналась женщина.— Артист взял с меня слово, что никому не проговорюсь, но раз вы грозитесь уволить его, что поделаешь — нарушу слово. Он просил ни за что не впускать в зал детей, когда он играет.

— Только и всего?

— Да, и часто напоминает об этом, боится, что позабуду.

Директор поблагодарил билетёршу.

— Не уволишь его, сынок?

— Нет, ни в коем случае,— заверил её директор.

Женщина вышла.

— Что ж, попытаюсь всё узнать,— сказал директор.

И вечером, когда артист, обратившись к залу, произносил свой печальный монолог, на сцену вышел мальчуган.

Мальчик этот был сын директора, а сам директор наблюдал за всем из-за кулис.

Мальчик направился к артисту.

Вот он уже в нескольких шагах от него…

И внезапно… артист превратился в красивое, зеленевшее листвой дерево.

Зрители сначала восприняли это как должное, как заранее задуманный сценический трюк, даже захлопали.

Но потом поняли, что у них на глазах свершилось чудо, и затаили дыхание.

Зеленело на сцене дерево.

Откуда-то повеял ветерок и пробежался по листве.

Посреди сцены шелестело листвой прекрасное дерево, а мальчик медленно обходил его вокруг, оглядывая.

Чуть погодя на сцену вышел директор театра.

Какое-то время и он растерянно взирал на дерево, потом вздохнул и взял мальчика за руку.

— Пошли, сынок, тебе спать пора.

— Как он это сумел, папа?— спросил мальчик.

— Талантливый очень артист, сынок.

— И он знал, что мне нравится такое дерево?

— Выходит, знал. Хочешь, посадим в нашем дворе такое дерево?

— Хочу, давай посадим,— мальчик обернулся к дереву, попрощался: «До свиданья, до свиданья!».

И как только директор с сынишкой скрылись за кулисами, дерево вновь превратилось в человека.

Потрясённые зрители, словно по команде, разом встали с мест.

Артист подошёл к рампе, молча опустил голову.

Молчали и зрители.

Тишину прервал голос директора, который вернулся на сцену, отправив сына домой с матерью.

— Извини, пожалуйста, ты не хотел раскрывать свою тайну, а я не выдержал, решил узнать во что бы то ни стало.

— Верно, до сих пор я в самом деле не хотел посвящать кого-либо в свою тайну, но раз уж так получилось, я признателен тебе, спасибо.

Артист пожал директору руку и обратился к зрителям.

— Садитесь, я поведаю вам свою историю.

И вот что он рассказал.

В самом начале своего артистического пути он решил для себя: чтобы хорошо играть, надо хорошо знать людей. И он ходил по городу, бывал в самых людных местах: в магазинах, на базарах, на вокзалах. Наблюдал и запоминал, кто как ходит, как жестикулирует, с кем и как разговаривает, когда какое принимает выражение лица.

Устав бродить по городу, он садился у окна и часами следил за прохожими.

Он исходил города и сёла, горы и долы…

И действительно стал хорошим артистом.

Однако не перестал наблюдать за людьми.

Никто на свете не изучил человека так хорошо, как он, вот почему он играл всё лучше и лучше.

Он знал, как смеётся юноша, скачущий по просторному влажному после дождя полю.

Знал, как смотрит девушка на цветущую под её окном сирень.

Знал, как дрожат от волнения руки у старика, когда он вскрывает конверт с письмом от внука.

Знал, как вздрагивает, в какое возбуждение приходит малыш, впервые увидев птичку…

Он знал уже всё, что должен был знать.

И вдруг обнаружил, что хотя и не стремился к этому, стал необычайно проницательным: постигал мысли человека, догадывался о них по его виду, по его взгляду.

Радость артиста не имела предела.

Ведь он будет играть ещё лучше, угадывая, о чём человек думает, чего хочет.

Нет, не о славе и популярности помышлял артист. Он любил своё дело и радовался, что сумеет ещё сильнее захватить и взволновать зрителя.

…Однажды зимним утром артист шёл через городской сад.

Падал снег.

В саду было безлюдно.

Пройдя заснеженную аллею и свернув в сторону, он увидел на берегу пруда молодую женщину и девочку лет шести. Они сидели на скамейке и смотрели на воду.

«Девочка мечтает о каких-то больших птицах»,— мелькнуло у артиста.

Но он не обрадовался своей прозорливости.

Он не видел лица девочки и всё же почувствовал, что ей грустно. И у него больно сжалось сердце.

Тут девочка спросила мать:

— Куда девались лебеди, что плавали в пруду?

— Улетели, доченька.

И у матери был грустный голос.

— Все улетели?— допытывалась девочка.

— Думаю, все,

— А когда вернутся?

— Летом.

— Ой, как долго ждать,— со вздохом проговорила девочка.

И тут артист ощутил, что его тянет взмахнуть руками, словно крыльями.

Он развёл руки, с силой вскинул их, опустил, снова вскинул и взлетел.

И уже лебедем опустился на пруд.

— Мама, мам, смотри, лебедь прилетел!— вскричала девочка и кинулась к пруду.

— Да, правда! Это лебедь, настоящий лебедь!— обрадовалась и мать.

Лебедь по воде плыл.

Девочка не отрывала от него глаз.

Мать с трудом увела её.

Едва они исчезли из виду, артист принял человеческий облик.

Еле доплыл он до берега, продрогший в ледяной воде.

Мокрый с головы до пят, постоял, растерянно говоря:

— Э-э, плохо дело! Это ещё что за напасть…

И, недоумевая, пошёл дальше.

Гулявшие в саду горожане узнавали артиста, когда он проходил мимо, и изумлялись, почему он весь мокрый, спрашивали— не помочь ли?

— Нет, спасибо, не беспокойтесь,— отвечал артист, дрожа от холода.

И продолжал путь.

Неожиданно он снова почувствовал непонятное волнение. С ним явно что-то творилось.

И тут услышал откуда-то сверху:

— Цуго! Цуго!— обращался кто-то ласково к собачке, а по голове почему-то гладили его— артиста.

Он вскинул глаза и увидел мальчика.

Мальчику было годика три, но ему он показался великаном.

Артист глянул на свои ноги и, обнаружив вместо них лапки, понял, что превратился в щеночка.

«Пропал я»,— подумал он про себя и во всю прыть помчался по аллее. Тщетно гнался за ним мальчик— он успел нырнуть в кусты.

— Э-э, плохи дела,— повторил он, вновь став человеком, и усмехнулся.

Целый день скрывался артист в кустах и, чтобы хоть чуточку согреться, топал ногами, подпрыгивал, размахивая руками.

Когда наступил вечер, артист выбрался из кустов и под прикрытием сумерек поспешил домой, надеясь, что все дети уже спят.

Дома он выпил несколько стаканов горячего чаю и поскорее лёг в постель.

Чудом избежал он воспаления лёгких.

С того дня артист старался не попадаться детям на глаза.

Днём он не выходил из дому. Но вечером-то надо было пойти в театр, не срывать же спектакли!

В театр он отправлялся по самым безлюдным, уже опустевшим улицам.

И хотя до театра было рукой подать, иногда он очень долго добирался до него.

Некоторых детей к вечеру выводили погулять-подышать перед сном свежим воздухом.

Издали заметив ребёнка, артист торопливо сворачивал на другую улицу, но, как на беду, часто и там оказывался малыш. Артист убегал, скрывался, плутал по улицам и переулкам, но несмотря на все старания, измотавшись, всё равно сталкивался с ребёнком.

И тут же превращался в…

В кого он только не превращался! Довелось ему быть щенком, слоном, ягнёнком, жирафом, павлином, совой, носатым клоуном, ласточкой, пузатым барабанщиком, соловьём, зайчиком— и не перечислить всего.

Спасался по разному— в зависимости от того, в кого превращался.

Если бывал «ходячим» существом— убегал, если крылатым— взлетал на дерево или дом.

А потом, в безопасности, снова становился человеком, торопливо слезал на землю или выбирался из укрытия.

И разве удивительно, что после всего этого вид у него бывал истерзанный.

— Такова моя история,— сказал артист в заключение.— Я избегал детей, потому что очень люблю театр, а все эти превращения были помехой моему любимому делу…

Сегодня, когда мальчик, выйдя на сцену, подумал о дереве, мне вспомнилась та девочка, которая грустила по лебедям, и я понял, что всегда превращаюсь в то, о чём мечтает в ту минуту ребёнок.

Кто знает, возможно, в этом и есть назначение артиста— осуществлять мечту ребёнка.

Я прощаюсь с вами, оставляю театр, отныне буду служить городу, детям…

С этими словами артист покинул сцену.

С тех пор он всё своё время проводил дома— сидел у окна.

Тонкая штора скрывала его от прохожих, но сам он хорошо видел всё, что делалось на улице.

Когда мимо окна шёл ребёнок, артист превращался в то, о чём мечтал малыш, а когда тот скрывался из глаз, обращался в человека и записывал в тетрадь, о чём мечтал тот или иной ребёнок.

А вечером к нему заходили родители малыша, и он рассказывал им, о чём мечтает их ребёнок. И родители старались исполнить желание ребёнка.

Вы спросите: любое ли желание исполнялось? А если ребёнок мечтал иметь золотые горы или улететь в небо? Как бы тогда поступил этот человек?

Уверяю вас— дети ни о чём подобном не мечтают.

Ребёнок хочет иметь друга. Друга, чтобы играть с ним, дружить, поверять свои тайны.

Один ребёнок находит друга в щеночке, другой тянется к клоуну, третьему хочется ухаживать за саженцем.

А когда у ребёнка появляется желанный друг, он счастлив.

Да, в этом городе дети были счастливы.

Даже болеть перестали.

Никакая болезнь не пристанет и не одолеет, когда рядом с тобой друг.

Это был город счастливых детей.

Остаётся сказать, что жители по-прежнему любили ходить в театр.

По-прежнему с нетерпением ждали представления.

И теперь игра других актёров волновала и захватывала их.

Прекрасен город, где любят театр.

Но этот прекрасный город был ещё и городом сбывшихся желаний.

И потому был прекрасен вдвойне.

Жил себе артист…

Проникал в мечты детей…

Миновали дни и годы.

Он состарился.

Однажды вечером, когда ушли все мамы и папы, он подошёл к зеркалу.

Долго смотрел в глаза своему двойнику, потом прошептал, улыбаясь:

— Что ж, и у меня есть мечта…

И мечта его исполнилась.

В полночь открылось окно в доме артиста, поднялась лёгкая занавеска, и из окна вылетел букет прозрачно-голубых цветов. Высоко взлетев, он засверкал в свете фонарей и медленно полетел к соседнему дому. И скрылся в нём.

А через некоторое время вылетел обратно и полетел к другому дому…

Так летал букет от одного дома к другому, и постепенно всё меньше и меньше оставалось в нём цветов…

А он всё летал…

И всё уменьшался и уменьшался.

И, в конце концов, остался один-единственный цветок.

Сверкнув в свете фонаря, он полетел к дому одинокой старой женщины.

Эта старая женщина была учительницей. Сейчас она спала прямо за столом, видно, устала, исправляя детские тетрадки.

Голубой цветок подлетел к старой женщине, какое-то время медленно летал над её головой, потом чуть-чуть коснулся её седых волос, как будто хотел приласкать, и присоединился к букету, который стоял на столе в стеклянной вазе.

Так, превратившись в букет прозрачно-голубых цветов, артист роздал себя людям.

А утром…

Хотя ничего необычного ни утром, ни потом не случилось. Голубые цветы увяли вместе с цветами, к которым они присоединились в домах горожан. И вместе с теми цветами горожане выбросили их.

И только в комнате той старой женщины случилось то, что должно было случиться.

Когда солнце осветило комнату, женщина проснулась, подняла голову и сразу же посмотрела на букет. Что-то почувствовало её сердце…

Вгляделась в букет и…

Узнала голубой цветок.

Очень давно, когда эта старая женщина была маленькой девочкой, она дружила с одним маленьким мальчиком. Вместе они играли, вместе мечтали и по вечерам, сидя на крыльце, затихшие, вместе смотрели на большое небо…

Голубой цветок был похож на того маленького мальчика.

Чудак

Жил некогда очень странный человек.

Дурного о нём никто бы ничего не сказал, но все считали его чудаком.

Странную вещь вбил он себе в голову.

Вреда от этого никому не было, но всё же…

Чудак-человек уверял всех, будто он способен светить.

Каждый вечер он заходил в чей-нибудь дом и просил погасить свет. Горожане знали о его причуде и не возражали, молча улыбались и гасили свет.

Человек стоял посреди комнаты и ждал — вот-вот озарит дом светом.

Напрасно простояв так, он вздыхал и виновато говорил: «Не свечу почему-то сегодня».

Его провожали сочувственным взглядом, извиняли — какой-де с него спрос, хороший человек, да ведь чудак.

Но не все относились терпимо к его чудачеству. Не раз спускали его с лестницы, награждая пинком, а то и собак спускали, науськивая: «Куси его, куси!»

Добрые люди уговаривали чудака не ходить по домам, не нарываться на неприятности.

— Хочешь светить, свети для себя, — говорили ему.

— Для себя светить? — недоумевал человек. — Нет, для себя не сумею засветиться.

— Ну, сноси тогда брань и побои, — усмехались люди.

Однажды кто-то сказал ему в шутку:

— Да какой же ты светильник без абажура!

Человек шуток не понимал, поэтому эти слова не обидели его и не удивили. Наоборот — пришлись по душе. Распродал он в доме все вещи и накупил уйму абажуров. И с тех пор, отправляясь к кому-нибудь светить, надевал на голову абажур.

В любой дом заходил он засветиться, кроме одного.

В том доме жила одинокая женщина. Ему очень нравился её звонкий смех и хотелось озарить её светом, но он не решался.

Однажды он зашёл в дом, где жили грубые, злые люди. Они не то что засветиться, даже попытаться не дали. Изодрали на нём абажур, ухватили за руки-ноги, раскачали — раз, два, три — и швырнули за высокую ограду дома в преогромную лужу.

Растерянно сидел человек в луже.

Наконец он сказал себе: «Что будет — будет, сегодня всё решится».

Дома он долго выбирал абажур. Взял самый красивый, семицветно-радужный, надел на голову и направился к дому одинокой женщины.

Женщина радушно пригласила его в дом. В тот вечер у неё были гости.

В ярко освещённой комнате в креслах сидели женщины. Мужчины подавали им прохладительные напитки, пирожные и рассказывали всякие смешные истории.

Видимо, им тоже нравился звонкий смех хозяйки дома.

Собравшись с духом, человек, которого считали чудаком, попросил погасить свет.

Свет погасили.

«Сейчас засвечусь, сейчас засвечусь, сейчас засвечусь», — несколько раз повторил человек.

Он чувствовал — вот-вот заполыхает ярким светом.

И тут вдруг гости расхохотались.

Звонко засмеялась и женщина.

Этого человек не выдержал.

Бросился к двери, сбил стул и сам чуть не растянулся. Вскочил, выбежал вон.

Он бежал, ничего не видя, налетал в темноте на деревья, падал, вставал, нёсся дальше. Колючие кусты раздирали ему лицо, руки.

«Ещё немного, ещё немного, и кончатся мои муки», — утешал он себя.

Человек бежал прямо к реке.

Внезапно совсем близко прозвучал голос.

Человек остановился.

Сердце разрывалось от радости — вслед ему мог звучать только голос той женщины.

Но, прислушавшись, он понял — голос доносился с той стороны, куда он стремился.

— Кто-то бежит сюда, — сказал в темноте кто-то.

— Да, и мне так кажется, — заметил кто-то другой.

— Кто идёт? — спросил первый.

Человеку всё уже было безразлично.

Он горько рассмеялся и печально ответил:

— Я, человек, который светит.

— Светит? — Голос был очень взволнованный.

— Видишь, говорил тебе, непременно придёт, — так же взволнованно отозвался второй.

Человек усмехнулся.

— Даже вы смеётесь надо мной!

— О, что ты, что ты, мы заждались тебя, — разом сказали оба, и человек понял, — они верили ему.

— Раз, два, три! — воскликнул он, и всё вокруг залило светом.

— Вот и засветился я, — человек тяжко вздохнул, ноги у него подкосились, и он без памяти упал на землю.

Когда он пришёл в себя, увидел перед собой куст розы.

— Неужели ты со мной разговаривал?

— Да, я и мой гость.

На ветке розы сидел соловей.

— Ночь безлунная, а я не умею петь в темноте. И очень горевал из-за этого. Увидишь, как я запою сейчас, — сказал соловей.

Ошалев от радости, человек не удивился даже, что разговаривал с кустом розы и птицей!

Тихо сидел он у куста розы и слушал соловья.

Прекрасное это было зрелище: светящийся человек в пёстром абажуре и озарённые им роза и соловей…

С того вечера человек мог засветиться всегда и везде.

Но человек больше ни к кому не заходил озарить светом дом.

В безлунные ночи садился возле розы и светил соловью.

Случалось, что он невольно вспыхивал ярким светом где-нибудь на тёмной улице. Видевшие это люди рассказывали другим. Им, разумеется, не верили… и спрашивали человека: «Это правда?» А он опускал глаза и отвечал смущённо: «Да нет, я давно выкинул из головы эти глупости, им показалось».

И лишь одинокая женщина знала о его тайне.

Когда он выскочил из её дома, она устыдилась своего смеха.

И побежала за ним следом…

Она слышала, как он разговаривал с розой и соловьем, видела, как он засветился.

И перестала женщина с тех пор смеяться своим звонким смехом, перестала приглашать к себе гостей.

Сидела одиноко дома и говорила себе:

— Выставила бы тогда всех гостей, и остался бы человек со мной. В доме появились бы малыши, они тоже светились бы в темноте и носились бы по комнатам в пёстрых абажурах. И не было бы на свете ничего краше нашего дома.

Человек, любивший дождь

Некогда в Маленьком городе жил человек, который очень любил дождь.

Он всегда чувствовал, когда пойдёт дождь, и поскорее выходил на улицу.

Раскинув руки, он глядел на небо.

Из ближайших домов тут же высыпали ребятишки и вместе с ним ждали, когда упадут первые капли.

Начинался дождь, но человек не уходил.

Стоял он и мок.

Вокруг него прыгали и смеялись ребятишки.

Люди недоумевали и стыдили его:

— Малыши — это понятно, их не удержишь, любят прыгать под дождём, но ты, ты же взрослый человек!

А человек твердил в ответ одно и то же:

— Дождь — Вода Небесная!

Ничего не любил он больше, чем дождь. Каким бы серьёзным и срочным делом ни занимался, всё бросал и выбегал на улицу под дождь.

Однажды он, как обычно, стоял под струйками дождя, раскинув руки, как вдруг на ладонь ему упало что-то лёгкое.

Глянул — а это прозрачное голубое зёрнышко!

Невиданное было зёрнышко, и человек долго ждал, что из него может вырасти.

Когда дождь перестал, он посадил голубое зернышко в горшок, а горшок вынес на балкон.

Вырос из зёрнышка невиданный цветок. Высокий, с большими, опущенными книзу листьями.

Цветок стоял на балконе, и в дождь его огромные полусвернутые листья расправлялись.

Влажные листья переливались, голубовато лучились, а падавшие на них дождевые капли превращались в пестрые прозрачные зёрна.

Зёрна скатывались, ссыпались на улицу.

Ребятишки подбирали их и сажали дома в цветочные горшки…

И скоро все балконы и веранды Маленького города украсили диковинные, сказочно красивые цветы.

Маленький город напоминал теперь огромный разноцветный букет.

Под дождём цветы раскрывали свои яркие причудливые лепестки, и город сиял и благоухал.

А человек, любивший дождь, стоял под струйками и улыбался счастливо.

Но вот и девушкам захотелось выходить на улицу в дождь. А чтобы не мокнуть, придумали брать с собой горшки с цветами и укрываться под широкими листьями.

Прогуливались девушки, а над их головами лазурно сияли листья и многоцветно блестели лепестки.

Это были первые на свете зонтики.

Прогуливались девушки, слушая, как стучат по листьям капли, улыбались друг дружке, а над ними радужно сверкали и лучились цветы.

Девушкам начали подражать степенные женщины, маленькие девочки, и каждый, кто мог держать в руках горшок с цветком, выходил с ним пройтись под дождём.

Представляете, каким красивым становился Маленький город во время дождя!

Особенно чудесно выглядел город сверху.

Над улицами кружили птицы и от восторга громко щебетали.

Говорят, тогда-то и научились они петь.

Но самое главное—люди сделались добрее, упоённые ароматом и красотой цветов.

Никто никого больше не обижал.

Даже девчонки и мальчишки не ссорились, не спорили из-за кукол или мяча.

Все были благодарны человеку, любившему дождь.

Однажды, когда он стоял под дождём и смотрел на небо, неожиданно услышал песню. Опустил голову и видит—вокруг него поют девушки, пляшут, кружатся.

А вместе с ними кружатся яркие, пёстрые цветы-зонтики.

Понравилось это человеку. Правда, он смутился немножко от такого внимания. И поспешил перевести взгляд на небо.

С тех пор девушки постоянно водили вокруг него хоровод.

Человек привык к этому и даже сказал себе—что ж, я действительно сделал им доброе дело—подарил цветы-зонтики!

И загордился.

Теперь он всё время думал о том, какой он хороший, и всё больше зазнавался. А во время дождя предпочитал смотреть на хоровод, а не на небо.

Он даже завёл журнал и всякий раз записывал, сколько девушек пело в хороводе.

Дождь нравился ему всё меньше и меньше—куда интереснее было заниматься журналом.

Как-то он проснулся под утро—почувствовал: вот-вот хлынет дождь. Присел в постели и выглянул в окно. На улице было темно. Он взял и снова лёг, говоря себе—наверняка все ещё спят, кому охота водить хоровод в этакую рань.

Потянулся, зевнул и уснул.

Но тут же проснулся от непонятной тревоги.

Глянул на балкон—лил дождь.

А голубой цветок, расправив листья, подобно крыльям, медленно уплывал в небо.

—О, что я натворил!—вскричал человек и выскочил на балкон.

В домах распахнулись окна.

Выглянули заспанные люди.

И увидели: высоко над домами плывёт голубой цветок.

А по улице бежит человек, зовёт цветок, рыдает…

Улетел голубой цветок, исчез в тумане.

Скрылся за пеленой тумана и человек.

Кинулись люди к своим цветам на балконах и верандах—цветов не было…

Дожди в Маленьком городе идут и ныне.

Носятся под дождём, мокнут и веселятся дети.

Взрослые ходят с зонтами—теперь они сами мастерят их. Но у этих зонтов ни красоты, ни аромата тех волшебных цветов. Наверное, оттого не делают они людей добрее.

С грустью вспоминают о чудесных цветах в Маленьком городе.

Девушки бережно держат свои зонтики—им чудится, будто в руках у них те чудесные, льющие голубизну цветы.

Мужчины не забывают об ужасной ошибке человека, любившего дождь, и в ненастье многие из них выходят на улицу.

Бродят они под дождём с серьёзным видом, избегая смотреть друг на друга, скрывают, зачем вышли, чего ждут.

Но не падает с неба прозрачное голубое зёрнышко…

Ходят мужчины под дождём… Мокнут…

Некоторым и во сне нет покоя.

Просыпаются. Покидают посреди ночи дом, отправляются искать голубой цветок.

Ищут по всему свету, ищут и не могут найти.

Последняя история

Многие сказочные истории, которые вы прочли, мне поведал один старик.

Может, и вам доводилось встречаться с ним. Если доводилось, то, верно, помните его…

Задумчиво ходил он по улицам, не слыша городского шума. Иногда останавливался у окна и, вскинув голову, смотрел на небо.

В маленькой комнатке старика полно было книг. Высокими стопками лежали они и на подоконнике единственного окна, почти закрывая его, и в комнате всегда царил полумрак.

Одиноко жил старик.

Я часто навещал его и узнал от него массу всяких историй.

Он рассказывал о том, что любил,—о деревьях, цветах, о камнях, о зверях и птицах. Я мог слушать его бесконечно.

Однажды вечером я застал старика в постели. Хотел привести к нему врача, но он покачал головой:

— Не надо. Садись-ка лучше, я расскажу тебе ещё одну историю.

И вот что поведал мне старик в тот вечер.

В Маленьком городе жили некогда мастера-стекольщики.

Они ходили по улицам, крича:

— Стёкла вставляем! Кому стёкла вставить?!

Любили стекольщики свою работу — в окнах чудесно переливались на солнце стёкла, и малыши не мёрзли в своих кроватках. Любили они детей.

Особенно любил ребятишек один из них. У него не было ни жены, ни детей, а одинокому человеку так тоскливо на свете…

Как-то вечером, когда стекольщик нарезал стёкла, в дверь к нему постучались.

Он открыл дверь и увидел за порогом маленькую девочку. Девочку с голубыми глазами.

— Можно, я буду жить у вас? — спросила она.

— Конечно, входи, входи! — пригласил её стекольщик.

Он провёл её в комнату, усадил за стол, угостил яблоками, сладким фруктовым соком.

Потом он снова принялся нарезать стёкла.

Девочка с любопытством следила за ним. В осколках плясали и отражались лучи заходившего солнца.

Она взяла кусочек стекла и повертела в руках — стекло сверкало, сияло. Это было так интересно!..

Мастер оставил работу и ласково наблюдал, как радовалась и забавлялась малышка.

Но вот угасли последние лучи солнца, и девочка внезапно превратилась в цветок.

Оторопел стекольщик.

Всю ночь не смыкал он глаз, боясь, как бы не случилось чего с цветком.

А утром цветок снова стал девочкой.

Мастер улыбнулся ей и, весело насвистывая, отправился стеклить окна.

Так они и жили — стекольщик и девочка.

По ночам девочка становилась цветком, а днём играла и ждала, когда придёт домой мастер.

Больше всяких игр малышка любила смотреть, как блестят на солнце куски стекла. Зачарованно смотрела она на сверкающее стекло, изумлённо хлопая длинными ресницами.

И эти стёкла, вставленные потом в окна, волшебно мерцали голубым светом.

Мерцали и сияли окна в домах.

Ребятишки были в восторге от этих стёкол. Перед сном все смотрели на них, а ночью тихонько открывали окна и улетали в небо.

Летали ребятишки и пели, озарённые луной.

Ведь и птицы потому щебечут и поют, что умеют летать и кружиться в небе.

Даже кое-кто из взрослых летал вместе с детьми. Однако многим это было не по душе, и они перебили все стёкла, мерцавшие голубым светом. И позвали других стекольщиков вставить простые стёкла.

Но мастера умели выручать друг друга. Они сговорились брать стёкла у стекольщика, приютившего голубоглазую девочку.

И снова засияли окна в Маленьком городе.

И снова заворчали взрослые — не все, конечно, уверяя, что спать не могут, когда дети летают и поют!

Нашлись даже такие жестокие, что пригрозили стрелять в детей, если они не перестанут летать.

Тогда стекольщик попросил голубоглазую девочку:

— Не играй, пожалуйста, больше со стеклом.

— Почему? — удивилась она.

Мастер рассказал ей всё.

Девочка опечалилась.

— Я очень люблю тебя, но не могу остаться в вашем городе. Я уйду. Ты смотри на небо, если оно синее — я жива, потому что синева неба от моих глаз. Может, я вернусь когда-нибудь к тебе, когда не будет людей, что не дают ребятам летать.

Сказала так и ушла.

Стекольщик ждал её, но девочка не вернулась.

Старик умолк. Глаза его влажно заблестели.

И тут я понял: старик рассказывал мне о себе.

Молчал больной старик, но из глаз его лились слёзы.

Потом он встал, оделся, подошёл к окошку.

— Иди, помоги мне, — позвал он меня.

Мы убрали с подоконника книги и…

И я увидел чудо!

Стёкла в окне излучали голубое сияние.

— Это единственное окно в городе, одно оно осталось такое.

Я стоял, заворожённый голубым мерцанием.

Голос старика вывел меня из оцепенения.

— Мне пора улетать. Прошу тебя, останься тут, живи в моём доме, дождись девочки с голубыми глазами.

Потом он открыл окно, раскинул руки и скрылся во тьме.

Поднялся ветер… Послышался звон разбитого стекла.

Разбилось последнее окно, мерцавшее голубым светом…

И я остался в комнате один.

Я и теперь живу в этой комнате.

Встаю на заре и гляжу на небо.

Небо голубое… И облегчённо вздыхаю: жива голубоглазая девочка. Она играет где-то и когда-нибудь обязательно постучится ко мне.

Но прошу вас, если доведётся увидеть на закате голубоглазую девочку, которая превратится вдруг в цветок, не поднимайте шума. Лучше посидите рядом до рассвета, чтобы в темноте кто-нибудь не наступил нечаянно на цветок.

Бахытжан Канапьянов

Словарь столетий

1.

«Из числа тюрок я—один из самых красноречивых и ясных в изложении, образованнейший, благороднейший по происхождению и самый ловкий в метании копья»,—скупо, но с чувством собственного достоинства говорит о себе великий представитель правящей династии Караханидов, талантливейший этнограф, языковед, географ, историк, ко всем этим определениям более всего подходит ёмкое слово—энциклопедист—Махмуд ибн аль-Хусайн ибн-Мухаммед аль-Кашгари. Правнук правителя Богра-хана (Бурахана) родился в первой четверти XI века, ориентировочно в 1029–1039 годах в местности Барскоон вблизи Иссык-Куля. Выходец из рода Барсаган династии Караханидов. Получил образование в Кашгаре и продолжил учёбу в Бухаре и Багдаде. Обладал научно-энциклопедическими знаниями по правоведению, арифметике, Корану, шариату и хадису, а также досконально изучил арабо-персидские языки, литературу и культуру. По мнению исследователей, именно в Багдаде Махмуду аль-Кашгари пришла идея создания великого труда своей жизни—«Диван Лугат ат-Турк» («Словарь тюркских языков и наречий»).

«Диван Лугат ат-Турк»,—утверждал в своё время известный тюрколог А. Н. Кононов,—является единственным источником информации о жизни тюрок XI века: о предметах их материальной культуры, реалиях быта, об этнонимах и топонимах, родоплеменном делении, о терминах родства, о титулах и наименовании различных должностных лиц, названиях пищи, пития, о домашних и диких животных и птицах, о терминах животноводства, о географической терминологии, о городах, названиях болезней и лекарств, анатомической терминологии, о металлах и минералах, о военной, спортивной, административной терминологии, об именах различных исторических и мифологических героев, о религиозной и этнической терминологии, о детских играх и забавах».

По одной из версий, «Диван Лугат ат-Турк» Махмудом аль-Кашгари создан на основе труда учёного из Багдада Абр ар-Рахман ал-Басри «Китаб ул-айни» (VIII в.). Копия, сотворённая в 1266 году, была найдена у продавца старых вещей в 1915 году. В данном труде, состоящем из трёх томов и восьми книг, научно систематизированы около семи тысяч тюркских слов. Махмуд аль-Кашгари впервые в истории тюркологии использовал историко-сравнительный метод, создал основы диалектологии, сохраняя особенности тюркских племён, при описании слов использовал 242 бейта и 267 пословиц и поговорок. В Словаре наряду со строками, воспевающими героизм тюркских народов, чувства влюблённых, явления природы, приведены и образцы суфийской поэзии, которым в дальнейшем следовал в своих поэтических и философских трактатах Ходжа Ахмет Яссави.

Интересна и древняя круглая карта, составленная автором Словаря, где указываются места расселения тюркских племён, других стран и народностей того периода. Центром данной уникальной тюркской карты являются Кашгар и Баласагун, что существенно помогло известному учёному-археологу У. Х. Шалекенову, спустя тридцать лет с начала ведения археологических раскопок, окончательно локализовать расположение города Баласагуна в местности Актобе Чуйского района Жамбылской области.

По некоторым данным, Махмуд аль-Кашгари являлся автором ещё одного научного труда «Китап-и-джавахир-аннахв фи Лугат ат-Турк» («Проценные качества синтаксиса тюркских языков»), однако, к нашему глубокому сожалению, эта книга не сохранилась.

По утверждению известного узбекского учёного Эргаша Агзамовича Умарова, тюрки за период с VII по XIX века создали значительное число письменных памятников. Они написаны на рунической, согдийской, брахми, уйгурской, арабской графике и хранятся в востоковедческих фондах Парижа, Лондона, Дели, Стамбула, Тегерана, Вены, Берлина, Санкт-Петербурга, Ташкента. Среди лингвистических трудов особо выделяется «Диван Лугат ат-Турк» Махмуда аль-Кашгари, единственный экземпляр которого хранится в Стамбуле в библиотеке Миллет Генель. Рукопись словаря состоит из 319 листов размером 239×169 мм. На каждой странице этого тюркско-арабского памятника 17 строк, написанных почерком насх. Особая ценность словаря состоит в том, что тюркские слова огласованы, то есть показаны орфография и орфоэпия слов. Судя по колофону, Махмуд аль-Кашгари завершил работу после четырёхразового редактирования в 446 году хиджры, что соответствует 1074 году. Текст сохранившейся рукописи был переписан с оригинала двумя столетиями позже—в 644 году хиджры, т. е. в 1266 году писцом Мухаммад ибн Аби Бакр ибн Аби-л-Фатх ас-Сави, позднее—ад-Димашки.

В предисловии «Дивана» учёный указывает, что труд его посвящён аббасидскому халифу ал-Муктади, высокому духовному авторитету, правившему в Багдаде в 1075–1094 гг.

При составлении словаря Махмуд аль-Кашгари, как установили Г. Бергштрессер и А. Б. Халидов, опирался на арабский словарь Абу Ибрахима

Искака ибн Ибрахима аль-Фараби «Диван ал-адаб фи байан Лугат ал-араб» («Словарь арабского языка в литературных цитатах»).

Таким образом, сейчас науке известен прототип «Дивана». Ценность словаря заключается в том, что Махмуд аль-Кашгари тысячу лет тому назад, как диалектолог, на коне объездил места, где проживали тюрки. В предисловии «Дивана» он пишет: «Я прошёл их города и степи, узнал их наречия и стихи: тюркский, туркмен-огузский, чигил, йагма и кыргызский. Наречия всех племён усвоены мной в совершенстве и изложены изящной чередой». Ввиду огромной ценности «Дивана» для тюркоязычных народов, населяющих широкие просторы Азии, он на протяжении двадцатого столетия издавался сначала на турецком, затем на узбекском, уйгурском, английском, казахском[1] и персидском языках. Теперь, благодаря труду Зифы-Алуа Ауэзовой, он впервые издан на русском языке в Алматы издательством «Дайк-Пресс» в объёме 1300 страниц.

II.

Зифа-Алуа Ауэзова впервые в истории востоковедения осуществила полный русский перевод с арабского оригинала тюркского лексикографического Словаря «Диван Лугат ат-Турк»[2], составленного в XI веке Махмудом аль-Кашгари.

Первые же отзывы крупнейших научных центров Евразии свидетельствуют, что данный фундаментальный и уникальный труд «обречён» на славное будущее, ибо «Словарь» во все времена был и остаётся объединяющим средством общения нашего бытия. И это тем более актуально и принципиально важно в эпоху Интернета и новых технологий, когда идёт «карикатурная» война представителей христианского и мусульманского миров, когда мы, земляне, переступаем порог глобализации нашей эпохи, во многом чреватой нивелированием наших чувств и этического восприятия нашего прекрасного и противоречивого бытия.

Уникальна сама судьба «Словаря» Махмуда аль-Кашгари. Ценнейший источник знаний общечеловеческого масштаба обретает славу далеко за пределами мусульманского мира. Гениальный труд Махмуда аль-Кашгари был сотворён в далёком XI веке и через рукописные свитки целое тысячелетие ждал своего часа, своего «мига сознания», своего «момента истины», когда в начале двадцатого столетия был впервые издан в Турции, затем были издания фрагментов на немецком (К. Брокельман), на турецком (Б. Аталай). На основе гениального труда Махмуда аль-Кашгари были созданы «Словарь среднетюркского языка» и «Древнетюркский словарь», «Этимологический словарь тюркского языка до XIII века» в СССР, Китае, Великобритании, Турции, Азербайджане, США. Обо всём этом, а также о многих других факторах создания «Словаря» и его последующей удивительной судьбе, возраст которой вбирает в себя целое тысячелетие, с научной глубиной знания исследуемого материала, ёмко и образно выражено и высказано в обширном предисловии учёного и автора перевода. Со всей убеждённостью отмечаю, что само это предисловие является своеобразным дастаном, эпосом и поэмой в прозе во славу великого труда Махмуда аль-Кашгари. «Кубом дымящейся совести» называл книгу Борис Пастернак. Со всей ответственностью это определение я отношу как к «Дивану Лугат ат-Турк» Махмуда аль-Кашгари в целом, так и к переводу данного словаря на один из пяти протокольных языков Организации Объединённых Наций—русский язык, который в силу сложившихся исторических обстоятельств является объединяющим средством для большинства тюркоязычных этносов.

Я горжусь, что именно в Казахстане, именно в Алма-Ате был сотворён и издан этот перевод «Дивана Лугат ат-Турк».

В настоящее время уделяется пристальное внимание и со стороны государства, и со стороны общественности глубокому изучению государственного языка—казахского, который во все времена был неотъемлемой и составной частью тюркоязычного мира. Убеждён, что в этом нравственном и глубоко национальном, всенародном начинании роль и значение данного перевода «Дивана Лугат ат-Турк» чрезвычайно существенное, если не определяющее. Через пословицы и поговорки, через фольклорные поэтические образы, которые в силу своей нетленности пережили и переживут не одну земную жизнь и не одно поколение, и которые, словно жемчуг или бисер, рассыпаны по всем бессмертным страницам «Словаря», именно эти страницы и образы неоценимо помогут нашим современникам поверить в будущее казахского языка, который во многом, благодаря этому изданию, станет не только языком наших отцов и наших предков, как это собственно и было до недавнего времени, но и полнокровным языком наших детей и внуков.

Благодаря полному переводу гениального труда Махмуда аль-Кашгари, осуществлённому большим учёным и патриотом тюркской и казахской культуры Зифой-Алуа Ауэзовой, русскоязычный мир познал и познаёт великое и непреходящее значение тюркских наречий, которые на равных, а во многих случаях и превосходят по образности и глубине суждений арабские и ирано-персидские словосочетания и словообразования. Это постигал и понимал во время создания своего труда Махмуд аль-Кашгари, это постигала и глубоко осознавала за время создания своего перевода «Словаря» Зифа-Алуа Ауэзова.

«Тюркские наречия идут наравне с арабским языком, подобно двум коням на скачках» (ДЛТ, стр. 5).

«Аллах Всевышний вознёс светило Удачи к созвездиям тюрок, царство их расположил среди

1. Известный казахский поэт и учёный Аскар Егеубаев в конце прошлого века перевёл «Диван Лугат ат-Турк» Махмуда аль-Кашгари на казахский язык, поэтически придав древнетюркским лексемам именно казахское звучание, тем самым эмоционально приблизил древний памятник к современному казахскому читателю.
2. Махмуд аль-Кашгари. Диван Лугат ат-Турк. Перевод и предисловие З-А. М. Ауэзовой. Индексы Р. Эрмерса. Алматы. Дайк-Пресс, 2005.

небесных сфер, назвал их ат-турк и наделил могуществом, сделал Правителями Века и вложил им в руки бразды правления миром, возвысил над [остальными] людьми, усилил тех, кто был им близок и предан, направив к истине» (ДЛТ, с. 2).

Мне довольно часто приходится бывать на южном берегу Иссык-Куля, вблизи Барскоона, где на расстоянии одного-двух горных перевалов, но уже в Китае, находится Кашгар, где родился создатель «Дивана Лугат ат-Турк» Махмуд Кашгари, а вблизи Кашгара есть селенье Опал, где он похоронен. Барскоон является родиной отца и предков Махмуда аль-Кашгари. По Барскоонскому ущелью не раз проходил со своим караваном в Кашгар мой предок Чокан Валиханов. Каждое лето, находясь в одном природном ландшафте, в котором творили и обитали знаковые фигуры тюркского этноса, я не раз задавал себе вопрос: «Почему, проживая подолгу в Кашгаре, красочно и образно описав его обитателей, будущий учёный и член Российского Географического общества Чокан Чингисович Валиханов ни словом не обмолвился о Махмуде аль-Кашгари?». Не было и свитка его «Словаря» среди книг, которые он привёз из Кашгара. И только в дневнике Чокан Валиханов вскользь упоминает о предке Махмуда аль-Кашгари Богра-хане. Воистину, всё в воле Аллаха, Милостивого, Милосердного, в Нём помощь!

Видимо, необходимо было Время-Космос, Время-Мир, Время-Судьба. Одним словом, заман-ажун, когда сквозь толщу времени, словно сквозь прозрачную толщу чаши Иссык-Куля, проступят и проступают страницы бессмертного свитка «Словаря» Махмуда аль-Кашгари. И как волны Иссык-Куля, которые порой выносят на берег нашего бытия останки затопленного города в образе амфор и глиняных чаш, так и волны времени выносят ключи к тайным глубинам «Словаря». Выносят не всем, но избранным. В данном случае, Зифе-Алуа Ауэзовой. Этой маленькой, но полновластной хозяйке великого Храма Тюркологии. То, что не успел свершить наш предок Чокан Валиханов, то, что не успели академики В. В. Бартольд и С. Е. Малов, то, что в силу исторических причин и диктата своего времени не довели до логического завершения А. Н. Кононов и И. В. Стеблова—выпала честь и высокая ответственность завершить нашей современнице Зифе-Алуа Ауэзовой. Выход перевода «Дивана Лугат ат-Турк» совпал с окончанием первого этапа Государственной программы «Культурное наследие». Необходимо отметить, что данный перевод был осуществлён и издан вне финансовых и временных рамок этого проекта. И тем самым превзошёл все мыслимые ожидания, ибо сам процесс творчества и сам процесс перевода только тогда являет собой существенный, а в данном случае, академический результат, когда он не отягощён календарными сроками, когда сам процесс происходит вне регламента и вне протокола.

Выпускница восточного факультета Ленинградского государственного университета, учёный-востоковед Зифа-Алуа Ауэзова чётко понимает и всесторонне пропагандирует дело всей своей жизни «Диван Лугат ат-Турк» Махмуда Кашгари. Мало того, она соизмеряет сей труд с реалиями современности, подчёркивая непреходящее значение данного «Словаря»: «Диван Лугат ат-Турк» свидетельствует о том, что в XI веке тюркский язык, распространившись по обширным географическим ареалам, являлся главным объединяющим фактором тюркского этноса, вобравшего в себя множество идейных и антропологических элементов человечества. Избрав для своего сочинения форму словаря, аль-Кашгари объединил многочисленных носителей тюркского языка своей эпохи в единую цивилизационную систему.

Заявленная высота соперничества языка тюрок с арабским и многогранная демонстрация богатства словесного наследия тюрок на фоне их исторического триумфа, когда тюркские военачальники были удостоены титула «Султанов Ислама», бесспорно свидетельствуют о том, что Махмуд аль-Кашгари предрекал тюркскому языку статус второго международного языка в мусульманском мире—языка, по значимости, богатству и выразительности соразмерного языку Корана.

В результате исторических событий X–XI веков обозримое пространство цивилизационного единства тюрок ассоциировалось с «землями Ислама», важнейшим культурным компонентом которых являлся язык арабов. Именно через арабский язык и арабский алгоритм языкознания сведения о языке и культуре тюрок могли наиболее благоприятным образом распространиться в обширном мусульманском социуме. Исходя из этого, Махмуд аль-Кашгари наполнил категории арабо-мусульманской науки содержанием тюркских наречий, создав прообраз фундаментального произведения тюрко-мусульманской культуры.

«Диван Лугат ат-Турк» расширил область познаний мусульманской науки XI века, впервые обогатив её энциклопедическими сведениями о языке и культуре тюрок. В XX веке этот гениальный труд обрёл славу далеко за пределами мусульманской цивилизации, явившись ценнейшим источником знаний общечеловеческого масштаба».

Как когда-то существовала школа великого Абая, так в настоящее время, на стыке веков, складывается и уже даёт свои творческие всходы и результаты Школа гения казахской словесности Мухтара Омархановича Ауэзова. Я, как поэт и издатель пятидесятитомного собрания сочинений М. О. Ауэзова, со всей ответственностью отношу и себя к этой школе. Фамилия Ауэзов в творческом, духовном и нравственно-эстетическом плане является нациообразующей фамилией. И тем выше ответственность, и тем более велика задача—найти свою тернистую тропу и свою высоту в мире науки и просвещения. Считаю и глубоко убеждён, что с этой задачей и с этой высотой Зифа-Алуа Ауэзова справилась блестяще, являясь творцом непреходящих ценностей, снискавших всестороннее признание в стране и за рубежом.

III.

Принято считать, что необходимость создания Словаря Махмуда аль-Кашгари вызвана в первую очередь тем, чтобы всесторонне ознакомить

представителей арабского мира, проповедующих на уровне государственного статуса Ислам, с образцами местных тюркских культурных, бытовых и социальных наречий, элементами фольклора, язычества, ритуалов и обычаев.

Но это, на мой взгляд, только внешняя, видимая сторона многовековой судьбы Словаря Махмуда аль-Кашгари. Словарь знакомил и роднил по тюркскому диалекту многих обитателей Восточного Туркестана, Центральной Азии, Ирана, Кавказа, Поволжья, Приуралья, жителей берегов Сырдарьи и Амударьи, Или и Иртыша, Крыма и Восточной Европы. Он стал своеобразной предтечей «Кодекса Куманикус», который был создан в XII веке в Крыму, а может быть, в Генуе или в Венеции.

По утверждению академика Марата Карибаевича Барманкулова, X–XII века — тюркский Ренессанс. Арабский халифат был свергнут. Их язык перестал быть обязательным, государственным. Возникли благоприятные условия для возвращения и развития тюркского литературного языка. Большинство литературных памятников вновь стало создаваться на общетюркском языке. На родном, тюркском языке, были созданы «Благодатное знание», «Подарок истины», «Словарь тюркских наречий». Караханидское государство стало центром развития тюркоязычной культуры.

Оно возникло в середине X века на территории Семиречья и части Восточного Туркестана — Кашгарии. Родоначальником династии Караханидов стал Сатука Богра-хан (915–955 годы). Постепенно территория Караханидов стала расширяться, вбирая в себя остальные районы Восточного Туркестана, долины рек Чу, Таласа, Сырдарьи, значительную часть Мавераннахра.

В Караханидское государство вошли канглы, карлуки, чигили, ягма. Столицей стал город Кашгар, затем Баласагун, позже Узген.

Вместе с Караханидским государством стала возникать в XI столетии на западе Кипчакская империя. Она охватила огузские земли в бассейне среднего и нижнего течения Сырдарьи, приаральские и прикаспийские степи, Хорезм. Уже в середине XI века Кипчакская империя простиралась от Иртыша до Волги и далее до Днепра и Дуная.

В Таразе возводятся величественные архитектурные сооружения тюрков. До сих пор сохранились Айша-Биби, мавзолей Бабаша-хатун, купола Аяккамыра и Алаша-хана, мавзолей Караханидов.

Среди тюркоязычных учёных выделяются Махмуд Кашгари, Юсуф Баласагуни, Ахмед Югнаки, Ахмет Яссави.

«В 1072–74 годах Махмуд аль-Кашгари составил «Словарь тюркских наречий». Это было глубоко научное издание. И в то же время нечто вроде учебника и альманаха. В труде представлены основные жанры тюркоязычного фольклора. В том числе о походе Александра Македонского в область тюрков-чигилей.

Будучи представителем караханидской знати, а может, и прямым представителем династии, Махмуд аль-Кашгари посетил почти все регионы проживания тюрков. В Багдаде у него созрел замысел труда, который бы объяснил всем менталитет тюркских народов, его обычаи, мировоззрение. Важно было собрать и обобщить обширный историко-культурный и лингвистический материал, показать особенности мировосприятия тюрков, впитавших в себя предшествующее многовековое наследие предков»[3].

Я бы добавил, что объяснить не только другим, но и себе самим, тюркам, о своём благородстве и величии.

Махмуд аль-Кашгари не только возвеличивает своих соплеменников, он обличает их пороки и недостатки.

И ныне не потерял актуальности его пассаж по поводу стяжательства и накопительства: «Вещи и имущество человека — его враги… Скопив богатство, считай, что это низвергся поток воды — словно волна, катит он своего обладателя вниз. Все мужи испортились из-за вещей. Увидев богатство, они кидаются на него, словно гриф на добычу… Они держат приобретённое, плача от скупости, они копят и копят золото. Из-за вещей, не памятуя о боге, сыновей своих и родственников они и в самом деле готовы задушить».

Читая и перечитывая страницы Словаря, словно бы погружаешься в невидимые, но осязаемые волны поэтической Вселенной, извлекая вместе с прибрежной пеной бытия крупицы «вещества поэзии» тюрков:

Красное с жёлтым, словно подруги,
Не разнять их вовек.
Зелёное с алым, держась друг за друга,
Твердят: «Так живи, человек!»

Как переводчик казахского фольклора, замечу, что в своё время, работая над переводом лироэпической поэмы «Кыз-Жибек», я не раз и не два обнаруживал эти поэтические словосочетания: «красное с жёлтым», «зелёное с алым», «белое с золотым». К примеру:

— Ткут белый с золотом узор,
И, как недотканный ковёр,
Так продолжается, Жибек,
Весь наш с тобою разговор.
— На узор узор взамен
Я сплетаю, Тулеген,
Мне рисунок подсказали
Родичи семи колен.

Если проецировать время сотворения казахским народом фольклора «Кыз-Жибек» (XVII век) на более раннее время создания Словаря Махмуда аль-Кашгари (XI век), то можно смело утверждать, что многие казахские пословицы, поговорки, прибаутки, поэтические фрагменты тюркского фольклора стали известны не только арабоязычному миру, но ещё задолго до времени рождения Словаря были близки и понятны многим разрозненным племенам единого тюркского эля.

Именно эти элементы крылатых слов и народной поэзии тюрков стали основой при создании в будущем героического эпоса и лироэпических

3. М. Барманкулов. «Хрустальная мечта тюрков о квадронации». Алматы. ОФ БИС, 1999.

фольклорных произведений—«Кобланды-батыр», «Камбар-батыр», «Ер-Таргын», «Алпамыс-батыр», а также стихов и баллад Казтугана, Доспамбета, Асан Кайгы. Об этом широко и подробно исследуется в книгах Мухтара Магауина «Кобыз и копьё», «Алдаспан», «Поэты Казахстана» и в книге Немата Келимбетова «Древние литературные памятники», где автор непосредственно ссылается на влияние Словаря Махмуда аль-Кашгари при возникновении фольклорных произведений.

На примере многовековой истории Восточного Туркестана можно также утверждать, что книгопечатание ксилографическим способом (и древнекитайское, и древнеиндийское, и древнетюркское) берёт своё начало в VII веке в Туркестане. «Находка тангутских ксилографов в Харо-Хото говорит о высоком уровне развития книгопечатания в XI–XII веках в государстве Западное Ся[4].

Начало книгопечатания в Тибете относят к X–XI векам. Несомненно, оно было заимствовано из Восточного Туркестана.

Итак, начало книгопечатания в Восточном Туркестане относят к середине VII века. Все остальные регионы: Тибет, Китай, Тангут, Монголия освоили ксилографическое книгопечатание на несколько веков позже.

Время появления древнетюркских ксилографических памятников относят к VII–VIII векам. Верхняя граница колеблется в пределах XI–XV веков.

Можно с полным правом утверждать, что Восточный Туркестан первым в мире освоил книгопечатание ксилографическим способом с середины VII века. Это были буддийские тексты. С того же времени начали появляться и первые ксилографические древнетюркские издания. Тюркское книгоиздание способом ксилографии продолжалось не менее девяти веков непрерывно.

Ксилографические тексты на тюркском языке зафиксированы как на руническом, так и на курсивном письме»[3].

Время создания Словаря (XI век), его многовековая судьба, вбирающая в себя почти тысячелетие, выводят на определённые исторические параллели—и во времени, и в пространстве, которое пусть в изменённом виде, но всё же присутствует названиями географических местностей на древней тюркской карте Махмуда аль-Кашгари.

Как известно из истории Караханидов, Махмуд аль-Кашгари лично сам четырежды редактировал «Диван Лугат ат-Турк», прежде чем подарить его высокому духовному авторитету, правившему в Багдаде в 1075–1095 годах, аббасидскому халифу аль-Муктади.

Спустя два века, в 1266 году, переписчик Мухаммад ибн Аби Бакр ибн Аби-л-Фатх ас-Сави сделал копию с оригинала, а позднее—ад-Димашки, только неизвестно—копию с копии, или также с оригинала.

Обычно о том, что была неоднократная редактура или была произведена копия, свидетельствуют колофоны-приписки к рукописи: кем и когда была совершена переписка копии с рукописи или же редактура. Но суть не в этом, наверняка были ещё копии, да и не одна. Ещё в середине первого

Махмуд ибн ал-Хусайн ибн Мухаммад ал-Кашгари

тысячелетия обитатели Восточного Туркестана имели тюркскую письменность «с непривычными для Китая поперечными строками и на непривычном для Китая материале—пергамине, выделанной коже». Позднее тюрки писали и на пальмовых листьях (индийское письмо), и на шёлке, а в канун создания Словаря в Восточном Туркестане уже вовсю практиковалась бумага.

Великий Шёлковый путь и в канун своего заката был транспортной артерией не только всевозможных товаров с Востока на Запад и наоборот. Этот путь, который веками пролегал через Баласагун и Кашгар, был и путём духовного взаимообмена. Местами сосредоточения местного люда и торговцев-караванщиков, разумеется, являлись караван-сараи, религиозные центры в облике мечетей, церквей, костёлов, синагог, буддийских храмов и монастырей, где сооружались ступы и святилища, а также, несомненно, многолюдные восточные базары и европейские рынки. Продавалось и обменивалось всё—от пряностей до рабынь и рабов, от шёлка и мануфактуры до печатных и рукописных книг и религиозных текстов.

«Тюрки основывали свои чисто светские своды правил, энциклопедии поведения на знании всей философии, науки, религии мира—от Аристотеля и Платона до Конфуция, Иисуса и Магомета. Но шли они от своих легенд и представлений, излагали их на тюркском языке и на тюркском алфавите, как руническом, так и курсивном.

Древнетюркский вклад в философию жизни каждого и в представления об общем государственном строительстве—это блестящий ряд сочинений, идущий от Орхоно-енисейских поэм

4. Восточный Туркестан.

VIII века, «Ырк битига» — «Книги сентенций» X века, от «Книги Коркута», вобравшей в себя легенды VII–XIII веков Ахмада Югнаки, энциклопедии «Словарь тюркских наречий» — «Диван Лугат ат-Турк» XI века Махмуда Кашгари, «Кодекса Куманикуса» XII–XIII веков.

Эти сочинения запечатлены как тюркским письмом — руническим и курсивным, так и письмом индийским, манихейским, китайским, арабским и латинским. В них нашли отражение светские представления прототюркских государств Элама и Хараппы, таких религиозных деятелей, как Заратуштра, Будда, Мани, Тенгри и Умай, Иисуса, Магомета, Яссави, античная философия Аристотеля и Платона, Конфуция, аль-Фараби, достижения персов и арабов, тема любви как всеобщего правила поведения Низами. И в то же время в них преобладали реалии тюркской жизни, их взгляды на жизнь и мироздание, основанные на добре, гуманности, деловой активности, росте благосостояния, возможности сосуществования разных противоположностей — хозяев и рабов, друзей и врагов, тюрков и не тюрков, зелёного и пурпурного, алого и жёлтого»[4].

И среди этой духовной пищи в корджунах каравана были и аналогичные Словари, столь необходимые в дни многомесячного путешествия по просторам обитания многочисленных тюркских племён.

Махмуд аль-Кашгари в «Диване Лугат ат-Турк» не только перечисляет состав тюркских племён, вошедших в Караханидское государство. Он, словно бы комментируя созданную им карту, сообщает: «Первое из племён около Византии — печенеги, кипчаки, огузы, йемеки, башгирты, басмилы, кей, йабаку, татары, кыргызы, а они около Сина. Все эти племена от пределов Византии простираются на Восток. Затем чигили, тухси, ягма, играки, джаруки, чумулы, уйгуры, тангуты, хитай, а это Син, тавгач, а это Масин. Эти племена расположены между югом и севером».

Кипчакская империя, вбирая многие из этих племён, расстилалась к северо-западу от Восточного Туркестана.

О том домонгольском периоде воистину родственно-братских отношений Степи и Поля, о смешанных браках достойных представителей тюрков и русичей не раз писали в своих трудах Лев Гумилёв и Олжас Сулейменов.

То, что было, мягко говоря, не понято, не принято и не признано советскими учёными-исследователями «Слова о полку Игореве», являлось для моего учителя Олжаса Омаровича Сулейменова естественным в силу незаурядного ума и большого таланта учёного и поэта.

Время создания «Дивана Лугат ат-Турк» Махмуда аль-Кашгари — было и временем событий и действий, запечатлённых в «Слове о полку Игореве». Это было временем заката Хазарского каганата и расцвета Кипчакской империи, временем проникновения на обширные просторы Степи и Поля христианства, мусульманства, иудаизма, буддизма.

Ещё было далеко до прихода Чингисхана, возникновения Золотой Орды, а затем Крымского, Казанского, Сибирского, Астраханского, Казахского ханств, а затем родной по языку и фольклору, родной нам, казахам, до последнего позвонка Орды Ногайской. Но уже в это уникальное время жили и действовали городища Чуфут-Кале и Мангуп, в которых обитали караимы и крымчаки, их всех вместе с половцами-куманами-кипчаками, печенегами, берендеями, торкинами, гагаузами, огузами, татарами, мангытами, канглами, уйсунями, уйгурами, жалаирами, адаями, черкешами, киятами, конратами, дулатами, мадьярами, шымырами, албанами, найманами, уаками и многими, многими другими родами и племенами Степи, Поля, Черноморского побережья, Северного и Южного, Каспия, Кавказа, Кашгара, Баласагуна, Туркестана, Алтая, Тарбагатая, Иртыша и Забайкалья, Западного и Северного Китая, Центральной Монголии объединял и зачастую сплачивал великий тюркский язык.

Естественно, что тюркизмы этой эпохи, видимые и невидимые, произрастали добрыми семенами во многих диалектах, а зачастую являлись и корнеобразующей основой.

«Слово» — уникальный памятник, в котором сохраняются многие тюркские лексемы в их самых первых значениях.

Невидимый тюркизм — одно из главных доказательств подлинной древности «Слова о полку Игореве», в основе языка которого лежит южнорусский диалект XII века»[5].

Олжас Сулейменов убеждён, что автор «Слова о полку Игореве» знал один из тюркских языков и разбирался в наречиях. Олжас Сулейменов утверждает, что автор «не стенографирует речи персонажей, но достаточно точно стилизует их: бусоврамне у него говорят на западно-кипчакском звонком диалекте. Гзак окает, как среднеазиатский тюрок: «ходын» вместо «хадын», «когань» вместо «каган».

Половецкая конфедерация племён не была моноязыкой, как, например, казахская после XVI–XVII веков. Языки половцев ещё не утратили племенной специфики, и поэтому мы вправе ожидать в тюркских элементах «Слова» диалектное разнообразие.

«Ордынский» язык XV–XVI веков был уже однообразнее. И даже если переписывавший текст «Слова» П-16[6] знал его обиходно, то не все авторские тюркизмы «Слова» были доступны его пониманию»[5].

То, что с присущей ему интонацией, въедливо и с сарказмом «впечатывал» в свой труд «Аз и Я» Олжас Сулейменов, то, о чём с чувством собственного достоинства доказывал «невегласам учёным», а именно присутствие на молекулярном уровне «видимых» и «невидимых» тюркизмов в «Слове о полку Игореве», необходимо признать, что эти самые тюркские слова и наречия посредством пословиц и поговорок, а также иных словосочетаний уже «работали» на академическом уровне в «Диване Лугат ат-Турк» Махмуда аль-Кашгари, присутствовали со времён событий, описываемых в «Слове», и ранее, а следовательно, смею утверждать,

5. О. Сулейменов. «Аз и Я». Алма-Ата, Жазушы, 1975. С. 59, 127
6. Переписчик XVI века.

что автор «Слова» не только знал один из тюркских диалектов, но и сам был носителем этого языка. Так же, как представители многих племён и народностей Поля и Степи, перечисленных мной выше, которые единой корневой системой тюркских наречий являлись своеобразными соавторами Словаря Махмуда аль-Кашгари, соавторами в силу того, что с самого рождения были носителями великого и неумирающего тюркского Слова.

Необходимо отметить, что известный казахский тюрколог Абжан Курышжанов, являясь автором многих научных трудов по Орхоно-енисейскому руническому письму, Старокипчакским литературным памятникам, а также «Кодексу Куманикусу», ещё в 1970 году опубликовал монографию «Исследование по лексике старокипчакского письменного памятника XIII века «Тюркско-арабского словаря».

А если проецировать от времени создания Словаря Махмуда аль-Кашгари в глубь веков, то луч поиска падёт на стелы VII–VIII веков орхонских надписей, освещая письменность «вечных камней», которая вбирает в себя именно тюркскую основу.

Судьба Словаря Махмуда аль-Кашгари менее драматична, чем многовековая история «Слова о полку Игореве». Ровесники по времени создания и действию, эти два великих памятника пришли к нам сквозь громаду лет не в оригинале, а в списках, и в том, и в другом случае присутствует базар—Астраханский и Стамбульский. О том, как один из списков «Слова о полку Игореве» вместе с целым возом старых бумаг и хлама увёз с Астраханского базара некий «таинственный казах», подробно описывает Олжас Сулейменов в книге «Аз и Я». А копия рукописи Словаря Махмуда аль-Кашгари, как пишет в своём предисловии З-А. М. Ауэзова, в начале XX века принадлежала человеку по имени Назиф Паша, проживавшему в Вани Огуллари в Турции, он передал её в дар своей родственнице как ценную вещь. Приблизительно в 1915–1917 годах копия рукописи была выставлена на продажу на книжном рынке Стамбула и приобретена известным библиофилом Али Эмири. Позднее (вместе со всей коллекцией Али Эмири) она попала в библиотеку Миллет Генель в Стамбуле, расположенную в районе Фитих. Здесь она и хранится по сей день.

Необходимо отметить, что многие древние рукописи и издания аналогичным путём приходят к своему бессмертию. Достаточно вспомнить великого караима Авраама Самуиловича Фирковича (1787–1874 гг.). Являясь носителем тюркского языка, как и его древний народ—караим, он специально неоднократно совершал поездки в XIX веке в города Ближнего Востока, Крыма и на Кавказ, приобретая (в основном на базарах) и записывая древнееврейские тексты и эпитафии. Последние годы жизни «Великий караим» Фиркович безвыездно жил в Чуфут-Кале, где и был похоронен в караимском некрополе на верховьях Иософатовой долины, а его коллекция, насчитывающая 15000 позиций древнееврейских, караимских, крымчакских, самаритянских, арабо-тюркских рукописей и фрагментов, хранится в Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге.

Даже этот краткий анализ показывает, что списки самого Словаря Махмуда аль-Кашгари, а также его аналогов во все последующие века верно служили познанию, культурно-политическому взаимообмену между народами и племенами Великого Турана, Арабского халифата, Кипчакской империи, а затем империи Чингисхана, государств Степи и Поля, стран Восточной Европы и Египта. Достаточно сказать, что династия мамлюков—Кутуза, Бейбарса, Калауна, ан Насира, господствовавшая в Мысыре (Египет) не один век, наряду с исторически родным тюркско-кипчакским языком вобрала в себя и государственный язык Корана—арабский. Великий путешественник Ибн Баттута в корджунах своего каравана вёз не только свои дневники и записи. Ему помогали совершать путешествия и словари, подобные «Дивану Лугат ат-Турк» Махмуда аль-Кашгари.

Трагедия Отрарской библиотеки XIII века спустя столетия горечью сопрягается с трагедией мировых культурных ценностей Багдада и Ирака века двадцать первого. И всё это ложится общей виной на наши плечи, ибо мы все равнодушно созерцаем телекартины этой несправедливой войны, созерцаем, несмотря на то, что наши великие предки, передавая своё сокровенное наследие, свои Словари между прошлым и грядущим, всегда свято верили звёздам будущего, на ландшафтах которого должны раскрыться все цвета и все оттенки «зелёного и пурпурного, алого и жёлтого, белого и золотого» мира бессмертного Словаря—«Дивана Лугат ат-Турк» Махмуда ибн аль-Хусайна ибн-Мухаммед аль-Кашгари.

Георгий Свиридов

Комсомольский батальон

1.

Ветер, словно лисица,
шныряет в раздетых кустах,
Где сугробы лежат,
Как подушки на свежей постели.
Я давно не бывал в этих хвойных местах,
Где мохнатые сосны да сизые ели.
Их зелёные кроны нагнули снега,
Что легли полушубком на хрупкие плечи.
Не осталось следов от войны, от врага,
Только бродит осколок в левом предплечье,
Только память о том,
что не день и не два
Согревал животом эти кочки болота…
Рядом девичий смех.
Рядом чьи-то слова.
Кто-то песню поёт.
Кто-то ищет кого-то…
Я на лыжи встаю.
Пусть сноровки той нет,
Но шаг всё уверенней с каждым метром
И кажется — разница прожитых лет
С меня снимается встречным ветром.
А я всё дальше и дальше бегу,
Словно в юность я вылазку делаю.
Сосны стоят по колени в снегу,
И каждая машет мне варежкой белою.
А за бронзой стволов,
далеко-далеко
В сизом мареве дня очертанья столицы.
Я смотрю на Москву, —
и на сердце легко…
Я смотрю на Москву —
и влажнеют ресницы…
Отчего?
Почему?
Я понять не могу.
Только дальше бегу.
По глубокому снегу бегу.
А память
меня возвращает назад.
Назад, в те года…
Не забыть никогда!

Я слышу
погибших друзей голоса…
Я вижу
погибших живые глаза…
Я руки им жму
как тогда, перед боем…
В сорок первом.
Зимою.

2.

Красная Пресня! Красная Пресня!
Рабочая гордость и слава отцов, —
Ты наша юность!
Ты наша песня!
Стало суровым твоё лицо.
Стали звучать по-иному названья,
В каждом — спрессованной силы заряд:
Улица Стачек,
Площадь Восстания,
Красногвардейская и Баррикад.

На заводе был митинг.
Знамёна в снегу.
Люди стоят, как в обоймах патроны.
«Мы продукцией бьём по врагу.
Новый заказ —
приказ Обороны!»
Ноги мёрзнут, а сердцу жарко.
Ноги мёрзнут, а мысль одна:
«Разве удержит тисками слесарка
Лучшего лыжника и бегуна,
Когда такое
рядом творится?»
Дыхание боя
Врывалось в столицу.
Я к комсоргу протиснулся ближе:
«Ленка, пойми же!»
«Хватит об этом…»
«Я там нужней!»
«Бежишь от работы?»
Поспорь-ка с ней!..
Ленка, Ленка, комсорг ты суровый,
Комсорг сероглазый, гроза слесарей.
Краснел я от взгляда,
смущался от слова,
Была ты опасной бритвы острей.
А всё же, — ты помнишь? — тебя обошёл,
И ты провожала нас в воскресенье —
На правый фланг,
На горячий шёлк
Мы, добровольцы,
держали равнение.
Шло народное ополчение.

3.

Наш батальон —
пятьсот комсомольцев,
Пятьсот добровольцев,
Пятьсот штыков.
Все — спортсмены!
Соперники страстные —

В забегах, заплывах, боксёрских боях,—
Встали дружно в минуту опасности
В одну шеренгу,
Под один флаг.
Металась позёмка белою лошадью.
Мороз под вечер стал яро злой.
Прямо с парада на Красной площади
Мы шли в неизвестность
    на первый бой.
Мы шли без маршей.
Мы шли без песни.
Молча печатал шаги батальон.
Нас провожала Красная Пресня
Тёплым взмахом красных знамён.

4.

Как всё изменилось!
Как выросли сосны!
Смиряя волненье, иду не спеша.
И кажется мне, что это не просто
Найти-отыскать здесь
    следы блиндажа.
Мне просека стелется далью сквозною,
И я всё бреду и бреду целиной…
И вдруг за корявою старой сосною
Я впадину вижу и столбик кривой…
Торча из -под снега щетиной зелёной,
Ёлочки-детки усеяли склон.
Мне стукнуло сердце—
    кп батальона!
И ветер шепнул:
    Узнаёшь? Это он!
Навек мне запомнился,
    Врезался в память
Простой, неказистый подземный шалаш.
И восемь ступенек.
    Раздвинув руками
Брезент плащ-палатки, входили в блиндаж.
Пусть дыбились взрывы поблизости где-то,
Качалась земля, и огарок мигал.
Вручал в блиндаже комиссар партбилеты,
Как будто в бессмертье
    путёвки давал!

5.

Развилка шоссе…
Я как будто во сне.
Мы приняли бой
    На этом вот месте!
Я вижу затянутый шрам на сосне
И, кажется, снова с друзьями мы вместе.
Промёрзлую землю отчаянно роем.
В воздухе злость.
Матерные слова…
Простые ребята, на вид не герои,
Но каждый им был,—
    за спиною—Москва!
Для вас они стали легендой и песней.
А для меня они
    парни с Пресни.

6.

Позёмка свивала снежные кольца.
Мороз пробирался под толщу одежд.
    Наш батальон,
Батальон комсомольцев,
Был переброшен
    на этот рубеж.
Встал командир перед строем отряда,
Рукою провёл по седым волосам:
«Здесь до утра
    продержаться нам надо.
Выстоять
    двадцать четыре часа!»
На белом снегу чернели бараки.
Развилка шоссе…
    И приказ есть приказ!
Пятнадцать раз шли фашисты в атаки
И были отброшены пятнадцать раз.
Ребята держались—
    все, как один!
По горло хлебнули кровавой науки.
А потом…
А потом этот танковый клин.
На каждого парня
    почти по штуке.
Осколки, шипя, остывали в снегу.
Железо пылало, как жгут бумагу.
Тогда не считали
    могу-не могу…
Надо!
И точка.
Назад ни шагу!

7.

Я стою у шоссе…
Я опять на своём рубеже.
И память
    отчаянный миг воскресила,
Когда в противотанковом ружье
У меня патрон перекосило.
А танк уже ворвался на пустырь,
Где я двоих таких
    уже раскокал,
И, подминая траками кусты,
Дохнул угаром жарким над окопом.
Остался миг…
Но именно в тот миг
И выскочил сержант без шапки и без каски…
Я видел вспышку.
Грохот.
Помню вскрик…
И танк затрясся в судорожной пляске.
И чёрный дым.
    Мотор ещё ревел,
Дрожали глухо броневые латы,
Как будто в землю он войти хотел,
Чтобы уйти, чтоб избежать расплаты.
В лицо пахнуло ветром огневым…
И тишина.
Фашисты откатили.
Сержант, сержант!
Он нам казался злым.
    Мы за глаза его всегда хулили.
    Придирчивый.
    Дотошный в мелочах.
    А он на танк, с бутылкой,
        как с гранатой!..
    Его мы выносили на плечах.
    Но всё же не успели к медсанбату…

8.

На Можайском шоссе тишина.
На Можайке укатана наледь.
Давно отсюда ушла война.
Фашистов давно прогнали.
Иду по ложбине.
Взбираюсь на скат.
Как был наш рубеж
для врага неприступным!..
Зелёные ёлки рядами стоят,
Где спят краснопресненцы
сном непробудным.
Бегут машины одна за другой.
А я всё слышу:
«Назад ни шагу!»
Здесь мы приняли первый бой.
Отсюда и начался
Путь к рейхстагу.

ДиН антология

Георгий Маслов

На часах

Имя Георгия Владимировича Маслова мало кому известно; оно и останется в тени, потому что Георгий Маслов умер в 1920 году на больничной койке в Красноярске, не достигши и 25 лет. <…> Я помню Маслова по пушкинскому семинарию Петербургского университета. Здесь он сразу и безмерно полюбил Пушкина и, хотя занимался по преимуществу изучением пушкинского стиха, но, казалось, и жил только Пушкиным… <…> Маслов жил почти реально в Петербурге 20-х годов XIX века. Он был провинциалом, но вне Петербурга он немыслим, он настоящий петербургский поэт…

Юрий Тынянов

Кн. Куракину

Носили воду в декапод
Под дикой пулемётной травлей.
Вы рассказали анекдот
О вашем предке и о Павле.

Не правда ль, странный разговор
В снегу, под пулемётным лаем?
Мы разошлись и не узнаем,
Живём ли оба до сих пор.

Но нас одна и та же связь
С минувшим вяжет.
А кто о нашей смерти, князь,
На родине расскажет?

Мы приехали после взрыва.
Опоздали лишь на день.
А то погибнуть могли бы.
Смерть усмехалась криво
Их безглазых оконных впадин.
И трупов замёрзших глыбы
Проносили неторопливо…
Но мы равнодушны к смерти,
Ежечасно её встречая,
Но я, проходя,— поверьте—
Думал только о чае.
Добрели мы до семафора,
Свободен путь, слава Богу.
Ну, значит,— скоро
Можно опять в дорогу.

Скорбно сложен ротик маленький.
Вы молчите, взгляд потупя.
Не идут к вам эти валенки,
И неловки вы в тулупе.

Да, теперь вы только беженка,
И вас путь измучил долгий,
А какой когда-то неженкой
Были вы на милой Волге!

Августовский вечер помните?
Кажется, он наш последний.
Мы болтали в вашей комнате,
Вышивала мать в соседней.

Даль была осенним золотом
И багрянцем зорь повита,
И чугунным тяжким молотом
Кто-то грохотал сердито.

Над притихнувшими долами
Лился ядер дождь кровавый,
И глухих пожаров полымя
Разрасталось над заставой.

Знали ль мы, что нам изгнание
Жизнь-изменница сулила,
Что печальное свидание
Ждёт нас в стороне немилой?

Вот мы снова между шпалами
Бродим те же и не те же.
Снег точёными кристаллами
Никнет на румянец свежий.

И опять венца багряного
Розы вянут за вокзалом.
Что ж, начать ли жизнь нам заново
Иль забыться сном усталым?

Сжат упрямо ротик маленький,
Вы молчите, взгляд потупя…
Не идут к вам эти валенки,
И неловки вы в тулупе.

Михаил Бондарев

На крыльце календарной зимы

Реактивный самолёт

Детства реактивный самолёт
Помахал крылом за облаками.
Юность пролетела, жизнь пройдёт
Яркими обрывками, рывками.

Детства самолёт, прощай, прощай,
Помню твои крылья золотые!
Старость тихоходная, встречай,
Вижу берега твои седые.

Старость—это вам не самолёт,
А скорей всего она—телега.
Проскрипит, раздрыга, натрясёт
В душу пепла серого и снега.

Впереди—сугробы, серый лёд,
Вьюги одиночества, бураны.
И когда телегу разобьёт,
Сверху не посыплются тюльпаны.

Дождь пойдёт, а может, тот же снег,
Разольётся солнечное море.
Миллиарды сломано телег
На бескрайнем жизненном просторе.

Детства реактивный самолёт
Помахал крылом за облаками.
Юность пролетела, жизнь пройдёт,
Хорошо хоть—складными стихами.

На крыльце календарной зимы

Я родился, когда выпал снег
На крыльце календарной зимы,
Как волшебный серебряный мех
Сбросил Бог на родные холмы.

За сто двадцать минут до зимы
Я пришёл в остывающий мир,
Что нам сушит, морозит умы,
Как солдатам плохой командир.

Я люблю, я люблю первый снег,
Этот облачный, сказочный пух,
Первой вьюги пронзительный смех,
Что не любит весенний мой друг.

Я люблю красноносый мороз,
Что приходит в клубничный закат
После молний безумных и гроз,
Когда кончатся дождь или град.

Я родился, когда выпал снег,
Я пришёл в остывающий мир,
Когда злой, обжигающий смех
Сыпал в души холодный факир.

Каменный дьявол

В детских грёзах давно я отплавал,
Похоронен последний кумир.
Меня мучает каменный дьявол,
Железобетонный вампир.

И духовный я чувствую голод
У подножья оживших церквей.
Меня мучает бешеный город,
Для него я—лесной муравей.

И дрожит, и ревёт мегаполис,
И плодит электронных чертей.
Он заткнул нас за каменный пояс—
И хозяев своих, и гостей.

Я зажат, я истерзан до боли,
До предсмертного хрипа в груди.
И душа рвётся в лес или в поле
От асфальта на время уйти.

Но и в поле, в лесу нет покоя,
Демон каменный тянет назад:
То по-дьявольски ветер завоет,
То по-дьявольски звёзды горят.

Только слышу я: кто мы и где мы?
Ничего невозможно понять.
Супротив меня выставил демон
Всю свою миллиардную рать.

Хочу на край света

Уехать бы мне на край света,
Туда, где цветные луга,
Туда, где беспечное лето
И девственных рек берега.

Уехать от телеэкранов
И жёлтых газетных полос,
От злых беспросветных туманов
Куда-нибудь на Барбадос.

Была бы под боком ракета,
Запрыгнул в неё бы и—в путь.
Уехать хочу на край света,
Чтоб там от людей отдохнуть.

Уехать бы мне на край света,
Но где отыскать этот край,
Где счастье и вечное лето,
Где жизнь так похожа на рай?

На край бы земли мне уехать,
Но, жаль, нет краёв у земли.
И мне остаётся потеха—
Рифмованные корабли.

Ледник

На сердце льдина, в душах — ледники.
Мы все живём в период ледниковый,
Как лошади, застыли у реки,
И на ногах — пудовые подковы.

Ног не поднять и плеч не развернуть,
Не перепрыгнуть на цветущий берег.
И вместо крови в наших жилах — ртуть,
Не слышно стона, плача и истерик.

Окаменел наш дикий эскадрон,
На нас идут кочующие орды,
И стаи обезумевших ворон
На конские садятся спины, морды.

Мы — монумент, уже не скакуны
И не наездники, а каменные глыбы.
Мы не мечтаем и не видим сны,
Ослепли мы, глухи, немы, как рыбы.

В серебряной крупе ночная высь,
По звёздам боги водят хороводы.
Дана команда нам: не шевелись,
И мы стоим, стоим, как истуканы.

Не слышно барабанов и трубы,
И онемел язык у полководца.
Что толку, что мы встали на дыбы —
Нет сил сопротивляться и бороться.

И снова мы застигнуты врасплох,
Нам никогда не покорить стихию.
И сыплет, сыплет ледяной горох
На бедную замёрзшую Россию.

На сердце лёд, душа — под толщей льда.
Переживаем натиск ледниковый.
Но что же ожидает нас, когда
Страна войдёт в период парниковый?!

Душа моя стремилась к свету

Прослыл я с детства несерьёзным,
Гвоздём царапал на столе:
Душа моя стремится к звёздам,
А сердце тянется к земле.

Меня считали недотёпой,
Когда бросал с карандаша:
Россию ставлю над Европой
И не прогнусь под США.

Возил коряво школьным мелом
В подъезде дома на стене:
Зачем быть честным и умелым
Не прижилось в родной стране?

Я шёл всегда дорогой к лету
И низко кланялся зиме.
Душа моя стремилась к свету,
А сердце маялось во тьме.

Пускай сегодня мне приснится,
Что жизнь я прожил не зазря.
Душа моя стремилась к птицам,
А сердце — в синие моря.

Взлетай над горой

Время несётся студёной водой
Порожистой горной реки.
Я помню: стоял на горе молодой
И думал, что все — дураки.

Помню, смотрел я на всё свысока
И думал, что я — выше всех.
Летела душа моя за облака
На звёздный, искристый снег.

Я покачнулся и в бурный поток
Камнем упал с горы.
Захохотали тогда восток,
Заоблачные миры.

Бросало меня то на самое дно,
То к солнцу несла волна.
В грозной стихии я понял одно —
Это моя страна.

Кто-то плевался: страна — дыра,
Здесь ты — серая мышь.
А я не согласен, она — гора,
С неё ты летишь, летишь…

Мне барабанят, что жизнь — игра,
Что есть кто-то выше небес.
Но высится над землёю гора —
Трагедий гора и чудес.

Жизнь показала — я не герой,
Но и не серая мышь.
Звёзды кричат: взлетай над горой
И лети, пока не сгоришь!

Серебристый иней

Серебристый иней
Дрогнул на ветвях,
На ресницах длинных,
На твоих бровях.

Капля дождевая,
Горькая слеза.
Жизни наши, знаю,
Вместе не связать.

Не связать, не спутать
В узел, не сплести.
Выстрадать под утро
Суждено мне стих.

Выстрадать, наплакать
Ручкой на листке.
Знает пусть бумага
О моей тоске,

О любви, о долге,
Обо всём таком,
Как не очень долго
Был с тобой знаком.

Серебристый иней
Тает на ветвях,
На ресницах длинных,
Тоненьких бровях.

Виктор Балдоржиев

Русский мир бурят-монгола

Серёга

Сегодня мне ночью приснился Серёга,
При жизни он не был таким никогда:
В хорошем костюме, ухоженный, строгий,
И, вроде, от прошлого нет и следа…

Он был моим верным и преданным другом,
Который меня понимал до конца
В жестокое время! И каюсь—с испугом,
Бывало, смотрел на меня, подлеца.

(Как жить и творить в суете Вавилона,
Под небом России, на вьюжных ветрах?
Имеющий дом, не имеющий дома
На разных всегда говорят языках)…

Безумный скиталец, бродяга несчастный
Он жить не умел, а другие смогли,
Оставив ему все подвалы, ненастья,
Холодное небо родимой земли.

Бездомный, запойный, братишка мой русский,
И в пьяном бреду сохраняющий мысль
Далёкой культуры славян и этрусков,
Без всякой обиды смотревший на жизнь.

Ведь в каждом из нас—станционный смотритель,
И каждый—в шинели своей немоты.
Но он ещё—слушатель и посетитель
И собутыльник богемной Читы…

Продрогший насквозь и промокший до нитки,
Он шёл до меня и о чём-то мечтал.
И знал: обязательно выручит Витька,
Ведь Витька Серёгу всегда выручал.

О, как наши судьбы страшны и похожи:
И вот на холодном, промозглом, ветру
Зазвал его в дом свой случайный прохожий.
Он выпил с ним ночью, а помер к утру…

Мы долго искали, сличали, просили—
Пока не нашли бугорки и тот ряд,
То дикое кладбище дикой Россия,
Где дети её—без имён и без дат.

Родились не вовремя, не было силы
Убить в себе совесть и чувство вины:
Ведь жизнь—не борьба, и нельзя до могилы
Бороться со всем населеньем страны.

А звёзды—высоко, Серёга—глубоко,
На каждом из нас—роковая печать!
Я плачу, проснувшись, в ночи одиноко.
И не с кем беседовать. Не с кем молчать…

Родство

Конечно, помнит кровь моя всегда,
Что я рождён веками поколений,
Но как же было тесно ей, когда
Я замирал в минуты озарений:

И в этот миг средь множества людей
Я ощущал великое сиротство!
Была Земля мне матерью моей,
Я в Небе обретал тогда отцовство…

И люди отмечали странный взгляд,
Пугающую тайной отрешённость.
И был я перед всеми виноват
За некую свою незавершённость.

Замерцают звёзды, заалеют,
Звёзды эти умерли давно.
На траве в бокале багровеет
Терпкое тягучее вино.

Вспоминаю ночью, между прочим:
Гумилёв убит был наповал.
Он писал когда-то о рабочем,
Что ночами пули отливал:

«Пуля, им отлитая, просвищет
Над седою вспененной Двиной,
Пуля, им отлитая, отыщет
Грудь мою, она пришла за мной».

Сколько же рабочим тем убито!
Будет ли трудам его конец?
Жизнь идёт, хоть столько пуль отлито!
Но ещё не кончился свинец…

Обороты фабрик и заводов,
Тьмы и тьмы рабочих у станков,
Это всё для бомб и пулемётов,
Это всё для пуль и для штыков!

Мои братья, добрые поэты,
Никогда не кликали беду,
И на этом добром белом свете
Добывали хлеб, а не руду!

И, плеснув вина на травы, ночью
Стану я поэтов поминать!
И, конечно, в эту ночь рабочий
Продолжает пули отливать.

Прощание с белым конём

Лишь ветры поманят, и сумрак блеснёт озарённый
Таинственным бликом далёких тревожных огней,
Спешу на тот зов, хоть буду убит там, рождённый
Завьюженной ночью в год вольных и мудрых коней.

Спешу на тот зов, где меня забивали камнями,
Где больно бывало за глупую гордость людей,
Где тенью незримой мой конь проскакал над полями,
Над прахом веками осмеянных, вздорных, идей…

Всё ближе огни. И вспомню в степи опустелой—
Аркан просвистевший, мелькнувшую звонко узду!
Как страшно и жутко заржал жеребёнок мой белый,
Шарахнулся дико, впервые почуяв беду…

Мерцали рассветы в дождях и дорожных тревогах,
И громче, и чаще во мгле полыхала пальба!
И в тысячах юртах дымились котлы на треногах,
И в избах станичных пекли аржаные хлеба…

И конь мой мужал, и во мраке был белой звездою,
А всё остальное всегда оставалось враньём,
Остались в пыли укротитель с удавкой-уздою,
Возможные всадники с жалким, ненужным, седлом!

На меринах сивых свирепые люди скакали,
Стреляли в таких же несчастных, неверных, людей!
И в заревах дымных пожарищ бесследно сгорали
Станицы, улусы и особи лучших лихих лошадей…

Растеряны выживших морды… Они изумлённо
Глядят, как пронёсся неистовый белый скакун,
Земля от жестокой опять содрогнулась погони,
Но бег свой замедлил усталый и потный табун!

Вот также уйти бы! Ведь насмерть забьют тут камнями,
И снова мне только не мёртвых, живых будет жаль!
А белый мой конь обгоняет судьбу. И над нами—
Бессмертный и вольный летит в бесконечную даль…

«Счастлив, кто падает!» Падал я, падал.
Да и сейчас я, звеня,
Падаю в бездну, возможно, так надо,
Бездна глядит на меня!

И пробиваю свободно я своды
Вверх или вниз головой!
Чёрт бы побрал эту бездну свободы,
Где долгожданный покой?

Кто эти типы? И как они сами
В бездну смогли не упасть?
Смирно стоят и вращают глазами.
Ждут, когда сменится власть?

Бедные, бедные, в бездне нет смерти!
Что-то случилось со мной:
Тверди не будет—и не было тверди,
Крылья растут за спиной!

Падайте в бездну, отбросьте усилья,
Силы боится дурак…
Падайте долго—и вырастут крылья.
Ангел рождается так!

Ах, как поёт в ночи монголка,
И серебром звенит мотив,
И дивный голос дивно тонкий,
За переливом—перелив!

Мелькают в этих переливах,
То затихая, то звеня:
И блеск луны, и ветер в гривах,
И бег строптивого коня.

И дивный голос дивно звонок,
До дрожи душу бередит…
То, плача, белый верблюжонок,
Осиротев, в степи стоит.

То воды вольного Онона,
То Керулена берега.
И мчится всадник окрылённо,
И низко стелется урга.

То смех заливистый монголок,
То степь ковыльная звенит!
И я—жемчужины осколок—
На миг с жемчужиною слит…

Муравей

Земля в цветах! Дышу неровно,
Лежу, устав за много дней.
У самых рук таскает брёвна
Собрат проворный—муравей!

И я встаю! И продолжаю
Упорно строить крепкий быт,
И все знакомства забываю,
Поскольку сам давно забыт.

Проклявший ложь—и одинокий,
Я с каждым мигом всё сильней.
Душа поёт!.. Простор широкий,
Земля, цветы и—муравей…

Душа любуется руками,
Душа поёт и день, и ночь!
А муравей ползёт упрямо
И мне пытается помочь.

Утомлённый невзгодами, зоной,
Позабывший, где враг, а где брат,
После бани смотрел отрешённо
Старый зэк на осенний закат.

Тишиной оглушённый и волей
В непонятном, нерусском, краю
Он забыл все обиды и боли
И какую-то думу свою.

Только степь разливалась широко,
Только в алой закатной пыли
Плыли волнами вольно, далеко,
Золотые насквозь ковыли…

Мастерю вечерами рессорную бричку,
Голубыми цветами раскрашу дугу.
Приготовлю рюкзак, соль в дорогу и спички.
Лошадь щиплет траву на зелёном лугу…

Скоро выедем в степь! Не спеша, бездорожьем,
Мимо старых дорог и зеркальных озёр.
Как я мог до сих пор жить отравленный ложью,
Где я был до сих пор, с кем я жил до сих пор?

О, как лживо живём! Потому и стареем…
И не видим парящих орлов в синеве,
Серебристую чайку над пенным Тореем,
Золотую лисицу в зелёной траве,

Наши синие горы, туманные дали,
И неспешный и плавный полёт журавля…
Пусть в огромной степи растворятся печали.
Небо, лошадь и бричка. Родная земля.

Распрощаться с лгунами, расстаться с рабами!
Как в душе эту мысль я всю жизнь берегу!
Раствориться в степи!.. Мастерю вечерами…
Лошадь щиплет траву на зелёном лугу.

Скоро выедем в степь, не спеша, бездорожьем,
Не оставив в пути ни примет, ни следа.
Если спросишь меня: «Разве это возможно?»
Я отвечу тебе: «Это можно всегда!..»

О чём же мы пели? Клинки и шинели…
За что мы убиты на буйном скаку?
Маньчжурские сопки… Шимозы, шрапнели…
И я—в поредевшем казачьем полку.

Зачем мы воскресли? А взгляд мой раскосый,
А конь мой храпит… За углом—впереди—
Старушечьи лица и девичьи косы,
И срезанный крик: «Не убий… Пощади!»

Морозно и людно! За что же нам злиться?
Со злобой такой—хоть живи, не живи!
Быть может, на алом снегу белолицая—
Прабабка моей несчастливой любви?

То белый, то красный—какое значенье,
Когда не смолкает в ушах: «Пощади!»
А я ведь люблю всех, люблю от рожденья!
А сердце всё плачет и плачет в груди…

Дрожа, просыпаюсь я снова и снова,
И стылый рассвет голубеет в окне.
Холодный рассудок с горячей любовью,
Столкнувшись, бушуют бессильно во мне.

Я вижу дорог похоронные ленты,
Я слышу мольбу: «Не убий… Пощади!»
Звенит мой клинок о гранит постаментов,
А сердце всё плачет и плачет в груди…

«Я знаю то, что ничего не знаю!»
Спасибо всем, кто не сумел солгать,
Спасибо всем, кого не понимаю,
Всем, кто меня не может понимать!

Пусть кто-то, смутно мучаясь о чуде,
Сопоставляет разность величин.
А чудо—Жизнь! И для мучений, люди,
Нет абсолютно никаких причин…

Какие бы причины ни открыли—
Всё будет только следствием всегда!
Спасибо, Жизнь, за мысли и за крылья,
За всё, что не узнаю никогда.

Незнакомка

На вокзале, в зале ожиданий,
В суете измученного дня,
Женщина с усталыми глазами
Ласково окликнула меня.

Профиль незнакомый, взгляд призывный,
Вся ко мне навстречу подалась.
Губы слишком яркой георгиной,
В трещинках помада запеклась.

В памяти моей никто не ожил,
В памяти лишь искры от костра.
Взгляд её всю ночь меня тревожил,
И болело сердце до утра…

Просьба погибшего воина

(По мотивам старинных монгольских песен)

—Мой нукер!
Когда возвратишься домой,
Зайди в нашу юрту, поведай
О том, что мой меч зарастает травой,
Что я не вернулся с победой…

Скажи, что в бою горемычный убит,
Что тело гниёт на чужбине,
Колчан мой блестящий, синея, лежит,
Украсив леса и равнины…

Скажи, что несчастный друзей не предал
И небо не проклял укором,
Что шлем мой железный чернеет у скал,
Покрытый осенним узором.

Скажи, что застыли, мертвея, глаза
И были слезами омыты,
Что чёрная длинная, плетью, коса
С травою теперь перевита!

Поведай отцу, что я был ещё жив
И после пятнадцатой раны!
А матери бедной потом расскажи
Про земли, народы и страны…

В горнице светло. И светит снова
Мне звезда ночная вдалеке.
Где-то лодка Коленьки Рубцова
На ночной качается реке…

Никогда я слушать не устану,
Как звезда с звездою говорит,
Как душа плывёт по океану—
Ничему не хочет научить!

Как люблю я слушать тайны ночи!
Никакой в тех тайнах нет беды!
Пусть никто, никто ночами молча
Не несёт мне в горницу воды…

Тишина! Прохлада! Тусклой медью
Вдруг блеснёт у берега река.
Никакой не надо мне победы!
Ни над кем! Дорога далека…

Век Рубцова! Вечность Мандельштама!
Светел и печален звёздный дым.
Крепко сплю! Душа моя упрямо
Всё плывёт по далям мировым…

Я смутно слышу конский топот
И вижу контуры коней.
Какая ночь! Ковыльный шёпот
Над степью сладостной моей.

И всё овеяно дремотой,
И серебром блестит луна,
И грива с тонкой позолотой
Над близким озером видна!

Но дикий, пьяный, хамский хохот
Внезапно слух мой оскорбит,
И глохнет сразу конский топот,
И кувырком луна летит…

И станет сердцу больно-больно!
Степь, оскорблённая, не спит.
И долго-долго недовольно
Ковыль, встревоженный, шумит…

Я спал в степи и был природой
Как сын, как сын её, любим,
Как грива с тонкой позолотой
Над близким озером моим!

ДиН стихи

Константин Миллер

Осенний круговорот меня в природе

На верёвка-ветках сплошь остатки лета,
А на небе плюмбум, поперёк и вдоль.
Ветер рвёт калитку в поисках ответа
И звучит повсюду ветра си-бемоль.

Я смотрю на небо—что-то будет с нами?—
Там на небе, в тучах тот, кто всем Отец.
В голове у лета—все кресты крестами,
А на лбу у лета—пламенный венец.

Подоконник полон чешуи с берёзы,
Запотели окна холодом ночей.
Здесь вчера был Пушкин, пил, роняя слёзы,
Вот и капли воска от его свечей.

Я смотрю на небо, листья съели время,
Листья съели лето, съели нас с тобой.
Мы уходим в осень, превращаясь в семя,
В то, откуда вера и земной покой.

Как бы мне хотелось, чтобы так случилось,
Чтобы ветер с моря долетел до нас…
Из-за леса красным что-то к тучам взвилось:
То ли «воздух-воздух», то ли русский «спас».

Я смотрю на небо бестолковым взглядом,
Вижу средь тумана лица и дома.
Ты мне вновь приснилась, ты летала рядом…
Я влюбился в осень и сошёл с ума.

Ты рыдала птицей восемь суток кряду,
Проклиная ветер, что принёс грозу,
Отвела к гадалке, та дала мне яду,
А потом сварила в бронзовом тазу.

После варки этой стал я липкой глиной,
Новогодним студнем с хрено-чесноком.
Бабушка-гадалка съела половину,
Остальное спрятав в подпол, на потом.

Ты цвела нежнейшим розовым бутоном,
Я—навеки скован студня мерзлотой.
Больше я не буду бить тебе поклоны,
Не упьюсь берёзой, насмерть золотой.

Но беда подкралась (так всегда бывает,
Я уж, право слово, утомился ждать—
Ветер в трубах воет, и собака лает,
Все приметы схожи), появился тать.

Ратники лихие все пожгли до пепла
И огонь вселенский растопил меня,
Я впитался в почву (страх, какое пекло!),
И познал, как пахнет Мать-Сыра-Земля.

Через год, родившись сорною травою,
Я увидел небо, осень и тебя.
Небо было синим, ты была седою,
Осень—светло-рыжей… Краски сентября.

Иван Нечипорук

Предчувствие

Я устал от ярма, что надел на себя случайно,
И назвавшись грибом, лезу в кузов, душой огрубев.
Я так часто пытаюсь перечить своей судьбе,
Запивая прогорклость поступков неласковым чаем.

И опять в круговерти безумных извечных сует
Непосильные ноши, как хищник голодный хватаю…
А потом, в покаянье, ищу тривиальный ответ,
Обретая который, опять в безрассудность врастаю.

Прощание со Змеиной горою

За Змеиной горой оборвалась земля
И в обрыве, внизу, блещет тело речное,
И скользит изумлённо-восторженный взгляд,
Наблюдая, как тает светило свечою.

И не хочется помнить, что было вчера,
И не хочется думать, что завтра случится.
Лишь желанье—пусть следующие вечера,
Будут так же подобны таинственной птице,

Что, как Феникс сгорает в закатных огнях,
Наполняя июль безупречной красою…
Мир!
Запомни безумным
и дерзким меня,
Возносящимся
над Змеиной горою!

Закрытый храм

Стоит забытый сиротливо храм,
И заколочены безжизненные окна.
А рядом клёны тихо, беззаботно
Склоняют кроны к старым куполам.
На колокольне пусто и темно,
Все звоны сняты, только лёгкий ветер,
Что как ребёнок беззаботно светел,
Порой стучит в забитое окно.

А в ста шагах огромнейший собор,
Величественно к небесам взмывая,
Своею тенью площадь накрывает,
Искрясь в лучах.
Взирающий в упор
Архистратиг, не в силах заступиться
За малый храм—уже предрешена
Его судьба. И лёгкой светлой птицей
Над ним кружит последняя весна.

В краю соснового блаженства
Я надышаться не могу
И упиваюсь совершенством
Холмов на дальнем берегу.

Жара шкварчит прогорклым маслом
На сером противне небес.
Закатные огни угасли
И в озеро сползает лес.

И вечер, словно оглашенный,
Из храма ускользает прочь…
А я—лелею предвкушенье
Прохлады, что приносит ночь.

Слишком поздно

Покой на небесах ищу,
Но нет покоя в небе звёздном.
И грянул гром, и я крещусь,
Но слишком поздно,
Слишком поздно.

На сердце, ощущая лёд,
Свои зализывая раны,
Я радовался: «Всё пройдет…»
Но слишком рано,
Слишком рано.

И у потушенной свечи
Мне стало страшно и тревожно.
Искал спасения в ночи…
Но слишком поздно,
Слишком поздно.

Начав свой новый день за здравие,
Я к вечеру свой миф разрушу,
Пустые приступы тщеславия
Смываются контрастным душем.

И дней шальные многоточия
Мне дарят новые ответы.
Растратив все запасы прочности,
Душа моя взывает к Свету.

Опять, блуждая от отчаянья,
Шепчу свои обиды ветру…
А мне до Храма расстояние—
Всего-то пара сотен метров.

Безмолвие

Опять я полон боли и отчаянья,
Всё чаще в душу заползает страх:
Печатью чёрной на моих устах—
Молчание.

Почти на грани самовозгорания,
Над пропастью безумия стою…
Тебе бессонницею жертву воздаю,
Молчание.

Вонзает полночь в небо стрелы-молнии,
И ливнем барабанит в окна грусть…
О Господи, я, как греха, боюсь
Безмолвия!

Родной язык

Я люблю украинскую речь,
Но её не считаю родною,
Этот факт не даёт мне покоя—
Он завис,
как Дамоклов меч.

Я был вскормлен другим языком:
Я тепло южнорусских наречий
С материнским впитал молоком.
Русской речью был очеловечен!

Мой славянский род—равновелик,
Не объять его мерою узкой…
Я люблю украинский язык!
Но родным я считаю—
русский!!!

Журавли

В поднебесье журавли, взмывая,
Острым клином режут облака,
Гонит их осенняя тоска,
И они надолго улетают.

Журавлиный клин всё выше, выше,
Пряный луг гнездовья сух и сед.
И опять земля им машет вслед
Обнажёнными руками вишен.

Будут вновь дожди своею пряжей
Умывать лицо седой земли…
Журавли с собою унесли
Год один из молодости нашей.

Предчувствие

Однажды я проснулся на рассвете
От острого предчувствия беды.
Бесился за окном безумный ветер,
Терзая опустевшие сады.

Растерянно метался дождь по крыше,
А за моим заплаканным окном
Стонала перепуганная вишня,
Как будто бы войти просилась в дом.

И так мне было страшно и тревожно,
Хотелось взвыть в объятьях темноты,
Хотелось убежать… Но невозможно
Бежать от приближения беды.

Марии Судиловской

И снова вижу эти сны я:
К Днепру спешащий юркий Сож,
Мстиславльские края лесные,
И золотая в поле рожь.

Бреду сквозь травы-бездорожье,
Прислушиваясь к тишине.
О, белорусское Присожье,
Ты снова юность даришь мне!

А за рекой горит Россия,
В багряно-розовых огнях…
Я просыпаюсь от бессилья:
Нет больше тех, кто ждал меня.

За окном осенним
Холодно и ломко.
Осень носит тени
В порванной котомке.

Города удушье
Растворится ночью,
Снег, придя, разрушит
Мир ноябрьский в клочья.

В небесах продрогших
Звёзд кружится стая,
Осень дни им крошит,
В бытие врастая.

Сергей Есин

Страницы дневника[1]

2009 г.

21 марта, суббота

<…> Где-то в четверг позвонил Саша Колесников, он в этом году в балетном жюри театрального конкурса «Золотая маска» — не пойду ли я с ним в Большой на «Сильфиду». Другой возможности попасть в Большой при современных ценах у меня нет: конечно, пойду. Тем более, знаю, что места будут самые лучшие. Правда, и Витя сегодня учится.

Кроме «Сильфиды» в программе оказался ещё и одноактный балет «Учитель» по либретто Ионеско. Москва, с её «передовыми» тенденциями провинциалов, становится основным центром абсурдизма, как ей сегодня и положено. Впрочем, спектакль в принципе мне понравился. Не запомнилась музыка, но само действие, сложенное из игры трёх актёров, стоит перед глазами. Сюжет прост: пианистка, учитель и ученица. Сюжет для балета традиционен: балетный урок. Неожиданно: учитель душит ученицу, а за занавесом его уже ожидает следующая. Здесь Ильза Лиепа, Николай Цискаридзе и Нина Капцова. Но разве человечество усваивает хоть какие-либо уроки? В этом и состоит прогресс общественной мысли. Лучше всего в этом небольшом балете работает Лиепа, что-то инфернальное в её походке, в каждом её движении. Но и Цискаридзе, обычно держащий лишь внешнюю форму, здесь лучше, чем обычно. Эта роль даёт очень много возможностей, которые артистом всё же до конца не реализованы. Как, интересно, делает это танцующий в очередь с Цискаридзе Сергей Филин?

«Сильфида», старый, несколько раз виденный балет, хореографию которого подправил и как-то усовершенствовал датский балетмейстер и танцовщик Йохан Коббор Коборг, меня очаровала. Никто по отдельности, но, как всегда прекрасен и даже величественен был кордебалет, чист по рисунку Вячеслав Лопатин, танцевавший Джеймса, но не Нуриев, мила Наталья Осипова. Но у Осиповой было несколько больших жете — и я вспомнил пробежку Улановой через всю сцену в «Ромео».

Когда шёл от метро, то обратил внимание, что, видимо, в связи с кризисом, почти целиком приостановлена работа над реставрацией Большого театра. Он должен был открыться сначала в восьмом году, потом в девятом, потом в десятом, теперь срок отодвинут до тринадцатого. Все думают, что это только здание, но это больше — это культура. Можно себе представить гибель тех в опере и балете, которых никуда за рубеж не позовут, и расползание тех, кто будет зван, молекулярное расползание русского балета по миру.

22 марта, воскресенье

<…> Вечером по телевизору отечественные звёзды шоу-бизнеса жаловались на свою сложную жизнь во время кризиса. Правда, оказалось, что у одной звезды ресторанчик, у другой ателье по подбору нянь и горничных, а у третей — химическая чистка. Но вот, как я уже писал, даже звёздам первой величины ассоциация теле- и кинопродюсеров рекомендовала платить только по 82 тысячи рублей за съёмочный день, и знаменитый и обаятельнейший Пореченков уже считает такие крохи в оплате для себя оскорбительными.

В Первоуральске несколько молодых людей погибли на дискотеке. Перед её открытием администрация объявила, что первые полчаса будут впускать бесплатно. Цена — 150 рублей. Здесь и страсть к халяве, и редкая жестокость. Несколько девочек в начале этого «благотворительного» пуска упало, остальные прошли по ним — «я танцевать хочу!»

23 марта, понедельник

<…> Уже дома взглянул на сегодняшний номер «РГ». Разговоры о кризисе, призывы приобретать другую специальность, обещание государства в лице её первых лиц выполнить все социальные обязательства, призыв к ректорам переводить платных студентов на бюджет. Вот этого государевы люди и боятся больше всего — как бы студенты не вышли на улицу. Все мои мысли по этому поводу накладываются на чудовищные факты, которые приводит в своей книге Дэвид Хоффман, а это просто сага о разграблении общего государства и хищном возникновении богатств. В связи с этим, основная, конечно, проблема — это деньги, так как все они фактически розданы по государевым людям, т. е. по чиновникам и олигархам. Власти вдруг стали обращать внимание и на то, на что раньше милостиво закрывали глаза. Последняя полоса газеты занята подборкой материалов о том, что зарубежные звёзды, зарабатывая на русской нерасчётливой щедрости во время корпоративных и домашних вечеринок огромные деньги, не платят в нашей стране с этих гонораров никаких налогов. Приводятся довольно жёсткие порядки, принятые в Англии. Ах, ах, мы об этом раньше не знали!

<…> И ещё литературная новость, взятая опять из газеты: «В Центре Мейерхольда в Москве прошла презентация новой литературной премии». Премия называется Нос (новая словесность). От места к участникам и гостям: президентом премии стал господин Николай Сванидзе — «известный критик и телеведущий». Победитель получит 700

1. Начало публикации: «ДиН» № 2, 2011.

тысяч рублей. На фотографиях, кроме Сванидзе, ещё и Евгений Миронов и Михаил Швыдкой. Первым лауреатом этой премии никогда не станет писатель гоголевской реалистической школы.

В институте меня ждал ещё и автореферат на соискание степени кандидата филологических наук. У нас, конечно, бывали случаи, когда аспирантом становилась студентка, мать которой заведовала кафедрой, куда аспирант и был прикреплён, но здесь первый случай комплексного и полного династического сращивания семьи и науки. Алексей Юрьевич Минералов выполнил работу на кафедре, которой заведует его отец Юрий Иванович Минералов. Руководителем нового учёного становится доктор наук, работающий в качестве почасовика на кафедре у отца. По совместительству руководитель является также проректором по науке. Защищаться этот аспирант будет в учёном совете, членами которого будут и научный руководитель, и отец, и мать.

25 марта, среда

<…> сегодня, кроме защиты дипломных работ, ещё и вручение премий имени Горького. Этой церемонии почему-то все придают особое значение — с одной стороны имя Горького, чуть ли не ставшего в перестройку фигурой «нон грата», с другой — всё это будет проходить в Центре русского языка, которым руководит Л. А. Путина. Священный трепет власти.

<…> На Воздвиженку, где должно было проходить вручение, ехали в машине вместе с БНТ[2] и болгарином Анчевым. БНТ как-то тесно и нерасторжимо сжился с болгарами. На вручении присутствовал Бисер Киров, как всегда, в своей знаменитой кожаной шляпе. Потом, уже во время вручения, он пел «Алёшу» на слова К. Ваншенкина, который получил премию по разделу «поэзия».

<…> То, что в Центре русского языка на каждом шагу стояло по молодому человеку с гвардейской выправкой, — это понятно. Людмила Александровна Путина принадлежит к категории лиц, охраняемых государством. В силу особого статуса помещение было соответствующее: мрамор, дорогие лифты, миноискатели и индикаторы на металл, потом — замечательный фуршет. Людмила Путина обаятельная женщина. Это мягкий, самостоятельный, как бы растворяющийся в собеседнике женский тип. Меня с ней познакомили, сразу установился лёгкий тон, вспомнили про Барбару Кархофф. Я также вспомнил, что писал о Л. А. в своём романе «Марбург». Роман у меня был в сумке, когда вместе с Л. А. мы вручали премию критику Курбатову, я его ей и подарил. Первый раз в жизни занялся беззастенчивым пиаром. Но очень уж был большой соблазн. В небольшом зале сидел Миша Попов, тоже член жюри. Мне передали, что недавно на городской комиссии Миша что-то не очень доброе сказал о «Твербуле». Сидел и автор «Хурамобада», с которым я недавно был в Ашхабаде.

Теперь полный список лауреатов: В. Орлов за «Камергерский переулок», К. Ваншенкин — поэзия, В. Курбатов — фундаментальная критика, все получили премию по 60 тысяч рублей. Получила премию также Алиса Ганиева — текущая критика. На мгновенье залетевший Н. С. Михалков, который был «почётным председателем жюри», его подпись на дипломах, сказал: «По нынешним временам деньги не большие, но и не малые».

Мне, как председателю жюри, пришлось говорить сразу после Михалкова. Я оперся на его общие рассуждения о читающей стране, о молодой литературе и подобное, что вспомнить не могу. После своей краткой речи Н. С. нагнулся к Л. А. Путиной, поцеловал её, и я расслышал, как сказал: «Передай привет». Сидящие во втором ряду лауреаты расслышали эту реплику более подробно: «Привет Володе».

Я говорил, что жюри с удовольствием бы премировало более молодой состав, но что поделаешь, здесь своеобразный конкурс, и качество письма старшего поколения в основных номинациях оказалось выше. Говорил о мире иллюзий, который для нас порою ценнее, чем жизнь. Сказал также, что так уж повелось, что меня никогда не зовут поруководить конкурсом, чтобы дать мне какое-нибудь задание от группы или тусовки. Моя задача всегда одна: провести конкурс по законам и критериям искусства.

Вёл всю церемонию мой, ещё по Гатчине знакомый, Александр Гордон. До начала церемонии немножко с ним поговорили. <…>

27 марта, пятница

Утром от радиостанции «Эхо Москвы» всегда получишь какую-нибудь радость: Пётр Авен, президент Альфа-банка, объявил, что к концу года большинство мелких банков разорятся и исчезнут.

<…> Как всегда, по дороге в метро читал. Буквально потрясли два материала в «РГ». Первый — это интервью с дочерью Мстислава Ростроповича Ольгой. Попутно, читая многие материалы об этом, очевидно, действительно великом музыканте, я постепенно меняю о нём своё мнение. Мне всегда казалось, что в его поведении последних лет очень велика была любовь к власти, как составляющая всего его характера. Но, возможно, это власть, так за последнее время опростившаяся, любила этого музыканта. Но к сути. Сначала лишь милый эпизод, некий золушкин сюжетик. Это о том, как, празднуя по воле королевы свой юбилей в Букингемском дворце, Ростропович пригласил на этот торжественный приём обычного печника, давнего своего знакомого и любимца семьи. Печника с женой привезли из России, предварительно сшив для него фрак, а жене бальное платье. Но вот другой факт, посильнее, и он прямо относится к моему собственному восприятию действительности, по крайней мере, художественной.

РГ. А какое самое серьёзное разочарование он пережил в жизни?

Ростропович. Это было даже не разочарование, а шок. Настал момент, когда он узнал, кто его

2. Борис Николаевич Тарасов, ректор Литературного института им. А. М. Горького.

предал. Папе показали документы, хранившиеся в соответственных архивах. И оказалось, что некоторые люди, которых он считал друзьями, доверял им, принимал их в своём доме, находясь уже в изгнании, предали его, «стучали», писали на него доносы.

Насколько такое мелкое, да и крупное предательство, русская черта, характер русского интеллигента всегда с подлинкой.

Прочитав это, я невольно вспомнил позавчерашнюю сцену на вручении премии, когда вдруг услышал, проходя мимо, как Лёва вдруг рассказывает писателю Варламову то, что я довольно неосмотрительно поведал ему о неком третьем лице. Вчера, уходя с учёного совета, я сказал Лёве о своём негодовании по этому поводу. «Но ты же не сказал мне, что об этом не следует говорить» — «Это было очевидно, зачем сплетничать…»

Второй материал в «РГ» — это огромная статья «Спикер под следствием». Главой тувинского парламента заинтересовалась прокуратура». Безобразия — вполне традиционные для власти, зато, в силу того, что маленькая республика, — творятся с особым провинциальным размахом. Взятки, присвоение госсобственности, кумовство. Назывались и покровители, но местные, и я всё время, по закону справедливости, ожидал, что, наконец-то, скажут хоть полсловечка и о других, московских. В первую очередь я имел в виду «даму в тюрбане». Фамилия пока названа не была, но о «поддержке московских покровителей» было всё же сообщено.

28 марта, суббота

Сегодня в шесть часов уезжаю в Ленинград и Гатчину на фестиваль. <…> В поезде встретился с частью своего жюри — Лёва, Женя — и впервые встретился с Тамарой Сёминой, которая выглядит совсем не такой несчастной, как в телерекламе. Крупная, с выразительным лицом и очень неглупая в разговорах женщина. Разговаривали, как всегда, о литературе и кино. За время четырёхчасовой дороги прочёл ещё одну главу из книги Дэвида Хоффмана. Это о выборах 96-го года. Боже мой, как грязна власть и какой потерей внутреннего мира она даётся. Объективно сочувственные портреты, которые Хоффман даёт Гайдару, Чубайсу и нашим олигархам, из которых он особо выделяет Березовского, Смоленского и Гусинского — ужасны. Читая эту книгу, я поражаюсь: даже имея такое документальное свидетельство, как книга Хоффмана, никто не хочет взглянуть на прошлое, чтобы его осудить. Если бы нашему, ещё рассуждающему простому народу, стала известна хотя бы часть, он бы из чувства справедливости разнёс нынешний ареопаг. Такого уровня предательства и коварства не видели и средние века. Всё это ещё усугублялось телевидением, которое придавало правительственному вранью вселенские масштабы. Цитаты опускаю.

29 марта, воскресенье

После завтрака поехал в Гатчинский парк, где Серёжа Павлов устроил в честь фестиваля субботник. Наверное, это и станет на этот раз самым серьёзным моим воспоминанием о фестивале. Организовано общество — «Любители Гатчинского парка». Два раза в месяц члены общества — это в основном старушки, женщины в возрасте и с детьми, пожилые мужчины — сражаются с подлеском, собирают посуду, пилят и жгут отжившие деревья. Собственно, сами парковые штатные рабочие успевают убрать только территории вокруг Дворца, а парк огромный. Серёжа рассказал, что он регулярно совершает поборы с местных владельцев: то купить пилу, то скинулись на трактор, то надо починить мостик в парке, и здесь уже наваливаются всем капиталистическим миром. В конце субботника кто-нибудь из бизнесменов привозит чай и пирожки. На всю эту работу я посмотрел, поговорил с женщинами. Они жалуются на коммерциализацию фестиваля, всегда здесь билеты на открытие распределялись, а нынче все билеты продаются. Билет на открытие стоит от 200 до 600 рублей. Пофотографировались у большого костра. Деревья нельзя вывозить, большинство из засохших и павших деревьев с жучком.

Новые порядки чувствуются и в ресторане: раньше жюри кормили отдельно, но как и всех. Теперь жюри кормят намного лучше, — на второе все заказывают себе порционное. Но мне это не нравится, отдельно от прессы, отдельно от актёров. Я помню, как в молодости такое техническое неравенство нас, молодых журналистов, работавших на конференциях, раздражало и унижало.

Распорядок дня открытия немного изменился. Теперь нет перерыва между пресс-конференцией и самим открытием. Пришлось и на пресс-конференцию ехать уже одетым к открытию, а я знаю, что журналистов такая пестрота раздражает. Я в дорогом, пошитом Славой Зайцевым, костюме.

Всё прошло благополучно, мне, правда, пришлось сначала рявкнуть и всех усадить по местам, потом всё покатилось. Очень хорошо, кстати, встречают Тамару Сёмину, она была в синем брючном костюме, молода и привлекательна. Образ пенсионерки, которой только что вставили зубы, и она радуется, что, благодаря особой пасте, которая приклеивает протез к десне, может теперь есть яблоко — лишь только актёрский созданный образ. На самом деле Сёмина — ещё молодая, красивая женщина и уверенная в себе кинозвезда. Я охарактеризовал жюри, о каждом сказав несколько слов, даже об отсутствующем Звягинцеве. Дескать, после триумфа за границей все с надеждой ожидали следующего провала, ан нет, и на следующем фестивале тоже триумф, актёр из его нового фильма получил премию за лучшую мужскую роль.

И на этот раз, как и на тринадцатом фестивале, открытие прошло вполне благополучно. Вела уже в пятнадцатый раз неувядаемая Люся Шавель, и ей на этот раз ассистировал Андрей Майоров, ведущий передачи, которая мне так нравится, — кажется, «исторические подробности». Когда я выступал, у нас с ним возник даже крошечный смешной диалог. Приехал губернатор Валерий Павлович Сердюков, были Богуш, мой старый знакомый,

занимающийся в области культурой, и местное дружное трио: Станислав Богданов—глава района, Александр Худилайнен—глава администрации района, и Александр Романович Калугин, глава, собственно, Гатчины, с которым я переписывался. Сейчас вроде бы мир, трио, как и губернатор, побывали на сцене, дружно выступили, мне Калугин подарил настольные часы, красивые до умопомрачения, вернее, очень сильно накрученные и позолоченные. Невероятной овацией зал встретил Генриетту Карповну, что-то ей тоже подарили, она на сцене плакала и, как всегда, страсть на зал подействовала самым сильным образом.

Сразу же после церемонии открытия, без перерыва, начали картину «С чёрного хода»—фильм открытия. Я думал, что губернатор, воспользовавшись темнотой, быстро уйдёт, но, видимо, его с первых же сцен фильм захватил, и начальник, как и я, остался. Фильм по повести М. Рощина, я бы сказал, типичный школьный роман. Ученик девятого класса влюбился в учительницу. Время 49-ый, до смерти Сталина, соответствующая атмосфера в школе. Замечательный молодой актёр Сергей Кузнецов (IV, видимо, столько уже в кинематографе Кузнецовых), играющий главного героя, директор, завуч, все первоначально выглядят гадами, ан нет, не всё так просто. Трагическое и печальное время, показанное, пожалуй, без перегибов.

Потом, естественно, приём в соседнем казино-ресторане.

30 марта, понедельник

После вчерашнего открытия спал до девяти часов. Слава Богу, за пять минут собрался, а автобус пять минут подождал. Кормили запеканкой, я выпил кофе с молоком. За столом сидел с Вадимом Бибирганом, знаменитым ленинградским композитором, говорили, естественно, о съезде кинематографистов. Вчера о предстоящем съезде губернатор говорил с Витей Матизеном. Сегодня новые подробности. Ленинградский съезд, по вопросу ехать или не ехать, раскололся на две части: 60, подтвердить полномочия предыдущего, хуциевского съезда, т.е. не ехать, а 120 человек—ехать. На вокзале будут два специальных, чуть ли не зафрахтованных за средства самого Ник. Серг. Михалкова вагона, в которых всех и повезут. Время трудное, всем хочется, как говорится, «на халяву» съездить в столицу, пообщаться с друзьями, объявить, что ещё не умерли. Я помню, как В.С. ходила на такой же съезд, и её волновало, в основном, только чувство востребованности. Говорили также о вчерашнем фильме режиссёра Станислава Митина. Оказывается, по словам режиссёра, повесть Рощина оканчивалась менее романтично. Герой вместе с матерью едет за картошкой в деревню, там его соблазняет какая-то деревенская баба, и интерес к учительнице просто сходит на нет. Вадим также рассказывал о том, как, когда Панфилов принёс сценарий своего фильма Солженицыну, тот нашёл, что всё несколько легковато и решил всё исправить, вот так получился сериал, который Панфилов всё же называет многочастевым фильмом. Теперь, оказывается, он сделал новый фильм, который сильно отличается от уже нами виденного сериала—«другой фильм». Премьера нового фильма состоялась в Лондоне.

После завтрака пошёл пешком и на деревянном доме, соседствующем через тяжёлый каменный брандмауэр с нашей гостиницей, увидел объявление, призывающее жильцов внимательно следить за обстановкой и пытаться предотвращать поджоги. О поджогах деревянных домов в Гатчине, их здесь много, я уже слышал: бизнесмены ищут застроечные места для вложения своих капиталов.

Четыре фильма конкурсного показа.

«Обречённые на войну» по повести Василя Быкова «Пойти и не вернуться», которая в дни нашей юности, стала событием в жизни. Режиссёр здесь Ольга Жулина, когда-то актриса, потом окончившая высшие курсы режиссёров и сценаристов. Здесь опять, как и в фильме Станислава Митина, два очень сильных молодых актёра: Нина Лощилина и Юрий Колокольников, полное нежелание работать с бытом и вещами эпохи. Кое-что и психологически недокручено, в частности, перемена в настроении героя, смотрел всё со вниманием, думал о том, что человек совершенно перестаёт быть человеком, если в душе его не живёт совесть и Бог. Что-то много я сегодня думал о том, что Бог живёт в душе каждого из нас. Но ведь иногда он её покидает, кто его вытесняет?

«Этим вечером ангелы плакали»—дебютный фильм, якобы, по рассказам Всеволода Гаршина. Ни рассказов писателя, ни содержания я там особенно не углядел, чуждая для меня стерильная эстетика, всё будто бы из стекла, в том числе и люди, невероятное количество условностей. Звуковой ряд—будто бы тебе в метро воткнули в уши наушники от чужого плейера. Мне не очень понятно, как этот фильм в конкурс попал. Единственное объяснение—факультет тв Университета Натальи Нестеровой. С подобными «прорывами» выпускников этого университета я столкнулся и в других областях искусства.

Ещё раз, но уже на большом экране смотрел «Морфий», сделанный по рассказам Булгакова Алексеем Балабановым. Здесь, как я уже писал раньше, невероятно с моей точки зрения изображена революционная эпоха и тот, раскачиваемый революцией, быт. Кстати, неплохо, оказывается, было поставлено медицинское в то время дело и неплохо учили. Прекрасная актёрская работа Леонида Бичевина. Ещё до этого просмотра в Москве по телефону Витя Матизен говорил мне, что есть к фильму и претензии, и тут при сосредоточенном просмотре на большом экране я их понял—это, конечно, образ фельдшера, «крещёного еврея», которого герой в конце фильма убивает. Боюсь, что это самодеятельность режиссёра, «не согласованная» с автором рассказов. Фельдшер оказался распространителем наркотиков. Фильм опять произвёл на меня впечатление.

Последним фильмом дня, который мы уже смотрели после обеда, был первый художественный фильм Гали Евтушенко, сделанный по старой повести Льва Рошаля, которая Бог знает когда, ещё

в 90-х, печаталась в «Дружбе народа». Это, так сказать, истоки переворота 91-го года и некий ловкий молодой человек еврейской внешности, который оказался героем. Не без влияния «Имитатора», но и не без классической документалистики — «лебединое озеро», «трясущиеся руки Янаева». Вот это-то всё значительно сильнее, нежели художественная вязь. Герой, у которого жена, любовница, дочка без малейшей духовной рефлексии и без малейшего признака существования души.

Ради этого фильма, видимо, волей наших двух дам, Татьяны Агафоновой и Лили Володиной-Рудинштейн, были сняты с показа «Юнкера» Черницкого. Если говорить об обмене литератур, то это выглядит так: Куприна сменяли на Льва Рошаля, племянника знаменитого шахматного композитора, написавшего среди жизни повесть.

Вот так потихонечку и рождается еврейский вопрос. Впрочем, Галя Евтушенко — это, если это касается лично её, великая сила.

В Москве идёт большая кинематографическая сходка. Уже прошло голосование: оппозиция получила меньше 200 голосов, а Михалков остальные тысячи. Кажется, съезд по предложению Леонова-Гладышева голосовал за Михалкова и закончил свою работу на один день раньше. Какой организатор, какой актёр! Какая фамилия!

31 марта, вторник

<…> После завтрака приблизительно час сидел с Дневником — сидел, это, как правило, «сидел» с компьютером лёжа. В это время показывали документальные фильмы, которые на этот раз не моя епархия. А потом вспомнил, что после двенадцати пойдёт «Дом», схватился и побежал в «Победу».

Документальный фильм «Дома» — это сравнительно небольшой фильм, кульминацию которого составляет оглушительное письмо Фадеева правительству. Письмо звучит в самом конце, а перед этим в медлительных и подробных кадрах — Переделкино, станция, электричка и какие-то гастарбайтеры, варящие суп, красящие, хлопающие двери и окна. Потом то ли дикторским текстом, то ли титрами сказано, что дом, в котором писалось это письмо и в котором застрелился Фадеев, был снесён с лица земли, видимо, освободили землю для следующего строительства или захвата. Тут невольно вспомнил Литфонд.

Потом пошёл ещё один документальный фильм «Легенды и были дяди Гиляя». Фильм, оказывается, заказной, но замечательный по решению. Масса совершенно мною ранее не виденных фотографий старой Москвы, а уж я зритель внимательный, и неожиданного решения — куски из прозы Гиляровского читает Алексей Петренко. Я подобного приёма не люблю, но здесь произошло просто божественное соединение. Уже в финальных титрах обнаружил не только фамилию постановщика — Андрей Судиловский, имя для меня неизвестное, но и Татьяну Земскову — редактор. Тут, пожалуй, много прояснилось. Одновременно пожалел, что в этом году так неразумно нас разделили с документальным кино: раньше отдельное жюри было только у дебюта, ворохом которого нас заваливал ВГИК.

Художественная программа началась с огромного фильма «Улетающий Монахов», сделанного по как бы роману Андрея Битова. Андрей Георгиевич здесь в Гатчине, во время открытия он просил познакомить меня с главой города Алекс. Ром. Калугиным — видимо, что-то с землёй или дачей, или выполняет просьбы каких-то своих знакомых. Это дебют режиссёра Александра Дзюбло, который, сужу по каталогу, сначала был инженером, потом что-то временное закончил, а потом кому-то помогал. Киносочинение началось с того, как спускают с дома портрет Сталина. Судя по фильму, Битов — переоценённый писатель, нет характеров и судьбы. Здесь опять знакомый сюжет: мальчик любит девушку старше себя, и всё это по жизни, и везде крах. Фильм трудно построить из обрывков эссе и хорошего стиля прозы, всё мелко. После фильма настроение у жюри мрачное, все настроены иронично. Скрасил настроение только обед и ожидание следующего фильма. Это был Александр Прошкин с фильмом по повести Распутина «Живи и помни». Прошкина я помню ещё с фильма «Холодное лето пятьдесят третьего года», хотя ещё раньше я дрался за его «Ломоносова» на фестивале в Минске.

Основа фильма — это, конечно, литература, и здесь это видно, как никогда. Но и режиссёр с актёрами выстроили свой неповторимый и запоминающийся мир. Здесь всё, пожалуй, кроме финала, где есть свои толкования и, в частности, толкования самой прозы. Но здесь надо вспомнить название повести, и всё станет на место. Здесь живой Гуськов, несущий лодочный мотор от реки вверх по лестнице. Но сохранилось ли там, наверху, и это село, и этот, такой притягательный, мир. Все актёры выше всех похвал, и исполнители центральных ролей Дарья Мороз и Михаил Евлампиев, и исполнители второго плана — Анна Михалкова и Сергей Маковецкий. Вот тут, наконец-то, что-то замаячило для главного приза.

Всего самого страшного ожидал от кино «психологического триллера по мотивам книги первого премьер-министра Украины Александра Турчинова «Иллюзия страха». Какое-то кино, может быть, и получилось, но с таким провинциальным нагромождением страхов, что диву даёшься. В этом смысле, украинское кино, в своей массе, ещё долго будет провинциальным. Но идея, будто страх, сопутствующий богатству, может целиком сожрать человека, в самой книге, как в первооснове, есть. Эта мысль мне показалась плодотворной.

Закончилось всё уже в десять часов. Заставлять жюри постольку смотреть в один день непродуктивно. Восприятие притупляется, но чего не сделаешь, чтобы прибыль от искусства, превратившегося в коммерцию, стала больше.

1 апреля, среда

В самом конце дня день смеха ознаменуется показом комедии Владимира Аленикова «Улыбка Бога». <…> Всё против моей внутренней эстетики, но нравится — бесхитростно и почти народно.

Даже Роман Карцев с его плотоядным еврейским юмором и Джигарханян, который, как всегда, обещал прибыть на премьеру, но не приехал, не вызывают отторжения. Джигарханян, не стесняясь, распоряжается, как материалом, своей старостью. Пружина сюжета—одесские катакомбы, как некая машина времени.

Под вечер вчера мы в жюри составили список фильмов, которые будут участвовать в нашем дальнейшем отборе. «Улыбка Бога» и «Живи и помни», «Обречённые на войну», «Морфий» и «Пленный», по давнему прекрасному рассказу В.Маканина, который мы видели сегодня.

Впрочем, день сегодня начался с фильма «Гоголь. Портрет загадочного гения». Это некое иллюстрированное и озвученное актёрами, играющими персонажей, биографическое полотно. Особенно интересно это было смотреть на фоне идущего вечерами по телевидению огромного фильма Леонида Парфёнова. В фильме интересен и нов эпизод с иеромонахом-исповедником Гоголя. Здесь действительно скрыта какая-то тайна, какая? Продюсер, выступавший на пресс-конференции после показа, нагнетал сообщением, что автор сценария и режиссёр Дмитрий Демин невозвратно нездоров. Этот любопытный фильм, явно идущий не по своему разряду, как игровой, а фильм документальный, в шорт-лист не вошёл.

Я долго ждал фильма Алексея Учителя «Пленный». Лет пять или семь назад, когда на фестивале мы дали Учителю гран-при за его фильм об И. Бунине с Андреем Смирновым, его фильм явно выделялся среди прочих. Сегодня он один из лучших, не более. По сравнению с рассказом, который я так люблю, здесь какая-то солдатская предыстория, что-то по мотивам нового романа Маканина «Асан» с меной и продажей оружия, почти этнографическая сцена с собаками и вертолётами «загона» чеченских пленных и некая солдатская бывальщина с большой и сильной сексуальной сценой. Без соития, показанного в ярких подробностях, кинематограф уже никуда. Но вот само путешествие с чеченским мальчиком сжалось, и его невыносимая психологическая глубина куда-то ушла. Правда, описание шерстяных носков, которое я запомнил, сохранилось. Опять два блестящих актёра: Вячеслав Крикунов и Пётр Логачёв. <…>

2 апреля, четверг

Довольно быстро после последнего просмотра раскидали все премии и призы. Никаких особенно неожиданностей последний день не принёс. Фильм Игоря Масленникова «Взятки гладки» по пьесе Островского «Доходное место» не оказался таким хорошим, как мне бы хотелось, при моей любви к Островскому и симпатии к Масленникову. Как я осторожно ни выкручивал руки жюри, ничего путёвого, кроме какой-то нелепой медной вазы от района, фильму дать не удалось. И с актёрами здесь, мне кажется, не вполне удачно, по крайней мере, Олег Басилашвили работает удивительно трафаретно, до боли знакомый Жадов безлик, что-то есть ещё в другом молодом актёре, но, как мне кажется, основная неудача—сценарий Валуцкого. Он делает уже второй фильм по Островскому с Масленниковым. Как обычно, в народном духе, без особых углублений был сделан фильм «Наследники» режиссёра Константина Одегова, которого я помню и по предыдущим фестивалям. Стиль этот любим публикой, да и сам фильм смотрю с удовольствием, не как искусство, а как некие рисунки с жизни. Здесь опять Сибирь, захолустье, пьянство, хорошие и плохие люди. Снова—школьники, бандиты, воры, стечение обстоятельств. Я уже знал—против народа не попрёшь—Одегов получает приз зрительских симпатий и всё-таки выбил для картины приз за роль второго плана. Это Александр Голубков, актёр из Моссовета, сыгравший бандита Мишу. Актёр с редчайшей достоверностью.

Последнее, что мы видели, это ожидаемый, и, боюсь, способный перевернуть все мои предварительные намётки фильм «Пассажирка» Станислава Говорухина. В основе рассказы К. Станюковича. Ожидания не оправдались. На этот раз тоже была редкой красоты актриса Анна Горшкова, но тот трепет женской любви и мерцание женского характера, которые всегда просвечивали в актрисах Говорухина, не было. И всё равно фильм очень красивый, зрелищный, с прекрасным показом быта флота на царских кораблях, с роскошной этнографией былого, и мы дали ему второй по значению приз. Я уже вручал в своё время Говорухину 90 томов Толстого, на сей раз это будет энциклопедия Терры.

«Гранатовый браслет» на нашем маленьком совещании, которое мы собрали после ужина и всех просмотров, достался Александру Прошкину. Занятно то, что в это время седьмой член жюри, Виктор Матизен, летел из Москвы. А параллельно, у Вл. Соловьёва в его «К барьеру», Виктора изо всех сил поливал Николай Бурляев. Итак, естественно, хотя Прошкин и считает, что на этом фестивале его недолюбливают, но и 5 тыс. долларов, и «Гранатовый браслет» получит он. Приз за лучшую режиссуру получит Алексей Учитель за своего «Пленного». Молодой актёр Иван Жидков («Улыбка Бога, или чисто одесская история») увезёт приз за лучшую главную мужскую роль—решили дать именно молодому, пусть счастливо стартует. За лучшую женскую получит тоже молодая актриса Лощилина—фильм по повести Василя Быкова. Практически я выколотил 60 тысяч—губернаторский приз—для Александра Балабанова за его «Морфий». С некоторым напрягом, минуя большие и дорогие картины, включая и украинскую «Иллюзию страха», дали приз «За дебют» ленинградским студентам за их «Высокие чувства». Уж здесь, по крайней мере, очевидно, что и режиссёр, и сценарист состоялись.

Потом приехал Витя Матизен, рассказывал о своеобразии речей Никиты Михалкова и о том, что всё это ещё не закончилось—несгибаемый Марлен Хуциев ещё будет судиться. Всех аргументов не привожу. Естественно, седьмой член жюри всё одобрил.

3 апреля, пятница

Утром, когда всё жюри поехало по Пушкинско-Набоковским местам, я под дождём и по раскисшему

снегу погулял по моему любимому Гатчинскому дворцовому парку. Обошёл весь дворец, послушал звон курантов, похожий на шелест времени. Какая печаль по минувшему. На площади перед дворцом нашёл никогда ранее не виденную мною мемориальную плиту. Наверное, раньше об этом рассказывал экскурсовод. Именно здесь, перед дворцом, на огромном митинге в ноябре 1917-го года первый военный комиссар Николай Дыбенко уговорил казаков прекратить выступления против только что родившейся новой советской власти. А так бы, смотришь, и восстановили бы казаки вместе с ребятами из дивизий Краснова Временное правительство. Огромная посыпанная песком площадь со стоящим на ней невысоким памятником Павлу Первому сразу ожила. Голоса, крики, хриплый голос молодого наркома. Ах, какая непростая шла жизнь.

Потом дошёл до Приаратского дворца, на улице, почти обращённой к озеру, несколько сожжённых деревянных домов. Высокие, как колонны, стройные печные трубы — жгут дома на лучших исторических местах, с видом на озеро и ещё на царские достопримечательности. На одном из заборов, окружающих свежее пепелище, краской выведен призыв к прокурору. Постоял на площади перед дворцом: вспомнил былое, рыцарские турниры, горячий глинтвейн. Ах, Генриетта Карповна, ах…

Во время обеда обнаружил новость, меня обескуражившую. Губернатор решил дать свой приз не «Морфию» Алексея Балабанова, а фильму по повести Василя Быкова «Обречённые на войну». В контексте посещения с пасторским визитом именно сегодня Гатчины новым патриархом Кириллом это вполне логично. Честно говоря, это следствие того, что опять я изменил своей интуиции и пошёл на поводу у нашего маленького жюристского общественного мнения. До сих пор считаю, что «Морфий» — это лучший фильм фестиваля, но Андрей Звягинцев очень хвалил «Побег», Матизена не устраивало освещение еврейской темы, да, некий пересол был, я не стал спорить, потому что всё остальное ладно складывалось, и, в результате, фильм остался за бортом. Ах, как жаль! Вторая новость, — это наши журналисты, которые не могут без знакомой и приторной якобы, левизны. Слухи о решении по основным номинациям уже разнеслись, и журналисты взялись за обиженных. Они дали свой приз документальному фильму Валерия Харченко «Бродский. Довлатов. Последнее слово». <…>

На церемонию закрытия надел, как и предполагал, синий зайцевский костюм с сюртуком и жилетом и ту шёлковую рубашку, которая была не стирана ещё со времён прошлого фестиваля. Приготовил ещё и сюрприз, памятуя мои прежние размолвки и с губернатором, и с городским головой: взял свою кожаную сумку и положил в неё две надписанных последних книги с романом и дневником. Ход: чего они уж мне на этой сцене не дарили, теперь и я им что-то подарю. Естественно, в смысле прочтения надеюсь только на их жён.

Мне все говорили, что церемония закрытия прошла хорошо, но мне она показалась путанной и не очень яркой. Если во время открытия Майоров довольно остроумно играл с текстом, то на этот раз делать этого было не с кем. Не вынесли на сцену ни энциклопедии, ни Толстого, а поставили только несколько показательных томиков. Это не производит впечатления, а вот гора из 60 книг это, было бы, конечно, другое дело. Вдобавок ко всему, Миша Трофимов ещё и посвоевольничал и изменил устоявшийся регламент: я всегда вручаю все три главных приза. Из-за этого возникла некоторая неразбериха.

Больше всех был доволен решением жюри, кажется, А. Прошкин, в разговоре он вспомнил, как яростно здесь же в Гатчине жюри не приняло его «Капитанскую дочку». Ах, та «Дочка», где любовь проходила в сусеках с зерном и где вы демонстрировали выставку икры и осетровых? <…>

4 апреля, суббота

<…> Ехал в одном купе с Женей Сидоровым, который, конечно, тоскует по своей невостребованности. Интересные разговоры шли в автобусе, когда ехали из Гатчины. Чуть-чуть подвыпив, Андрей Звягинцев так интересно говорил о жюри и о своих литературных пристрастиях. Мне он очень нравится своей внутренней сосредоточенностью, прорываемой иногда мальчишеской разгульностью. <…>

5 апреля, воскресенье

Перед тем как отнести стопку газет, которые я прочёл после моего возвращения из Гатчины, выписываю единственную новость, которая для меня заслуживала хоть какой-то фиксации <…> сообщение в правом верхнем углу «РГ» за пятницу: «К решительным мерам подталкивает ситуация на рынке медикаментов. По данным Росстата, за год (февраль 2009-го и февраль 2008) они подорожали в среднем на 24 процента»… У людей старшего возраста, не имеющих льгот, расходы на таблетки «съедают» уже до трети пенсии». Кто предпримет эти «решительные действия»? Студенчество в России уже давно «наше» и не имеет революционизирующей силы. Может быть, опять пенсионеры перегородят Ленинградское шоссе, как и в недавние времена монетизации льгот?

Утром сначала рассаживал по стаканчикам рассаду помидоров, потом читал «Олигархов», потом сел за дневники. В книге Дэвида Хоффмана, полной замечательных деталей и безусловного знания предмета, раскрывается удивительная грязь и беспринципность наших олигархов. Все они, конечно, удачливые воры и беспринципные мошенники. Но при этом ни одного вздоха осуждения со стороны автора, даже создаётся ощущение, что господин Хоффман любуется своими «сильными» героями.

7 апреля, вторник

С утра «Эхо» в своей рубрике, которую ведёт кажется, А. А. Пикуленко, долго оттягивалось по поводу автомобилей у нашего президента и премьер-министра. Я сразу понял, что сегодня наверняка в газете прочту что-нибудь из декларации о доходах.

Недавно президент своим примером повелел всем большим чиновникам это делать. Лишь наивный человек может представить себе, что при помощи налоговой декларации можно уйти от коррупции и воровства. Теперь чиновники подают декларации на себя, своих жён и несовершеннолетних детей. В клубе «Монолит» много лет назад мне показали маленькую девочку, на её имя уже были написаны нефтяные акции. Девочка-нефтевладелица платила, как мне восхищённо сообщили, какие-то чудовищные налоги. Но кто сказал, что наши предприниматели не умнеют, и кто сказал, что их дети, так же, как и дети чиновников, не взрослеют? Ведь восемнадцатилетним сыновьям и дочерям, бабкам и дядьям с тётками, а также двоюродным братьям деклараций подавать не надо.

Радиоирония по поводу прицепа «скиф», который записан в имущество то ли президента, то ли премьер-министра, была не напрасной. В статье в правительственной «РГ» все нам, наивным, и сообщили иногда даже в игривой форме: «Дмитрий Медведев в 2008 году на основном месте работы заработал 4,13 миллиона рублей, а его банковский счёт пополнился на 79 тысяч рублей — до 2 миллионов 818 тысяч рублей. Счёт супруги президента — он у неё единственный — за год подрос значительно». Неужели газета сейчас что-то сболтнёт? В холодном поту переворачиваю страницу, чтобы прочесть «разоблачение», и читаю дальше. Вот как надо писать, товарищи писатели! Вот как надо сохранять интригу! «Правда, только в сравнении с тем, что на нём было. Весной прошлого года там лежало чуть больше 400 рублей. Теперь — 135 тысяч 144 рубля». Какая бережливая жена у президента!

У Путина есть квартира в 77 кв. метров, как у меня, земельный участок, гараж на коллективной стоянке и машино-место в гаражном кооперативе. Дойдя до машин — а это «ГАЗ-21» 1960-го и 65-го годов выпуска — я вспомнил об иронии «Эхо»: ещё десяток лет, и машины окончательно станут раритетными. Они и сейчас стоят уже больших денег и будут дорожать с каждым годом. Ура! <…>

8 апреля, среда

<…> Через Олега Борушко я был зван в Английское посольство. Был Лёня Колпаков, мне рассказывал, что в очередном фильме, который Борушко, наложивший лапу на все русско-британские связи, показал в посольстве, Лёня видел моего Павлика Лукьянова, теперь уже «короля поэтов». Так вот, в посольство не поехал, а отправился на клуб, где сегодня выступала Татьяна Борисовна Дмитриева, директор института Сербского и бывший министр здравоохранения в том же кабинете, в котором состоял и Женя Сидоров. Потом уже мне рассказали, что с министерской должности её сняли, потому что очень уж она протестовала против наркотиков, которые в то время почти свободно поступали в страну. Её выступление — женщина редкого женского обаяния и ума — я довольно подробно записал. <…>

10 апреля, пятница

<…> Вечером был на премьере в театре Маяковского спектакля «Как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». Это опять замечательный спектакль, и опять здесь раздумья о вечной литературе. Эта вечная литература полна типовых ситуаций. Надо отдать ещё должное вечности содержания этой литературы, которое каким-то мистическим образом можно интерполировать, например, на раздоры Украины с Россией. А ссора И. И. с И. Н. это была ссора не из-за старого ружья, а из-за газовой трубы. Лучше всех играл Ивана Никифоровича Игорь Кашенцев, но и Александр Лазарев в роли Ивана Ивановича тоже мне за последнее время впервые понравился. Светлана Немоляева на грани гротеска и студенческого капустника играла некую даму, приближённую к особе Ивана Никифоровича. При этом, когда она сняла шляпку, то оказалась с косой, совсем как у Юлии Тимошенко. И всё это действие было окружено плетнём вышиной до неба. Понравились также два молодых актёра: Александр Дякив, и, чуть меньше, Виталий Гребенников. Но повествовательной прозы Гоголя всё же немного не хватало.

14 апреля, среда

Утром занимался не дневником, который, конечно, легче и в работе живей прозы, а всё же продолжал «Кюстина». С перерывами на телефонные звонки работал до почти двух часов, а потом полетел в министерство культуры на совет по наградам. На этот раз проходило чуть больше двухсот человек. <…>

На этот раз на совете всплыли и обнажились две тенденции. Те соискатели, которым мы на прошлом совете отказали потому, что не нашли в их деятельности достаточных оснований, кроме административного ресурса, с огромной энергией вернулись к нам, вооружившись звонками или повторными настойчивыми просьбами региональных министров культуры. Звонки, протекция, связи… Все, как на штурм, на повторное рассмотрение! Это, несмотря на то, что уже давно мы приняли на комиссии решение принимать к повторному рассмотрению работы только по прошествии года. Второе, на что я обратил внимание, это прицел большинства соискателей на звание Заслуженного деятеля искусств. Оно в известной мере не очень определённое, расплывчатое, все забывают, что здесь существует слово «искусство» во множественном числе и, ощущая некоторую свободу толкования, налегают. Как всегда, старались поддержать людей из провинции.

Вечером смотрел юбилейный концерт Аллы Пугачёвой. Как ясно и свободно чувствует она себя в своей нише и в своём образе. Но ведь этот образ надо было создать, а на это ушли многие годы. Миллион русских баб, подпевая ей, как буквально подпевал весь зал, тоскуют о своей неосуществлённой красивой любви.

16 апреля, четверг

Утро начал с замечательной колонки Швыдкого в «РГ». Это небольшой смысловой обзор литературы

последнего периода, где ничего не было названо, но суть была справедлива. Надо заканчивать с прошлыми видениями, жизнь изменилась. Но Швыдкой не был бы Швыдким, если бы ему не нужно было бы выстроить свой, лоббируемый им, ряд. Назвал, правда, и моего любимого Прилепина, и Распутина, но, скорее, для отмазки, для того, чтобы в это мощное соседство вставить А. Варламова с жзловским «Булгаковым» и Д. Быкова с жзловским же «Пастернаком». Михаил Ефимович не может без своих присных. Он-то понимает, что создания атмосферы прозы и саму прозу не пишут так, как пишут тома жзл. Возможно, это его групповой ответ на критику, которой подвергся и Быков, и Варламов, и сам Маканин с его «Асаном». Не воюет ли М. Е. с Поляковым?

<…> Вечером опять работал с Соней. Собственно, она из тома моих дневников собрала все цитаты, связанные с моим преподаванием. Всё, что касается меня самого, мне это интересно, и меня это волнует. Теперь я сижу и, вместо Сониных легковатых комментариев, вписываю свои, всё то, что давно и крепко обдумано. Это если бы я сам писал статью о себе! «Есин, не перехвали себя»,— слышу я голос В. С. Если всё получится, я вставлю её работу в уже подготовленный кафедральный сборник, который утонул в дебрях агентства по печати. <…>

21 апреля, вторник

<…> …в театре у Т. В. Дорониной премьера, которой я давно ждал и даже боялся — «Мастер и Маргарита» в постановке Валеры Беляковича. <…>

Собственно, почти впервые я вижу мхат им. Горького не только полным, а буквально набитым. Посадили нас с Юрием Ивановичем в первый ряд. На этот раз я цветов не брал, а приготовил с подарочной надписью для Беляковича свою новую книжку. Так потом с первого же ряда ему её и вручил.

Я ведь так долго живу, что помню и спектакль Любимова с чуть обнажённой Маргаритой, качающейся на часовом маятнике. Это, к сожалению, всё, что я помню. Начался спектакль так, что я немножко заволновался. На сцене на каких-то цепях висели листы тонкого белого металла. Ну, вот, опять у Валеры какие-то металлические конструкции, как в его спектакле по Островскому. Но погас свет, и на этих листах высветился почерк Булгакова, а сами листы превратились в листы рукописи, парящие в тёмном небе. Как бы рукописями Булгакова был оформлен спектакль и в театре Гоголя. Но вот из-за этого металла с грохотом и звоном появилась свита, спектакль начался. Совершенно неожиданным, а не привычным сухим джентльменом, вышел Воланд у Кабанова. Это было мгновенное разочарование, что не играет сам Белякович. Но и Кабанов творит что-то необыкновенное по отдаче и характеру. Здесь я опять засомневался, но немедленно понял, здесь нет стремления булгаковский текст полностью перевести в сценическое действие — другая художественная эстетика. Огромные куски текста, будто в радиопередаче, были просто произнесены. Это был дерзкий, но вполне удавшийся замысел. Первое действие шло два с половиной часа. Практически зал выслушал почти полный текст романа. Это, по крайней мере, серьёзнее того, что по телевидению показал нам Бортко. О сцене в ресторане — я сразу подумал о минувшем съезде кинематографистов.

22 апреля, среда

<…> Как только приехал в Обнинск, раздался звонок Лёни Колпакова: умер Глоцарь, и сегодня с ним прощаются в Доме Литераторов. К сожалению, я уже подъехать не смогу. Лёг в ночь на 19-ое в постель и не проснулся. Под Пасху. А потом опять новый звонок: на этот раз Саша Колесников, он, как и я, в разных комиссиях, не забыл ли я, что мы сегодня с ним идём на «Горе от ума» у Любимова? Мы рабы нашей мобильной связи. Конечно, забыл, но обязательно пойду, во-первых, это новый спектакль, который Любимов подготовил к своему 90-летию, во-вторых, срабатывает интуиция, что надо себя пересилить, с чем-то я там встречусь любопытным.

<…> Почти не отдохнувши, еду на Таганку. День сегодня начался с шести. Как меняется восприятие, и как быстро угасают когда-то звонкие кумиры. Уже фойе театра с портретами, как талисман Высоцкого, и большим количеством разных скульптур, хотя и знаковых, с горящими на трёх роялях в белых чехлах свечами, с необычной керамической люстрой наверху, всё это кажется мне уже давно отжитым, даже провинциальным. Впрочем, в отличии от Доронинского мхата с вечной нехваткой денег, здесь всё блестит, и новые, удобные мягкие кресла с откидывающимися сидениями.

Спектакль, который идёт два часа, вынес с трудом. И тут же пожалел, что в своё время не досмотрел, ибо было так же трудно и тягомотно, спектакля по той же пьесе в «Современнике». Спектакль, естественно, с дурной мейерхольдовщиной, от которой несчастный Всеволод Эмильевич, конечно, бы открестился. Всё шло в неких, как сейчас на окнах, только огромного размера, развевающихся шторах, которые ползают по пазам. Такие ленточные пластмассовые шторы у меня на кухне. И вся женская часть ещё и на пуантах. Ну, это мы уже видели и у Райхельгауза в театре современной пьесы. По типажам я бы даже принял актёров: и Чацкого, и Лизу, и Софью, которую традиционно ни один театр не разгадывает. А она просто умна, умнее всех и теряет своего единственно возможного в этой среде спутника жизни. Всё остальное чудовищно. Среди зрителей много молодых людей, которых, предполагая, что они читать ничего не станут, приводят в театр, чтобы образовывались. Многим из них так теперь и будет на всю жизнь казаться, что именно эту белиберду, когда монологи Фамусова перемежаются громкоголосием песен любимца Лужкова Газманова, русский классик и написал. Сам Любимов в начале спектакля стоял — мы сидели в тринадцатом ряду, почти возле выхода — с электрическим фонариком в руке и вспышками подавал актёрам какие-то сигналы. Осветительная аппаратура была, видимо, для рифмы, установлена и на сцене. Один раз какой-то

смысл мелькнул: фиксировать знаменитые реченья и цитаты, но это опять в шторах замылилось. Состоялась бессмысленная казнь великой пьесы русского театрального репертуара.

23 апреля, четверг

<…> В среду вышла «Литературная газета». У них опять какой-то юбилей, есть любопытные статьи. Все, естественно, работают в своём ключе. Евгений Александрович Евтушенко просит колонку для Людмилы Улицкой, вспоминает о Диме Быкове и для компании вставляет в свой текст имя Распутина. Саша Ципко пишет о шестидесятниках и попутно говорит о нелюбви к советской власти. Впрочем, в его статье есть интересные мысли, факты, а иногда и признания. Как я понимаю, нынешняя система далеко не для всех является благом. Даже для избранных, которые продолжают своё духовное совершенствование и раскрываются, как выдающиеся личности. И тем не менее, тем не менее. «Конечно, среднему, не обременённому раздумьями о смысле жизни человеку брежневская система давала куда больше, чем нынешняя. Последнюю даже системой нельзя назвать». Круто, я не обременённый… <…>

24 апреля, пятница

Собственно, одна причина у меня утром уезжать с дачи—в три часа вручение премии Солженицына. Вот уже премия, где никто не скажет, что дают её неталантливым или случайным людям. <…>

В этом году премию, второй раз посмертно, дают В. П. Астафьеву. Церемония прошла блестяще, а фуршет, как и обычно, был очень хорош. Писатели любят поесть, иногда даже, как мне показалось, едят впрок. Собственно, кроме отъехавших в Лондон любимцев Сеславинского, были все. Во-первых, конечно, бывшие лауреаты премии: Л. Бородин, В. Распутин, Ж. Миронов, Б. Екимов, В. Курбатов. Вела, как и бывало в последнее время, Наталья Дмитриевна, не повторяясь, хорошо, но информационно говорила. Основное, что я уяснил, что «премиальное дело»—это меньшая часть работы Фонда, основное—библиотеки и помощь старикам, бывшим лагерникам. Новым в церемонии, чуть ли её не погубившее, было то, что Наталья Дмитриевна прочла одну из небольших глав из неопубликованной работы А. И. Солженицына о В. П. Астафьеве.

Действительно грандиозный текст, после которого говорить кому-либо было невероятно трудно. Тем не менее, представление от имени жюри П. Басинского выдержало это давление. Потом несколько слов сказал В. Непомнящий о Марии Семёновне, жене покойного В. П. И довольно долго с сухой, часто и церковной, риторикой говорил Вал. Курбатов.

Евг. Попов, оказалось, был земляком Астафьева, он тоже сказал несколько слов, без витиеватости, вспомнил улицы, места. Это, кажется, запомнилось. Показали ещё и четыре минуты фильма: Астафьев и Жжёнов, наверное, они оба имели право—без малейшего сочувствия и сострадания к прожитым собственным годам, но с редкой ненавистью к советской власти. <…>

3 мая, воскресенье

<…> С невероятным удовольствием читаю теперь уже и саму «Молодую гвардию». Фадеев совершенно справедливо писал, что проиграл свою писательскую жизнь, занимаясь организационными делами. Раньше, в детстве и юности, я всё же многое пропускал в этой книге, шёл к подвигам, к действию. Но как же здорово и композиционно, и по материалу написано начало, экспозиция романа. Как мастерски Фадеев представляет своих героев, а потом вовлекает их в действие. Сейчас с такой простотой и прямотой подробностей уже не пишут—не модно, но только попробуй написать что-то подобное. Сколько для этого надо иметь уверенности и сил. <…>

7 мая, четверг

Потихонечку, но моя статья о Фадееве и «Молодой гвардии» продвигается. Вряд ли в ней будет что-то новое, но самоё выделение материала говорит о концепции. В принципе, я понимаю жуткое положение Фадеева: между его врождённой честностью, по-юношески понимаемым долгом коммуниста и обывательским: жить хочется. А понимаю, значит,—прощаю и защищаю. Сегодня он беззащитен, значит, надо помогать. Наша литература и мелкие её предводители, литвожди, ещё готовы оставить Серебряный век, но уже всё советское, более к нам близкое, надо уничтожить, чтобы возникла пустыня. В пустыне горами могут показаться кротовые холмики. <…>

8 мая, пятница

Вечерами по какому-то российскому, но для зарубежья, телевидению единственному дают сразу по две серии «Семнадцать мгновений весны». Смотрим, как впаянные. В этом году фильм показывают в цветном варианте, и я, наконец-то, увидел самое начало сериала, которого прежде никогда, ни в цветном, ни в чёрно-белом виде не видел. Вообще я никогда не видел целиком ни одного сериала. Цвет вначале показался мне излишним, плоским, разрушающим документальность, но вскоре я понял, что он сильно дополняет ранее мне неизвестное. Какие же всё-таки были мундиры? Какого цвета были стены в гестапо? Но это далеко не главное, что меня поразило. Как сильно в философском плане за двадцать лет этот фильм вырос, как смело в наше время зазвучали вдруг разговоры о национализме, о золоте партии, даже о фашизме. <…>

11 мая, понедельник

<…> В Москве пожары. Ещё утром по радио слышал, что горит какой-то игровой клуб в районе Новинского бульвара. Пожарные машины обстреливают его водой с Садового кольца. Садовое перекрыто в обе стороны. А вот вчера в Москве тушили пожар на газовой магистрали: взорвалась труба диаметром в метр и с давлением в 12 атмосфер. Столб огня поднимался, как говорили по радио, на высоту в 150 метров. Всё это произошло в нашем районе на Юго-Западе. Обо всём

этом, может быть, я и не вспомнил, но в метро, по дороге к Авдееву, прочёл в «Российской газете» большое интервью главного государственного инспектора по пожарному надзору Геннадия Кириллова. Здесь много интересного, я выделю два момента. Первый выглядит так: «Недавно я заехал в сельскую больницу, а мне главный врач говорит: «Геннадий Николаевич, вы требуете, чтобы у нас была пожарная сигнализация, а у меня нет нормального прибора для анализа крови. Для меня что главнее? Я же врач, должен лечить…» Если на всё сказанное посмотреть по Фрейду, как на оговорку, то станет ясно, как обстоит дело и с медициной, и с противопожарной сигнализацией. Второй подобный момент связан с темой поджога: выгорают центры больших старинных городов, застроенные деревянными историческими зданиями. Поджоги совершаются, чтобы отдать в застройку эти лакомые и дорогие участки земли. И вот тенденция: «В среднем по России количество поджогов ежегодно увеличивается на 5–7 процентов». Дальше идёт комментарий: «Причём горят не только жилые дома, но и рынки. Идёт война за передел собственности». <…>

12 мая, вторник

Всё утро «Эхо Москвы» говорит о гибели губернатора Иркутской области. Всё, как обычно, летел вертолётом. Тем более, что вертолёт какой-то частный, американский, зарегистрированный чуть ли не в Московской области на имя некого бизнесмена, уже это вызывает некоторые вопросы. Официально продолжают утверждать, что губернатор Игорь Есиповский совершал в воскресенье облёт, чтобы выбрать место для рекреационного центра. Это у журналистов вызывает сомнение, похоже, что опять охота. Вертолёт взорвался, не очень ясно, пять человек или четыре летело в нём, поднялся в воздух вертолёт тоже с просроченным разрешением на вылет и прочие детали. Это уже гибель третьего губернатора. Ощущение, что это месть свыше за какие-то провинности. По радио был опрос: одна из женщин говорила, что пусть всё же летают и охотятся, но за свои денежки и на своих вертолётах.

<…> Совершенно обессиленный, пришёл домой после семинара. В Москве похолодало, упало давление, но есть ещё и ощущение надвигающейся болезни, всё ломит. В постели лежал и просматривал книги, представленные на премию Москвы. Здесь роман восьмидесятилетней Еремеевой, актрисы Малого театра и жены Ильинского. Действие в Канаде, и полно милых коммерческих штампов и красивостей. Собрание рецензий Якубовского на хорошей бумаге и чуть ли не за всю жизнь, и, как всегда, ещё один «собранный» том из МХТ им. Чехова — критика за первые сезоны существования театра. Всё это боковые ветви настоящего творчества. Исключение составляет, пожалуй, только сборник Инны Кабыш, но, кажется, она не нравится дамам из комиссии.

13 мая, среда

В Москве похолодало, упало давление. Или именно поэтому, или потому, что простудился, утром встал с постели, всё болит: мышцы, суставы, кости, болит голова. Но, может быть, здесь и какое-то отравление. В понедельник купил на рынке возле метро «Университет» килограмм творога, хотя понимал, что из-за праздника, наверное, не было подвоза, и утром во вторник этот творог с, наверное, таким же не очень свежим кефиром съел. Кстати (вечером у меня всё «кстати»), по одной из программ показывали страшный фильм о современной торговле продуктами в супермаркетах. После этого я просто боюсь что-то покупать, это стремление продать всё, даже испорченное, видимо, в русской торговле неискоренимо. Есть приёмы, в которые просто невозможно поверить, но приходится. Витя тут же рассказал, что когда они с Леной купили какие-то сладости в Обнинске, то обнаружили три или четыре, одна на другой, наклейки со сроками давности.

Отравился или нет, но вставать было нужно: сегодня в Доме журналистов прощание с Анатолием Захаровичем Рубиновым. Ах, как жалко этого человека и легенду нашей большой журналистики. Из-за немощи, Витя меня подвёз до ДЖ, а потом отвёл машину в Лит.

К моему удивлению, как я ожидал, ДЖ не был полон. Но народ всё же пришёл, люди немолодые, уходит наше поколение. Встретил Лену Мушкину, Юру Изюмова, Удальцову. Пришёл совершенно больной, как и я, Лёня Колпаков. Был, конечно, Слава Басков.

Гроб с телом привезли чуть позже назначенных одиннадцати часов. Внесли гроб шестеро молодых солдат в чёрной форме десантников. Другие ребята с автоматами в руках стояли возле гроба всё время гражданской панихиды. Я положил к гробу свои две скромные розы и, понимая, своеобразие зала, перекрестился. Кстати, в некрологе внизу всё же написали, что он, дескать, был евреем, что справедливо, и подвергся гонению, не взяли на журналистику в МГИМО. Анатолий Захарович, оказывается, Абрам Залманович! Вот удивили. Здесь, как у Плисецкой или у Додина, национальность не в счёт. Не успокоятся, всё борются с советской властью. Анатолий Захарович лежал на своём печальном ложе, казалось бы, без малейших признаков смертельной усталости. Здесь же сказали, что за несколько дней до смерти вышла его огромная, чуть ли не в 1000 страниц, книга — последняя в жизни. Можно ли так говорить, но 86 лет, сержант-фронтовик, прошедший войну, огромная прижизненная слава, миллионы читателей, ясность и работоспособность до последнего дня, и внезапная, не мучительная смерть в день Победы.

Прекрасно и глубоко вёл церемонию прощания телеведущий Млечин. Действительно, талантливый человек, нашёл нужные слова и говорил не о себе, как в таких случаях бывает, а именно о покойном. Я дождался конца церемонии и выноса тела. Прощай, Анатолий Захарович!

Доплёлся до Литинститута, успел переговорить с Н. В., как надо было ехать сначала на Пушечную к книголюбам, договориться об открытии в Ярославле съезда экслибрисистов, а потом на экспертный совет по премиям Москвы. Здесь всё

проходило не совсем так, как мне виделось. Пожалуй, впервые за последнее время были явные лидеры и в литературе, и в искусствоведении. Инна Кабыш, очень неплохая поэтесса, а книга Олега Кривцуна — явление уникальное. Было плохо, т. е. почти без конкурса, театр, будто его в Москве и нет, но вот в номинации «искусствознание» четыре фамилии. Через комиссию пробить Кривцуна мне не удалось. Я его прочёл, а в газете у Полякова была рецензия, следовательно, он тоже знает. Все наши театралы заговорили о том, какая Яблонская замечательный человек. О Солюнисе, который ещё вчера был прекрасен, уже и забыли. Книжка Яблонской очень неплохая, но ведь выбираем из лучшего. При голосовании наша комиссия, которая почти вся состоит из людей театра, выбрала всё же представителя своего цеха. Вдобавок ко всему, ещё и отсутствующая Вера Максимова приказала присовокупить свой голос. Занятно, что книгу никто не читал, а она, в общем-то, лишь интересный сборник материалов. Злой был, как чёрт, не потому, что получилось не «по-моему», а потому что получилось несправедливо, всё свелось к своим цеховым интересам, и все остались довольны. Такая же коллизия возникла и при голосовании заслуг Олега Пивоварова — все у него печатаются, да и мужик он неплохой, но журнал, который раньше освещал театральную жизнь всей России, теперь делает, в лучшем случае, заказные номера и освещает театральную жизнь Москвы. Когда комиссия закончилась, кто-то принёс потрясающую новость: сняли ректора ГИТИСа Хмельницкую. Не за воровство же, как уже сняли целую плеяду ректоров. А, в общем, не очень верится.

14 мая, четверг

<…> Утром ещё читал сборник Адольфа Дегтяря «Чеченский дневник». Очень простые, даже незамысловатые стихи, но над некоторыми я плакал. Вещь, конечно, значительная, но, как и всё, что мимо тусовки, пройдёт незамеченной.

15 мая, пятница

<…> долго и дотошно читал «Независимую газету». Взял с собою тот номер, в котором была рецензия Максима Лаврентьева на мой «Твербуль». И здесь он, как и в прошлый раз, когда писал обо мне какую-то статью и тоже в «Независимой», написал провидчески. Лаврентьев сначала пишет о моих дневниках. Мои дневники, которыми и горжусь, потому что таких длинных у моих сверстников ни у кого нет, и потому что мне уже давно, после выхода первого тома, кто-то внушил, что, может быть, это лучшее, что я написал, и потом ещё передали мнение Полякова, что есинские дневники, дескать, останутся, когда о нас забудут. В общем, Максим совершенно справедливо написал, что дневники, являются лишь подсобием к моим романам, кухней. Я, пожалуй, здесь даже поцитирую.

«Часто в оценке собственного творчества наш автор, как всегда немного лукавя, склонен набавлять баллы мемуаристике. В ущерб и в укор беллетристике. Однако на конкретном примере соединения под одной обложкой двух этих величин хорошо видно в процессе параллельного чтения, что жанр дневника, хотя и популярный в последнее время, всё же, всё же является подсобным для художественного творчества, всего лишь жаркой закопчённой кухней для выколдовывания новых сюжетов и образов». Прошлый раз он также точно сказал, что Есин-ректор заслонял от публики Есина-мастера и писателя. Всё-таки он удивительный парень.

Кстати, этот очень большой материал соседствует с разбором ещё двух книг: одна о Гоголе, а вторая об Эренбурге. В статье об Эренбурге есть сентенция Ефима Эткинда, который меня просто поразил своей искренней точностью и бесстрашием. Я подобные мысли, когда они у меня появляются, по конформистской привычке всегда задавливаю в себе. «Илья Эренбург был посредственным писателем и слабым поэтом». Дальше не комментирую. Но продолжаю прерванное этой вставкой повествование. Все три материала представляли собой единую полосу Non-fiction да ещё и с маленькой заметочкой Алисы Ганиевой «Исподлобья». Она тоже очень любопытно пишет. Господи, почему же я перестал читать «Ex libris — НГ», сосредотачиваясь только на «ЛГ» и «РГ»! Так вот, Алиса: «Интерес к писательскому досугу не всегда означает неуёмное обывательское любопытство» — это, так сказать, посылка. Теперь вывод, развитие темы пропускаю: «внетекстовое знание о писателе современном порой также органично и необходимо. И православие Николая Гоголя, и бытовые неурядицы Ильи Эренбурга оказываются в смежной плоскости с капустой из огорода Сергея Есина». О капусте я никогда в дневниках не писал, но ведь сказала девочка точно.

От капусты перейдём к помидорам и грядкам на даче. Занимался я этим всем довольно долго, что-то разгребал, подгребал, поливал, скорее, не из-за страстной любви к огороду, хотя она, именно как хобби, существует, а скорее из-за здоровья. Про себя отмечаю, что двигаться не так уж тяжело. И вот после всего этого иду домой, включаю телевизор и понимаю, что разговор идёт об Академии театрального искусства, о ГИТИСе. Понимаю также, что назначенный вчера Шерлинг уже не ректор, что исполняющим обязанности ректора стала женщина с армянской фамилией Мелик-Пашаева, (не дочь ли знаменитого дирижёра), которую Шерлинг вчера уволил, что-то революционное произошло. Вижу взволнованное лицо Володи Андреева, он что-то утешительное говорит. Также говорят, что выборы ректора пройдут в сентябре. Строю вполне реалистические догадки и тут же получаю от Ашота сообщение: «В ГИТИСе брожение: Учёный совет отверг Шерлинга. Авдеев потерпел унизительное поражение».

Сегодня же, когда ехал в Обнинск и включил записи с английским языком, прозвучала такая фраза: «Оказывается, это для нас совсем не так плохо». Я-то всё время думал, вот и в Лит. рано или поздно приведут какую-нибудь свою фигуру, которой будет необходимо престижное место.

И последнее. Как иногда виртуозно работают журналисты! Здесь же в «Ex libris» большое

интервью Евгения Попова, среди всего прочего и необязательного Попов советует, ссылаясь на собственный пример, не выбрасывать никаких набросков, можно потом на этот набросок набрести и потом из этого может получиться рассказ. В постер, на первой полосе газеты ребята выносят: «Не рвать и не выбрасывать. Евгений Попов даёт практический совет ремесленника».

16 мая, суббота

<…> Утром досматривал «Ex libris» и влез в значительный кусок текста Георгия Гачева, который опубликован в связи с годовщиной его смерти. Это большое из его дневников рассуждение — вот здесь зависть во мне запылала, но впрочем, у меня всё по-другому, я коплю материалы, собираю часто чужое, дневник, мысль, а не танцующие лошадки образов — о «Моцарте и Сальери» Пушкина. Отрывок сам по себе гениальный, в своём анализе деталей и частей, но здесь же поразительный фрагмент о былом, значение которого забыто и которое до сих пор мы не можем осмыслить как счастливую улыбку человеческой жизни.

Гачев. «В чём величие цивилизационного проекта советской эпохи? Из необразованной массы через всеобщее образование и высокий престиж науки, искусства и литературы создан средний человек высокого уровня и всестороннего развития. Хотя потешаются ныне над десятками членов Союза писателей в СССР, но на этом престиже Слова и аудитория читательская, и творцы экстра-класса восходили… Об этом соотношении средних художников и гениев хорошо у Некрасова сказано. В больнице умирает писатель средний и неуспешный, но преданный Слову:

Если бы не было нас,
Жалких писак и педантов,
Не было б (думаю я)
Скоттов, Шекспиров и Дантов!

Ведь и Пушкин вырос на почве высокого поэтического дилетантизма воспитанников Лицея, где все почти «баловались» стихами.

Всё время думаю о событиях в ГИТИСе, и оказалось, что я недостаточно внимательно прочёл «РГ», которую, уезжая, вынул из почтового ящика. Если газета пишет о чём-то в пятницу, то значит, кое-какие события происходили уже в четверг. Так оно и было. В газете по этому поводу заявлено так: «Молчать боятся. Назначение нового ректора ГИТИСа вызвало протест общественности». Вкратце. Подготовлено письмо к президенту и главе правительства с требованием отменить приказ о новом назначении. Здесь же сказано, что министр А. А. Авдеев от комментариев отказался, он в загранке. Кстати, Шерлингу уже 65 лет. Здесь же в колонке два довольно жёстких интервью Бориса Любимова и Евгения Каменьковича. Один заведует кафедрой и ещё является ректором Щепки, другой — заместитель заведующего кафедрой режиссуры драмы. Каменькович, в частности, сказал: «Сейчас наша основная задача, чтобы не полезли в драку студенты, — весь Интернет переполнен их возмущённой реакцией, а это обострённая юная энергия. Я не знаю ни одного человека, который обрадовался бы этому назначению. По первому зову откликнулись все. Все деятели театра, с которыми я говорил — Калягин, Смелянский, Фоменко, Захаров — ничего не понимают. Возвращаются какие-то неприятные времена».

<…> ещё больше, чем конкурс Евровидения, в этот день на меня подействовал один эпизод в передаче «Максимум», которую, с одной стороны, смотреть не следует, потому что всё это гламур в форме антигламура, но иногда ведущий Маркелов позволяет себе редчайшие и опаснейшие взлёты. Показали сюжет об одном милиционере из какого-то большого сибирского города, сбитом в тоннеле. Сбила его насмерть на своей роскошной машине пьяная очень молодая дама. Она любит ездить на скорости и участвует иногда в городских по ночным улицам гонках. Сразу же она дала по мобильнику эсэмэску своему другу: «Убила мента, что мне делать?». Он ей ответил: «Устрой истерику и ничего не подписывай». Девушка требовала, чтобы её скорее отпустили домой. Потом показали милицейского расследователя. Расследователь сказал, что убийцей оказалась дочь высокопоставленного чиновника, расследователя завалили телефонными звонками. На лице автомобилистки ни тени жалости или понимания, что она порушила человеческую жизнь — ей помешали и дальше развлекаться. Надеяться можно только на корпоративную ненависть милиции к этой молодой даме, но ведь вытащат…

17 мая, воскресенье

В одиннадцать часов выехал из Обнинска, дома в Москве пусто, собрался, взял портфель и поскакал на вокзал. Ехали в одном вагоне с Ниной Сергеевной Литвинец и телевизором, который невозможно было выключить, по нёму шёл какой-то пошловатый фильм, отражавший вкус агрессивной проводницы и, видимо, общей массы. Но у меня была заготовленная на все четыре часа поездки программа — «День опричника» Владимира Сорокина, книжка, которую я купил уже давно, но до неё всё не доходили руки. Это и стало главным впечатлением первой половины дня.

Вторая половина, вернее, вечер, была посвящена замечательной прогулке с Ниной Сергеевной по набережной. Говорили о том, что городской центр Ярославля не погиб, как погиб бытовой центр Москвы, о книгах, о положении с книготорговлей и книгоиздательством. В том числе говорили и о том книжном экспрессе «Москва-Владивосток», с которым я не поехал. Жалею. Приятно было, что Н. С. хорошо говорила о Прилепине. Я его люблю как человека, и полагаю, что он всё же лучший сейчас молодой писатель, по крайне мере, художественно абсолютно внятный.

Что о самом новом сорокинском романе. Конечно, это очень талантливое сочинение. Но, в отличие от романа Татьяны Толстой «Кысь», здесь лишь один тон отрицания сегодняшнего времени нашего управления. Все переклички очевидны, и в них больше лихого узнавания, нежели подкожной правды.

«— Писателей ко мне!

Тут же в воздухе кабинета возникает 128 лиц писателей. Все они в строгих коричневых рамочках и расположены-выстроены аккуратным квадратом. Над квадратом сим парят трое укрупнённых: седобородый председатель Писательской Палаты Павел Олегов с неизменно страдальческим выражением одутловатого лица и два его ещё более седых и угрюмо-озабоченных заместителя — Ананий Мемзер и Павел Басиня. И по скорбному выражению всех трёх рыл понимаю, что не простой разговор ожидает их».

Много и беллетристических украшений, нацеленных на коммерческий успех. Например, две или три сексуальные сцены и кровавые сцены, написанные с большой жестокостью. Ощущение и больной, и недостаточной сексуальной фантазии. Видятся также и иллюстрации из любимого детского чтения советской эпохи — книг по судебной психиатрии…

Для скорейшего коммерческого перевода всё это сделано ещё и на очень простом синтаксисе. Сексуальные сцены вызывают нескромное желание покопаться в мозгах автора.

19 мая, вторник

<…> Для придания заседанию кафедры некоторой пикантности, попросил Инну Люциановну Вишневскую, профессора ГИТИСа, кое-что нам рассказать. Выяснились некие подробности, хотя до сих пор не ясно, как господин Шерлинг попал в список кадрового резерва, как мог министр Авдеев подписать подобный приказ, не познакомившись лично с человеком, который претендовал на одну из самых значительных ролей в нашем искусстве. Но возможно,—эта мысль у меня появилась только что, возможно, это была команда сверху, окрик боцмана! Ведь каждый раз, когда министерство начинает куражиться и сопротивляться любимцам верхов, каждый раз министр получает сверху по морде. Считается, что сверху ловчее наблюдать и за экономикой, и за искусством. В своё время экспертный совет не рекомендовал, и министр Соколов не подписал представление на звание народного артиста России для Киркорова, а наверху посчитали, что участник корпоративных концертов это звание заслуживает. По морде министру! Потом экспертный совет не рекомендовал давать самое высокое артистическое звании государства тридцатидвухлетнему Баскову. Наверное, министр Авдеев тоже не подписывал подобного ходатайства, а тридцатидвухлетний Николай Басков всё же стал народным артистом. При этом легендарная Татьяна Доронина к своему юбилею получила лишь орден Почёта. А не нажали ли сверху на министра Авдеева, предложив ему в качестве кандидатуры ректора РАТИ (Российской академии театрального искусства — новое название ГИТИСа) бывшего танцовщика и постановщика Еврейского театра?

Инна Люциановна поведала главное, что не министерство испугалось общественности, а ещё только прислушавшись к поднимающейся волне, ему предложили отменить приказ. Парадный учёный совет с привлечением телевизионных камер и всех желающих состоялся уже после того, как пришёл приказ, дезавуирующий первый, уволили нового ректора Шерлинга. Но, как говаривали ранее, «за позор», «за бесчестие» наградили его при увольнении тремя должностными окладами. Ура.

Я абсолютно уверен, что всё так просто не закончилось. Есть и ещё детали, свидетельствующие о том, что всё не так просто, самые благородные люди высказались чрезвычайно красиво, утверждая свою репутацию. Во-первых, Калягин послал министру письмо, в котором энергично сказано: «ГИТИС — это театральный вуз, а не военное ведомство, где приказы не обсуждаются». Во-вторых — дальше цитата из вчерашней «Российской Газеты» — «Педагог РАТИ-ГИТИСа Михаил Швыдкой при известии о назначении Шерлинга подал заявление об уходе». Зная неутомимость Михаила Ефимовича, я предполагаю, что это начало его избирательной кампании на пост ректора этого самого РАТИ-ГИТИСа. Четыре года назад, ещё будучи директором Федерального агентства, он уже выставлял свою кандидатуру, но проиграл Хмельницкой. Что-то будет осенью. Все остальные байки Инны Люциановны, в том числе о появлении танцора с приказом министра в пять часов в кабинете ректора и, будто бы, сорванный танцором со стены портрет отца ректора актёра Хмельницкого и прочее я опускаю. Без подробностей. <…>

20 мая, среда

В девять часов двадцать минут Ашот прислал сообщение: *«Ужас!* Ушёл Олег Янковский… Чуда не случилось…» Со смертью чудес и не случается. И с творчеством тоже.

Потом, когда я поехал по делам в издательство «Дрофа», то, покупая в палатке торт для милых редакторш, я услышал, как молодая продавщица спросила: «Вы знаете, что Янковский скончался?» Зрители постепенно остаются без кумиров. <…>

И самое, перед сном, последнее. Кое-что прояснилось и с гибелью иркутского губернатора Игоря Есиповского. И его попутал бес на недозволенное. Постепенно в прессу стало просачиваться, что нашли ружья, когда разбирали обломки вертолёта, а потом и сообщили, что с вертолёта стреляли медведя. Они как раз сейчас просыпаются, так вот, вертолёт низко завис, чтобы было удобно стрелять, тут его качнуло, и вертолёт зацепился за дерево. Рабы барских утех. Хотел бы я посмотреть, если бы в Англии случилось что-либо подобное, какая бы буря поднялась в парламенте. Консерваторы — либералы — Единая Россия — демократы? О, это всё барские утехи секретарей обкомов.

21 мая, четверг

<…> Весь день, пока ездил на метро, читал прелестно изданный у нас в институте небольшой альманах кружка «Белкин», который ведёт Алексей Антонов. Здесь собраны рассказы «любителей», но и есть рассказ Алексея, укрывшегося за прозрачным псевдонимом Антон Антенов. Самое главное, что в этих рассказах, написанных не без маргинальных страстей, всегда есть собственно рассказ, судьба человека, небольшой, хотя, подчас,

и трагический сюжет. Это то, что наша литература почти забыла. Кстати, забегая по дню вперёд, уже значительно позже, встретив во дворе института Аню Кузнецову, которая сейчас в «Знамени» занимается книгами и библиографией, я спросил её, продолжает ли она писать прозу, которая у неё очень неплохо получалась. В своё время она защищалась прозой у меня и получила «с отличием». Она сдалась, прозу не пишет: «Кому сейчас нужна бессюжетная проза? Сейчас все пишут премиальную литературу». Тут же я подумал о себе, а вот я, несмотря ни на что, ничего не бросил. А ведь «Кюстин» у меня тоже литература вне явного сюжета. <…>

24 мая, воскресенье

Приехал в Москву в четыре часа, а к семи уже надо было быть на Новом Арбате, где сейчас даёт представление Геликон-опера. Конечно, если бы это было бы что-то другое, то, наверное, я бы предпочёл остаться на даче и уехать часов в семь или даже восемь. Но билеты сейчас так дорого стоят, что опера для многих почти закрыта. Да и случай был уникальный: во-первых, это был поздний Верди — «Фальстаф», опера, которую я и не знаю, и не очень понимал всегда шекспировского Фальстафа, а во-вторых, пел Форда, а это одна из главных ролей, Паша Быков, только что вернувшийся со стажировки в Америке. А потом, какое это блаженство слушать оперу или смотреть спектакль с первого ряда.

Как сильно за жизнь меняются вкусы, раньше — «Риголетто», «Травиата» ясные и затрёпанные до последней ноты шедевры. Там всё ясно и всё сразу, без особых раздумий, ложится на сердце. Они поют, а ты за певцами повторяешь слова и мелодию. Здесь всё по-другому, но так подлинно, с таким желанием рассказать не столь аффектированные, но всё равно жизненные истории, что задыхаешься от того, с каким мастерством и объёмом это сделано.

Мне кажется, что опера за последнее время сильно изменилась. Из помпезного табельного действия с песнями и танцами превратилась, как она и была раньше в Италии, в представление, в историю, в рассказ с музыкой, которая говорит, правда, ещё больше, чем слова. В отличие от предыдущего спектакля, который я слышал и видел здесь же в Геликон-опере о Григории Распутине, здесь всё живо, нарядно и по-настоящему весело. Во-первых, сам Фальстаф не гора жира, что-то вроде поющего Яншина, а весёлый, крепкий, с пузцом парень. Все другие актёры тоже ему под стать. Замечательный художник, сумевший для небольшой сцены создать занятные декорации, где условность совершенно не мешала плотскому и натуральному. Ещё с первого раза я почти влюбился в их великолепного молодого дирижёра Константина Чудовского — и элегантно, и точно, и мощно. Паша оказался великолепным артистом и пел хорошо.

Сразу после возвращения в Москву сел читать вырезки, которые, как обычно, положил мне в почтовый ящик Ашот — знает, что мне класть. Во-первых, два «скандала». Один продолжение ГИТИСовского — это о дне, проведённом Шерлингом в учебном заведении. «Уволил проректоров, затребовал себе печать и документы (некоторые потом были найдены на помойке) и приказал установить в институте селекторную связь». И, наконец: «Покинув пост ректора, Юрий Шерлинг «скоммуниздил» ключи от сейфа, где спрятана печать РАТИ и многие документы. РАТИ получила официальное разрешение взломать сейф». В этой цитате есть улов и для Лёвы Скворцова: вряд ли раньше слово, взятое в кавычки, употреблялось в каком-либо печатном органе. Кстати, «в связи с досрочным прерыванием контракта» Шерлингу заплатили 180 тыс. рублей. Второй скандал, связан с Третьяковкой — это опять в сторону любимого учреждения нашей интеллигенции. «Очередной скандал начинается в Министерстве культуры. Его вызвало письмо директора Третьяковской галереи Валентина Родионова, недавно объявившего о своей отставке. Господин Родионов обвинил министра Александра Авдеева в том, что тот вынуждал его уйти с поста директора».

И ещё новости: Мосгорсуд отказался удовлетворить кассационную жалобу адвокатов Марлена Хуциева, и он снова стал «простым режиссёром», а не новым председателем Союза кинематографистов. На 86-м году умер Александр Межиров. Я его очень неплохо помню, он профессорствовал в Лите. В заметке по поводу его смерти есть такая фраза: «Несмотря на официальное признание, Межиров никогда не стал полностью советским поэтом. Его ценили в кругах писателей-диссидентов — за его цинизм умного человека, за отдельную от советского литературного большинства позицию». Такой он молодой и такой вдохновенный на снимке!

26 мая, понедельник

<…> Утром по московскому телевидению сказали, что на каждого, включая младенца, человека в России потребляется 18 литров спирта, причём по данным международных организаций считается, что при употреблении восьми литров дальнейшее сохранение нации становится под угрозой.

Всё утро маялся, довольно случайно взял с полки книгу Руслана Киреева «Уроки любви». Потом анализировал, почему я так поступил, почему именно его книгу, и вспомнил, как недавно мне рассказали, что одна наша сотрудница-преподаватель как-то даже пренебрежительно, когда упомянули о сотрудниках нашей кафедры, вдруг сказала, «А чего особенного Руслан Киреев написал? Сейчас рассказики про любовь пишет». Надо сказать, что эту книжку Руслана я ещё по-настоящему не читал, ещё и потому, что это действительно первоначально были газетные очерки, печатавшиеся в «Труде». Вот именно, вспомнив это, я и взял в руки книжку Руслана, которую он мне подарил лет десять назад. Взял в руки и зачитался. Дело даже не в том, что я помню и любовные истории Байрона, и историю Гёте или Блока, но каков общий литературный фон всех этих рассказиков, сколько можно узнать из этих текстов.

27 мая, среда

Утренняя «РГ» принесла естественные расстройства. Объявили короткий список Большой книги. Не могу не утерпеть, чтобы не напечатать всех финалистов. Андрей Волос «Победитель», Марина Галина «Малая Глуша», Борис Евсеев «Лавка нищих», Леонид Зорин «Скверный глобус», Алла Марченко «Ахматова: жизнь», Владимир Орлов «Камергерский переулок», Ольга Славникова «Любовь в седьмом вагоне», Александр Терехов «Каменный мост», Борис Хазанов «Вчерашняя вечность», Леонид Юзефович «Журавли и карлики», Вадим Ярмолинец «Свинцовый дирижабль «Иерихон—86–89», Андрей Балдин «Протяжение точки», Мариам Петросян «Дом, в котором...» В своём комментарии Павел Басинский пишет, что «мало что известно о родившемся в Одессе гражданине США Вадиме Ярмолинце», и что «Есть очень авторитетный писатель с диссидентским прошлым Борис Хазанов, живущий в Мюнхене и недавно отметивший 80-летие». С Борисом Хазановым я, кажется, работал на радио; есть «фактически живой классик Леонид Зорин». К тяжеловесам Паша относит Славникову, Волоса, Владимира Орлова. На фотографии, естественно, Волос, Славникова и неизменный Владимир Григорьев. Эксперты, во главе которых Мих. Бутов, который, кажется, писать перестал, говорят, что в этом году явного лидера нет. Вот-то будет делёжка. Я «болею» за Орлова и Терехова, но хороша и Марина Галина <...>

28 мая, четверг

В три часа учёный совет. <...> На совете говорили об экзаменационной сессии—традиционно большое количество прогулов и много ребят, которых к сессии деканат допускать не хочет. Бессмертная, внучка Юры Визбора, в этом смысле держит по институту абсолютный рекорд. Несколько дней перед этим она внезапно появилась и канючила у меня, чтобы я помог ей сдать сессию: практически она не допущена ещё по пяти предметам. Как всегда, возник спор, по каким признакам исключать из института. И ректору, и деканату ближе отличники, а не будущие писатели. И здесь, среди отстающих студентов, среди пропускающих занятия, среди намеченных к отчислению—опять появился Антон Тихолоз. Тут я уже не выдержал и буквально заорал. Я знаю, как уязвить наше собрание: от нас ничего не останется, а Тихолоза ещё будут читать! Тут же я вспомнил и нашу замечательную отличницу и круглую пятёрочницу Елену Моцарт, у которой мы скрепя сердце приняли дипломную работу.

Что касается Тихолоза, то мне, который вечно всё забывает, недавно Руслан Киреев напомнил, каким образом мы этого парня принимали в институт. Он шёл на платное отделение, а я на собеседовании спросил у него, из каких средств он будет оплачивать свою учёбу. Парень сказал, что, в крайнем случае, продаст квартиру. И вот тут я будто бы сказал, что нам надо закрыть на всё глаза и принять парня на бюджет. Так мы и сделали. Но ведь главное, я не ошибся. У парня уже во второй раз в «Новом мире» выходит повесть.

Я постоянно последнее время думаю, что мне надо написать большой материал в газету о своих учениках и тех случаях, когда я действительно не ошибался. Когда, подчиняясь своей интуиции, я, часто нарушая правила, брал в институт людей, а они оказывались потом именно такими людьми, ради которых и был институт создан. Максиму Лаврентьеву не хватило балла, а он и сейчас уже не только заместитель главного редактора «Литучёбы», но ещё и замечательный поэт. Паша Быков никогда бы вообще без меня в институт не поступил, а оказался не только прекрасным писателем, но ещё и замечательным оперным певцом. Серёжу Самсонова с его романом ещё студентом я опубликовал в нашем научном журнале, сделав специальный номер, а ведь до этого мы никогда в этом журнале никакую прозу не печатали. Максим Курочкин почему-то решил, что ему мало одного семинара Вишневской, и каждый семинар три года сидел у меня, а теперь он звезда в драматургии. Да я ещё с пяток таких ребят наберу, для которых встреча со мной оказалась не случайной и не проходной. <...>

29 мая, пятница

Около десяти уехал в Обнинск. В машине слушал радио. Я уже давно изменил «Маяку», где по утрам какая-то активная молодёжь устраивает бытовой хипеж. <...>

Вечером посадил огурцы, рассаду которых мне дала Ниночка, соседка, и смотрел по НТВ огромную передачу «Мясо»—это о том, чем кормят, как перерабатывают, как обманывают. Удивительно наше телевидение: с одной стороны, оно поддерживает эту власть, а с другой, невероятно её унижает и даже разрушает. Государство не играет никакой роли в жизни простых граждан и организации их быта. Всё подчинено рынку и наживе, государство только хвастается, что оно чем-то руководит, оно руководит только прибылью богатых. После этой передачи мясо есть не хочется—оно кажется опасным. Но вот что я заметил: Медведев менее связан с бизнесом и более свободен от обязательств перед богатыми, его действия, именно действия, а не слова, направлены в сторону именно простой жизни. Путин весь там, где большие деньги, облик его теряет прежний блеск.

Ашот прислал сообщение, что Марлена Хуциева вывели из состава учёного совета ВГИКа. Какой конъюнктурный стыд!

30 мая, суббота

Проснулся в восемь, лёг в одиннадцать, ещё во сне, под утро, всегда думаю, что пора вставать—жалко времени, столько надо ещё сделать. Компьютер у меня буквально под рукой. Не открывая глаз, думал о смерти, всегда она ассоциируется у меня с воссоединением с В. С. С другой стороны, столько положено трудов, чтобы что-то скопить, жить комфортно, даже не так, жить, чтобы писать. А под старость надо всё это бросать, недописанное, недодуманное, как нерасчётливо я жил. Я даже с Богом не смог установить отношений, потому что главным для меня всегда была работа, а что от неё останется? <...>

Продолжение следует

Анатолий Аврутин

То ли Родина, то ли печаль…

И опять на песке блики белого-белого света,
И опять золотая небесно-невинная даль.
И светает в груди… И душа по-над бренным воздета,
И парит над тобой то ли Родина, то ли печаль…

В мир открыты глаза, как у предка—распахнуты вежды,
И под горлом клокочет: «Высокому не прекословь!»,
Сможешь—спрячь в кулачок тот
живительный лучик надежды,
Чтоб мерцала внутри то ли Родина, то ли любовь.

И придут времена, когда слово в окно застучится,
И перо заскрипит, за собою строку торопя.
Что-то ухнет вдали… Но с тобой ничего не случится,
Хоть и целился враг то ли в Родину, то ли в тебя.

И приблизишься ты, хоть на шаг, но к заветному слову,
Что в дряхлеющем мире одно только и не старо.
Испугается ворог… Уйдёт подобру-поздорову…
Если будет здоровье… И всё-таки будет добро…

И тогда осенит, что последняя песня—не спета,
Что перо—это тоже звенящая, острая сталь,
Что опять на песке—блики белого-белого света,
И парит над тобой то ли Родина, то ли печаль.

День отгорит. Сомнение пройдёт.
Иным аршином жизнь тебя измерит.
Вновь кто-то—исповедуясь—солжёт,
И кровной клятве кто-то не поверит.

Иной простор… Иные времена…
Надушённых платков теперь не дарят.
Здесь каждый знал, что отчая страна
В лицо—солжёт, но в спину—не ударит.

А что же ныне? Как ни повернись,
А всё равно удар получишь в спину.
Жизнь Родины?.. Где Родина, где жизнь?—
Понять хотя бы в смертную годину.

И ту годину нет, не торопя,
Себе б сказать, хоть свет давно не светел:
«Пусть Родина ударила тебя,
Но ты ударом в спину не ответил…»

Холодно… Сумрачно… Выглянешь,
а за окном—непогодина.
Свищет сквозь ветви смолёные
ветер… Черно от ворон.
Души, как псы одичалые.
Холодно… Сумрачно… Родина…
В свете четыре сторонушки—
ты-то в какой из сторон?
И ожидая Пришествия,
и не страшась Вознесения,
Помню, звенят в поднебесии
от просветленья ключи.
Вечер. Осенние сумерки.
И настроенье осеннее.
Не докричаться до истины,
так что кричи—не кричи…
То узелочек завяжется,
то узелочек развяжется…
Что с тобой, тихая Родина,
место невзгод и потерь?
То, что понять не дано тебе—
Всё непонятнее кажется,
Всё отдалённо-далёкое—
вовсе далёко теперь.
Вовсе замолкли в отчаянье
все петухи предрассветные.
Где соловьи?-А повывелись…
Летом—жарища и смрад.
Ночи твои одинокие,
Утра твои беспросветные,
Ворог попал в тебя, родина,
хоть и стрелял наугад.
Скрипнет журавль колодезный—
и цепенеет от ужаса.
Горек туман над лощиною,
лодка гниёт на мели.
Каждый—в своём одиночестве.
Листья осенние кружатся,
И разлетаются в стороны,
не долетев до земли.

Памяти друзей-писателей

Как летят времена!—
Был недавно ещё густобровым.
Жизнь—недолгая штука,
Где третья кончается треть…
Заскочу к Маруку,
Перекинусь словцом с Письменковым,
После с Мишей Стрельцовым
Пойдём на «чугунку» смотреть.

Нынче осень уже,
И в садах—одиноко и голо.
Больше веришь приметам
И меньше—всесильной молве.
Вот и Грушевский сквер…
Подойдёт Федюкович Микола,
Вспомнит—с Колей Рубцовым
Когда-то учились в Москве.

Мы начнём с ним листать
О судьбе бесконечную книгу,
Где обиды обидами,
Ну а судьбою—судьба.
Так что хочешь—не хочешь,
И Тараса вспомнишь, и Крыгу…
Там и Сыс не буянит,
Печаль вытирая со лба.

Там—звенящее слово
И дерзкие-дерзкие мысли.
Скоро—первая книга,
Наверно, пойдёт нарасхват…
Там опять по проспекту
Бредёт очарованный Кислик
И звонит Кулешову,
Торопко зайдя в автомат.

А с проспекта свернёшь—
Вот обшарпанный дом серостенный,
Где Есенин с портрета
Запретные шепчет слова,
Где читает стихи только тем, кому верит
Блаженный…
Только тем, кому верит…
И кругом идёт голова.

Что Блаженный?—И он
Перед силой природы бессилен.
Посижу—и домой,
Вдруг под вечер, без всяких причин,
Позвонит из Москвы мне, как водится,
Игорь Блудилин,
А к полуночи ближе, из Питера,
Лёва Куклин…

Неужели ушло
Это время слепцов и поэтов?—
Было время такое,
Когда понимали без слов.
Вам Володя Жиженко
Под «Вермут» расскажет об этом…
И Гречаников Толя…
И хмурый Степан Гаврусёв…

Не толкались друзья мои—
Истово, злобно, без толку.
И ушли, не простившись—
Негромкие слуги пера.
Вот их книги в рядок,
Всё трудней умещаясь на полку.
Там и мест не осталось,
И новую вешать пора…

Пусть скачет жених—не доскачет!
Чеченская пуля верна.
Александр Блок, 1910 г.

Четвёртый час… Едва чадит жасмин.
Бессонница… Рассвета поволока.
И чудится, что в мире ты один,
Кто этакой порой читает Блока.

Причём тут Блок? Талантливый пиит,
Скончался молодым… В своей постели.
Тем лучше—как Есенин, не убит,
Как Мандельштам, в ГУЛАГе не расстрелян.

У нас проблемы новые, свои,
И с блоковскими сходятся едва ли—
Кто пробовал то «золото аи»,
Кто незнакомкам розы шлёт в бокале?

Но это Блок!.. Прозрение не лжёт,
Какие бы ветра вокруг ни дули.
Прошло столетье… Вновь десятый год…
Не доскакал жених… Чечня… И пуля…

В «пятой графе»,
где о национальности
Воют анкеты
с наркомовских лет,
Я б начертал, презирая банальности,
Гневно-торжественно:
«Русский поэт».
И осторожно,
чернилами синими,
В карточке,
где обтрепались края:
«Русский поэт… Вывод сделал консилиум…»—
Вместо диагноза
вывел бы я.
А упаду
в одинокой дубравушке,
Бледным лицом да на заячий след,
«Русский поэт»,—
пусть напишут на камушке,
Просто, без имени:
«Русский поэт»…

Владимир Макаренков

Я в храм вошёл

Наказание

Как грустно, я не спал давным-давно
Так, чтобы мир во сне перевернулся,
И я на горнем облаке проснулся
Со всем небесным царством заодно.

И был бы я большой, как шар земной.
В себя вмещал бы горы и долины,
И воды, и подводные глубины,
Лёд полюсов и африканский зной.

И говорил бы я на языке
Зверей и птиц, и земноводных гадов.
И слышал бы я даже звук раскатов,
Рождающихся в хлебном колоске.

Так часто в детстве, озирая дом,
Как небо, в пробуждении счастливом
Я ощущал себя огромным миром.
Но, повзрослев, стал атомным ядром.

Не избежать реакции цепной,
Запущенной от райского изгнанья.
За первородный грех от наказанья
Не откупиться никакой ценой.

В. С. Баевскому

*«Они победили его кровью Агнца
и словом свидетельства своего, и не
возлюбили души своей даже до смерти»*
Откровение. 12:11

В любви скорбя о жизни всей
Изгнанником земного Рима,
Не возлюби души своей
Во имя Иерусалима.

Мир по-звериному ревёт
И рвёт материю вселенной.
Но царство Божие грядёт
Звездой двенадцатиколенной.

Вкус дольней соли на губах,
В глазах—кручинная отрава,
В руках и под ногами—прах—
Вот сердца скорбная оправа.

Колокола семи церквей
В крови гудят неутолимо:
Не возлюби души своей
Во имя Иерусалима.

Мирозданье—как сеть Интернет.
В нём живая душа виртуальна.
Лишь у Бога в нём адреса нет,
Он один существует реально.

Я в пространство кричу и стучу
Глыбой сердца, как будто по раме.
Я до Бога добраться хочу
И увидеть весь мир на экране.

Но боюсь, что экран этот чист,
Как затёртый веками папирус,
Что вселенский компьютер завис,
Распознав человеческий вирус.

Свобода и рабство

Судьбу испробовав с ножа,
У церкви мёрзли три бомжа
И стайка нищенок убогих.
И я спросил:
— Скажи, душа,
Свобода разве хороша?
— Да, хороша.
Но не для многих.

Ища земным делам оплот,
Молиться шёл честной народ.
И щедро сыпал подаянье.
И я изрёк:
— Блажен ведь тот,
Кто милостыню подаёт,
Свободу чтя, как сострađанье.

Душа одёрнула:
— Предаст!
Свободу за казну продаст,
За власть и славу. Хоть сегодня…
Лишь тот свободен, кто отдаст
Последнее и тем воздаст
Во славу царствия Господня.

Я оробел, как в судный час:
— Душа, а ты не Божий глас?
И, осознав головотяпство,
Я в церковь поспешил, крестясь:
— Господь наш, неразумных нас
Помилуй и прости нам рабство…

Я в храм вошёл

Я в храм вошёл. И было дивно мне
Проникнуть сердцем в пенье хоровое,
И осознать желанье мировое,
Живую душу нянчить на земле.

Читал молитву иеромонах.
И я вослед возвышенно крестился.
И святый крест таинственно светился,
Как кровяной потусторонний знак.

Сказал мне спутник, взор мой отыскав:
«Вы как? По одному… на причащенье»…
И принял лоб мой влажное крещенье.
И целовал я праздничный рукав.

И был уж я не я. А ввысь и вширь
Росли любви вселенские объятья.
И были мне насельники, как братья.
И был мне домом правды монастырь.

О, как же долго я искал оплот
Душе в миру, прекрасном, но жестоком!
И вот стою, открывшись, перед Богом.
И болью Слова переполнен рот.

Всё начинать мне с чистого листа.
Я и во сне шепчу одну молитву:
«Господь, даруй мне вышних сил на битву
Во имя славы веры во Христа».

Ульяна Лазаревская

Тайны острова Лапута

«Формализм — порочен», — утверждаю я. И готова усилить ноту: нет в искусстве ничего более порочного, нежели формализм. Всякое выпячивание формы, «выжимание» смысла из пустоты посредством педалирования формы есть разложение искусства, гниль, смерть, пагуба. Даже самые рьяные реформаторы стиха опытом жизни возвращались к классически ясной структуре текста. А если не возвращались, то… плохи становились их дела. Примеров — тьмы и тьмы. И не буду я тыкать пальцем в самые близкие по времени и самые узнаваемые… Ибо в неразрывном единстве содержания и формы «рулит» (как любит изъясняться нынешний постпубертат) именно и всегда Содержание (да! с большой буквы!). Кажется, аксиома. Ан — нет.

Вот молодой критик, Борис Кутенков, настойчиво продвигаемый почему-то многоуважаемым «ДиН»-ом, из номера в номера обливает презрением «почвенников» и «традиционалистов»… Финальная фраза его последней статьи обличает в авторе… дикаря-фанатика? несчастное дитя цивилизации, перепичканное нитратами? Вдумайтесь только: «Литературный мир строится по литературным законам, и попытки выстроить его по каким-то другим законам — патриотизма, православия — заранее обречены»[1]. Видимо, «литературный мир» Кутенкова вроде Свифтовского острова Лапута нечувствительно витает над землёй, вдыхая и выдыхая исключительно Бродского и Поплавского… И можно ли упрекать такого «небожителя» в том, что ему не ведомо, как, например, кладётся изба? но вот уличить другого художника в «развесистой клюкве» молодой лапутянин готов в любую минуту. Это вперёд, это да!

Наша стихотворная гармония
Улеглась венцами общежития, —

пишет Владимир Подлузский.[2] «Какое общежитие имеется в виду, и как можно «улечься венцами»? — недоумевает Кутенков. Так и хочется посоветовать молодому критику поучаствовать в строительстве русской пятистенки, чтоб он своими глазами узрел, что такое «венцы» и как они укладываются.

Впрочем, патриотизм, православие и прочая ерунда, с точки зрения эстета Кутенкова, — не предмет поэзии. Этими глупостями занимаются только провинциалы. Ну, что с них взять?! Слава Богу, есть у нас Кутенков, без него мы никогда бы не узнали, что в бедствиях нашей литературы всему виной — провинциализм, традиция и смысл как таковой (смысл подобные нашему лапутянину деятели ещё — с презрением! — именуют «пафос»). Видимо, этому и научили юношу в Литературном институте (замечу — имени Алексея Масимыча Горького!!!), где он только что с отличием защитил выпускную работу.

Честно говоря, очень хочется осведомиться у главного редактора журнала «День и ночь», госпожи Саввиных, чем обусловлено пристрастие «ДиН» к лапутянским опусам? Это что — конъюнктура у вас теперь такая? Ай-яй-яй… а мы-то думали!

1. Борис Кутенков. Лирическая дерзость и литературные ортодоксы. // «День и ночь», № 2, 2011.
2. «Наш современник», № 11, 2010 г.

Алексей Дюпин

На шарике над бездной

Последним числом ноября,
Свистя промороженным телом,
От полюса в наши края
Полярная ночь прилетела.

Должно быть, напала на след
Последних остатков рассвета-
Теперь лишь искусственный свет
Вернёт очертанья предметам.

Не принятый ею в расчёт,
День отсвет былых полномочий
На час-полтора протолкнёт
Под двери, закрытые ночью.

Синюшной, озябшей рукой
Недолгое пламя затеплит
И снова уйдёт на покой
В дремучие снежные дебри.

Лишь окна да фары машин,
Тоннель, темнотой обнесённый,
Пробьют в омрачённой глуши.
Да звёзды—во мраке Вселенной…

Лечу давно, а дна не видно,
и что-то изменить нельзя,
и усмехаются ехидно
мои давнишние друзья.

Следят за гибельным сюжетом
издалека и свысока…
А где же добрые советы
или же помощи рука?

На что мне как-то очень дружно
дают понять: «Ты это брось…»
Как говорится: «Дружба—дружбой,
а табачок и деньги—врозь».

Не люблю я водку как напиток—
Предпочту портвейн или коньяк,
Но привык к ней, как к орудью пыток
Садомазохист или маньяк…

Душа не исчезает без следа,
всевышнему творцу покорно внемля—
она перетекает, как вода,
с земли на небо и опять на землю…

До беспамятства люблю
жизнь с начинкой сладко-горькой:
сколько выпито пилюль,
пролито бальзамов сколько…

Сколько счастья напрокат
примерял с плеча чужого…
Вот и солнце на закат,
да не сводятся ожоги.

Сколько горестных услад
знал наощупь и воочью…
Чистой веры паруса
измочалил ветер в клочья.

Но по-прежнему люблю
жизнь, что явно или тайно
дарит отдых и приют.
Жаль, что веры не латает.

Сердце под лопатку тычет
и стучит начистоту:
мы становимся практичней,
несмотря на суету.

Жизнь оценивая трезво,
потихонечку вершим
продвижение прогресса,
эволюцию души.

Но при этом незаметно,
чтобы всё свести на нет,
охлаждается планета
миллионы долгих лет.

Остывает постепенно…
Только, прелести полна,
для праматери Вселенной
в детском возрасте она.

И, как девочка на шаре,
мир на лучшей из планет
под ногой устало шарит
равновесия момент.

Очень просто оступиться,
хоть давно к тому привык.
Полагают лишь тупицы,
что останутся в живых.

Жизнь оценивая трезво,
всё же верим в миражи,
а на шарике над бездной
чутко девочка дрожит…

Валерий Кузнецов

Метемпсихозы

Встреча Нового года в Тутончанах

Я вышел на крыльцо и вдруг увидел Новый год,
Он к дому шёл навстречу мне по тропке.
«Ты человек?»—спросил он, улыбаясь во весь рот.
Сказал я: «Да, но я в командировке.

Как мне ни жаль, но я в командировке».

«А что это такое?»—удивился Новый год,
И я ему отрезал по-простому:
«Мир делится давно на тех, кто дома водку пьёт,
И тех, кто водку пьёт вдали от дома,

А я сейчас как раз вдали от дома».

«Раз ты вдали, то вспомни о друзьях,—воскликнул он,—
Ведь чувство локтя так присуще людям!».
И Новый год завёлся, словно старый патефон,
А я ему сказал: «Давай не будем.

Давай о чувствах говорить не будем.

Ты прост, а наша сущность раскрывается хитро,
Она, как кошка, прячет в лапах когти:
Когда тебя твой ближний двинет локтем под ребро,
Тогда поймёшь, что значит чувство локтя.

Ну, а пока молчи про чувство локтя».

У малыша слезами переполнились глаза,
И стало мне от этих слёз неловко.
Он прошептал: «Тогда зачем я здесь?» А я сказал:
«Наверно, как и я, в командировке,

Мы в этом мире все в командировке».

Малыш, вздохнув печально, произнёс: «Ну, я пойду».
И больше я его нигде не видел.
Ох, и устроит пакость он мне в нынешнем году
За то, что в прошлом я его обидел.

А я ведь зря его тогда обидел.

Из Джо Уоллеса

Рыжая девчонка

Я был мальчишкой и умел в лесу тропу найти,
Уху варить и слушать птиц, и яблони трясти.
Девчонку рыжую к реке мой тихий свист манил,
И каждый вечер для меня весёлым Маем был.

Июль пришёл, а с ним пришли и зрелости года,
И всё, что было у меня, я отдал ей тогда.
Но как-то ночью за рекой услышал песню я,
И рыжая моя ушла—ушла Любовь моя.

Сейчас Сентябрь, и я старик, и мне пора уйти.
Нет птиц в лесу, и мне в траве тропинки не найти.
Река у ног моих звенит, а там—а за рекой
Девчонка рыжая свистит и машет мне рукой.

Как-то раз в июньскую ночь на Сосновом, а может в Юрге
Стало мне от шума, невмочь и спустился я тихо к реке.
Костерок возле берега тлел, у огня пел какой-то пацан.
Пригляделся я и обомлел: не пацан это был, а я сам.

Пять десятков лет скинуть бы с плеч, и сомнений нет—вылитый я:
Те же руки, глаза и речь, даже, вон, гитара моя.
«Где ж ты прятался столько лет? Я такого себя позабыл».
А он, подлец, смеётся в ответ: «Я всю жизнь с тобой рядом был.

Да, старик, ты совсем сдаёшь: растолстел, обрюзг, поглупел.
А ведь песни, что ты поёшь, это я за тебя их пел.
Я с тобой по кострам ходил, я учил, кому что сказать.
Ты ж общительный, как крокодил, пары слов не можешь связать».

Надоел мне его этот звон (нынче наглые все они),
И сказал я юнцу: «Пошёл вон! И гитару мою, кстати, верни».
Больше я его не видал. Ничего: ем, пью и дышу.
Может, всё мне приснилось тогда? Жалко, песен с тех пор не пишу.

Баллада Франсуа Вийона, написанная в день изгнания из Парижа 8 января 1463 г. и до сих пор нигде не найденная

(к спектаклю Ю. Эдлиса «Жажда над ручьём»)

Я почудил довольно, всё это было давно:
Было мне очень больно—вам было просто смешно.
Ах, как бывало стыдно—а вам было наплевать.
Видно, пора мне, видно, лавочку закрывать.

Головы тлеют на кольях—пусть поглазеет народ.
Милое Средневековье вместе со мной не умрёт.
Вьюга в ночи натужно будет нас отпевать.
Видно, действительно нужно лавочку закрывать.

Вряд ли потомки будут много умнее меня,
Вряд ли они забудут меньше, чем сохранят.
Люди живых боятся—на мертвецов им плевать.
Видно, пора мне, братцы, лавочку закрывать.

Жил я во время оно—всё это было давно.
То, что звалось Вийоном, имя пустое одно.
Тело моё истлело—этого не миновать.
Ах, как оно не хотело лавочку закрывать!

Из цикла «Песни Агасфера»

Я Вечный Жид. То, что для вас эпоха—
Неделя для меня по моему календарю.
Я Вечный Жид. Я видел очень много,
И мне на вас плевать, и это я вам говорю.
Исчезнет жизнь, и прах закружит ветер,
Моря возникнут новые из человечьих слёз.
Я Вечный Жид—единственный свидетель
Того, как идеалы превращаются в навоз.
Средь вас, чужих, безлик, неслышен, нем я.
У вас Любовь и Смерть по своему календарю.
Я Вечный Жид, невидимый, как Время.
Мне страшно одному, и это я вам говорю.
Давно забыт, один на белом свете,
Тепла не жду, любви не жду, дорога далека.
Я, Вечный Жид, несу своё бессмертье
Туда, где в тёмной синеве кончаются века.

Юрий Годованец

Школа нелегальной красоты

Формула поста

Иногда я испускаю дым,
Иногда тоску я испускаю,
Что, как был, остался молодым,
Закоптился вечностью—лишь с краю…

Никаких фантазий и надежд!
В свете дня бессильна ночи масса.
Кто освоил звательный падеж,
Может—и в коптильне—жить без мяса.

Вдох и выдох

Война и мир… Хождение по мукам…
Отцы и дети… Слово о полку…
Давая волю Мухам-цокотухам,
Я тоже парю, жарю и пеку.

Кто виноват?.. Что делать?.. Есть вопросы—
Чтоб, отвечая за любовь-морковь,
Из песни Слово выбросить и вбросить—
Минуя промежуток—сразу в кровь!

«Пергаменты горят, а буквы улетают»—
Назад во тьму, к себе на облака.
И тот, кто жжёт, тот эту тайну знает,
Хранит её, единственный пока.
Сквозь сито лет проглядывают соты,
Мёд, воск, прополис, молочко, перга.
И в адском пламени есть умные пустоты
Для диссидентов кисти и пера.

Ты, кажется, ждала меня в берлоге
и горячо мечтала о скитальце.
Загривок холодит ошейник строгий,
мерцает драгоценный пульс на пальце.
Я не пойму—собака, или кошка,
иль здесь клубятся неземные змеи?
Меня ты нежно подожди немножко,
пока снимаю все твои камеи.
Была нелёгкой дальняя прогулка,
я долго брёл по кромке океана.
Чьё сердце тут колотится так гулко,
что тишина становится, как рана?
И снова я прикладываю к уху
стальной курок дыхательного нерва.
И мне даёт—ту и другую руку—
поцеловать Милосская Венера.

Зеницы под сенью

Солнце рвётся к нам из райской чащи,
Оставляя на колючках лет
Нестерпимый, яростный, сладчайший,
Изливающий Себя нетварный свет.

Это чудо вовсе не для сытых,
Зря толпится, тень роняя, плоть.
Как бы ни был близок преизбыток,
Не хватает мне Тебя, Господь!

Винтовая лествица

Грех, господа, и разведён, и вдов,
И—навсегда—одновременно холост:
Святоотеческий чудной порядок слов—
Тому залог, как и чудесный голос.

И как моя бы ни металась кровь,
На Всенощной, вращая ворот суток,
Они соединяют вместе вновь
Эмоции и Твой, Господь, рассудок!

Под ладонью даль—как на ладони.
Прямо по дорожке световой
можно перейти простор бездонный,
справиться с ретивой тетивой.
То прибой—что уличная драка,
то—трясёт повинной головой.
Отряхнув стопы земного праха,
с красного мы входим в голубой,
а потом из голубого—в белый,
где цветёт сирень без облаков
и кусочком солнечного мела
разграфлён фиалковый альков.
Есть ли выход за пределы света—
на причал начальной черноты?
Ангел по верёвочной—из ветра—
носит в море новые цветы.

Вам, кто, лёгок на помине
и тяжёлый на подъём,
сохранил в хорошей мине
запрещённый стол и дом,
кто на свежем минном поле
рвёт опасные цветы,
кто учился в нашей школе
нелегальной красоты!

Осеннее несение креста

Может, чудо жизнь удочерило.
Либо сам Господь усыновил?
Никакие не нужны перила
На святых ступенях синевы!

Там все те, кто, вдруг покинув стаю,
В новом тренируется строю.
Некоторых ангелов я знаю
И легко до пяток достаю.

Только нет свободной там ступени.
Очередь—живая—до небес!
Души, поспевая на Успенье,
Постепенно сбрасывают вес.

В лесах распаренной нирваны—
Аркады стрельчатой ирги.
Лечу, но словно оловянный,—
На этот свет не с той ноги.
А лес—совсем не деревянный—
Звук декламирует живой,
И хвойные лесные ванны
Смывают ропот вековой.
Душа, как в сауне томится,
И дух смолистый—как припой,
А на серебряных ресницах
По лесу бродит дождь грибной.
Стреляют шишки по колёсам,
Играют дуры в дурака,
И достаются важным осам
Останки пира пикника.
Но берег спаривает пары
Не только свадебных стрекоз,
И открываются амбары
Недекларированных поз.
И Бог расстроен на два тома,
Семь пятниц и девятый вал.
Когда я вылетел из дома,
Я словно дома побывал.
Но стоит Богу оступиться
Среди потерянных подков,
Гром вяжет дождь на грозных спицах
И собирает грибников.
Спасибо, лес, спасибо, поле,
Что дали Богу здесь простор
И столько воздуха, и воли,
И в рощу спрятали топор.
Не поминайте, ветры, лиха,
Сушите слёзы Ци Бай Ши.
Не отлипает облепиха.
Хоть вирши заново пиши!

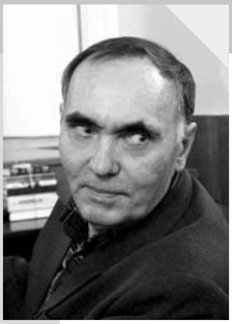
В Помпеях все сгорели заживо
и не оставили кормил…
Как долго я тебя приваживал,
глазами зеркало кормил.
Поил слезой, делился стужею
и пресмыкался, словно уж.
Шуршало зеркало бездушное
переселениями душ.
Мутнело, как чело оракула,
сдвигая параллелограмм.
Вдруг мне—в каракуле каракулей—
пришло письмо из амальгам.
Тем пеплом по краям измурзано
и—видишь—вскрыто тут и там…
И в нём всегда играет музыка,
что так приваживает спам.

Воспитание

Когда, возвращаясь с обочин,
Душа озаряла жильё,
Как шла тебе чистая почта—
Любви лицевое шитьё.
Я был и сестрою, и братом;
И мачо, и друг, и жиган.
Ложились и думали рядом,
И образ бельё обжигал.
Зачем я поймал полнолунье
На старом своём Маяке?
Юродивый и полоумный,
Сварился в твоём молоке
И вышел и сильным, и новым
И, дал мне Господь, молодым!
И стал разведённым и вдовым,
Женатым и холостым.
Ты—нет, чтоб сидеть одесную
Тихоней тишайших тихонь—
Открыла заслонку печную
И бросила песни в огонь.

Заехав фарами за роуминг
Из города куда-то прочь,
В сугробах сумрачных черёмух
Благоухала наша ночь.

И от заката до рассвета,
Покинув Киев и Москву,
Река переплывала лето
Под небом «Слова о полку».



Александр Щербаков

Национальный клад

Рассказы о наших помощниках

Мастерок

Вместо предисловия

Назло нынешним ценам на овощи-фрукты, прыгающим, как зайцы, решил я тоже взять за городом участок земли. Сам спроворил садовый домик из бруса, покрыл шифером — всё чин-чинарём. Однако за печку взяться побоялся, больно тонкое дело. Надо было найти печника. Но где? Ремесло это стало таким редким…

И вот приехал в гости племянник жены Санька Кононов из Хакасии, из сельца Марчелгаш. Он только закончил девятый, и у него начались каникулы. По-отрочески жидок, голенаст, но держится по-взрослому. В субботу поехал с нами на дачу. Придирчиво оглядел мою избушку, работу одобрил, но заметил, что печи нет.

— Ищу мастера, — развёл я руками.

— Если кирпич есть, можно попробовать, — сказал Санька.

— Что попробовать? — не понял я.

— Печь сложить. Мы с папкой клали не одну — и дома, и людям, — как о чём-то обыденном сказал Санька.

А я было засомневался: как доверить такое пацану? Ещё кирпич в бой изведёт. Но потом вспомнил об его отце Владимире, сельском мастере на все руки, который ныне фермерствует успешно, и решил рискнуть, рассудив, что при таком наставнике и ученик не должен подкачать.

Санька впрямь оказался недурным печником. Сначала он затребовал, так сказать, пожеланья заказчика к проекту будущей печки. Я нарисовал что-то вроде куба с трубой.

— Слишком примитивно и неэкономично, — сказал Санька. — Выведем над плитой обогреватель с несколькими колодцами, улучшим отдачу тепла, и красивее будет.

На следующее требование мастера показать инструмент и материалы я выволок плиту, вьюшку, лопату, молоток. Оценив всё это одним взглядом, Санька спросил:

— А где мастерок?

Увы, мастерка у меня не было. Я предложил взамен широкий нож-косарь, но Санька только усмехнулся:

— Мастерок ничем не заменишь.

Пришлось смотаться на электричке в город, обойти десяток магазинов, но всё же купить этот «незаменимый» жестяной треугольничек с деревянной ручкой. Когда вернулся, Санька уже прикидывал в кирпиче основанье печи. Он взял у меня мастерок, крутнул им в воздухе раз и два, как бы черпая кашу из невидимого котла, и одобрительно бросил:

— Пойдёт.

Работая на подхвате, я подносил кирпичи, в вёдрах таскал из-под обрывистого берега пруда тяжелющую глину, сдабривал её песком и замешивал растворы. Дело спорилось. Но когда уже вывели колодцы, Санька, заглядывая вперёд, заявил, что надо будет обмазать запечную стену, для чего потребуется особый раствор, более вязкий.

— Отец для связи добавляет конского навоза, — сказал он.

С тоской огляделся я вокруг. До ближайшего села, где были лошади, километров пять. Но делать нечего: слово мастера — закон. Пошёл через горы, леса и болота за конскими «яблоками». Вернулся счастливый, с драгоценным грузом в заплечном мешке.

А Санька между тем приготовил новое задание: духовку найти. Легко сказать, но кто её потерял? Отправился за огороды на свалку, где видел однажды обострённым глазом дачника-строителя нечто похожее на духовку. Жестяная коробка с дверцей оказалась довольно прочной, и Санька быстро впаял её в печь. Как тут и стояла!

На второй день к вечеру печь была готова. Дело ускорило моё рационализаторское предложение: завершить дымовой ход асбестобетонной трубой. Мастер, правда, не советовал, ибо такие патрубки дают трещины при перегреве, но, видя, что кирпичей всё равно не хватит, согласился.

Наконец, он отдал последнее распоряжение:

— Ищите дрова — начнём испытания.

Заправив топку щепой и стружками, я с волненьем поднёс горящую спичку. Огонь перепрыгнул с неё на тоненькую лучинку, потом — на другую, третью. Санька открыл вьюшку пошире — пламя накренилось, потянулось внутрь печи. За ним устремился и дым. Тяга получилась на славу. Я невольно залюбовался Санькиным произведением. Пропорции печки были удивительно соразмерны. В плите, окаймлённой железным уголком, в высоком обогревателе, в трубе с кирпичным венцом у потолка — во всём чувствовалось изящество, доступное только мастеровитой руке.

Печь быстро нагревалась. Буроватый раствор стал на виду подсыхать, приобретая кирпично-оранжевый оттенок. Верхний бортик обогревателя юный мастер украсил этаким зубчатым гребнем, выложенным из обломков, и теперь он выделялся особенно рельефно.

— Как Кремлёвская стена, — пошутил Санька. Но в голосе я уловил горделивую нотку. Что ж, он имел право гордиться своей работой.

Санькина печь уж который год служит исправно. А в моём инструментальном ящике до сих пор хранится мастерок. И когда попадается на глаза, я с неизменным удивлением думаю о том, какие чудеса может творить эта нехитрая штуковина, если оказывается в умелых руках. Всё подвластно мастерку — от простой русской печки до великолепных дворцов, которые называют застывшей музыкой. Уметь держать свой мастерок в руках — великое дело. Недаром в слове этом заключён тот же корень, что и в гордом звании *мастер*. А мастер — везде властен, говорит русская пословица.

…И вот после того как написал я эту незатейливую историю с мастерком, мне, помнится, впервые пришла в голову мысль, что с подобным благодарным чувством стоило бы рассказать не только о нём, но и о других инструментах, окружающих нас, помогающих нам и в изрядных ремёслах-рукомёслах, и в заурядных работах по дому, по хозяйству, во саду и в огороде. Обо всех, конечно, не расскажешь, их слишком много, но можно попытаться хотя бы о самых привычных наших помощниках, о тех, которые по-учёному называются орудиями труда, в чиновно-деловом мире — инвентарём, в военном деле — шанцевым инструментом, а в обиходе — просто подручным. И, наверное, не только потому, что находится всегда под рукой, но и потому, что в разных наших работах все эти топоры и пилы, лопаты и вилы, грабли, косы и серпы являются словно бы продолжением наших рук… Они сопровождают нас всю жизнь, оставаясь незаменимыми даже при всех нынешних чудесах технического прогресса и, право же, заслуживают доброго слова.

Пора топора

1.

Не дал бы Бог топора, так и топиться пора… От поры до поры все топоры, а пришла пора — нет топора… Семь топоров вместе лежат, а две прялки врозь… Кланяется, кланяется, придёт домой — растянется… В лесу раздавался топор дровосека… По реке топор плывёт…

Сколько их, пословиц и присловий, сказок и присказок, шуток и прибауток, крылатых слов и афоризмов, связано с топором! И всё потому, что это самый распространённый и самый необходимый инструмент в хозяйстве, особенно у нас — в лесной, деревянной России. Недаром ещё одна русская пословица говорит: топор — всему голова.

В нашем деревенском дворе под навесом была вкопана комлевая чурка, поставленная на попа. Отец тесал на ней какие-нибудь колья да черенки, а мать по осени рубила голенастых петухов. При чурке всегда был топор. И вот однажды (было мне тогда лет шесть, не больше) я тоже решил помахать топориком. Положил на чурбан палку, двумя руками поднял увесистый инструмент и резко опустил. Палка осталась целой. Топор её не задел. Он лишь скользнул по краю чурбака и въехал мне в колено. Страшная боль. Кровища. Рёв на всю деревню…

Мать запеленала мою ногу полотенцем и понесла меня к фельдшеру. Тот взглянул на рану и присвистнул: «Фийу, в самую чашечку! Немедленно в райбольницу! Боюсь, на всю жизнь калека: чашечка редко срастается».

Ни в какую больницу меня не повезли. Лечили своими средствами: кровь заговорила бабка Бобриха, трав дала тётка Липистинья, отец добыл парового дёгтя, а дядя Егор посоветовал прикладывать мочу. Шкондыбал я долго. Меня уже было прозвали стомоногим, но со временем чашечка всё же срослась. Нога стала гнуться. И до сих пор, слава Богу, служит мне исправно. Правда, вот уже более полувека ношу я на правой коленке широкий и длинный, через всю чашечку, шрам-рубец, но он меня не беспокоит.

С того дня мне бы возненавидеть все топоры на свете и обходить их за версту, но я, наоборот, полюбил этот с виду нехитрый, но такой сподручный и ловкий инструмент. У отца было семь топоров. Как говорится, на все случаи жизни. Они стояли в амбаре вверх топорищами в ряд, зажатые в специальных гнёздах. Я знал их наперечёт. Частенько тюкал ими, мастеря очередной самокат или самострел. А когда отец точил их, помогал крутить точило.

Мне с детства было известно, что все топоры только внешне похожи один на другой. Все они имеют железную лопасть, или полотно, с лезвием, обух с проушиной и деревянное топорище-рукоятку, изогнутое особым образом. Но на самом деле топоры очень разные. У каждого своя служба, своё назначение, а это отражается и на их форме. Всех топоров нам не описать, но наиболее ходовые давайте вспомним, хотя бы с помощью Даля.

2.

Самый знатный среди топоров, конечно, плотницкий. Понимающий толк человек сразу отличит его по довольно широкой, раструбистой и тонкой лопасти с выдающимся острым носком. Роль этого носка понятна. Он позволяет, кроме рубки или тесания всем лезвием, сделать более тонкую работу — продолбить пазик, зачистить уголок, словно бы заменяя долотце. Сточен плотницкий топор будет обязательно полого, для «вязкости», то есть для того, чтобы глубже уходил в бревно или плаху.

Впрочем, вязкость зависит не только от заточки, но и от качества металла. Теперь жалеют на топоры доброй стали, делают их из рядового, мягкого металла, потому они быстро тупятся и вообще плохо идут в дерево. Не случайно у хорошего плотника обязательно найдётся старинный топор, уже изрядно сточенный, но всё же более ценимый мастером, чем нынешние.

Помню, и у отца был такой старинный, «николаевский» топор. Он им очень дорожил. А когда однажды нерадивый сосед, попросив этот топор поработать, зачем-то ударил обухом по чугунной кобылине, да так, что в основании проуха появилась сквозная трещина, отец чуть не заболел с горя. Слава Богу, подсказали добрые люди, что в мастерских районной РТС появилась какая-то особо прочная сварка. Отец поехал в райцентр

и заварил-таки трещину, а затем ещё сровнял, сточил шов на наждаке. «Николаевский» топор был спасён. Он и запомнился мне таким — с поперечным шрамом от сварного шва, чем-то напоминающим тот, что я ношу на коленке.

Весьма уважаем среди мастаков по дереву и столярный топор. Его ещё зовут мастеровым. Этот заметно поменьше размером. Если плотницким, довольно тяжёлым, обычно работают двумя руками, особенно когда имеют дело с бревном или брусом, скажем, рубят углы дома «в лапу» или «в крюк», то мастеровой топорец заведомо одноручный и относительно лёгкий. Лопасть у него тоже тонка, и заточка лезвия отлога, но того острого носка впереди уже нет. У него, скорее, будет длинная пяточка. Главное назначение мастерового топора — тесать, и здесь в ходу именно пяточка, тонкая и острая, как бритва.

Но, пожалуй, наиболее распространённый топор — дровяной, или дровосечный. Приходилось мне слышать и ещё одно его название — мужичий. Это как бы универсальный топор, что заложено даже в его форме. Он тоже сравнительно небольшой, но потолще в лопасти и в обухе и, само собой, потяжелее, чем, скажем, мастеровой. Да и сточка лезвия у него покруче будет. Одним словом, средний топор. При случае им можно и поплотничать, и постолярничать, а то и дровец наколоть, если чурки не слишком сучковаты и громоздки. Но всё же в прежние времена, когда за дровами ездили не на тракторах с бензопилой, а на лошадке с ручной пилой да с топором, в роли последнего как раз и выступал мужичий, дровосечный.

Это о нём писал Николай Алексеевич Некрасов: «В лесу раздавался топор дровосека…»

А, кстати, вам не приходилось задумываться над странностью, даже как бы формальной безграмотностью этой фразы, знакомой с детства? Ведь если сказать, что в лугах раздавалась литовка косаря или на крыше раздавался молоток кровельщика, то это прозвучит нелепо. Почему же топору позволительны такие вольности с русской грамматикой? А всё потому, что он царь среди орудий и инструментов. Всё объясняется его известностью и нашей привычкой к нему. Для нас уже и звук топора стал настолько привычен, что слился с самим топором, и нет необходимости каждый раз подчёркивать, каков и чей это звук. Потому мы запросто и говорим «раздавался топор», тогда как, упоминая все другие инструменты, вынуждены уточнять: раздавались звон косы, стук молотка, визг пилы.

Однако просто «раздаваться» и топор не всякий может. Тут поэт не зря пояснил — «дровосека». Он обозначил этим, что речь идёт именно о дровосечном, мужичьем топоре, широко известном и к тому же звучащем в самой привычной среде — в гулком лесу. Ибо невозможно сказать, к примеру, что в селе раздавался колун дровокола…

Вот мы и подошли ещё к одному топору — к колуну. Этот стоит особняком среди своих собратьев. Если у всех топоров щёки лопасти впалые, то у колуна ровные или даже выпуклые, да и обух у него заметно толще и шире. У колуна особая служба — колоть дрова, расщеплять круглые чурбаки на поленья. Это даже не топор, а скорее, железный клин на длинном черенке-топорище. Отсюда и толщина его полотна. Он часто бывает тупым (не зря тупицу порой «колуном» обзывают), даже зазубренным, но дровокола это мало смущает. Главное — вбить клин-колун в торец чурки так, чтоб она треснула вдоль волокон и разлетелась на поленья, стала швырковыми дровами.

Из специальных топоров ещё известен мясничий. Он самый огромный, самый широкий и тяжёлый. Прямо секира какая-то, а не топор. Признаться,

я даже с некоторым страхом смотрю иной раз, как орудует им мясник на базаре. Невольно вспоминаются палачи времён Ивана Грозного и купца Калашникова. «С большим топором навострённым… палач весело похаживает». Сказочные размеры мясничьего топора объяснять, видимо, нет необходимости. Чтобы одним ударом отвалить от туши стегно, оковалок или огузок, топор должен быть и широким, и веским, и острым.

Есть ещё целый ряд топоров, топориков и топорцов особого назначения, которые известны ныне разве что среди специалистов, да и то круг тех специалистов становится всё уже. Например, бочары пользуются небольшим сподручным топориком, который так и называется — бочарный. У сапожников раньше был топорец ещё меньших размеров, они им били баклушки, то есть кололи отпиленные от чурки колёса на ленточки-щепы, из которых нарезают деревянные шпильки. У моего отца Иллариона был двоюродный брат Лавриин, превосходный сапожник, живший в городе Минусинске. Когда он за семьдесят вёрст приезжал к нам в Таскино, чтобы «обуть деревню», то привозил с собой и этот топорец, носивший соответственное название — баклушный. Иногда доверял и мне заветным инструментом «бить баклуши», приучая, вопреки переносному смыслу этого выражения, не к лодырничеству, а к труду.

У старых ветеринаров-коновалов видел я и совсем уж редкий, какого теперь, наверное, даже по музеям не сыщешь, — кровопускательный топорок. Да, так и звали его — кровопускательный топорок. Коновалы им кровь «отворяли» у больных лошадей.

Ну, были ещё боевые топоры, служившие уже не орудиями, а оружием, — алебарды, бердыши, протазаны, чеканы… Но это, как говорится, из другой оперы. Их я видел только на картинках, да и то не все, поэтому и говорить о них не буду. У нас разговор о топоре — мастеровом и обиходном инструменте.

3.

Как я уже сказал, у отца водилось семь топоров. Он был по дереву мастер. Я же и в подмастерья едва ли гожусь, потому держу на даче всего три топора. Они, конечно, все «массовые», с конвейера, и делить их на классы затруднительно, но всё же с определённой долей условности один я отношу к плотницким, другой к мастеровым, а третий к дровосечным. К сожалению, первые

два лишь по форме близки к своему назначению, а содержание у них неважнецкое—они не идут в дерево, «невязкие», ибо сделаны из слабой стали. И, честно говоря, я редко беру их в руки. Любимец мой—третий топор, дровосечный, мужичий. Если отец любимый топор называл «николаевским», то я называю свой «сталинским». И неспроста. Дело в том, что он изготовлен в 1953 году, когда Иосиф Виссарионович приказал долго жить. Откуда у меня такой топор?

Лет, наверное, тридцать назад мы с приятелем, бывшим институтским однокашником Володей Агеевым, ныне покойничком уже, земля ему пухом, купили в селе Сорокино под Красноярском деревенский дом. Настоящий, бревенчатый, с капитальной пристройкой, но больно уж старый, ушедший по колено в землю. Особенно ветхой была пристройка, и мы решили её вообще раскатать. И вот когда ломали чердак, в куче хлама нашёл я две занимательные вещи—ржавый наган и топор. Сынишка мой, младшеклассник, ухватился за наган, а я не менее обрадовался топору. Правда, он тоже был подёрнут ржой, как окалиной, и уже со сточенным, изношенным носком, но я сразу понял, что это всё равно ценный топор. Он был с округлыми кромками, «литой», как говорили у нас в селе, с язычком в основании проуха, а главное с клеймом на лопасти, что указывало на «фирменность» его. Мне сразу вспомнился герой популярного тогда можаевского романа «Житие Фёдора Кузькина», который гордо говорил про свою косу: «Два кляйма!» Пусть на моём топоре было одно клеймо, но всё же…

Володя, человек городской, посмеялся над моей находкой и посоветовал выбросить этакий хлам. Но я привёз топор домой, снял с него окалину на наждачном точиле, выправил лезвие—и топор ожил, заиграл, засветился. На клейме же, очищенном от ржавчины, проступил тот самый год изготовления—«сталинский».

Вот уже три десятка лет верой и правдой служит мне «сталинский» топор. И, кстати, когда мы продали старый дом в Сорокино, то именно этим топором срубил я себе новый дачный домик в Пугачёво. Притом срубил почти один. За шесть дней. На седьмой—отдыхал. Как Бог, создавший мир за такие же сроки. Но топор мой не только рубит, он прекрасно колет дрова, шкурит жерди, тешет любую дощечку—мне остаётся только подтачивать лезвие да менять топорища.

Впрочем, это только легко сказать—точи да меняй. Тут, брат, тоже целая наука. Особенно—что касается топорища. Человек сведущий знает, что не бывает хорошего топора без доброго топорища. Недаром они в пословицах рядом ходят: «Дал топор, так дай и топорище… Украли топор, так и топорище в печь… Есть топорище, да нет топоришка… Погнался за топорищем, да топор утопил…»

Конечно, мне, как и многим нынешним мужикам, особенно городским, приходится довольствоваться теми топорищами, что продают в хозяйственных магазинах. Фабричными, со станка. Тут вся роль наша сводится к выбору, чтоб полегче, половчее было топорище и сучков на нём меньше пестрело. А отец мой сам делал топорища. Говорят, на западе страны популярны кленовые, но у нас клён редок, жидок, да и тот больше по городам растёт в качестве декоративного дерева. Не материал—баловство. Поэтому отец, как и другие наши мастера, предпочитал берёзовые топорища. Притом берёзки присматривал грубокорые, растущие на солнцепёке, на отшибе от леса. У таких древесина плотная, волокнистая, и топорища из них выходят прочные, не трескаются повдоль при ударе или вытягивании топора из бревна. Есть даже такое определение подходящей к делу лесинке—топорищное дерево.

Так вот эти топорищные берёзки отец ошкуривал, сушил, а уж когда соковьё высыхало и «задубевало» до звона, мастерил топорища. Он любил не прямые, как лопатные черни, а изгибистые, с излучиной-«грудкой» и с округлой бородкой на конце. Всегда тщательно обрабатывал стёклышком, наждачком, чтоб гладкие были, как слоновая кость. Часто байку рассказывал про молодого соседа-плотника: «У него и топорище топорной работы. Чо, говорю, не выскоблишь-то? Руки ведь позанозишь! А-а, ничего, отвечает, рукавицей обшоркаю… Вот какой мастер нынче пошёл!»

Точить топор лучше всего на «мокром» точиле, то есть на таком, точильный круг которого вращается в корыте с водой. У него и камень пошире, и «зерно» помельче, а точимое лезвие постоянно обмывается, и потому видна каждая тончайшая зазубринка и щербинка, которые надо снять. Но у меня, к сожалению, нет мокрого точила, какое было у отца. Единственное, что я тут унаследовал от него, так это привычку к постоянной заправке инструмента. И до сей поры, приезжая на дачу, начинаю рабочий день с того, что правлю любимый топор. Я пользуюсь современным, электрическим точилом, с грубоватыми и сухими наждачными кругами. Правда, сняв видимые зазубрины с лезвия, дальше правлю уже мелким брусочком и оселком. И тоже ладно выходит. «Бриться можно»,—как хвалились раньше мастера.

Конечно, такое лезвие беречь надо. Особенно пяточку, по-старинному—узг. И потому настоящие аргуны-плотники, столяры надевают на лопасть топорный чехол, или натопорник. Этакие ножны для топора. Я застал ещё лыковые, берёстовые натопорники, а теперь изредка вижу лишь кожаные или деревянные—простые зажимы из двух дощечек, что тоже неплохо. Во всяком случае, лучше, чем ничего.

Раньше, когда плотники ходили строить по найму, на отхожие промыслы, то носили топоры не за поясом, как иногда в кино показывают, а в специальной топорне—сзади на поясе крепились такие кольца, в которые продевался топор. Топорней иногда называют и место в телеге или санях, куда укладывают топор, отправляясь в дорогу. Обычно это просто сквозная прорезь в доскеднище на ширину топорной лопасти.

Во всех этих чехлах, натопорниках, топорнях мне видится не только разумно-хозяйское, но и бережное, уважительное отношение к топору, как

к ценному, незаменимому и поистине универсальному инструменту. Ах, как он красив, как хитёр и ловок в руках умелого человека! Недаром говорят об изрядном мастере: «Так и играет топором!» А иные мастера настолько сживаются, сливаются с этим инструментом, что начинают приписывать ему некую самовольную, даже мистическую силу. И неслучайно живёт в народе легенда, что старинный мастер Нестор, срубивший знаменитую 22-главую церковь Преображения Господня в Кижах, бросил свой топор в Онежское озеро со словами: «Не было такой, и не будет…»

Потому и зову Русь «к топору», но не боевому, а мастеровому. И когда соотечественники мои, особенно из молодых, прозреют и догадаются, наконец, что спасение России вовсе не в торгашестве и ростовщичестве, а в строительстве и созидании, воскликну с удовлетворением: «Нашли топор под лавкой!»

Коси, коса, пока роса…

Это я начал с народного присловья, употреблённого Александром Твардовским в одной из поэм. А мог бы припомнить и строки Алексея Кольцова, знакомые нам с детства: «Я куплю себе косу новую, отобью её, наточу её…» Или Сергея Есенина: «Что-то шепчут грабли, что-то свищут косы…» Или непревзойдённое описание косьбы Львом Толстым, в которой вместе с крестьянами участвует его герой-двойник Левин. Или замечательный рассказ Ивана Бунина «Косцы», насыщенный красками, музыкой и радостью артельного труда.

Наверное, никакой другой инструмент крестьянского обихода так не опоэтизирован, не воспет вдохновенно, как она, коса вострая. И дело тут не в орудии труда как таковом, а в атмосфере, которая окружает его применение: летняя благодать, цветущие и благоухающие травы, пёстрое многолюдье сенокосной страды, самой дружной и весёлой из деревенских страд.

Ну, а сама-то коса незатейлива и проста. Однако я бы подчеркнул: гениально проста, как и многие крестьянские орудия, дошедшие до нас из глубины веков и отмеченные народной мудростью и смекалкой. Что такое, собственно, коса? Не более чем длинный изогнутый нож для подрезания травы или хлебных стеблей. Но можно только догадываться, сколько веков билась изобретательская мысль крестьянина, чтобы найти один точный угол этой кривизны полотна, от широкой пятки до носка, сходящего на нет, не говоря о прочих деталях.

Для пущей остроты лезвия полотно требовалось тончайшее, но в то же время и прочное, потому пришлось пустить по кромке утолщённый бортик, полегче сделать носочек и помассивней пятку. Именно этой пяточной частью косу насаживают на древко, называемое в народе по-разному: косовище, косьевище, косовье, косье и даже окосье. Мне доводилось видеть старые косы, довоенного и военного образца, которые насаживались просто с помощью кольца и клина. Элементарные кольца ковались в нашей сельской кузнице. А уж потом, после войны, когда ожили сельмашевские заводы и пошёл в кооперацию разный скобяной товар, появились специальные хомутики с болтиками-гаечками, которыми можно понадёжней притянуть косу к косовищу, не прибегая к клину и расклиниванию.

Вообще, насадка косы — дело довольно хитрое. Это не просто закрепление её на косовище, но верная установка, требующая навыка и чутья. Задерёшь носок кверху — быстро порвёшь косу, ибо угол среза будет слишком широким, а пригнёшь к рукояти — захват потеряешь. Конечно, угол насадки во многом задан уже пяточным отрожком косы, но и самому соображать надо.

В моём селе Таскино древко зовут косовищем, поэтому и мне более привычно это название, чем остальные. Требования к косовищу очевидны. Оно должно быть прямым, лёгким и достаточно крепким. Трудно найти идеальную древесину, которая бы совмещала все эти качества. По лёгкости, пожалуй, нет равных осиновой. К тому же в густом осинничке растут отменно стройные деревца, почти готовые косовища. Однако осина тем плоха, что слишком мягкая, и коса на ней, как ни закрепляй, быстро разбалтывается. Поэтому у нас чаще используют берёзовые косовища. Они прочнее, жёстче. Ну, а чтоб ещё и лёгкими были, надо соковьё (то есть осоченные, ошкуренные палки) готовить заранее, подольше высушивать его. Желательно — под навесом, тогда оно меньше трескается и коробится.

Немалое значение для ловкости косы имеет ручка, приделываемая к косовищу. Видел я, некоторые просто прибивают обрубок палочки — и дело с концом. На фабричных косовищах встречал точёные рукоятки, укреплённые стержневым болтом. Но наши косцы предпочитают старинный лукообразный хомутик, берёзовый или черёмуховый, стянутый по концам бечёвкой. За такую ручку удобно держать косовище, тем более что ставится она не параллельно косе, а как бы выдаётся вверх — к руке косаря. Ручка прочно сидит, и, главное, её в любое время можно, ослабив бечёвочку, передвинуть вверх-вниз, сделать «по руке» косца.

Наладили полотно, поставили ручку — коса готова. Но прежде чем шагнуть с нею в буйное разнотравье, её надо ещё навострить. Это делается в два приёма. Сначала косу, как известно, отбивают. Есть для того железная бабка и особый молоток с зауженным ударником. Впрочем, молоток может быть и обыкновенным, а вот бабку заменить ничем нельзя. Она представляет собой металлический четырёхугольник, похожий на короткий обрезок стамески или долотца, только вместо черенка у бабки — столбик, вбиваемый в землю. И вот кладут лезвие косы на торец этой бабки и ударяют молоточком. Лезвие оттягивается, утончаясь и заостряясь. Чтобы пройти от пятки до носка и ровно оттянуть полотно, требуется немало терпения и сноровки. Операция кропотливая, но необходимая, иначе настоящей остроты не добиться.

После отбойки пускают в дело брусок, точат, или правят, косу. С нажимом водят бруском то с левой стороны, то с правой. Точка сопровождается

характерным звуком «вжик-вжик», «вжик-вжик», который так гулко раздаётся в лугах и о котором наслышаны даже современные асфальтовые писатели-поэты. Для точки кос используют особый брусок, крупнозернистый, жёсткий, называемый в народе косником. А раньше, когда такие бруски были редкостью, применяли самодельные косоправки, или косоточки. Это были просто деревянные лопатки, обмазанные смолой и обсыпанные песком. Именно такая косоправка «запрятана» в известной загадке о косе: травы поем—зубы притуплю, песку хвачу—опять навострю.

Мастеров точить и отбивать косы зовут косоправами. Может, звание не слишком благозвучное, однако я доныне горжусь, что в юности, даже в отрочестве, был косоправом. Правда, лишь по совместительству. Война повыкосила взрослых мужиков. А те немногие, что вернулись с фронта, работали обычно на технике, какая была: на тракторах и прицепных комбайнах, на конных сенокосилках и жнейках. Вручную косили травы исключительно женщины. И вот бригадир поручил мне, пацану, отвозить их в телегах на покос, присматривать там за лошадьми и по силе возможности отбивать косарихам косы. Так что я был конюхом-косоправом. А иногда ещё и косцом. Но это уже по желанию. Например, когда женщины спешили к вечеру докосить луг или лог, чтобы завтра сюда не возвращаться, то «на прорыв» выходил с косой и я.

Кстати, слово «коса» у нас менее употребительно, чем «литовка». Я не знаю, откуда пошло это название. Но, думаю, к Литве оно отношения не имеет. Литовкой издревле называется большая русская коса, в отличие, скажем, от «горбуши», редкой в наших местах малой косы с коротким и кривым косовищем. В доказательство того, что у литовки вполне русский корень, можно привести другое близкое по звучанию слово—«литвины». Так называют перемётные хворостины, которые навешивают от ветра на смётанный стог, связав их вершинами. И уж тут литвины-литовцы явно ни при чём. Хотя, кто знает? Ведь литовская Русь почти такая же древняя, как наша, славянская.

Именно в ту подростковую пору, работая косоправом и косарём, сочинил я стихотворение про деревенский покос:

Я сегодня тоже взял литовку,
С косарями встал в единый ряд.
У меня крестьянская сноровка,
Не кошу, а брею, говорят.
Просолилась и набрякла майка,
Но упрямы взмахи и шаги.
Я не допущу, чтоб молодайка
Крикнула мне: «Пятки береги!»
Пусть июльский зной печёт и парит,
Пусть плывёт в глазах цветастый луг,
Но, однако, не такой я парень,
Чтоб литовку выронить из рук.

Как видите, при всей гордости за причастность к артельному сенокосу, мастерства своего я не преувеличивал. Косьба действительно не такое дело, чтобы браться за него с кондачка. Этому ремеслу надо долго и терпеливо учиться. Как держать косу, какой брать размах, где прижать пяточку, а где носочек—всё имеет значение. Похоже, известная поговорка «нашла коса на камень» родилась в устах не слишком искусного косаря. С мастером кошения такого казуса не случится. Он аккуратно «объедет» любой камень и любую кочку. На хорошего косца и смотреть—одно удовольствие. Он не сгибается в три погибели, не рвёт и не надувается от напряжения, а работает легко и ритмично. Так и кажется, что коса в его руках сама ходит, словно живая. Невольно вспомнишь детскую загадку про косу: «Щука понура хвостом вильнула—леса пали, горы встали».

Должен признаться, что я хоть и знал косу с детства, кашивал с отцом на своём покосе и в колхозном звене косарей, да и теперь на даче под городом держу литовочку на всякий случай, но по-настоящему косить так и не научился. Пойду другой раз в берёзник травы подкосить на «перину» или на пробку для погребного лаза, отмашу прокосец, по-нашему «пройду ручку», оглянусь—нет, не то! И кошенина не чиста, там и тут торчат козлиные бородки, и рядок не прокошен, ложится на травостой так, что сено потом вытеребливать приходится. Да и в самой косьбе свободы нет. И не зря послышится вдруг полузабытый отцовский голос: «Пяточку, пяточку, держи!» Помню я этот родительский наказ, но от одной памяти проку мало, сноровка ещё нужна.

Так это речь об элементарной косьбе травы. А у литовки ведь есть и другое, не менее важное и, пожалуй, более сложное предназначение—косить хлеба. Тут она серьёзная соперница серпу. Была, по крайней мере. Притом выступала чаще уже не сама по себе, а в сочетании с особыми граблями—«грабками», и весь этот способ хлебоуборки назывался «косить на грабки».

Изобретение вроде незатейливое, но весьма мудрое. За простой литовкой остаётся сплошной перемешанный валок. Выбирать из него стебли с колосьями и вязать в снопы было бы несподручно. И вот крестьяне придумали эти самые грабки. Над полотном литовки параллельно ему стали навешивать деревянные гребёлки с тонкими и длинными зубьями. Получилось как бы сдвоенное орудие, которое одним махом срезает стебли и укладывает их на стерне колосьями в одну сторону, не давая возможности просыпаться ни колоску. Теперь иди следом, вяжи снопы, ставь их в гнёзда-суслоны для просушки, а потом вези на молотилку. К слову сказать, в каждый суслон привычно ставили по двенадцать снопов и один клали сверху. Почему так? А потому, что русские крестьяне издревле христиане, и они даже на жатве не забывали, что у Христа было двенадцать апостолов.

Гребёлки делали хотя и деревянные, но литовка с ними была довольно тяжела. Пацаном я пробовал брать грабки в руки, они мне казались почти неподъёмными. А ведь на грабки косили в основном женщины. Кашивала колхозные хлеба и моя мать. У меня перед глазами до сих пор стоят наши деревенские косарихи. Вот они идут друг за другом, взмахивая в лад грабками, как заведённые, потом

останавливаются, словно по команде, достают из подвёрнутых фартуков бруски и начинают править звенящие литовки. А затем снова идут косым строем, наступая друг другу на пятки. И со стороны кажется, что грабки сами взлетают над ржаной стеною, выкашивая в ней очередной прокос.

Косовица хлебов—тяжелейшая страда. И если я скажу, что некоторые женщины выхлёстывали в день по гектару, многие нынешние читатели не поверят мне. Особенно юные. Да, теперь таких косарей уже нет. И, наверное, не будет. Они остались в той далёкой и загадочной колхозной стране, где люди добровольно сгорали на работе, как свечи. Притом работали почти бесплатно, за символический трудодень. Работали, как оказалось, впустую, ибо во многом труды их сегодня развеяны по ветру…

А всем ли нынешним читателям понятен смысл присловья, взятого мною в заглавие: «Коси, коса, пока роса, роса долой, и мы—домой»? Ведь тут не одна игра слов, а целая наука.

Прошлым летом поленился я накосить охапку сена на даче, чтоб было чем на зиму погреб закрыть. Думал: рядом поля сельских хозяйств, осенью возьму, как другие, навильничек бросовой соломы—и обойдусь. Однако, убрав хлеб, крестьяне тотчас увезли и солому, очистили жнивьё до последнего клочка. Так что, когда ударили морозы, мне ничего не оставалось другого, как идти в лес и косить гривки пожухлой травы. Вскинул литовку на плечо и пошагал—в ноябре!—на сенокос. Соседи проводили меня долгими, недоуменными взглядами: мол, крыша у мужика поехала.

А и верно, не косьба была, а мука. По сухой и жёсткой траве литовка скользила, как по проволоке. Но всё же с грехом пополам наколотил я мешишко травы. Иду обратно. Сосед смотрит через забор и, усмехаясь, напоминает мне то самое присловье: «Коси, коса, пока роса…» И действительно, не зря ж косить начинают как можно пораньше, едва травы в цвет пойдут, и в луга выходят чуть не с солнцем, по росе. Молодая трава, да ещё увлажнённая обильной росой, бывает особенно коской, то есть мягкой и податливой. Она легко срезается и ровно ложится в рядок на чистейшем прокосе. Потому же и дождь косарю не помеха, как это увековечено ещё в одной народной пословице: «С косой в руках погоды не ждут».

В заключение осталось заметить, что в крестьянском обиходе с косою связано немало преданий и поверий. Помнится, в былые времена существовал в селе такой обычай—вделывать в избяной порог старую косу. Считалось, что она охраняет дом от злых людей, от напастей и вообще приносит счастье семье, как найденная на дороге подкова. И даже отодвигает встречу с нею, с Безносой, которая, как известно, приходит за жертвой со своею косой.

Пилил пилила на пиле

1.

Помнится, в ряду сувениров, предлагаемых нашими магазинами, частенько мелькала… двуручная пила. Не настоящая, конечно, игрушечная, сувенирная, но сделанная с удивительным подобием и ловкостью. Всё у неё было, как у настоящей: и сама металлическая пластина «с брюшком», и зубья по ней, и деревянные ручки по концам, вставленные в гнёзда-хомутики, которые держались на мизерных заклёпочках, достойных Левши. К тому же пила была врезана в неошкуренное берёзовое бревёшко, укреплённое на козлецах с четырьмя ногами и «рогами».

Но всё же, видимо, главный замысел изобретателя этого неожиданного сувенира скрывался не в изящных козлах и даже не в пиле как таковой, а в надписи, броско выгравированной по её полотну: «Пили, но знай меру!» Именно эта ироническая надпись особенно нравилась мужчинам, и они охотно покупали сувенирную пилу, чтобы подарить своим жёнушкам в день рождения или к 8 Марта с прозрачным намёком. Получали такой назидательный подарок и юные невесты от дальновидных женихов.

Должен заметить, что почему-то вообще вокруг пилы немало присловий, прибауток игривых и шутливых: «Брюзжит, как деревянною пилою пилит», «Рыба-пила. А кто не пьёт?», «Где пила, там и гуляла…» Хотя, казалось бы, она—вполне серьёзный инструмент и на общественном производстве, и в домашнем обиходе. Да и работа с пилою—отнюдь не прогулка. Более того, мне, выросшему в селе и познавшему с детства все крестьянские работы, до сих пор одной из самых трудных представляется именно пиление вручную. Дело это не просто тяжёлое, но ещё и монотонное, однообразное: ширык-ширык, ширык-ширык… И так—до бесконечности. Ведь на зиму, для отопления обычного сибирского дома, какой был у нас, требовалось более двадцати кубометров швырковых дров, то есть поленьев. И всю эту прорву напиливали мы с отцом двуручной пилой, к тому же—летом, в изнурительную жару, а в лесу—ещё и при неотвязном гнусе.

Ради истины надо сказать, что в народе не забыта и эта сторона общения с пилой. Она отражена в таких поговорках, как «не отдувшись, не перепилишь», «пилить пилою—гнуться спиною», и многих других. А занудное однообразие пиления—в названиях, скажем, целого семейства перепончатокрылых насекомых—«пилильщиков» (вроде кузнечика, методично «пилящего» в траве) или птицы—канюка, которого в наших местах часто называют пилюком. Да и о человеке-зануде, любящем читать докучливые нотации, обычно говорят, мол, та ещё пила… На что и намекал сувенир, описанный выше.

Но всё же работа с поперечной пилой, при всей её тяжести и монотонности, кажется детской забавой против орудования пилою вдольной, или продольной. Помнится, я был поражён, даже потрясён в детстве, когда впервые увидел возле сельской столярки такую картину. На высоченном помосте, установленном на столбах, лежало длинное сосновое бревно, и два человека, один стоя наверху, другой—внизу, на земле, пилили его не поперёк, а вдоль, начав с комлевого торца и медленно продвигаясь к вершине.

И пила у них тоже была необыкновенная. Не столь брюшистая, как поперечная, но зато огромная по длине и словно бы расширяющаяся кверху. И не с прямыми, а с косыми крупными зубьями, книзу идущими взадир. У неё также было две ручки по концам, но только они не стояли, а «лежали», укреплённые горизонтально, и продольные пильщики держались за них двумя руками. Верхний пильщик лишь как бы затаскивал пилу на леса холостым ходом, а потом она стремительно шла книзу, увлекаемая собственным весом и низовым пильщиком, и при этом из-под неё струями брызгали душистые опилки.

Мне и теперь кажется просто чудовищным этот каторжный труд продольных пильщиков, вручную разрезавших брёвна на доски. Ведь, представьте себе, для получения всего одной пяти-шестиметровой доски надо было пройти рез длиною в десять-двенадцать метров. Это значит — поднять и протянуть пилу вниз много сотен раз. Но вот, поди ж ты, не боялись трудов мужики, пилили и тёс, и плахи, крыли крыши и ставили заборы (по-нашему, заплоты), даже деревянные тротуары настилали во дворах и вдоль деревень.

Между прочим, когда я, удивлённый зрелищем продольного пиления, рассказал об этом отцу, он понимающе кивнул и вскоре сделал мне забавную игрушку — продольного пильщика. Это был плосковатый деревянный человечек, вырезанный из доски. В руках, вытянутых вперёд, он держал продольную деревянную пилу, середина которой была подвязана к поясу коротким ремешком, а конец завершался подвешенной четвертьфунтовой гирькой. Вместо ступнёй на расставленных ногах пильщика были округлые культи, скошенные назад. И вот, стоило этого деревянного человечка пристроить на край стола или скамьи и качнуть, как он, движимый гирькой-противовесом, начинал методично кланяться, «пилить», покуда не затухала инерция.

Пильщик тот мне чрезвычайно понравился. Я не замедлил показать его своим друзьям. И вскоре у многих из них появились подобные. Мы даже стали таскать их в школу и на переменах устраивать соревнования, чей пильщик пропилит дольше всех. Надобно сказать, что отцовский долгое время держал первенство, пока заложенные в нём секреты соотношения размеров пилы и пильщика, а также тяжести гирьки не были разгаданы. Замечу, что это была вообще моя первая настоящая игрушка, которую сделал мне отец, вернувшийся с фронта. Тогда в магазинах игрушек не водилось. А если и появлялись изредка, то крестьяне не спешили тратить скудные деньги на «баловство».

2.

Через несколько лет самодельные игрушки эти стали единственным напоминанием о продольных пильщиках, верховых и низовых, ибо само их ремесло ушло в прошлое. В соседнем селе Кочергино, расположенном в пятнадцати километрах, появилась первая пилорама, приводимая в движение мотором. И наше артельное хозяйство тоже стало пользоваться ею. Благо, что лесопилка (у нас по старинке её называли «пильня») стояла на самом берегу реки Тубы, и круглый лес из тайги к ней доставляли сплавом.

Юношей мне доводилось частенько бывать на этой пильне и видеть бешеное челночное мельканье целой дюжины пил, зажатых в механическую пилораму, которая разом выплёвывала по нескольку досок, так что рабочим-пильщикам оставалось только укладывать их в штабеля или на подводы.

По распоряжению отца, колхозного бригадира, приезжал за этими досками и я. Мой Игренька был заложен в длиннющие дроги. Загрузив два-три десятка тесин, в зависимости от их толщины, я садился на них бочком, как на лавочку, и отправлялся в обратный путь. Просёлок был ровным и торным, Игренька — молодым и сильным, и все мои заботы сводились к тому, чтобы держать в руках вожжи да глазеть по сторонам на перелески, косогоры, на пшеничные поля, уходившие к самому горизонту, и мечтать «по-мальчишески в дым». Немало утекло воды в Тубе с той поры. Многими дорогами пришлось пройти и проехать мне. Но никогда в жизни у меня не было лучшей работы, чем возить на лошадке с далёкой лесопилки свежий тёс, так чудно пахнущий смолой и нашатырём.

Но вернёмся, однако, к пилам. Все их, пожалуй, не только описать, но и перечислить невозможно, поэтому я остановлюсь лишь на самых распространённых, с которыми приходилось иметь дело и мне. Среди любимых мною я выделил бы столярную. Её ещё называют станковой, поскольку она, узенькая и мелкозубчатая, вставляется в специальный прямоугольный станочек с распоркой, который сверху стягивается двойной бечёвкой. Эта двойная верёвочка, скручиваемая деревянным клинышком-стопором, даёт возможность регулировать натяжение пилы, а подвижное крепление концов последней — угол её относительно рамы станка. Очень удобная пила: не гнётся, не «заедается», и рез от неё получается узкий и гладкий. Однако станковой пилою толстой чурки или плахи не распилишь, она рассчитана на тонкую столярную работу — с рейкой, с тесинкой, с палочкой-соковинкой.

Похожа на станковую и пилка фанерочная, только у неё станок и поперечину-распорку делают повыше, «для простора», ибо фанера бывает широкой.

Близка к станковой и лучковая пила. Это, можно сказать, тоже вариант станковой, но только вместо станка с распоркой для натяжения пильного полотна здесь ставят лук — железный или деревянный. Впрочем, на этом сходство и заканчивается, ибо в лучок вставляют не одни столярные, а самые разные пилы — и по размерам, и по назначению. Основной «замысел» этой пилы в том, чтобы сделать её одноручной, то есть удобной для работы одному человеку, без напарника, которого требуют пилы двуручные — продольные и поперечные. Мне встречались, например, даже обычные двуручные пилы, растянутые большим упругим луком. С такими обычно ездят в лес за дровами «одиночные» дровосеки. Хотя ими сподручней одному пилить дрова и на домашних козлах.

Правда, отец мой, после того как потерял во мне, уехавшем учиться в институт, постоянного напарника по пилению, нашёл более простой выход. Он взял да и разрезал двуручную пилу пополам. Притом специально выбрал старую, от длительной точки утратившую «брюшистость», чтобы она ровнее, без скачков ходила. Таким образом получилась одноручная пила—нечто вроде большой ножовки. Хотя она, конечно, уступала в удобстве лучковой. Поэтому недаром ныне всё чаще делают неширокие пилы с металлическим лучком, обычно—из лёгкой алюминиевой трубки. К лучковым можно отнести и лобзик—совсем узенькую, тоненькую пилку для фигурного выпиливания, и слесарную, или железорезную, пилу, но это уже, как говорится, другая статья.

А мы остановимся на упомянутой выше ножовке. Так называют пилу с одной рукоятью и с более мелкими, чем у двуручки, зубьями. Полотно у неё к концу обычно зауженное. Этим она как бы похожа на большой нож, отсюда, видимо, и её название. Короткую и широкую ножовку называют ещё садовой пилой. Ею и впрямь можно ловко спиливать сучья у садовых деревьев, формировать крону, как говорят садоводы. Вообще же ножовок великое множество—широких и узких, длинных и коротких. Встречаются даже складные, вроде ножа-складня.

Не менее разнообразны и рукоятки ножовок: то в виде рога, то в форме дверной скобы, а то и замысловато-фигурные. Мне, например, от отца досталась ловкая ножовочка с фигурной деревянной ручкой, напоминающей улитку с двумя рожками. Когда берёшь её, она так и впаивается в ладонь, крепко сидит в руке и никогда не набивает мозолей.

Ну, и есть ещё особый разряд пил—круглых, которые чаще именуют циркульными или циркулярными. Они, конечно, сплошь механические, электрические и в нынешние времена получают всё большее распространение. Обычно устанавливаются на станке, на верстаке, и уже не их подносят к лесине, которую надо распилить, а наоборот—чурку, брусок или доску подводят под свистящие зубы циркулярок. Пиление на них, понятно, самое лёгкое, но, так сказать, стационарное. Впрочем, есть и переносные электропилы, а также бензопилы, приводимые в движение «индивидуальными» моторчиками. Последние пилят не зубчатыми полотном или диском, а пильчатой цепью, бегущей по шкивкам.

3.

Главное дело в уходе за обычной пилой—это её регулярная точка и правка. Точат пилу трёхгранным напильником, каждый зубец—отдельно, а точнее—каждую из двух сторон его треугольничка. Кладут пилу плашмя на скамью, садятся на неё верхом и, подвинув зубчатым ребром к краю скамьи, точат. Очень кропотливая работа, но необходимая. Ибо недаром сказано, что тупая пила—это мука, а острая—песня. Хотя её звон однообразен, но весел, и пильщик в ритм пиле невольно начинает «внутренне» напевать какую-нибудь бодро-удалую песню навроде «Вдоль по Питерской, по Тверской-Ямской…» По крайней мере, она звучит в его ушах.

Впрочем, одной остроты недостаточно для пилы-песни. Необходимо ещё направить её, или развести, то есть сделать зубьям развод, один пригнув влево, другой право так, чтобы, если взглянуть на пилу с ребра вдоль зубьев, виден был «коридор» между ними. Делают это специальным инструментом—разводкой. Притом зубья должны стоять, как на параде, чтоб ни один не выступал и на миллиметр из-за «спин» других. Иначе, без развода, пила пойдёт туго в узком резе, а при плохом разводе начнёт прыгать и спотыкаться на неровных зубьях.

Развод—дело тонкое, и потому существует даже отдельное ремесло пилоправа. Мне, слава Богу, повезло, я успел научиться у отца точить пилу и делать ей развод, так что теперь не приходится ломать шапку перед мастерами. И пилы у меня в хозяйстве неплохие—двуручная и станковая, и ножовки разные. К любой из них подошла бы известная загадка, скрывающая явно ладную пилу: скоро ест и мелко жуёт, сама не глотает и другим не даёт.

К слову сказать, почему-то с пилою всё же меньше связано в народе различных загадок, пословиц, прибауток, чем, допустим, с топором, косою или даже с вилами. Но зато ни один хозяйственный инструмент не может похвастать таким гнездом слов, которым прямородственна матушка-пила. Попробуйте сами—и вы с ходу, без особых затруднений назовёте десятка два таких слов: пила, пилка, напильник, подпилок, пильщик, пилильщик, пиленка, пилорез, распиловка, пильчатый, пиловый, пиловочник, пилила, пильщина, пилоусый, пилюк… И пошло, поехало. Не поверите ли, заглянув в словообразовательный словарь русского языка, я насчитал в нём без малого полторы сотни вполне общеупотребительных слов, в корнях которых «застряла» обыкновенная пила.

Но в том-то и дело, что она не такая уж обыкновенная. Допустим, известно ли вам, что пила издавна употребляется любителями в роли… музыкального инструмента? Правда, иронического, но весьма сладкозвучного и выразительного. Мне уже доводилось писать в одной книжке, что в нашем селе Таскино на пиле прекрасно играл, водя по тыльному ребру смычком, председатель колхоза Геннадий Песиголовец, виртуозный баянист, гитарист, скрипач, а ещё—большой юморист. Когда он на клубной сцене играл на двуручной пиле «Мой костёр в тумане светит», то сельская публика не знала, что делать: то ли смеяться, то ли плакать. И чаще всего делала то и другое—и плакала, и смеялась до слёз. Ну, ещё бы! Пилила пилит на пиле, да так трогательно и так забавно!

Вилами по воде

1.

На сомнительные утверждения мы привычно замечаем с усмешкой: мол, это ещё вилами на воде писано. Или—по воде… Очень выразительная поговорка. Только вот почему вилами? А, допустим, не веслом, которым гребец натурально «пишет по воде», оставляя не более устойчивый след?

И если, скажем, в загадке «посреди двора стоит сена копна, спереди — вилы, сзади — метла» или в присловье «где сена клок, где вилы в бок» смысловая цепочка (корова-сено-вилы) понятна, то отчего это крокодил в известном журнале мелькает с… вилами в боку? Намерение поразить в образе хищного чудовища все людские пороки похвально. Однако почему вдруг вилами? Может, ими вообще не пользуются там, где водятся живые крокодилы. По крайней мере — на уборке сена, которое при вечнозелёных травах, согласитесь, ни к чему. А уж если вам захотелось символически пригвоздить водного пресмыкающегося с разбойничьими замашками, так куда логичней сделать это острогой или копьём. Но вот, поди ж ты, «вилы в бок!». Почему?

Да, видно, всё потому же, братцы, что вилы наряду с топором, пилой, лопатой — самое распространённое, ходовое и подручное орудие труда в хозяйстве. По крайней мере, в нашем русском его варианте. Испокон веку. Отсюда и в речи народной вилы всегда оказываются лыком в строку.

Корни этого слова довольно прозрачны, они явно тянутся от глаголов «вить», «вилять». Теперь уже вилы не имеют формы единственного числа, а в давние времена говорили и «вила», и «вило». Что запечатлено, к примеру, в пословице: слово выпустишь, так и вилом не втащишь. А про иного криводушного и ныне в народе скажут: мол, тот ещё вила…

Впрочем, мы пока что — о вилах в их вещественном выражении как о привычном рабочем инструменте в крестьянском обиходе. Все их видели, все знают. Внешне они — проще пареной репы: прямая рукоять и на конце её — развилье (собственно вилы), обычно — из трёх зубьев, или рогов, которые прежде называли также рожнами. Вилы бывают деревянные и железные. И назначение у тех и других довольно-таки различное.

2.

Деревянные — почти исключительно сенные, то есть используемые на уборке сена. Те, у которых черенки обычной подручной длины, так просто и называют: деревянные вилы. Или копённые. Ими поддевают и укладывают сено в копны либо наваливают его на волокуши — этакие сани на скорую руку, состоящие из двух срубленных берёзок, стволы которых служат оглоблями, а вершины — полозьями, волочимыми лошадью по земле. На них-то, соединённых поперечиной, и накладывают деревянными вилами сено. Потом «передвижную» копну стягивают верёвкой и везут к стогу — круглому «кабану» или четырёхугольному «зароду». По крайней мере, так именуют их в наших краях.

Ребятишек, которые, сидя верхом на лошади, возят копны, зовут у нас копновозами или волокушниками. Эти юркие подростки, вполне умея править лошадьми, ещё не особо обременяют их своим «заячьим» весом.

Мётчики встречают копну у стога уже с другими деревянными вилами — полустоговыми, если он ещё невысоко поднялся над землёй, или стоговыми, с длиннющей рукоятью, когда начинают его «вершить», сводить крышей, у зарода — двускатной, у круглого кабана — шатровой.

Делать деревянные вилы — немалое искусство. Родитель мой владел им изрядно. Получал заказы на изготовку вил и от колхоза, и от селян до самой старости. Могу даже сказать, до самой смерти. Помнится, когда я прилетел к изголовью умиравшего отца, то среди тех, кто пришёл навестить его, застал бывалого стогоправа из «нашей» бригады Гордея Дикова, который тяжело вздыхал и приговаривал:

— Не дай Бог, уйдёшь, Григорьич… Кто будет делать вилы к сенокосу?

Умелые виловщики, мастера «по вилам», всегда были редкими и высоко ценились на селе.

Мне приходилось не однажды помогать отцу в этом деле. Разумеется, лишь «на подхвате» да в роли ученика, наматывающего на ус. Где-нибудь накануне Троицы, в полевое междупарье, отец, утречком заглянув ко мне в горницу, бросал скороговоркой:

— Шурка, поехали-ка вилы рубить!

Такая команда мне была по нутру. Я быстренько натягивал сапоги, набрасывал пиджачишко на плечи и выскакивал за ворота. Там, у коновязи, уже стоял Карька мохноногий, запряжённый в рыдван. Отец в своей неизменной шляпе, помятой, как старый солдатский котелок, усаживался в телегу, просовывая ноги между решетинками накидашки, я пристраивался сзади на облачину, и мы отправлялись в лес.

Отец выбирал самые дальние и глухие лога — Титовский, Уджейский, Японский (по имени соседней деревеньки в стороне восходящего солнца), где на северных склонах, в заветерьях, необыкновенно густо росли берёзы, прямые, как лучи, и до самых макушек не имевшие сучьев. А, надо заметить, деревянные вилы, и простые, и стоговые, у нас делают исключительно берёзовые. Не только потому, что дерево это — самое распространённое в нашенских лесостепных местах, но и потому, что древесина берёзы, вовремя ошкуренной и просушенной, отличается особой плотностью и прочностью. Тут с нею не могут соперничать ни сосна, ни пихта, ни тем более — осина, мягкая и хрупкая. Могла бы тягаться, пожалуй, лиственница, да уж больно она тяжела и сучковата, что загодя не сулит добротного черенка. К тому же на макушках лиственниц трудно встретить столь равнорогие развилины, какие зачастую венчают красавицу-берёзку.

Подобравшись прямоезжими дорожками через поля и залежи поближе к «вильному» лесу, отец распрягал Карьку, привязывал к телеге на длинный поводок, брал топор, мне вручал пилу-двухручку, и мы шли в глубину лесной чащи среди белокорых колонн с чёрными накрапами, от которых рябило в глазах. Шли, высматривая самые подходящие деревца — по толщине и стройности ствола и по развилистости вершины. Я старался подмочь отцу, указывая на те, что выделял по своему разумению. Но он в ответ только махал рукой. Наконец, задерживался возле одной из берёз, запрокинув

голову, обходил её кругом и, если оставался доволен выбором, обычно восклицал:

— Во, брат, готовые вилы!

Прикинув, куда она пойдёт, подрубал берёзу топором в три-четыре взмаха, отступал на момент и кивком давал мне знак, чтобы я подбегал с пилой, когда комель был толстоват, но чаще сам дорубал его с обратной стороны и пособлял дрогнувшей лесине, с пронзительным треском падавшей между сгибаемыми ветвями белых сестёр. Упав с уханьем, берёза словно бы вытягивалась в длину и теперь казалась много большей, чем была при жизни, как всегда видится большим себя живого и человек, положенный в гроб.

Отец быстро очищал топором гладкий ствол от нечастых веток, оставляя лишь рассучье на вершине, которое обыкновенно называется мутовкой. Между прочим, тут в смыслах имеется одна тонкость. Мутовка предполагает как минимум тройное рассучье, двойное же чаще именуют развильем или ещё рассохой. Это отличие сохраняется и при употреблении слов в переносном значении. Скажем, место, где дорога раздваивается, никто не назовёт «мутовкой», а скорее развилкой или уж словом от других корней — росстанью, то есть там, где расстаются. И недаром слышен в нём грустный оттенок. Всякое расставанье по сути печально. Кто-то из писателей даже заметил: «Расстаться — это всегда немного умереть…»

Однако вернёмся в наш лес. Обсучковав одни «готовые вилы», отец высматривал следующие — и весь процесс повторялся: подрубка, подпилка, повалка дерева, обработка сучьев. Разве с той разницей, что иногда после падения берёзы, в наступившей звонкой тишине, отец устраивал небольшой перекур, а работу сучкоруба доверял мне. И если попадались не трёх-, а четырёхрогие вершинки, я старался сохранить все отрожины, особенно когда три из них располагались в одной плоскости, а четвёртая нависала над ними. Бывалый копновоз, я знал, что накладчики волокуш выше ценят такие ухватистые и цепкие вилы — меж их зубьями не просыпается даже самое мелкое залежное сено. Но, правда, на подходящие четырёхрожия «как по заказу» березняки наши были скуповаты, да и не каждая моя «сложная» мутовка проходила через отцовский контроль.

Нарубив дюжину-полторы заготовок для будущих вил, мы вытаскивали их волоком из лесу и укладывали в рыдван. Поскольку рогатые жердины были длинными, а некоторые и очень длинными, то отец притягивал их по комлям верёвкой к телеге, чтоб не «играли» дорогой, перевешиваемые разлапыми вершинами. Мы, тоже стараясь придавить воз, садились поближе к передку телеги и трогались в обратный путь. Но гнуткие берёзовые хлысты на колдобинах всё же били рогами об дорогу, и отец придерживал Карьку, спешившего домой, к водопою и кормушке.

Воз мы разгружали в нашем дворе, ибо отец мастерил вилы обычно на дому, в своей столярке, под навесом возле амбара.

Но это было потом. А прежде он доводил до ума заготовки. Ошкуривал привезённые жерди с мутовками. Благо — ранним летом кора, «смазанная» изнутри густеющим берёзовым соком, снимается легко, вместе с берёстой, «сапогом», по выражению плотников. Затем отец тщательно «правил» зубья будущих вил — где подтягивал шпагатом, а где, напротив, распирал спицами, чтобы придать им необходимый изгиб и направление. Потом сушил вилы, стоговые — стоймя приставив к фронтону сарая, а копённые — просто забросив на пологую крышу столярки.

И уж после надёжной просушки, длившейся пару недель, когда рога задубевали в заданном положении, начинал кропотливую обработку вил, действуя и топором, и рубанком, и фуганком, а напоследок — ещё и ребром стеколка, отшлифовывая чёрен и рога до костяной гладкости. Мне, как правило, доверялась только эта нехитрая операция — скобление вил свежесколотым стёклышком, но я и тем был доволен, ибо приобщался к серьёзному ремеслу. Оно поднимало меня в собственных глазах, а главное — в глазах моих приятелей. С особым старанием шлифовал я редкие четырёхрогие вилы, предвкушая те похвалы, что услышу от накладчиков волокуш, будучи копновозом на артельном сенокосе.

Не без тайной мысли напомнить лишний раз о своей причастности к важному делу я норовил как бы случайно объявиться в отцовской столярке, когда в канун сеномётки к нашим воротам подкатывал на дрожках нарочный из бригады (а то и сам бригадир!), чтобы забрать готовые вилы. И если он, перебирая и пробуя в руках на ловкость то стоговые, то копённые, хвалил «чистую» работу, то и меня распирало от гордости. Отец же в такие минуты был не просто горд — он как-то по-особому оживлялся, приободрялся и словно бы даже молодел, довольный признанием его мастерства и старания. И я вполне понимал его. Что такое достойная оценка твоих трудов и как она поддерживает дух, я уже знал по школьным отметкам, выводимым строгими учителями.

Подсобив гонцу сложить вилы в телегу, мы с отцом ещё долго, стоя у ворот, провожали взглядом развилистый воз, пока последние рогулины самых длинных «стоговиков» не скрывались за углом бригадного переулка.

Деревянные вилы водились и на отцовском подворье, но больше праздно стояли под навесом или валялись на сеновале, в хозяйстве использовались довольно редко. Разве что при разгрузке и отмётке в сенник конных возов сена или соломы, привозимых отцом уже в розвальнях, по санному пути. Однако и тут мы чаще орудовали железными вилами, более сподручными, лёгкими, да и захватывающими вполне подъёмные навильники.

3.

Но вилы железные это, как уже сказано выше, совсем другая статья. И не только по основному назначению в хозяйстве, но и по методам изготовления. Если начать с последнего, то эти вилы — по преимуществу заводские изделия. Отец мой сам делал только черенки к ним. И, замечу, тоже обычно берёзовые, как наиболее ровные

и крепкие на излом. А уж про нынешних хозяев, в особенности — городских дачников, и говорить нечего: они даже черенков сами не выстругивают. Покупают в магазине готовые палки — с конвейера, притом выточенные из самой разной древесины: от сосновой до еловой и осиновой, и уже потому непрочные, ломкие, частенько дающие занозистые трещины над вильным проухом.

Однако всё же бывают (бывали, по крайней мере) и самодельные железные вилы. Я ещё захватил такие «самоковки», которые мастерили наши сельские кузнецы, вырубая зубья из железных пластин, до бела раскаляемых в жарком горне. Обычно это были трёхзубые вилы с довольно толстыми и не круглыми, а четырёхгранными зубьями. И вручную делались они не в пику заводским, заполнявшим скобяные лавки, а как бы в дополнение к ним. Для особых назначений. Например, для переброски тяжёлого и сырого навоза (кстати, их чаще так и называли — навозные вилы, иногда — рожны) или для подкапывания картофельных гнёзд, где тоже нужна более основательная прочность, чем у тонких заводских. Правда, теперь я встречаю в магазинах и заводские, сделанные наподобие тех самоковок. То есть не с длинными, округлыми и как бы выгнутыми «под ковш» зубьями, а с более короткими, четырёхгранными и почти прямыми. Явно рассчитанными на земельные работы для садоводов и огородников. Ведь многие нынешние дачники уже вилами не только подкапывают картошку да морковку при уборке, но и полностью вскапывают свои участки. И если земля у них лёгкая, рыхлая, то получается не хуже, чем лопатой, и к тому же даётся меньшими усилиями. Но мягкой и рассыпчатой почва бывает лишь тогда, когда её много лет щедро удобряли и основательно взрыхляли не одними рожнами…

У меня при садовом домике имеются железные вилы и с округлыми, и с гранёными зубьями, как говорится, на все случаи жизни. Но копаю огород я всё же лопатой, ибо никакие вилы мою тяжёлую почву не возьмут — суглинок сплошной, да и заправка удобрениями скудноватая. Чего греха таить, лень-матушка поперёд хозяина родилась…

Впрочем, это не отменяет моего общего вывода о существовании и всё большем распространении таких незаменимых вил, как огородные «рожны».

Из менее же употребительных хочется вспомнить… сноповые вилы. Почему вспомнить? Да потому, что они, можно сказать, ушли в прошлое, ибо теперь не вяжут столько снопов, ни ржаных, ни пшеничных, чтобы под них отдельные вилы иметь. Все зерновые и бобовые культуры теперь убирают комбайнами, которые разом, в один проход, и жнут, и молотят, и даже солому в копны складывают.

Но я застал ещё те годы, когда комбайны (прицепные — притом!) были редкими, так что жатва и молотьба доброй половины хлебов проводились отдельно. После скашивания нивы конными жнейками женщины вручную подбирали стебли с колосьями или метёлками, вязали в снопы и ставили в такие шалашики — суслоны: двенадцать стоят в наклон друг к дружке, а ещё один сверху положен. Как вы уже, наверное, догадались, — по числу святых апостолов во главе со Спасителем. Вот тебе и «богоборческие» времена…

Потом, когда снопы хорошо просушивались, их свозили в большие скирды, а то и — прямо к молотилке, работавшей «с колёс». Так вот снопы эти подавали из суслонов в колымагу, специальную телегу с высоченными грядками, а потом сбрасывали возле молотилки, вращаемой ремённым приводом от тракторного мотора, особыми сноповыми вилами, железными, двухрогими, которые в иных местах называли уменьшительно вилашками, вилошками или рожнецами, а у нас в селе — подавашками. Происхождение слова вполне понятно — от глагола «подавать», указывающего на главное назначение сего инструмента. Мне доводилось и орудовать подавашкой, и возить снопы в колымаге, сидя с вожжами в руках на громадном возу — целой скирде на колёсах, с которой лошадь смотрелось внизу почти, как мышь под копной. Чтобы поднимать снопы на этакую высотищу, черенки у подавашек делали много длиннее вильных, а зубья — более короткими, иначе б они застревали в соломенном пуке, скрученном натуго перевяслом.

В общем, со многими вилами познакомила меня жизнь в разные годы. Помахал я ими тоже немало — и до мокрой рубашки на спине, и до ломоты в пояснице, но и «до мышечной радости», по выражению нашего великого физиолога Ивана Павлова. Хорошее орудие, ловкое и ухватистое. Не зря пошучивают в народе, мол, наши вилы — везде заправилы…

Однако ни разу, слава Богу, не пришлось мне пользоваться ими как… оружием, ни в нападении, ни в обороне. Между тем такое их запасное назначение известно с давнейших времён. Положим, все мы слышали, что на медведя охотники-смельчаки издревле ходили с рогатиной. А что такое эта рогатина, как не двухрогие вилы, вроде нашенской подавашки? Притом не железные, а деревянные. Заструганная на конце «однорогая» палка — рожно или рожон («сам лезет на рожон», «за наше добро, да нам же рожон в ребро»), с двумя рогами — уже рожны, то есть та же рогатина. К слову, доводилось слышать, что кое-где хозяйки деревенские, должно быть, по аналогии, свои домашние ухваты называют рогачами или вилками.

В качестве холодного оружия идут в дело также обычные трёх- и четырёхрогие вилы. Скажем, жива ещё пословица времён Отечественной войны 1812 года: «На француза — и вилы ружьё». Именно этими «ружьями» действовали многие тогдашние партизаны. Наверное, летучий эскадрон рубаки и поэта Дениса Давыдова был вооружён иначе, но народные партизанские дружины, одну из которых возглавляла отважная русская женщина — старостиха Василиса, уж точно орудовали вилами-рожнами.

Да и в иных войнах, а то и просто бытовых схватках вилы не однажды шли в ход. Прежде всего, понятно, у крестьян, которые их держат под рукою. Недаром жена моя, крестьянская дочь и агроном по образованию, доныне, оставаясь одна ночевать на даче, ставит у изголовья «от лихого человека» именно вилы. И не случайно крестьянский сын Сергей

Есенин, ища защиты от гонителей из стана кичливых городских интеллигентов, вспоминал своих сельских родичей: «Они бы вилами пришли вас заколоть за каждый крик ваш, брошенный в меня!»

Ну, а если копнуть подальше в глубину человеческой истории, то мы среди первых, кому пришла мысль о вилах как об оружии, увидим самих богов морей — греческого Посейдона и римского Нептуна, которых изображают непременно с трезубцами в руках, живо напоминающими вилы. Да и у знаменитых гладиаторов, что шли на смертный бой под рёв Колизея, на вооружении, для «контрольного» удара, бывали трезубцы, те же вильцы.

Любопытно покопаться также в словесных корнях и «отвилках» этого доблестного орудия и оружия. Следы и отзвуки его можно найти ещё во множестве предметов и явлений. Давайте вспомним хотя бы о привычной столовой вилке, которую берём в руки минимум три раза на дню. Она ведь тоже по сути — вилы, и трёхрогие, и четырёхрогие, только маленькие. Вилкой также называют грудную косточку у птиц, что идёт вверх по зобу. Ну, ту самую, которую у варёной курицы мы вынимаем часто с шуткой-прибауткой затем, чтоб разломить за рожки надвое с соседом по столу — «на счастье». Согласно народному поверью, больше повезёт тому, у кого в руке останется большая часть костяного развилья.

Да ведь и в человеке есть свои вилы и вилочки. Скажем, вилами нередко называют (особенно на селе, где живут исконные языкотворцы) человеческие ноги — от туловища до подошв. А вилочкой, по Далю, — «выемку в верхней оконечности грудной клетки, где на шее проходит дыхательное горло», то есть ту трепетную ямочку, что в народе ещё зовётся «душой». Во как! Сама душа наша бессмертная, нетленная, Богом «вдунутая» в нас, оказывается, связана с обыкновенными вилами.

Нечто сакральное, судьбоносное заключено и в «отвильных» словах, уже упоминаемых мною и связанных с путями-дорогами, которые мы каждодневно выбираем, в прямом и переносном смыслах: в развилках, развилинах, извилинах — излуках и разлуках. Недаром есть такая мудрая пословица в народе: «На думах стал, как на вилах». И неслучайно большой художник русский Виктор Васнецов изобразил витязя в глубоком раздумии «на распутье» — развилине дорог: направо пойдёшь… налево пойдёшь…

Что там говорить, всю жизнь стоим на этих самых вилах-развильях. И в большом, и в малом. Даже если просто захочешь в оправдание своих грехов-пороков указать на обилие их в другом человеке, мудрые люди заметят тебе: на чужой сарай, мол, вилами не показывай… А то, что они, другие люди, якобы хуже, грешнее тебя, так это ещё по воде вилами писано…

И лопата в руке его

1.

Не знаю, как вы, братцы, а я в пору деревенского отрочества более всего не любил… копать картошку. Не скажу и теперь, что обожаю эту занудную работёнку, но просто смирился с нею. Отчасти потому, что моя нынешняя картофельная деляна в разы меньше тех, с которыми управлялась когда-то наша крестьянская семья в огороде и в поле. Но главное, пожалуй, оттого, что ныне я открыл (всё познаётся в сравнении) ещё более муторное занятие: копать землю — свои девять садовых соток. Вручную, железной лопатой…

— А разве прежде, в селе, не знал такого? — спросите вы.

Знал, конечно. Но дело опять же в объёмах и пропорциях. Сельский огород у нас по сути не копали лопатами. Отец каждую весну пахал его. Многие годы — конным плугом, пока в колхозных конюшнях водились кони, а в нашем дворе под навесом стоял однокорпусный плужок с двумя колёсами и гладкими, отполированными в ладонях пахарей рукоятями — «чапыгами». Или — «обжами», как говорили в древние, ещё «сошные» времена.

Как-то родитель мой и меня пытался приобщить к делу пахаря, и я прошёл бороздой два-три гона вдоль огорода, держась, словно за рога, за эти самые обжи-чапыги, но вспахал неважно. Плужный лемех, по-старинному «омешек» (у былинного ратая Микулы Селяниновича, вспомним, «сошка кленовенькая» «поскрипывает, да по камешкам омешики почиркивают»), то и дело норовил при встрече с тем же камешком иль корешком выскользнуть из земли и выбить из рук моих чапыги. Я невольно дёргал вожжи, смущая Савраску, который в недоумении то останавливался, то шарахался в сторону. И напрасно тогда, путаясь в вожжах да обжах, кричал я по-мужицки басовито: «В борозду!». Пласт с отвала уже шёл со сбоями, и в борозде под моими ногами появлялись твёрдые гребни, а на чёрной пашне — серые проплешины. Отец успокаивал: ничего, мол, приноровишься ещё, однако мягко перехватывал у меня вожжи и сам брался за чапыги. Савраска тотчас, без всяких «басовитых» команд, возвращался в борозду, и отец, держась её, уходил за плугом в конец огорода. Очередной взрезанный пласт словно бы сам собой прилегал к дымящейся пахоте.

Нам с сёстрами и матерью оставалось взрыхлить лопатами лишь закраины огорода, где проходу Савраски с плугом уже мешала изгородь. Но это была неширокая полоска, от силы — в сажень. Вскопать её особого труда не составляло. Тем более — дружной семейной артелью, под свойские шутки и взаимные подначивания…

И совсем другое дело — сегодняшние мои сотки. Это ж сколько раз, кто бы посчитал, надо поставить лопату, надавить ногой на её плечико, чтоб она ушла в землю на весь штык, затем вывернуть пласт, положить рядом с предыдущим да ещё ударить раз-другой ребром или плашмя, разбивая комья. Притом всё — в наклон, в наклон. И вот когда разогнёшь усталую спину — передохнуть чуток, невольно тянет на философские размышления по поводу лопаты, её происхождения и роли в судьбах человеческих…

Любопытен, скажем, такой момент. Археологи в культурных слоях земли, относящихся к палеолитам-неолитам, когда ещё не было ни бронзы, ни,

тем более, железа, находят всякие первоинструменты из камня—топоры, ножи, скребки, шильца, копья, но что-то не слышал я о каменных лопатах. Были ли они? Знатоки древности толкуют, что первые земледельцы якобы орудовали суковатыми палками. Но это лишь досужее предположение, ибо те палки не сохранились и никто их не видел. А если они и были, то, думается, недолго. Ковырять землю сучком ещё тяжелее и надоеднее, чем нынешней железной лопатой, и потому человек поневоле стал шевелить мозгами, соображая, чем бы его заменить. Ведь по сути всякое изобретательство подталкивалось ленью-матушкой. И вот вместо этой пралопаты, суковатой палки, придумал человек соху. Сперва заставил буйвола или лошадь волочить по целине тот же сучок, только большой, взрыхляя им почву, а потом, когда появился металл, приделал сошник. Получилась соха. И повсюду в мире пошли за нею пахари. А по Русской земле—свои ратаи Микулы Селяниновичи, столь могутные мужи, что и вся хоробрая дружинушка Вольги не могла их «сошку с земельки повыдернути, из омешиков земельки повытряхнути».

Лопата же, как представляется, изобретённая наряду с сохой, не выдержала соперничества с нею в качестве основного земледельческого орудия. И время определило ей более узкую роль—инструмента для вскапывания небольших участков, посадки клубней, кустарников и деревьев. А за пределами земледелия—для копки всяких ям, канав и траншей.

2.

Понятно, что мы пока говорим о железной лопате, которую ещё называют заступом. Почему так, наверное, объяснять не надо. Каждый, бравший в руки лопату, убеждался на опыте, что она сама в землю не идёт, покуда не поможешь ногой, не «заступишь» её специально выгнутое плечико. Отсюда и заступ. Ну, а лопата, должно быть, от «лопасти»—расширенной оконечности продолговатого предмета. Вспомним, что лопастью заканчивается и весло. Правда, у лопаты эту расширенную часть, приходилось слышать, в народе зовут ещё и «лопатнёй», и—более благозвучно—«лопатицей». Древко же старые люди именовали «лопатищем» (очевидно, по аналогии с топорищем, косовищем), теперь чаще зовут просто черенком или рукоятью.

Железных лопат в ходу множество. Они довольно различны по форме, которая, как правило, определяется спецификой их применения. Положим, обычную «огородную» лопату для копки земли не случайно называют ещё и штыковой. Режущая овальная часть у неё, сходясь книзу, заканчивается почти штыковидным остриём. Зачем бы это? Да, ясное дело, затем же, чтобы лопатка легче шла в почву. И когда говорят, что земля вскопана «на штык», то имеют в виду—на всю длину лопатного железка. Кстати, мне сдаётся, что выражение «давить на всю железку» родилось задолго до появления автомобилей и первоначально означало отнюдь не давление на рычажок акселератора («дать газу до отказу»), а на неё, родимую—штыковую лопату с заострённым железком.

Поскольку ныне мы, кустари-одиночки без мотора, свой садовый участок копаем исключительно лопатами, то я держу их целый набор. На каждого «возможного» копальщика по «штыку»—на себя, на сына, на внука… Включая и хозяйку, которая, верно, освобождена от прямой копки огорода, но орудует лопатой в более тонких операциях—делает грядки, прихлопывает посеянные семена, ровняет дорожки. И лопата её отличается от наших мужских—имеет более короткий и тонкий черенок.

Забавно, что у нас в России до сих пор не перевелись умельцы, которые, наравне с изобретателями вечного двигателя, пытаются если не изобрести новую лопату, то усовершенствовать действующую, с тысячелетним стажем.

Среди особо «продвинутых» приходилось, к примеру, видеть (притом—заводского изготовления!) такую, у которой середина была вырезана напрочь, так что от лопатни осталась только железная рамка по периметру. Замысел безымянного Кулибина состоял, видимо, в том, чтобы, вопервых, облегчить лопату, а во-вторых, улучшить рыхление почвы благодаря её перманентному провалу в отверстие. Но когда я сам попробовал это чудо-орудие в действии, попросив на минуту у соседа по даче, то не обнаружил ожидаемых преимуществ. Напротив, проваливание взрезаемой земли в «чёрную дыру» только мешало привычному процессу копки, а комья всё равно приходилось разбивать дополнительным пристуком. Да и дыра эта по сути сужала возможности лопаты, делая её уже непригодной, к примеру, для перебрасывания той же земли, песку или других «сыпучих тел», как это написано ещё в далевском словаре. А в нём, напомню я вам, лопата определяется именно как универсальный «лопастый снаряд для копки, выгребу, навалки и пересыпки сыпучих тел».

Впрочем, для «выгребу» да «пересыпки» среди железных имеются и специальные лопаты—подборная или совковая. Их определения говорят сами за себя. Совковая тем и отличается от штыковой, что лопасть у неё похожа на плоскодонный совок с бортиками по бокам. Подобные жестяные бортики разной высоты имеют и все подборные лопаты, которыми «подбирают» что-либо: землю, гальку, уголь. Они «захватистее» совковых.

И недаром самую широкую из них иронически называют «стахановкой», по фамилии знаменитого шахтёра советских времён, рекордсмена по выдаче на-гора донбасского уголька. Видимо, также от подобных лопат, пошёл в народе и шутливый совет всякому грабарю: бери больше—кидай дальше…

Кстати, слово «грабарь» в наших местах малоупотребительно и носит некоторый книжный оттенок, как и «грабарка»—дроги с ящиком для перевозки земли. У нас о человеке с лопатой скорее скажут «землекоп», а двуколку с деревянным кузовком назовут «таратайкой». Название это звучит вроде бы полунасмешливо и непочтительно (не по созвучию ли с тараторкой?), но содержит, по-моему, вполне серьёзный смысл: телега, которая «тару» в себе «таит». К тому же—самосвальную (!), что делает её порою просто незаменимой. Допустим, в мелком дорожном ремонте…

Мне в отрочестве, когда отец мой, колхозный бригадир-полевод, отвечал ещё и за состояние дороги на нашей улице, приходилось, выполняя его «наряды», засыпать щебнем, гравием с песком ухабы и колдобины. Так вот эти «инертные материалы» я возил на таратайке, влачимой лошадью. Очень удобная повозка. Подъехал к рытвине, опрокинул кузов, подвижный на оси и подсильный любому пацану, разгрёб лопатой кучку—и все дела.

На обратном пути в порожней таратайке я даже умудрялся полежать, помечтать, глядя в небо. Лошадь сама знала дорогу к гравийному складу, ею не нужно было править. И, помнится, был такой случай. Опростал я свою таратайку и направился за новым грузом. Полёживаю в ней, считая облака. Лошадь шагает себе неспешно вдоль деревни… Но вдруг—стоп!—остановилась. Я, не меняя позы, прикрикнул на неё—она стоит, подёргал за вожжи—она ни с места. И тогда я нехотя поднимаюсь в кузовке, похожем на совковую лопату, и… аж волосы дыбом! Возле самого колеса, огромного, как у египетской колесницы, в вершке от деревянной оси, выпирающей из ступицы, замерла крохотная девочка-замарашка и с удивленьем смотрит на мой агрегат.

Меня словно пружиной выбросило из таратайки, я подхватил девчушку и отдёрнул, почти отбросил на обочину, подальше от колеса, которое могло бы раздавить её, как муху. Хотя моя запоздалая спешка была излишней. Старая лошадь-умница и без меня спасла эту глупенькую Любопытную Варвару—остановила таратайку перед самым её носом, «сунутым» было в чудо-юдо, катившееся по дороге.

3.

Однако вернёмся к нашим лопатам. Только уже не к железным, а к деревянным, которые у нас чаще первых используют для «выгребу, навалки и пересыпки», по крайней мере, таких «сыпучих тел», как зерно или снег.

По устройству лопаты деревянные—совершенно особые орудия. У них обычно нет раздельных лопастей и рукояток, инструмент выступает как единое целое и даже, можно сказать, монолитное. Деревянные лопаты не просто выстругивают, а «выделывают», притом особые столяры—лопатники, проявляя незаурядное мастерство. Отец мой лишь изредка брался сам за деревянную лопату и, как правило, мастерил её не в домашней, а в колхозной столярке, где имелись верстаки с большим набором приспособлений, специальные инструменты и заготовки. Дело в том, что лопата деревянная—это не просто плоская лопасть с черенком. Такие делают разве что для сельских хозяек, сажающих в русскую печь подовые булки да противни с шаньгами, и зовут «пекарными». Рабочие же лопаты для «пересыпки» имеют более сложную конфигурацию. «Хлебные», то есть те, которыми «лопатят», ворошат и провеивают зерно, выглядят этаким пологим жёлобом или совком, и черенок у них не прямой, как палка, а с прогибом, который придаёт им остойчивость в руках.

Ох, и красивы же бывают белые деревянные лопаты, сработанные настоящим мастером. Всё в них на диво ловко и соразмерно—от вогнутой лопатни, напоминающей старинную точёную ложку, до покатых и округлых «плечиков», гармонично переходящих в черенок с изгибом, изящным, как шея Царевны Лебеди…

Впрочем, красота эта не самоцельна, она выступает только внешним проявлением удобства сего инструмента, что и ценится в первую очередь всяким, берущим его в руки. А селянам в мои времена приходилось это делать довольно часто. В страдную пору на полевых токах и на дворах сушилок скапливалось огромное количество зерна. Веялки, сортовки да клейтоны с ручным приводом не справлялись с этакой его прорвой. И потому, чтобы не согрелось и не загорело зерно в золотых ворохах, его постоянно ворошили, перекидывали с места на место, то есть—лопатили.

И само слово это уже говорит, что орудовать приходилось не чем иным, как той самой лопатой—деревянной, хлебной, захватистой и желобистой. И именно такими лопатами, к примеру, работают истово сельские женщины, облитые солнцем, загорелые, с подоткнутыми подолами, на известной картине советской художницы Татьяны Яблонской «Хлеб».

Той же лопатой деревянной, бывало, брали на мельницах «лопатное»—натуральную плату за помол зерна: с каждого мешка—по лопате. И, возможно, отсюда взяла начало пословица: «всякого жита—по лопате»…

Хотя, как уже было замечено, у нас в России, а тем более в Сибири, есть у деревянной лопаты, кроме хлебной, другая, не менее важная служба—снежная: разгребать завалы снега, чистить дорожки после снегопада, а то и «пробивать» их в наметённых сугробах. Именно этим словцом определил мой родитель последнее задание себе на грядущий день. Он всегда с вечера, перед отходом ко сну, садился за стол и, придвинув лампу поближе, планировал предстоящие работы, записывая их в тетрадку. И когда отца проводили вьюжным февралём в последний путь, я, разбирая его бумаги, нашёл и последний его план, который он начал с насущного пункта: «Пробить старухе дорожку к колодцу». Не пробил… Это пришлось сделать мне. Отцовской деревянной лопатой.

Теперь городские дворники, я вижу, убирают снег особыми «снежными» лопатами, широченными, позахватистей даже «стахановок», но неуклюжими и непрочными—по сути просто кусками фанеры, прибитыми к палкам. В сёлах же по-прежнему многие хозяева разгребают забоисувои настоящими деревянными лопатами. Незаменимыми, ловкими и «многопрофильными».

Так что скорее деревянная лопата имелась в виду теми, кто первыми «откатали» такие народные пословицы и поговорки, как «мужик богатый, гребёт деньгу лопатой», «что батюшка лопаткой сгребал, то сынок тросточкой расшвырял», «у Ипата борода лопатой», «в лесу живём, в кулак жнём, пенью кланяемся, лопате молимся», и ещё многие…

Ну, а уж среди лопат и лопаток, употребляемых в переносном смысле этих слов, зачастую трудно и даже невозможно отделить железные от деревянных. Положим, в лопатке, означающей тот старинный «брусок» для заточки кос, который представлял собою дощечку, усыпанную по смоле песком, явно просматривается деревянная. В лопатке, означающей в иных местах мастерок (жестянку с ручкой),—скорее железная, тот самый заступ.

А вот в лопатке гороха, в смысле—молодого стручка, уже просто заключена первооснова любой лопаты—лопасть или, по-старинному, лопатня—нечто плоское и расширенное.

Всех «метафорических» лопат-лопаток, существующих в природе, нам не назвать, их бесчисленное множество. Но вспомним хотя бы самые близкие. Скажем, те лопатки, что все мы носим за плечами—в виде плоских треугольных костей на рёбрах по обе стороны хребта. К ним так удобно и надёжно подвешены плечевые кости. И потому нас не просто положить на лопатки. И мы можем при случае удирать во все лопатки. А то и, взнуздав лошадь, у которой к лопаткам, как у всех животных, прикреплены передние ноги, гнать во все лопатки. Если продолжить «животный ряд», то, допустим, у лося, лопатой или лопаткой называют также отросток на рогу, который он «выносит» на третий год. А у овцы лопатными называют передние зубы—пару резцов, которые появляются на втором году вместо молочных.

Речники лопатой именуют подводную косу или песчаный нанос, что обычно образуется перед устьем реки. Картёжники—пиковую (винёвую) масть в картах. У плотников особое напарье, с буравом—ложкою, для удобного сверления ступиц к деревянным колёсам носит название лопатень. А лопатиной подчас зовут тесло, особой вид топора, с изогнутым лезвием, перпендикулярным топорищу. Впрочем, лопатиной у нас зовут и конец оврага, водороины, выходящих в реку. И тут смысл понятен. А вот почему иногда называют лопатиной верхнюю рабочую одежду—объяснить трудно…

Весьма примечательно, что в присловьях и пословицах, в поверьях и гаданиях лопата нередко сопряжена с чем-то мистическим, таинственным и мрачным, грозящим опасностью. В особенности—железная. Скорее всего это объясняется тем, что заступом ведь копают не только огороды и канавы, но и последние наши прибежища—могилы. Отсюда и такое, к примеру, суеверие: когда гремит гром—выноси лопату во двор. Подальше от людей. Или вот «примета» в ворожбе: выпал пиковый туз «лопат»—значит, к покойнику. О ветхом же годами, о больном человеке, явно готовящемся на тот свет, отзываются присловьем: «На старого Потапа выросла лопата». Или говорят ещё печальней: «Глядит под заступ»…

Но даже и деревянная лопата, не имеющая отношения к копанию могил и захоронению усопших, порою овеяна некой мистикой и сакральностью. Напомню, это ведь её подразумевал Иоанн Креститель, когда, отвечая народу на вопрос, не Христос ли он, говорил о Грядущем Спасителе (Мф. 3:11–12): «Он будет крестить вас Духом Святым и огнём; лопата Его в руке Его, и Он очистит гумно Своё, и соберёт пшеницу Свою в житницу, а солому сожжёт огнём неугасимым»…Так что впереди у каждого человека встреча с лопатою, если не на погосте, то на Страшном суде. Невольно посмотришь на неё с уважением: сам Господь орудует ею! Хотя бы и метафорически…

Метла мела до тла

1.

Шиньгать… Знакомо ли вам, любезные читатели, это народное словцо? Не улыбайтесь снисходительно, что, мол, неплохо обходитесь в своей речи и без такового. Звучит оно, может, и впрямь не слишком значительно, однако вполне уважаемо по своему смыслу и даже в чём-то незаменимо. Было, по крайней мере, в не столь давние времена. И я ничуть не удивился, когда встретил его в знаменитом далевском словаре.

Мне же слово это сызмала известно и без всяких словарей-лексиконов. Его частенько употребляли мои родители в своём крестьянском обиходе. И мать, пряха и ткачиха, которая, к примеру, шиньгала лён, то есть трепала, обивала волокнистые пучки «трепалом»—этаким деревянным тесаком в пол-аршина длиной. И отец, пимокат, который, подготавливая овечью шерсть для застила, прообраза катанка, сначала шиньгал её, то есть пушил, бил на лучке, похожем на тугой смычок. И даже сам я в детстве носил прозвище Шиньга или Шинька, довольно созвучное, хотя и произведённое скорыми на выдумку дружками—сельской ребятнёй—от иного слова. Точнее—сразу от двух: от моего имени (Шурка—Шуйка—Шунька) и от «шинька»—так в народе называют (во всяком разе, называли прежде) подростка-жеребёнка.

А, кстати, знаете, как звучит окрик на жеребят? Многим, даже и среди городских людей, известно, что на отпугиваемых цыплят кричат «кышь», на свинью «усь», на собаку «цыть», на кошку «брысь», а как—на жеребёнка? Сдаётесь? Так вот на жеребят и коней, отгоняя их прочь или провожая в пригон, прикрикивают: «Шинь! Шинь!»

Но всё же для меня по-особому выразительно, так что запомнилось на всю жизнь, словечко «шиньгать» прозвучало при других обстоятельствах и даже в несколько другом смысле.

Дошкольником и младшеклассником дружил я с Анькой Калашниковой, сверстницей и соседкой, жившей от нас через пять домов по околотку. Не скрою, испытывал к ней что-то вроде детской влюблённости. Она была хорошенькой на личико, добродушной девчонкой и, кажется, тоже втайне симпатизировала мне. Мы часто встречались у савватеевых ребятишек—в многочисленном семействе тракториста Савватея, чья усадьба примыкала к калашниковской. Вместе играли, ходили купаться на Тимин пруд или на Спирино озеро. Изредка я бывал и во дворе у Аньки… И вот однажды забегаем с нею в калитку и видим: на крылечке сидит Анькин отец—бородатый Игнатий—и перебирает зелёные берёзовые ветки. Отменный каменщик, он по всему лету работал

в каменоломне вдали от села и дома появлялся нечасто.

— А-а, женишок пришёл! Очень кстати! — поднялся навстречу дядя Игнатий. — Помоги-ка, парень, листья обшиньгать, метлу хочу сладить.

И он показал, как надо обшиньгивать листву, словно бы сдаивая её сжатыми пальцами. Такая работёнка была мне знакома, и я охотно помог уважаемому камнелому оголить прутья для новой метлы. Обшиньгать…

А знакомым дело было потому, что мне уже приходилось не раз помогать своему отцу в изготовлении мётел. Особенно в ту пору, когда он заведовал артельной зерносушилкой, по-нынешнему — механизированным током или элеватором. Во дворе сушильного хозяйства, и под навесами, и прямо под открытым небом, в ожидании просушки и отправки «в закрома родины» скапливались огромные вороха пшеницы, овса, ячменя. Их постоянно лопатили, сортировали и веяли, а рассыпанные зёрна то и дело подметали, чтобы не втоптать в землю. И потому мётел требовалось много. Делать их, конечно, можно было поручить какому-нибудь деду-метловщику (так или ещё метельником, метельщиком зовут у нас того, кто вяжет мётлы и работает ими), но отец предпочитал готовить их сам.

Занимался этим, как правило, до начала хлебной страды, покуда зерно не хлынуло потоком в вороха, на клейтоны, триеры и нории сушильного хозяйства. Мне случалось пособлять ему в этой заботе, ездить с ним в лес на лошади за берёзовыми ветками — «вичками», а потом и обшиньгивать их. Впрочем, куда чаще я помогал ему в заготовке домашних мётел, которая совмещалась с вязанием банных веников. Это обычно происходило в разгар лета, когда листья на берёзах развёртывались в полную силу и крепко сидели на черенках, поблёскивая лицевой кожицей. Где-то в канун Аграфены Купальницы и Ивана Купалы, когда у клубники на косогорах ещё только набухают ягоды-слепушки, зато земляника в логах и перелесках уже в самом соку, отец собирался за банными вениками в Полухин берёзник и брал меня с собой.

Мы прихватывали верёвки или ремни для стягивания прутьев в вязанки и шли пешком через Малахову гору. Думаю, отец эти выходы в ближний лесок воспринимал как небольшие праздники в череде бесконечных крестьянских забот, по крайней мере, в такие дни бывал в самом добром расположении духа. Надевал чистую рубаху, зелёную шляпу, обувался в лёгкие сапоги-ичиги и шагал, не спеша, на ходу рассказывая мне разные былинебыли «из старинки».

Иногда увязывалась за нами и сестра Валя. Она была постарше меня, однако ноша берёзовых веток ей не полагалась — не женское это дело. Валя если и срывала десяток-другой веток в помощь нам, то лишь полушутя и как бы мимоходом. Её больше занимало в лесу другое — земляника, от которой там было красным-красно.

А всерьёз «ломали веники» мы с отцом. Погружались в глубину леса и начинали искать и обламывать подходящие ветки. Работа эта не так проста, как может показаться на первый взгляд. Дело в том, что сламывать или срезать острым ножом надо не любые доступные ветви берёзок, но лишь самые густые, облиственные и гибкие, да к тому ж определённой толщины.

К примеру, вершинки от берёзового подроста на банный веник вообще не годятся, они и толстоватые в основаниях, и ломкие, и листьями не богаты.

Ну, разве что иная вершинка в метле сгодится, да и то там не желательна. Места в пучке займёт много, а мести ей особенно нечем — сучьев на ней маловато.

Впрочем, мётельные ветки, как более толстые, тяжёлые и растущие на высоких деревьях, брал на себя отец, а мне доставалась заготовка вичек с низкорослых берёзовых кустов исключительно на банные веники. И я неплохо справлялся с этим делом. Настолько овладел им, что и теперь, когда в Петровки навяжу себе веников на даче, то соседи приходят, чтобы просто полюбоваться на их красоту и аккуратность, подивиться их плотностью и гибкостью, ловкостью в руке и весом — в самый раз. Вот что значит отцовская школа крестьянская…

В этой школе всё важно, вплоть до состояния духа, до настроения, в котором совершается дело. Наломав веток и увязав натуго в посильные ноши вершинками в стороны, мы с отцом выносили их на опушку или закраину леса, оставляли на видном месте, чтобы легче потом найти, а сами шли собирать землянику. Конечно, мы и раньше, ломая берёзовые ветки, нет-нет да срывали пунцовые ягодки под кустами, но, занятые важной работой, походя отправляли их в рот, а теперь у нас была отдельная задача — набрать земляники «с собой». Отец под ягоду обычно брал свой солдатский котелок, приторочив его сбоку к ремню или опояске. Лесная земляника у нас ягода не промысловая, она мелкая, легко мнущаяся, да и растёт «по ягодке», потому её много не наберёшь. Но всё же по стакану, по два мы с отцом нарывали, и когда надёжно скрывалось дно в солдатском котелке — несли лесной гостинец домой. Возвращались с вязанками зелёных веток и ягодой — к обеду, и мать или Валя, если не ходила с нами, готовили общее лакомое блюдо — свежую землянику в холодном молоке. В густом, неснятом… До сих пор помню не только его непередаваемый вкус, но и тонкий солнечно-лесной запах, и нежный, молочно-розоватый, яблоневый цвет.

2.

Ну, а потом начиналось вязание банных веников и то самое шиньганье прутьев для мётел. «Однако зачем вообще удалять листву, если она сама высохнет и обобьётся?» — спросите вы. Так-то оно вроде так, да только «лохматая» метла долго будет сорить сухими листьями и мести сама за собою. А главное — листья помешали бы мастеру-метельщику сделать добротную метлу, выверенную по толщине, длине, густоте прутьев и по общему их объёму в пучке, стягиваемом по комелькам бечевой. Словом, изготовить ловкий и удобный в работе подручный инструмент.

Хотя, если быть точным, эти качества зависят не только от метлы как таковой, но и от второй составной части этого нехитрого орудия — от ручки, или черенка. Эта палка, заострённая «под карандаш», должна быть прочной, ровной, удобной для руки и «по росту». Насадили на неё метлу — и «предмет для подметания в виде связки прутьев на длинной ручке» (по ожеговскому толковому словарю) готов к работе.

Над происхождением названия сего инструмента голову ломать не приходится. Глагол «мести», явно послуживший корневым для метлы, весьма известен, как, впрочем, и всё его немалое словесное гнездо — подмести, вымести, вмести, домести, замести, намести, обмести, промести, перемести, смести, размести, умести, метать, взмётывать… И это только глаголы, а есть ведь ещё не меньший ряд имён существительных — мётка (сена), взмёт (зяби), метёлка (вид соцветия у многих трав), метлика, метличка (сорняки с подобным соцветием), метлица (похожее на стрекозу насекомое), ну, и, конечно, наши родные, русские, сибирские — метель, метелица, метуха, заметь… Последняя, правда, у нас чаще называется позёмкой, и это, кажется, нагляднее «рисует» вихрь или вьюгу со снегом, стелющимся по земле. Хотя, как сказать… В некоторых областях её зовут то покосухой, то поползухой, то понизовкой и волокушей или даже тащихой, что тоже, согласитесь, весьма выразительно. Невольно подумаешь с гордостью: воистину богат наш русский язык, как и неистощимо богата фантазия народа-языкотворца.

А метелица, кстати говоря, в западных и южных уголках былой России означала ещё и вихревую народную пляску «попарно в круг и на три лада», как сказано у того же Владимира Даля.

Поскольку и «маточное» слово «мести», и производное от него «метла» широко распространены в нашей речи (а сам предмет — в обиходе), то они, конечно же, частенько мелькают в народных пословицах, присловьях и поговорках. Допустим, слыша выражение «нечего мести сор из избы», мы понимаем его более широкий, переносный смысл: не следует, мол, выносить из дома, из семьи на всеобщее обозрение всякие некрасивые слова, дела и поступки. А кто-то при этом добавит и другие присловья: «мети всяк перед своими воротами», «сор мети, да в уголок хорони»… А о супругах, находящихся в ссоре или вообще живущих несогласно, в народе скажут: «Эти в две метлы метут». Или — «в два веника».

Самая же распространённая пословица, связанная с метлою, пожалуй: «новая метла чище метёт». Или — «хлёстко метёт». Обычно так говорят, имея в виду нового начальника любого ранга. Вот теперь у нас в стране сменился президент, и многие ждут более решительных действий от новой метлы. Есть у этой пословицы и вариант, похожий на продолжение: «снова метла резко мела, а обилась — притупилась». Видно, о том, кто горячо взялся, да скоро поостыл. Вполне возможно, здесь уже и не о начальстве речь, а, положим, о женехозяйке, которая в молодости была поворотливой, да потом обленилась. На такую мысль наводит другая пословица: «хорошая жена — метла, и худая — метла». Только, значит, первая в дом метёт, а другая — из дому, этакая расточительница. И уже о всяком, кто проштрафился, опростоволосился, подвёл или не оправдал надежд, говорят: «Гнать его поганой метлой!» Выбор расправы тем более суров, что в народе считается: опасайся бить, гнать кого-либо метлой — похудеет. Что для трудовых людей (в том числе и женщин) — беда, а уж про живность домашнюю и говорить нечего.

Хотя нередко предстаёт метла и в светлом образе: к примеру, в былые времена святорусские предки наши называли мётлами… кометы, которые «подметают небо перед Божьими стопами».

Ну, а из производных от метлы надо бы вспомнить — метёлочку, которая не просто представляет её уменьшительно-ласкательную форму, а имеет особое назначение — служит в доме для обметания пыли, для чистки одежды и прочего. И, конечно, уже названных выше метельщика с метловщиком и метельником, каковыми отчасти бывали и мы с отцом когда-то. Впрочем, у «метельника» в эпоху старины глубокой, при Киевской Руси, имелся и другой смысл. Так в нашей праконституции — в «Русской Правде» — назывался приказной служитель, помощник вирника. А вирник — это был сборщик виры, особой пени, или денежного штрафа, за смертоубийство, прости Господи, за лишение жизни свободного человека… Вон куда нас вывела обыкновенная метла — малая песчинка нашего волшебного языка, который, не зря говорят, и до Киева доведёт.

Кстати, в заглавии этого моего «сказа» о метле ошибки не ищите, дорогие читатели. «До тла» я написал раздельно вовсе не по невежеству (хотя и не застрахован от такового), а вполне сознательно, потому как у меня это не наречие, а существительное с предлогом. Да-да, «тло» было когда-то отдельным, широкоупотребительным словом и означало — дно или основание чего-либо с его внутренней стороны, с изнанки. И, скажем, «сгореть до тла» (сегодня — слитно: дотла) первоначально значило — не до пепла и золы, как иные думают, а до этого самого дна-основания. Потому и ходила такая поговорка в народе: «метла метёт до тла», иначе говоря, до самого дна, подчистую.

А уж дотошнейшие из проницательных книгочеев наверняка заметили и другую мою «промашку», но тоже мнимую, спешу им сообщить. Имеется в виду якобы пропущенное в череде однокоренных и вообще родных метле подручных орудий — всем знакомое (на слух, по меньшей мере) помело. Это я сделал также специально, чтобы отдельно и подробней поговорить о нём. Поверьте, оно стоит того.

3.

Его «приочищенство» помело — тоже своего рода метла, «предмет для подметания на длинной ручке», но только служит не «для очистки дворов, улиц, для сгрёба хлеба при молотьбе», как о первой сказано в очень толковом словаре, а для иных целей — прочищения печей и дымоходов «и для обмёту печнаго поду под посадку хлебов», как добавлено Далем. И является оно не «связкой

прутьев» на длинной палке, а пучком хвойных веток, мочала или просто тряпок, привязанных к концу таковой. И палка-ручка эта носит уже, естественно, другое название—не метловище, а помелище. Хотя оно и не всегда присутствует при работе. Мне, к примеру, доводилось видеть, как отец мой, выступавший в роли трубочиста, не помелом на палке чистил вертикальный дымоход, а спускал в него чугунную гирю с пучком ветоши. И она, падая, как бы сама обметала сажу в трубе.

Теперь, конечно, помело встречается реже, чем в прежние времена. Особенно в городах, где печи с дымоходами вытеснены батареями водяного отопления. Но и горожане, имеющие домики и терема на дачных участках, знают о нём не понаслышке, а в деревнях ещё водятся не только помелья, но и настоящие трубочисты, признанные мастаки в своём весьма не простом деле, к тому же и не самом чистом. Недаром матери всех народов поныне встречают детей, вернувшихся со двора, с улицы, непроизвольным восклицанием: «Ох, опять чумазый, как трубочист!» А у детского писателя Корнея Чуковского в его «Мойдодыре» есть забавные строки, известные многим: «Моем, моем трубочиста чисто-чисто, чисто-чисто…»

Но я решил выделить помело не только из-за его особенной службы, а ещё и потому, что оно не уступит в числе порождённых им пословиц, поговорок, присказок, да и поверий самой царице метения—метле. Первым, конечно, приходит на ум присловье, что «язык, как помело». А вокруг этого выражения—множество близких: «врёт, что помелом метёт», «языком, что помелом возит», «бабий язык—чёртово помело»… Но есть, разумеется, пословицы и с другими смыслами: «она там и толкач, и помело» (на все руки, то есть), «она заместо помела в доме», «у бедного мужика борода клином, у богатого—помелом», «борода—помело, а брюхо—голо», «и в барском доме не без помела» (о нужности его в любом хозяйстве)… А вспомните присказки из народных сказок и небылиц: «ноги колесом, голова помелом, руки веником», «ведьма в ступе едет, пестом упирает, помелом след заметает»…

И, к слову, с помелом сопряжено немало всяких поверий и мистических примет. Скажем, болезненный выгон веток кучкою на дереве в народе называют «ведьминым помелом» и считают недобрым знаком. Молодых женщин остерегают шагать через помело—тяжело рожать будут. Но порой приписывают ему и другую, «чистую» силу. Есть поверье: во время града выкинь помело в окошко—перестанет. А мохры помела, спрятанные в ладанку, будто бы помогают прогнать лихорадку.

Младшего братца помела зовут помельце или помелишко; им, обычно сделанным из птичьего пера или из мелкого тряпья, сметают пыль, сажу с печного шестка. У нас в Сибири часто для этого держат целое крыло—гуся, глухаря или косача, и называют не помельцем-помелишком, а просто крылом или крылышком. Теперь уж не встретишь, пожалуй, особых мастеров, изготавливающих помелья, но раньше были и такие, их называли помельники. Ушли носители ремесла, исчезло и слово. Теперь подобным можно разве что именовать не в меру расплодившихся говорунов-болтунов, памятуя о метком народном присловье про язык и помело.

4.

Вернёмся, однако, к нашим походам с отцом в Полухин лесок за берёзовыми ветками, из которых, напомню, обшиньгивали только те, что шли на мётлы. Из других же, более мелких, гибких и облиственных, вязали банные веники. Этим определением уже всё сказано. Берёзовыми вениками парятся в русской бане. И, стало быть, мастерят их, приноравливая к этой жаркой, влажной и буквально хлёсткой операции. Правда, банные веники бывают ещё и дубовые, и пихтовые, и даже крапивные, но всё это не более чем кураж и экзотика «на любителя», а традиционный, «классический» банный веник на Руси спокон веку—берёзовый. Простите, снова не удержусь от бахвальства: будучи выходцем из деревни, с детства приученным к баньке с паром, я доныне берёзовые веники ломаю и вяжу себе сам. И делаю это, как признают, испытывая их на «собственных шкурах» мои седые приятели, «сопарники» по банному полку в оздоровительном центре, искуснее многих. В том числе и тех «вроде бы» профессионалов, которые готовят банные веники на продажу—по сто рублей за штуку. А у меня и бесплатные не хуже…

Но берёзовые веники не единственные и даже не главные в своём роду. Всё ж основное назначенье у веника—не парить спины, а, как и у матушки-метлы, мести, только уже не улицы, дворы и зерновые тока, а полы—в избах и горницах, сенях и залах. Этаким переходным типом веника от парильного к подметальному можно назвать—голик. Тот, что остаётся от банного после хорошей парки, когда с него изрядно обобьётся, а то совсем облетит листва, обнажив оголённые прутья. Отсюда и—голик, или голичок. У него тоже есть своя служба. Голичком выметают грубый сор, обычно—из сеней или с крылечка, трут, заступив ногой, некрашеные половицы. Зимой им обметают валенки от снега. А летом, в ненастье, об него буквально вытирают сапоги. Затем и лежит он, как правило, у крыльца под порогом. И это о нём, должно быть, говорится в расхожей присказке: «По-нашему ведётся—веничком метётся, весь сор—за порог, а веничек—под порог»…

Хотя, конечно, так может быть сказано и обо всех метущих вениках. В том числе о тех, что служат для более «тонкого» и тщательного подметания в передних, спальнях и гостиных. Такие веники делают из стеблей разных трав и кустарников. Но чаще всего в магазинах и на базарах России—от Смоленска до Владивостока и «с южных гор до северных морей»—можно увидеть жёлто-золотистые, с несколькими перевязями на длинной ручке, изготовленные из сорго, южно-степного злакового растения, близкого к просу. Есть даже особый сорт «веничного» сорго, с отменно долгими стеблями и разлатыми метёлками соцветий, из которых получаются наилучшие веники, любимые хозяйками, в особенности—городскими. Всё чаще теперь

встречаются и синтетические не то веники, не то метёлочки, довольно густые и гибкие, которыми в основном пользуются уборщицы и дворники в разных конторах и прочих казённых заведениях. А недавно мне в компьютер залетела по интернет-почте дикая реклама даже… электрического веника, который якобы не уступает и пылесосу: метёт сразу во всех направлениях, сам лезет под кровати, под диваны и притом, конечно же, лёгкий и компактный. Ну да рекламе наш народ, на сто рядов объегоренный, уже не очень-то верит. Особенно — деревенский.

В нашем селе, по крайне мере, по-прежнему делают свои полынные веники, как и сто лет назад. Притом из полыни — горькой, называемой ещё чернобылом или чернобыльником. Теперь это слово вызывает печальные ассоциации. Невольно вспоминается трагедия на Чернобыльской атомной станции, где взорвался реактор четвёртого блока, вокруг были отравлены поля, леса и воды, пострадало много людей — ликвидаторов аварии. После тех роковых событий ходило немало слухов о разных предзнаменованиях и предсказаниях катастрофы, в которых якобы звучали полные мистики слова о «звезде Полынь», «чернобыле» и прочем. Не скажу, что у нас в Таскине какими-то радостными чувствами овеяна эта жёсткая серо-зелёная полутрава-полукустарник, действительно горькая на вкус. Достаточно привести частушку, которую певали когда-то деревенские девки:

Мой милёночек уехал —
Только пыль на колесе.
Меня горькую оставил,
Как полынь на полосе…

Однако лично у меня к полыни-чернобыльнику вполне доброе, светлое отношение. Тем более что она известна как народное целебное средство «от желудка» и ещё — противовоспалительное и желчегонное. Именно на нёй настаивают виноделы известный у нас вермут; да и экзотичный французский абсент, который отличали знаменитые художники-импрессионисты (Поль Гоген даже назвал его «единственным напитком, достойным художника», а Эдуард Мане написал картину «Любитель абсента»), не что иное, как полынная настойка. Про абсент помолчу, не пробовал, но я тоже люблю терпкий степной запах полыни и даже её горьковатый привкус. Может, это связано с тем, что мне в отрочестве не однажды доводилось заготавливать полынные веники. Притом если за берёзовыми мы ходили с отцом, то за полынными — с матерью или сестрой Валей. Оно и понятно: веники для метения полов — забота женская. Ломали полынь обычно также в середине лета, когда на ней мелкие резные листья и желтоватые шишечки-цветочки особенно пахучи и крепки. Чаще всего брали её на недальнем Гуринском косогоре, по всему верху которого, на грани с пашей, она росла сплошняком. Вязанки из метельчатых, густо разветвлённых стеблей полыни были полегче, чем из берёзовых веток, и я храбро взваливал основную ношу на свои плечи, как и положено мужику, даже если он пока жидковатый, голенастый отрок.

Шиньгать полынь было ненужно. Веники вязала мать, собирая пучки ребристых стеблей «по руке». А мне оставалось только подравнивать их, обрубая топором торчавшие комельки, и потом, связав попарно, развешивать рядом с берёзовыми на соковое вешало, пересекавшее наискосок тенистый чердак хлева. Там они вместе подсыхали и ждали своей очереди, своего вызова на предназначенную им службу — подметальную или парную. Между прочим, в этих вениках на повети почему-то особенно любят прятаться на ночь вездесущие воробьи. Но прежде чем угомониться и задремать, они устраивают там шумные свары, точно расшалившиеся ребятишки. Потому, наверно, и родилось шутливое присловье, которым «счувают» не в меру разошедшихся шалунов: «Чего расшумелись, как воробьи в вениках?»

И почему-то зачастую с веником бывают связаны именно иронические пословицы да загадки. К примеру, о невесте, не обременённой приданым, говорят с усмешкой: «За ней — только гребень, да веник, да алтын денег». Достоинство старинного алтына, напомню, укладывается в три копейки. А загадка о венике, «популярная» в пору нашего деревенского детства, звучала и вовсе несерьёзно: «Дядя Афанасий верёвкой подпоясан, по полу елозит, попу не занозит»…

Впрочем, вспоминается связанная с веником и очень даже серьёзная и мудрая народная притча, которую сам Лев Толстой пересказал специально для детей. Я уж давненько её читал, детали подзабылись, но смысл, помню, примерно такой. Тяжело заболев, отец собрал сыновей у изголовья и завещал им жить в согласии, держаться вместе. А чтобы подкрепить важность своего наказа наглядным примером, подал им веник и предложил переломить. Те, как ни мяли его в руках, ни гнули через колено — всё напрасно. Тогда отец велел развязать веник — и они легко переломали его по прутику. Поняли братья суть родительского завета…

А, мне думается, возможно и более широкое толкование смысла притчи о венике как символе соборности, общинности, артельности, свойственных всему нашему народу. Когда мы вместе и в согласии — нас никто не одолеет.

Ну, а если заглянуть в корни самого слова «веник», то они прямёхонько приведут нас к венку или венцу, тоже весьма распространённых и в русском языке, и в народном обиходе. При слове «венец» наш христианский люд, пожалуй, прежде всего вспомнит — терновый, тот самый, из жёстких веток тёрна с острыми колючками, который пилатовские солдаты-громилы, истязая Иисуса Христа перед казнью, глумливо надели на Его голову, уже и без того кровоточившую от зверских побоев плетьми из ремней с кусками свинца на концах. Он ведь и распят был в этом венце терновом…

Похоже, что и царский венец в православной России не только знак славы и возвышения, но и испытания властью и ответственностью за подданных. Да и за венчанием коронами-венцами жениха с невестой можно усмотреть намёк на испытание супружеством, семейными узами.

Но вот, услышав слово «венок», многие из нас скорее представят не тот, печальный, с траурной лентой, а светлое и праздничное украшение из ярких цветов вокруг головы, которое спокон веку любили русское девушки. И особенно охотно «венчались» им по весне, по раннему лету — на Святую Троицу. Да ведь и другое женское украшение в виде круга — старинный русский кокошник — не что иное, как венок. А веник — это «малый венок», уменьшительно-ласкательная форма от него. Подчеркнём, ласкательная. И пусть невесты на Руси любят не только золочёные венцы при торжественном венчании в церкви и не только цветочные венки в праздничные весенне-летние денёчки, но и полынные веники в будние дни.

На те же грабли

1.

Да уж, конечно, именно это выражение первым напросилось в заголовок к рассказу о граблях, оно стало в последние годы поистине расхожим. Дня не проходит, чтоб не встретилось в газете, не прозвучало по радио, телевидению. Почему-то особенно его полюбили политики разных цветов и рангов.

Вот даже сейчас, когда я писал эти строки, словно в подтверждение, с кухни из моего старого динамика донеслись слова думского депутата в адрес одного настырного президента, уже получавшего по зубам за бомбы и ракеты, обрушенные на головы мирных соседей, однако снова бряцающего оружием: «Он наступает на те же грабли!» Думец этой метафорой хотел подчеркнуть, что горе-президент совершает старую ошибку, надеясь силой вернуть непокорные народы под своё владычество…

Хотя вообще-то фраза «наступить на те же грабли», ставшая популярным присловьем, почти пословицей, по-моему, не совсем точна, в ней искажён первоначальный смысл. По крайней мере, байка, от которой она взяла начало, говорила несколько о другом. Старинная ещё байка. Мне доводилось слышать её в далёком деревенском детстве примерно в такой редакции. Прибыл домой на каникулы сын крестьянский, ставший не то гимназистом, не то студентом. Одет по-городскому и смотрит на всех свысока — шибко грамотным сделался. Вышел во двор, где отец, действуя то вилами, то лопатой, собирает навоз в кучу, встал подле, руки в брюки, и спрашивает:

— Что это за орудье у тебя?

— Вилы, неужели забыл?

— А вон то?

— Лопата, известно…

И только праздный гость ткнул носком штиблета в зубатую штуковину, приставленную к забору, чтобы ещё спросить и про неё, как она сыграй под ногой да тресь его по лбу палкой.

— Тьфу, чёртовы грабли! — чертыхнулся учёный отпрыск.

А отец ему, хитровато прищурившись:

— Как они по латыни-то будут?

— Граблёус, — процедил незадачливый сынок, поглаживая сизую шишку.

— Так бери-ка, дружок, граблёус да подсобляй убирать дермоус!

…Как видите, ни второго, ни третьего наступания на грабли в народной притче нет, и смысл её куда глубже, чем просто совет не наступать на те же грабли. Она высмеивает тех, кто, забывая свои корни, кичится учёностью иль чинами, тех Севастьянов, которые не узнают своих крестьян и часто попадают в глупое положение.

Ну, а мы-то с вами, дорогие читатели, никого и ничего не забыли. А если и запамятовали чуток, так давайте вспомним вместе. Хотя бы «те же грабли».

Что это за инструмент, особо объяснять не надо. Пока, слава Богу, большинству он знаком. Даже если вы самый расцивильный горожанин, вам, небось, приходилось брать его в руки на даче, на каком-нибудь субботнике по уборке двора, улицы или сквера. Современные справочники определяют ручные грабли просто как колодку с зубьями, насаженную на длинную рукоятку и служащую для сгребания сена, соломы, мусора, либо рыхления земли в саду, огороде. Но если заглянуть в старинные словари, скажем, в тома того же патриарха нашей лексикографии, то там мы найдём куда более живое и обстоятельное описание сего уважаемого орудия. Не удержусь, приведу кусочек: «Грабли — ручная борона; состоит из хребта, бруска в аршин, со сквозными дырьями, до двенадцати, в которые вколочены колышки в палец, и из грабловища, палки в рост человека, воткнутой посредине хребта, отвесно зубьям… Граблями гребут, сгребают, сено катают, на грядках бьют комья и ровняют».

На удивление наглядное и точное описание. Мне к нему в сущности нечего добавить. Напомню только для нынешних книгочеев, особенно из юных, что длина аршина — примерно 72 сантиметра (точнее 71,12, или по-старинному 16 вершков). И ещё уточню, что названий рукоятки граблей, кроме выше упомянутого грабловища, существует множество. Мне, к примеру, доводилось слышать, как ручку называли то грабелина, то грабелище, то грабельник или даже почему-то чивильник… В наших же местах её чаще называют граблёвищем. Уж не от «граблёуса» ли из той байки? Шучу, конечно…

Для меня граблёвища такие же родные и привычные, как топорища, косовища или виловища, ибо в юности мне приходилось участвовать в их изготовлении. По крайней мере, ездить с отцом в лес на поиски подходящих деревьев для граблёвищ. Как и ручки для многих других крестьянских орудий, их делают в основном из берёзы. Во всяком разе, — в нашенских сибирских краях, ибо другие растущие у нас деревья — осина, сосна, ель, пихта, а тем более лиственница — для них не сгодятся. Первая из-за слабой, мягкой древесины, остальные из-за мутовчатого расположения сучьев — по этим мутовкам палка быстро ломается. Тем более, что на граблёвище берут дерево тонкое, молодое, а в нежном возрасте древесина у большинства пород хрупкая, тоже слабая. Тут на выручку мастерам снова приходит наша берёзка, которой трудно сыскать равную замену по любым качествам — по

плотности, и крепости, и гибкости. Могут, конечно, при большой надобности сойти черёмуховые либо таловые деревца, выросшие в глухом колке, где они бывают отменно длинными и гладкими, но сойти лишь за второй сорт и в порядке исключения.

Хотя и берёзка далеко не каждая может претендовать на роль граблёвища, а лишь тонкая, высокая и стройная, без больших сучьев до самой макушки. Такие тоже растут только в самых тенистых и густых лесах. В виде подлеска.

Заготовки для граблёвищ проходят тот же путь, что и предназначенные для косовищ, метловищ и прочих рукоятей к домашним инструментам: их сначала шкурят, сушат, потом обстругивают и пускают в дело. С той однако разницей, что на сей раз ошкуренную соковину заранее надкалывают с комелька, примерно на вершок, расклинивают и затем вместе с распоркой ставят сушить под навесом. Вилочка эта после сушки остаётся неизменной, «фиксируется», скажут технари, на неё-то потом и насаживают колодку с зубьями. Такая насадка на рогатинку, согласитесь, более прочна и устойчива, чем просто на торец палки, как у какой-нибудь швабры. А прочность и устойчивость граблям при довольно широких плечиках колодки необходимы крайне, иначе они расшатаются быстро и выйдут из строя. Ведь на них ложится серьёзная нагрузка: ими, как уже сказано, боронят, ровняют на грядках, на делянках землю после вспашки и копки, а ещё чаще гребут, сгребают, ворошат сено или солому, что тоже требует немалых усилий, ибо срезанные стебли цепляются за щетину прокоса.

2.

Вот и всплыло оно само собой, корневое слово «грести» (гребут), от которого родились наши грабли. Хотя в русском, на диво богатом-тороватом языке, имеются и другие глаголы, вроде бы даже более близкие к граблям — «граблить» и «грабить» (грести граблями), но они всё-таки мне кажутся не перворродными, а скорее производными от граблей. Особенно — первый. Второй же любопытен тем, что открывает целый свод слов уже с другим, далёким от описываемого орудия смыслом: грабить — в значении отнимать силою, обирать кого-либо разбоем. Отсюда и грабёж, и грабитель (разбойник и наглый взяточник), и грабазда, грабузда — большой любитель присвоить, прихватить, «приватизировать» чужое; и такие выразительные глагольные формы, как грабастать, грабаздать, грабуздать и даже грамаздать… Но это уже, как говорится, другая история, и мы её развивать не будем. Подчеркнём лишь, что и в основе грабительства лежит слово грести. К себе, понятное дело. Что отмечено, между прочим, в народном присловии: «Только курица от себя гребёт» (остальные, дескать, к себе). Или: «Отруби руку по локот, она всё к себе гребёт-волокёт». Эту цепочку родственных слов тонко уловил и точно передал в одной из поэм Владимир Маяковский: «Город грабил, грёб, грабастал, Глыбил пуза касс…». Очень выразительный словесный ряд получился у него.

Но мы, пожалуй, вернёмся к нашим граблям. У нас ими предпочитают «грести», редко кто скажет граблить или грабить. А гребут преимущественно сено. И когда, помнится, ехали сельские люди на сеномётку, сидя в телегах, то позади из накидашек торчали наряду с вилами обязательно и грабли. Да и теперь, наверное, сенокосы без них не обходятся, при всём техническом вооружении современного крестьянина. Конечно, подсохшую траву из-под сенокосилки, рассеянную по всему проходу пилы, никто ручными граблями не собирает. Такую и в наше время больше сгребали механически — конными граблями, агрегатом на огромных железных колёсах со спицами чуть не в рост человека. И помнится, когда о громах, грохотавших на Ильин день, богобоязненные селяне говорили, что это сам Илья-пророк раскатывает по небу на железной колеснице, то она представлялись мне именно в виде конных граблей… А ныне сплошь и рядом действуют тракторными — цельной машиной на резиновом ходу и с разными премудростями для дистанционного, прямо из кабины трактора, управления ею. Прежде всего — рабочей частью, которой у неё, как и у всех граблей, являются «загребущие» зубья. Но ведь и ныне косят траву не только сенокосилками, а и косами — особенно в логах, на лесных опушках, где с машиною не очень развернёшься. К тому же после косы остаётся кошенина не в расстил, а в виде валков травы, с коими удобней управляться ручными граблями. Частенько валки эти, не успев просохнуть, попадают под дождь, и тогда их приходится ворошить, переворачивать, а здесь уж без ручных граблей вообще не обойтись.

Тех, кто работает граблями, любыми, обычно называют гребельщиками или гребельщицами, если это женщины. Кстати, грабли вообще инвентарь по преимуществу женский. Во всяком случае, у нас в сенокосную пору ими чаще всего работают женщины. Копнят и ворошат сено, подскребают за волокушами и вокруг стогов после их «завершения». Почему — женщины? Да потому, наверное, что грабли всё же не самый тяжёлый инструмент на сеноуборке, однако требующий отменной поворотливости и ловкости в обращении, а этими качествами женщины заведомо превосходят мужчин.

Пожалуй, боле всего ловкость да поворотливость нужны подскрёбщицам — работницам, которые, следуя за накладчиками волокуш, поддевающих копны вилами, подскребают остатки сена и собирают в кучку, чтобы их последним зачистительным навильничком уложили на волокушу. Всё это похоже на настоящий конвейер, придуманный нашими крестьянами задолго до хвалёных американцев. Копновоз на лошади с волокушей едет вдоль сенных копён, накладчики «ходом» подхватывают их на вилы и кладут на волокушу, а подскрёбщица быстренько подбирает все клочки сена за нею, зачищает покос «до чисточки».

Из всех подскрёбщиц, с которыми довелось работать в сеноуборочных звеньях, мне более всего памятна почему-то Анна Эйснер, сухонькая молодая женщина из поволжских немцев, сосланных к нам в годы войны. Может, потому, что она была

самой проворной и лёгкой на ногу. Так и вижу её — в стареньком ситцевом платье, в белом платочке, повязанном низко на лоб, и в сандалиях с белыми же носочками, мелькающими среди сенных копён и зелёной отавы. Чаще других её назначали подскрёбщицей ещё и потому, что была она, пожалуй, самой безответной и безотказной в любой работе. Подскребать за волокушами охотников находилось немного. Эта хлопотная и утомительная работа почему-то оплачивалась более чем скромно. За всю беготню с граблями от «светнадцати до темнадцати», как грустно шутили крестьяне, полагались каких-нибудь полтора трудодня. Меньше платили только нам, мальчишкам-копновозам. Но всё-таки Анна изо дня в день безропотно соглашалась на такую разнарядку бригадира, чему все мы в звене были искренне рады, потому как более быстрой подскрёбщицы, прямо-таки летающей с граблями в руках, наверное, не существовало на белом свете. К тому же она отличалась и лёгким, дружелюбным характером.

Впрочем, довольно проворными подскрёбщицами были и многие другие сельские молодайки и девчонки. В том числе моя сестра Валя. Правда, она в этой роли выступала не на артельном покосе, а на нашем «личном», какой-нибудь день-другой в году, когда мы выезжали семьёй на сеномётку.

Покос нам выделяли обычно в далёком Титовском логу, в лесном урочище Уджейские Вершины. Траву косили только старшие — мать, отец и Марфуша. А когда подсыхали рядки, отец запрягал, вместо выездного бригадирского Серка, покладистого работягу Карьку, и мы всем семейством ехали метать сено. По прибытии на покос отец начинал мастерить волокушу, я был у него в помощниках, а мать и сёстры Валя с Марфушей брали грабли и шли копнить сено, то есть собирать валки в небольшие копёшки. Затем я, оголец-младшеклассник, взбирался на Карьку, запряжённого в волокушу, и становился копновозом; Марфуша, вооружённая деревянными вилами, — накладчицей сена, Вале же доставалась самая суетливая работёнка подскрёбщицы, и она неплохо справлялась с нею. Мать у нас была отменным стогоправом, тоже орудующим граблями. Ну, а отец, естественно, выступал мётчиком, становясь с вилами под зарод. Точнее — под кабан, ибо мы обычно метали не прямоугольный стог, а круглый, называемый в наших краях кабаном, который укладывается этаким конусом вокруг одиноко стоящего дерева, освобождённого от сучьев, или специально вбитого высокого кола.

У нас получалось приличное семейное звено, работавшее довольно споро. За день-два мы успевали заготовить сена столько, что его хватало на зиму всей травоядной домашней живности — корове, подтёлку, овцам, да ещё оставалось на перину востроухому стражнику Соболю, который спасался от морозов в сеннике, зарываясь в сухое, пряно пахучее, словно бы отдающее летним теплом сено.

3.

Когда я писал главку о пиле, то, взывая к своей памяти и обложившись словарями, насчитал вокруг глагола пилить более сотни однокоренных слов. Думаю, не меньше производных и от слова «грести» живёт в нашем воистину неисчерпаемом языке. Ведь оно, кроме как «захватывать что-то мелкое и тащить волоком», согласно пояснениям лексиконов, или «грести к себе — в смысле присваивать чужое», о чём мы говорили выше, может означать и «грести, упираясь в воду», то есть плыть с помощью весла, иного инструмента или просто собственных рук. А это ещё целое гнездо слов и смыслов. Тут будут и «удалые гребцы» на ладьях и стругах, воспетые в русских народных песнях (кстати, двух первых гребцов с кормы называют «загребными», а двух носовых — «крючными»), и гребь, гребля как процесс гребения, и разовый гребок, и гребное судно, и даже гребной флот и, конечно, целая цепочка «гребных» глаголов — подгрести, пригрести, погрести, угрести и т. д. и т. п. А также немалый запас разных присловий, поговорок и пословиц при них. К примеру, таких — с назидательной ноткой: «К добру гребись, а от худа шестом суйся», «Богу молись, а к берегу гребись» или: «Вы хоть топись, а мы к берегу гребись»…

Однако не будем развивать эту ветвь словесного родства, иначе можем далеко «угрести» от наших граблей. А мы ещё и слова не сказали о граблях железных. Между тем они сегодня даже более употребительны, нежели деревянные, уходящие в историю вместе с ручной сеноуборкой. Железные грабли — незаменимое орудие в крестьянском дворе (вспомните байку про незадачливого студиоза) и огороде, да и у горожанина на дачном участке.

Внешне они от деревянных отличаются только металлической колодкой с металлическими же зубьями. Но есть у них и более серьёзное отличие — в главном назначении. Именно железными граблями ныне по преимуществу боронят вспаханные или вскопанные участки земли, разбивают комья, ровняют грядки. Для последней операции лучше годятся — с более частыми зубьями. По крайней мере, в моём дачном инвентаре двое железных граблей — у одних зубья подлиннее, но пореже, ими я забораниваю полоски под картошку, капусту и помидоры, у других, более лёгких, зубья почаще и покороче — этими жена обихаживает свои грядки под лук, чеснок, морковку, свёклу и прочие овощи.

Обои эти грабли, конечно, заводского изготовления. Хотя я помню времена, когда и грабли ковали сельские кузнецы. В железной пластине, этакой толстой линейке, раскалённой до красна, пробивали бородком с десяток отверстий и в каждое вгоняли железный зуб. Смотревший остриём вниз, он намертво закреплялся в гнезде, как и положено зубу. Пожалуй, те грабли были тяжеловаты в работе, но зато они были прочными и бороздили землю не хуже настоящей бороны.

Водились и в нашем крестьянском хозяйстве такие грабли. Служили много лет верой и правдой. А сковал их нам, насколько помню, отец моей одноклассницы Нюрки Мамаевой — Фока Артемьевич, отменный кузнец и незаурядный гончар, о чём мне уже доводилось писать в одной из книжек. Здесь

добавлю только, что его кузнечная слава была, видимо, всё же выше горшечной. Во всяком случае, в сельском фольклоре он понине чаще предстаёт в облике легендарно искусного кузнеца. Например, в байке о том, как ему однажды пришлось прямо в кузне выступить в роли… зубодёра.

У конторского конюха Егора Сафонова шибко заболел зуб. Молодая сельская фельдшерица поторкала его пинцетиком, но сама на удаление не решилась, а посоветовала Егору немедленно ехать в районную больницу на операцию. Но это легко сказать… Хотя у него было на чём ехать — семь жеребцов в руках, однако всё равно двадцать пять вёрст — не ближний свет, да надо отстоять очередь к стоматологу, да ещё попадёшь ли на приёмный день… Словом, стал Егор искать другие пути. Сперва сам попробовал выдернуть зуб. И дратвой его тянул, и пассатижами пытался — бесполезно: не поддаётся, к тому же боль адская, аж искры из глаз. И тогда подумал Егор о тисах. Запряг своего любимца Грюмича, серого в яблоках, и поехал в кузницу. Заходит туда — навстречу Фока Мамаев:

— С чем пожаловал, Тимофеич? Грюмича подковать?

— Не, Фока Артемьич, меня «раскуй». Видишь, с флюсом хожу, как мышь с крупой, вырви проклятый зуб.

— Как это — вырви? И чем? — удивился Фока.

— Да вон твоими тисами кузнечными.

Как ни отговаривал Фока от рисковой затеи, Егор ни в какую: дери и всё!

— Да ведь дезинфекция нужна, хотя бы йод либо спирт, — ухватился Фока за последний аргумент, как за соломинку.

— Будет! — ответил настойчивый пациент, хлопнув об полу.

Пришлось Фоке приступать к операции. Посадил Егора на чурбак возле наковальни, снял со стенда тисы малые с вогнутыми губами и, едва больной раскрыл рот, опытным движением захватил и рванул ими злосчастный зуб. Егор ойкнул от боли, но всё ж удовлетворённо закивал, сплёвывая кровь.

— Дезинфекцию! — строго скомандовал зубодёр.

Егор молча вынул из кармана бутылку водки и стал полоскать ею рану во рту. Потом налил стопку и врачу — за труды. Фока не отказался снять стресс.

А на прощанье Егор, обнажив зубы с не первой уже щербиной, пошутил:

— Теперь, что твои грабли.

— Не-е, мои железные почаще будут, — заметил Фока Артемьич.

…Мой же отец, повторюсь, мастерил деревянные грабли. И для своего подворья, и на всю вторую бригаду колхоза. К слову сказать, это были последние изделия, которыми он на старости занимался в своей столярке. Вилы стоговые, колёса, подушки тележные были ему уже не подсильны, особенно — добывание заготовок к ним в дальних лесах, а лёгкое соковьё для гралёвищ, для колодок и зубьев граблиных он ещё мог готовить и заказы бригадира на новые грабельки к сенокосной страде выполнял исправно.

4.

Родственников у граблей — и по словесным корням, и по службе людям в разных делах-заботах — существует немало. О некоторых мне уже доводилось рассказывать. Например, в главке про косу вострую — о грабках, этаком сдвоенном крестьянском орудии, в котором литовка сочетается с особого рода граблями, имеющими длинные деревянные зубья, вытянутые над её полотном. Грабки употребляют для кошения хлебов, обычно полёглых. Писал я и о грабилках, которые, впрочем, у нас чаще называют гребками, — тоже некоем подобии грабелек, используемых для ускоренного сбора ягод с низких кустов — брусники, черники, голубики…

Давайте упомянем также гребло — инструмент, в котором от граблей «остались» только поперечный брусок да ручка, как у швабры, но по применению он близок к предмету нашего разговора. Греблом сгребают, отгребают, ровняют сверху нечто сыпучее, скажем, зерно. Именно с этим инструментом связана мера (степень) наполнения чего-либо, о которой так и говорят — «в гребло» или «по гребло», то есть полное с краями, всклень.

Любопытно, что в старые времена у крестьян было такое неписаное правило, отлившееся даже в пословицу: «Дача взаймы под гребло, а отдача (отплата) с верхом». И это, пожалуй, единственный пример «ростовщичества», дачи «в рост» у нашего народа. Да и то более чем на выгоду, намекающий на чувство благодарности, на то, что за доброе дело надо не просто платить добром, «под гребло», а сторицей, «с верхом».

Можно привести примеры и словно бы шуточных отзвуков в подобиях граблей. Поскольку сами они и все их сородичи, вроде грабилок и грабков, напоминают руку с пальцами, то имеется в народе (по крайней мере, в наших краях, наполовину населённых потомками переселенцев из Северной Руси) ироническое словцо-синоним для ручной кисти — «гребея». А детские ручонки иные мамы и бабушки умильно-шутливо называют «гребуньками», «гребунюшками». Малыши ведь ими тоже норовят «грести к себе» всякую чепуху, да ещё частенько и на вкус пробовать…

В ряду ж печальних — упомяну слово «грабильник». Чисто наше, деревенское. Рождено на моей памяти. Притом от граблей конных. Когда пришли тракторные, конные грабли, уступив им место, встали в бригадных дворах на прикол оглоблями в землю. Но ржавели недолго. Догадливые селяне стали из железных зубьев, выпрямляя их в кузне и прикрепляя к таким же пряслицам, делать оградки. Кладбищенские. И прозвали грабильниками, видимо, соединив гроб с граблями. Даже и я хотел заказать кузнецам общий грабильничек для родных могил — матери, отца, двух сестёр, похороненных рядом. Но меня опередил племянник Ваня Берестов, Марфушин сын. Работая на портальном кране в Дудинке, он привёз оттуда (за тыщи вёрст!) ящик алюминиевых прутьев и собрал из них оградку, лёгкую, изящную. А его отец, фронтовичок Фёдор Осипович, с новой женой

Татьяной, норильской шахтёркой, покрасили её, спасибо им.

Признаться, подходя ныне к той оградке, я уже невольно высматриваю место и для себя, но… не вижу. Скорее оно — за городом, на пустырях «Бадалыка». Да и оградки, кажись, уходят. Грядут голые кресты иль белые пирамидки. С номерами. Всё, как у «деловых» американцев…

Впрочем, не будем о грустном, повернёмся к родичам грабельным.

5.

И уж если на каком родственном слове стоит подробней остановиться, так это — на гребне, тоже своего рода «снаряде с зубьями для различного употребления».

Прежде всего на язык просится, понятно, гребень головной, служащий для причёсывания, расчёсывания волос, для вычёсывания из них, простите, известной живности, а также для поддержки локонов и кос. В первых случаях предпочтителен частый гребень, во вторых — более редкий. А ещё в былые времена имел распространение тупейный. Теперь уж и слово такое (кстати, французского происхождения) полузабыто. Ну, разве что иные слышали или даже читали лесковский рассказ «Тупейный художник», да и то не у каждого отложилось в памяти, что это за птица. Так вот напомню, что тупеем называли в старину причёску (скажем, в комедии «Горе от ума» Александра Грибоедова есть строка «Раскланяйся — тупеем не кивнут»), этакий взбитый хохол на голове, для ухода за которым был даже особый гребень — тупейный, а цирюльники-парикмахеры, мастера взбивать эти самые хохлы-тупеи, как раз и назывались тупейными художниками. Во всяком случае, так назвал своего героя Николай Семёнович Лесков, редкий знаток русского слова и не менее редкий словесный колдун, которым и поныне восхищаются читатели, умеющие ценить писателей не только за то, о чём они пишут, но и как, каким языком, насколько искусно и выразительно.

Если же делить гребни не по назначению, а по материалам, из которых они изготовлены, то можно назвать — металлические, деревянные, роговые, черепаховые, пластмассовые… Металлические на первое место поставлены не потому, что они самые распространённые, а потому, что, пожалуй, самые древние. Или одни из древних. По крайней мере, археологи в захоронениях среди древностей чаще находят именно таковые — золотые, серебряные, бронзовые… Может, были в те седые времена и деревянные или, скажем, лубяные, но они просто не сохранились в земле, сами превратились в прах земной. Ныне же металлические гребни, обычно — алюминиевые, отнюдь не самые популярные и представлены в основном такой их разновидностью, как расчёска-гребешок с односторонним рядом зубчиков.

В не столь давние времена наиболее распространёнными были роговые гребни, с рядами зубьев по обеим сторонам пластины — частым и редким. Делались они действительно из рогов, бычьих или коровьих. Скажем, в известном юмористическом произведении Ильфа и Петрова «Золотой телёнок» упоминается контора «Рога и копыта», но почему-то словно бы в шутку, хотя подобные конторы по заготовке рогов и копыт действительно были, притом не только в ильфо-петровские тридцатые, но и в пятидесятые, шести-семидесятые годы прошлого столетия, памятные и мне. У нас в селе их закупало отделение районной заготконторы «Утильсырьё». А ещё собирал, мотаясь в телеге по деревням, специальный разъездной агент этой конторы — старьёвщик. И мы, ребятишки, вместе с тряпьём, дырявой посудой из металла, костями и прочими отходами хозяйства, охотно тащили ему бросовые скотские рога, за которые он с особой готовностью одаривал нас «по бартеру» разными игрушками, свистульками, красочками, надувными шарами и теми же роговыми гребешками. Не знаю даже, где изготовлялись они, но выглядели вполне по-фабричному: гладкие, с ровными рядами острых зубчиков, с изящными разводами на полупрозрачной пластине, напоминавшими водяные знаки на денежных купюрах.

Теперь, конечно, роговые гребни — большая редкость, если водятся вообще. Они, пожалуй, навсегда остались в прошлом веке вместе со старьёвщиками, собиравшими по деревням рога и копыта. Теперь гребни пошли исключительно пластмассовые — на любой вкус и цвет. Даже и черепаховые, упомянутые мною, бывшие предметом роскоши и служившие для украшения женских голов, вытеснены разными шпильками, приколками, заколками и гребёнками, изготовленными из синтетических материалов.

К слову сказать, гребёнки — женские варианты гребней, изогнутых дужкой, с односторонним рядом зубьев — в наших местах зачастую зовут гребёлками. При этом слове, указанном и в некоторых словарях, можно даже встретить примечание «вост.-сиб.», указывающее на то, что у него восточно-сибирское происхождение или «прописка». Правоту примечания я могу подтвердить, ибо сам когда-то выговаривал данное слово именно так. Даже вспоминается, что среди шутливых фраз, составленных из слов на одну какую-нибудь букву, была у нас в ходу и связанная с той самой гребёлкой: «Гришка, гад, гони гребёлку, гниды голову грызут…» (Как говорится, кто про что…) И, пожалуй, только в школе я впервые узнал, что «культурно» слово это звучит несколько иначе — гребёнка. Хотя если поперебирать слова, связанные корнями с нею, то встретятся и наши сибирские вариации.

Кстати будет сказать о гребёнке, что у этого «снаряда с зубьями», как и у самого слова, тоже множество значений и назначений. Навскидку мне припоминается, что рыбаки, к примеру, зовут гребёнкой зубчатую острогу, которой бьют сёмгу. Столяры так называют железный болт в своих верстаках — для упора в него строгаемого изделия. У токаря тоже есть гребёнка — приспособление для нареза винтов. А старинные пахари по своей гребёнке на вершине грядили «устанавливали» плуг, задавая ему нужный ход…

Ну, а «гребней» вокруг нас столько, что мы всех и не перечислим. Начать с того, что кроме нашего головного есть петушиный гребень. Так называют мясистый нарост на голове у петуха-кочета. Он и впрямь похож, хотя, по народному присловью, «петушиным гребнем головы не расчешешь». Впрочем, подобные наросты-гребни встречаются и у других птиц, чаще у самцов. Гребнем раньше именовали также деревянный инструмент (на западе—обычно кленовый, у нас—берёзовый) для расчёски льна или пеньки и для приготовления кудели. А пряхи так зовут прялку, к которой привязывают пучок той же кудели либо шерсти. Гребнем двускатной кровли доныне называют конёк или резную доску по коньку на крестьянских избах. Да и вообще верхнюю грань, ребро, стоячую полосу, прямую или зубчатую, чего-либо вокруг. От, скажем, гребня гор—острого хребта или ряда скалистых вершин до узкой грядки земли, нарезываемой плугом. И есть даже метод гребневой посадки картофеля «под плуг», когда клубни ложатся в эти земляные гребешки, скорее там прогреваются, дружнее всходят и лучше растут. А кроме упомянутого мною в одной из глав покрика пахаря на лошадь «В борозду!» существует другое понукание: «Гребнем!»—чтобы она шла подле самой борозды.

Словом, почти в каждой сфере жизни и деятельности найдётся свой гребень. У военных—это верхняя часть бруствера, у речников, моряков—поперечный поручень для лоцмана и гребень волны, у виноградарей—гроздовая ветка со стебельками, у пчеловодов—укрепление в голове улья, у ботаников—растение «венерин гребень» и другие…

Ну, а уж насчёт народных пословиц, поговорок, баек, связанных с гребнями, гребёнками да расчёсками—вообще море разливанное. Приведём хотя бы то же присловье «гребень да веник, да алтын денег», употреблённое самим Пушкиным в «Капитанской дочке» для иронической характеристики скромного приданого Маши Мироновой, невесты Петруши Гринёва. Или выражение «стричь под одну гребёнку», в значении—нивелировать, ровнять всех без учёта особенностей, которое понятно каждому и ныне вполне приложимо, допустим, к навязшему в зубах ЕГЭ. Не нуждаются в особых пояснениях и такие пословицы, как: «Новая гребёнка дерьмя дерёт» (помните, новую метлу?) или: «Снова гребень дерёт, а причешется—сгладится (смирится)», или: «Не гребень голову чешет, а время». И ещё: «Быстрая вошка первая на гребешок попадает» (мол, не высовывайся!). Или из ряда шутливых поговорок: «Двое плешивых за гребень дерутся», а то и, простите: «На хрена попу гармонь, лысому—расчёска…»

Но есть и такие, уходящие истоками в старину, которые для нас уже не совсем ясны. Положим: «Едет холя—везёт гребень» или: «Приехала холя, привезла гребень». Видимо, имеются в виду приятные ощущения (ведь холя—это забота, окружающая кого-либо), вызываемые чесанием, расчёсыванием гребнем или гребёнкой. Все, а селяне—в особенности, хорошо знают, как любят животные—кони, коровы, свиньи да и собаки с кошками, когда их гладят и чешут. Для чистки и расчёски лошадей имеется даже специальный гребень, называемый греблицей или скребницей.

Наверное, нынешний горожанин, а тем более—юный, едва ли поймёт смысл и такой старой пословицы: «Гребень не Бог, а рубаху даёт». Тут под гребнем понимается прялка, о чём я говорил выше. Ближе и понятней про хлеб и хлебный ломоть: «Отрежешь—так оселок, а откусишь—гребёнка». Или целая шуточная тирада, высмеивающая неудачный хлеб из-под руки худой стряпухи: «Откусишь—гребёнка, посадишь—перепёлка, сидит—не летит…»

Не буду утомлять читателей перечислением и пояснением производных слов от гребня и гребёнки (гребенщик, гребёночник—мастер; гребенник, гребенчатка—растения; гребнина, изгребье—очёски льна, пеньки; гребенуха—утка, гребенчатый—похожий на гребень и т. д.), но всё же на гребенщице остановлюсь чуть подробнее. Ибо тут, братцы мои, кроется целый переворот в истории русских нравов. В старину, во времена строгие, домостроевские, русские девушки и женщины буквально поголовно носили косы и «держали волосы» платками, шалями-полушалками, повойниками. Но потом, с приобщением к сомнительной западной «цивилизации», светские дамы всё чаще стали обнажать головы, сооружать разные сложные причёски и поддерживать их гребёнками. Ну, а вслед за причёсками такие продвинутые модницы и одежду национальную постепенно сменили на иноземное платье, французское либо англицкое. И вот, поскольку все эти превращения начались с гребёнок, а, может, потому, что именно они первыми бросались людям в глаза, как признаки измены традициям, таких женщин в народе стали называть «гребенщицами». Пренебрежительно и даже осуждающе, ибо они, скинувшие русские национальные одежды, сменившие платок на гребёнку, неизбежно вслед за этим и сменили нравы—из скромных, целомудренных и величавых пав стали превращаться в «раскованных» вертихвосток. Процесс этот, к сожалению, продолжается доныне и достиг уже совершенно уродливых форм, вроде шастанья женщин в коротких штанцах, по сути—трусах, по городу и миру, да ещё и с обнажёнными плечами, спинами и даже, прости, Господи, пупками… Совсем опупели, хочется сказать. И сказал бы, да ведь живо прослывёшь ретроградом, домостроевцем и тотчас попадёшь под грабли и гребни либерального террора.

Хотя, конечно, женщины и девушки у нас на Руси разные, и не надо всех стричь под одну гребёнку. Но, с другой стороны, следует помнить, что именно увлечение западными модными одеждами, течениями и учениями, отрыв от корней своего народа и забвение основ быта и нравов русской национальной жизни привело нас к трагедиям и 17-го, и 91-годов. Не наступить бы снова на те же грабли.

Тяп, да не ляп

1.

«А подать сюда Ляпкина-Тяпкина!»

Так и хочется очерк о тяпке начать с этой фразы из гоголевского «Ревизора», ушедшей не только

«в род и в потомство», но и, по сути, в народные пословицы. Вспомним, что почтенного судью со столь колоритной фамилией звали Аммос Фёдорович, что это был, по замечанию автора комедии, «человек, прочитавший пять или шесть книг и потому несколько вольнодумен» и что он «брал взятки борзыми щенками». Ну, а судейские дела свои вёл спустя рукава, по принципу тяп да ляп, отсюда, очевидно, и «говорящая» фамилия.

Хотя, конечно же, далеко не все Тяпкины, коих немало и ныне водится в России, обязательно Ляпкины. В нашем селе, например, живёт и здравствует, дай Господь ему долгие лета, вполне положительный человек Николай Тяпкин, который не то что взяток не берёт, но и сам готов отдать последнюю рубаху по своей доброте. Бессребреник и работяга. Годами — почти мой ровесник. Но в школе учился тремя классами пониже, приотстав вследствие одного печального случая, прямо-таки трагического.

Коля жил напротив сельской кузницы и частенько заглядывал туда то один, то с бабушкой Евгеньей, которая была сторожихой и уборщицей в этом «горячем цехе» колхоза, в те времена довольно солидном — на четыре горна. Кузнецы относились к мальчишке по-свойски, привечали его, давали ему подержать тиски с поковкой, покачать мехи, раздувавшие пламя в горне. И вот однажды забежал Коля в кузницу и встал перед наковальней, на которой кузнец с молотобойцем в аккурат тяпку ковали, вырубали её из раскалённого диска от лущильника. Кузнец наставлял зубило на древке, а молотобоец ударял по нему молотом и шутливо приговаривал: «Куйся — не дуйся, тёзка Колькина!» Тук-тук-дзинь! — слетали отрубаемые клинышки. И вдруг один заусенец отскочи — да прямо в глаз Коле Тяпкину! Истошный рёв, истерика… Перепуганные кузнецы в охапку мальца — и бегом к сельскому фельдшеру, оттуда — в райбольницу. Но всё напрасно — вытек глаз у бедняги. Так и ходил с провалом вместо глазного яблока, пока стеклянное не вставили.

Но, потеряв глаз, Коля не впал в тоску-кручину. Вырос ладным парнем. Купил гармонь. Стал первым гармонистом на селе. И ещё изрядным частушечником. Сам сочинял частушки, сам пел под гармонь, на районных смотрах самодеятельности не раз призы брал. И такая слава прокатилась о нём по деревне, по району, какой, к примеру, мне со всеми моими книжками век не видать. Стал Коля Тяпкин кем-то вроде местного Васи Тёркина. Кстати, фамилии эти кажутся созвучными не только по форме, но и по содержанию. Корневой глагол «тяпать» не менее заслуженный и боевито-энергичный, чем «тереть». Если, конечно, иметь в виду его главное значение — рубить, сечь, крошить, а не «теневое» — хватать, отымать, красть, чего мы здесь касаться не будем.

Нас интересует то, от которого родилось и унаследовало смысл «орудие для обработки почвы». Пусть даже и «примитивное», как добавляется в его толкованиях некоторыми современными словарями. Хотя, признаться, мне обидно за вполне уважаемый инструмент, который сопровождает человека многие века и поныне, при всех достижениях науки и техники, остаётся незаменимым. Тем более что не такая уж она примитивная, эта самая тяпка. Внешне — вроде бы да, ничего особенного: острая железная лопатка, насаженная перпендикулярно на палку, — вот и вся недолга. Однако те, кто имеет солидный опыт обращения с тяпками, наверняка скажут, что при всей видимой простоте они имеют немало секретов.

2.

Начать с того, что тяпка тяпке рознь. У одной упомянутая железная лопатка скорее похожа на нож или обрубок ножа. И пластинка эта с острым ребром прикрепляется посредством изогнутых рожек к трубке, в которую вставляется деревянная рукоятка. Достоинство такой тяпки в том, что она лёгкая и обычно, благодаря тонкости ножа, особо острая. Ею можно отлично тяпать, полоть траву, скажем, на дорожках между грядками, вокруг плодовых деревьев, кустарников или в междурядьях картошки, слегка взрыхляя землю. Однако для огребания, окучивания той же картошки она уже не очень сгодится, тем более если земелька в вашем огороде не пухом смотрится, а этакой остывшей магмой. Кстати, тонкие «травопольные» тяпки-самоделки у нас в селе нередко ковали из старых литовок, вырубая из полотна здоровые сегменты поближе к пятке, где оно пошире и попрочнее. Но бывал и другой исходный материал, скажем, пила-ножовка или клинок широкого ножа-косаря. А однажды тяпка была скована, говорят, даже из настоящего боевого оружия, хотя и холодного. Сам я не видел той тяпки, но к появлению неожиданной «заготовки» для неё был невольно причастен. Тут, друзья мои, целая история, которую стоит рассказать, ибо она имеет прямое отношение к подлинной истории нашего села, да и всей страны.

Когда-то давно, будучи огольцами-школярами, играли мы в соседнем Юшковом дворе в прятки. Суть этой игры, называемой у нас «в тыр-тыр-палочку» или «в палку-закидалку», незатейлива и многим известна. Закидывается небольшой стежок куда подальше, обычно за ограду, и пока голельщик бегает за ним, остальные участники игры прячутся кто где, желательно — понадёжней. Прибегает голельщик, кладёт палку на доску или там чурку на видном месте, громко объявляет: «Раз, два, три, четыре, пять, я иду искать!» — и начинает поиски схоронившихся приятелей. Если, найдя кого-то, успеет первым прибежать к палке и «застукать», приговаривая «тыр-тыр-тыр!», то «найдёныш» становится кандидатом в следующие голельщики. Хотя у него ещё есть надежда на выручку: если кто-то, найденный последним, проворно выскочит, обгонит голельщика и «застукается» прежде него, то тому бедолаге придётся голить снова…

Двор нашего общего приятеля Витьки Юшкова, в котором мы играли, был очень удобен для пряток. В нём, по-кержацки обширном, были навесы и пригоны, баня с предбанником, завозня с высокой подклетью и ещё крытый сарай с сеновалом, а в том сарае — пустой фургон, плетёный

короб и длинная, чуть не во всю стену, старинная колода в два обхвата, выдолбленная из цельного листвяка. Словом, укрыться было где. И мы попрятались так, что даже битому голельщику Пашке Звягину, который был постарше многих из нас, жил неподалёку от Юшковых и знал все закоулки их двора, пришлось туго. Из всех игроков он нашёл и застукал только одного, остальные сумели, выскакивая сами, опередить его на дистанции к палке-закидалке. Но самым позорным для него стало то, что он долго-предолго не мог найти последнего из спрятавшихся — и кого! — Янку Шаброва, Шабрёнка — по кличке, младшего по возрасту и наименьшего по росту среди нас, к тому же хромого и тощего, словно заяц.

Но, как вскоре выяснилось, все эти недостатки Янка сумел обратить в преимущества. Когда у Пашки уже лопалось терпение и он, чертыхаясь, было полез на сеновал, куда вообще едва ли мог взобраться Шабрёнок, тот вдруг сам обнаружил себя, завопив на весь сарай:

— Ребя, тяни меня! Чудо нашёл!

Неожиданный вопль этот раздался из столь же неожиданного места, а именно — из-под той самой колодины в два обхвата, прислонённой к стене. Все мы тотчас бросились к ней. И первым чудом явилась нам Янкина грязная пятка, торчавшая в узкой щели между стеной и колодой, куда босоногий Шабрёнок умудрился залезть.

— Тяните, тяните! — торопил он, в нетерпении подёргивая ногой.

Пашка, отодвинув нас, встал на колени, ухватил Янку сперва за «ахиллесову пяту», потом за лодыжку и потащил к себе. Вскоре Янка, весь в пыли, в облепленных куриным помётом и пухом штанах, с задранной рубахой, голопузый, появился на свет. А за ним — зажатый в вытянутых руках некий предмет, искоричнева-серый, длинный и кривоватый, похожий на корень.

— Сабля! Настоящая! — выдохнул Янка и захлопал круглыми на выкате, истинно заячьими глазами.

Пашка тотчас выхватил у него эту саблю, выбежал из сарая на свет и, забыв про тыр-тыр-палочку, стал жадно разглядывать находку, поворачивая её так и сяк. Потом потянул за рукоять — из ножен действительно показался, матово поблёскивая на солнце, длинный клинок с желобком посередине и лезвием по выпуклому брюху.

Мы окружили Пашку, горя желанием тоже потрогать настоящую саблю, но Пашка не спешил пускать её по рукам. Ко всем, кто был особо настойчив, он поворачивался спиной. Исключение сделал лишь для хозяина двора, и Витя Юшков, повертев оружие в руках, сказал:

— Это, однако, шашка. У сабли изгиб покруче будет, а шашка слегка лишь изогнута. Видите? Эфес, ножны… Такие раньше офицеры носили сбоку. Мне дед рассказывал. Он ведь был красным партизаном, в армии Щетинкина. И вот когда они, красные, гнали белых колчаковцев из волости, из Каратуза Казачьего, через наше село, то один офицер заскочил к нам во двор, а потом вылетел через огород вот сюда, в Юшков переулок, там его и поймали. Так это, поди, он успел шашку-то под колоду спрятать. Чтоб не мешала драпать. А, может, надеялся вернуться…

Мы выслушали Витьку с разинутыми ртами. А Пашка заявил:

— Это похоже на правду, и оружие надо сдать в сельсовет.

Он решительно взял шашку назад, вставил в ножны и, держа перед собой, пошагал, потом побежал вдоль улицы. Мы гуртом — за ним.

Председатель сельсовета Ян Петрис, активист из прибалтов-переселенцев, по заглазному прозвищу Латышский Стрелок, встретил нас странновато. В ответ на наши сбивчивые рассказы он даже не вышел из-за стола, за которым что-то спешно писал, то и дело тыкая ручкой в непроливашку, а только хлопнул ладонью по столешнице и прострочил своей обычной скороговоркой:

— Да-да, вполне возможно. Холодное оружие врага. Клади сюда. Покажем, кому следует. Может, сдадим в музей.

И всю тираду выдал с таким видом, будто ему каждый день ребятишки приносили по белогвардейской шашке. Явно смутившись, Пашка всё же покорно положил оружие на край стола. Латышский Стрелок кивнул и лишь теперь на секунду поднялся, давая знать, что приём окончен.

Пашка как-то боком отступил к двери, мы дали ему дорогу и не солоно хлебавши пошли за ним восвояси. Сперва шагали молча. Потом раздались было недовольные голоса, выговаривая Пашке, что зря он «перебдел» и не дал подержать редкую находку, но Пашка не ответил, и голоса смолкли.

Про ту шашку мы скоро позабыли. Никаких вестей из сельсовета не поступало, а прямо спросить о ней у председателя никто из нас не решился. И мне её дальнейшая судьба неизвестна. Верно, годы спустя один из друзей детства, с которым мы при случайной встрече ударились в воспоминания, насчёт найденной шашки иронично заметил:

— Говорят, Петрис из неё тяпку сковал. Допетрил. Рубит осот, как врага.

Но мне что-то не верится в столь циничное обращение с «артефактом».

Может, это просто байка, пущенная недоброжелателями. Однако, если всё — правда, то тяпка, должно быть, действительно вышла на славу и рубила сорняки не хуже буйных головушек. Невольно вспомнишь про знаменитую скульптуру Вучетича «Перекуём мечи на орала». Тот символический образ наш Латышский Стрелок воплотил в жизнь буквально…

3.

Но мы однако слишком увлеклись службой да историями тяпок лёгких, «травопольных». Всё же более востребованы и уважаемы у огородников тяпки тяжёлые, с широкими железками, служащие для рыхления почвы и прополки, а главное — окучивания картофельных гнёзд, набирающих силу капустных кочанов и прочего. Подобные у нас ковали обычно из старых двуручных пил, поперечных и продольных, но они всё же оказывались легковатыми. И потому иные мастера пытались делать тяпки из бросовых сточенных сошников или даже

топоров, оттягивая раскалённые их полотна на наковальне, но такие наоборот выходили излишне тяжеловесными. Самые ловкие тяпки, по общему мнению, получались из дисков от сеялки, а ещё лучше — от лущильника, которые были прямо-таки идеальным исходным материалом — и по толщине, и по качеству металла. Да и по форме: руби диск на сегменты, приклёпывай либо приваривай к ним трубки для древка — и все дела. Лезвие уже почти готово, заточено, и полотно — округло-выпуклое, будто специально для удобства в работе.

Была и на нашем подворье такая тяпка. Поныне частенько вспоминаю её добрым словом. Ибо ни одна из пяти моих тяпок теперешних, фабричных, которые держу на даче, не идёт ни в какое сравнение с нею. Ну, ещё узкие, «пропольные», туда-сюда, а что до широких, рыхлильно-окучивательных, то они вообще никуда не годятся — захватом малы и слишком легки, чтобы пробивать наши подзолы, и тупятся быстро — не успеваешь затачивать. Всё собираюсь съездить к нашим сельским кузнецам да заказать тяпку из диска лущильника, которая не тяпка, а чистый комбайн-автомат. Сама по земле ходит и сорняки режет, и картошку огребает так, что ботва стоит по стойке смирно. Про такую хочется сказать не «тяп да ляп», а иным присловьем — «тяп-тяп и — сентяб». То бишь, раз-два и готово: рой созревшие клубни.

Между прочим, в наших краях нередко тяпкой зовут и сечку — тот небольшенький закруглённый заступ на черенке, которым секут, крошат, рубят капусту. Обычно — в большом деревянном корыте. Сечки часто делают с выдумкой — с резным и округлым железком, которое по бокам завершают этакие завитушки под бараний рог, не имеющие никакого практического значения, а только служащие украшением инструмента. Может, кузнецы стараются ради женщин, ведь, как правило, именно они, орудуют сечками, занимаются рубкой и засолкой капусты. А это в сельских дворах — целый ритуал и даже особый осенний праздник, венчающий все огородные дела, ибо капусту убирают последней, в канун или после Покрова, порою уже по снегу.

Рубить капусту хозяйки — соседки или подружки — иногда собираются вместе и артелью переходят из дома в дом. Работают сразу в несколько сечек, дружно, весело, с шутками, подначками, а то и с песнями. Во всяком разе, так бывало в пору моего деревенского детства. Да и не только моего. Вон и писатель наш Виктор Астафьев поведал об этом в своих «Синих сумерках», давших заглавие одной из книг рассказов и затесей. Кстати, слово «затеси», по его объяснениям, он взял у сибирских лесников, охотников, которые так называют метки, затёсы на деревьях, которые делают, идя по тайге, чтобы на обратном пути не заблудиться. Может, и действительно так в его Овсянке или в северных — енисейских, подтёсовских краях, куда он частенько выезжал на охоту, на рыбалку. В наших же южных, минусинско-каратузских, местах подобные метки чаще называют «тяпками». Тяпнул походя топором по дереву на уровне головы — вот и тяпка. Даже и мне отец, когда мы углублялись в лес, допустим, в поисках подходящих деревьев на дрова либо для изготовления будущих оглоблей, вил, санных полозьев и прочего, нет-нет да командовал: «Сделай-ка тяпку на той вон берёзе!» Ну, это к слову… А рассказ «Синие сумерки» очень даже хороший. В нём вроде бы ничего особенного не происходит, просто деревенские бабы рубят сечками-тяпками капусту в общем корыте (всё, как бывало и в нашем Таскине), ведут разговоры о том, о сём и поют тягучие песни. Но столько там светлых чувств, ярких характеров, бытовых картин, поэзии сельского труда и жития, что трогает до слёз…

Вот тебе и «тяп да ляп». Нет, не зря в народе живёт и такое присловье, рождённое, правда, скорее не в наших сибирских местах, а где-нибудь в поморских: «Тяп да ляп — и вышел корабль…»

4.

Ну, а вообще-то тяпка-сечка капустная уже, как говорится, другая статья, по меньшей мере — побочная. Главное же значение слова «тяпка» у нас — то самое орудие огородное, земледельческое. Притом именно тяпка, тогда как в других местах этот инструмент чаще зовётся мотыгой. Даже и в словарях любого толка эти слова обычно стоят рядом, буквально через запятую, как синонимы. И нам с вами было бы грешно обойти мотыгу, даром что она происходит от совсем другого глагола — «мотать», в смысле — махать, качать, поводить туда-сюда. А грешно обойти потому, что, во-первых, «мотыга» поныне вполне употребительное название этого инструмента во многих краях России, прежде всего — западных и южных. Во-вторых, оно более почтенного возраста, старинное, даже древнее. Может, потому и значение его пошире и побогаче тяпкиного. Откуда у меня такое заключение? А обратите внимание, что под мотыгой и сегодня понимают не только обычную огородную тяпку, но и кирку, у которой один конец клювом, другой плоский, навроде долота или зубила, поставленный поперёк древка, Такая используется для копки, долбления твёрдой, каменистой либо суглинистой почвы. Так вот подобная кирка-мотыга, как утверждают археологи, была древнейшим орудием для обработки почвы под посев, самым надёжным, хотя и примитивным. Первые мотыги были деревянные или каменные, потом их сменили бронзовые и железные. В исторической науке есть даже такой термин — «мотыжное земледелие», означающий этап, целую эпоху в развитии человечества.

Вон куда мы вышли через тяпкину сестру — мотыгу!

А если подробней рассмотреть такую ипостась её, как кирка, то можно уйти ещё дальше. Тем более что у кирки тоже множество разновидностей и, соответственно, применений в хозяйственной деятельности всех времён и народов. Но мы далеко заходить не будем, а напомним только, что у кирки, как рода мотыги, могут быть, кроме упомянутого выше, разные иные сочетания рабочих частей — и клюва с заступом, и клюва с теслом, и прямых заступов в оба конца. Последним типом, к примеру,

орудуют печники и каменщики, «кроя» кирпичи и каменные плиты. В наших местах, пожалуй, наиболее распространён такой вид кирки, как кайло, или кайла, у которой обычно клюв в одну сторону. В сущности, это остроконечный стальной клин, насаженный на деревянную ручку, который употребляют для откалывания льда или ломких пород, то есть как горный инструмент, хотя им нередко и долбят—кайлят!—твёрдую почву. А, кстати, в южных областях страны можно услышать аналогичный глагол от кирки—киркать. Положим, киркать виноградник. И для рабочих, киркающих эти самые виноградные посадки, имеется даже особое название—кирочники. Про нашенских «кайловщиков» я что-то не слыхал. Видно, в словотворчестве кайла не шибко отличилась. Да и народных пословиц, поговорок, связанных с нею, не назову навскидку. Как, впрочем, и с киркой, и мотыгой. Разве что припомню две-три деревенские присказульки про «мотыгу»—неприкаянного человека, пьяницу и мота, да и то в пренебрежительно-уменьшительной форме. К примеру, «пьяница-мотыжка—первый моторыжка (то есть мот) или: «пьяница-мотыжка, где твоя сберкнижка?». А то ещё такая: «пьяница-мотыжка замёрз, как кочерыжка…»

Но не хотелось бы мне заканчивать рассказ о тяпках-мотыгах-кирках и кайлах на столько грустной ноте. И я лучше приведу в заключение строки из одного стихотворения Владимира Солоухина, которые мне очень нравились в юности: «Загорелый, в клетчатой рубахе, Я стою с киркой пред глыбой жизни!». Признаться, даже свою первую книжку стихотворений я было назвал «Пред глыбой жизни», но потом забраковал такое заглавие, сочтя его излишне патетичным и претенциозным, да к тому же заимствованным, чужим. А у хорошего автора всё должно быть только своё, незаёмное. Как и у всякого мастера.

С ломом напролом

У слова «лом» значений много. Ломом называют и ломаные предметы, годные только на выброс или для переработки, как, например, отслужившие изделия из цветных и чёрных металлов; и боль, ломоту в костях, и похмелье алкогольное «после вчерашнего», и наркотическую ломку, ныне особенно «актуальную», будь она неладна. И ещё много чего. Но над всеми ними, безусловно, царствует значение его величества лома как железного рычага, несгибаемого и «пробивного» стержня, уважаемого инструмента в любом хозяйстве, в строительстве и производстве, даже самом что ни на есть высокотехнологичном, самом инновационном, как ныне модно говорить.

Да, внешне он предельно незатейлив, прост, как палка. В одном из толковых словарей о нём так прямо и сказано, что он представляет собою не более чем «металлическую палку, заострённую с одного и раздвоенную с другого конца». Или сплющенную, добавим. Но эта «палка», выражаясь опять же по-учёному, весьма многофункциональна и, без преувеличения, незаменима во многих делах. Ею можно ломать, корёжить, разбивать что-нибудь твёрдое и громоздкое, долбить мёрзлую или каменистую почву, «подваживать», приподнимая какую-либо тяжесть… «Железная палка» нигде не подведёт.

Между прочим, при этом сравнении лома с палкой мне вспомнилась невольно одна из первых встреч с ним.

Перед отцовским домом был небольшой мост, под которым вёснами бурно пробегала коренная вода. Однажды, когда его после очередного половодья ремонтировали наши сельские мужики, я, младшеклассник, подошёл поближе поглазеть на их работу. Седобородый дядя Макар, копавший канаву под бутовой камень, махнул мне приветливо и попросил, указав на стежок в два аршина, лежавший поодаль:

— Подай-ка, боец, вон ту черемошину.

Коричневатая палка и вправду походила на черёмуховую. Обрадованный тем, что пригодился в важном деле, я подскочил к этой «черемошине», но… насилу лишь оторвал её от земли и тут же опустил. Однако не сдался, а тотчас ухватил двумя руками за «хвост» и волоком потянул к канаве. Так оказалось легче. Дядя Макар, видимо, желавший подшутить надо мной, не ожидал такой находчивости, он покачал головой и сказал поощрительно:

— Молодец! Усердному в работе да стоять поперёд королей!

Тогда я не понял глубины этих слов, но запомнил их, и через много лет узнал из книжек, будто нечто подобное сказал знаменитый американский изобретатель и автомобильный магнат Генри Форд, обращаясь к сыну: «Видишь человека, усердного в работе? Он будет стоять впереди королей!» А дядя Макар был деревенским философом, книгочеем и, наверно, тоже где-то вычитал эту фразу. Жаль, что её редко напоминают нынешним отрокам, более склонным думать, что впереди королей стоят «усердные» в делячестве да ловкачестве, а не в честном труде.

Ну, это к слову. После того случая не путал я более лом с черемошиной. Мне частенько приходилось иметь дело с ним и в отцовском дворе, и на колхозных работах, да и ныне, пусть малые, некорыстные, но держу ломики в своём дачном хозяйстве и в гараже. Как же без них? Это, говорят, против лома нет приёма, а с ломом-то «приёмов» не перечесть.

Кстати, доныне популярный афоризм «против лома нет приёма» любил повторять покойный генерал Александр Лебедь, когда ходил в губернаторах нашего края. Произносил по-особому смачно и всегда, казалось, к месту. Наверное, ещё потому, что и времена те—на стыке столетий—были ломовые, да и сам генерал—«ломовым» во многих смыслах…

Вот мы исподволь и подошли к производным от лома словам, каковых немало. Предмет нашего разговора, понятно, пошёл от глагола «ломать», весьма экспрессивного, энергичного, означающего—бить, гнуть, рушить, калечить. Или от близкого «ломить»—напирать, наступать, идти напролом, что тоже не лишено экспрессии. Достаточно вспомнить строки из «Полтавы» пушкинской:

«Ура! Мы ломим, гнутся шведы» или из лермонтовского «Бородина»—«Уж мы пойдём ломить стеною, Уж постоим мы головою За родину свою!» А поскольку яблоки от яблони недалеко падают, то и лом, и его «детки» отнюдь не маменькины сынки. Взять хотя бы то же словцо «ломовой». Таковым называют коня, что «ходит в лому», то есть возит тяжёсти, и самого извозчика, который имеет дело с тем конём и грузом, и дорогу, если она дурная, назовут ломовой, и главный проход в броде—тоже. А военные держат осадную пушку для пролома стен, именуемую ломовой, притом, что и сам лом у них значится среди шанцевых инструментов.

Вот я привёл старое выражение «ходить в лому» и вспомнил ещё одно не упомянутое значение слова «лом», в смысле—излом, резкая кривизна, ломаная линия. К примеру, о заячьих крюках, петлях и смётках охотники говорят: «заячьи ломы». Это отражено даже в таком присловье о кривых, беспорядочных деревушках: «Домы-то домы, ровно заячьи ломы»…

Слов же, однокоренных лому, среди глаголов, прилагательных и существительных столько, что нам не перечислить. Попробуем назвать хотя бы несколько особо выразительных, на мой взгляд, в том числе—старинных, сохранившихся в пословицах, поговорках и даже в заговорах и наговорах.

Любопытно, что в пословицах и присловьях глаголы ломать, ломаться чаще встречаются не в прямом, а в переносных смыслах—выдавать себя за кого-то, кривляться или чваниться. И на одну пословицу типа «Режь да ешь, ломай, да и нам давай» приходится по три таких, например, как «Не ломайся, овсянник, не быть калачом», «Не ломайся, горох, не лучше бобов» или «Полно ломаться, отдавай за рублик»…

Ломкой, помимо крушения чего-то или похмельных мук, о чём мы уже говорили, называют и всяческие перестройки. В том числе—общественные. Одна из таковых, в недавние времена пережитая нашим народом, отрыгается и ныне муторнее всякого похмелья.

Ломового извозчика, также упомянутого выше, называют ещё ломовиком, «ломаником» в ряде говоров—силача, «ломовиной»—здоровенного, но неуклюжего мужика или парня, «ломыгой»—идущего напролом, ну, а «ломашником»—наломанный хворост.

Весьма редкое и экзотичное слово «ломово»—не то существительное, не то краткое прилагательное или наречие—употреблено в одном целительном заговоре, пользуемом знахарками: «Отговариваю от раба Божия (имярек) щипоты и ломоты, потяготы и позевоты, уроки и призоры, стамово и ломово, нутренно и споево, закожно и жилянко…»

Ломок, кроме уменьшительного от «лом», может означать в народной речи и отломанный кусок, отломыш. Как в пословице: «Жить домком, не ломать хлеб ломком, а резать ломтём». Тут примечательно ещё и сочетание «резать ломтём», хотя ведь и ломоть по происхождению—от лома, ломания, а не от резания. Но всё же ломоть издавна воспринимается именно как сукрой, срезок хлеба, часто—во весь каравай. А поскольку хлеб—всему голова, то и с хлебным ломтём, естественно, связано наибольшее число пословиц. Притом—самых мудрых и поучительных. Заглянем хотя бы в тот же далевский словарь: «Хлеба ломоть, и руками подержаться, и в зубах помолоть», «Погнался за крохою, да без ломтя остался», «Отдашь ломтём, а собираешь крохами», «Временем и ломоть за целый хлеб», «Отрезанный ломоть к хлебу не пристанет», «В чужих руках ломоть велик», «Дадут ломоть, да заставят неделю молоть», «В своём ломте своя и воля», «Не много работников, да много ломотников»… Две последние пословицы звучат особенно современно, прямо всем нам с вами—не в бровь, а в глаз.

Лом «проглядывает» также в названиях многих трав, к примеру, в ломовке или ломоносе, известном ещё как бородавник и нищая трава. Но мне особенно нравится «ломикамень»—так иногда называют разрыв-траву, охотно употребляемую знахарями и колдунами в снадобьях, а также поэтами в своих виршах, даже теми, кто эту самую разрыв-траву в глаза не видал.

Ну, и говоря о ломе, нельзя не упомянуть о его родной сестре—пешне, которая является не чем иным, как тем же ломиком железным, только укороченным и с трубкою на тыльном конце, в которую вставляется деревянная рукоять, а попросту ручка, гладкая палка. Пешнею так же можно и камень ломать, и твёрдую землю долбить, но в наших сибирских местах ею чаще долбят и колют лёд. У рыбаков даже есть (по крайней мере—было) особое название для тех из них, кому поручается выдалбливать пешнями проруби в реке, в озере для подлёдного лова рыбы сетями или неводами,—«пехари». Случалось когда-то и мне выступать в роли пехаря на Амыле, но, правда, не на самой реке—на тихой старице, да и проруби я вырубал не для сетей, а для хитрого самодельного агрегата, которым каратузские рыбаки как бы соскребают мормышей с изнанки льда—отличную наживку для зимнего ужения. А кое-где ещё живёт в народе такое словцо, означающее отколотый пешнею кусок льда—«пешенец». Колоритное, верно? И весьма благозвучное и выразительное. Так и хочется удержать его в нашем языке…

У родителя моего в хозяйстве, кроме лома, была и пешня. Ею обкалывали зимою колодезный сруб, обраставший льдом. И продалбливали прорубь в Тиминой пруду, куда мать и сёстры носили в больших бельевых корзинах полоскать выстиранное бельё.

У меня же ни на даче, ни в квартире, увы, пешни нет. Вроде бы без надобности она. Да и не укупишь её в нынешних магазинах и на рынках-барахолках. Уходит, видно, пешня в прошлое, в историю. Но зато остаётся с нами её стойкий братец лом, незаменимый помощник и при всех нынешних компьютеризациях и нанотехнологиях. А коли действует в жизни, здравствует и в языке. Вот даже сегодня, встретив меня на автобусной остановке, приятель спросил: «Чего стоишь, как лом проглотил?» Я умолчал, что подлый радикулит не даёт согнуться, и, бодрясь, ответил шуткой, мол, это

меня гордость распирает. От нашей достопочтенной действительности. Да и вообще с возрастом «спинку держать» надо, чтобы в старики досрочно не записали. Ломота ломотой, а ты ломом стой.

Где серп гулял

1.

Многие читатели, конечно, догадались, что в заглавии с некоторой вольностью воспроизведены слова из хрестоматийного стихотворения Фёдора Тютчева «Есть в осени первоначальной…». Они открывают вторую строфу, которая полностью звучит так:

Где бодрый серп гулял и падал колос,
Теперь уж пусто всё—простор везде,—
Лишь паутины тонкий волос
Блестит на праздной борозде.

Хотя, пожалуй, большей известностью пользуется не начальная, а две заключительные строки её. Обычно их приводят на уроках литературы как яркий пример «говорящей» детали—паутины на борозде—и выразительного эпитета «праздной», свидетельствующих о цепкой наблюдательности и высоком художественном мастерстве автора. Возможно, приводят с лёгкой руки Льва Толстого. По свидетельству современников, встречавшихся с ним, Лев Николаевич часто хвалил эти тютчевские строки, особенно восхищаясь метким определением осенней борозды, которое «на многое намекает».

И ведь действительно за этой паутинкой, сияющей на опустевшей, «праздной» пашне, встаёт целая картина сельской жизни. Осень. Последние ясные деньки. Отдыхающие поля. А вместе с ними отдыхающие от трудов праведных и жнецы-землепашцы, которые, убрав хлеб, снова подняли сохою землю к пласту пласт, подготовили для будущего урожая и оставили «пустовать» до весны. И воцарились тишина, покой и умиротворение там, где ещё недавно «бодрый серп гулял…»

Потому, наверное, и особая слава у серпа среди прочих инструментов, что он венчает сельскохозяйственный год, сопровождает и даже сам ведёт жатву, уборку главного для земледельцев урожая—хлебного. Иные же достоинства его не столь очевидны. Он весьма невелик, предельно прост по замыслу и устройству. И все толковые словари, старые и новые, словно сговорившись, определяют его тоже на удивление просто и однообразно. А именно—как ручное крестьянское орудие в виде «кривого» или «сильно изогнутого» «мелко зазубренного ножа» для срезывания с корня хлебных злаков.

Давно замечено, что лучше всего внешний облик серпа передаёт молодая либо ущербная луна, то есть находящаяся в начальной или же в последней фазе, если выражаться наукообразно. Потому, должно быть, словосочетания «серп луны», «лунный серп», а то и «серп на небе» мы воспринимаем уже не как метафору, а как привычное параллельное название этого небесного ножа, изогнутого серебристым серпом. Правда, без ручки, в отличие от земного, у которого она обязательно имеется, и называют её, понятое дело, серповищем—по аналогии с топорищем, косовищем и прочими «ищеми».

Деревянная рукоятка серпа, как правило, бывает фигурной «под руку», выточенной с большой любовью и тщанием и даже—окрашенной. Видимо, в знак особого уважения к этому «хлебному» инструменту-помощнику. По крайней мере, таковыми были серповища в пору моего деревенского отрочества, когда их зачастую сами выстругивали, вытачивали наши мастера на все руки. А вот железко серпа, изогнутое полукругом и мелко зазубренное с внутренней стороны, бывало исключительно заводского изготовления. На подобное изделие не замахивались нашенские кузнецы. Возможно, насечка зубчиков была для них слишком тонкой и кропотливой работой, а может, не находилось такой твёрдой стали, которая приличествует жатвенному ножу.

Хотя—как сказать… Ведь, кроме серпа для жатвы злаковых, водился на иных подворьях и отдельный—для прополки крупных сорняков, который был более грубым и тупым, и назывался «серпилень». Я лишь однажды видел такой у наших деревенских соседей—старообрядцев: толстоватый, со следами синей окалины, он показался мне самокованным. И, возможно, это его собрата имела в виду старинная поговорка, утверждавшая, что тупой серп режет руку пуще острого. Хотя в наши времена и траву, если возникала надобность, большинство селян срезало не какими-то там серпиленями, а обычными хлебожатными серпами с фабричным ножом, да и рукояткой.

Но всё же, коль назвали мы первые из производных от серпа, логично будет сделать небольшое отступление и коснуться некоторых других родственных слов и предметов. Их немало. В одном словообразовательном ряду стоят, к примеру, серпик, серповище, серпник, серпянка, серповой, серповидный, серпообразный, серпастый, серпоклюв, серпорез… Все они в основном понятны без лишних толкований. Стоит разве только напомнить, что серпник, серпоклюв, серпорез—это названия трав, серпянка—хлопчато-бумажная ткань, ряднина вроде грубой марли, а серпастый—вообще новое словцо, придуманное поэтом Владимиром Маяковским, большим любителем неологизмов, специально для броского определения советского паспорта, «серпастого» и «молоткастого».

Однако насчёт словесных корней самого серпа, в отличие от пил, вил, лопат и прочих тяпок, сказать что-либо определённое затруднительно. Правда, такие созвучные ему слова, как «серпантин» (цветная бумажная лента, которую бросают в танцующих на увеселительных тусовках, или дорога, что вьётся змейкой в горах), «серпентин» (минерал, напоминающий змеиную кожу), да и «серпентарий» (питомник для ядовитых змей, где их «доят» фармацевты), явно происходят от латинского слова serpent (змея), но неужели и наш серп… Очень уж не хочется, чтобы это крестьянское орудие труда, столь близкое и родное русскому сердцу, тоже происходило от какой-то латинской змеи. Или от змея. Даже с учётом того,

что последний в евангельском поучении «будьте мудры, как змии, и просты, как голуби», служит символом разумности. Кто первым назвал серп таким именем за его характерный изгиб, скорее имел в виду просто ползучего гада. Обидно…

Но вот пока нет у меня на примете иного слова, более подходящего в прародители трудяги-жнеца. Не предлагать же, право, подмосковный град Серпухов либо траву серпий, идущую на жёлтые органические краски и так любимую всеми кошками, что в народе её зовут кошкиным ладаном. И нам остаётся считать, не теряя достоинства уважаемого инструмента, что наш серп ни от чего, ни от кого не происходил, наш серп гулял сам по себе…

2.

Должен признаться, что мне лично ни разу не доводилось жать серпом зрелые хлебные злаки, а приходилось лишь резать траву, притом зачастую самую банальную—сорную. Я и сегодня держу в дачном хозяйстве серпец, подоткнутый в кладовке за стропилину. Изредка беру его, чтобы пройтись по приствольным кругам яблонь, ранеток, ягодных кустов, где трава растёт по-особому буйно. Случаются и порезы на руках, как бывало в крестьянском отрочестве. Но, слава Богу, не глубокие, так, рядовые царапины, которые быстренько подсыхают и затягиваются. Не в пример тем, далёким, следы от которых мы носили на ладонях и предплечьях по всему лету. А сосед мой Пашка Звягин однажды нанёс серпом себе такую рану, что наверняка и поныне ходит с корявым рубцом.

Теперь за давностью лет я уж не припомню точно, зачем ему во двор потребовалась свежая трава. Для приболевшей ли коровы, отставленной временно от пастьбы в стаде, для телёнка ли с поросёнком, а может, и для всей живности вместе, но только Пашка взял острый серп, бросил на плечо рогожный куль, огромный, как матрасовка, и направился в луга за травой по Юшкову проулку. Здесь-то мы с Ванчей Тёплых, другим моим закадычным приятелем, и встретили его. А поскольку Пашка был у нас признанным вожаком (по-нынешнему, авторитетом), то охотно вызвались помочь ему и потопали за ним в сторону ближайшего Арсина лога. Летний день клонился к вечеру, но ещё вовсю светило солнце, от земли веяло теплом, и лишняя прогулка «на природу» была нам в радость.

Уже сразу за поскотиной, в лощине, под наши босые ноги легло ковром замечательное разнотравье с частыми головками красного клевера и белыми зонтиками аниса. Пашка нашёл его вполне подходящим для заготовок корма и тут же приступил к делу. Захватывая левой рукою горстки травы, он ловко подрезал её серпом, зажатым в правой, и клал рядком на стерню. А мы с Ванчей собирали эти зелёные пучки и запихивали в горловину ёмкого куля. Свежесрезанная трава приятно пахла анисом и пикульником. Работа наша спорилась. Мы оживлённо разговаривали о своих ребячьих делах…Но вдруг Пашка резко замолк, побледнел лицом и, отбросив серп, поднялся.

—Змея?—вырвалось у меня подозрение.

—Хуже,—загадочно сказал Пашка.

И только тут мы увидели, что с левой руки его, которую он держал на отлёте, каплет, почти ручьится кровь. А, подойдя поближе, оторопели: ребро ладони, от основания мизинца к запястью, было срезано напрочь, красная мясная долька висела на одной кожице. Мы растерянно смотрели на Пашкину кровавую руку и молчали, не зная, что делать. Первым нашёлся сам пострадавший атаман:

—Рвите рубаху!—скомандовал он.

Тотчас поняв замысел командира, я покосился было на свою видавшую виды безрукавку, но Пашка опередил меня:

—Рвите мою!—бросил он почти сердито и сам начал здоровой рукой расстёгивать верхние пуговицы. Мы помогли ему стянуть рубашку, которая тоже оказалась далеко не новой, что, впрочем, сошло за достоинство, ибо помогло нам без особых усилий располосовать её на длинные ленты.

Приложив отрезанный кусок плоти к месту, Пашка туго замотал руку, а мы повыше запястного сустава стянули её тряпочным жгутом, чтобы остановить кровотечение. И уже без лишних разговоров двинулись гуськом в деревню. Пашка шёл впереди, Ванча, чуть приотставая, поддерживал его за локоть, а я семенил сзади, таща на спине полкуля травы, в которую был сунут и злополучный серп.

Наш лучший в округе фельдшер дядя Миша, к которому мы догадались препроводить Пашку, прямо на дому обработал его пораненную руку и забинтовал настоящим бинтом, однако отставший ломтик мяса, державшийся на коже, просто отстриг, решив, что он не приживётся. И у Пашки, как уже сказано мною, на ребре ладони остался грубый шрам на всю жизнь. Памятная метка о незадачливом походе за травой с таким лёгким да ловким, однако и весьма опасным инструментом. Не зря, видно, мы, встречаясь в жизни с чем-либо неприятным и болезненным, невольно вспоминаем народное присловье: «Как серпом по шее…» А у иных вырывается при этом и словцо покрепче—о более чувствительных частях тела.

Кстати, когда я впервые прочитал или, может, услышал в песне строки поэта Некрасова: «Приподнимая косулю тяжёлую, Баба порезала ноженьку голую—Некогда кровь унимать!», то, помнится, подумал: «Это как же она, милая, косулей-то порезала ногу? Ведь коса—на длинном косовище, и лезвие довольно далеко отстоит от «ноженьки». При косьбе травы косой-литовкой разве что «подрезают пятки» впереди идущему косарю, если он зазевался. Да и то их подрезают, лишь образно говоря. А всерьёз порезать свои ноженьки-рученьки можно скорее серпом. Это я знал сызмала по личному опыту. Ибо мне приходилось с серпом в руках «бороться с сорняками» не только в отцовском огороде (особенно—со жгучей крапивой вдоль городьбы), но и на общественных полях, в том числе—и хлебных.

3.

Теперь, наверно, удивятся многие, если я скажу, что мы, деревенские ребятишки, когда-то пололи зелёные поля злаковых культур (да, да, всходы

пшеницы, ржи, овса), притом делали это с помощью серпов. Ныне едва ли кто полет огромные хлебные полосы, тем более — вручную. Слишком уж хлопотно и невыгодно. А в прошлые времена это было привычным делом. По крайней мере, в нашей четвёртой бригаде, в которой бригадирил мой отец. Мы, мальчишки, девчонки, в пору каникул собирались в небольшие звенья, человек по пять-семь, брали серпы и, вытянувшись этаким фронтом, шли в атаку вдоль поля по междурядьям, срубая на пути колючий осот и жабрей, жирный молочай, кусты кислицы с белыми кашками на стеблях и прочие «злостные» сорняки, вымахавшие до особо наглых размеров.

Забавная деталь. Эти наши прополки хлебов нередко прерывались грозами и ливнями. И вот когда, вынужденные оставить работу в поле, превратившемся в грязное месиво, мы бежали домой, то при каждом громовом ударе дружно выбрасывали из рук наши серпы, кто на дорогу перед собой, а кто и в воздух, точно бумеранги. Некоторые при этом, чаще — девчонки, более непосредственные в выражении чувств, испуганно творили молитву и размашисто крестились. Было такое поверье: отбрось от себя серп во время грозы, иначе — убьёт…

Так поступали и взрослые жнецы, точнее сказать — жницы, ибо жатва серпом была делом почти исключительно женским. И мне, как ни странно это ныне сознавать, довелось ещё видеть собственными глазами настоящих жниц, срезавших серпами зрелые хлеба. Зачастую — рожь, потому как она первой подходила к жатве, когда большая хлебоуборочная страда только начиналась, и жнейки да комбайны лишь настраивались на неё, тарахтя возле кузницы. А также и потому, что хлебостой ржи обычно удавался таким густым и высоким (по слову отца, заедешь на лошади — и дуги не видно), что косить его жнейками, а тем более комбайнами было несподручно. К тому же комбайнов, тогда это были одни прицепные «Коммунары» и «Сталинцы», на уборку всех хлебов в колхозе не хватало.

Вместе с другими крестьянками работала жницей и моя мать. Она, с серпом на плече, уходила на жатву рано, не успевая толком поесть, и когда жали рожь на недальней полосе над озером Пашиным, я приносил ей в поле обед. Всё было почти как в стихотворении Тараса Шевченко «Жница», которое мы учили в школе наизусть. Если помните, там героиня видела во сне идиллическую картину их с мужем крестьянского счастья: «Они с лицом весёлым жнут На поле собственном пшеницу, А дети им обед несут…И тихо улыбнулась жница». Наверное, что-то подобное переживала и моя мама. Она тоже встречала меня с «тихой» улыбкой и, словно бы делясь с товарками своею радостью, каждый раз не без гордости говорила: «О-о, кормилец пришёл! Не пора ли и передохнуть, перекусить?».

Но прежде чем присесть вместе с матерью перед стеною ржи с домашними котомками и корзинками за нехитрый обед, жницы добивали свои «урочные» снопы и постати. А я, словно заворожённый, следил за работой наших мастериц. За тем, как они методично забирали рукой пучки стеблей с колосьями, подрезали серпом у самых корней и клали рядом на жнивьё. Когда накапливалась ладная охапка, скручивали из очередного пучка этакий соломенный жгут, называемый перевяслом, и туго опоясывали им собранный сноп. Готовые снопы устанавливали в круг, двенадцать на попа, колосьями другу к дружке, один «в навершие» (по числу апостолов с Учителем их) — и получался тот самый суслон, о котором уже говорилось в моих заметках.

Помнили Спасителя крестьянские предки наши. Когда «на барском поле жали», помнили, и когда — на колхозном, не забывали. И свято верили, что Он не оставит нас, грешных, «труждающихся и обременённых», иначе зачем бы научил главной молитве на все времена, обращённой к Отцу с такими пронзительными словами, полными надежды на Его милосердие: «Хлеб наш насущный даждь нам днесь…»

Надобно заметить, что, по неписаным правилам, жали хлеб насущный молча, в благоговейной тишине. А песни пели по дороге домой. При этом нередко звучали и песни о матушке-жатве, которые мне тоже самому доводилось слышать. Особенно запомнилась одна из них. Должно быть, потому, что её охотно выводили не только голосистые жницы, но и любил напевать «под нос» мой родитель, по натуре певун невеликий, когда бывал в добром настроении: скажем, едучи с поля в своих дрожках после удачного трудового дня либо мастеря что-нибудь ладное в домашней столярке под навесом. Доныне точно не знаю, истинно народная эта песня или «авторская», но, похоже, старинная, из глубин крестьянского житья-бытья.

Раз полоску Маша жала,
Золоты снопы вязала,
Молодая… Э-эх, молодая!
Утомилась и сомлела,
Это наше бабье дело,
Доля злая… Э-эх, доля злая!

Ручная работа жниц была, без сомнения, тяжёлой и утомительной (это ж сколько «горстей» хлебных колосьев требовалось набрать и срезать, чтобы связать каждый сноп, и сколько раз поклониться каждому!), однако и поэзия серповой жатвы очевидна. Недаром она запечатлена во множестве картин старинных художников и не менее часто встречается в стихотворениях классических поэтов. Вслед за тютчевскими строками нетрудно вспомнить, к примеру, и лермонтовские: «Колосья в поле под серпами Ложатся жёлтыми рядами…» Любопытно, что и сам народ-труженик, вечный пахарь и жнец, щедро опоэтизировал нелёгкую жатвенную страду вместе с главным её многовековым орудием — «бодрым» серпом. Начать с того, что отправной месяц жатвы в народе красочно и образно называют не только зарев, но и жнивень, жатвень или серпень. А числу серпов-серпеней, гуляющих по нашим пословицам, поговоркам да загадкам, вообще счёту нет. Из ряда последних могу привести хотя бы эти золотые крупицы народной поэзии и мудрости: «Ни свет, ни заря, пошёл горбатенький со двора» (ох, раненько начинались

страдные дни у наших отцов-матерей!); «Сутул, горбат, всё поле обскакал». Или о том же, но в более «загадочном» варианте: «Сутуло, горбато по полю гуляло, все загоны пересчитало». Не из этого ли кладезя черпал и классик, когда писал своё: «Где бодрый серп гулял…»?

Про месяц же страдный, жатвень да серпень, пословицы говорят: «В августе серпы греют, вода холодит», «В августе рожь пошла под нож». И на Евстигнея-житника, что отмечался 18-го августа, по старинному обряду заклинали жниву, низко кланялись на все четыре стороны и призывали мать-сыру землю на помощь с таким зачином: «Ниву сожали, страду пострадали, гибкими спинами, вострыми серпами…» Немало и доныне живёт в народе обрядовых песен, связанных с жатвой и серпом. Приходилось слышать, как поют ещё самодеятельные фольклорные хоры и группы по нашим городам и весям: «Жали мы, жали, жали пожинали, Жнеи молодые, серпы золотые…» Или — ритмом пободрее: «Уж вы жнеи, вы жнеи, жнеи молодые! Жнеи молодые, серпы золотые!».

А в некоторых местах сибирской глубинки сохранился яркий осенний праздник Последнего снопа. Нередко его отмечают на день Третьего Спаса. Многие читатели знают или хотя бы наслышаны о Втором, который в народе зовут Яблочный Спас и на который освящают яблоки и мёд. Наверно, не у одного меня он вызывает в памяти замечательно живописный рассказ Ивана Бунина «Антоновские яблоки», полный августовского, яблочноспасовского духа. Однако есть ещё и Третий Спас, более поздний, называемый Хлебным. В пословице о нём говорится: «Третий Спас хлеба припас». Или «пирогов».

Конечно же, день Последнего снопа (как и первого) всюду праздновали и празднуют по-своему. Однако неизменным остаётся обряд «заламывания бороды». Это когда по окончании жатвы на полосе оставляют не срезанной «бородку» колосьев, завязывают её узлом и приклоняют к земле. Совершая это действо, обязательно приговаривают: «Миколе на бородку, чтобы святой угодник и на будущий год не оставил без урожая». Почему именно Миколе, то есть Николаю Чудотворцу? Да потому, что это издревле на Руси нашей крестьянской любимейший святой — покровитель земледелия и скотоводства, хозяин вод земных, милостивый заступник от всех бед и несчастий.

Не менее любопытен и такой обряд. Окончив жатву, усталые женщины-жницы втыкали серп в последний сноп и катались по стерне, приговаривая: «Жнивка, жнивка, отдай мою силку, на пест, на колотило, на молотило, на кривое веретено». Да, силушка крестьянкам, не ведающим отдыха, и впредь нужна позарез, ибо дел у них невпроворот — молотить хлеб, мять лён, прясть, ткать, вязать… Но главное — жатва хлебов, завершающая земледельческий год, — всё же сделано, слава Господу и всем святым угодникам Его.

Думается, тому, кто знает пусть не из собственного опыта, но хотя бы из первых рук обо всех этих жатвенных трудах и заботах, народных традициях, преданиях и ритуалах, не надо объяснять, почему именно серп, при внешней его непритязательности, давно стал символом крестьянского мира. И вполне закономерно входил ещё недавно в государственную эмблему, вместе с молотом олицетворяя власть трудящихся в стране, союз рабочих и крестьян, их мирный созидательный труд. Серп и молот были изображены на гербе и флаге всей державы, а также на гербах и флагах её союзных и автономных республик. Кроме того, накануне Великой Отечественной войны, словно в предчувствии скорой потребности в героических подвигах не только боевых, но и трудовых, была учреждена особая награда — Золотая медаль «Серп и Молот», которая в комплекте с другими знаками признания заслуг вручалась Героям Социалистического труда. То есть лучшим труженикам страны.

А ещё серп и молот были важной деталью, венчавшей, пожалуй, самый известный монумент прошлой эпохи «Рабочий и Колхозница», созданный Верой Мухиной. Сначала эта величественная скульптурная группа покорила мир, будучи установленной в советском павильоне на Всемирной выставке в Париже в 1937 году, а потом много лет украшала вход на ВДНХ (Выставку достижений народного хозяйства) в Москве. Крестьянка и рабочий, несущие серп и молот, символизировали движение народа к коммунизму. Однако, увы, победил капитализм. И среди его приверженцев нашлись горячие головы, которые потребовали убрать серпы и молоты со всех гербов, флагов и знамён, даже с боевого красного, под которым отцы и деды сражались насмерть с фашистским нашествием. А знаменитую скульптуру, увенчанную ими, демонтировали как якобы устаревшую.

Однако времена меняются. Недавно крестьянка и рабочий с серпом и молотом, обновлённые, опять появились у Выставочного Центра в столице. И в руках 24-метровых фигур из нержавеющей стали снова вознесены к небу Серп и Молот. Хочется думать, в нашем обществе к ним возвращается уважение. Труд и мастерство, как старая любовь, не ржавеют. И мне, может, лучше было бы начать эти рассказы-размышления о непреходящей ценности вечных наших помощников именно с серпа.

Хотя… Поставить точку серпом тоже, согласитесь, неплохо.

Национальный клад

Вместо послесловия

Знатоки истории кладоискательства утверждают, что богатейший клад на всём Евразийском континенте был найден у нас, в России. Случилось это сто с лишним лет назад.

Каменщики, ремонтировавшие Успенский собор Киево-Печерской лавры, наткнулись в стене на нишу, заложенную кирпичом, в которой оказался невиданный клад. В нише стояли четыре оловянных ведра и ещё двухведёрная деревянная кадушка, доверху наполненные золотыми и серебряными монетами. Всего в кладе насчитали 16079 монет, медалей и жетонов, из них 6184 — золотых, весом более 27 килограммов, и 9895 серебряных, потянувших на 273, 5 килограмма. К слову, немало

монет—иностранных с русской надчеканкой, которые тогда назывались ефимками. Как выяснилось, это была монастырская казна, припрятанная от посланцев Петра 1, объезжавших монастыри в поисках ценностей. Царь, которого в народе считали антихристом за внедрение западных порядков и ущемление церкви, задумывал очередной военный поход и нуждался в средствах. А где их скоро и наверняка найдёшь, как не в монастырях, насельники которых отличались усердием не только в молитвах, но и в трудах праведных, вели образцовое хозяйство, занимались ремёслами? При скромном, даже аскетическом образе жизни имели излишки, и вырученные злато-серебро, те же ефимки исподволь накапливались в общей в казне…

Но ефимки ефимками, а лично меня куда более заинтересовал иной факт, означенный в кладоведении: возраст самого древнего клада, найденного на наших российских просторах, насчитывает… семь тысяч лет! Притом знаменательно, что это были не какие-то украшения и не образцы «всеобщего эквивалента», а щедрый набор… каменных топоров и прочих подручных инструментов, укрытых от чужого глаза в глиняном горшке.

— Вон куда восходят истоки наших знаменитых русских мастеров, рубивших многоглавые деревянные храмы в Кижах, выводивших каменные узоры кремлёвских стен и башен, сооружавших енисейские бетонные плотины!—подумал я не без гордости.

А следом посетила меня и другая мысль. Ведь если пращуры, положим, при набеге врагов с особой заботой спрятали инструменты, значит, они больше всего ценили, говоря по-учёному, именно средства производства, а не средства платежа или предметы роскоши. И, вполне возможно, закопали те топоры как послание к потомкам, в назидание нам, чтобы и мы больше думали о труде, о «реальной экономике», а не о призрачных ефимках. Какой урок нынешним экономистам и политикам!

Тот дивный топориный клад тоже был найден в позапрошлом веке. А вот совсем недавно, помоему, не менее любопытное «послание» древних было обнаружено в нашей Сибири, в соседней Хакасии. Механизаторы Июсского сельхозпредприятия отец и сын Фефеловы пахали зяблевое поле. Молодой Владимир на своём мощном «Кировце» шёл впереди, а Семён Алексеевич, по-стариковски, следом. И вдруг он увидел, что плуг сына вывернул какой-то громоздкий предмет.

— Наверно, опять камень из древнего могильника,—устало подумал пахарь.—Тут их прямо как насеяно, того и гляди…

Но что это? На вывернутый пласт веером высыпала белая, как известь, береста. Откуда её столько в голимой степи? И зачем? Когда механизаторы остановили трактора и подошли к переднему плугу, то увидели, что из борозды торчат внушительной толщины металлические дужки. Ухватились за них, поднатужились и вытащили… большу-щий бронзовый котёл. А в нём по самую кромку—всякие удивительные штуки: бронзовые пластины с причудливыми узорами, клочья от кожаной сумки, от берестяных туесов…

— Кладу более 2000 лет. Это уникальное собрание предметов древнего искусства из бронзы,—позднее заключили сотрудники Верхнечулымской археологической экспедиции Сибирского отделения Российской Академии наук, работавшие в долине реки Июс, на севере Республики.

Ажурных бронзовых пластин с изображением быков, орлов, драконов и других неведомых, фантастических животных и птиц в котле оказалось свыше двадцати. Не менее интересны и прочие изделия далёких мастеров, в том числе орудия труда, предметы быта. Июсский клад, считают учёные, может пролить свет на тайны старинного бронзового литья, устранить некоторые белые пятна в истории древней культуры Южной Сибири.

Будем надеяться. Но дерзну добавить, что он уже «пролил свет» на то, что формы жизни и труда древних хозяев клада, обитавших на нашей земле, были явно соборными, общинными и коллективными. И первое тому свидетельство—котёл, этот символ артельности, о коем умолчали учёные. Представляете: уже 2000 лет назад люди работали сообща, питались из общего котла, произведения искусства, рождаемые на досуге, тоже держали в «едином котле». Словом, отношения строили на принципе солидарности. Понимали, что без общего труда и взаимной помощи просто не выжить в суровых евразийских условиях. А вот нынешние правители и реформаторы не понимают… Всё уповают на некий всесильный рынок, на проценты и маржу, на якобы эффективного собственника, частника, а не на труженика-мастера, артельного по духу. Невольно подумаешь иногда: ладно ли у них, при всех учёных степенях, котелок варит?

Да ведь и наша недавняя история не менее поучительна. Живой её свидетель и крестьянский сын, я недаром постоянно обращался к темам общего дела, красоты мастерства в своих писаниях, включая поэтические. Позволю себе и нынешние заметки увенчать стихотворными строками:

Ставка Руси

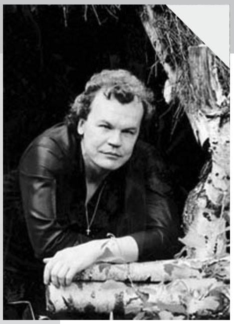
От роду с сельской общиной
Связанный всем существом,
Там я не видел мужчины,
Чтоб не владел мастерством.

Всяк, исходя из потребы,
Гнул, и точил, и тесал.
Сам я умельцем пусть не был,
Но мастаков описал.

Перьев изгрыз я немало
С думой о нашем селе,
Что не на торге стояло—
На вековом ремесле.

Ладил—и знал себе цену
Каждый Иван и Пахом,
А барыши да проценты
Тяжким считались грехом.

Русь презирала века
Чудище—ростовщика.
Русь процветала, пока
Ставила на мастака.



Юрий Беликов

Страшащийся хрустнуть

О пути и Голгофе украинского поэта Василя Стуса

Озеро в окне

Я стою на балконе-палубе, вдвинутый в пространство недальнего озера, которое всегда чистило пёрышки перед глазами Василя Стуса, когда он садился за письменный стол в своей киевской квартире. Господи, что я говорю?! «Всегда…»?

Отбыв колымскую ссылку, Василь пожил в этой многоэтажке меньше года. Всё началось с того, что после демонстрации в Киеве фильма Сергея Параджанова о жизни гуцулов «Тени забытых предков» молодой аспирант литературного вуза заявил:

— Кто против тирании — встаньте!

Так мог сказать и древнегреческий поэт Архилох. Но если обломки строк Архилоха донесли свидетельство о солнечном затмении 648-го года до нашей эры, то стихи Василя Стуса вобрали в себя всю горечь эпохи «затмения разума», как некогда определил её Олег Чухонцев, когда «затмение разума» порождает «свет страдальчества и искупленья». И, кроме того, стихи Стуса были исполнены попытки достучаться до спящего древа родовой памяти:

> Осеннего вечера ветка скрипит.
> Слепою клюкою, что тычется в ветре,
> дрожит, надломившись, и жалобы ветви
> Вселенная слышит, а дерево спит…
> *(Перевод с украинского мой)*

Однако согласитесь: пройтись по такому «лезвию» — «Кто против тирании — встаньте!» — для конца 60-х–начала 70-х годов прошлого века было сродни самоубийству. А в 80-м Василя вновь арестовали спортивного вида хлопцы — так начались в СССР Олимпийские игры. Да и, собственно, во время «проталин» судьбы, между зоной и зоной, за жизнью поэта, его жены Валентины Попелюх и сына Дмитрия следил неотступно-циничный глазок камеры.

И всё же взгляд Стуса не могло не приковывать это озеро, обрамлённое сосновым бором. Потом оно не раз будет являться ему в уральских сновидениях: «Сосна из ночи выплыла, как мачта». Бог ты мой! Сколько окрест Чусового, где располагалась политзона «Пермь-36», разлито незримых озёр, рек, водопадов, белеет ледников, пестреет степей, вьётся виноградных лоз, когда-то надышанных грёзами здешних соузников! На берегу одного из этих более чем реальных озёр удят рыбу Гёте, Рильке, Рембо, Киплинг и Пастернак — любимейшие стусовы поэты, чьи стихи он перелагал на украинскую мову в каменном мешке барака особого режима. Клёв на закате чудный: то попадёт на крючок колючая, как ёрш, рыба-надзиратель, то — рыба-мент с красными плавниками, то — лупоглазая рыба-цензор, то — с щучьей повадкой — чётко, как на чеканке, вынырнет рыба-чекист. Снимут их классики с крючка, подивятся и выпустят в воду обратно.

Над балконом точат ножи-ножницы проносящиеся с резким визгом стрижи. Я гляжу вниз. У подъезда мягко тормозит чёрная «Волга». Вот так же, по словам сына Стуса — Дмитрия, останавливались здесь во время оно на подушечках лап циркулярно-повадистые машины. В лифте к дверям квартиры подкатывала хорошо оплачиваемая тошнота и обрушивалась по комнатам рвотой обыска. Тошнота рядилась в куклус-клановский капюшон школьного администратора и поручала сыну стучать на отца. А сын играл в футбол. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.

В тот доолимпийский год, после которого власть будет подчищать всех неблагонадёжных, семья Стусов выбралась отдыхать на берег реки. Вдруг через луг напрямик мчится всё та же чёрная «циркулярка». Из неё выходят трое плечистых парубков в одинаковых футболках и тренировочных штанах. В руках — удочки-близнецы без поплавков. Троица становится рядом и, не утруждая себя нанизать на крючки наживку, забрасывает удочки в реку, вся обращаясь в слух. На какой они надеялись улов? Даже если люди — стукачи, им всё равно приходится слушать поэта. Слушать, да не слышать. Но поэта слышит Вселенная, потому что никто, кроме него (так уж повелось на человеческом веку), Вселенную во всей полноте не слышит.

Стус — струс, сотрясение. Первый его срок измерялся пятью годами лагерей в Мордовии и тремя годами ссылки на Колыме. Второй — десятью и пятью «уральского коэффициента». Исчислите от 80-го года сию протяжённость — в осадок выпадет 2000-й год, стык столетий, миллениум. За это время в Империи было порушено всё, что могло порушиться, но, видит Бог, развалила её не эта «щемящая щепоть» диссидентов, оплетённых колючей проволокой политзоны. Хоть и существует точка зрения, вызревшая уже в новейшие времена — с момента постоянной прописки в бывшем учреждении ВС-389/36 фестиваля «Пилорама»: «Здесь закалялась воля поколенья, готового распиливать страну». Нет, Империю всё-таки распилили те партийные оборотни, с которыми и схлёстывались узники этих печальных мест. Не мне судить, что бы сказал Василь Стус, доживи он до этих дней. Но он не дожил. Родившийся 6-го января 1938-го

года в селе Рахнивка Винницкой области, он взошёл на уральскую Голгофу в сентябре 1985-го — в толчковый год горбачёвской перестройки.

…Стрижи свили комковатое гнёздышко над балконом. Склеили ясной птичьей слюной — из пыльных комочков, сухих травинок. Над другими балконами щебечущего барокко я не заметил. Удивительно: оно прилепилось к балконному козырьку именно в 1989-м — когда прах высокого упрямца был возвращён на родину — в Киев…

Сбитый мальчик

Густой и тёплый снег. Белыми гусеницами он цепляется за ветви кладбищенских деревьев, незамысловатые узоры оград сельского погоста, без всякого оповещения переходящего в тюремный. А над могилой Стуса, захоронениями других здешних мучеников снегу цепляться не за что: деревянные столбики с выбитыми на них жестяными номерами. Мачты потерявших паруса кораблей. «Сосна из ночи выплыла, как мачта». Прах Стуса покоится под столбиком с порядковым №9. Что до порядковых номеров, то, кроме украинцев, здесь тянули срока белорусы, армяне, эстонцы, русские. Все, как правило, помеченные одной статьёй — антисоветская агитация и пропаганда.

Киевский бард Олег Покальчук счищает фанеркой снег с могил Василя и Юрия Литвина (ещё один украинский письменник). Рядом — Дима Стус. С ним — бывший узник этого же лагеря, филолог Василь Овсиенко, поэт и кинорежиссёр Славко Чернилевский, кинооператор Богдан Подгорный, журналист Валерий Павлов. Я в их числе. Непроизвольный русский проводник, знаток здешних нравов. Мы — в ноябре 1989-го. А вот и голос-выразитель тех самых нравов:

— Я запрещаю вам раскапывать могилы! Иначе квалифицирую надругательство…

Это сыну-то — о могиле отца?!

Прости, Василь, что я твою тщету
увидел, поднимая крышку гроба,
что опер Ковалевич смотрит в оба
(ну, отвернись!), но опер на посту —
глядит, как сын (сын!) отвернулся твой,
а опер никогда не отвернётся,
кладбищенские жидкие воротца
руками развели, и шелухой
подсолнуховой сыплет мент унылый
на чистый снег двоящихся крестов,
и сыну надругательство готов
пришить он над отцовскою могилой, —

прорежутся у меня впоследствии строки. Ковалевич требует предъявить разрешительные бумаги. Они — в чусовской администрации, а с копиями один из украинских хлопцев — поэт и выпускник Высших литературных курсов Володя Шовкошитный — убыл в Пермь за цинковыми гробами. Потом мы узнаем: грузовик, который спешил из Перми в сторону Чусового, был остановлен постом ГАИ прямо на выезде из областного центра. Два капитана милиции и старшина. Тут же крутился тип в синем трико с красными лампасами.

— Ваша машина сбила мальчика!

Пока посланец Украины с водителем ходили на разборку и возвращались к машине, три колеса уже были проколоты. Мы заждались Шовкошитного. Как вчерашний чусовлянин, я быстро смекнул: идёт вполне продуманная игра. Во-первых, пятница. В ноябре световой день на Урале быстро загустевает сумерками. Во-вторых, все ведомственные телефоны в сговоре: утратили дар речи. А в воскресенье на Байковом кладбище Киева при большом стечении народа назначено перезахоронение. Значит, кому-то из нас надо срочно метнуться в Чусовой — выбивать новые копии бумаг, испрашиваемых приставленным Ковалевичем. В общем, по Пастернаку: «Сто слепящих фотографий ночью снял на память гром».

Он вкатился на кладбище действительно за полночь — гром долгожданного грузовика. И всё-таки Дима и его друзья успели со скорбным грузом на самолёт…

Сухая голодовка

Незадолго до гибели к Стусу приезжали жена и сын. После нескольких часов ожидания прапорщик ликующим голосом сообщил:

— Ваш муж и отец отказался от свидания!

Дмитрий тогда обозлился на отца. Как?.. Почему?.. Разве он нас разлюбил?! Однако всё было тоньше и… изощрённей.

— «Стариков» на зоне унижали бесконечно, — говорит мне писатель Борис Черных, бывший сиделец соседнего со Стусом барака. — Куда только не заглядывали! Идущих к нам на свидание женщин просматривали на медицинском кресле. Понимаешь, что творилось?! И мы сказали своим любимым: «Нет, этого не будет никогда!» Видимо, Стус решил: «Лучше я не увижу жену и сына, чем унижаться самому и знать, что унижены они». Дмитрий, повзрослев, потом это понял.

Стус объявил сухую голодовку.

— На какой термин? — спросил Василя сидевший с ним в одной камере Леонид Бородин, ныне известный прозаик и многолетний главный редактор журнала «Москва».

— До конца!

В ночь с 3-го на 4-е сентября 1985-го года кто-то из заключённых якобы слышал глухой возглас: «Вбылы, холера!» — и глухое падение тела в карцере. Украинский поэт погиб за полтора месяца до заседания Нобелевского комитета. Лауреат 1972-го года, немецкий писатель Генрих Бёлль, выдвинувший Василя на эту премию, был уверен, что 24 октября она будет присуждена кучинскому узнику. К слову сказать, в 1936 году Нобелевскую премию получил находившийся в концлагере Карл Осецкий, и Гитлер распорядился выпустить его на свободу. Однако Нобелевку дают только живым…

…Золотое обручальное кольцо, привязанное на чёрную нитку, опоясывает фотографию, лежащую на столе. На снимке — глаза-угли, плотная жесть рта, нервные крылья носа. Тёмные короткие волосы, как бы приглаженные наспех ладонью, ершатся, будто фотографируемый только что снял осточертевшую шапку-ушанку. Перед нами снимок Василя Стуса. Человека с прикрытыми, как

у слепца, веками, чутко вибрирующего вокруг снимка обручальным кольцом-клюкою, зовут Василий Пьянков. Это обладатель феноменального дара, в своё время заставивший проникнуться так и не воплотившимся спросом не только представителей спецслужб, но и уважением самого Вольфа Мессинга. Лицо человека колоссально напряжено, посинело. Он «подключён». Вот радиус вращения уменьшается, кольцо — уже не карусель, а маятник, творящий нимбы над портретом. Человек выдыхает:

— Удар был нанесён справа, со спины, в область лопатки или шеи. Стус упал, скрючившись, на правый бок. Вижу приземистого человека с грубыми чертами лица…

Существует, как минимум, три версии его смерти. Официальная — сердечный приступ во время объявленной голодовки. И две сопутствующих — самоубийство и убийство.

— Рядом с карцером Стуса была камера Бориса Ромашова, личности с уголовным прошлым, попавшей в политзону по недоразумению, — рассказывает Бородин. — Именно он говорил мне, что слышал крик «Вбылы, холера!» Однако потом стал от этих слов отказываться. Не исключено и другое: у Василя было нечто вроде поговорки: положили тебя хребтом на колено, хрустнул позвоночник — берегись. Больше всего Стус страшился хрустнуть. Не перед ментами. Перед собой. Стус — это пушкинский тип по психологии. Пушкину не было необходимости драться на дуэли. Стус тоже мог стиснуть зубы, но он шёл вразнос. И, если его убедили, снять голодовку… По себе знаю: набил подлое брюхо — до того противно. Жить не хочется…

Бородин уточнил: Василь являл для него образ подлинного поэта и «после Стуса» он «перестал сочинять стихи». Вот вам урок: в квартире русского писателя на стене висит фотопортрет украинского поэта. Думается, это не только дань памяти о совместной лагерной бечеве, но и показатель отношения к тому самому «матричному» образу.

— Смерть эту долго скрывали от обитателей зоны, — свидетельствует Василь Овсиенко. — 4 сентября в 10–11 утра мы услышали шаги, много шагов. Шаги остановились у карцера Стуса. Я различил голоса подполковника Афанасова, замполита Долматова. Потом группа удалилась, но — другой стороной, чтоб никто из нас не видел её из окна. Запустили версию, что Стус снял голодовку и будет этапирован в Киев…

Но 5 сентября 1985-го года в столицу Украины пришла телеграмма: «Ваш муж Василь Семёнович Стус скончался». В ответной телеграмме Валентина Попелюх написала: «Прошу до моего приезда не хоронить». 7-го числа вместе с сыном вдова приехала в Кучино.

— Сейчас вас отведут к могиле, — сухо молвил Долматов. И, недолго думая, пояснил: — У нас нет холодильной установки…

…Когда мы вскрыли гроб, нашим взорам предстало длинное мумифицированное тело с головою повёрнутой набок (помните прозрение Василия Пьянкова: «Удар был нанесён справа, со спины, в область лопатки или шеи»?), руки не на груди, а вдоль туловища, и поверх — как два восклицательных знака совершённого злодейства, — зеркально-новенькие, словно только что из-под сапожной щётки, чёрные ботинки! Поэт (а Стус был почти двухметрового роста) не вмещался в государственную домовину и, чтобы втиснуть его в прокрустово ложе, запыхавшиеся похоронщики стащили с покойного обувь. Прав Долматов: холодильной установки в учреждении ВС-389/36 не было, но наличествовала другая установка — зарыть в землю спешно, по-воровски, преодолевая страх.

Три версии… Как три реки в Чусовом. Они сливаются в гибель Василя Стуса, продуманную кем-то со стороны, потому что поэт, создающий философски-углублённую лирику, не вписывался, говоря его же словами, в «державу полусолнца, полутьмы», являя редчайший пример, как творчество может сберечь свою чистоту и вырваться в беспредельность, окольцованное пределами лагеря. В 1970-м году он писал о том, что «…поэт полон любви, преодолевает природное чувство ненависти, освобождается от неё, как от скверны…» И далее: «Если бы жить было лучше, я бы стихов не писал, а — работал бы на земле». Значит, занятие поэзией он воспринимал как задачу. И добавлял: «Ещё — презираю политиков». И — тут же: «Ещё — ценю умение честно умереть». И, прогоняя по извилинам мозга все эти сигналы, «держава полусолнца, полутьмы», само собой, должна была поэта поглотить, при этом, как и положено, упорядочив своё злодеяние — под № 9.

Голубенькая тетрадка

В 2001-м году в архиве ГУВД Пермской области было обнаружено «Дело Василя Стуса». Всё это время родственникам поэта и его друзьям, украинской и российской общественности официальные источники врали: дескать, в связи с ликвидацией учреждения ВС-389/36 уничтожена и вся документация, касающаяся заключённого Стуса. И вот — нечаянная находка. Правда, находку эту из людей «гражданских» никто в глаза не видел. Весть о ней мне принесли сотрудники Мемориального музея истории политических репрессий «Пермь-36», созданного в бывшей политзоне. Примерно за неделю до этого я обратился с письмом к тогдашнему губернатору Прикамья Юрию Трутневу с просьбой оказать содействие в поиске конфискованной у поэта рукописи лирических стихов и переводов на украинский Рильке, Рембо, Киплинга и Гёте.

Приближалось 20-летие ещё одного музея — истории реки Чусовой, на чьи торжества из Киева пригласили сына Стуса Дмитрия. Я знал, как дорожит он любыми свидетельствами о пермском периоде жизни и творчества отца. «В истории лиры есть пермский период», — как застолбил другой поэт — Владислав Дрожащих. Этот визит как-то сам по себе совпал с форумом украинцев в Москве и, несмотря на заверения музейщиков из «Перми-36», что они в автономном режиме занимались поиском «Дела Стуса», опыт мой подсказывал: случайности здесь быть не может.

Ранним утром я встречал Дмитрия в аэропорту. Мы не виделись лет шесть — за это время немало

мостков перегорело между Россией и Украиной. Мифический сбитый мальчик? Да сбитый самолёт чего стоит! Поэтому предстояла встреча двух гордых сынов когда-то единой, по крайней мере, внешне, Империи.

Заказываю частное такси. В назначенное время к подъезду моего дома «причаливает» огромный чёрный «Кадиллак». Таковых в Перми я вообще не видел!

— А он — единственный на весь город, — почти как в фильме «Бриллиантовая рука» отвечает водитель, у которого, если верить, — целый перечень тёток в Харькове.

У «Кадиллака» вполне правительственный вид. Нарочно не придумаешь! По предрассветному морозному городу мы едем с Дмитрием в могущественном салоне, беседуя как полномочные представители двух держав. Наша дружба началась с грузовика, везущего цинковые гробы, и вот теперь продолжилась «Кадиллаком», который доставляет нас ко мне домой. Дома я слышу сквозь стенку, как Стус-младший всю ночь ворочается на кушетке, узнав, что где-то в пермском запределье отыскались какие-то бумаги отца.

— Там должна быть голубенькая тетрадка! — пресекающимся голосом, почти по-детски восклицает он. — Ты знаешь, Юра, меня не интересует человеческое унижение, стукачество, доносительство, всё то, что укладывается в понятие «оперативная разработка» и наверняка есть в появившемся деле. Почему-то мне кажется, что там может быть что-то не для печати, а сегодня я не судья даже палачам моего отца — пусть разбираются с Богом. Для меня важно совершенно другое — те стихи, которые отец записывал в эту самодельную тетрадку с момента его заключения в политзону.

Овсиенко, некоторое время сидевший со Стусом в одной камере, поведал в своё время и Диме, и мне, что Василь действительно давал ему прочесть тетрадь в голубой обложке: она была почти полностью исписана свободным стихом — верлибром. Наверное, именно в камере должен был родиться свободный стих. Рассказал и о том разговоре, случайным свидетелем которого он стал. Стус говорил чусовскому гебисту Владимиру Ченцову: «Я перестал писать свои стихи. Занимаюсь переводами. Но вы и этого не даёте делать. Отбираете. Дайте мне хоть возможность закончить. Если со мною что-нибудь случится, вы постараетесь уничтожить всё, чтобы от меня и следа не осталось…»

— Мной не раз, — вспоминает Дмитрий, — предпринимались попытки вернуть на Родину последний сборник стихов отца под названием «Птах души». Все материалы, найденные в судебных делах Украины, уже давно мне возвращены и опубликованы. Суть в том, что, когда мы с мамой в 1985-м году приезжали на похороны отца, лагерное начальство пообещало нам выслать все автографы, но обещания так и остались невыполненными. Потом затерялось дело — таков был официальный ответ на мои запросы. И вот, оказывается, оно не затерялось. Юра, найди эту тетрадку, найди!..

Вскоре Диме нужно было улетать в Киев, а я приступил к поискам.

Позвонки системы

Встретившись с вице-губернатором Валерием Щукиным, в ту пору курировавшим в Пермской области силовые ведомства, а в более ранние времена работавшим в спецслужбах, я услышал то, что и хотел услышать: все дела и конфискованные записи, относящиеся к умершим политзаключённым, должны храниться в ФСБ. К тому же есть ещё одно дело, касающееся Василя Стуса — в ГУИНе. ГУИН — это главное управление исполнения наказаний.

— Могу я ознакомиться с этими архивами? — спросил я Щукина.

— А почему — нет? — вопросом на вопрос ответил он.

И вот звонок из резиденции губернатора:

— Вас ждут в ФСБ и ГУИНе.

Звоню начальнику ФСБ по Пермской области Езубченко. Ну, думаю, сейчас половичок расстелют: ждут всё же! Дежурный офицер долго выясняет, по какому я, собственно, поводу и просит перезвонить ещё раз. Снова тычу телефонные кнопки, будто окурки в пепельницу.

— Позвоните, — рапортуют, — начальнику архивного фонда ФСБ Зайцеву. Мы его уведомим.

Звоню. Зайцев не в курсе. Предлагает перезвонить через некоторое время. Я — человек азартный: если уж сел на шею, так просто не слезу. Звоню опять. Слышу:

— Мы вынуждены вас огорчить: ничего нет!

Интересно: меня ждали в ФСБ, дабы озвучить это «эпохальное сообщение»?!

— А бывшие ваши сотрудники, — намекаю я на Щукина, — говорят обратное. Если конфискованная рукопись отсутствует, стало быть, её кто-то приватизировал. Значит, её можно и нужно найти. Ищите!

Ничего не ответила трубка. Или рыбка — я уж не знаю. Ладно, старче, звони теперь в ГУИН. Там новый начальник — Злодеев.

— Да, — подтвердил он почти ангельским голосом, — мы нашли «Дело Василя Семёновича Стуса». Подъезжайте дня через два — нам надо подготовиться!

Через два дня снова звоню в ГУИН. Ангельские нотки в голосе Злодеева как-то подугасли:

— «Дело» находится в архиве информационного центра ГУВД. Вам следует обратиться туда.

Обращаюсь. Выясняю: тамошнего начальника зовут Раис Рашидович Габдрахманов. Он-то и просвещает меня, что с означенным «Делом» можно ознакомиться только с разрешения начальника ГУИНа. Приплыли! Я же только что разговаривал со Злодеевым!.. Пробую объехать на вороных:

— А вы сами случайно не вчитывались в это «Дело»? Нет ли там рукописи стихов?

— Ничего не могу сказать…

Пытаюсь выцепить Злодеева. Секретарша:

— Все вопросы — к Ермолович!

(Ермолович — это в ГУИНе отвечающая за архивы.).

— Галина Павловна, к вам направили…

— Но это же в ведении Габдрахманова! — недоумевает Галина Павловна.

— Но Раис Рашидович адресовал меня к Злодееву! — уже начинаю веселиться и одновременно накаляться я, понимая, что неведомая мне женщина выступает в роли заложницы.

— Позвоните в понедельник…

В понедельник я услышал:

— Литературных произведений, — подчеркнула Галина Павловна, — в «Деле Стуса Василия Семёновича» не обнаружено.

— Но, может быть, есть какие-то записи, им от руки сделанные? Я знаю его почерк. Там, на Украине, любые свидетельства дороги…

— Записи велись нашими сотрудниками со слов заключённого. А на «Деле» — гриф «секретно».

— Что, и даже родственники не могут с этим «Делом» ознакомиться?

Молчание.

Сидеть тебе, старче, у разбитого корыта. Гриф секретности… Сколько времени протекло с момента гибели украинского поэта в политзоне «Пермь-36»? Более двадцати пяти. В каком веке это было? Нет нужды уточнять. В какой стране? В той самой Империи, которой, быть может, к сожалению, давно уже нет. Два года назад, когда замироточило 20-летие с момента перенесения праха украинского поэта с уральской Голгофы в Киев, я предпринял ещё одну — окольную и, как мне казалось, беспроигрышную попытку — взглянуть на «Дело Стуса» хотя бы чужими глазами. Дружественный мне редактор газеты пермского ГУИНА «Преступление и наказание» Андрей Игнатьев направил запрос на имя приснопамятного Раиса Габдрахманова с просьбой ознакомиться с содержимым этого «Дела» для написания очерка. Увы, ответа не был удостоен даже «свой». Неужели, в ином столетии и государстве, мы всё ещё будем поскальзываться на арбузных корках неких прежних нормативно-дутых предписаний и кричать «Чёрт побери!»? И за всем этим улавливать мотив политической целесообразности и государственной пользы? Одно из двух: или XXI-й век прикидывается, что он XXI-й, или, не успев начать утреннюю пробежку, всё настойчивее западает в ставшее уже давним, но так или иначе остающееся постыдным прошлое.

За други своя

Однажды Дмитрий мне напишет: «Сколько раз я преодолевал этот маршрут: «Киев — Пермь — Чусовой — Кучино». Пять раз в реальности. Бесчисленное множество раз в мыслях. И всегда самым страшным, самым неопределённым был Чусовой. Сложно даже сказать почему, но именно этот город металлургов долгое время страшил меня больше всего на свете. Теперь он был моей конечной остановкой, точкой на карте, куда меня тянуло со страшной силой… Здесь находился барак особого режима учреждения ВС-389/36. На рубеже 1990-х декорации из колючей проволоки вокруг барака разрушили, а сейчас снова восстановили. Для туристов, которые едут из разных мест на берега Чусовой, дабы тоже почувствовали, что же это такое — унижение. Вообще говоря, эта тяга к самоуничижению — отличительная черта сегодняшних европейских интеллектуалов: посмотрите на этих русских (советских) дикарей, как они мучились, как их мучили, как так можно вообще жить… И вывод — цените нашу цивилизацию. Всё верно. Ни в России, ни в Украине, ни в Белоруссии, ни в какой другой стране, вывалившейся из уродцасовка, власть не ценила жизнь человека (а нынче не ценит её ещё больше).

Если отбросить отсутствующие заграждения из колючей проволоки и прочую защитную дребедень, то больше всего меня поразила трансформация лица надзирателя Кукушкина, который работает здесь плотником и консультантом со дня основания музея. Пока зона была полуразрушена, его взор выражал неуверенность: чего-то ему недоставало. Сегодня, когда всё восстановлено, он уверен в себе, ведь всё вернулось на круги своя и можно снова принимать гостей. Увидев его, я понял, что в нашем мире ничего не изменилось. Просто оказалось, что кому-то нужно было в очередной раз поменять смысл нашего представления о «добре и зле», чтобы когда-нибудь в будущем мы ни за что не догадались, что есть добро и что — зло.

Но именно здесь, в Чусовом и Перми, мне предстояла встреча с вами — людьми, что явили мне истинную Россию, с её извечной болью, открытостью, готовностью на всё «за други своя». Надежда сменилась уверенностью: я приехал к друзьям, о которых все эти разорванные границами и расстояниями годы не забывал, и которые помнили обо мне — украинском националисте, что, вопреки боли и унижению, личном и моего народа, — продолжает любить людей этой загадочной и притягательной страны — России».

Сложно что-то добавить к этим выношенным словам моего друга, нынешнего главного редактора литературного журнала «Киевская Русь», много сделавшего для того, чтобы издать шеститомное собрание сочинений своего отца — поэта крестного пути.

Голубенькая тетрадка. Она — словно небо над Чусовым, где принял мученическую кончину Василь Стус, смотрит со своей высоты на всех, живущих в этом небольшом уральском городке. В «Деле Стуса», говорят, есть ссылка на ту самую тетрадку. Значит, она — в ссылке. Значит, эту рукопись с последними лирическими откровениями нобелевского номинанта, можно и нужно найти. Может быть, найденная и переданная наследникам великого поэта, она станет рукописью воссоединения Украины с Россией?

Василь Стус

На чёрных водах— кровь калины

Осеннего вечера ветка скрипит.
Слепою клюкою, что тычется в ветре,
дрожит, надломившись. И жалобы ветви
сжимаются в боли, а дерево спит.
Осеннего вечера ветка скрипит,
тугая, как слива, рудою налита.
О ты, всепрощающа, хоть и побита,
твой скрип ненасытною смутой омыт.
Осеннего вечера ветка скрипит,
и тяжкою синью в осеннем закате
мой дух колобродит. Прогнили все гати.
Нас мир обошёл—истуканом стоит.
Безумным пожаром дорога кипит—
взвивается пыль. И продутые кроны
всю душу обрушат и в пыль, и в полоны
тревожного слуха—как ветка скрипит.
И—солнце твоё водопадом кипит.
Тугой небокрай от густого стенанья,
согнувшись, обмяк. О, прими покаянье
изгойства (О, Боже, дай есть мне и пить).
Солги, что окончился путь мой. Что спит
душа, воспарившая в смертном аркане
высоких предчувствий. На сердца экране
качается вечера ветка, скрипит.
Осеннего вечера ветка скрипит.—
Ты чуешь, в раздоре живущий с собою?
Теперь за святою подайся водою
(утайкой послушай—Вселенная спит?).
Не спит. Ей ворчать и ворочаться, во-
злежа на горячей горошине века.
Но гулких шагов оглашается эхо.
То, Боже, сияние. То—торжество:
надежд и блужданий, предчувствий и на-
стижений того, что забыто до срока.
Колышется крона, а солнце жестоко,
мажором играет в пожарах сосна.
То тяга круженья над миром и под
косматыми тучами, под кровяными
торосами памяти. Господи, с ними
пускай породнится надломленный род—
приникший под толщей железных небес,
из пластика сшитых, стекла и бетона.
И песню на ощупь отыщет по тону
шелкóвого голоса (праздник воскрес!).
Чернеющей пашней дорога кипит.
Не видно и знака от Млечного шляха.
Сподобь меня, Боже, высокого краха!
Вольготно и весело ветка скрипит.

В том чистом поле, синем, словно лён,
где только ты, а более—ни тени,
взглянул и замер—вздыбились в смятеньи
сто теней. В поле, синем, словно лён.
В том чистом поле, синем, словно лён,
судил Господь возвысить нашу душу.
Послушай поле. Сам себя послушай
в том поле. В поле, синем, словно лён.
Сто чёрных теней преграждают путь,
уже, как лес, растут они, ступают
след в след и, удлиняясь, заставляют
в тугой клубок стезю твою свернуть.
Нет. Выстоять. Нет. Выстоять. Постой.
Остановись. Стоять. На этом поле,
что словно лён. Познай свою неволю
тут, только тут, на родине чужой.
В том чистом поле, синем, словно лён,
с тобой схлестнулись сто твоих же теней,
твоих врагов, грозящихся с коленей
тоской расплаты сквозь предсмертный стон.
И каждый стон—то твой последний стон,
твоей нелепой жизнью обожжённый,
как стрелы, возвращаются все стоны
на это поле, синее, как лён.

О, не спеши—пусть осень и не ждёт,
а мимоходом рощу разоряет,
и пламя листьев горькое ползёт,
как лис крадётся, а за кем—не знает.
Потухший пруд застыл, отклокотав,
остекленел, затих—не возмутится.
И женщины волхвующей рукав,
он для неверья разве что сгодится.
Но не спеши, обуглившись до пня,
который на холме, как гриб, чернеет,
а вспомни, постигая знаки дня,
как долгий век твой тихо стекленеет,
как плавно усмиряется струя
твоих страстей и воплей дикой воли.
О Господи, не вижу в чистом поле—
вон та межа—Твоя она иль чья?
Отклокотав, потухший пруд продрог.
А посему не расставляй бемоли
на палый лист, на ветви в голой боли,
на мёртвый час, на шаг и на поток.

Автопортрет со свечою

Держи свечу над головою,
пока не затекла рука,
но и затёкшею рукою
свети свечою свысока.

Мышей летучих свищут пули!
От эха — в холоде щека.
Зову ушастых: гули-гули.
Как вам, крылатым, без небес?

Отверзли очи, кто уснули.
О нет, ты не один воскрес!

Как в полночь — филиновы вскрики.
То бродит землячок-Дантес.
О, ловелас косноязыкий,
а ну стреляй в меня сплеча.
тебе ли подмигнёт свеча?

Памяти Аллы Горской

Гори, душа. Гори, а не ропщи!
Чернеет в стуже солнце Украины.
Его ещё согреет кровь калины,
на чёрных водах след её ищи.
Пусть горстка нас. Щемящая щепоть.
Лишь для молитв она, для упований.
Остерегает доля нас заране:
густа, крута калиновая плоть.
Но эту кровь и стужа не осушит,
и в белом голошении вины
гроздь боли на пределе глубины
на нас своё бессмертие обрушит.

Там тишина. В тиши сухой и чёрной
кругами ходят стаи голубей.
И как тут не прибегнуть к ворожбе,
коль ночь увязла в сутеми по горло?
И кажется: летучие проворно
смекают мыши: с чьей начать судьбы?
В квадратах жертв — как живопись журьбы —
смирение — в тиши сухой и чёрной.
Зерцало спит. В зерцале спит свеча,
распластанная бабочкой-акантом,
в ней боль твоя сияет диамантом.
Кровавый зрак отчаянья, отчаль!

Стой! Не стирай с зерцала пыльный прах —
то страх твой, страх твой, страх твой, страх твой, страх.

На колымском морозе калина
багровеет слезами зимы.
Дымным солнцем объята равнина,
и собором звенит Украина,
намерзая на сводах тюрьмы.
Безголосье, безлюдье, безбрежье,
только солнце, пространство и снег,
колесом покатилось тележьим
моё сердце в медвежий ночлег.
Где иголками ёлка кричала,
и олёнь разрастался во мгле,
там сошлись все концы, и начала
на чужой, будто отчей, земле.

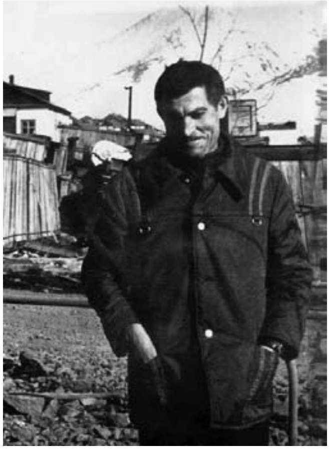
Перевёл с украинского Юрий Беликов

Сосна из ночи выплыла, как мачта.
Груди коснулась, как вода весла,
как уст слова — и память унесла,
как море волны. И подушка плачет.
Сосна плывёт из ночи в царство Бога,
и посветился болью дол, и над…
И всё — она. Вокруг одна она.
Да только тёрном поросла дорога.
Сосна растёт из ночи. Плача ниц,
из-за тумана светится София.
В венце галактик бронзовеет Киев
густым сияньем самых близких лиц.
Сосна плывёт из ночи, рвётся ввысь,
как тень отчизны в пору увяданья,
а ты уж за пределом, ты за гранью,
где в пляске духов закружила жизнь.
Там — Украина. За пределом. Там,
левее сердца! С мирового плача
сосна из тьмы струится, словно мачта.
А Бог устало шепчет: аз воздам!

И до жнив не дожил.
Зелен-жата не жал,
что любил — не губил,
и не жил. И не жаль.
Ранних протожеланий заветна межа,
ведь напасти со счастьем давно на ножах.
Мне любить беззапретно заказано впредь.
А не знать бы тебя, белый свет мой, не зреть.
В смерть иссмотрены очи.
застыла душа.
Горний голос пророчит:
тебе кантуша
в этой жизни не знать.
А чёрный бушлат,
как отец твой и мать,
как жена и как брат.

Была ты так далёко. Дальше, прочь —
за образами обморочной дали.
И солнце вырастало из печали,
и осиянной смерти кралась ночь.
Вселенная свихнулась — кувырком
века помчались в щель прикрытой двери,
и птицы разлетелись златоперьем
с ладоней, полных бедами с верхом,
и солнце шло, палило насмерть так —
передо мною долго восставало,
как будто примерялось и не знало
уйти ль в зенит, или погрузиться в мрак,
или меня в лучах испепелить
иль научить в аду сиянья жить.

Перевёл Владимир Шовкошитный



Магаданский
период поэта

Кривокрылый взмах! Глубокий,
долгий, близкий — всё чужбина!
Ну-ка — убеги мороки!
За край неба — Украина.
Солнце кличу (бесполезно!)
кривоглазое. Летим мы
в ночь — беспутицу — железной
колеёй. О, край родимый!
Где ты? Тенью, тени, тени —
где-то на краю окраин
векопамятные стены,
дом, тепло да верви рая.
И дороги вседорога,
всепрощение, всепогоня.
За созвездьем Козерога
наблюдай из зэквагона.
Лишь бы — быть-пребыть — на свете.
Оглянусь окрест — обвыкну.
Тьма труда — на тьму столетий.
Кривоглазый ворон, хрипну.

На Лысой горе догоранье ночного огня,
осенние листья на Лысой горе догорают.
А я позабыл, где гора та, и больше не знаю,
узнает гора ли меня?
Пора вечеренья и тонкогортанных разлук!
Я больше не знаю, не знаю, не знаю,
я жив или умер, а может, живьём умираю,
но всё отгремело, угасло, замолкло вокруг.
А ты, словно ласточка, над безголовьем летишь,
над нашим, над общим, над горьким земным безголовьем.
Прости, я случайно… прорвалась растерянность с кровью…
Когда бы ты знала, о как до сих пор ты болишь…
Как пахнут по-прежнему скорбью ладони твои
и всё ещё пахнут солёные горькие губы,
и тень твоя, тень, словно ласточка, вьётся над срубом,
и глухо, как влага в аортах, грохочут вокруг соловьи!

Ты тут. Ты тут. Прозрачней, чем свеча.
Так тонко, так пронзительно мерцаешь,
оборванною щедростью пронзаешь,
рыданьем из-за хрупкого плеча.
Ты тут. Ты тут. Как в долгожданном сне,
платок, касаясь пальцами, тревожишь,
и взглядом, и движением — пригожей
и пылкой гостьей входишь в мир ко мне!
И вмиг — река! Стремительно, как бы
из глубины правековой разлуки,
поток ревёт, ломая волнам руки,
вдоль берегов, встающих на дыбы!
Пусть память вспыхнет ливнем иль грозой!
Пречистая, святошинского взора
не отводи! Не устремляйся в город
унылых улиц, площадей… Постой!
Ты ж вырвался! Ты двинулся! То ль дождь,
то ль горный сель. Медлительно движенье
материка, внезапный сдвиг и — дленье,
и вечный страх, и рук немая дрожь.
Идёшь — тоннелем долгим — дальше — в ил
ночной — порошу — снеговерть — метели.
Набухли губы. Солью побелели.
Прощай! Не возвращайся! Хлынул вниз
зелёный свет. Звезда благовествует
о встречах неземных. В ночи дрожит
и плачет яр. Сыночек мой, скажи, —
пусть без меня родная довекует.
Прощай! Не возвращайся! Возвернись!

Перевёл Александр Закуренко

Юлия Тамкович-Лалуа

По дороге в небо

Сон

На столе лишь круглая лампа и книга. Зебра строк, забытых на восьмой из пятисот возможных страниц, давно убежала в мир грёз. Среди царапин, трещинок, пятен чернил в полированной пустыне стола не спеша растворяются пожелтевшие и стёртые листы. Их бесформенная клякса ещё долго упрямо глядит в чьи-то сонные глаза, потом сдаётся в ожидании нового утра, и сквозь ресницы больше уже не просвечивается настойчиво зовущий свет.

А где-то за горизонтом пространства Страж всемирного времени достаёт изо рта «Орбит» мгновений. Уже не жуёт энергично и сладко, как днём, а лишь тянет в стороны слоистое волокно, иногда отлепляя от пальцев длинную тонкую полосу, долго и монотонно, спокойно, как сама ночь.

В тишине комнаты, пока не кончится завод, часы механически бурчат «не спать-не спать» крошке пауку, запутавшемуся в стропах невидимого парашюта.

Снежинка пыли тает в озере ковра.

…Кто-то спит за столом, уронив голову в его тёмную поверхность — в пустыню царапин и прерии чернильных клякс. Ночь.

Настроение

Искрится морозный воздух. Сгущается темнота. Тополя склоняют друг к другу свои обледенелые ветви. За их готическими арками застывшая серая луна рисует пейзаж Моне.

Вечерняя улица пуста, только грохочет мимо запоздалый трамвай. В нём яркий свет и приглушённая суета. В нём глаза человека, смотрящие на дом, столб, дерево, дорогу… *на тебя.*

Расслабленно сквозя, случайно пойманный рассеянный взгляд вдруг просыпается, замирает, на долю секунды проникает через полупрозрачную преграду стекла… Но трамвай несётся дальше, в другую сторону жизни, где снова дом, столб, но тебя уже нет. И не будет никогда…

Настоящее-прошлое уходит в пустоту, засыпая снегом следы. Зима.

Листопад

Я сбила кленовый лист!..

Он выскочил на меня так внезапно!.. Увидела его в последний момент и не успела затормозить.

Машина неслась вперёд, а он летел прямо на неё, — и с размаху врезался в лобовое стекло. Раз — и влип… Такой живой, остроконечный, яркий. В какую-то долю секунды, в самое начало сентября! Так резко и жестоко, так шокирующе рано. В день, когда по-летнему тепло, слепит солнце и всё вокруг ещё такое зелёное.

Чем я могу теперь ему помочь? Как рассмотреть его, запомнить, когда руки на руле и надо часто поглядывать по сторонам, и назад, и на дорогу далеко перед собой?

Вот он трепещет, медленно сползает, уже заламывается на ветру, на мгновение ещё застревает в дворниках, и я вижу кружево прожилок так близко. А потом он срывается и исчезает из поля зрения насовсем…

Нет, время не остановишь. Когда-то моя осень наступала по школьному календарю, в букетах астр и георгин: первого сентября. А теперь, в череде монотонных, похожих друг на друга, рабочих дней, просто этот первый жёлтый лист. Конец и одновременно неотвратимое начало.

Снова осень… И в голове колотится: «Неужели *уже?!*»…

Однажды в полдень

Он шёл по тропинке, поднимаясь всё выше и выше. Шёл медленно, вдыхая пьянящий аромат трав и полевых цветов. В самых узких местах он разводил руками стебли, которые стояли ему по пояс, расцеплял переплетённые вьюнком ветви кустов или перекинувшуюся мостиком ежевику, сжимал ладонью пушистый колос полыни и глядел вдаль, в безоблачно синее небо. Вокруг стрекотали кузнечики, а может, цикады. Жужжали большеглазые стрекозы, порхали и садились на кусты невесомые белокрылые бабочки. Резные листья папоротника отбрасывали на землю причудливые тени. Под ногами осыпалась земля, кроссовки с хрустом вдавливали следы в грунтовую пыль. То тут, то там с камня срывалась и быстро пропадала в щели под корнями растений ящерица, проносился деловитый шмель или хрустела ветка. В голове всё плыло: зной, скалы, верхушки сосен, небесная синева. Птицы галдели где-то высоко в кронах деревьев. Всё полыхало красками, пахло, всё притягивало взгляд.

Он шёл всё дальше и дальше, шёл всё медленней, растворялся в гармонии мира, в тишине цивилизации и одновременно в кипучем движении природной стихии. Он больше не слышал, не думал, не замечал. Он просто шёл и впитывал окружающее, и проникался благодатью, постепенно впадая в полусон, в транс.

На ромашковой поляне он бросил рюкзак, отпил глоток из фляжки, раскинув руки, растянулся на траве и долго неподвижно лежал, глядел

в бездонную высь, сквозь узкие лепестки васильков, витиеватый рой мошек, сквозь бледную жилистую внутреннюю сторону дырявых лопухов. Смыкались веки, капли пота выступали на висках, в воздухе пышело жаром, а в ушах смешивались общим фоном неназойливые звуки…

Что-то резко кольнуло в икру и несильно саднило. Но он не открывал глаз. Наверное, острая ветка. Он всё глубже проваливался в негу лета, мираж слепящего солнца, даль бесконечного неба, муравьём поднимался по острой травинке, взлетал яркой божьей коровкой с чашечки сиреневого колокольчика, разносился по поляне лёгким веянием мяты и чабреца… Бред смешивался с явью, птичий гам с тишиной. Он отрывался от земных забот, погружался в жаркую ванну палящих солнечных лучей, забывался в музыке ветерка. И всё кружилось, кружилось, кружилось… Застилало глаза, пропадало, отходило на задний план, плыло в тумане, то отдалялось, то приближалось, теряло резкость. Во сне ли, наяву, он видел, как лёгкие волны пробегали по нескошенным травам, как дрожали в воздухе ветви берёз, как неведомая птица парила над ним, так медленно, так высоко и долго.

А змея метнулась и быстро исчезла в камнях…

Дорога в небо

И опять эта дорога. Сегодня утром, так же, как вчера, примерно в тысяча двести сорок восьмой раз. Или даже в две тысячи четыреста семидесятый, если считать с обедом! Только сегодня на улице туман, и всё вокруг какое-то другое. Размытые контуры деревьев таинственно выступают по сторонам, опоры средневекового арочного моста теряются в призрачном пространстве, а серый отблеск реки едва угадывается внизу. Всё как бы притихло, замерло в ожидании. От неоновой рекламы бензоколонки в воздухе витает только тонкая красная контурная линия. С перекрёстка, непривычно замедленно, удаляются фары машин. Так же медленно ползу и я. И не потому, что много свободного времени, но по-другому просто не может быть. В тумане своя жизнь, где задан свой ритм и тон. Там другие глаза видят другие картины, и другие мысли проносятся в другой голове, а с губ слетают другие слова…

Как детская заводная игрушка, изо дня в день, я езжу по кругу, по заданному маршруту: дом-работа, направо и прямо, работа-дом-обеденный перерыв. Снова дом-работа, направо и прямо — а вечером в обратном направлении работа-дом…

Я еду на восток, а тем временем горизонт постепенно светлеет: туман подсвечивается желтоватыми и красноватыми оттенками. За плотной молочной пеленой всё настойчивей угадывается солнце. От реки поднимается пар, смешивается с туманом и рассеивается ватными сгустками, повисая в ветвях тополей. Пока ещё зябко, но скоро погода разыграется. Сегодня будет хороший погожий день.

Ещё несколько сотен метров, и дорога безошибочно приведёт меня к месту назначения. А вообще в ясные дни это шоссе уходит за горизонт. Дорога поднимается, поднимается и обрывается в небо… Конечно, дальше за поворотом спуск, и указатель с названием соседнего городка, и ниже приписано, что в шести километрах муниципальная свалка и какой-то стадион. Но стоит ли верить указателям, которых не видно на горизонте?

А утро всё просыпается, краски становятся ярче. И вот между всё более различимыми силуэтами построек и деревьев на мгновение открывается что-то до дрожи неземное: чётко очерченный диск солнца! Ярко-красный круг на фоне серого тумана. Как финальная сцена в спектакле. Как последний аккорд затаившегося оркестра. Это видение, возвращая реальности все права, одновременно и устраняет их.

А вот бросить бы *всё!* Не свернуть, как обычно, направо в сторону работы, а промчаться прямо и лететь далеко-далеко, не отрывая глаз, целясь в это солнце на горизонте.

— Ало, ребята, это я на секунду, пока не отключился телефон, предупредить: с сегодняшнего дня на предприятии меня больше не будет!

— Что такое случилось? Где ты?

— Пока вот еду вперёд. Ту… ту… ттуууу… По дороге, ведущей в небо!..

Мария Песковская

Праздник тунца

Деликатесный фарс с маркетинговым концептом, романтическим сюжетом и небольшим криминальным налётом

Часть первая, романтическая

На островах Фуко-Няма всегда хорошо. Там волшебно. Белый песок мягко шуршит под ногами и обжигает, если ходить босиком. Океан ласково касается его шепчущими волнами и отступает. Потом снова касается и снова отступает.

Тунцовый аукцион Фуко-Нямского рыболовецкого Товарищества неизменно пользуется успехом у коммерсантов. Сделка на рыбе, что лишь час назад плавала по своим делам между рифов,—это само по себе уже неплохо. Чудные они, Фуко-Нямские товарищи: тунца и прочий улов отдают так дёшево, будто и вовсе денег не хотят.

На островах Фуко-Няма всегда хорошо. А время от времени кто-нибудь в округе становится беспричинно счастлив. И тогда дела на Фуко-Няма идут ещё лучше. То замуж всех дочерей разом, то хижина, бывало, завалится совсем, а наутро, глядь, а там дворец стоит!.. Поговаривали, что дело в тунце, которого отлавливают в этих местах. Одна из островных легенд до сих пор гласит: счастлив станет тот, ибо исполнится желание его, кто достанет со дна морского звёздную пыль в тройном сиянии солнца и испробует рыбью кровь коронованного тунца. Одного желать негоже—золотых монет, покуда звёздная пыль в сиянии солнца уже дарована Океаном. А иначе осердится Океан и отнимет, и заберёт… А заклинаний никаких не надобно: Фуко-Няма-Блу-Фин-Туна сам волшебный и есть.

Но сказки сказками, а люди по делу собрались.

Тунец наш—тот, который на праздник должен попасть, хоть и хищная рыба, а еда мимо рта, бывает, пролетает… И то ли корма в его водах, у берегов Морских Котиков, стало меньше, то ли просто сильным течением его подхватило и несло, но двигался он с крейсерской скоростью и ровнёхонько к аукциону, а точнее, часа за два, как его продали, достиг берегов Фуко-Няма.

Когда акулы и морские ежи ещё спали, тунец резвился уже, если так можно выразиться об особи весьма крупной, в волнах и на макрель заглядывался.

Три золотых луча, как бывало уже не раз, сошлись в перекрестии: один был, понятно, солнце с неба, другой—сайры косяк, а третий шёл от медного таза, что затонул неудачно после одной семейной ссоры лет пятьсот назад и в эпосе другого народа значился как «разбитое корыто», только враньё всё это, потому как целый тот таз, ни царапины, только помят немного бок[1].

Солнце пробилось сквозь линзу воды и нарисовало корону над головой большого рыбца из семейства скумбриевых. Инаугурация прошла успешно. Стайка золотых зачарованных рыбок точным движением вплыла в его большой рот.

Не наелся. Не понял. Накололся. Блеснул звёздной пылью на своей чешуе и повёлся за глянцево сверкающей рыбкой… Ат-т-ть…

Ненастоящая попалась.

Часть вторая, деловая

Тунца заморозили там же, на месте, глубоким и быстрым до чрезвычайности способом. Упаковали и помахали ему темнокожей рукой.

На специальных контейнерах с рыбой—лейблы, на лейблах—надписи. От разницы температур сами контейнеры и надписи на них покрылись «испариной», но всё же были вполне различимы. А если провести по ним пальцем, стерев мельчайшие капли выступившего конденсата, то можно увидеть: «FOR TUNA[2]. Megapolis. Russia». Можно и прочесть, если умеешь читать. По этому адресу такой ценный груз отправлялся впервые.

…А на другом конце света, по этому самому адресу, в просторном и светлом кабинете с кондиционером сидел человек в хорошем костюме и довольно улыбался. Больше он не делал в тот момент ничего, потому что всё, что нужно было, уже сделано: тунец пересекал океан, таможня отвечала добром на добро, тёплое местечко в холодильнике стыло в ожидании, рекламная кампания готова к феерическому старту…

Просторный и светлый кабинет с кондиционером, как вы уже поняли, принадлежал фирме «Фортуна». Сияющая личность—это её владелец и директор. А фамилия его—Хамонов. А кондиционер там—без надобности, просто к слову пришлось. Потому что осень уже, и бурые листья стучатся в окна. Не жарко в Мегаполисе, хотя и не холодно ещё. Всё путём, короче. Вчера отсняли ролик. Уже зарезервировано и оплачено эфирное время. Ха! Он перебил прайм-тайм у воротилы колбасного бизнеса! Тому обещали не говорить. Хотя от этих рекламщиков никогда не знаешь чего ожидать.

«Что я ему скажу?!..»—думала Сашка, на ходу оглядывая покосившийся, но почти целый каблук.

1. То, что таз был медный, между нами, тоже враньё, потому как медь в морской воде имеет свойство окисляться, т.е. сиять уже не способна… Золотой был тазик, не иначе.
2. For tuna *(англ.)*—буквально означает «для тунца».

Вот уж, поистине, пришла беда—отворяй ворота. Заметим ехидно, что «Ему» означало вовсе не тому, кто должен бы занимать мысли молодой особы. Но особа жила с мамой и была так загружена на работе по стратегическим коммуникациям, что с интересными мужчинами встречалась только по долгу службы. На службе же творилось что-то несуразное, того и гляди рухнут все коммуникации. Стратегические.

В коммуникациях этих нет ничего секретного, как можно подумать. А вот про то, что «рухнут», про это лучше никому не знать. Сашка и сама этого знать не хотела бы. Просто рекламный ролик очень важного, стратегически важного клиента умер от неизвестного вируса, исчез, стёрся, диссипировал, растворился… Баннеры вообще незнамо где!.. Рекламная кампания срывается! Караул! Страшный сон! А тут ещё и набойка отлетела не вовремя. Катастрофа!!! Завтра совсем нечего надеть, обуть, то есть. Саша закусила губу до боли, чтобы не разреветься прямо на улице, и подхватила плотнее папку с документами. «Вот так вот бегаешь, как савраска, а всё для чего? Чтобы купить себе новые боты малоизвестного кутюрье для продолжения бега, точнее, бегов, а выглядеть при её работе надо… Это всё Лиза! Умыкнула машину прямо из-под носа, могла бы и на своей покататься. Даром, что ли, ей жених «мини-купер» подарил?»—Александра закусила губу с другой стороны.

Лифт тягуче тащился на десятый этаж «со всеми остановками». Если посчитать, сколько времени рекламные агенты проводят в лифте, получится отпуск за свой счёт.

Прозрачные перегородки отверзли внутренний мир «Омеги». Муравейник в разрезе жил своей ирреальной жизнью. «О, Мега!..» Какой-то креативный гений придумал такое нелинейное имя рекламному монстру родного Мегаполиса. Филологическое образование выпирало не к месту, как извилины у свежепостриженного кандидата наук.

— Ну, как дела?—промяукала Лизка, покачиваясь в офисном полукресле.

Белые сапоги со стразами на поднебесных каблуках обеспечивали равновесие в любой позиции. Как только она познакомилась со своим… стала такая манерная, такая вся киса. У неё теперь есть всё, что пожелает.

— Как сажа бела,—ответила Александра, бросая папку на стол.

Это у неё от бабушки—отвечать, по случаю, поговорками. Правда, некоторые обижаются, не понимают. «Ты куда?»—спросят, бывало. Терпеть она не может идиотских вопросов. Ответ всегда одинаков: «На кудыкину гору!» Так ведь опять не поймут! Вот и приходится изображать корректность: «Далеко». А не закудыкивай дорогу, как бабушка говорила.

— Да, котик!—Лизка отжала кнопочку на перламутровой миниатюрной панельке, и голос её был сладким до отвращения и капризным для равновесия,—конечно, морской! Нет, я не хочу… Давай пойдём в «Гудини». Ты ведь знаешь, я люблю эти их сашими[3],—несколько пар густо накрашенных глаз ревниво покосились на Лизку,—Да?.. Ну, ты быстренько там посовещайся и поскорее приезжай!.. Ну, всё-о-о, целую.

Когда-нибудь, очень скоро, он купит ей всю «Омегу». Или «Гудини».

Лиза захлопнула изящный мобильник, как пудреницу, и перламутрово-белый внутри, он стал глянцево-красным снаружи. Вообще-то, чтобы не ошибиться, она любила всё белое: белыми были её волосы, спальный гарнитур, сапоги, норка, блузка от… и юбка до… С ног до головы упакованная во всё белое, с серостью жизни Лиза боролась вкраплениями красного. Новенький Pooper тоже был красный, как пожарная машина, а крыша у него была… белая. Чтобы гармонировало. У Лизки теперь всё было категории «пэ-эм-пэ-эм»: последней марки… тьфу, наоборот, последней модели престижной марки.

«Он—префект, а я—перфект!»—мурлыкала Лизка на иностранный манер.

Ничего, Сашка тоже нравится мужчинам. По-крайней мере, когда Хамонов улыбался ей вдруг совершенно по-детски, бывало такое, ей так казалось. Только вчера он вдохновенно рассказывал ей про тунца. Он, тунец-подлец, оказывается, та-а-кой полезный—это просто праздник какой-то! А публика наша не готова! Не готова целевая аудитория к восприятию нового продукта! Нет, они—аудитория, то есть, конечно, много чего в своей сытой жизни повидали. И лобстера свежего, и окорок сыровяленый опять же. Испанию ту, с оливами под солнцем, видели не только в белых мокасинах. И яйца Фаберже от яиц Дали отличить умеют. Но тунец… В наших-то местах, далёких от всех морей с их тёплыми течениями… Короче, весь мир, включая американских котов, тунца трескает. Но не мы.

Александре много рассказывали про трудности становления бизнеса и этапы большого пути. Сашка раскрывала рот и слушала заворожённо. Это было ценное её свойство. Это было её личное конкурентное преимущество.

Она верила им. Они верили ей. Но денег не давали.

«Я должна вам три рубля,—говорила она,—я принесу вам счёт-фактуру». «Не надо,—отвечали ей,—у вас глаза честные».

«Когда фамилию поменяешь?—беспокоился один клиент,—всё бизнес, бизнес…» Душа-человек! Но жадина…

«Бизнес», между тем, не клеился. А не надо было комиссионные подсчитывать, пока не увидела их своими глазами!.. Второе правило рекламного агента: никогда не подсчитывай свой интерес заранее. А первое…

«Ты не волк!—говорил ей коллега,—нет, ты не волк. Надо быть волком». Надо бежать. Не останавливаться, бежать. Между флажками. Всегда меж двух огней. Надо грызть горло и вырывать своё. Иди и бери. Там лежат твои деньги. Лежат твои деньги. Твои деньги. Деньги.

Сашка вздохнула тяжко. Вот сейчас ролик гигнется, и её вовсе лишат «аккредитации» на

3. Блюдо японской кухни.

«волчьей тропе», радостно выпнув из «Омеги»… Тогда в бухгалтеры. Пусть её научат. Пусть красные флажки округлятся в «красное сторно». Кажется, это из области бухгалтерского учёта. Звучит красиво и воинственно.

Этот треклятый ролик!.. Там Лизка ненатурально улыбалась. Рот такой большой, что она без усилий могла бы заглотить всего тунца и ни с кем не поделиться.

А Хамонов, желающий, как все рекламодатели, получить много, всего и бесплатно, не к месту вещал про Праздник Тунца.

Не надо было Лизке там сниматься. Внешность ей ещё могли простить. Хоть и оглядывали ревниво кумушки, ища изъяны в линиях и жестах. Лёгкий нрав был её незримым щитом, а беззаботная улыбка, которую слишком многие норовили обозначить как «идиотскую», была самым эффективным противоядием от уколов чужих комплексов. Лиза была слишком занята собой, чтобы рефлексировать темы устройства мира в отдельно взятом офисе: она, безусловно, была звездой, а шевеление вокруг неё её мало интересовало. Бессознательное стремление к белому тоже служило защитой от агрессии внешнего мира, хотя даже белый флаг может подвергнуться нападению мелкой натуры, желающей оставить на всём чистом пятна собственной серости. Лиза, впрочем, не копала так глубоко, она вообще ничего «не копала». «Улыбайся!»—говорил всегда папа, учивший Лизу держать спину ровно, а кончик носа—параллельно земле, и всё было просто. «Люди злы в большинстве своём. Они не умеют радоваться, глядя на красоту. Поэтому улыбайся им—и ты отнимешь у них оружие». Лиза улыбалась.

Александра за собой ничего такого не числила. Она не была ни злой, ни завистливой. Красотой или сколько-нибудь эффектной внешностью она не отличалась, а улыбаться её никто не учил. Но при всём при этом у неё не было причин не любить Лизу, и она умудрялась спокойно относиться и к ней, и к её префекту, и к её «Пуперу».

Весь остальной мир, точнее, женская его половина, Лизу сильно недолюбливал за всё перечисленное, и ей надо покрыться морщинами как можно скорее, немножко помять бок «Купера» и публично рассориться с префектом, чтобы какая-нибудь мымра перестала хотеть её убить за то, что она есть, или хотя бы не смотрела так, будто ей задолжали пятьдесят копеек три года назад, и на эту сумму наросли проценты. Но всё же в ролике ей сниматься не стоило. Это уже было последней каплей в чаше общественного терпения. И неспроста это всё, ох, неспроста!..

Между тем, душа Хамонова, по незнанию, жаждала праздника. А Сашка хотела тунца. И чтоб в дорогом ресторане. И чтобы платье красивое. И «шапильки». «У тебя есть обувь на ша́пильках?»—озадачил недавно шестилетний племянник. Вычитал где-то. У неё не было. Бегать неудобно. Между красных флажков.

Если разобраться, её желание полностью совпадало с желанием Хамонова. По крайней мере, по части тунца. Про платье Хамонов ничего не знал.

Вот кофточка эта любимого цвета как-то подозрительно вытянулась. Лиза говорит, что она не умеет одеваться. Сашка от неё такой подлости не ожидала. От кофточки, в смысле.

Но тунец тунцом, а пообедать сегодня не удастся. «Имидж—ничто!»—было написано на зеркале в женском туалете. «И то правда»,—подумала Александра и перевела взгляд с надписи на своё отражение. На неё смотрел испуганный мышонок со съеденной вместо обеда помадой на бледных губах.

Надо двигать в монтажную. Надавить на этих раздолбаев, чтобы ролик реанимировали.

Монтажка опять была неприступна. На задраенной двери висела табличка с выразительной карикатурой и надписью «Тихо! Идёт запись!» и другая, аналогичного свойства, какие принято вывешивать на двери номера отеля: «Do not disturb».

«В „полигон“ режутся!»—подумала Саша, толкнув на всякий случай шумонепроницаемую дверь без ручки.

Дверь открыли с той стороны как-то внезапно, на неё смотрели, явно с трудом нащупывая фокус, очумелые от бесконечного смотрения в комп глаза с расплывшимися зрачками. Ну, конечно, темно ведь!

—Входи уже,—Гриша, специалист по нелинейному монтажу, собрал всю добрую волю, на какую был способен.

Тёмные недра «продакшен» встретили аномальным отсутствием шумов и мистическим свечением мониторов. Ненужные звуки поглощались мягкой обивкой стен, нужные текли из больших наушников, что повисли на худой и длинной Гришиной шее.

—Гриш, ну, что там с «Фортуной»?

—А чё?..—сказал Гриша и посмотрел на плёнку, которая неприметно отдыхала на мягком крутящемся стуле цвета графита.

«И чё это здесь все говорят *„чё“?..*»—с досадой мимолётно подумала Сашка. «Чё» по-китайски—«ж…». Была у них такая студенческая шутка. Издержки образования опять выдавались, где не надо. Неприбыльное это дело. «Да, в бухгалтеры надо было идти. Сидела бы щас на жёстком стуле… всем своим «чё»… И денежки считала… Ага, чужие». Александра так увлеклась высокоинтеллектуальной беседой с самой собой, что села на ту самую плёнку. Гриша покосился и машинально поправил на шее сбрую из наушников.

—С роликом что? Нашли исходники?—Александра прорабатывала одну из версий загадочной кончины означенного рекламного продукта, по которой Фортуновский ролик в состоянии отснятого на дорогущей киноплёнке материала растворился во времени и пространстве между двумя технологическими этапами «пост-продакшн».

—Да всё я передал в оцифровку и монтажный лист в придачу!—обиделся Гриша.

Он снова увидел большую дохлую рыбу, которая шевелила толстыми губами и криво ухмылялась,

делая финт ненатурально синим плавником, и Лизку увидел… Вся в белом, она тоже что-то говорила, делала финт крутым бедром и раздвигала глянцевые губы в умопомрачительной улыбке. Полный хай-фай!

— Гриня, я тебя умоляю!..

Гриша, которого на самом деле все байкеры Мегаполиса звали Грин'ом, уже успел выпасть из реальности. (Он, как девятая планета, шёл по собственной траектории, а спутник наматывал вокруг него свои круги…) Его мот, его байк, его славный круизёр рычал в клубах дыма на каждом перекрёстке, и его не нужно подгонять. (Сейчас всё крутится вокруг этого бездарного ролика, сам он крутится вокруг Лизки — и тоже бездарно! — ещё эта мелкая, в свитере не по росту, бьётся в его маленькой закрытой вселенной, лучшем из миров.) Оставляя понтовые тачки и ведроиды[4] далеко позади, в облаках отработанного топлива, он догоняет малышку!.. (Но всё же было не вполне понятно: кто вокруг кого вращается, поэтому новейшие астрономы уже исключили его из планет… Сегодня его тоже откуда-нибудь исключат и, не исключено, набьют морду.) Вот он делает крутой разворот прямо перед Лизкой и изумлённой публикой, и пусть только эти мажоры попробуют его не впустить!.. Он въедет в «Гудини» прямо на своей «железяке», он последует за Лизой хоть в витрину, хоть даже на Северный полюс!.. Он напишет дымом из сопла своего славного байка, самого крутого на свете и даже во всём Мегаполисе: Лиза!!! Я люблю тебя!!! Он рванёт за ней!.. Он всех победит!.. Он увезёт её!.. Он… Он…

— Гриша! Меня продюсер побьёт, если я снова буду там спрашивать про ролик! — Грин услышал «озвучку» к какому-то чужому видеоряду, — Я вам очную ставку устрою!

Сашка пыталась шутить. А дела были дрянь. «Не, на юридический надо было идти!..»

— И зачем надо было на киноплёнке ролик мучить? Сделали бы как обычно.

— Дык, это ж не «дрова» какие-нибудь!.. — ответствовал Гриша.

По другой версии, на «кино» пролили то ли кефир, то ли пиво, то ли ещё какую столь же возбуждающую жидкость.

Дело было яснее ясного. В какие-то секунды Сашка увидела чёткую раскадровку ближайшего будущего: Хамонов улыбается своей фирменной, по-детски беззащитной улыбкой, которая делает его таким сексуальным, только он об этом не знает, блики света падают на его блестящую голову, камера отъезжает, камера наезжает, снова крупный план, это ободранный каблук без набойки, потом весь ботинок, потом вся Сашка, только надо перевернуть этот кадр! Хамонов, душка, подвесил её в ближайшем холодильнике за ноги. Рядом с тунцом. «Кина не будет».

Только это было ещё не всё.

Этот разговорчик с партнёрской фирмой по наружке был форменным издевательством. Они сделали Хамонову баннеры три на шесть, евростандарт, а теперь какого-то лешего не желали их отдавать! Баннеры — это такие большие картинки для улицы, глядя на которые водители и пешеходы забывают про правила дорожного движения. Ещё они могут упасть на голову или на крышу движимого имущества, когда объявили штормовое предупреждение.

Александра напрягла все свои способности к дипломатии, набрала в слабые лёгкие побольше воздуха, выдохнула и нащёлкала на телефоне знакомый номер:

— Здравствуйте, я представляю интересы фирмы «Фортуна», — чистейшую правду сказала Сашка, деликатно умолчав при этом об интересе фирмы «Омега»…

— Бла-бла-бла, у нас есть очень выгодное предложение на январь, — чирикала… как же её, как же… А, не важно.

— Нам нужны наши баннеры, очень, очень срочно! — говорила Сашка в испорченный телефон, старательно избегая имени Лёли Кукиной…

— Есть два очень хороших места в престижном районе! На одно есть скидочка! Вы будете с нами работать?! — неслось из трубки угрожающе и нежно.

Всё дело в том, что «Омега» только что обзавелась собственным департаментом по наружной рекламе и, к невезению Хамонова лично, Натан Финогенович незапланированно лишился некоторой самой предприимчивой, то есть не худшей, части своих сотрудников в пользу «Омеги». Несколько смелых девиц под предводительством Лёли Кукиной сбежали от стервозного начальника, умыкнув заодно и некоторое количество клиентов.

Дипломатический кризис назревал слишком явно и предательски, как прыщ на самом видном месте. Клиентам было по фигу. Издержки обострившейся донельзя конкурентной борьбы и раздела сфер влияния на Хамонова лично с его законными баннерами, приобретёнными им в собственность не далее, как три месяца назад, покуда были неведомы Хамонову лично. Хамонов спал, аки младенец. Но скоро придётся говорить ему какие-то слова, причём говорить придётся маленькой и бедной Сашке, тоже лично. Дело, между тем, выглядело совсем уж неприлично. Это как если бы Натан Финогенович пришёл в гастроном покупать колбасу, а ему сказали бы: мы вам колбасу вашу не дадим. Колбаса — только покупателям болотной дури. И вообще, мы её списали, колбасу вашу, пока вы за чеком ходили. Вы нам неинтересны.

Сашка отказывалась верить, что такая подлость возможна.

— Там рыба! Большая! И слова крупно: «Экзотическая вкуснятина»!

— Да-да, мы обязательно посмотрим. Позвоните завтра, нет, на следующей неделе. Какого цвета у ней хвост?… — пела в трубку Какжееё Неважно.

---

4. Транспортное средство — типичный представитель дорожного движения, как правило, отечественного производства, доведенный своим хозяином до состояния ржавого гнилого ведра *(словарь байкеров)*.

Становилось понятно, что баннеры не будут искать ни завтра, ни на следующей неделе. Потому что вот они, глаза мозолят и место зря пролёживают, не надо их искать. Пусть никому не достанутся.

Лёля Кукина возмущалась искренне:

— Натан Финогенович ведёт себя, как рабовладелец, от которого сбежали рабы!

За те три года, что Натан имел этот бизнес, он приобрёл двухэтажную квартиру, понтовую машину и морщины на лбу — одну продольную и две поперечные, добавил пятнадцать килограммов к собственному весу и потерял трёх бойфрендов, которые оказались абсолютно не пригодны к использованию в качестве начальников по вывешиванию баннеров на конструкции, развешиванию макаронных изделий на уши клиентов и навешиванию (здесь стояло не переводимое с русского на русский слово — редактор вычеркнул) по шеям ленивых сотрудников. А в целом очень выгодный был бизнес.

Подёргав партнёрскую фирму за телефонные провода некоторое время, Сашка поняла, что скоро у неё начнётся истерика, но надо идти до конца… и последний форпост на этом пути — самоё Натан Финогенович.

— Мы не храним баннеры, — сухо сообщил директор, и дело приобрело новый оборот, — Ваш клиент не уполномочил нас оказывать ему дополнительную услугу.

— А как же… Деньги… А собственность клиента… А оплаченный заказ… А большая рыба…

Сашка сама чувствовала себя так, будто её «утилизировали», пропустив через специальную машину, которая делает полосочки из чего Финогенычу угодно, и закопали в ближайшем лесу.

— …Это тебе Лёля Кукина сказала? — исходился Финогенович болотной дурью. У него тоже была истерика.

Он пересилил себя и предложил напечатать новые баннеры три на шесть, евростандарт. Заглянул в бумаги. Со скидкой.

— Да-да, мы обязательно будем работать с вашей замечательной фирмой! Только верните наши баннеры! — проблеяла Сашка.

Она закрыла за собой дверь с чувством исполненного перед Хамоновым долга и святой уверенностью, что теперь всё образуется, и всем станет хорошо.

Натан Финогенович набрал внутренний номер и отдал приказ пошинковать «Вкуснятину».

— Клиента жалко! Такой хороший клиент был! — долго сокрушалась Лёля Кукина.

Аминь.

Хамонов, похожий на младенца весьма отдалённо, скрежетал зубами от негодования. Тунец прибыл вовремя. Тунец был великолепен. Аппетит опаздывал. Эти рекламщики опять морочат ему голову! Ещё вчера самая модная девушка Мегаполиса несла себя в массы, продвигая заодно Хамонова с его рыбой. Она убедительно раскачивалась на длинных и тонких ножках, рассказывая, до чего полезны могут быть редкие природные жиры «Омега-3» девушкам модельной внешности (повезло этому лысому!), приводя в соответствие форму и содержание, и вообще доказывала всем своим существованием, что счастье есть. И до смешного серьёзная мордашка озарялась улыбкой с внезапностью и сокрушительной силой урагана «Катрина». Потом в кадре должен был появляться сам Хамонов и большие светящиеся буквы «*For Tuna*» должны были дать отсвет на его сияющее чело. Да! Да! Лысый он! Да, и он тоже! А что такого? Это ваще модный тренд: если в кино нету одного-двух персонажей, волосы у которых отказываются расти в нужном месте, то кино не будет иметь коммерческого успеха. Однозначно.

В его территориальных водах неприятности тоже ходили косяками, как скумбрия. Скумбрия, впрочем, не его товар. Хамонов уже и подзабыть успел, как на заре капиталистического «завтра» мороженой сельдью торговал. Перепозиционировался.

Ещё вчера всё было хорошо. А сегодня Фортуна повернулась к Хамонову филейной частью.

Как её там звать-то?.. Корделия Иванна? Аделаида? Леокадия?

Надо сказать, наружностью Хамонов был крупен. Круп Хамонова обычно прикрывал пиджак от Hugo Boss. Других боссов Хамонов не признавал. Он и в бизнес-то в своё время пошёл, ступил, так сказать, на тернистый путь, чтобы боссов никаких над собой не иметь. А тут — эти, тьфу… Хамонов морщился, как от кислого, перебирая в уме свои мелкие неприятности на предмет «крупной партии тунца». «Это не партия. Это вождь всех тунцов собственной приморожденной персоной!»

Короче, клерк из налоговой, или ещё откуда, жизнь может попортить не хуже любого начальника. Навалились все разом. Пожарные его «погасят», если он не обеспечит свою безопасность в пожарном порядке. сэс тоже хочет ещё. Чтобы прописать фуко-нямского тунца в хамоновских холодильниках, нужен ещё один договор. Или два. Зажрались. Может, им филе тунца продвинуть?.. Натурой, так сказать.

Хамонов, в крайней степени раздражения, безмолвно шевелил толстыми губами. Как рыба. Много лет назад так делала его учительница математики: когда сердилась на нерадивых учеников, её оживлённая мимика и артикуляция выдавали в ней знание некоторого количества матерных слов. Но вслух материться в школе было нельзя. Ученики прыскали в ладошки, но понимали, что всё серьёзно, и следующим мероприятием будет битьё массивной линейкой по голове. До чего, справедливости для надо сказать, не доходило.

Леокадия сидела на диване у себя дома и кушала виноград, обдумывая заодно планы наступления на Хамонова. Если б она могла, она бы всегда сидела на диване и кушала виноград. Но «у тебя должна быть приличная работа», — сказала мама и, чтобы она могла всё же кушать виноград, пристроила Леокадию в одну инспекцию, которую теперь переименовали в агентство.

Как и все Леокадии, агент Леокадия была дамочкой весьма заурядной внешности. Каждое утро,

которое редко выдавалось добрым, она рисовала себе глаза и губы и грезила о том чудесном времени, когда ей не надо будет лишать себя сна в такую рань, чтобы бежать на службу. И оно обязательно наступит, это время, когда какая-нибудь крупная личность, пусть даже лысая, как Хамонов, откроет ей своё сердце. Ну, и счёт в банке. Только не ведом бедной Леокадии природный антагонизм этих явлений. Дура она, а то бы понимала, что против Хамонова у ней шансов нет. Дамочки заурядной внешности его не интересовали и в лучшие времена, не то что теперь, когда тунца приходилось есть самому…

Да, реализовать тунца было решительно невозможно, и семья Хамонова перешла на тунцовую диету. Но тунца было так много, что это его спасти не могло. Дело осложнялось тем, что быстрозамороженный тунец несколько раз грозился перейти из этого своего состояния в иную субстанцию, пока его выдворяли из Хамоновских агрегатов безо всякого вида на жительство и туркали обратно.

Рестораторы воротили свои чуткие носы. Тунец был несвеж. Точнее, не вполне уже свеж и совершенно без документов. «Наши клиенты не поймут. Мы не можем рисковать их лояльностью»,—слышал Хамонов там и тут.

— Какая им разница? Они всё равно не знакомы с оригиналом!

— Да вы что!!! У нас сам префект обедает! С невестой!

Тунец всё ещё был великолепен, но уже начинал пованивать. Рекламный ролик клиента так и не нашли…

Надо было соглашаться на этот, как его… маркетинг! Тогда рестораторы не глядели бы на него сейчас рыбьими глазами. «В карман мне заглядываете?!»—рычал Хамонов. Волки! Волки!..

Почти отчаявшись подарить Мегаполису праздник и тунца, Хамонов оставил очередное карпаччо из тунца жене и детям и отправился в «Гудини». Зачем он туда тащился? Веселиться не хотелось, аппетит пропал… Но дела, дела. Всё же надо ещё закинуть удочку: «Гудини»—его лучший клиент. Да и глазам нужен отдых: девочки туда набиваются—высший класс!..

Папа снова уехал—одна маленькая девочка долго глядела вслед огонькам его машины, забравшись на табуретку. «Слезай! Простудишься!»—одёрнула мама.

Кубики не складывались.

«Ни рыба, ни мясо»—привычно ворчала Хамонова жена, доставая блюдо из духовки. Вот, поехал опять, на ночь глядя. «Ужинать будешь, милый?»

Она его не упрекнёт. Она умная жена. «Ты ненадолго, дорогой?» Да, он слишком дорого ей обходится.

Вот и в журнале пишут… А чего там только не пишут? Она снова взялась листать страницы, приятные своим глянцем, где блондинка так сладко улыбалась с обложки… Где же это?.. Так… «Морщинки мгновенно становятся менее заметными…» Нет, это у неё уже есть. «Будущее прекрасно»… Опять не то. А, вот: «…спровоцируйте скандал с мужем». Совет гарантировал развлечение на вечер и заодно избавление от депрессии. Это, конечно, было светлее и радостнее, чем совет того же автора представить венок от коллег по работе. Но коллег по работе у неё всё равно не было, а мужа она видела так редко, что поскандалить с ним не было никакой возможности. А вот венок из чужих юбок вокруг Хамонова ей очень даже явно представлялся. «Ключ к безудержному веселью спрятан в блюде из… тунца»—писали на другой странице, и это, похоже, была её последняя надежда…

— Мам, это мне?

Праздник фуко-нямского тунца в доме Хамоновых был в разгаре.

— Кушай, сынок, вон какой худющий!

Худосочный отпрыск Хамоновых был единственным, кому не опротивел ещё затянувшийся «рыбный день».

— А ничё, можно есть,—сказал отрок ломающимся баском, напряг трёхглавые и потрогал «банки».

Незаменимые аминокислоты делали своё дело. Блу-Фин-Туна, блин!

А Лиза тоже ехала в «Гудини» кушать «роллики». Какой-то придурок на двух колёсах путался под ногами. Байкер Гриша, кто же ещё? «Лиза, я люблю тебя!!!»—вырывалось прямо из сопла его славного байка, самого крутого на свете, а, может, и во всём Мегаполисе. Хамонов катился за ними. «Ничего особенного»,—вдруг подумал Хамонов. Это он о Лизке подумал, и сам этой своей мысли оч-чень удивился. Заболел он, что ли? Это ему супруга специю какую-то в тунца подмешала! Отворот-приворот-поворот… Ч-чёрт, ч-чуть правый поворот не пропустил.

Узкие улочки большого города еженощно оглашались воем и рёвом несущихся авто, насколько хватало лошадиных сил. Наглые байкеры тоже надрывали свои моторы и уши горожан, которым не судьба была мирно поспать среди ночи. Ночной рэйсинг был любимым развлечением этой бесноватой публики…

В «Гудини» всё было как всегда. А Хамонов грустил, поедая копчёного угря, которого сам привёз и растаможил только вчера. Было невкусно. Девицы все были тоже как на подбор… Не в его вкусе.

Вот и официанточка, ничего так себе, с формами, склонилась над его столиком, выставляя два цветных бокала.

— Я не заказывал!—мрачно брякнул Хамонов и отвернулся.

Такого с ним прежде не бывало. Хозяин заведения подтянулся за своим авангардом и сделал жест рукой: «Уйди». Перстень блеснул на неаристократической, но весьма ухоженной руке. Девушка с формами растворилась, не оставив Хамонову ни одной вдохновляющей мыслеформы, а ресторатор протянул ему крепкую сухую ладонь и придвинул к себе дизайнерский стул. В его заведении всё было «дизайнерское», включая эппиэренс гостей. Мальчики на входе отрабатывали свои бабки, как надо, и чутьё их не подводило. Почти никогда не подводило. Только-только шум утих

вокруг истории с парочкой известных музыкантов на гастролях, которые не заслужили признания прямо на подступах в его «Гудини». Их стиль был слишком неформален для Мегаполиса, а, может, они слишком мало о нём заботились, когда им хотелось поесть. Минимализм минимализмом, но костюмчики у них могли бы быть и подороже. Да что б они в этом понимали, бобики сторожевые! «Дерёвня!!!» (через «йо-о-о»).

Он бы выкосил из своего палисадника всех этих нахальных репортёришек, но ведь реклама!.. Ребятки из телевизора уже суетились вокруг званой и незваной публики, оператор устанавливал свою треногу, а бойкая девочка с микрофоном, а без микрофона она вряд ли прошла бы дресс-код в этом гламурном загоне, поправляла чёлку, становясь в кадр.

— Влад! Ты мне скажешь, если у меня будет чё попало на голове? Уже, да?

— Все в сборе!..—кивнул ресторатор в сторону средоточия «гламура» всего Мегаполиса и довольно прищурил глаз.

Если хорошо подумать, это был их общий бизнес. Как у классика: «Отец, слышишь, рубит, а я отвожу». «Дровишки» были, вестимо, от Хамонова, эксклюзивно, а подбрасывал их умелой рукой ресторатор. На огонёк слеталась модная публика. Они, публика, то есть, очень фотогенично выглядели в минималистском интерьере. Белый фон с цветными неоновыми бликами благодарно принимал любую натуру. Опустошив все местные и отдельно взятые заграничные бутики, они пришли подержать японскими палочками модные фитюльки из сырой рыбы. И внести свой вклад в рейтинги ночных новостей. Надо сказать, почти все они покупали одежду и еду друг у друга, но это не мешало им проводить вместе время, то есть тусоваться.

Префекты и перфекты производили здесь некоторые… эффекты. Дешёвый каламбур надо продать подороже агентам медиа. Всё равно перепродадут. Тебе же. За большие рекламные деньги.

Канал «36,9» и его неискоренимые папарацци ежечасно замеряли температуру красивой жизни Мегаполиса. Как и средняя температура по больнице, оная укладывалась в условную норму, хоть и подползала к опасной черте. Тунец, к примеру, что подмигивал сам себе в Хамоновском холодильнике и никак не желал становиться артефактом глянцевой сути бытия, в основном, имел температуру холодильника. Иногда он делился градусами с окружающей средой, а потом покрывался изморозью или холодным потом снова и снова.

Он всё ещё был великолепен. Но уже начинал praванивать. Об этом достоверно знал только Хамонов. Некоторые лишь догадывались. Отчего температура самого Хамонова зашкаливала за пресловутую метку: он каждую минуту отирал пот с сиятельного лба, а лицом был красен, как варёный лобстер.

Красный, как пожарная машина, Пупер, с раскалившейся добела крышей, тоже добавлял жару на улицах Мегаполиса. Лизка не умела водить машину. А потому дорога с односторонним движением принадлежала ей безраздельно в любом направлении. Когда она красиво выруливала от любимого бутика, остальные участники движения разъезжались, как глаза с расходящимся косоглазием, и жались испуганно вдоль обоих бордюров, дабы не создавать необоснованных помех её непредсказуемому движению.

— Ну, что, берёшь мою рыбку золотую?—Хамонов вспомнил, зачем пришёл. Ожил Хамонов: Фортуна, кажется, обещала развернуться к нему бюстом…

— Без документов?.. Хамон, ну, ты знаешь, как я к тебе отношусь!.. Выражение довольства не покинуло лица ресторатора…

— Опять двадцать пять! Ну, кто будет у дохлой рыбы документы спрашивать! А, и хрен с тобой!— ответил Хамонов и отвернулся.

Неожиданно для себя он выдал «в эфир» истинную причину внезапной всеобщей нелюбви рестораторов Мегаполиса к деликатесу. Хреном, между тем, тут не кормили. Японский корень васаби вытеснил всё исконно русское.

Блики цвето-света начинали утомлять. «Старею»,—подумал Хамонов.

Леокадия положила в рот очередную виноградину и забыла закрыть рот. В телевизоре неоново светился весь цвет Мегаполиса. Одновременно. Канал «36,9» называл их «бомондом» и приобщал телезрителей к «гламуру». Что такое этот «гламур» и кого причислить к «бомонду», а кого туда не пускать, доподлинно никто не знал, но слова на «бэ» (бомонд) и «гэ» (гламур) были наиболее употребительными на этой кнопке телевизора.

— Наш агент в прямом эфире из самого модного заведения Мегаполиса!..—не боясь нарушить закон о рекламе, сообщила ведущая,—Дуся! Как там у вас дела?.. Есть кто-нибудь из известных людей?..

— Да!—радостно откликнулась агент Дуся,—здесь сегодня практически весь бомонд!

Дела были такие. Префект «гламурно» сиял лысиной, а рядом, во всём белом, глянцево улыбалась его пассия. Хотела бы Леокадия быть на её месте! Журналистка, которую причесали, наверное, в том же салоне, что и Леокадию—такой ужас был у неё на голове!—брала интервью у раскрученной ими же парочки:

— Вы приехали сюда на «Супере»… э-э.. на «Купере»?..

— Да, на «Пупере».

— Напомним телезрителям, «Мини-Пупер», а таких в нашем городе всего двадцать пять, подарен нашей героине господином Префектом в день помолвки…

— Ну, не на метле же ей передвигаться!—господин Префект обаятельно улыбался.

«Какой блестящий мужчина!—подумала Леокадия,—хочу! Хочу!»

— У вас есть мечта?—приторно интересовалась журналистка.

— Я всегда мечтала о любви!!!—в тон ей отвечала Лиза,—моя мечта сбылась!!!

— Мы передадим это всем вашим поклонникам!— пообещала журналистка и погляделась в камеру, а Лиза погляделась в обожаемую лысину.

— Не переключайтесь! — потребовала ведущая.

А Леокадии сегодня нахамили в салоне красоты. Сказали: «Вы можете подождать вон на том диване!» Она сама знает, где ей быть. Ах, девочки! Вы попали. Ждите теперь официальных визитов!

«Это они не знают, какая я фотогеничная!» — думала Леокадия, — уж получше этой…». Она вздохнула и пошла на кухню. Надо что-то делать с этой странной рыбой… Говорят, полезная она. Фуко-Няма-Блу-Фин-Туна!

Хамонов покинул «Гудини», а Хамонова покинула последняя надежда пристроить тунца. Отчего-то тянуло домой, и, пытаясь разобраться в этом новом для себя чувстве, Хамонов кружил по центральным улицам Мегаполиса. Вывески сверкали огнями, огни отражались в лужах, а на деревьях росли фонарики, как на Елисейских Полях.

Кафе «Муза» на Театральной площади подслеповато светило уцелевшими в период бурно растущего капитализма фонарями у входа. Когда-то здесь знавали и лучшие времена, но мраморная лестница, что вела вниз, в подвал, так исторически сложилось, была на месте.

Хамонов знал наперечёт все приличные места в этом городе — ещё бы ему не знать: его клиентская база! Кафе «Муза» не входило в число клиентов фирмы «Fortuna». Но сказать, что Хамонов и «Муза» были знакомы, это не сказать ничего.

Музы действительно некогда обитали в этом подвале. Ели, пили, веселились. А вместе с ними — Хамонов. Места былой славы не были осквернены с тех пор модным ремонтом, и малость потёртый богемный шик ушедшей эпохи навсегда застыл в интерьере, благородно припорошенном пылью, как стареющая прима пудрой. Ностальгия навалилась на Хамонова без предупреждения. «А помнишь?» — шептало всё вокруг… Хамонов помнил. Помнил всех своих муз. А они, музы, гонялись за Хамоновым, требуя алименты, пока он не заматерел окончательно и не обзавёлся охраной. Потом музы отступились, и он всех разогнал.

Давно это было. В двух залах полутёмных стулья всё так же стоят в чехлах-накидках «под бархат» цвета засушенных и пыльных чайных роз, подаренных звезде кордебалета в прошлом веке.

Публика здесь нынче собралась… невнятная. Парочка помятых спин и визгливая баба не поддавались идентификации в Хамоновском представлении о мире. Однако беглый взгляд в полсекунды оценил конъюнктуру и вычислил безошибочно, что Hugo Boss тут не носят. А вот такие штаны Хамонов сам носил лет пятнадцать назад! Точно! Были у него брюки из такой же ткани — тёмно-серой, в чёрные полосочки. А теперь из них скатерти пошили. Ну, надо же! Хорошая была шерсть. Да и сам он был лучше. Эх, молодой был!… Сейчас зарыдает Хамоша. Где его музы?..

— Водки! — потребовал окончательно заматеревший Хамонов, падая за свободный столик в приступе ностальгии. Эх, жизнь пропала! Молодость прошла!!!

«Может, эти возьмут? — рассудок на минуту вернулся к Хамонову, — не, не возьмут. Суки! Все!»

— Ещё водки! — бросил он неказистой официантке, которая уже казалась ему гораздо симпатичнее.

«Будь моей звездой! Будь моей женой! Будь моей любимой! А-аа…» — надрывалась где-то за барной стойкой допотопная магнитола. «Ну, этого я по определению не могу», — пьяно подумал Хамонов, а парень из персонала кафе подошёл, чтобы прибавить звук. Ну, чтобы ещё убедительней было.

«Обложили! — тоскливо думал Хамонов, — кругом одни агенты!!!»

Хамонов методично напивался, и затрапезной трапезной так же медленно, но верно возвращалось былое очарование.

«Я ненавижу себя за то, что я люблю тебя!!!» — пел теперь из магнитолы какой-то реальный пацан.

Часть третья, немного криминальная

Шло время. Незаметно и неожиданно, сразу после осени, в Мегаполис пришла зима, и «белые мухи» налетели на большой город.

Тунец сдох. Но перед этим он пропал. В смысле, исчез. В смысле, сбежал. Только обзавёлся документами, только закончилась вся эта бумажная волокита, новая беда — налёт на холодильники Хамонова. И, что интересно, ничего ценного не умыкнули, только тунец уплыл.

Пробки. Это когда машины двигаются задумчиво. Водители выпускают руль из рук. А руками обхватывают голову или подпирают мужественный подбородок. Водительницы начинают разглядывать маникюр и почти всегда находят в нём изъяны. Вот что такое пробки в Мегаполисе.

…На перекрёстке в центре города, если это большой город, такой, как Мегаполис, можно простоять целую вечность. Хамонов опустил стеклоподъёмник, чтобы получше разглядеть рекламный баннер, три на шесть, друга-колбасника. «Вкусная экзотика» — значилось на нём большими буквами.

«Где-то мой тунец?» — без эмоций подумал Хамонов. «У Печоры у реки, где живут оленеводы и рыба-чат ры-ба-ки-и…» — отвечало ему уличное радио.

Как они прознали? Бог весть. Только сразу после этого появилась в городе сыровяленая оленина.

Хамонов вздохнул с облегчением. Приелась ему эта рыба! И, если разобраться, ну, что его ждало, тунца? В период долгой и продолжительной агонии от него отпиливали бы по кусочку и пытались сбыть по баснословной цене в супермаркете «За углом». Недоеденное перемололи бы в фарс… э-ээ… в фарш, закатали в пластик, и духа бы его там не было. Ну, а если и это не поможет, на бургеры его! А тут мафия подвернулась. Тунца украла раскарякская мафия. И несдобровать бы им, установился твёрдый наст и санный путь, и следы чётко указывали на Север, но «белые мухи» полетели снова и замели все следы.

Они забрали всё, что осталось от туши, чтобы… делать суши. Это ж сколько маленьких — и дорогих! — роллов получится накатать!!! Такие же круглые они, как яранга. Только маленькие. Фуко-Няма-Блу-Фин-Туна! Зимой к ним сам префект с невестой приедут на снегоходах кататься. А если

надо будет, они им и горы накатают. Подумаешь, Куршевель! А олени лучше!

И это вовсе некстати, но семья колбасника тоже перешла на оленину.

Да, кстати. Сын Хамонова от тунца этого так раздался в плечах и других частях тела, что незамедлительно стал чемпионом по боди-билдингу. Четырёхлетняя дочь Хамонова завладела великолепным цветным стёклышком, через которое всё вокруг делается золотым, даже папа… Жена Хамонова, благодаря тунцовой диете, получила самого Хамонова в своё почти полное и безраздельное распоряжение. Он, правда, как-то загрустил, но… теперь он на чужих баб не смотрел, а домой приходил, на диван бросался и смотрел спорт-канал. Собственно Хамонов не получил ничего, потому что самым большим его желанием было продать тунца. А это желание связано с деньгами. «Одного желать негоже—золотых монет!..»

Леокадия была замечена в «Гудини» в обществе префекта, а вскоре посягнула и на «святое»: заняла место Лизы, самой модной девушки Мегаполиса, в «гламурных» обзорах канала «36,9». Осталось невыясненным, был ли доволен этим обстоятельством сам префект. Светская хроника об этом умалчивает. Однобокая она какая-то—светская хроника.

Префект—тот ничего не хотел, у него всё было, даже Лиза. Была. Но… Фуко-Няма-Блу-Фин-Туна!

Бедная Лиза, так опрометчиво заявившая, что всегда мечтала о любви, тоже получила всё, что хотела. Уехав покататься на снегоходах там, где солнце расцвечивает цветными неоновыми бликами вечно белое небо, она съела много маленьких вкусных суши, таких же круглых, как яранга. Уехала на четырёх колёсах, а вернулась на двух. Байкер Грин, он же Гриша, всех победил. И даже тунца волшебного ему для этого есть не понадобилось. Это за него сделала Лиза.

Эх, правильно сказал старик Хэм: у каждого своя большая рыба. Надо только её дождаться.

Вот такая вполне вероятная история случилась или могла случиться недавно в Мегаполисе.

P. S. А тунца в Мегаполисе всё-таки съели. Был праздник, был. И вообще, всё хорошо будет.

P. P. S. Ой, что будет-то!..

ДиН стихи

Глеб Соколов

Свобода

Языческий ветер Норвегии дует за пазуху. Скоро паром.
Мы узнаём друг друга по запаху. Мы живём,
Можно сказать, одинаково: курим, пьём,
Кто-то не пьёт, но обязательно курит.
Мы отличаемся скуластым обветрившимся лицом
И не любим стульев.
Мы—дети парусных яхт, поездов, автостопа. В конце—
Не видно конца. Устаём от дорожных сцен,
От границ, от таможни, валюты, разницы цен.
Иногда сорим деньгами налево-направо,
Иногда по карманам ищем последний цент—
Чисто наша забава.
Мы узнаём друг друга по силуэту, походке, но
Никогда не здороваемся, будто всё равно,
А на самом-то деле боимся мы все одного—
Проснётся тоска по дому и по семье,
Собьёмся в пару в попытке выстроить новый дом на чужой земле,
И останемся гнить в тёплом, мягком цветном тряпье,
Как те, над кем мы всегда смеялись, всегда смеёмся. К чёрту дома.
Языческий ветер Норвегии за рукава—
Иди, ты свободен! И помни, не стало тепла,
Не стало уюта—ты всё променял на дорогу.
Теперь всё твоё—этот порт, полюса, города.
Ведь это так много.

Мы плевали на ваши «против» и ваши «за».
Мы слетели с катушек, расплавили тормоза.
Нас что-то толкнуло на шаг ярким светом в глаза.
И мы, не запирая двери, ушли с порога,
Чтоб никогда не вернуться назад.

Зинаида Кузнецова

Голуби

Смоленские святые

1.

В церкви было малолюдно. Две-три старушки шептались о чём-то в углу, за колонной. Молоденькая девушка стояла на коленях перед иконой Божьей Матери и беззвучно шевелила губами. Глаза её были полны слёз. Пахло горящим воском, глядели из тёмных углов святые. Мальчик лет шести перебегал от одной иконы к другой, ставил свечки, пожилая женщина, бабушка, наверное, провожала его умильным взором.

Галина Сергеевна тоже поставила свечки — как её научили — за здравие, за упокой, заказала благодарственный молебен и тихонько ходила по церкви, разглядывая роспись. Молиться она не умела и не знала, как себя вести. Вроде бы всё сделала так, как надо, но всё равно оставалось чувство какой-то неудовлетворённости.

Она вышла из церкви, следом за ней вышла бабушка с внуком. Они повернулись лицом к входу, троекратно перекрестились и поклонились. Галина Сергеевна тоже перекрестилась и спустилась с крыльца. На скамейке сидели её муж, Игорь Васильевич, и внучка Оленька, любимица, точная копия Галины Сергеевны. Муж взглядом спросил: ну как? Она, пожав плечами, кивнула в ответ: нормально, села с ними рядом и огляделась. Обширный двор, многочисленные строения, дорожки, посыпанные гравием, клумбы с яркими цветами, ухоженные газоны. Тут и там стояли свежевыкрашенные скамейки, журчал небольшой фонтанчик. На одном из одноэтажных домиков была вывеска: «Церковная лавка». Они купили в лавке три серебряных крестика, несколько иконок и детские книжки, рассказывающие о жизни и подвиге святых мучеников.

Галина Сергеевна и её муж не были религиозными людьми, хотя в душе верили, что есть какая-то высшая сила. Галина Сергеевна давно уже была на пенсии и почти всё время проводила на даче недалеко от Москвы. Игорь Васильевич преподавал экономику в одном из институтов, два-три раза в неделю ездил в Москву на своей старенькой «Волге».

Однажды днём Галина Сергеевна почувствовала сильную боль в животе. Никогда прежде она такую боль не испытывала, даже во время родов. Она выпила обезболивающее, но это ничуть не помогло, и с каждой минутой боль становилась всё сильнее и сильнее, она была просто невыносимой. Галина Сергеевна хотела позвонить мужу, но не успела — потеряла сознание.

Игорь Васильевич, вернувшись вечером на дачу, обнаружил жену лежащей на полу без сознания. Шансов спасти её практически не было. И всё-таки врачи, боровшиеся за её жизнь несколько часов, сделали чудо — она осталась жива.

Очнувшись после небытия, она вдруг услышала фразу: «Тебя спасли смоленские святые». Кто это сказал? Она, с трудом поводя глазами, оглядела реанимационное помещение — никого не было. Странно… Она ведь ясно слышала эти слова, кто-то же их произнёс…

Потихоньку жизнь возвращалась к Галине Сергеевне. В общем и целом она чувствовала себя неплохо. Уже следующей весной она опять копалась на даче, сажала цветы, делала грядки и клумбы. Но нет-нет, да вспоминала слова, услышанные ею после операции: «Тебя спасли смоленские святые». Кто знает, может это и правда? Только почему именно смоленские? И почему они её спасли — ведь она неверующая?

— Игорь, — сказала она как-то вечером мужу, — ты знаешь, не дают мне покоя те слова про смоленских святых. Кто их сказал? Я ведь не спала, я ясно слышала чей-то голос. Зачем они были сказаны?

— Может быть, это была реакция на наркоз? — осторожно заметил муж. Они уже неоднократно обсуждали эту тему. Что он мог сказать?

— Я вот думаю, не поехать ли нам в Смоленск, в тамошний храм? Соседки говорят, что надо съездить, свечки поставить…

— Давай съездим, почему бы нет? В ближайшие выходные и поедем. Ольгуньку с собой возьмём. Внучке Оле недавно исполнилось три года, дед её нежно любил.

2.

После церкви они хотели покататься по городу, посмотреть достопримечательности, но потом передумали — решили сразу отправиться домой.

Машина легко катила по шоссе. Галина Сергеевна думала уже о доме, о предстоящих, важных и не очень, делах и заботах. Кругом расстилались поля, вдалеке темнела кромка леса, над деревьями виднелась маковка церкви, рядом с шоссе вилась речушка с заросшими мелким кустарником берегами. В высоком ясном небе плыли лёгкие, как пух, облака.

— Давай остановимся ненадолго, — попросила Галина Сергеевна мужа. — Смотри, красота какая!

Они свернули с шоссе на просёлочную дорогу, по которой, видимо, редко ездили — вся она заросла ромашками, колокольчиками, васильками, огромными разлапистыми лопухами. В траве стрекотали кузнечики, порхали бабочки, высоко в небе пел жаворонок. Олечка побежала собирать цветы,

а Галина Сергеевна достала из багажника сумку с едой—пора перекусить, с утра ничего не ели.

Вдруг тишину расколол рёв двигателей—из-за кромки леса, низко над землёй, появился самолёт и, набирая высоту, пронёсся прямо у них над головой. Оля испуганно рванулась назад, прижалась к деду и вся дрожала. «Не бойся, милая, это самолётик полетел»,—успокаивал дед малышку, чертыхнувшись про себя: откуда он взялся, этот самолёт, наверное, аэродром где-то неподалёку…

А Галина Сергеевна, застыв, смотрела вслед самолёту и не слышала ни голоса внучки, ни голоса мужа. Она вдруг превратилась в трехлётнюю девочку, бредущую с матерью и старшим братом в толпе таких же измученных людей по полевой дороге—куда они идут, она не знает. Идут они долго, у неё болят ножки, хочется пить и есть, но ни воды, ни хлеба нет. Она то и дело просится на ручки, а мама, пронеся её немного, вновь опускает на землю. По небу летят какие-то чёрные, огромные птицы, на крыльях у них белые кресты. Вдруг из птиц начинают сыпаться какие-то предметы, и мама кричит: ложитесь и закрывает их с братом своим телом. А вокруг происходит что-то непонятное: грохот, огонь, земля поднимается в воздух, летят комья земли, кричат люди…

—Галя,—услышала она голос мужа,—что с тобой? Тебе плохо?

—Нет-нет,—Галина Сергеевна, стряхнув наваждение, попыталась снова заняться обедом, но не могла—всю её сотрясала крупная дрожь.

—Игорь, мне кажется, что я здесь уже когда-то была. Понимаешь, я здесь уже была. Я помню… я вспомнила вот эту дорогу и речку. И церковь вон там, видишь? Я их видела. Мы здесь убегали от немцев в 41-году, я была тогда совсем малышкой, но я помню, как самолёты нас бомбили… А знаешь, ведь мы где-то здесь жили во время войны, у одной тётеньки, тёти Маши, кажется… Деревня называлась Горькая, мама говорила. Я точно помню: Горькая. Мы ещё с братом смеялись, лучше бы сладкой назвали…—сбивчиво говорила она.—Давай поищем, это где-то здесь. Давай спросим у кого-нибудь, а?

3.

Деревня Горькая была мало похожа на ту, полуразрушенную, оцепеневшую от страха деревушку военной поры. Вместо вросших в землю, крытых соломой изб, стояли крепкие рубленые дома, кое-где виднелись краснокирпичные особняки, окружённые плотными заборами, почти у каждого дома стояла машина. Казалось, Горькой не коснулись печальные изменения, произошедшие с российской деревней с началом перестройки, но приметы нового времени были уже налицо: то тут, то там шумели стихийные барахолки, стояли, утонув в многолетнем навозе, корпуса ферм с выбитыми окнами и содранными крышами… У магазина колыхалась длиннющая очередь, наверно, выбросили какой-нибудь дефицит. Впрочем, дефицитом сейчас являлось практически всё…

Галина Сергеевна смотрела по сторонам и не могла найти ничего, что напомнило бы ей те далёкие годы. Зря они сюда приехали. Кого она тут найдёт? Кто её помнит! Глупость сделала, не надо было затевать эту поездку.

Они проехали по ухабистой асфальтированной дороге до конца деревни, где речка делала крутой поворот, образовав как бы полуостров. На высоком берегу этого «полуострова» стояли несколько убогих домишек, спрятавшихся среди кустов сирени и акации. Неподалёку высилась старая церковка, купола которой и виднелись с полевой дороги.

—Да вот же, вот она, церковь, я её помню!—взволнованно воскликнула Галина Сергеевна.—Давай подъедем поближе, это точно она!

Они подъехали к церкви, старой, деревянной, без ограды—вместо ограды всё те же сирень и акация. Окна выбиты, дверей нет, над куполом, громко каркая, летают сотни ворон…

В домах, по всей видимости, никто не жил—забитые досками окна, тишина, запустение… Ни одной живой души, даже собак не видно.

—Поедем отсюда,—Игорь Васильевич взял жену под руку.—Не надо было сюда приезжать.

—Да-да,—согласилась Галина Сергеевна,—ты прав.

В голову пришли когда-то читанные стихи: «Не надо приходить на пепелище, не надо ездить в прошлое, как я…»

Они уже садились в машину, как вдруг дверь одного из домов открылась и показалась старая бабулька, одетая, несмотря на жару, в валенки и телогрейку. Она, приложив козырьком руку к глазам, всматривалась в незнакомых людей.

Галина Сергеевна вышла из машины.

—Куда ты?—попытался остановить её муж, но она уже шагала к старушке. Внучка Олечка побежала за ней, тихонько говоря: «Бабушка, это кто? Это Баба-яга, да?»

Старушка пристально смотрела на приближающуюся Галину Сергеевну и на девчушку, в глазах её Галина Сергеевна заметила недоверие и даже страх.

—Здравствуйте, бабушка.

Старуха, не отвечая, всё так же непонятно глядела на них.

—Это кто?—вдруг, кивнув на Олю, спросила она.

—Это… это Оля, внучка моя.

—А ты кто?

—Я…—начала было Галина Сергеевна, но странная старуха перебила её:

—Ты Анна?

—Анна? Почему Анна? Меня зовут Галина Сергеевна.

—А где Анна?

—Бабушка, я не знаю, про какую вы Анну спрашиваете, но я хотела у вас спросить, не знаете ли вы, здесь когда-то жила тётя Мария, у неё ещё шестеро детей было? Мы у неё в войну жили.

Старуха надолго замолчала, всё так же пристально разглядывая их.

—Это я,—наконец, сказала она.—А ты, значит, Галя, дочка Аннушки?

Галина Сергеевна только теперь поняла, про какую Анну спрашивала женщина—про её, Галинину, мать, Анну Александровну.

— Так это вы, тётя Мария? — кинулась она к женщине.
— А Анна-то где? — уклоняясь от её объятий, опять спросила старая женщина.
— Мама умерла давно, тётя Мария. В Ташкенте. Мы после войны в Ташкенте жили, я потом в Москву учиться уехала, а мама так и прожила там до самой смерти.
— Значит, умерла Анна… Не дождалась я… — тихо проговорила старушка. — Ну, вот и всё, и мне теперь жить незачем…

Галине Сергеевне вдруг стало не по себе — что она такое говорит? Что значит — жить незачем? Может, старушка не совсем здорова? Нет, как бы там ни было, она должна поговорить с ней. Мать, пока была жива, частенько вспоминала Марию, говорила, что хотела бы увидеть её, да всё как-то не складывалось поехать: из Узбекистана в Смоленск — не близкий свет. Потом началась перестройка, распад страны — какие уж тут поездки! А потом мать умерла. От аппендицита. Пятнадцать лет прожила после онкологической операции, а от аппендицита умерла. Практиканты аппендицит вырезали… — Пойдёмте в хату, — после долгого молчания сказала старушка.

4.

Муж Марии, Николай, перед самой войной был арестован и осуждён на три года за антисоветские высказывания. Что он там высказывал, Марии было неизвестно, да и Николаю, пожалуй, тоже — мало ли что он мог наболтать с пьяных глаз! А выпить он любил! Загулы случались многодневные, он иногда так долго отсутствовал, что в деревне начинали его забывать. Мария тянула дом, хозяйство, работала в колхозе и рожала, одного за другим, ребятишек. Шестеро ртов просили ежедневно хлеба, а он не всегда бывал в доме. Самому старшему, Павлику, было двенадцать лет, а младшенькая родилась в начале войны, когда отец семейства уже совершал трудовые подвиги на Беломорканале. Тесная хата, с земляным полом, с печью в пол-избы и полатями едва вмещала всех. Спали вповалку, укрывались драными дерюжками и разным тряпьём. На крюке, вбитом в потолок, висела люлька с младенцем.

В один из дождливых осенних вечеров в дверь хаты постучали. Павлушка, выглянув, увидел женщину с ребёнком на руках и державшегося за её юбку пацанёнка лет шести. «Мам, — крикнул он, — тут нищенка пришла!»

«Я тебе дам — нищенка! — сердито откликнулась мать, — богач нашёлся, — она толкла в большом чугунке картошку на ужин. — Кто там, пусть заходит».

Анна, увидев кучу чумазых ребятишек, казалось, заполнивших всё пространство, хотела повернуть назад, но силы оставили её, и она опустилась прямо на земляной пол. «Чего стоишь, — закричала мать на Павлика, — неси фуфайку, подстели под неё!» Сама, взяв девочку, положила её на тёплую лежанку, укрыла тряпьём, мальчика подсадила на печку, сунув ему горячую картофелину. Он тут же, обжигаясь и давясь, стал есть. Дети с любопытством смотрели на него, толкались и хихикали.

Так Анна с детишками оказалась у Марии. В селе давно уже были немцы, полицаи ходили по домам, выявляли колхозных активистов, коммунистов и комсомольцев.

Возле школы, превращённой в полицейский участок, соорудили виселицу, согнали народ и повесили директора школы, и он висел там целую неделю, другим в устрашение.
— Ты меня, я смотрю, не узнала? — спросила хозяйка на следующее утро Анну.
— Нет, — вглядываясь в её лицо, ответила удивлённая Анна, — мне кажется, мы никогда не встречались. А вы меня знаете? Откуда?
— Оттуда! — резко ответила Мария и вышла из хаты. Анна пошла за ней.
— Мария, я, честное слово, вас не знаю. Может, вы ошиблись?
— Ошиблась я, как же! Ты моего мужика посадила, детей без отца оставила. Ошиблась! — со злостью сказала Мария.

Анна ошеломлённо смотрела на неё.
— А… как ваша фамилия? — Она до войны работала судьёй и, конечно же, ей приходилось выносить обвинительные приговоры. Ну, надо же было попасть именно в эту семью!
— Что тебе моя фамилия! Мужика нет, отца у детей нет, вот и вся фамилия!

Анна хотела сказать, что она действовала по закону, наверно, её муж был виноват, иначе не посадили бы, но… промолчала. Она слишком хорошо знала, как бывает…
— Мы уйдём, сегодня же уйдём, — не глядя на Марию, сказала она.
— Куда? Где вас ждут? Живите, чего уж…
— Нет-нет, мы уйдём, вы и так в тесноте…
— Ну, как хотите! Уговаривать не буду.

— Мама, — в хату вбежал запыхавшийся Павлик, — полицаи по деревне ходят и с ними два немца с автоматами.
— А ну, быстро все на печь! — хозяйка шлепками загнала ребятишек на печку, приказав сидеть там тихо. — А вы чего! — гаркнула она на Анниных детей. — Особого приглашения ждёте?

Заскрипела дверь, в сенях послышались тяжёлые шаги, и в избу ввалились староста деревни и два немца, в мокрых шинелях, с автоматами. Вторые сутки, не переставая, шёл сильный дождь, перемежаемый снегом. На дворе всего лишь середина ноября, а уже снег… Старики говорят, что зима ожидается суровая.
— Слышал, у тебя гости появились? — пьяный староста, сощурившись, смотрел на Анну. — Кто такая? Документы?
— Нет документов, сгорели все при бомбёжке, — обмирая от страха, отвечала Анна. Всё, конец, думала она, сейчас хозяйка выдаст её… Дети, дети как же… одни останутся…
— Ну, раз нет документов, собирайся!
— Да сестра она моя, сродная, — вдруг сказала Мария, — из городу приехала. Дом ихний сгорел, документы тоже все сгорели… Сеструха она мне…
— А муж где? Небось, воюет, против доблестной немецкой армии? — староста икнул.

— Нигде он не воюет, сидит он! Посадили, как врага народа! — сказала Мария. Анна, стараясь не показать изумления, смотрела на неё.
— И ничего не сидит! — вдруг закричал сынишка Анны. — Мой папа командир! Он с фрицами воюет!!!
— О-те-те-те! — староста с издёвкой смотрел на женщин. — Вы кого обмануть хотели, мокрохвостки! А ну, собирайтесь, разберёмся, что вы за птицы. Обе собирайтесь! — рявкнул он.

Мария кинулась к висевшим в углу иконам, достала замызганный конверт, сунула его под нос старосте.
— Вот, читай, от мужика ейного… А ты чего молчишь, — накинулась она на Анну, — из-за твоего каторжника нам погибать?

Староста осмотрел конверт, прочитал обратный адрес, вытащил листок и стал медленно, по слогам читать: «Добрый день или вечер, дорогие жена и детки… Шлёт вам свой пламенный привет с далёкого севера ваш муж и отец…». Не дочитав, он свернул листок, положил его обратно в конверт, ухмыльнулся:
— Ну, ладно, смотрите у меня! Самогон есть? — без перехода спросил он у Марии.
— Есть, есть! — Мария достала из-под лавки большую бутыль с мутной жидкостью. — Бери, Михей Ильич, бери весь. Хорошему человеку не жалко.

Староста взял бутыль, показал немцам. Те, стоявшие как два истукана, оживились, зацокали языками: «О, шнапс, шнапс!»

5.

Таких лютых морозов, как в ту зиму, не помнили даже старики.

Семейство Марии голодало. Корову давно свели со двора немцы, была надежда на кур, но и тех переловили фрицы, осталась одна картошка, но едва ли её хватит до нового урожая. Да и будет ли он, новый урожай, придётся ли посадить огород — никто не знал. Война в разгаре. Немцам дали под Москвой от ворот поворот, народ немного ожил, появилась надежда на перелом в войне, но пока полстраны было под немцем.

В один из самых морозных дней Марию вызвали в управу.

За столом сидел Фонарёв, бывший зав. клубом из их деревни, в куцем немецком мундире, с усиками под Гитлера. Мария даже не сразу его узнала, хотя, как и все, давно знала, что он теперь большая шишка у немцев, и слухи о его жестокости вызывали у людей ужас.
— Ну-ка, расскажи мне про свою двоюродную сестру? — ухмыляясь, сказал он, — откуда она у тебя взялась? Я ведь не Михей, я вас всех здесь как облупленных знаю. Нет у тебя никакой сестры, и не было никогда. Так что давай, выкладывай, а то…ты меня знаешь!
— Да как же, Вася… Василий Кузьмич, — пролепетала Мария, — а Анька-то? Она в городе жила, ты, наверно, не помнишь, она давно уехала…
— Ты мне не финти! — отрезал он. — Значит, так. Иди сейчас домой, и пусть твоя «сестра» завтра прямо с утра идёт сюда. Разберёмся, чья она сестра. И смотри — если что, тебе несдобровать. Со всем твоим выводком расстреляю, сам лично.

Наутро, не дождавшись Анны, Фонарёв, в сопровождении двух полицейских, сам явился к Марии.

Анны и её детей не было.
— Не знаю, где она, — тупо твердила Мария на все его вопросы.

Фонарёв, рассвирепев, ударил её по лицу. Она отшатнулась. Зазвенело в голове, левый глаз сразу перестал видеть.
— Говори, а то убью!
— Не знаю я! Утром проснулись — её нет. И детишек с собой увела.
— Ищите! — приказал полицаям Фонарёв.

Полицаи облазили весь двор, заглянули в сарай, в подвал, опрокинув там бочки с квашеной капустой, сожгли сеновал — всё тщетно. Один из них полез, было, под кровать, но оттуда вдруг раздалось громкое «га-га!», и он, заорав с перепугу, вскочил на ноги. Под кроватью, как это испокон веков повелось в русских деревнях, сидели в огромных плетёных корзинах гусыни — высиживали яйца. Усидчивые мамаши неделями не поднимались с места, и лишь изредка вставали, чтобы выйти во двор и опорожнить желудок. Одна из гусынь, видно, решила, что сейчас как раз подходящий момент для этого. Она спрыгнула на пол и пошла к двери, шипя и вытягивая шею. Не дойдя до двери, гусыня извергла из себя огромную вонючую лужу зелёного цвета. Изба наполнилась зловонием, Фонарёв, зажав нос пальцами и, матерясь, выскочил на улицу, вслед за ним метнулись полицаи.

Фонарёв уехал в город. Полицаи несколько раз заявлялись к Марии, смотрели, вынюхивали, но уходили ни с чем…

Близился конец зимы. Люди шептали, что в лесу появились партизаны. В нескольких деревнях были нападения на полицейские участки, в одной убили старосту, отличающегося особой жестокостью. Немцы устраивали облавы, патрулировали дороги, люди боялись выходить из дома. На дверях управы появилось распоряжение: с наступлением темноты запрещалось находиться на улице, за неповиновение — расстрел на месте. Хватали всех, кто был хоть чем-то подозрителен. Вновь арестовали Марию, заперли её в сарае вместе со всеми детьми, кроме Павлика, — его не было дома. Немцы как-то дознались, что Анна, постоялица Марии, была до войны судьёй — видно, кто-то узнал её и донёс. Фонарёв сам допрашивал Марию, избивал её, грозился расстрелять детей. «Скажи, где она, и я отпущу тебя!» — орал он, размахивая перед носом женщины пистолетом. Мария отвечала только одно: «Не знаю!»

Павлик с наступлением темноты пробрался в хату, не зажигая огня, пошарил в шкафу, нашёл чёрствую краюху хлеба и с жадностью впился в неё зубами. «А как же они? — мелькнула мысль, — их же никто не кормил два дня…». Взяв огарок свечи и спички, он залез под кровать. Гусыня, спрятав голову под крыло, спала. Павлик осторожно отодвинул корзину, поднял охапку слежавшейся соломы, открыл находящийся под ней люк, оттуда

пахнуло холодом и сыростью. Он спустился в подвал, вырытый, видимо, ещё дедом или прадедом, неизвестно для каких целей, зажёг свечу. «Тётя Аня, вы здесь?» — шёпотом спросил он. «Здесь, здесь, — ответил слабый голос. — Это ты, Павлик? А где мама?» «Её с ребятишками забрали, они в сарае школьном сидят. Я слышал, полицаи говорили, что вас ищут, вас кто-то видел и донёс, что вы у нас прячетесь, и мамку грозятся расстрелять…». Анна охнула. Уже два месяца Мария, рискуя жизнью, прячет их в этом подвале, отрывает от своих детей последний кусок, чтобы накормить её и детишек, а теперь вот может погибнуть из-за них…

Ночью выпал снег, может быть, последний в этом году. Деревня выглядела мирно и празднично, и только виселица с раскачивающейся петлёй напоминала, что страшный сон продолжается.

Анна шла в полицейский участок. Она понимала, что это конец. Только бы детей не тронули! И тут же больно сжалось сердце — и детей не пощадят, пытками выведают у того же Павлика, где они.

— Где начальник? — спросила она полицая, сонно таращившего на неё глаза. — Буди его, скажи, что я пришла. Сама.

Фонарёв на её требование отпустить Марию громко захохотал, потом сказал, злобно ощерясь:

— Отпустим, отпустим, не сомневайся. Только твоих выб… найдём, и всех вас отпустим.

Её затолкали в тот же сарай, где была Мария с детьми и другие арестованные. Увидев её, Мария ничего не сказала, только подвинулась чуть в сторону, давая ей место. В сарае было холодно, сквозь щели залетал снег и ложился на спящих людей. Женщины, положив в середину детей и согревая их своими телами, лежали молча, думая каждая о своём и о том, что ждёт их завтра.

Ночью в село вошли партизаны; разгромив полицейский участок, они освободили пленников, в том числе и Марию с Анной.

До самого отступления немцев они прожили в партизанском отряде.

6.

Машина легко бежала по асфальту. Олечка, свесив головку набок, спала в своём кресле. Галина Сергеевна и Игорь Васильевич молчали. Галина Сергеевна вновь и вновь перебирала в уме все подробности неожиданной встречи, вспоминала лицо Марии, слышала её печальный голос: «Мне теперь незачем жить…» «Почему вы так говорите?» — спросила она Марию. «Как почему? — вопросом на вопрос ответила старая женщина, — Я столько лет ждала и надеялась, что встречусь с Анной, что когда-нибудь увижу её… А теперь — всё… Зачем же мне теперь жить? Для чего?»

«Какие же это были люди, наши родители, и вообще, то поколение, — думала Галина Сергеевна, — где, в чём они находили силы, чтобы преодолеть всё, что выпало на их долю? Откуда в них столько душевной доброты и чистоты? Нет, это просто какие-то святые были!» «Смоленские святые», — внезапно пришло ей в голову. Вот она, разгадка! Точно, смоленские святые! Смоленские, рязанские, московские… русские!..

Редкие машины, неожиданно возникнув из темноты, на мгновение ослепляли их фарами и снова исчезали во тьме. Вдали багровой полоской догорал закат.

По радио передавала концерт Людмилы Зыкиной.

Голуби

Время от времени я делаю себе подарок: покупаю журнал… что-нибудь вроде «Имена», «Биография» или «Караван историй». Люблю читать о жизни знаменитых, а то и вовсе неизвестных мне людей — трагедии, страсти, любовные перипетии. Эти журналы — не «жёлтые», очерки написаны мастерски, хорошо поданы, с большим уважением к героям.

На этот раз в качестве подарка — «Имена». Открываю наугад — рубрика «21 вопрос», где герои публикаций отвечают на поставленные вопросы. Интересно, как люди себя представляют, позиционируют. Без подсказок журналиста, без их фантазий и домыслов.

«Какое ваше самое главное достоинство? А какой недостаток?» — спрашивает журналист и получает ответ, иногда весьма забавный, иногда — сразу чувствуется — неискренний, направленный на то, чтобы приукрасить свой образ, выглядеть в глазах читателей лучше, умнее, значимей…

Отложив журнал, я вспомнила, что в одной из передач на местном телевидении ведущая тоже спросила меня: «Как вы считаете, какая самая главная черта вашего характера?» Я, на свою беду, сразу же ответила: «Доброта». На беду потому, что после этого уже несколько лет один мой хороший знакомый не упускает случая съязвить: «Надо же, добрая она, оказывается! Скажите, пожалуйста!», имея, наверное, собственное мнение на этот счёт. Хотя мы в дружеских отношениях, и он меня давно знает. Ну, ему виднее…

В окно стукнул голубь. Я махнула журналом, но он не обратил на это не малейшего внимания. Поворачивая головку то в одну сторону, то в другую, разглядывал через стекло цветы, стоящие на подоконнике, смотрел на меня, словно ждал чего-то. Я знала, чего он ждёт, но не торопилась, борясь с собой. Голубь взмахнул крыльями, затоптался, загулькал — из-под ног полетели земля и оторванные цветы настурции. Ах ты, негодник! Я открыла балконную дверь, согнала его с цветочного ящика, но он, перелетев на другой край балкона, как ни в чём не бывало, уселся на другой ящик и выжидающе смотрел на меня. Я закрыла балкон и перестала обращать на него внимание.

Голуби появились у нас на балконе этим летом. Молодая пара, судя по блестящим, глянцем отливающим перьям, стала частенько сидеть на перилах балкона. Я с умилением смотрела, как они целуются, как нежно голубок гладит своим клювом перья голубки, что-то воркует, воркует… Она отвечала ему взаимностью. Потом голубка куда-то исчезла, голубь сидел один, грустный, нахохленный. Однажды я заметила, что он, подняв с пола какой-то прутик, взлетел с ним на антресоль в торце балкона. Потом ещё раз, ещё, и я поняла, что, видимо, там они устроили гнездо. Голубка

не показывалась. Голубь куда-то улетал, почти на целый день, вечером возвращался, взлетал на антресоль, потом вновь садился на перила. «Слушай,—сказала я мужу,—наверное, у нас на антресолях голуби свили гнездо. Голубь один сидит, а голубка не показывается. А чем же она питается?» «Да он ей в клюве еду носит»,—ответил муж. Мне стало так жалко голубя, ведь он целый день где-то летает, ловит, наверное, мошек, чтобы накормить подругу. Это сколько же надо ему налетать, наловить этих мошек! Я достала из шкафа банку с пшеном и щедро насыпала его на балконе. Голубь, сначала испуганно вспорхнувший при моём появлении, присмотрелся, подождал, пока я уйду с балкона, слетел на пол и быстро-быстро застучал клювом. Через некоторое время, выглянув в окно, вижу, что от пшена не осталось и следа, а голубь опять куда-то улетел. Скорей всего, к реке полетел, воды набрать, ведь голубка, наверное, пить хочет. Я налила воды в формочку из-под пельменей, поставила на балкон. Утром формочка была пуста. С тех пор так и повелось: утром насыпаю корм, наливаю воды—вечером всё пусто. Голубь уже никуда не улетает. Изредка появляется голубка. Посидев с супругом на перилах балкона, опять надолго исчезает.

Однажды, вместо нашего голубя, я увидела какого-то чужого—крупного, взъерошенного, с тусклыми, неопрятными перьями. Он сидел, нахохлившись, закрыв глаза, и был похож на одинокого вдовца, потерявшего жену. Но тут же мне стало смешно: он напомнил мне одного поэта из Красноярска, красивого, высокого мужчину, но когда он сидит, опустив голову и согнувшись в три погибели, в профиль напоминает старого ворона или вот такого голубя…

Потом на балкон прилетело сразу несколько голубей. Они дрались, галдели, клевали «нашего». Мне это не понравилось, тем более, они не подпускали его к корму. Пришлось несколько раз погонять их, что им, конечно же, не нравилось, но всё же они куда-то улетали. Оставался только старый голубь. Он целыми днями неподвижно сидел на перилах, я даже не видела, когда он клюёт или пьёт воду, но и пшено, и вода быстро исчезали. Изредка появлялся молодой, шумно взлетал вверх, на антресоли, побыв там какое-то время, спускался на балкон и они сидели, поодаль друг от друга… Чужие голуби прилетали каждый день, но я их не кормила. Приходилось несколько раз в день выходить на балкон, и хлопать ладонями или махать какой-нибудь тряпкой. Они испуганно взлетали, но, покружившись вокруг дома, опять садились на ограждение. Наш «старичок» тоже взлетал вместе с ними, но возвращался тут же, совершенно не боясь меня.

С антресолей однажды послышался писк, и мы поняли, что там вывелись птенцы. Муж ругал меня, что я кормлю птиц, они привыкнут, и тогда от них никуда не денешься, но мне было жалко их—ну и пусть, чем они мешают! Однако вскоре я поняла, что он был прав. Ранним утром, едва только начинало светать, на балконе начиналась возня, хлопанье крыльев, гульканье и тому подобное. И хоть мы привыкли рано вставать, мне это совсем не нравилось. Уже целая стая чужих слетались на балкон. На полу появились засохшие пятна, которые они роняли, сидя на перилах. «Да это же удобрение,—смеялась сестра, когда я пожаловалась ей на это безобразие,—гуано называется, собирай и ко мне на огород привози».

Но, шутки шутками, а пятен становилось всё больше. Полдня у меня ушло на то, чтобы убрать их. Вымыла пол на балконе, полила цветы, убрала лишнее барахло—красота!

Чужие голуби несколько дней не появлялись, а наши вели себя довольно скромно, я продолжала их подкармливать. Если забывала это сделать, они напоминали о себе.

Сидим, завтракаем. Старый голубь, сидя на ящике с настурцией, выжидающе глядит в окно. Мне становится неловко—мы едим, а он голодный—отставив завтрак, иду за кормом, наливаю воды в корытце. Меня они уже не боятся—клюют, чуть ли не с рук. Пока я сыплю крупу, они нетерпеливо топчутся рядом. Того и гляди, ноги начнут клевать… С антресоли доносится громкий писк, возня. Скорей бы выросли да улетели!

Ага, улетят, как же! Захожу в спальню—и… столбенею: на верхней полке зеркала сидит старый голубь. Спокойно так, невозмутимо, даже не пошевелился. На голубом атласном покрывале темнеет уже подсохшее пятнышко, видно, давно тут обосновался. Ну, наглец, это уж слишком! Выгоняю его, но самой кажется, что он всем своим видом показывает, что недоволен.

Нет, надо что-то с ними делать. А что? Не выбросишь же маленьких голубят, которые и летать не умеют. Подожду ещё.

В конце балкона у нас кладовка, устроенная за выступом дома. Слышу, в ней шебуршат, дай, думаю, посмотрю—что там. А там—мама дорогая! Рамки к картинам, загрунтованные холсты, куски ДВП, ждущие, когда ко мне придёт вдохновение и я начну рисовать, тазики, банки и всё остальное—густо покрыты этим самым удобрением. Вдобавок ко всему тяжёлая капля шлёпается сверху, с антресолей, прямо мне на голову.

Ругаясь и чуть не плача, долго убираю всё это, закрываю дверь в кладовку, мою пол на балконе. Старый голубь не улетает, сидит, смотрит. «Кыш, гад такой»,—машу я тряпкой, а он—ноль внимания.

Ну, всё! Никакого вам больше корма, хватит! Два дня не обращаю на них внимания. Они обиженно заглядывают в окна, садятся на подоконник, стучат клювом в стекло—я непреклонна.

Однажды днём вижу—два молоденьких голубёнка сидят, совсем юные. Пробуют взлететь—не получается, падают обратно, пищат. А их ведь кормить надо, сами ещё не умеют. Бедный папаша летает туда-сюда целый день…

Тайком от мужа беру банку с зерном, выхожу на балкон. Старый голубь мигом слетает с ограждения, нетерпеливо ждёт, когда я отойду, и принимается клевать. Птенцы тоже неуклюже слетают, почти падают с ограждения, робко приближаются к корму. Старый отгоняет их, клюёт.

«Ах ты, жадина,—говорю,—тебе одному, что ли насыпала! А ну-ка не трогай их!» И, что удивительно, старый голубь заходит с другого конца кучки, не обижая больше голубят. Они неумело клюют, стучат крохотными носиками. Голубка сидит на перилах, не вмешивается—мудрая мамаша.

Вообще, за голубями интересно наблюдать—у них существуют свои законы, своя иерархия, свои сложные взаимоотношения: любовь, ревность, ссоры—всё, как у людей. Да… Всё, как у людей, это уж точно. А что до их беспардонности и наглости—так и среди людей частенько встречаются такие же «голуби»: ты для них стараешься, выворачиваешься наизнанку, помогаешь, а они—раз!—и капнут этим самым гуано тебе на голову. А иногда и в душу.

«Какая самая лучшая черта вашего характера?»—читаю в журнале. «Я трудоголик»,—отвечает знаменитость.—«А самый большой недостаток?»—«Я—трудоголик!».

Меня тоже ведущая тогда, в телепередаче, спросила, что мне больше всего не нравится в моём характере. Я ответила.

Что ответила? А догадайтесь с трёх раз.

Алла Ходос

Воздушный слой[1]

Два стихотворения

1. Если направо пойдёшь—не дойдёшь.
Если налево—умрёшь, но не сразу.
Прямо посмотришь—в ноябрьскую дрожь
Войско восстанет, покорное глазу.

Газа глотнёт, чтобы брать города.
Тихо пройдёт, подчиняясь приказу.
Двинется вспять и потом, как вода,
Вширь потечёт, повинуясь экстазу.

Станешь тогда: ни туда, ни сюда,
В очи пихая свинцовые тучи.
Точка рождения—это беда, милые, да.
И бессмысленный случай.

2. Только зачем она так хороша,
Точка рождения в море простора?
Даже из шушенского шалаша—
Скажешь: «Шалишь, не видал ни шиша!—
Тоже смотрел очарованным взором.

Взор помутнел. Набегает слеза.
Душит надежда под звуки парада.
То просвистит, то поляжет лоза,
Вся зелена и полна винограда.

Сон в интернате

Стылый декабрь стоит под окном.
Оцепенели деревья.
Первым очнулся учительский дом,
Только потом—деревня.
Только потом заскрипели шаги
И заскользили салазки.

В тёмном окошке у Бабы Яги
Кончились страшные сказки.
Только мычит слабоумная мать
В душном угаре избёнки,
И на мороз переносят кровать
Две неумерших сестрёнки.

Андрюше Цветкову

Свежая травка взошла поутру.
Рыжий котёнок пошёл по двору.
Словно большой переполненный чан,
Двор выдыхает молочный туман.
Из деревянных и каменных пор
Ветер выходит и сыплется сор.
Лютик растёт. Одуванчик растёт.
Рыжий котёнок всё время идёт.
Видит: букашки ползут из земли.
Видит: летят золотые шмели.
Видит: по липам тихоноко течёт
Сладкий, как мышка, липовый мёд.
Рыжий котёнок вздохнул глубоко:
Ах, до чего хорошо и легко!
Над горизонтом, кругла и тепла,
Добрая рыжая мама взошла.

Мы долго жили в гараже,
Но это кончилось уже.
Мы прятались на свалке,
А грелись в раздевалке.
Порой нам снилось, что сидим
В неосвещённом зале,
Но спали мы в подвале.

Наутро кончился погром—
Куриным пухом и пером,
И лёгким паром над двором,
Весенним сладким паром.
И значит, всё недаром.
И хорошо на чердаке
При пауке и ветерке
Послушать пенье птичье.
И в этом есть величье.

1. Алла Ходос. Воздушный слой.—Сан-Леандро (США), 2010 г.

Нина Шалыгина

Путёвка в бархатный сезон

Лето подходило к тому рубежу, который на курортах называют бархатным сезоном. Лиза на пути в Трускавец остановилась на день-два в Москве. Долг велел проведать больную тётю. Так, по крайней мере, она объяснила дома свою остановку.

Но про себя тысячу раз с бьющимся сердцем произносила:

— Вовчик, Володечка, Владичек,— и добавляла,— на этот раз буду отдыхать без тебя. Так хочу хоть одним глазком тебя увидеть! Ну что ж! Не всё коту масленица!

Обычно они созванивались заранее. Она буквально сразу же по возвращении с курорта начинала бить во все колокола, со всеми переговаривала. Доставала всякие справки и справочки и три раза подряд отдыхала в Карпатах именно в бархатный сезон со своим Володечкой.

Он работал в министерстве, сидел, как обычно говорят, как раз на распределении путёвок, да ещё наезжал в подопечные города в составе всяких комиссий с проверкой работы профсоюзных органов. У него самого никаких затруднений с путёвками не было и быть не могло. А когда у Лизы пробуксовывало с их приобретением, он звонил председателю постройкома.

И на этот бархатный у Лизы всё было схвачено. Но полугодовая профсоюзная конференция переизбрала ни с того, ни с сего руководителя профсоюза и перекорёжила её планы: после собрания она совсем сникла и поняла, что не видать ей в этом году путёвки, как своих ушей без зеркала.

Позвонила Володе, но он сказал, что теперь ему надо налаживать новые мосты. Что он очень сожалеет. А ещё добавил своё привычное, оставшееся у него ещё от службы на флоте выражение:

— Лисёнок! Перестань! Не трещи ложками! Поедем вместе в следующем году! Как там фамилия нового предпостройкома? Леконцев? Ну, ничего— достучусь и до его оконца!

Он был человеком очень лёгким, неунывающим, и почти всё со всем рифмовал

И всё же Лиза получила свою вожделенную путёвку. Должен был ехать по ней газосварщик Мешков, но у него пошли камни из почек, его резали и зарезали. Путёвка горела синим пламенем. Избранный вне устава и не имеющий опыта Леконцев обзвонил все подразделения. Но тот, кто мог ехать, уже использовал отпуск, а кто хотел—не имел денег, а иных не отпускали мужья-жёны из ревности или из вредности.

Тогда появилась перед новым председателем она—Лиза Попова. У того даже лоб взмок:

— Ну вот, опять Попова. Скажут, что по блату. Режешь меня без ножа!

— Василий Игнатьевич! Так со мной всегда получалось. Совсем зря Николая Аверьяновича сняли. Просто я такая везучая.

— Ты что? Считаешь, смерть Мешкова—везение?! Уходи с глаз долой!

Едва она дошла до своего кабинета, раздался телефонный звонок:

— Елизавета Андреевна! Идите, оформляйте путёвку. Она—горящая,—торопилась бухгалтер постройкома.—Пропадёт путёвка, мне в первую очередь голову снесут. Бесплатная, да ещё на дорогу дадим.

Сборы были похожи на ураган. В вагоне она мысленно представляла себе, как обрадует своего Вальдемара и удивит одновременно. А он, конечно, скажет:

— Не трещи ложками! Ну, даёшь! А говорила, нет путёвки! И у нас тут есть путёвка. Она, правда, с другого месяца, но ты же знаешь, для меня—это не проблема.

И вот Лиза в Москве. Тётка была в одной поре. Как мама говорила: «Сто лет болеет и ни разу не помрёт». До Володечки она в первый день так и не дозвонилась. В девять следующего дня рассчитывала услышать в трубке его рокочущий бархатный баритон. Но до самого отправления поезда телефон молчал.

В санатории Лизу пожурили, что приехала без предупреждения. Но через два дня освободили её одноместный номер. Смешно звучит «её номер»! Надо же! Но вот уже четвёртый год подряд она будет отдыхать в нём. Дни тянулись, как резиновые. Она никуда не ходила, только загорала на лужайке.

На мужские заигрывания не отвечала. Подружилась с пожилой парой из Ленинграда и играла с ними в большой теннис. На корте быстро загорела, прошла её обычная северная синюшность. Стройная, почти юная, в чём-то летящем, почти не касающемся её дивных смугловатых ног, с шапкой белокурых кудрей, в сандалиях с ремешками, застёгивающимися под коленями, она казалась Дианой—богиней охоты.

Она вспоминала, как завистливо глядели в прошлые сезоны женщины на неё и её спутника—могучего, сероглазого, с длинными, по той моде, русыми вьющимися волосами. Ей самой он казался Геркулесом:

— Красив, чёрт его возьми!—не раз восхищалась Лиза, пробегая рядом с ним спуск к источнику.

Женщины обычно оглядывались на них. Гордость, что с ней рядом такой мужчина, не раз

охватывала её так, что во рту становилось сладко, как от конфетки.— Если бы эти дуры знали, какой пост занимает мой Вовчик в министерстве,— мстительно думала она и представляла себе, что вечером на танцах опять привлекла бы взоры всех мужчин. А женщины, одиноко стоящие вдоль стен зала, стали бы вожделенно глядеть на её мужчину.

Но, увы! Теперь она одна спускается к источнику и возвращается тоже одна. На танцы не ходит. И куча модного тряпья, что привезла с собой в двух пухлых чемоданах, так и не извлечены на свет божий. Пыталась дозвониться до министерства, но ничего не получалось. Связь в санатории всегда работала плохо. Но никто и не пытался её починить. Она поняла, что её Вовчик где-то в дальних разъездах.

И снова тянулись бесцветные дни. На танцверанду можно было бы сходить, но Лиза знала, как каждый сезон стреляет за её Володей санаторная массовичка Алеся, и в случае его приезда всегда напоёт ему всякое. На экскурсии тоже не стала записываться. Всюду она побывала раньше и не с толпой зевак, как говорил Володечка. Обычно им двоим для поездок выделяли машину.

И теперь пригласили Лизу на шашлыки. Пикник состоялся у огромного цветущего верескового поля. Внизу под горой бил родник. Облагороженное место для костра, ухоженные дорожки… Всё было чудесно. Не было только его. Она внезапно разрыдалась, бросилась к роднику смыть слёзы и косметику. А потом долго сидела одна у сруба родника, рисуя новыми красками себе лицо. Никто к ней не подходил. Все понимали её состояние.

Прошло десять дней. Почти половина сезона. Возымело действие ходатайство о продлении срока путёвки. Она была этому даже не рада. От скуки и чувства неловкости ей хотелось домой к дочери, к родителям. В глазах женщин, которые гордо вышагивали рядом со своими временными кавалерами, она читала насмешку:

— Что? Никто не находится? Никто на тебя не клюёт?

Одиннадцатый день отдыха с утра был необычайно ярким. Словно отмытые крупным песком от потёков недавнего дождя Карпаты сияли свежей изумрудной зеленью. Остроконечные копны сена были похожи на гуцульские шапки, аккуратно расставленные на бархате отавы. Солнце выбралось на небо умытым, грело, но не обжигало. Настроение Лизы резко поползло вверх. Она, играючи своей сумочкой, быстрым шагом стала спускаться по склону. И вдруг… Вдруг двумя пролётами ниже увидела знакомую и любимую фигуру. «Володя!»— мелькнуло в голове. Но в следующий миг она увидела блондинку, примерно своих лет, повисшую на его могучей руке.

Они шли, прижавшись друг к другу, и, казалось, не замечали никого. Лиза ускорила шаг и некоторое время шла почти вплотную к этой внезапной паре. До неё долетали обрывки их разговора. Характерные Володины шуточки типа «не трещи ложками». Потом анекдот о мужике на музыкальную тему.

— Всё, как у нас!— с ужасом поняла она. И в следующую минуту мелькнуло, что женщину, которую вёл Володя, она с первого же дня видела в столовой и на процедурах. При ней тогда был молодой спортсмен, который всегда носил с собой ракетки для малого тенниса. Первым порывом Лизы стало желание немедленно уехать домой. Но ноги по привычке несли её вперёд. Володя повёл незнакомку как раз в тот угол, где обычно бывал с ней, с Лизой.

И тут она решилась: быстрым шагом подошла к крану, наполнила поильник и резко повернулась лицом к новоявленной паре.

— Лиза! Это Вы?— услышала ставший ей в один миг ненавистным голос,— когда Вы приехали?

— А ты когда приехал?— «назло врагам» панибратски произнесла Лиза.

— Я— четыре дня назад.

Больше говорить было не о чем. Зная, что он поведёт свою спутницу по тому же привычному для них маршруту, Лиза вышла через боковой вход и пошла мимо санатория «Кристалл». Погода внезапно испортилась, набежали тучки, сквозь солнце блестящими струями полил «цыганский дождь». Его потоки смешивались со слезами на Лизином лице. На завтрак она не пошла. Закрылась в палате и вдоволь наревелась. Перед обедом Володя постучал в дверь. Сперва робко, потом всё настойчивей:

— Лисёнок! Открой! Выслушай меня! Открой!

Любопытство, что же он скажет, взяло перевес над обидой.

— Ну, во-первых, здрасьте! Как это ты тут появилась?! Звонила же, что не получается с путёвкой! А ты что, на меня обиделась? Так это я так, от нечего делать с Кларой хожу. Ну, обстоятельства! Лисёнок! Ты не будешь против, если мы никуда не будем вместе ходить?

— Как это, никуда?

— Ну, на «нафтусю», в столовую, на теннисный корт.

— На танцы-шманцы, в солярий, на базар…— в тон ему продолжила Елизавета, и в её голосе появились угрожающие ноты.— Вместе только на кровать?! Да?

— Понимаешь, Клара работает с моей женой в одном отделе. Не можем же мы такой ерундой испортить всю оставшуюся жизнь!

— Испортить? А что было в первое лето? Помнишь? Давай, вспоминай! Приехали, значит, мы в Москву, и что ты мне сказал? Ага! Вспоминаешь? А сказал ты буквально вот что: «Пойдём прямо ко мне и скажем моей мымре, что любим друг друга. Поселимся пока что на даче, она у меня со всеми удобствами. А потом с квартирой похлопочу. Бульку я с собой заберу. Как раз повод, чтобы мне от своей мымрочки рвануть. Зачем жить и мучиться? Детей нет, любви нет, уважения нет». А сейчас всё это появилось?

— Но ты тогда сама не согласилась. Сказала, что тебе от твоего бугая будет трудно отвязаться. Что он дачу найдёт и всех, как куропаток, перестреляет. Да и дочь твоя слишком отца любит.

— Знаешь что? Слышать ничего не хочу. Я веду себя на курорте без тебя, как самая честная женщина,

десять дней бархатного сезона прошло, сколько мужиков вешалось! И вдруг появляешься ты с этой облезлой кошкой и мне предлагаешь встречаться только под одеялом? Вали отсюда! Понял! И чтобы ноги твоей больше здесь не было!

Когда за ним захлопнулась дверь, она разрыдалась. Рыдания были злобными, а значит, краткосрочными. Быстренько умылась, подновила макияж, надела свой самый соблазнительный уличный наряд, лёгким шагом отправилась одна вкушать эту самую противную нафтусю. По ступенькам летела так, что сама не заметила, как оказалась в бювете. Ей представлялось, все глядят на неё насмешливо, что она — одна. Быть одной на курорте считалось, с её точки зрения, просто неприличным. Всё проходило, как во сне. Машинально пошла на базар, автоматически накупила гору фруктов. Никого не видела, никого не слышала. И только когда отяжелевшая сумка напомнила своим весом, что её надо нести вверх на гору, Лиза стряхнула с себя печаль:

— Хватит! Разнюнилась! А ну посмотрим, как я выгляжу со стороны?

Расправила плечи, мотнула тугими кудрями и раскованной походкой пумы, не спеша, стала подниматься по ступенькам. Что на курортном языке означало: «А ну-ка, мальчики! Налетай! Я — свободна!»

И налетели. Сразу трое. Втроём несли один торт. Предложили на время поменяться. Пусть она, мол, несёт их торт, а они её, такую тяжёлую для её кукольной фигурки, сумку. Так и сказали — кукольной! А ещё предложили после ужина пойти с их компанией на танцы, а после — в их комнате оприходовать с ними и с Наташей с Ириной торт «Карпаты», который лежал в той коробке. А к нему — армянский коньяк «три звёздочки». Не одну бутылку.

На танцах она была, как в бреду. Подходил Володя её приглашать, но её новые знакомые его оттеснили. И они вшестером в этот танцевальный вечер не расставались ни на минуту. Первыми образовывали танцевальный круг, играли с массовиком-затейником во все игры. Краем глаза Лиза видела стоящего со своей Кларой у стены Володю и радовалась его унижению. Как будто не его она любила все прошедшие четыре года.

Женя и Ирина, Сергей и Наташа, она и Геннадий. Вот что хотелось ей считать главнейшим в этот вечер. Гену она не выбирала, он сам её выбрал. Как оказалось, Женя и Сергей своих партнёрш нашли уже давно, что на курортном календаре означало «почти со дня приезда».

Лизе с Геннадием было легко. Он прекрасно танцевал, был остроумнее двух других. Все трое оказались, как и она, строителями. Три начальника строительных участков в далёком жарком городе Навои. Потом под веселье дружно съели торт с коньяком. Танцевали уже в палате. Мужчины разговаривали почти всё время с ней, отчего две других девушки дули губки, пытаясь свернуть разговор со строительной темы.

После отбоя им настойчиво постучали. Надо было расходиться. И тогда Женя без обиняков сказал ей напрямую:

— Тебе придётся взять с собой Гену, потому что обе наши палаты на сегодняшнюю ночь заняты. Вы образуете третью пару. Ты, как говорила, живёшь в одноместном номере. Это — шикарно. Так что — по домам!

Оборот получился неожиданным, но властным. Такого она не ожидала. Но Женя уже взял её за плечи и буквально выдворил из комнаты. Ключ в замке повернули, и они с Геной остались в коридоре. Он казался смущённым не менее Лизы:
— Образуем, так образуем! Ну не съем я тебя! Пошли!

В комнате, включив бра, она стащила тощий матрасик на пол, поделила пополам постельное бельё — ему простынь, себе пододеяльник. Ночного сна не получилось — они проговорили почти до утра. Оказалось, было о чём. В детстве он и она жили на одной улице, занимались в драмкружке, даже однажды играли в одном спектакле.

Под звуки журчащего голоса её внезапного ночевальщика Лиза уснула. А проснулась от громкого стука в дверь. Геннадий, гладко выбритый, свежий и улыбчивый остановился в проёме с укоризной:

— Ну вот, Лисёнок, пора идти проведать даму нафтусю, а ты ещё спишь!

Её удивило имя «Лисёнок», с каким он обратился к ней. Резануло по сердцу! — Володя! Володечек! Ты также называл меня! И тут же сама себе, не вслух: «Никакого Володи не было, и нет! Всё!».

Три следующих дня пролетели, как единый миг. Геннадий, как и обещал, её не съел. Володю она не видела ни разу. На четвёртый день мужская троица объявила, что уезжает. Лиза почувствовала разочарование и обиду за их прямое сокрытие срока отъезда. Такое всегда считалось великим курортным грехом.

Она с ужасом представила себе, как, увидев её одну, возрадуется Владимир. Её снова предали. Двойное предательство?! Этого она не могла пережить.

На вокзале и в вагоне снова был коньяк, конфеты, фрукты. Женя вёл себя с Лизой бестактно. Он был уверен в её близости с Геннадием и представить себе не мог, что его товарищ почти за четверо суток не «оприходовал» такую женщину. Теперь он вёл себя с ней нагло, даже пытался под вагонным столиком потереться ногами об её ноги. Лиза была взбешена.

Когда отходил поезд, Ира и Наташа даже всплакнули. Лиза всё ещё от хамства Евгения была вне себя. И когда поезд укатил далеко, вздохнула с облегчением. Но что теперь делать одной? Обычной курортной компании, которая каждый раз образовывалась вокруг неё и Владимира, теперь не было. Спутницы навоинских строителей казались ей недалёкими и неинтересными, и она не согласилась пойти с ними вечером в «Колыбу».

Но последовавшее за этим событие заставило её поменять решение. Когда выходила из столовой, кто-то сзади дотронулся до её плеча. Это была Клара:

— Нам надо поговорить! Ты не думай, что у нас с Владимиром Николаевичем курортный романчик.

Мы работаем вместе и более семи лет встречаемся. Я ничего не имею против того, чтобы ты иногда с Володей тут танцевала. Но не вздумай переступать эту черту. На чужой каравай рот не разевай! Поняла, серая мышка! Провинциалочка задрипанная! Так Владимир Николаевич о тебе говорит.

Она брезгливо острым наманикюренным коготком провела по Лизиной кофточке и так же внезапно исчезла, как и появилась. Лиза не помнила сама, как оказалась в своей палате. Бешенство охватило её. Она не плакала—она плела сети мести.

Прежде всего, с пылающим лицом поднялась к Ирине и сказала, что пойдёт в «Колыбу». Так назывался лесной ресторанчик, в котором она много раз бывала счастлива, уплывая в страну грёз в танце в объятиях своего Вальдемара. Там играл цыган на волшебной скрипке, и она часто солировала для своего милого под ресторанный оркестрик.

Ах, как всё было чудесно! Но теперь это в прошлом. Всё, всё! Она не будет травить себе душу воспоминаниями. Не было в её жизни Володи! Понятно? Не было! Вечером за ней зашли Ира и Ната—соломенные вдовы с четвёртого этажа. Каждая с новым спутником. В «Колыбе» играла всё та же скрипка, но теперь она показалась Лизе беспородной. Шипели на мангале шашлыки. В полутьме обжимались по углам подгулявшие пары. Только ей было всё так же тоскливо. Тот, что пришёл с Ириной, почти что безусый Миша, как бы для вежливости, пригласил её на танец,

Она хотела отказаться, Но в этот миг увидела в дверях Володю с пресловутой Кларой. Комок досады подкатил к горлу. Она вся вытянулась в струнку и пошла за кавалером в круг. На неё нашло безрассудство. Она спела с оркестром почти весь свой репертуар. Как будто бес вселился в её душу, а весь какой-нибудь музыкальный театр—в её горло. Когда выдохнула одним махом «как же случилось, не знаю. С милым гнезда не свила я. Одна я!», в дверях заприметила Володину спину. Вернулась за стол. Её просили ещё спеть, но она упала на свои руки и разрыдалась.

Миша вдруг шепнул:

— Ну, их всех к чёрту! Пошли отсюда. Ты, в каком санатории отдыхаешь? Я провожу.

Лиза очень удивилась, как это Миша обратился к ней внезапно на «ты». Да ещё оставляет ту, с кем пришёл. Но ей было всё равно. Жизнь кончилась. Она стояла на краю пропасти. И юноша с огромными серыми глазами и смоляными кудрями подавал ей руку спасения.

И завертелся пошлый курортный романчик. С Володей она изменяла опостылевшему мужу, а с Мишей—любовнику, любимому до дрожи, до обморока, человеку, который сам отверг её. Лиза думала, что мстит Владимиру, а оказалось, она мстила себе, но потеряла сама себя в романе с юношей, который влюбился в неё без памяти. Каждое утро, расставаясь с ним, она презирала себя.

Но днём чувство мести по отношению к Володе вытесняло презрение. И новая ночь была повторением предыдущей. Ей казалось, что от прошлого оставалось только одно: она постоянно оценивала юношу в сравнении с окончательно потерянным для неё Володей. Несмотря на крайнюю и даже неприличную молодость, он однажды спросил:

— Лисёнок! Ты где? Вернись!

Она не вернулась. А при очередном предложении Михаила о свидании сказала, что сегодня хочет побыть одна:

— Унеси свой маг! Дай мне тишины и сна!

После ужина прилегла отдохнуть и почти сразу же услышала еле слышный стук в дверь. Потом звук стал явственнее. Прозвучали слова Володи:

— Сдаюсь! Больше не могу! Можно нам войти?

— Сначала вошли, потом спрашиваете?!—с явной издёвкой в голосе сказала Лиза,—Ну и с чем таким срочным пожаловали?

— Лизок, не сердись. Эта Клара давно преследует меня. Буквально прохода не даёт.

— Ах, бедняга! Беззащитный ты мой! Что твоя «Клара у Карла украла кораллы, а Карл у Клары слямзил кларнет?» Улетела твоя Клара, так хочешь ко мне пристроится?

— Лисёнок! Ну что ты сердишься? И зачем тебе этот желторотик? Ты же себя компрометируешь! Вся наша всегдашняя компания ждёт нас сегодня на пикник у верескового поля. О тебе же судачить будут.

— А о Вас, нет? Давай, мотай отсюда. А я—задрипанная привинциалочка, Вам, москвичу патентованному,—не пара. Я уж как-нибудь так, с желторотиком, этих семь дней доотдыхаю.

После ухода Владимира она вдруг заторопилась домой. Всё казалось гадким. Ей хотелось выплакаться перед кем-нибудь. Отмыться от грязи, в которую сунула сама себя. Она поняла, что попала в тот клинч жизни, за которым не может остаться прежним ничто. Домой, домой! А здесь Лиза просто не могла при каждой встрече глядеть в глаза милому мальчику Михаилу, который спрашивал одно и то же:

— Чем я перед тобой провинился? Ну, скажи! Скажи, пожалуйста! Почему ты уезжаешь?

В вагон поезда «Трускавец-Москва» провожать её ввалилась целая толпа—они с Мишей заимели свою свиту. Поезд, как обычно, на путях стоял долго. Неестественно весёлая Лиза пела для провожающих. Коньяк лился рекой, был съеден не один брикет мороженого. Миша выглядел подавленным и растерянным. У маленького как будто отобрали самую любимую игрушку…

А когда вагон медленно поплыл вдоль перрона, Лиза увидела Владимира, который бежал за вагоном и что-то кричал.

Бархатный сезон кончился.

Наталья Попова

Рука из облаков

Предчувствие

Летнему саду

Под сводами аллеи в жёлтых клёнах,
у грани сумасшествия и чуда,
сквозит эфир, опасно оголённый,
разгаданный и пойманный лишь Буддой,
Христом и вознесёнными святыми.
Они к нему приблизились вплотную.
А я всё силюсь вспомнить Его имя—
ответ ищу беспомощно, вслепую.
Вокруг босые женщины из камня
из амфор поливают этим духом
весь сад. И нить нащупывает память,
шептание улавливает ухо.
И запах обещает слишком много,
а мысли натыкаются на вечность,
скамья, в тени упрятанная Богом,
готовит мне обещанную встречу.

Ладонь в ладонь с Апрелем топать
по мокрым улицам весны.
Вдыхая запахи и шёпот,
угадывая чьи-то сны,
что бисером просыпал город,
а ветер в закоулки смёл.
Чтоб счастье каплями за ворот,
чтоб только он с тобой брёл—
Апрель… Твой верный спутник. Туго
дыханья ваши сплетены.
Ты ввек не сыщешь лучше друга
у хрупкой юности весны.
Ведь только он, худой, раскосый,
простил естественность ресниц,
твои остриженные косы
и профиль твой в полёте птиц.
Он примет всё, он всё полюбит,
раскурит нежный фимиам.
И редкие навстречу люди
не потревожат ваш Сиам.

Минута молчания

Отголоски конца блокады
В небе пасмурном января.
На обочине Ленинграда
Вот с минуту не говорят…

Одинокие свечи в окнах
И печальные капли с крыш.
Под растаявшим снегом мокнет
Долгожданная эта тишь…

Рука из облаков

Рука сложила пальцы в горсть
и сыплет солью отношений.
Так далеко безликий гость,
а мы в фарфоровой мишени
играем роли разных блюд:
мы по зубам Тому, кто свыше.
Обедню ангелы поют,
Он внемлет им, а мы не слышим.
И солью пропитавши ум,
не уяснив всей сути, глупо,
как тот индюк, горды от дум,
лежим на дне в тарелке с супом.

Мёд поэзии

Сердце бросить, аспирином
растворить в стакане. Льдом
разума наполовину
остудить душевный ром.
На хрустальный обруч долькой
тайны опустить вуаль.
И за старой барной стойкой
пить поэзии печаль.

Реке из детства

«Здравствуй, город вверх ногами,
здравствуй, небо вместо дна!
Что-то было между нами,
потому сейчас одна
я сижу, оставшись дома,
и пишу письмо туда,
где уже не мне знакомых
уток ждёт твоя вода.
Где, уже не мне даруя,
солнце щедро золотит
рябь зеркально-голубую.
Тёплая поверхность плит—
не моим стопам почтенье.
Там не мой природный рай.
Вековечное теченье,
здравствуй! Здравствуй и прощай!
Берег спит в сосновых лапах,
ты по-прежнему Сибирь.
Ну а я… А я на Запад—
новый мир, иная ширь».
Предумышленное бегство,
год две тысячи восьмой,
в жидком зеркале из детства
отражается письмо.

Наталья Никулина

Футляр для крыльев

Не отражайся в окнах моего вагона,
потому что мне не видно, куда я еду.
Не отражайся в витринах моего города,
потому что я не могу
сделать свой выбор.
Не отражайся в моих зеркалах,
потому что я не вижу своих сумасшедших
от любви глаз.
Не отражайся в стёклах моего окна,
потому что я должна видеть
как играет во дворе
мой ребёнок.

про человеческу—
ю любовь невоз—
можно рассказать:
порнография
и сонеты петрарки
и любовь между ними
мечется
к огню тянется
от огня от-дёргивается,
бежит, бежит, взлетает, летит, летит, падает,
и сгорает, сгорает…
про чело-веч-ескую любовь
не-в-оз-можно…
про Божественную можно
хотя бы проплакать.

Когда я была ещё травой,
смерть приходила за мной с косой;
с тех пор так и повелось:
боюсь косарей,
косильщиков газонов,
космических пришельцев,
косы не ношу,
косынок не покупаю,
косых взглядов не выношу,
постепенно развилась
перманентная аллергия
на косоворотки, косухи,
косность, косноязычие, космополитов,
косолапые умиляют—
медведей люблю.
Но хочу ещё раз заметить:
коса не грабли—
дважды
на неё не наступишь.

Когда в старых коробках
по чердачным лестницам
приносят детские воспоминания,
чтобы украсить ими ёлку,
а по винтовым лестницам,
заглаживая прошлые ошибки,
уносят вину
и вносят вино—
в тот же самый миг
по чёрным лестницам,
осторожно,
только бы не оступиться—
рядом бездна,
в серебряных ведёрках
выносят осколки
новогодних поздравлений
и выбрасывают их в синий рассвет.
До следующей встречи!
До следующего Нового года!

Падает дождь на траву,
как подкошенный;
травы на землю ложатся
толстыми косами;
валится ветер на окна
и рамами грохает,
а под набрякшими веками-листьями
больно пульсируют
красные шарики
отяжелевших
рябиновых кистей.

Осень моя—листьев ладони
Пробуют воздух на прочность
И землю на милость.
Яркое время стоит наготове
в прозрачном сифоне.
Вот-вот нальют из него
лишь бы не сбилась
со счёта и ритма
птица в полёте
от крови
внезапно прихлынувшей
к горлу и крыльям.

Футляр для крыльев, или Внутренняя сторона света

что-то неймётся мне, неможется,
что-то ищется
не найдётся никак что-то;
везде искала — не нашла,
к себе оборотилась —
в глубь пошла:

бусины белые,
бусины красные
из-под шкуры просыпались
жемчуга скатились,
кораллы растеклись
из-под первой шкуры, красной, всюду,
всюду красно —
страшно;

из-под второй шкуры, оранжевой,
пёрышки яркие фазаньи, павлиньи
пёстрые, полосатые, переливчатые
взмыли к небу,
облака щекочут,
из-под шкуры разлетелись,
рассыпались по свету, по люду, по снегу —
холодно;

из-под третьей, жёлто-горячей — слова
вспыхнули, запульсировали неоново
фразами, лозунгами, междометиями,
песенками колыбельными,
сонетами петрарки,
ковром-самолётом легли взволнованно,
рванулись куда-то, унеслись —
неясно;

четвёртая, зелёная, рухнула
бронёй тяжёлой,
рюкзаком необъятным, волной морской,
земной бороздой бесконечной
а там: семена травяные, косточки плодовые,
персиковые, оливковые,
икорка рыбья, лягушечья зреет,
зародыши детские, звериные, скотские,
глазки картофельные, почки всякие, усы
земляничные —
вожделенно;

пятую, голубую, никак, ну никак не
содрать —
— не поддаётся —
пришлось выворачивать наизнанку,
чулком телячьим стягивать.
стянула — а там ты, любовь моя,
небесами дарованная,
спишь-потягиваешься,
мягко светишься чем-то изнутри, греешь
меня
нежно;

шестая, синяя-синяя, сама треснула,
ахнула, раскололась,
на две половинки распалась —
вот он — мир наш бренный, космос вечный,
шум-гам, тишина звенящая,
полнота-пустота, срамота-красота —
застыдишься — залюбуешься —
интересно;

а седьмую, золотую, не снимала —
так, приоткрыла немного
пыль или пепел там —
не поняла,
два крыла лежат,
вроде ангельских
и более никого;
что искала — нашла.

Верну ли?

Александра Вайс

На первом сквозняке

М. Г.

Чёрной птицей на ветке поручня повисаю,
по ночам взрываю пространство чужого города.
Задыхаюсь тобой, до тебя, без тебя, сдыхаю,
только мелочь в карманах, да ветер гремит за воротом.

…а с утра, возомнив себя белым лебедем,
разбиваюсь.

Стихи

Я знаю, какими должны быть мои стихи,
чтобы они нравились маме:
такие не стыдно слушать,
но очень стыдно читать.

Я знаю, какими должны быть мои стихи,
чтобы они нравились моим друзьям:
их нужно кричать, наливаясь жёлчью.

Я знаю, какими должны быть мои стихи,
чтобы иметь девочек-фанаток:
такие нужно публиковать в тоненьких книжках
или попросту писать на листочках.

Я знаю, какими должны быть мои стихи,
чтобы заслужить твою похвалу—
я пишу такие стихи.

Я знаю, какими *должны* быть мои стихи,
но я не смогу их написать.

* * *

пережила и эту зиму
переживала всё смогу ли
развоплощалась на витрине
в попытке усидеть на стуле
на тонких несуразных ножках
проходит жизнь проходит глупо
а к супу не подали ложку
а к супу не подали супа
и очень рано появилась
любовь к неперемене пар
а ты всю зиму грелась в people's
а мне нельзя ни гриль ни бар
и будет общая тетрадь
в расчётах будут дом пелёнки
и если было в кайф писать
то больший кайф носить ребёнка
а третьему легко метаться
срываться грызть краюхи крыш
ему—его. мне—оставаться.
тебе—отправиться в париж.

Бодрое

Я постирала твои носки—
Повод опять прийти
Если замучился от тоски,
И одному претит.
Все будут знать и ругаться либо
Лишь за глаза судить,
Но если поймала такую рыбу,
Надо уху варить.
Разнообразны рецепты варки:
Ленточки теребя,
Будешь играть—приносить подарки,
Но не дарить себя.
Я возмещу тебе все расходы телом или душой.
Только, пожалуйста, не целуйся с этой…
с другой.

Пьеска

Расколото небо—сюжет не нов.
И ложь до того, что уже противно.
Вот только финал не совсем готов,
А значит, и критика не конструктивна.

Но очень правильно осудить,
А, главное, просто—ничто не гложет.
Как будто можно уметь любить.
И не любить будто можно тоже.

Вино допито? Стакан не бить!
И пусть привычно себе лукавить,
Но как он сможет её забыть?
Ну как он сможет её оставить!

* * *

Ночь, не породившая чудо,
Не продлится вечно. Зачем?
Мы с тобой пришли ниоткуда
Мы и остаёмся ни с чем.
Будет на кого помолиться—
Мы же не в молельных рядах.
Нам с тобой—пустые страницы,
Нам—пустое небо в глазах.
Небо никого не обманет—
Будет навсегда молодым.
Не считая годы и грани,
Не жалея слёз и воды,
Будем каждый день до обеда
Строить наш, не Ноев, ковчег.
Жаль, что не вернёмся с победой.
Жаль, что не вернёмся вообще.

А мне уже не хочется бежать
И проговариваться под наркозом дури:
В оправе на кольце брильянт зажат,
И платьишки всё чаще по фигуре.
А мне уже не хочется идти
Туда, откуда возвратиться стыдно,
Надеяться, что оправдает стих,
И выглядеть смешно, но колоритно.
Гореть согласна, но — не прогорать.
И, кстати, я тебя давно простила.
И мне совсем не надо умирать:
Я только-то вчера переродилась.

Город закрыл на меня глаза —
Будто бы крысу не стал морить…
Тянет теперь и зовёт назад —
Слёзы в глазах у него мои.
Было — забыли. Теперь — вперёд.
Дальше — не ада, но тоже — круг,
А он по привычке любимым врёт,
Ищет других дорогих подруг.
Видела разные города —
Толку-то, если за каждым — он!
Много хотела ему отдать…
Мелочь просыпала на перрон.

Всеволод Рождественский

В зимнем парке

1.

Через Красные ворота я пройду
Чуть протоптанной тропинкою к пруду.

Спят богини, охраняющие сад,
В мёрзлых досках заколоченные, спят.

Сумрак плавает в деревьях. Снег идёт.
На пруду, за «Эрмитажем», поворот.

Чутко слушая поскрипыванье лыж,
Пахнет ёлкою и снегом эта тишь

И плывёт над отражённою звездой
В тёмной проруби с качнувшейся водой.

2.

Бросая к небу колкий иней
И стряхивая белый хмель,
Шатаясь, в сумрак мутно-синий
Брела усталая метель.

В полукольце колонн забыта,
Куда тропа ещё тиха,
Покорно стыла Афродита,
Раскинув снежные меха.

И мраморная грудь богини
Приподнималась горячо,
Но пчёлы северной пустыни
Кололи девичье плечо.

А песни пьяного Борея,
Взмывая, падали опять,
Ни пощадить её не смея,
Ни сразу сердце разорвать.

3.

Если колкой вьюгой, ветром встречным
Дрогнувшую память обожгло,
Хоть во сне, хоть мальчиком беспечным
Возврати мне Царское Село!

Бронзовый мечтатель за Лицеем
Посмотрел сквозь падающий снег,
Ветер заклубился по аллеям,
Звонких лыж опередив разбег.

И бегу я в лунный дым по следу
Под горбатым мостиком, туда,
Где над чёрным лебедем и Ледой
Дрогнула зелёная звезда.

Не вздохнуть косматым, мутным светом,
Это звёзды по снегу текут,
Это за турецким минаретом
В снежной шубе разметался пруд.

Вот твой тёплый, твой пушистый голос
Издали зовёт — вперегонки!
Вот и варежка у лыжных полос
Бережёт всю теплоту руки.

Дальше, дальше!.. Только б не проснуться,
Только бы успеть — скорей! скорей! —
Губ её снежинками коснуться,
Песнею растаять вместе с ней!

Разве ты не можешь, Вдохновенье,
Легкокрылой бабочки крыло,
Хоть во сне, хоть на одно мгновенье
Возвратить мне Царское Село!

4.

Сквозь падающий снег над будкой с инвалидом
Согнул бессмертный лук чугунный Кифаред.
О, Царское Село, великолепный бред,
Который некогда был ведом аонидам!

Рождённый в сих садах, я древних тайн не выдам.
(Умолкнул голос муз, и Анненского нет…)
Я только и могу, как строгий тот поэт,
На звёзды посмотреть и «всё простить обидам».

Воспоминаньями и рифмами томим,
Над круглым озером метётся лунный дым,
В лиловых сумерках уже сквозит аллея,

И вьюга шепчет мне сквозь лёгкий лыжный свист,
О чём задумался, отбросив Апулея,
На бронзовой скамье кудрявый лицеист.

Лев Бердников

Великий Голицын

В 1721 году императору Петру Алексеевичу был присвоен титул «Великий». В истории российской это было не ново — за 35 лет до Петра так называли «царственныя большия печати и государственных великих посольских дел оберегателя, ближнего боярина и наместника новгородского» князя Василия Васильевича Голицына (1643–1714).

Сподвижники и апологеты Петра тщились сделать всё, чтобы имя этого харизматического деятеля, первого министра при ненавистной царю сестре-регентше Софье Алексеевне, было предано забвению. Некоторые изображали князя бесплодным мечтателем. «Большая разница между намерениями Голицына и действительными результатами его управления делами представляется странным противоречием», — отмечал историк А. Г. Брикнер. Однако раздавались и другие голоса. Администрация Софьи с Голицыным во главе получила высокую оценку искушённой в политике Екатерины II, отметившей, что правительство это имело все способности к управлению. И уж, конечно, дорогого стоит характеристика ревностного приверженца Петра I князя Б. И. Куракина, который ещё в 1720-е годы не побоялся признать: «И всё государство пришло во время её (Софьи — *Л. Б.*) правления чрез семь лет в цвет великого богатства. Также умножились коммерция и всякие ремёсла, и науки почали быть восставлять латинского и греческого языку. Также и политес восстановлена была в великом шляхетстве и других придворных с манеру польского — и в экипажах, и в домовом строении, и в уборах, и в столах… А правление внутреннее государства продолжалось во всяком порядке и правосудии, и умножилось народное благо». Высоко отозвался о князе Василии и фаворит царя Ф. Лефорт в своём письме к брату.

И друзья, и враги Голицына сходились в одном: это был исключительно талантливый государственник, дипломат и реформатор. А такими, как известно, не рождаются, а становятся. И именно в раннем возрасте были заложены основы его будущих свершений. Василий родился в знатной семье и был потомком великого князя литовского Гедимина, чей род традиционно возводился к Рюрику. Уже в XV веке его предки служили московским государям, так что своей знатностью Голицыны вполне могли поспорить с самими Романовыми.

В девять лет Василий потерял отца. Стараниями матери — княгини Татьяны Ивановны, урождённой Стрешневой, — он получил прекрасное домашнее образование. Благодаря происхождению и родственным связям юный князь в пятнадцать лет попал во дворец к царю Алексею Михайловичу. Он начал службу со скромного, но облечённого особым доверием царя чина стольника. Постепенно поднимаясь, он достиг в 1676 году боярского звания.

Во время царствования Фёдора Алексеевича Голицын стал заметным деятелем правительственного кружка, заведовал Пушкарским и Владимирским судным приказами, уже тогда выделяясь на фоне остальных бояр гуманностью, и, как говорили современники, «умом, учтивостью и великолепием». И ему, родовитому боярину, принадлежит инициатива по отмене местничества в России (12 января 1682 года): были преданы огню разрядные книги, причинявшие вред службе и сеявшие раздор между знатными семействами. Этим князь предвосхитил реформы Петра не только де юре, но и де факто, поскольку окружил себя помощниками вовсе не родовитыми, вроде Л. Неплюева, Г. Касогова, В. Змеева, Е. Украинцева — иными словами, выдвигал людей по годности, а не по «породе».

Но, пожалуй, наиболее впечатляющих успехов Голицын достиг в «книгочтении». В этом сказалась и семейная традиция, и его собственная неукротимая жажда знаний. Иностранцы называли его любителем всякого рода наук, что было редким в России. Князь радел о введении образовательной системы в стране. Показательно, что именно при его деятельном участии была открыта в Москве Славяно-греко-латинская академия — первое в России высшее учебное заведение.

Дарования князя развернулись во всю ширь в годы регентства сестры малолетнего Петра Софьи Алексеевны (1682–1689), при коей он фактически возглавил правительство России. Причём с Софьей его связывали не только служебные отношения. «И тогда ж она, царевна София Алексеевна, по своей особой инклинации и амуру, — говорит современник, — князя Василия Васильевича Голицына назначила дворовым воеводою войски командировать и учинила его первым министром и судьёю Посольского приказу, который вошёл в ту милость чрез амурные интриги. И почал быть фаворитом и первым министром и был своею персоной изрядной, и ума великого, и любим от всех».

Утверждали, что князь сошёлся с регентшей только ради своей выгоды, а вот Софья в самом деле была «страстно влюблена» в Голицына. Думается однако, что и Василием руководил не один голый расчёт. Конечно, царевна не была раскрасавицей, какой позже живописал её Вольтер. Но не была она и толстой, угрюмой, малопривлекательной бабой, коей предстаёт она на знаменитой картине И. Е. Репина. Царевна манила обаянием

Князь Василий Васильевич Голицын
Гравюра на дереве работы Паннемакера и Маттэ.

молодости (ей было тогда 24 года, князю — под сорок), бьющей через край жизненной энергией, острым умом, наконец, самой магией своего имени, которое придворные богословы и пииты прямо соотносили с божественной Премудростью. Итак, честолюбивый князь и властолюбивая царевна — Гедиминович Голицын и Софья Романова взошли на вершину российской власти рука об руку.

Голицын строил широкие планы социально-политических реформ, думая о преобразовании всего государственного строя России. Он мыслил о разрушении крепостного права с наделением крестьян тем количеством земли, которым они пользовались. (Не заимствовал ли он эту мысль из государственной практики Швеции?) «Подобные планы о разрешении крепостного вопроса стали возвращаться в русские государственные умы не раньше как полтора столетия спустя после Голицына», — с восхищением писал В. О. Ключевский. Несомненной заслугой князя явилась финансовая реформа страны: вместо обилия налогов, лежавших тяжким бременем на населении, был введён один, и собирался он теперь с определённого количества дворов, то есть с конкретных лиц.

С именем Голицына связано и совершенствование военной мощи державы — увеличилось число полков «нового» и «иноземного» строя, стали формироваться рейтарские, драгунские, мушкетёрские роты, которые служили по единому уставу и подчинялись одной программе. Ему приписывают постройку деревянных мостовых, а также трёх тысяч каменных домов в Москве, в том числе зданий в Кремле, великолепных палат для присутственных мест. Но наиболее впечатляющим было строительство легендарного Каменного моста о двенадцати арках через Москву-реку. Это сооружение по тому времени казалось настолько дорогим, что даже вошло в поговорку: «Дороже каменного моста».

При Голицыне развилось книгопечатание — за семь лет было издано 44 книги, что по тем временам было немало. Он был меценатом и покровителем первых русских профессиональных писателей — Симеона Полоцкого и Сильвестра Медведева (последний был в 1691 году казнён Петром I как сподвижник Софьи). Зародилась светская живопись (портреты-парсуны); нового уровня достигла иконопись; расцвело архитектурное направление, которое позднее получило название «голицынское барокко». Свою лепту внёс князь и в смягчение уголовного законодательства: были облегчены условия холопства за долги, отменён варварский обычай закапывать в землю мужеубийц, а также смертная казнь за «возмутительные слова». Они — увы! — были возобновлены при Петре.

Владение греческим, латинским, польским и немецким языками позволило князю свободно общаться с иноземными дипломатами и деятелями культуры. Василий Васильевич стяжал славу истого западника. Причём, в отличие от Петра, Голицын был приверженцем католицизма, тогда как Пётр был сторонником протестантской Европы.

Ранее иноземцы никогда не рассматривали русских как цивилизованную нацию. Своей неутомимой деятельностью Голицын разрушил этот устоявшийся стереотип. Именно в годы его управления страной на Русь буквально хлынул поток европейцев. Было позволено, к примеру, гугенотам и иезуитам искать убежище в Москве от конфессиональных преследований у себя на родине. При князе расцвела Немецкая слобода в Москве, где селились иностранные военные, лекари, ремесленники, переводчики, художники и др.; заработали две первые ткацкие фабрики. Задолго до Петра Голицын посещал дома своих знакомцев в слободе, выступил с программой свободного въезда иностранцев в страну, а также намеревался ввести в России свободное вероисповедание, убеждал бояр посылать своих детей на учёбу за границу. Москвитам было разрешено приобретать за рубежом светские книги, предметы искусства, мебель, утварь, что сыграло заметную роль в культурной жизни общества.

Но самым неоценимым вкладом в дело совершенствования образа России за границей сыграли труды Голицына на дипломатическом поприще, его официальные и частные контакты с иноземцами, приёмы многочисленных делегаций, направление посольств в главные европейские столицы (Париж, Мадрид, Лондон, Берлин, Копенгаген, Стокгольм, Варшаву). Дипломатическое наследие Голицына настолько обширно, что оно должно стать предметом самостоятельного исследования. Отметим лишь, что, в основном, из-за успехов на международной арене его прозвали «великим Голицыным». Так, в апреле 1686 года был заключён долгожданный «вечный мир» с Речью Посполитой, по которому та отказалась от всей Малороссии с Киевом, Черниговом и другими пятьюдесятью пятью городами. Московское государство приняло участие в коалиционной борьбе с Турцией в союзе с Польшей, Германской империей и Венецией

и тем самым вступила в «концерт» европейских стран. Умело вёл князь и переговоры со Швецией, продлив действие Кардисского мирного договора 1661 года. Василий Васильевич также возглавил русскую делегацию на переговорах с китайцами, увенчавшихся ратификацией Нерчинского договора 1689 года, который установил русско-китайскую границу по реке Амур и открыл в дальнейшем путь России к экспансии Тихого океана.

Встречи послов и дипломатические церемонии поражали приезжих блеском и роскошью, демонстрировали богатство и мощь России.

И, в отличие от Петра, Голицын не заставлял иностранцев пить на приёмах, да и сам не пил водки, находил удовольствие только в беседе.

Нельзя не отметить допетровские нововведения в области моды, у истоков которых также стоял наш герой. Дело в том, что ношение россиянами европейского платья нельзя назвать новацией Петра I: царь Фёдор Алексеевич под непосредственным влиянием своей жены А. С. Грушецкой и Голицына заменил стародавние долгополые московитские одежды польским и венгерским платьем, которое должны были носить все государственные чиновники. Официальные лица в старомосковском одеянии в Кремль и царский дворец не допускались. Рекомендовано было также брить бороды. Заметим — не приказано, как это было сделано впоследствии авторитарным Петром, а всего лишь рекомендовано, следовательно, не носило обязательного характера, а потому не вызывало особых протестов и смут. «На Москве стали волосы стричь, бороды брить, сабли и польские кунтуши носить», — говорили современники. И одним из первых при дворе в польское платье облачился Голицын. Вот как описывает его внешность А. Н. Толстой в романе «Пётр Первый»: «Князь Василий Васильевич Голицын — писаный красавец, кудрявая бородка с проплешинкой, вздёрнутые усы, стрижен коротко, — по-польски, в польском кунтуше и в мягких сапожках на крутых каблуках… Синие глаза блестели возбуждённо».

Князь, может быть, находился в ряду исторических модников того времени. Он тщательно следил за собственной внешностью и прибегал к таким косметическим средствам, употребление которых мужчинам кажется смешным — белился, румянился, холил разными специями свою небольшую светлую бороду и усы, остриженные по самой последней моде. Его часто можно было видеть в атласном бирюзового цвета кафтане на соболях, расшитом золотом и усыпанном жемчугом и драгоценными камнями. Гардероб князя был одним из самых богатых в Москве — он включал в себя более ста костюмов из драгоценных тканей, украшенных алмазами, рубинами, изумрудами, закатанных золотым и серебряным шитьём. Одна только его боярская шапка стоила более 10 тысяч червонцев; она была из редкого, так называемого «красного» соболя.

Каменный поместительный дом Голицына, расположенный в Белом городе столицы между улицами Тверской и Дмитровкой, иностранцы называли «восьмым чудом света», ибо не уступал он своим убранством лучшим дворцам Европы. Достаточно сказать, что длина здания составляла 33 сажени (более 70 метров), в нём было более 200 дверей и оконных затворов. Рядом с этим дворцом находился домовой храм. А во дворе стояли кареты, изготовленные в Польше, Голландии, Австрии и Германии.

В главной зале вместе с иконами висели портреты европейских и отечественных правителей, а также картины и гравюры на темы Священного писания. Потолки были украшены астрономическими телами — планетами, солнцем, знаками Зодиака. Стены палат были обиты богатыми тканями и фабричными обоями, создавая эффект мрамора. Дом был полон иностранной мебели и музыкальных инструментов: кровать с «птичьими ногами» (подарок Софьи), диковинный ящик — «аптека, а в нём всякое лекарство», множество шкафов, буфетов, сундуков, клавикорды, а также термометр и барометр. Всё это отражалось в 75-ти зеркалах. Некоторые окна были украшены витражами. Поражали воображение фарфор из Венеции, гравюры и часы из Германии, ковры из Персии. Крыша дома была медная и горела на солнце, как золотая. Любитель изящного, Голицын нередко устраивал здесь театральные действа, а иногда и сам выступал в роли актёра. Хлебосольный хозяин, он щедро принимал в своём доме иноземцев, коих закидывал вопросами о современной политической жизни Европы.

К сожалению, от всего этого великолепия не осталось нынче и следа. В 1928 году палаты и храм Голицына были варварски снесены, а на их месте в 1935 году возвели бездарный Дом Советов Труда и Обороны (архитектор А. Я. Лангман). И это несмотря на то, что культурная общественность Москвы во главе с академиком И. Э. Грабарём выступила в защиту этого уникального памятника архитектуры!

К концу 80-х годов XVII века князь получил в дар вотчину в подмосковном Медведково с домом и каменной церковью Покрова Пресвятой Богородицы. Глубоко символично, что ранее этой вотчиной владел легендарный князь Д. М. Пожарский, который во времена Смуты возглавил борьбу россиян с польскими интервентами. Подарив вотчину Пожарского Голицыну, Софья как бы сделала его преемником прославленного героя. Чтобы утвердить себя полноправным владельцем Медведково, князь Василий заказал несколько новых колоколов со специальными надписями. Он также перестроил и благоустроил доставшийся ему дом в европейском вкусе.

Василий Васильевич заимствовал не только внешние формы западной культуры (одежда, предметы быта), как это будут делать впоследствии щёголи-петиметры с их откровенной галломанией. (При этом любопытно отметить, что Голицын как раз был одним из первых русских галломанов, его упрекали, что даже сердце у него французское). Князь проникал в глубинные пласты французской — и шире — европейской цивилизации. Он собрал одну из богатейших для своего времени библиотек, отличавшуюся разнообразием изданий

на русском, французском, польском, латинском и немецком языках. В ней можно было найти «Киевский летописец» и «Алкоран», сочинения античных и европейских авторов, всевозможные грамматики, труды по истории и географии, а также некую переводную рукопись «О гражданском житии, или о поправлении всех дел, еже принадлежат обще народу». Большинство книг в его библиотеке были светского содержания.

Но, обладая просвещённым умом, Василий Васильевич не мог освободиться от свойственного эпохе суеверия (и это несмотря на то, что князь обладал широким кругозором и не боялся обращаться к «поганым» иностранным докторам и вообще к басурманам, от чего категорически предостерегала тогда православная церковь под водительством патриарха Иоакима). Известен случай, когда однажды сопровождавший его дворянин Бунаков в приступе падучей болезни взял горсть земли и завязал в платок. Голицын, заподозрив в Бунакове чародея, подумал, что тот якобы «вынимал след для его порчи», и повелел подвергнуть его пытке. Также при деятельном участии князя были сожжены заживо за ересь лжепророк из Немецкой слободы Квирин Кульман и единомышленник последнего Конрад Нордерман. Впоследствии сторонники Петра обвиняли Голицына в том, что он верил в колдовство и ведовство (хотя и сам Пётр был не чужд суеверия, заказывал гороскопы, а в 1716 году включил в новый военный устав направленные против колдунов карательные меры).

Голицын возглавил два похода российской армии в Крым (1687 и 1689 годов). Понимая всю сложность сего предприятия, князь стремился уклониться от обязанностей главнокомандующего, но его недоброхоты настояли на его назначении. Эти военные кампании Голицына следует признать крайне неудачными. Они не только были сопряжены с огромными людскими потерями и подорвали репутацию князя, но и, как говорили некоторые исследователи, лишили его Софьиных ласк — новым фаворитом царевны стал Фёдор Шакловитый, кстати, выдвиженец того же Голицына. Думается однако, что увлечение Софьи Шакловитым не связано с военными неудачами князя: ведь царевна всегда встречала русские войска из Крыма как победителей, щедро их награждала и никогда не признавала за ними поражения. Царевна — впервые в русской истории — присвоила Голицыну звание генералиссимуса. Важно и то, что, несмотря на свой неуспех, походы Голицына привели к ослаблению Крымского ханства и Турции. Неслучайно гетман И. С. Мазепа сравнивал крымские походы князя с войной древнеперсидского царя Дария с обитателями Тавриды.

Падение Голицына явилось неизбежным следствием низвержения властолюбивой Софьи Алексеевны, заключённой сводным братом в Новодевичий монастырь. Хотя Василий Васильевич не принимал участия ни в борьбе за власть, ни в стрелецких бунтах, ни в заговорах о физическом уничтожении Петра, такой исход был предрешён. По воле царя Петра, в сентябре 1689 года Голицыну был вынесен приговор; его вина была в том, что он докладывал царевне, а не Петру и Ивану дела державы, писал от их имени грамоты и печатал, словно монархини, имя Софьи в книгах без царского соизволения. Но главным пунктом обвинения были неудачные крымские походы князя, в результате которых казна понесла великие убытки. Обвинение это носило тенденциозный характер. Ведь немилость царя за крымские неудачи пала исключительно на одного Голицына, а такой активный участник походов, как гетман И. С. Мазепа, был обласкан царём. Кроме того, известно, что ни сам Пётр, ни его преемники так и не покорили Крыма — в состав Российской империи он был включён… только в 1783 году.

И всё-таки яркость и талант князя Василия были видны всем. Возможно, это признавал и Пётр, который, несмотря на жгучую неприязнь к поверженному врагу, всё же втайне питал к нему уважение, а потому, надо думать, не предал его жестокой казни, как других клевретов Софьи. Не исключено, что князя спасло и заступничество его двоюродного брата, Б. А. Голицына, ревностного сподвижника царя. Хотя князь Василий был лишён боярства и имущества, ему была сохранена жизнь — он был сослан с семьёй на Север, сначала в Каргополь, а затем в ещё более отдалённое село — Холмогоры Пинежского уезда. Василий Васильевич прожил в северной глухомани долгие 25 лет и оставил сей мир в апреле 1714 года. Он похоронен в Красногорско-Богородицком мужском монастыре.

Но дело Голицына не пропало втуне. Логика истории привела к тому, что Петровские реформы — вольно или невольно — во многом явились воплощением планов и идей князя. Но воплощением грубым, беспощадным, стремительным. Как заметил В. О. Ключевский, Голицын, младший из предшественников Петра, ушёл в своих планах гораздо дальше старших. Оценка планов Голицына как некой альтернативы реформам Петра весьма популярна среди современных исследователей разных направлений.

Иными словами, Московская Русь была чревата реформами. Роды затянулись, и нетерпеливый «царь-плотник» применил для «кесарева сечения» топор палача. Нелишне будет напомнить, что в результате подобной петровской «перестройки» в землю лёг каждый пятый россиянин — население империи сократилось с 25-ти до 20-ти миллионов человек!

Говорят, история не имеет сослагательного наклонения. Но кто знает, окажись на месте «крутого» Петра «осторожный» Голицын, может быть, судьбы истории российской не были бы столь надрывными и кровавыми. Бешеный гений Петра вздёрнул Россию «на дыбы», не гнушаясь при этом кнутом и дыбой. Реформы же Голицына были мирными, органичными и ненасильственными. Один иностранный дипломат сказал о Василии Васильевиче: «Он хотел заселить пустыни, обогатить нищих, из дикарей сделать людей, превратить трусов в добрых солдат, хижины в чертоги». И уже одна попытка претворить это желание в действительность оправдывает наречение Голицына именем Великий.

Алексей Конаков

Норильские мысли о Владимире Маяковском

Путешествуя по России с поэтическими томиками в руках, рано или поздно начинаешь невольно сближать виденные тобой города с прочитанными тобой поэтами. Занятие это, в общем-то, и бесполезное, и безответственное, но — в высшей степени заразительное. И если размеренные ямбы поздней Ахматовой естественно соответствуют классицизму фасадов имперского Санкт-Петербурга, а налезающие друг на друга слова и строчки Пастернака — сутолоке сорока сороков церквей в центре старой Москвы, то «дикое мясо» стихов зрелого Мандельштама, это, скорее всего, — плавильный котёл нынешней Казани. Казани, где мусульманские мечети перемежаются христианскими храмами, где ультрасовременный торговый центр мирно соседствует с падающей башней Сююмбике, а многолетние развалины в самом центре города выгодно оттеняют шик «Дома татарской кулинарии» и гранд-отеля «Шаляпин».[1]

Что касается Норильска, под высоким северным небом которого я очутился этой осенью в третий раз, то он всё более напоминает мне поэзию Маяковского. Разумеется, не в плане вреда для здоровья (рассказывают, что после переезда «на материк» среднестатистический норильчанин живёт в среднем три-четыре года). Но также и не в плане того огромного количества ценных «ископаемых», которые поставляют России и Норильск, и Маяковский. Впрочем, если важность норильского никеля не оспаривается практически никем, то многим поэтическим находкам Маяковского пытаются ныне отказать в актуальности. Зря! Упрямое течение «реки по имени „факт“» противоречит такому подходу. И дело здесь не только в прямых наследниках Маяковского, коих множество — от Асеева и Вознесенского до Губанова и Сапгира. Так, например, подсчёты М. Л. Гаспарова демонстрируют, что рифмовка Иосифа Бродского ближе всего к рифмовке не Мандельштама или Цветаевой — как можно было бы ожидать — но именно Маяковского.[2]

Норильск более всего похож на стихи Маяковского тем, что принято называть «обнажением приёма». Вечная мерзлота диктует свои правила строительства в условиях Заполярья. Вся подноготная индустриальной цивилизации, которую удаётся стыдливо спрятать под землю в более южных широтах, стынет в Норильске снаружи. Дома подняты на два метра над землёй на сваях — между свай скапливается мусор и грязь; трубы хозяйственных коммуникаций пущены поверху — мёрзлый грунт не даёт убрать их под землю; моментально съедаемая эрозией штукатурка демонстрирует все швы и стыки конструкций панельных домов. Где-нибудь в Ялте можно вообще не знать, откуда появляется вода в кране и как построены дома; здесь же индустриальная сторона человеческой деятельности дана во всей своей неприглядной наготе. Да, вот по этим страшным заржавленным трубам бежит в дом водичка! Вот на этом дымящем заводе с нежным именем «Надежда» (во время выбросов людей тошнит прямо на улицах) производят никель, которым будут затем опылять блестящие детали «мерседесов» и «шевроле»! (Ловлю себя на мысли, что впадаю сейчас, описывая Норильск, именно в «маяковский» пафос — что-то вроде: «Только сталью глушит элевейтер / хрип и кашель чахотки портняжьей»).

Маяковский ценен тем, что, подобно Норильску, «обнажает приёмы» — не поэзии, а самой индустриальной эпохи. Причём происходит это на уровне более тонком, нежели гимны рабочим Курска, добывшим первую руду, тяжеловесные индустриальные метафоры («Я себя советским чувствую заводом, / вырабатывающим счастье») и научная фантастика, вроде превращения человека в гигантскую металлоконструкцию (поэма «Пятый Интернационал»). Ведь современность, адекватность стихов эпохе определяется вовсе не набором характерных существительных и собственных имён, типа «Блерио», «Аврора», «Лобачевский», «Ленин», «Антанта», «тачанка», «полпред», «пароход» — иначе казаться современным было бы очень легко! Гораздо важнее здесь вещи более высоких порядков. Это, в первую очередь, сама интонация (сочетание вневременного пафоса и сиюминутности), схема аргументации (вполне определённая демагогия и цитаты), стиль разговора (непременные публицистичность и размах; недопустимость интимного), неизбежная вовлечённость говорящего в события высокой политики (на стороне Ленина, либо Врангеля, либо императора Николая и т. д.).

Стоит ли напоминать, что всё вышеупомянутое (сиюминутность, публицистичность, ангажированность) всегда отмечалось как недостатки поэзии Маяковского? Однако именно такие — изнасилованные идеологией, наглядно неуклюжие, нелепо раздутые стихи — лучше всего отражали лик того странного и страшного времени. Быть

1. Интересно, какому городу соответствует поэзия Хлебникова? Может быть, фантастическому Чесс-Сити под Элистой? А поэзия М. Кузмина?
2. Гаспаров М. Л., «Рифма Бродского», 1995.

может, мы вообще имеем дело с осознанным ходом поэта, под лозунгом вроде «Жуткому времени—жуткую поэзию!» Возникает даже некоторый соблазн говорить об уродовании стихов как о стилистическом приёме. Вспомним, для примера, хотя бы последовательно продуманную эстетическую программу Алексея Кручёных: «Чтоб писалось туго и читалось туго, неудобнее смазных сапог или грузовика в гостиной».[3] При таком подходе все «слабости» поэзии Маяковского оборачиваются сильными сторонами. *Нарочно* впустив в стихи «чахоткины плевки», «летающих пролетариев», «ассенизаторов революции» и «сто пятьдесят миллионов» рабочих и крестьян, Маяковский оставил нам не только вещные приметы своего времени, но и—походку, жестикуляцию, мимику—словом, физиономию эпохи.

О том, что Маяковский был неплохим художником и активно переносил в поэзию методы живописи, любят поговорить практически все. Впрочем, в девяноста процентах случаев разговор заканчивается на первом же стихотворении поэта: «Багровый и белый отброшен и скомкан, / в зелёный бросали горстями дукаты, / а чёрным ладоням сбежавшихся окон / раздали горящие жёлтые карты». А ведь словесная живопись Маяковского несравненно богаче и глубже! Это не простое называние цветов и не аллитерации, а-ля бальмонтовский «чуждый чарам чёрный чёлн», и не выделение групп согласных, как у Ахматовой («Свежо и остро пахли морем / На блюде устрицы во льду»), но работа со стихом в целом. Конечно, каскады ярчайших метафор, прихотливое движение акцентного стиха и напряжённая интонация—во многом мешают читателю сосредоточить внимание на таких тонких аспектах, как словесное рисование. Здесь требуется прилагать усилие, связанное с неизбежным переходом от макрозрения к микрозрению. Зато в награду за это всегда можно отыскать более-менее любопытную графику стиха—уже у раннего Маяковского.

Так, в строфе о реакции на уход любимой женщины «Что ж, выходите, ничего. Покреплюсь. / Видите—спокоен как! / Как пульс / покойника»[4] нам наглядно явлено угасание пульса у смертельно больного: первая строчка—четыре ударения, вторая строчка—три ударения, третья строчка—два ударения (с учащением!), четвёртая строчка—одно ударение. Здесь голос имитирует сердце, и ударения слов прочитываются как пики затухающей кардиограммы. Другой пример—картина всевышней казни поэта Господом Богом: «Привяжи меня к кометам, как к хвостам лошадиным, / и вымчи, рвя о звёздные зубья». Мало того, что зудящее «з» в «звёздных зубьях» буквально режет гортань, так и нелепое деепричастие «рвя» висит посреди строки, как рдяный кусок вырванной уже этими «зубьями» плоти! Слова работают в стихе максимально, не только семантикой, но и самой формой своей усугубляя художественный эффект. Наконец, можно вспомнить знаменитый образ горящего сердца и «выходящего из себя» поэта в «Облаке в штанах»: «Глаза наслезнённые бочками выкачу. / Дайте о рёбра опереться. / Выскочу! Выскочу! Выскочу! Выскочу! / Рухнули. Не выскочишь из сердца!», где четыре совершенно одинаковых «Выскочу!» наглядно демонстрируют нам рёбра, по которым скользит поэт, медленно сползая в самого себя.

От описания движений души Маяковский постепенно переходил к описанию движений окружающего его мира. И торжествующая, гордая, ничего не стесняющаяся индустрия начала двадцатого века до малейших своих черт копировалась поэзией Маяковского. Его стихотворная живопись в это время—глобальный мимесис. Составленные, «свинченные», «собранные» из блоков двух-, четырёх- и пятистиший вещи Маяковского (в отличие, скажем, от неразрывно связанных анжабеманами стихотворений зрелой Цветаевой) наглядно отображают блочный способ строительства любых вещей (от железнодорожных мостов до конных армий) в то время. Строфы «Разговора с фининспектором о поэзии» едут перед нами, как вагонетки из шахты, каждая из которых везёт энную порцию «словесной руды», чтобы увенчать-таки стихотворение афоризмом или броской сентенцией. Многократно обруганная поэма «Хорошо!» работает как огромный прокатный стан, то раскатывая строфы в тонкие звенящие листы («На шее кучей Гучковы черти министры Родзянки / мать их за ноги!»), то штампуя их короткими блестящими отрезками («Розовые лица. / Револьвер жёлт. / Моя милиция / меня бережёт»). Стих Маяковского пишет всем своим телом. Наваленные друг на друга родительные падежи («сердец столиц тысячесильные Дизели»), тяжеловесные составные рифмы («носки подарены—наскипидаренный»), причудливо выгнутые предложения («Сильный, понадоблюсь им я»), привлекающие внимание неологизмы («выгранивал», «изоханный»)—всё это дословно (в буквальном смысле) повторяет приёмы грубой технизации мира в то время.

Читателей новой эпохи раздражают вычурные и броские приёмы Маяковского; кажется, они делают нелепым и весь стих. Но нужно помнить, что точно такими же—вычурными, броскими и нелепыми—были индустрия и техника того времени. Они не прятались, не скрывалась (как не скрывает своего назначения, «для рифмы», искусственный образ «ведёт река торги»)—грохочущая и дымящая труба автомобиля, вознесённые к небу на некрасивых столбах провода телеграфа, задранное вверх устройство электропитания трамвая, доступные взгляду проволоки и бечёвки рулевого механизма самолёта. Увлечение Маяковского техникой и прогрессом (недаром «футурист»!) зеркально отразилось в его стихотворениях; все специально обнажённые приёмы и ходы его поэзии следует рассматривать именно как визуальное претворение окружающего мира. Мало ли что писал он

3. Кручёных А. Е., Хлебников В. В., «Слово как таковое», 1913.
4. Известно, что Маяковский, как правило, делил классическую четырехстрочную строфу на множество коротких строчек. Здесь под строчкой разумеется часть строфы от рифмы до рифмы, независимо от авторского разбиения.

про свою лесенку, говорил об интонационной разбивке строки! Присмотритесь к ней: это же конструкция Бруклинского моста или, на худой конец, копия сигналов азбуки Морзе!

Понимание всех этих (чисто графических!) аспектов поэзии Маяковского уходит вместе с уходом увлечения человечества грубой индустрией. Сейчас ведь никому уже не кажутся красивыми дымные трубы заводов и лязгающие составы поездов. И вполне естественно, что детей постиндустриального века не трогают откровенно инженерные изыски Маяковского (а ведь чего стоит одна только знаменитая монорифма: «Седеет к октябрю сова — / Се деют когти Брюсова»!). Также анахроничным выглядит и пафос его стихов, который есть не что иное, как словесно оформленное и разработанное эхо пафоса технического переустройства мира, пафоса индустриальных достижений и прогресса. Пользователи интернета предпочитают в поэзии лёгкую («цифровую») иронию, прилизанную, незаметную технику (отсюда — возврат к «простым» рифмам) и сложную систему гиперссылок (а-ля «Двадцать сонетов к Марии Стюарт» Бродского). Конечно, все они знают, что и интернет — сделан, что важнейшая фигура в нём по-прежнему не дизайнер, а инженер. Но… времена изменились! Техника не шествует гордо, но старается спрятаться. И о том, каким образом добывается в Норильске никель, сейчас предпочитают не знать. Недаром до сих пор ходят слухи о превращении Норильска в «закрытый город» — этакий чёрный ящик, выдающий красиво упакованный металл, если нажмёшь на кнопочку.

ДиН стихи

Инна Мельницкая

Когда настигает боль

Остров

Остров Диксон. Свинцово-седая вода,
Незакатное солнце, бескрайнее небо…
Если ты в тех краях не бывал никогда,
То считай — никогда в царстве мужества не был.
Где ольха и берёза, росточком с вершок,
Как большие, под ветром колышут серёжки,
До того распахнуться душой хорошо —
Пусть её просквозит этот ветер сторожкий.
Там не молкнут неслышные колокола,
В небесах непрестанное чудо вершится,
В оловянные лужицы, как в зеркала,
Необсохшим цыплёнком глядится пушица,
И в озёра оттаявшей злой мерзлоты
Опрокинуты навзничь летучие тучи…
Остров жёсткой реальности, дерзкой мечты,
Остров ночи полярной и вьюги певучей —
Остров верности строгой и дружбы мужской,
Где по льдам и торосам проходит граница…
Прежде чем захлебнуться смертельной тоской,
Пусть мне Диксон
        хоть раз
                на прощанье приснится!

Мастер из Кремоны

Ты знаешь, есть старинная легенда
О том, как некогда Великий Мастер
Построил скрипку — и она была
Всех прежних скрипок
        во сто раз прекрасней.
Её он долго строил:
        выбирал
И слушал дерево,
        и колдовал над лаком,
А по ночам молился исступлённо,
Чтоб Бог вдохнул в его творенье жизнь.
И вот она запела наконец.
Она была, как женщина, всесильна
И, уступая нежности смычка,
Могла заставить плакать и смеяться
Кого угодно…
Но бес-завистник под руку толкнул —
Разбился звук о каменные плиты!..
…Он собирал дрожащими руками
Своей мечты колючие осколки;
Он твёрдо знал:
        другой такой не будет,
Но склеивал разбитую любовь
Слезами, кровью, яростным упорством.
И день настал,
        и Мастер взял смычок.
Он долго медлил, всё боясь коснуться
Молчащих струн, но наконец решился —
И звук возник. И дрогнула Кремона!..
        С тех самых пор его ученики
        В безжалостном стремленье к совершенству
        Просверливали в каждой новой скрипке
        Отверстия — чтоб раненая дека
        Отчаяньем отозвалась смычку…
Не потому ль, когда настигнет боль,
Рука спешит нашарить лист бумаги?..

Борис Кутенков

Читательские ожидания и приключения жанра

Обзор литературных журналов, весна 2011

«Октябрь»: *тщательный отбор при минимуме поэзии*

Журнал «Октябрь» уделяет поэзии минимум места на своих страницах. В этой осознанной позиции признавалась на Форуме молодых писателей в Липках главный редактор Ирина Барметова. Такой подход связан отнюдь не с нелюбовью редакции к поэзии, а с тщательным, бережным отношением к этому жанру как к вершине литературы. «*Понимаете, стихи в журнальной подборке, как мозаика, как маленькие осколочки смальты, из которых предстоит мне как редактору составить набросок творческого состояния поэта, а если повезёт — портрет. Подборка должна как можно чётче очертить стиховое пространство поэта. Поэтому всегда к выбору стихов для такой публикации я отношусь внимательно, даже ревностно, тщательно отбирая*»,— говорила Барметова в интервью Андрею Грицману[1]. Результат такого ревностного отношения — всего две стихотворные подборки на весь номер (№ 2, 2011) — но зато не вызывающие претензий по качеству, как, впрочем, и все публикации в «Октябре». Проза же в журнале представлена как малыми, так и большими формами: обширная повесть Анатолия Наймана «Ближайший D» и окончание романа Юрия Арабова «Орлеан».

Разумеется, каждая подборка как жанр, обязанный своим возникновением толстожурнальному феномену, представляет собой определённый цикл, однако к Владимиру Салимону определение «циклический поэт» относится в большей степени. Подборка «Петя Чаадаев кушал кашу…» — ряд из 22-х лаконичных миниатюр, словно бы намеренно не завершённых — каждая следующая вроде бы не является продолжением предыдущей, но логическая связь выражена достаточно тесно, что создаёт ощущение дневниковых записей. Поэт с размеренной, иронично-наблюдательской интонацией подмечает детали окружающего мира, держась при этом преимущественно традиционных размеров. Несмотря на очевидную индивидуальность, не оставляет ощущение, что поэт находится в едином эстетическом русле с «арионовским» вкусовым мэйнстримом — лаконичные пейзажи с оттенком наблюдательской иронии, противостоящие поэзии катастроф и дисгармонии (из представителей этого течения можно назвать в чём-то различных, но, несомненно, интонационно очень схожих В. Тучкова, Ю. Хоменко, В. Иванова). Косвенно говорит об этом и сам Салимон:

Я был бы рад с друзьями поделиться
всем тем, чем безраздельно я владею.
Берите всё, чем можно поживиться.
Всё — форму, содержание, идеи!

Шесть стихотворений Владимира Алейникова выдержаны в советской стилистике с несколько архаизированной, возвышенной интонацией. Метафизика природы восходит к Тютчеву и Заболоцкому. Лирического героя волнуют проблемы сотворения мира,— они интерпретированы поэтом с большой степенью индивидуальности и пронизаны религиозно-дидактическим пафосом:

Не торопись, постой!
Не ущемляй души —
Там, за горой Святой,
Сам для себя реши —

Что тебя мучит вновь?
Что продлевает въявь
Веру, а с ней — любовь?
То-то её и славь!

То-то надежда днесь
Рядом с тобой везде,
Где истомишься весь,
Чтобы взойти звезде.

Малые формы в журнале представлены рассказами Льва Тимофеева «Олимпийские игры 2016 года» и Бесо Хведелидзе «Мышиный вкус» (перевод с грузинского Анны Григ). Рассказ Тимофеева, отличающийся медитативным стилем, воспроизводит в деталях жизнь героя Андронова, прикованного к инвалидной коляске. Как свойственно многим произведениям реалистической прозы, средоточием радости и спокойствия в рассыпающемся мире становится ребёнок — в данном случае 14-летняя Зоя Громова, мечтающая принять участие в Олимпийских играх и не пропускающая в школе показов Клуба кинопутешествий. На фоне её энергии Андронов «*вдруг почувствовал, что совершенно счастлив. Без всякой причины. <…> Оказывается, сегодня, сейчас ничего другого для счастья и не нужно. Счастлив, потому что живёт. Счастлив, потому что жил…*» Символичен финал рассказа: «*Через три месяца, в конце мая, к Светлане Андроновой пришёл сосед Громов и принёс бензопилу. Он уверял, что покойный Андронов хотел спилить старую яблоню и что теперь надо выполнить волю покойного. Светик вздохнула, но*

1. http://magazines.russ.ru/interpoezia/2005/2/barm1.html — «Интерпоэзия», 2005, № 2. «В кафе Пушкин». Интервью Ирины Барметовой.

согласилась. Когда же подошли к дереву, то увидели, что его ветви усеяны бело-розовыми бутонами. Через неделю в воздухе висело плотное белое облако цветущей старой яблони, и в нём гудели, работали сотни пчёл».

Контрастирует с ним по атмосфере рассказ Бесо Хведелидзе: дневниковое повествование о войне глазами героя — русского журналиста, берущее за душу описанием самых жестоких реалий. Своей космополитичностью рассказ как бы показывает бессмысленность войны вне зависимости от национальных признаков. Трогательность рассказу придаёт мысленный разговор героя с мамой, подарившей ему на двадцать шестой день рождения чёрный блокнот «*для хранения секретов, которые ты мне никогда не откроешь*», по её словам. Однако, даже находясь далеко, герой рассказывает своей маме обо всём, считая, что никто его не поймёт лучше. Спутником героя в дни тяжёлых испытаний становится не только блокнот, но и отвратительный мышиный привкус во рту, проходящий через рассказ красной нитью.

В рубрике «Публицистика и очерки» Александр Тарасов в социологическом аспекте исследует проблемы возникновения футбольных беспорядков, а в разделе «Там, где» Александра Добрянская рассказывает о выставке «Андрей Белый. Объединённый архив» в Государственном музее А. С. Пушкина. Раздел «Литературная критика» представлен рецензиями Марии Ремизовой на книги Германа Садулаева, Олега Зайончковского, Андрея Иванова и Мариам Петросян. Валерий Хаит размышляет о юморе как значительной составляющей современной словесности и культуры, Розмари Титце рассказывает о своём новом переводе «Анны Карениной» на немецкий язык. Также в журнале опубликованы рецензии Веры Калмыковой на книгу Ольги Сульчинской «Апрельский ангел» (М.: Арт-Хаус-Медиа, 2010) и Марии Михайловой — на книгу переписки Вячеслава Иванова и Лидии Зиновьевой-Аннибал. Рубрику «Книжный агент» ведёт Екатерина Босина, а в «Литчасти» почему-то помещена театральная (?) рецензия на спектакль «Екатерина Ивановна» по Леониду Андрееву.

«Нева»: *соответствие читательским ожиданиям*

Если журнал «Октябрь», по словам всё той же Ирины Барметовой, «не собирается выстраиваться в линейку и рассчитываться на первый-второй», то «Нева», кажется, угождает (в хорошем смысле) читательским ожиданиям, публикуя не столько *хорошую поэзию*, сколько те стихи, которые *хотят видеть* читатели: на грани серьёзной и массовой поэзии. В открывающей № 1 подборке Дениса Бука — задорные, оптимистичные (по контрасту с фамилией) стихи, не выходящие за грань сатиры, социального фельетона или зарисовки: ирония сочетается в них с «возвышенными порывами». Несмотря на лёгкость восприятия, не оставляет ощущение несовершенства стихов — и оно касается не столько технической стороны, сколько жанровой разбросанности, неопределённости. Так, в подборке можно найти и нечто наподобие социальных зарисовок из уличной жизни, и «альбомное» стихотворение памяти Есенина, и воззвание к Всевышнему, которое в сочетании с иронией, присущей стилю автора, выглядит наряду с пафосом несколько эмоционально наигранным.

Твоя Премудрость — океан бездонный.
Твоя Держава — полнота времён.
Твой Дух Святой — елей нерастворенный.
Тобой навеки хаос побеждён.

Смиренному, но пылкому призыву
Вонми и ниспошли мне благодать —
Исполни грудь возвышенных порывов,
А разум научи их воплощать!

Самая «питерская» подборка — и стилистически, и географически — у Родиона Вереска, родившегося в Саранске, но детство и юность которого «неразрывно связаны с Ленинградом-Петербургом». «*Породив урбанизм, Питер, похоже, сам довёл его до абсурда: пустых улиц, абсолютного одиночества среди призраков*», — писал Сергей Арутюнов в обсуждении литературы Северной Пальмиры («Литературная учёба», № 6). Холодноватые, интонационно вялые стихи Вереска символизируют разобщённость мира — и внешнего, и внутреннего — выраженную через парцеллированные конструкции. Отчётливее всего человеческое одиночество явлено в стихотворении «Аладдин», где строфа композиционно делится на «желаемое» и констатацию печально-очевидного. Невозможность найти утешение в мире реальном вынуждает героя на самоидентификацию с литературными образами:

Хочется заглянуть к соседу в квартиру под номером восемь,
Погладить его собаку и налить простокваши коту.
Но сосед занавесил окна и утром уехал в Висконсин,
В холодную жёлтую осень в девяносто втором году.

Неву не нагреть кипятильником. Не замёрзнуть на эшафоте.
Ницше не знал Парижа и не видел, как разрушали Берлин.
Блок не писал в жж. Цветаева не летала на самолёте…
Я родился под пыльной лампой, но моё имя — не Аладдин.

Осознание принципиальной необходимости прямого высказывания — ментальный вектор творчества Любови Страховой, поэтессы из Ярославля, студентки Литературного института им. Горького. От этого осознания появляются столь свойственные концовкам стихотворений постулаты, как бы подводящие итог сказанному: «*Измена — прежде всего поступок, / На который надо отважиться*», «*Я понимаю с годами ясней и чётче, / Что патриот — не тот, кто живёт в стране, / А только тот, кто сбежать из неё не хочет*».

В то же время синтаксис Страховой отличается тяжеловесностью, чувствуемой автором и подчёркиваемой то терминологией — «*абсцесс*», «*эвфемистическими*», «*аллитерациями*», «*перифразами*» — то длинноватой, чересчур фонетически перегруженной строкой. Стремление выбраться из тяжеловесности проявляется и на содержательном уровне: «*не резон весной быть крепостной*»,

ощущение себя чужой на празднике испанской фиесты, мысли о невозможности решиться на физическую измену.

В верлибрической подборке Александра Добровольского — без пунктуации и строчных букв — желание зафиксировать мгновение в его неповторимости, исследовать причины его возникновения. Отсюда — и постоянные мотивы возвращения к корням:

…и над асфальтом потусторонне
серым пузырём ветра заскользил пакет
словно он сам по себе…
но скорее он оторвавшийся звук от машины
которая уехала куда
<…>

Подборка ленинградца Егора Оронова состоит из отдельных удач, не дотягивающих до попадания в десятку. Так, не претендует на шедевр милое «альбомное» стихотворение, посвящённое дочери:

Эта смесь у нас песней зовётся.
Жаль, что мне не понять в ней ни звука.
Так мы с ней в разговоры играем,
Если мы нагулялись, поспали.
А ведь я никогда не узнаю,
Что мы с ней в эти дни обсуждали.

Любопытно стихотворение Оронова «Сизиф», где античный миф интерпретирован через современные реалии (*«и путеводный твой клубочек / отныне Google или Yahoo»),* однако вторично стихотворение про первый снег, неубедительно выглядят и абстрактные обобщения:

Мы просто милые шуты
На празднике царя Гороха.
Да, да, мой друг, увы, и ты
Комедиантствуешь неплохо.

Перехожу к прозе в журнале. Рассказы Максима Епифановского — сценки из школьной жизни, воскрешающие ностальгию по советскому детству. Дневниковость повествования, рождающая сопричастность читательскому восприятию, — практически без описания переживаний — помогает создать ощущение присутствия *здесь и сейчас*, присовокупить к сюжетной ткани собственные ностальгические эмоции. В финальном рассказе герой находит своих одноклассников «В Контакте»: ему приходит предложение от старого приятеля о добавлении в друзья, но герой, вспомнив старый школьный случай, за который до сих пор стыдно, нажимает «отклонить заявку». Есть что-то родное в этом, не правда ли?

Епифановский, пожалуй, самое светлое исключение из правила: проза в этом номере «Невы» отличается тягостным, урбанистически-депрессивным фоном. Городское одиночество выражено в рассказах Марии Скрягиной «Точка весны», написанных внятным, искренним языком в традициях современной эскапистско-реалистической прозы. Героиня, редактор издательства и несостоявшийся поэт, чувствует себя чужой среди встречаемых людей. «*Но мои прежние знакомые, поболтав со мной полчаса, осыпав меня с ног до головы добытой в жизни мишурой, уйдут, а я с ужасом пойму: им нет до меня, моих радостей или забот, моих планов или сокровенных мечтаний никакого дела. Никакого. Словно я пустое место*». Слиянность с миром, глобальное метафизическое сиротство, груз прожитых лет, одиночество провинциала в большом городе, ощущение во времени поколения конца 70-х — всему этому нашлось место в рассказах Скрягиной. Подбирать нужные слова о её прозе сложно, как не всегда находишь их, когда дело касается чего-то дорогого и близкого. Просто читайте.

Проза Владислава Кураша — апология низовых сторон жизни: в криминально-приключенческом рассказе «Айда в Америку!» побег двух молодых людей за красивой жизнью заканчивается трагически. Однако надежда в мире Кураша присутствует — у героя остаются жена и ребёнок, выросший похожим на него, а в рассказе «На передовой» героя, почти спившегося бродягу, спасает старый приятель, помогая ему выпутаться из передряг. Жуткие реалистические картины войны — в прозе Галины Лахман: 15-летняя Нюша, забеременевшая в результате изнасилования немецкими солдатами, через всю жизнь проносит ненависть к немцам. Перед смертью она завещает коробку с наградами пареньку, которому общение с бывшей фронтовичкой помогает стать нравственно выше — таким образом показывается контраст военного и нынешнего поколения. В сочинениях Валерия Айрапетяна о жизни медиков, наполненных физиологизмами и циничным «врачебным» стёбом, как антитеза возникает любовь, тоска, возникшая после расставания, и чистота. Рассказ Айрапетяна «Обстоятельства», близкий по эстетике к Владимиру Сорокину, через сортирный юмор — сценка в клозете — раскрывает вечную для русской литературы проблему маленького человека, которым на этот раз стал 40-летний холостяк Степан Ложкин. Подражателен рассказ Анатолия Бимаева «История одной картины», напомнивший по эстетике хемингуэевский «Старик и море».

В разделе публицистики Ирина Чайковская рассказывает об Италии, увиденной глазами россиян, которые были приглашены туда ректором Анконского университета и его женой. Критика на этот раз представлена работами магистрантов, специализирующихся по программе «Критика и литературное редактирование», о лауреатах главных литературных премий — Елена Нестеренко об Эдуарде Кочергине («Национальный бестселлер»), Ульяна Палилова о Елене Чижовой («Русский Букер»), Артём Филатов о Леониде Юзефовиче, Дарья Хабарова об Александре Терехове («Большая книга»), Мария Трощило о менее известном Евгении Лукине с романом «Странник». Несмотря на то, что рецензии для большинства авторов — дебют, выполнены они вполне профессионально. Рубрика «Петербургский книговик» посвящена материалам Аллы Полосиной о гендерных воззрениях Льва Толстого и Елены Глушанской об Александре Павловиче Чехове («Брат вышеупомянутого…»), а также исследованию Игоря Ефимова о загадочных падениях самолётов зимой и архимандрита

Августина об армянской христианской общине в Петербурге. Завершается номер рубрикой Елены Зиновьевой «Петербургский книговик» о свежих книгах, вышедших в северной столице.

«Вопросы литературы»: *проблемы жанра*

Основную часть материалов первого номера журнала критики и литературоведения «Вопросы литературы» (январь-февраль 2011) занимают статьи, посвящённые проблемам жанра. Номер открывается капитальным трудом доктора филологических наук, профессора Сергея Бочарова «Два ухода: Гоголь, Толстой». Литературовед вступает в диалог с Павлом Басинским, в книге которого «Бегство из рая» (М.; «Астрель»; «АСТ», 2010), по его мнению, «*решительный пересмотр классической формулы становится пунктом едва ли не центральным*». Бочаров считает, что «*не художник Толстой герой этой книги. <…> Герой этой книги — Толстой-семьянин и чувственный человек, божество яснополянского рая и его разрушитель, и во всём этом крупном образе — человек религиозный и философский. Такого героя мы получаем от Павла Басинского и о нём узнаём от автора много. Только не о Толстом-художнике…*» На этом аспекте фигуры художника Бочаров и сосредотачивает внимание, сопоставляя Толстого с Гоголем, сравнивая отход от художественного слова к слову прямому и личному и того, и другого.

Провокативно название работы Юрия Барабаша «Своего языка не знает…», или Почему Гоголь писал по-русски?». Исследование магии творчества украинского классика русской литературы в этнолингвистическом аспекте, с учётом особенностей ментально-языкового ракурса и сложных процессов русско-украинского культурного и литературного диалога, несомненно, будет интересно всем гоголеведам и просто почитателям творчества Гоголя.

В разделе «История идей» многогранно талантливый Евгений Абдуллаев, выступающий на этот раз в ипостаси литературоведа, рассуждает о новом издании «Очерка развития русской философии» Густава Шпета. Сергей Тихомиров доказывает, что рассказ Чехова «Дама с собачкой» в каком-то смысле ницшеанский, углубляясь для доказательства этого положения в историю нового времени. Владимир Кантор в статье о магических героях и тоталитарном будущем проводит параллель между гофмановским Крошкой Цахесом и Смердяковым. Тема магии рассматривается им на примерах произведения Томаса Манна «Марио и волшебник» и «Фауста» Гёте.

Рубрика «Лица современной литературы» открывается статьёй Ольги Осьмухиной о Людмиле Улицкой. В начале статьи критик определяет писательницу как «серьёзного автора», чьи произведения «вызывают неизменный массовый интерес, ознаменованный высокими рейтингами продаж». Хотелось бы более подробного исследования феномена читательской популярности Улицкой, явно обусловленного не только «умением доступно говорить о вещах серьёзных», но критик уходит от этой темы, останавливаясь на «мысли семейной» в творчестве Улицкой. В конце Осьмухина говорит о том, что Улицкая «замолчала», однако ставить крест на её художественном творчестве преждевременно — статья вышла почти одновременно с новым романом писательницы «Зелёный шатёр», которому ещё, несомненно, предстоит критический анализ.

Статья Сергея Белякова «Человек бунтующий, или Марина в Зазеркалье» посвящена сопоставлению раннего и позднего творчества Марины Палей. Интересен ход журнала: публиковать две перекрёстных статьи на одну тему, сопоставляя разные точки зрения. Так, две работы в номере посвящены Марине Вишневецкой: Дарья Маркова в статье «Вкус слова» рассуждает о её творчестве в целом, а Екатерина Иванова («Столкновение с иным») анализирует отдельное произведение «Опыты любви».

Тему жанра продолжает статья Владимира Козлова, лауреата премии «Вопросов литературы» 2010 года за лучшие выступления по современной литературе — «Использовать при прочтении. О жанровом анализе лирического произведения». Критик иллюстрирует свои рассуждения жанровым анализом стихотворений Олеси Николаевой и Бориса Слуцкого. Проблему жанра исследует и главный редактор журнала Игорь Шайтанов, открывая читателю творчество Ярослава Смелякова с совершенно неожиданной стороны.

Интересна статья Артёма Скворцова о межтекстовых связях с предшественниками в поэзии Олега Чухонцева: правда, порой несколько казуистично выглядит попытка «упаковать» заведомо вторичные стихи, выдав стилистическую и интонационную несамостоятельность за органичную связь с традицией — оттого статья порой носит характер расследования. Раздел «Филология в лицах» посвящён работам Н. Тамарченко («Поэтика Бахтина») и А. Холикова «Плод занимательной науки. Из размышлений над жанром биографии литературоведа» (о недавно появившейся монографии Н. Панькова «Вопросы биографии и научного творчества М. Бахтина»). В рубрике «Портретная галерея» Мина Полянская вспоминает о своём преподавателе, литературоведе и критике Науме Яковлевиче Берковском, воссоздавая атмосферу взаимоотношений в литературном сообществе тех лет. Рубрика «Над строками 1-го произведения» посвящена композиции и архитектонике «Доктора Живаго» (В. Тюпа). Материалы о Киммерии Максимилиана Волошина (Б. Полетавкин, Н. Мирошниченко, О. Байбуртская, И. Палаш) составили раздел «Литературный музей». В статье «Проволока над током памяти» Лев Аннинский пишет о Нине Королёвой, а Вл. Кривонос — об освещении Юрием Манном жизни и творчества Гоголя.

Название рубрики «Книжный разворот» говорит само за себя, а под заголовком «В шутку и всерьёз» Рафаэль Соколовский воспроизводит подробности словесной дуэли Ленина и писателя, сатирика Аркадия Аверченко.

«Интерпоэзия»:
эмигрантское и неторопливое

В журнале, выходящем в Нью-Йорке с 2004 года, преобладает поэзия состояний с интонационной медлительностью и отличительными чертами эмигрантской линии. Номер 3 (2010) открывается обширной подборкой Андрея Баумана, поэта, несомненно одарённого, мастера передачи тончайших деталей и природных состояний. Подобно Мандельштаму, поэтом движет стремление «постигнуть всего живого ненарушаемую связь». Правда, мандельштамовское влияние — не только семантическое, но и интонационное — порой отдаёт подражательностью. Когда будет преодолено это влияние (от прямых реминисценций — *«колосьями шумит у изголовья»* в концовке стихотворения, *«что кровь по венам движется любовью»*), когда уйдут тривиальные, общепоэтические начала вроде *«Человек выходит из дома, / собираясь купить к столу немного вина и хлеба»* или слишком опрощённые концовки (*«и цельный напролёт распечатленный мир / уловлен в этот миг и без остатка явлен»*) — тогда, на мой взгляд, Андрей Бауман имеет все шансы состояться как поэт, обретший собственный голос.

В стихотворении живущей с 1991 года в США Ирины Машинской «Книга» — черты, свойственные современной эмигрантской поэзии: некоторая интонационная вялoватость и лексическая неуклюжесть (*«нарядная, у стола — скатерть в сто ватт — открыта / дверь, с порога я вижу вазочки и закуски / будем с тобой чай из чашек московских»*), словно продиктованная отлучением от родной языковой стихии; географическое разделение на «здесь» и «там» с уходом в метафизическое измерение:

Там волна волну залатает, фольга золотая
это ещё не точка, это лишь запятая

там вода воду тешит, волна волну утешает,
и что ещё не бывало, уже бывает

Сродни Машинской и Светлана Мамедова, родившаяся в Ташкенте, но в настоящее время живущая в Сиэтле (США). Несмотря на талант, остро чувствуется отсутствие или недостаточность литературной среды, вынужденная отстранённость от русской стихотворной традиции. Иногда эта отстранённость нивелирует художественное значение стихотворения ввиду композиционной и рифменной небрежности, не ощущаемой автором:

Шагами обмануть пространство
Терпеньем высветлить печаль
Оставить след средь многих строчек
Словами скрыв значенье точек

По-восточному неторопливы, размеренны стихи Данила Файзова — отправной точкой лирического сюжета становится мгновение, словно выхваченное из городской суматохи и символизирующее возможность подумать о смысле жизни.

А когда ты память словно пиджак
Повесишь на спинку стула
На семи ветрах прилетят к тебе молодые гости
и предстанет мир муравейником или ульем
оставляя в прошлом свои вопросы

Жизни, как водится, сопутствует её оппозиция, присутствие которой выражено в стихах Файзова различно: так, в интересном стихотворении о диалоге Москвы и природы столица побеждает природу в споре, возвышаясь, но и идентифицируясь с ней.

москва отвечает на то я здесь
что тебя-то спросить забыли
оттого что ты это я и есть
если вдруг кому непонятно
и велит столица звонить и петь
и стоят солдатики оловянны
и у них на кокардах-погонах пятна
а в руках боржом сулугуни вина
и батон нарезная смерть.

Юсуфа Караева можно назвать поэтом тонкой душевной организации: мотивы обиды и непонимания человека в меняющемся мире повторяются в его подборке. Непонимание — в дидактичном стихотворении о ребёнке и взрослых, смотрящих на него с высоты возрастного полёта; непонимание — в разговоре с любимой, на признания отвечающей «я тоже». Стихи балансируют на грани верлибра и лирической прозы — часто возникает не совсем мотивированная расстановка межстрочных пауз с одновременной прозаической нарративностью.

Ты быстро обижаешься на то чего нет
На твою собственную обиду
Как потерянная игрушка
Лежащая под кроватью несколько дней
Твоя недосказанность чувств и нежелание

Юлий Хоменко — мастер короткого ироничного пейзажа. Подборка в «Интерпоэзии» получилась в каком-то смысле космополитичной: замкнутость побуждает лирического героя к искусственному, порой метафизическому расширению пространства. Снега Вены осенней — те же, *«что метут на Москву с Енисея»*, сады и парки Вены напоминают Петербург. За внешней лёгкостью восприятия — тоска по родине, которая, как известно, «давно разоблачённая морока». В стихотворении про облако — мотив вынужденной заброшенности в чуждый мир:

Впрочем, что ж разводить художества? —
В синь забросили, не спросили.
А оттуда — просёлков множество
По Бразилии, по России.

Эмигрантскую линию продолжает и Александр Мельник, живущий с 2000 года в Бельгии. Неуют в чужой стране обуславливает и перевоплощение в другой облик, и горестные признания:

Помешала карма мне стать котом,
не мечтать о бренном и о пустом —

кувыркаться, мурлыкать и щурить глаз,
да консервы из банок съедать за раз.
Сбили с толку кочевника миражи.
Я не должен, дружище, не должен жить.

Стихи Олега Вулфа рассчитаны на погружение в определённую атмосферу, более важную, чем формально-логическая выстроенность: трудноуловимый поток звуково-ассоциативных связей ведёт через кочки и зияния смысла.

Узкую песню тянут, что было сил зажмурясь, сжав кулаки, из ртов.
Керосиновый луч подними, освети их лица истцов.

Песней обнесена на свету оса. Свинчена в ось пыльца,
спасена, к вечеру лишь осыплется.

Зыбкими ассоциативными связями пронизана и подборка Гедалия Спинадель, где преобладают в основном верлибры, пронизанные генетическим ощущением рода:

Ковш экскаватора
с налипшею землёй
Девчонка тонкая
Бегущая в метро по переходу
Церквушка жёлтая
Чья колокольня высоко
Свой крест несёт
Среди желтеющей листвы и голых веток—
Родня моя в пространстве утра

Следом идёт поэтическая проза Маргариты Меклиной «Совы Вей-вея» об уничтожении выставки художника-авангардиста в Шанхае, предваряемая авторским предисловием. В разделе «Verba poetica» читатель найдёт небезынтересную статью Владимира Гандельсмана о Софии Парнок. Там же—мудрая и точная статья Елены Игнатовой «Кто мы? Ленинградский андерграунд семидесятых», написанная почти тридцать лет назад и напечатанная в самиздатовском журнале «Обводный канал». Вопросы, затрагиваемые в статье, гораздо шире названия—о литературе вообще, связи её с традицией, конформизме и нонконформизме. О поэзии самой Елены Игнатовой дельно и проникновенно пишет русский поэт, живущий в Иерусалиме, Анатолий Добрович; в разделе «Новые книги» опубликована и рецензия Евгения Абдуллаева на книгу Игоря Меламеда «Воздание». «In memoriam» посвящён памяти Анны Яблонской—драматурга, поэта, автора «Интерпоэзии», погибшей при теракте в аэропорту Домодедово 24 января 2011. О ней вспоминает Виталий Науменко, а Виктор Иванiв посвятил памяти Яблонской стихотворение—на удивление художественно состоятельное и не тянущее на альбомное, что нехарактерно для посвящений.

Говоришь объедающий голод
говоришь что всё просчитал
и енота ожоговой трогая
из плоящейся раны достал

и на древо с его каруселью
календарик дарёный глядит
над сушёною ссученой елью
той что буквой засохшей кроит

<…>

Также в журнале опубликованы переводы Дана Пагиса (классика современной ивритской поэзии, 1930–1986) Александром Барашем и новый перевод с английского Владимиром Ермолаевым поэмы Томаса Элиота «Полые люди».

Юлия Балабанова

Забылись над бездной

Замри… Смотри: твоя рука застыла на гитарной глади.
Не убирай её пока… Хочу попробовать в тетради
Её нарисовать… Вот так. Нет, не смотри!… смотри на руку,
Под кожей движется по кругу, пульсируя гитаре в такт,
Живая жгучая волна… Смотри: рука твоя бледна,
И по рисунку вздутых жил я разгадаю, как ты жил,
Как бил ладонью по стеклу, пытаясь достучаться внутрь,
И как на пепелищах утр руками разгребал золу.
Как сжать в кулак ладонь пришлось… Но в тонких пальцах нежным током
Та дрожь, когда ты ненароком дотронулся моих волос…
И как она на гриф гитарный легла, молчанью вопреки.
Замри… Не убирай руки…

Тайный гербарий

Память беседует с нами на мёртвой латыни.
Время куражится, наши эпохи листая.
Прах обращается в хлам, в сувениры—святыни.
Птица не помнит гнезда, уносимая стаей.

Колос не помнит зерна, из которого вырос.
Прошлое—сон. И его не поймаешь с поличным.
Память хрупка и прозрачна, как древний папирус,
Хоть долговечна, как он, и, как он, символична.

Память жестока и так своенравна. Но в паре
С ней—ускользающей, тающей и бесполезной—
Я собираю упрямо в свой тайный гербарий
Зёрна, колосья и птиц, что забылись над бездной.

У женщин должны быть дети и длинные волосы
Бывают, конечно, с короткими волосами.
Бывает даже, что вроде бы им идёт.
Но ведь короткие, согласитесь сами,
Это же вызов. А длинные—наоборот.

С детьми сложнее. Бывает, не вышли дети.
Их просто так не найдёшь, не купишь за деньги.
А надо платить всегда намного дороже—
Жизнью другой. И собою другою тоже.

Мир больше не бьётся на чёрно-белые полосы.
Становится проще. Или наоборот.
У женщин должны быть дети и длинные волосы.
Можете спорить. Но с верой не спорят. Вот.

Сомнамбула

Сомнамбула, спящий пророк,
Босыми ступнями по полу,
Крещенский не чувствуя холод,
Шагаешь в назначенный срок

Навстречу светилу. Очнись!
Твои небеса под запретом!
Ты тянешься вверх и при этом
Безудержно падаешь вниз.

Полёт твой не больше, чем сон.
Его траекторию зная,
Шумит голубиная стая,
Испуганно взмыв под балкон.

Но шаг безвозвратный вовне
Ты сделал—во сне, наяву ли—
И голуби шеи свернули,
Теряя твой след на Луне.

Когда темно в душе поэта,
Как тень, черны его стихи.
В них нет ни запаха, ни цвета,
Они пустынны и глухи.

И, многократно отражаясь,
В них черноточат злость и страх.
Земля холодная, чужая
Глядит на нас в его стихах.

Лишаясь музыки и света,
Всё гибнет, прикоснувшись к ней.
И тёмная душа поэта
Чем одаренней, тем страшней.

Душа, как нищенка, нагая,
Решила помогать другим,
Поскольку проще, помогая,
Себя не чувствовать нагим.

Любви разбрасывая семя,
Она рассказывала всем,
Как просто, став любимой всеми,
Себя не чувствовать совсем…

Из цикла «Графоманки»

Работала Клавдия Яковлевна
Учителем в среднем звене.
Тоску свою Клавдия Яковлевна
Ночами топила в вине.

Но были за Клавдией Яковлевной
Ещё не такие грехи—
Почтенная Клавдия Яковлевна
Украдкой писала стихи!

Бывало, у Клавдии Яковлевны
Контрольная или «окно»—
Задумалась Клавдия Яковлевна,
Уставилась молча в окно…

Директор ей: «Клавдия Яковлевна,
Нас вызвали в райисполком»,
А дети ей: «Клавдия Яковлевна,
Колбаскин опять под столом!»

Воспрянет тут Клавдия Яковлевна
Кубанских томатов красней—
Не трогайте Клавдию Яковлевну,
Поэма рождается в ней!

Она была голодною
И бедною была.
И платьице немодное
Истёрлось добела.

Нелепая, неверная,
Без связей деловых,
Стихи писала скверные
И скверно пела их.

И жизненной изнанкою
Свой краткий век жила,
И в подворотнях с панками
И пела, и пила.

Цвели цветы неяркие
В бесхитростной душе.
Лишь панк поёт под аркою,
Где нет её уже…

Пускай же всем отплатится
Несчастное житьё!
И выцветшее платьице,
И худенькие пальчики,
Углы чужие, съёмные,
И спившиеся мальчики,
А самое-то главное—
Как провод, оголённая,
Никем не оценённая
Поэзия её!

Когда на обрыве стоишь речном
И сердце твоё звенит,
И вечность ты чувствуешь за плечом—
Он рядом с тобой стоит.

На шумной пирушке сквозь гам и смех
Не разобрать ничего,
Но вдруг накрывает молчанье всех—
И это голос Его.

Он был вместе с нами лишь миг назад—
Невидим, но ощутим.
И всё, что хотели бы вы сказать—
Уже подумано Им.

На ярмарке этой мы все равны,
И каждый здесь оценён,
Но всё, чему мы не найдём цены—
Одно из Его имён.

Инкогнито

Когда на князя находил подобный стих, он облачался в серый редингот, надвигал до бровей широкополую шляпу, и каждый, кто встречал его в таком виде, понимал, что князь вышел «инкогнито» и узнавать его отнюдь не следует…

Э. Т. А. Гофман
«Житейские воззрения кота Мурра»

У меня такой сегодня стих:
Я надену серый редингот,
Нахлобучу шляпу до бровей
И пойду инкогнито гулять.
Будут думать: «Кто это идёт?—
Что-то мы не видели таких…»
Я же затанцую—гоп-ля-ля!,
Прихлебнув из горлышка портвейн.

Я смогу смеяться и кричать,
Я смогу французский петь шансон
Голосом, каким его поёт
Серж Гинзбур или Эдит Пиаф.
Захочу—пройдусь и колесом,
Не страшась испачкать редингот!
Лишь боюсь, что, вверх ногами встав…
Шляпу потеряю невзначай.

Артём Трофимов

Пламя по имени Время

Из дневника

Жизнь — комната, в которой идёшь с завязанными глазами, — входишь в неё через дверь, медленно пробираешься наощупь вдоль стенки, спотыкаешься о шкафы и, когда уже стенка подходит к концу, нащупываешь собственными руками ту самую дверь, через которую вошёл.

Современный человек всё больше напоминает мне семя одуванчика, чьё будущее полностью зависит от ветра, и, вместо заботы о будущем, оно лишь гадает о нём.

Рвалась бумага в клочья и разлеталась по всему дому. Ведь даже белую, как снег, бумагу жестокий мир создаёт для того, чтобы люди написали на ней чёрные буквы.

Как приятно иногда провести рукой по краю бумаги, которая разорвана в порыве чувств, а не по остро отшлифованному стандартному заводскому её краю.

Лист с моим детским стишком…

Дворник мечет бескорыстно
Мётлы в сердце сентября.
Он сметает эти листья,
Как обиду на тебя.

Было если бы так просто:
Позабыл — из сердца вон!
Отчего же так несносно
По утрам проходит сон?..

Что ж, мы, люди, не безгрешны.
Кто же ангел есть из нас?
Отчего обидой вешней
Нас ломает сей же час?

Вся жизнь — обман. И все мы в ней — вруны.
Мы все, бессовестно скрываясь от луны,
Как реки мутные, в житейской мгле течём…
Где ж устье? Где исток? Речные валуны?

Будет вновь под стопою моей борозда,
Буду к звёздам лететь, и хмельная звезда
Обуздает мой разум — и врежется в зубы
Бедолаге Пегасу стальная узда…

Как осенний листок,
Тихо с ветром играет
Лист с моим детским стишком.

Не могу я сказать ничего:
Ведь нарушат слова
Первозданную тишину.

Первый снег в сентябре.
Веет холодом хмурым.
И всё же, как рад народ!

Выползла черепаха
Из-под панциря своего.
Как же он будет теперь?

Что же сожгло
Эти осенние тополя?
Пламя по имени Время.

Новое утро.
Наверно, и солнце
Вздыхает со сна.

Придорожная лужа.
Не замерзает она
От осеннего снега.

Александр Вавилов

Огненный шар

Гоголь

Мёртвый том вторых душ. И в котельной темно.
Гоголь вышел во двор. Баррель спирта был выпит
За пятнадцать минут. Всё давно решено…
Это бегство в Москву словно «Бегство в Египет».

Пусть холопы молчат под еврейскую речь
И цыгане гурьбой провоцируют Бога
На глобальный гипноз. Но уже не сберечь
Популяцию смысла внутри диалога.

Долговязый ямщик, отрицающий смерть,
Припаркует коней у кладбищенской стойки,
И хозяйка пивной нанесёт на скатерть
Поросёнка, десерт, буржуазные слойки,

Восемь рябчиков, семь кружек нефти, и шесть
Кружек нефти времён аравийской добычи…
Чтоб хоть в пляс, хоть вразнос. Или просто поесть.
И стихи посвящать потребляемой дичи.

Никакой новый том не поможет принять
Полоумных гостей — желтоглазую погань.
Гоголь вышел во двор… от и краткой до ятъ
Куролесил и пел, ибо кто, как не Гоголь?

Гоголь шёл мимо тьмы, то есть как бы сквозь тьму,
То есть прямо по тьме весь как будто из морга…
И сверчки-светлячки улыбались ему
Нарочито назло, принудительно долго.

Мёртвый том вторых душ закоптил статус-кво.
Гоголь вышел во двор — в безрассудство и в глину,
И хозяйка пивной догоняла его,
Чтобы бросить упрёк в безупречную спину.

Огненный шар

Это судьба. Время течёт вспять.
Огненный шар. Дна у Земли нет.
Бог не придёт. Некуда здесь встать.
Тем, кто в огне, трудно любить свет.

Тем, кто в огне, проще познать страх.
Тем, кто в огне, сложно принять дым.
Нечего ждать. Даже душа — в прах.
Некого ждать. Он не придёт к ним.

Он не найдёт в этом огне путь.
Как находить, если пути нет?
Скрылась в дыму та, что почти суть…
Это «почти» суть обратит в бред.

С этим «почти» не заглянуть встарь…
Как постареть — время течёт вспять.
Он промолчит. Мысль облетит гарь.
Он бы сказал, если б умел врать.

Швея

Швея курила и пила кагор,
И шила срок бездомному коту,
И выходила в тёмный коридор
С неоновым фонариком во рту.

Потом швея стояла у двери,
Потом швея стояла у окна…
Но что творилось у швеи внутри
Никто не знал. Особенно она.

Потом швея снимала бигуди,
И улыбалась, глядя на сервант.
Всё лучшее осталось позади —
Ямайка, Никарагуа, Тайланд…

А впереди — один сплошной Тунис,
И множество гавайских негритят.
Теперь уже бухать помойки близ
Красноармейцы ей не запретят.

А ведь на швейной фабрике в Торжке
Она была когда-то на виду!
И пела на швеином языке,
И вкалывала только за еду.

Потом она отбилась от руки,
Похитила со склада акваланг,
И стала жить в землянке у реки,
И каждую субботу грабить банк.

Бобры в ней отмечали прыть и стать,
Когда она купила им гамак,
И разрешила акции скупать
На рынке обесцененных бумаг.

Швею Венерой звали моряки,
Но террористкой в аэропорту…
И вот теперь она в конце строки
Сидит и шьёт. Бездомному. Коту.

Корабли

Комната, прокуренная нами.
Сжатый воздух. Лампочка в пыли.
На обоях синими волнами
Море размывает корабли.

Из колонок слышен тембр Стинга.
Фоном. А во взгляде — корабли.
В общем-то, обычная картинка:
Волны плюс отсутствие земли.

По обоям движется цунами,
И прибой вливается в отбой.
Комната, прокуренная нами…
Пустота, воссозданная мной.

Констанция

Нет, Констанция, констант отныне нет.
Есть фонарь, и есть бутылка вискаря.
Мне пятнадцать. Я не старше. Яркий свет
Надо мною. Это мягко говоря.

Ты, казалось бы, запуталась в делах,
Но и я за это время встрял в долги…
Я всё чаще не танцую на балах
И во взгляде множу степени тоски.

Понимаешь, мне давно плевать на то
С кем ты раньше не спала, а с кем спала.
Я такой же ненормальный, как никто,
Я кормлю себя объедками стола,

Я расклеил облигации на дверь,
И на флюгер, и на спину ямщику…
Никакой дуэльный кодекс мне теперь
Не поможет возвратить себя в строку.

Никакой дуэльный кодекс мне уже
Не расскажет, чем для пули стал полёт.
Я застрял на самом крайнем рубеже…
Я уверенно не тот, не тот, не тот.

Дорогая, мне давно пятнадцать лет,
Я в старение не верить устаю.
Я из всех к усадьбе пригнанных карет
Предлагаю выбрать самую твою.

Мы умчимся в обмельчавшие моря.
Я давно имею виды на талант…
Ты имеешь много больше и не зря.
Туш, Констанция! Отныне нет констант.

Части речи

Разбери на части прямую речь,
Позже—собери из неё такси…
Полагаю, поздно себя беречь,
Так что успокойся, не мороси—

Собери такси и прильни к рулю.
Как ты понимаешь глагол «прильни»?
Синтаксис, подсевший на коноплю,
Славился глаголами искони.

Поезжай по встречной, по кольцевой
Под предлогом «на», если «но» предлог.
Если подтвердится, что ты живой—
Сядешь в третий раз на четвёртый срок.

Завтра-послезавтра найдёшь ответ,
Стоило ли речь превращать в такси?
Стоило ли ездить на синий свет
Под предлогом «Господи, упаси»?

Под предлогом «Господи, сохрани»
Будешь биться чаще, чем я пишу.
Славился предлогами искони
Синтаксис, подсевший на анашу.

Посмотри на счётчик. Закрой глаза.
Каждый километр прими за фол.
Я не против скорости и не за…
Скорость—это самый чудной глагол.

По-любому врежешься в некролог,
Так что бесполезно себя беречь…
Если знак «Поэзия» не предлог—
Разбери на части прямую речь.

Мисс Марпл

Я зачем-то ночью ушёл из паба,
Плыл по Фрунзе, думал, аки богема:
Мисс Марпл—золото, а не баба!
Афродита пенного Бирмингема!

Хулиганы дико её боятся…
Ведь старушка очень легко одета.
Помню, как-то в серии триста двадцать
Гопник Томми плюнул в неё за это.

Мисс Марпл ходит в зелёной шляпке…
Ни инсульта нет у неё, ни тромба…
Вот бы дома мне находили тапки
Мисс Марпл и детектив Коломбо.

Не боится американских горок,
Не боится чёрного пистолета…
Если честно, в серии триста сорок
Байкер Билли плюнул в неё за это.

Как приятно, встречные видя лица,
Плыть вдоль Фрунзе гордо и молчаливо.
И, конечно, спьяну мне будет сниться
Мисс Марпл. К чёрту такое пиво!

Мисс Марпл, знайте, что на Урале
Кто-то плачет ночью под звездопадом.
Вы мне стали ближе агента Скалли…
Я Ваш Малдер. Истина где-то рядом.

Боярышник

А потом он пришёл нарядный,
Чтоб стоять в середине зала,
Но боярыня наказала,
Потому что дурной и жадный.

А потом говорит: «Налейте».
А потом: «Я устал всецело».
Но боярыня захотела,
Чтобы он ей сыграл на флейте.

А потом он решил в бараке
Сделать ставку на крокодила…
Но боярыня запретила
И ему, и его собаке.

А потом в перспективе лета
Он буянил, скажи на милость.
Но боярыня застрелилась.
И, конечно, из пистолета.

А потом он порвал гармошку,
Потому что любил культуру…
Но боярыня ведь не дура—
Застрелилась-то понарошку.

А потом и почёт, и слава…
Мало шансов и смысла мало.
Но боярыня загуляла.
Загуляла! Имела право.

Александр Петрушкин

Эфедрин

Death experiences. Internet.net

Алёне Мироновой

ну вот и дочикались завтра конец интернету
на все расстояния голос стоит воплощённый
а нас с тобой нет и пространны со света ответы
в лощёной бумаге завёрнутый голос прощённый
ну вот и дочикались завтра почти наступило
в его жестяные следы смотрит мальчик почти удивлённо
он снова один и это наверно красиво
хотя и хреново пока отъезжают вагоны
почтово они разрезают пирог моего доязычья
расклёвывать бельма хвалёной земле безымянной
и почва набухла пока я бухал некрасиво
расчёсывал эти почти электронные раны
ну вот и нугою запахло или кирзою
и письмам итить теперь долго почти что неделю
ну вот и дочикались—что же я завтра раскрою
на все расстоянья стою и в се счастье не верю
ну вот и дочикались нету коннекта искрою
во тьме летит ангел почтовый лиловый горбатый
и новый язык проявляется на негативе
непойманный в сети и импульсы и килобайты
попробуй молчать эти десять секунд
пока отключаются боты

пока осыпается синим слепой монитор—воскресенье
своё наблюдает мужик на вокзальном перроне
с почтово-багажным почистив несуетно перья
ну вот и дочикались ангел мир снова обширен
стоит сам в себе как будто мороз дед и новый
несчисленный век и человек неудобен
и этим прекрасен что смертен
и этим огромен

Эфедрин

о бармаглотище немого языка
подохшая как яблоня ослица
не вывезти ей под обстрел меня
и отчего как эфедрин мне снится
солёная под пятницу москва
похожая на воробья из детства
и лобзик вжик и вжик насквозь меня
а кажется что в кадре этом
местность
как бармаглотище ты мой немой язык
слепое яблоко—больнее мандарина
и как мне до тебя суметь дожить
поскольку жизнь всё ж оказалась длинной
поскольку наблюдая местность нас
пасёт и эфедрина не хватает
и на глоток чужого языка
которого никто ещё не
знает

Прекрасны дворники, когда и их земля
уже почти касается—коснётся—
как имярек пуглива речь—когда
она ещё в себе самой проснётся?
Прекрасны дворники и их несёт земля—
считалочка сбывается—живыми,
читают землю, и раз, два—четыре
выходят ангела из [счёркнуто] угла,
с той стороны, где загнутая клумба
всё сохраняет, дворники летят.
Звезда их видит и внутри смеётся—
до полседьмого. Вырастет гора,
и бригадир придёт или приидет:
прекрасен дворник, если упадёт—
а сверху бог такими их увидит,
что утро Бога в отчий приберёт.

сведёт с ума присутствие зимы
как время кости наши с фотоснимков
рентгеновских—и разве были мы
иначе как под капельницей—близко

уже сгорание всего всего всего
за минусом под ёлкой мандарина
попробуем представим вкус без вкуса
холодное немёртвое зверьё
(перечеркнул—поскольку не моё
переписал—поскольку нас не видно)

сведёт с ума наличие имён
необходимость называнья вещим
произношения с акцентом и нулём
перешиваешь шерстяные вещи

сведёт до насекомого меня
чтобы раскройщики увидели земля
ладони разжимает и клевещет
особенно как видно детвора
глотает нашу жизнь за нас—в бега
нас ударяет в небеса гремя

как перебежчик

скажу тебе нам не сойти с ума
пока лучи рентгеновские светят
насквозь отличия зимы и января
пережимают глотку говоря пускай
ещё немного много не заметят

и я сижу смотрю на этот луч
благодаря судью или присяжных
или подонка что велик-могуч
засунул в тело мне и с тем оставил

…чтобы покоились с миром палочки Коха
Светлана Чернышова

о господи мы выпав из тебя
летим как мошка из глубин сибирских
с урановой рудой в одной руке
с уродом восковым на колпаке
с трудом большим припоминая близких

мы край тебе свинцовая вода
вина виной но мне не удержаться
и главная задача у з/к
отсюда прыгнув
до тебя добраться

о господи храни свою руду
шугая вертухая и собаку
ураново здесь нам по глубине
твоей и прочее почти уже
не жалко

о господи в краплёном колпаке
хитином тельника зажаты в кулаке
урана Мельпомены пилорамы
о господи прощай как я прощу
законника что приведёт к врачу

но больше вероятие
что в яму

Отрывок

и тает как снег империя
с берега мир отходит
сказать всё легко и просто
плачешься не за бога
скажешь: пока и лёгким
станет не то просторно
не то неуместно вроде
это дело Харона

вот и река и лодка
речи скользит в фарватер
не попадая вечность
слышишь и пропадаю
нет никаких империй
а эта светла дорога
и неуместно стыдно
что тебя понимаю

и переплавив остров
апрелем горит в гортани
кого называешь богом
кого призываешь спиртом
чистым горит здесь дворник
и до травы сгорает
вывернув наизнанку берег
в квадрате смертный

или его отрывок

Водонос

стачивается голос трётся о тёплый воздух
хлебников выжил в омске выживет и другой
маленький в знаке рыбы тот ещё Иисусе
встречает у каждой двери всех воз
вращённых домой

перетирая кожи — он пожинает слово
хлебников этого города или владыко льва
стачивая подмётки в каждой рыбной тусовке
или же в хлевной лавке
произнося уа

вынесет да не примет — примет да не скоромно
да ничего не скушно — если цветёт свирель
у недоумка на пастбищах пажитях по другому
кажется птица с жабрами
внове летит в сирень

сегодня какой-то остров волны забили с моря
что не читаешь видится сколько то февраля
рваное словно рубище хлебникова файервола
время проснуться в этом восточном Генисарете
сколько спросили времени?
четыре и ночи и дня

стачивает как волос это густое время
а водонос приносит воду к вернувшейся рыбе
в древесность её гнезда
— она говорит нас вынут?
— он говорит не заметят
через считалку дна

Теотиукан

на всякий стиль найдётся адресат
зажгись метель — в две теменные доли —
размокшая газета от зимы
летит по ветру как на договоре

такой вот местный теотиукан:
горчица перец — в полведра разора
две первых доли здесь весна видна
а в третью — не смешна —
идём по пояс

в земле в песке в пожарах и в быту
а в небе, распивая альфу с бетой,
пшеницы корни молятся на ту
в живое мясо прорастай в деревню

на всякий штиль — мерзавец смотрит — камень
глотает вечность — тихая собака
поест метель здесь в теоти-подольске
в колодцах небо восстаёт из праха

Маргарита Ерёменко

Метелью на стекле

В спутанных твоих волосах—
Летние мои дожди.
Тише сиди на часах,
Тише смотри, говори…
Потому, если тронется лёд,
Ускользнёт моя рука, ускользнёт,
Ускользнёт—не будет «ждёт» и «не ждёт»—
Просто—пока.
В переплётах неподшитых—подол…
Будешь петь—любить и пить—голосить,
Потому что, если тронется лёд,
То подаренных сапог не сносить.
Тихо льётся под осиновый кол
Горемычная вода—пустота,
И качается легко-прелегко
Тень твоя.
Твоя. Легка-прелегка.

К вечеру затоскуешь,
носом почти клюёшь…
Это ж во сне такую
выплачешь, засмеёшь-
ся колокольцем в омут—
не отводи глаза:
бледная, как икона,
страшная, как гроза.
Вон в телогрейке колет—
выстиралось бельё.
Господи, слева колет,
справа—опять поёт.
Господи—ночью счастье,
а по утрам—грехи.
То есть по нашей части—
ангелы да стихи.

Прогретые солнцем луга,
И, солнцем твоим прогретая,
Легка, совершенно легка,
И неразличимо—где ты и я.

Ещё не разлиты водой,
Раскрыты и вместе сложены,
Листвой говорю, листвой,
И паузы невозможны, и…

И руки, и голова,
И небо, и облако белое—
Листва, говорю, листва,
И тело твоё загорелое.

1.

…до тебя из чужого сна—
коромыслом в руке—весна,
пересуды и груды посуды,
перекуры и боль одна.
Наклонилась и подняла.
Оступилась и полетела,
и раскрытое (скрытое) тело
полюбила и поняла.
Отложила. Дальше жила.
Только музыка не кончалась.
(Я люблю тебя. Я осталась).
Незажившие швы. Весна.

2.

До тебя—из чужого сна—
незашитые швы—весна,
бесконечные перекуры,
пересуды и боль одна.
Я не помню, как я жила,
я не знала, что я умею,
я люблю, я живу, болею,
твоя девочка, мать, жена,
твоя соль на сырую рану,
неизбежность, одна, одна,
я упала, я снова встану,
и взорвусь в тебе, как весна.

…почему-то ты пишешь—не я—
и бумага свинцом разливается
по рукам и по красным полям—
заикается,

как язык у женщины той,
снизу на луну лающей,—
пережёвывает: постой!
на́ ещё!

потому что темна земля
Богу, сыну и тополя.

Вечно вот так вот первая
Заговоришь Богу:
Господи, Господи, белая
женщина и дорога…
И в запотевшее зеркало
Выдохнешь слово в слово:
Я ничего не сделала.
Я ничего плохого.

Любовь моя — тоже мне девочка-
Что из угла глядишь, выскочка?
На этот лист в клеточку,
На клетчатый плед в дырочку?
Ходишь по льду босая — и
Дрожь оживает под кожею,
Смотришь, рукой касаешься,
На дочку мою похожая —
Чудо моё влюблённое,
Толку просить, чтоб думала —
Губёшками обожжёнными
На молоко дула бы…

Дивная моя птица
чистое моё поле
солнце на трёх спицах
логины и пароли
вон Симеон рыбачит
весь в преподобном снеге
мальчики девочки значит
рыбы и человеки
птицы и всё святое
будет тебе — и сына
пусть засыпает открою
ёжики и малина.

Стеной стоит вода —
погода / непогода —
снег движется туда,
где коромысло входа;

где я к тебе иду
по лаковому насту,
по липовому льду,
по ласковому счастью.

Воздушны снегири
и трепетно взлетают;
а мы всё говорим,
себя перебивая.

Такое в ноябре обычно снится —
в глухом бреду, на грани полусна —
метелью на стекле взлетают птицы,

и чудится не осень, а весна.
И чудится, что голос не надорван,
что капает, не время, а вода;

твой шёпот слышен в лабиринтах комнат,
а комната тепла, как никогда;
и Анджелина Джоли, как мадонна

на постере, и смотрит в провода,
где птицы свой полёт осуществляют
в полнеба. И садятся иногда.

А я боюсь, когда они взлетают.

А ты говоришь: «Вставай!»
Усталый, голодный, злой,
Как запоздалый трамвай,
Как утренний дворник с метлой,
Сгребая сухую листву,
Не ведает, что творит —
Сжигает во сне листву,
А это весна горит.
И кучи ворочая, и —
В горящей идёт траве —
Усталый слепой глядит,
И — выключает свет.

Тихая моя — ты,
Грустная моя — я.
Праздники и цветы —
Девочка сентября.
Осень спалит нас —
Господи, твоих рук!
Господи, твоих глаз!
Господи, твоих…

Выпуск подготовила
Анна Никольская

Сергей Махотин

Передай другому

«Жёлтая гусеница» *(http://adl22.ru/ycp/)*—сетевой журнал современной детской литературы. Начиная с настоящего номера, «День и ночь» на своих страницах будет знакомить читателей с лучшими произведениями, опубликованными «Жёлтой гусеницей». Поучительного и радостного общения, дорогие авторы и читатели, дети и взрослые!

Редакция «ДиН»

Мама присела на краешек стула и горестно произнесла:
— Андрюша, я старею…
— Кто бы говорил!—отозвался папа.—А что случилось?
— Не могу найти утюг. Вчера, кажется, я оставила его на подоконнике, а теперь его там нет. Его вообще нигде нет! И я совершенно не помню, куда его дела.
— Найдётся,—успокоился папа.
— Что значит—найдётся! Он же не кошка, чтобы погулять и вернуться к ужину. Ты ведь не гладил сегодня?
— Кошку?
— Очень смешно!—мама покачала головой.—Вадик тем более не гладил. Значит у меня начался склероз…
— Мама, не волнуйся,—сказал наконец я.—Наш утюг… В общем, его ещё не обменяли.
— Обменяли?—удивилась мама.—Кто его должен обменять? На что?
— На другой утюг,—тихо ответил я.
— Давай рассказывай!—оживился папа.—Это, должно быть, интересно.

И я рассказал. Но, между прочим, идею мне папа сам подал.

— Представляешь?—сказал он маме вчера.—Одна девушка написала на пакете «Дай почитать другому», положила туда прочитанную книгу, уже не помню какого автора…
— Что за девушка? С твоей работы?
— Да нет, с радиопередачи. Положила книгу в пакет и оставила на скамейке в парке. А через день—представляешь?—нашла на скамейке другую книгу, тоже кем-то уже прочитанную!
— И что?
— Как что! Её почин подхватили! Люди стали обмениваться книгами!
— Я бы из наших книг тоже много чего на скамейке оставила,—сказала мама.

Но папа продолжал волноваться.

— Ты не поняла! Книга была не дрянная, а хорошая. Тебе же хочется, когда ты что-то хорошее прочтёшь, со мной впечатлениями поделиться? Чтобы и я прочитал, правильно?
— Правильно. А ты вечно говоришь, что у тебя времени нет.
— Не сбивай меня, пожалуйста. Дело не во мне, а в девушке, которая хочет доставить другим радость.
— А иного способа дать почитать книгу у неё не было? Почему бы просто не предложить близкому человеку: «Светка, прочти—не пожалеешь!»
— А вдруг у неё нет такого близкого человека!—доказывал папа.—Мы-то с тобой любим друг друга, нам, можно сказать, повезло. А ей каково?..
— Ну ладно,—сдалась наконец мама.—Я не возражаю. Пусть твоя добрая девушка оставляет на скамейке книжки. Глядишь, и ей повезёт.

Этот папин с мамой разговор никак не шёл у меня из головы. Было интересно, что за книгу девушка оставила в пакете. И какую получила взамен. Наверное, тоже хорошую. Она её прочитает, положит в пакет и опять уйдёт. А кто-то увидит надпись «Дай почитать другому» и вскоре тоже станет участником этого странного книгообмена. Странного и, по-моему, замечательного!

Вот если б я обнаружил на скамейке книжку, я бы её себе не оставил. Честно! Даже самую интересную. Потому что я бы подумал о других людях, живущих со мной в одном городе. И мне бы тоже захотелось их обрадовать. Раньше не хотелось, а теперь очень даже захотелось!

Тут ещё что важно! Ты ведь не знаешь, кому твоя книжка достанется. Может, вон той толстой тётеньке, а, может, тому лысому парню, какому-нибудь пенсионеру или иностранному туристу. Но они уже для тебя не просто случайные люди. Ты как-то лучше о них начинаешь думать. И чем дольше книжка ходит по рукам, тем больше людей начинают лучше друг к другу относиться.

Вот это открытие! Мирового масштаба! Кончатся обиды и ссоры. Войн больше не будет. Планета станет садом, а математичка Любовь Мефодьевна перестанет на нас орать.

Нет, я просто не мог оставаться в стороне, когда происходят такие грандиозные события!

И тут мой взгляд наткнулся на утюг. Он стоял на подоконнике за занавеской, и в голове моей сами собой родились слова: «Дай погладить другому».

Идея с книжкой хорошая, подумал я, но та незнакомая девушка эту идею уже использовала. Зачем же я буду ей подражать? Утюг—тоже вещь полезная. Ведь столько вокруг народу в мятой одежде! Особенно у магазина…

Конечно, и телевизор бы сгодился—«Дай посмотреть другому». Но телевизор тяжёлый, и я бы его не дотащил. Пусть постоит пока.

Я завернул утюг в газету и приклеил скотчем записку «Дай погладить другому». Минут пять на неё потратил, выводя слова большими буквами.

Парк совсем близко от нашего дома, и ещё через пять минут я уже был там. Выбрал скамейку почище, пристроил тяжёлый газетный свёрток с запиской и сам сел рядом. Посидел немного ради приличия, встал и пошёл домой. Очень хотелось оглянуться—увидеть того, кто наклонится над утюгом и прочтёт: «Дай погладить другому». Но я сжал волю в кулак и топал вперёд с каменным лицом, как робот. Так что на меня самого вскоре начали оглядываться.

Вот такая вышла история, которую я маме с папой и рассказал.

Папа нахмурился и постарался сделать строгое лицо. А мама сказала:

—Вот ведь как интересно получилось! Ты мечтал осчастливить человечество, но огорчил родную мать. Так всегда бывает, к сожалению. У всех мечтателей в первую очередь страдают мамы.

—Но утюг ведь вернётся,—попытался я возразить.—Может быть, он будет даже лучше, чем наш старый.

—Может быть,—кивнула мама.—Но я опять его тут же должна буду отдать. Ведь при нём записка «Погладь и передай другому», разве нет? А затем, чтобы погладить тебе рубашку, я опять должна буду идти в парк? Так, что ли?

—А в парке такие же бедолаги в поисках утюга рыщут от скамейки к скамейке,—усмехнулся папа.—Наконец—удача! Вот он, утюг! Но он один, а желающих много. Ругань, само собой, потасовка, милиция приехала…

Я стоял как в воду опущенный. В горле пересохло. Моя мечта о цветущей планете разбилась вдребезги. И тут папа добил меня окончательно.

—Та девушка,—сказал он,—оставила на скамейке какую-то действительно хорошую книгу. А ты—старый утюг.

—Старый-то он старый,—вздохнула мама,—но худо-бедно работал. А теперь и такого нет. Между прочим, кто-то давно обещал мне новый купить.

—Будет тебе завтра новый утюг,—пообещал папа.

Мама улыбнулась:

—Нет худа без добра! Тогда пошли ужинать, неглаженные вы мои!

—Пошли,—согласился папа.—Неглаженным быть лучше, чем голодным. Правда, Вадька?

Я кивнул. А что мне ещё оставалось делать?

После этого случая я ещё несколько раз приходил в парк, чтобы проверить, не вернулся ли наш утюг обратно. Или какой-то другой. Но на пустых скамейках никто ничего не оставлял.

Правда, на одной скамейке я увидел однажды симпатичную кошку. Но она почему-то не захотела, чтобы я её погладил. Тем более, передал потом другому.

Игорь Шевчук

Разыгралась Непогода

Судью на мыло

Устроил мылу в ванне я
Вчера соревнование:
Какое смоется быстрей—
Хозяйственное?
        Детское?
Французское?
        Немецкое?
Медовое?
        Иль хвойное?
И натиск мыльных пузырей
Так сдерживал достойно я…

Жаль, только был всему судья
В конце мой папа, а не я.

Дырявая считалочка

Раз слизняк и два слизняк—
В грибе дырка точится…
Извините за сквозняк—
Очень кушать хочется!

Как хомяк потерялся

Шёл хомяк
        В пиджаке.
Но никто не знал о том,
Что хомяк
        В пиджаке.
Потому что с хомяком—
С хомяком
        В пиджаке—
Сам шагал я налегке.

Только я шагал ногами
По дорожке, по двору.
А хомяк шагал в кармане
И тихонько грыз дыру.

И прогрыз наверняка…
Потому что очень скоро
Одиноко вдоль забора
Шёл хомяк *без* пиджака…

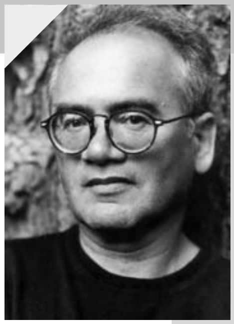
Разыгралась Непогода

Разыгралась Непогода.
Солнце спрятала в карман.
Сдула шляпу с пешехода
Загремела в барабан.

Нас из лейки окатила.
Спичкой чиркнула тайком.
А потом глаза закрыла
Нам тумановым платком.

Потому что Непогоде
От рожденья—только год.
И она ещё не ходит
В детский сад для Непогод.

Но пройдёт всего полгода—
Поведут её в Детсад
Там в послушную Погоду
Непогоду превратят!



Александр Кушнер

Баснописец Крылов и другие

Баснописец Крылов

Баснописец Крылов, баснописец Крылов,
Он в саду среди клёнов сидит и дубов,
А вокруг него звери и птицы:
Волки, цапли, медведи, лисицы.

Что за памятник чудный поставлен ему!
Было б грустно Крылову сидеть одному
Днём и ночью с раскрытою книжкой,
Но не скучно — с козой и мартышкой!

Мы из сада уйдём, а лиса и медведь
Танцевать будут, прыгать вокруг него, петь,
На плечо к нему голубь присядет,
И Крылов его тихо погладит.

Домашний кот

Кот уселся, как серая глыба,
Глаз не сводит с хозяйки в тоске.
Он уверен, что водится рыба
В холодильнике, а не в реке.

В холодильнике — вечная стужа,
В холодильнике — иней и лёд.
Холодильник прекрасен и нужен:
В холодильнике рыбка живёт.

Как ему растолкуешь ошибку?
Ведь не дикий — домашний же кот,
Вот нагнулась хозяйка — и рыбку
С нижней полки ему достаёт.

Дядя Коля принёс нам игрушку —
Заводную лягушку.
Чем-то эта игрушка похожа
На простую подушку.

Покосился на нас дядя Коля,
Молвил: «Скучно живёте!»
«Вот, — сказал он, — поскачет как в поле».
Сунул ключик в животик.

Затряслась, задрожала лягушка.
Он пустил её на пол.
С жутким грохотом, как погремушка,
Поскакала на лапах.

Дядя Коля вытягивал шею
И заглядывал сбоку.
На коленях он ползал за нею,
Удивлялся подскоку.

Он казался, сгибаясь гармошкой,
Нам то ниже, то выше.
Мы ещё посмотрели немножко
И тихонечко вышли.

Пенье

Мы сказали дяде Коле:
«Дядя Коля, спойте, что ли,
Спойте, что ли, что-нибудь,
Хоть немного, хоть чуть-чуть».

«Что ж вам спеть?» — ответил дядя.
Стал он петь, на нас не глядя.
То, что дядя спел для нас,
Называется «романс».

В нём слова такие были —
Жаль, что мы их позабыли:
Про вскипающую кровь,
про несчастную любовь.

«Вот, — сказала Таня с чувством, —
Настоящее искусство,
А не песни для детей!»
Мы согласны были с ней.

Неприятности

— Вы печальны и сердиты.
Может быть, мечты разбиты?
Может быть, у вас большие
Неприятности, печаль?
Вы глядите, как чужие,
Мимо всех, куда-то вдаль.
Может быть, страданья ваши
Можно чем-то облегчить?
Не хотите ль простокваши,
Лимонада, может быть?
Если горе, то какое?
— Ах, оставьте нас в покое.
Ничего мы не хотим.
Нас постригли! — говорим.

Кто разбил большую вазу?
Я признался, но не сразу.

Пусть подумают немножко,
Пусть на кошку поглядят:
Может быть, разбила кошка?
Может, я не виноват?

Кошка, ты разбила вазу?
Жалко серую проказу.
Кошка жмурится в ответ,
А сказать не может «нет».

Павел Калмыков

Чучеловечело

Димка с отцом весь день самоотверженно трудились на бабушкиной даче. Первым делом объели малину, готовую вот-вот осыпаться. Потом взялись мастерить пугало, потому что какой это огород без пугала. Димка предложил сделать пугало не одноногое, как видел на картинках, а двуногое. Папа, рассудив, согласился. Для надёжной остойчивости лучше бы даже и три ноги, но три ноги — это в самый раз для марсианского пугала, марсианских птиц пугать, а здесь требуется человеческое чучело.

— Чучеловечело! — уточнил Димка.

Обули чучеловеческие ноги в драные сапожищи-бахилы; напялили на крестовину размахаистый бабушкин халат; голову сделали из пластикового пакета, набив его сухими сорняками. Поскольку пакет оказался с косметической рекламой, то новорождённому чучелу достались выразительные глаза девушки-фотомодели. Жалко, свободной шляпы на всей даче не нашлось, отец решил в следующий раз привезти достойный головной убор, а пока соорудить на голове причёску из травы. Конец — делу венец, папа и сын обошли новорождённого хороводом, спели «Хэппи звёзды каравай», да и перешли к другим заботам. Отец взялся изобретать крючок для уличного туалета, Димка — переселять полезных дождевых червяков из навозной кучи, где их много, в цветочную клумбу, где жилищного простора сколько угодно. А потом ещё надо было покататься на велике с соседским Серёгой. А потом… да мало ли забот на даче?

А чучело бодро помахивало на ветерке халатными рукавами и глядело на мир удивлёнными глазами фотомодели.

Вечером бабушка решилась съездить на ночь в город по важным делам. А что? «Мальчики» на даче освоились, ужин им есть, где туалет — знают, не пропадут. А что электричества пока нет, телевизора, так это одну ночь потерпеть даже интересно.

— Не волнуйся, бабушка! Не волнуйтесь, мама! Всё устережём, — заверили «мальчики» с поцелуями. — Нас теперь, вон, пугало охраняет.

Без электричества и вправду было интересно. Полчаса папа зажигал керосиновую лампу, а потом ещё дольше экспериментировал, какой длины должен торчать фитилёк, чтобы пламя не гасло, но и не коптило, чтобы светило не синим и не оранжевым, а жёлтым. Эх, не было под рукой компьютера, чтобы свести результаты в таблицу и вывести формулу — была бы не диссертация, но хоть статейка. А смелый Димка совершенно один ходил в деревянный туалет, и ветер чуть не сдул Димку в кусты, и деревья шумели всё сильнее, и туалет днём был совсем рядом, а на ночь упятился куда-то в дальний угол дачи. А на обратном пути на Димкино темечко упала с неба большая мокрая капля и потекла по лбу на нос. Это была первая капля, а за ней подоспела бесчисленная орда капель — и давай лупить по листьям растений, по жестяной крыше, по стеклянным окнам, по грядкам и по клумбам, на радость новосёлам червякам. Потом комары, устав уворачиваться от капель, потянулись в дом, в тепло и сухо, да так обнаглели, что приняли хозяев за бесплатный ужин. В назидание наглецам Димка с отцом запалили антикомариную спираль, вскоре её дым заглушил запах керосина, и стало можно спать.

И папа заснул.

А Дмитрий слушал. Сопение отца. Бам-барабамы дождя. Скрипы косточек-досточек дачного дома. Шум листьев за стеной — точно так шипит картошка на большой сковороде и аплодисменты в телевизоре после речи президента.

Потом небо блеснуло в закрытые глаза, и гром пробежал через небо, как перестук огромного поезда, дёрнутого за шиворот. Дождь пошёл сильнее. И тут в окошко постучали. Нет, не показалось: постучали опять. Разбойники? А отец спит, наработался за день, что ему гроза, что ему разбойники. Да не разбойники — вежливо как-то стучат…

Смелый Димка встал и подошёл к окну.

— Откройте дом, пожалуйста, — послышался снаружи голос, негромкий, но вполне разборчивый, непонятно, мужской или женский.

— А кто это? — спросил Димка строго и недоверчиво.

— Да я же! Пугало. Тут гроза. Мне страшно. Впустите.

Димка выкрутил фитилёк керосиновой лампы подлиннее — по отцовой формуле — и посветил в окно. Оттуда с дрожащей мольбой таращились глаза фотомодели; и не просто капли — ручьи бежали по мятому нарисованному лицу. Надо же — испуганное пугало!

— Бедненькое! — Димка пошёл открывать дверь. — Заходи, не бойся.

— Я сниму сапоги на улице, — сказало пугало. — А то в них уже воды до половины. — И боком-боком, неловким приставным шагом вошло в сени. — Ой, хорошо тут, а в огороде так жутко, так одиноко. Как полыхнёт, как громыхнёт, как ливанёт. Спасибо, две ноги, а то бы не знаю.

— Бедненькое,— повторил Димка.— Где же тебе постелить?
— Да я лучше тут, постою у стенки. Ещё от печки тепло, обсохну за ночь. А утром — как штык буду на посту. Ложитесь, спите, не бойтесь ничего, я же с вами.

Димка засыпал и думал, что завтра надо придумать пугалу смелое имя. Эх, оно, оно. Чучеловечело.

Маша Лукашкина

Сколько слов известно киске?

Ковёр-самолёт приземлился в болоте.
Сто пятен теперь на ковре-самолёте!
Как вывести эти ужасные пятна?..
…Вы что!
Пылесос унесите обратно!

Старинную сказку навряд ли обманешь.
Опасны ковру пылесос или «Ваниш».
От них
(Возникает у нас беспокойство!)
Он может утратить волшебные свойства.

Скорее ковёр просушите на солнышке!
А нужен совет, обратитесь-ка к Золушке!
Вам скажет она, подметая дорожки:
«Насыпьте на пятна
толчёной картошки!»

А может, позвать Василису Премудрую?
И Бабу Ягу… И Русалку с Лахудрою…

Летят три сороки —
трещат, как трещотки:
«Тащите ведёрко с водою и щётки!»

Сколько слов известно киске?
Много их в кошачьем списке?
От кис-кис до берегись —
Тысяча!
(Включая *брысь!*)

Какое любимое слово у киски?
Нет, вовсе не «мяу»… (Хотя это близко!)
Другое у киски любимое слово.
«Мур-мур» — говорит она снова и снова!

«Мур-мур» — она ластится к бабушке Тане…
«Мур-мур» — умывается,— щёки в сметане,
«Мур-мур» — и свернётся клубочком на кресле.
«Мур-мур» и «мур-мур»…
Но однако же, если
Какая-то киска в обиде на мир,
Она говорит лишь короткое «фыр»!

Как зайчик стал белым

Начались холода —
Загрустил серый зайчик.
Лук под лавку убрал,
А морковку — в чуланчик.

Засучив рукава,
Сплёл кормушку для птицы,
Заготовил дрова,
Залатал рукавицы.

Щель соломой заткнул.
Крышу новую справил.
Постучал молотком —
Там подбил, там подправил.

А потом медвежат
Проводил до берлоги.
Переделал сто дел —
Ведь зима на пороге.

На себя поглядел…
«Я грязнее, чем хрюшки!»
Сам себя постирал
И развесил — за ушки!

О ручке, которая пишет на всех языках мира

Эта ручка для письма
Образованна весьма.

Пишет грамотно на русском,
На английском, на французском…

«Здравствуйте!», «О'кей!» «Мерси!».
И немного на фарси.

«Гутен таг!», «Шалом!», «Алоха!».
И на папуа неплохо.

Пишет письма по утрам
В Камерун и во Вьетнам,
В Австрию, в Италию,
На Кубу… и так далее.

Ручка просто молодец!..
Но расскажем, наконец,
Чья же умная рука
Помогает ей слегка,
Отсылает письма эти…
Вот его портрет в газете!

Вот — лауреат ста премий,
Член десятка академий,
Лучший из профессоров
Полиглот Иван Петров.

Владимир Бредихин

О пользе утренней пробежки

Ёж и дождь

Шёл в лесу осенний дождь,
Шёл по лесу мокрый ёждь…
Ой, не так.

Шёл по лесу мокрый ёж,
Шёл в лесу осенний дож…
Опять не так.

Был бы дождик просто дож,
Или ёждиком тот ёж,
То тогда, вполне возможно,
Был бы мой стишок хорош.
Всё!

Синий слон

На рисунке у Андрея
Синий-
Синий-
Синий
Слон.
Расскажи, Андрей, скорее:
Отчего же синий он?

Может, он
Плескался в речке?
Весь промок,
Продрог,
Устал,
Посинел,
Ему бы к печке,
Он бы снова серым стал.

Может,
К синему забору
Прислонился боком слон,
И ему
Помыться впору?
Стал бы снова серым он.

Тут Андрейка
Между делом
На вопрос
Ответил наш:
«Просто
Был в коробке целым
Только
Синий
Карандаш».

О пользе утренней пробежки

Явился в дом к Петрову грипп,
Чтоб заболел он и охрип,
Чтоб затемпературил,
Таблеткозамикстурил.

Тук-тук,
— Скажите, где Петров?
— Петрова нет с шести часов,
Он на пробежке в сквере,—
Сказали из-за двери.

Тогда грипп выбежал во двор
И в сквер залез через забор,
И побежал по лужам,
Ему Петров был нужен.

Бежал, бежал, устал, промок,
догнать Петрова он не смог.
Уселся на дороге,
Да и простыл в итоге.

Ну, а Петров, а что Петров?
Петров по-прежнему здоров!

Один учёный из Кентукки

Один учёный из Кентукки
От любопытства иль от скуки
Полез в большущее дупло.

Познаньем мира увлечённый,
С ногами влез в дупло учёный,
Да и застрял,
Не повезло.

Зато теперь нам всем известно,
Что в том дупле довольно тесно.

Я рисую Чудо-Юдо

Я рисую Чудо-Юдо
На листочке в уголке.
Два горба, как у верблюда,
Восемь пальцев на руке.

Полосатый хвост длиннющий,
Шерсть клоками с живота,
Вместо носа—рог страшнющий,
Ах, какая красота!

Сергей Георгиев

У нас, в пятом «Б»

Вася Пёрышкин из 5-го «Б», просто разглядывая карту, сделал важное географическое открытие.

Он установил, что река Волга вовсе не обязательно впадает в Каспийское море.

Возможно, всё как раз наоборот: Волга вытекает из Каспийского моря, распадаясь впоследствии на множество рек, речушек и просто ручейков, которые затем вообще бесследно пересыхают где-то на Валдайской возвышенности.

Нужно проверить как следует!

Когда нам раздали дневники с итоговыми отметками, у Мартышкина за первое полугодие оказались три двойки.

Уже на школьном дворе Мартышкин сказал «У-у-у-у!», размахнулся и швырнул ненавистный дневник как можно дальше.

— Восемьдесят два метра шестнадцать сантиметров! — сообщил потом учитель физкультуры Алексей Алексеевич. — Ещё никому на свете не удавалось забросить дневник так далеко!

И все в нашем 5-м «Б» посмотрели на Мартышкина с большим уважением. Как приятно учиться в одном классе с рекордсменом мира!

Однажды Пёрышкин с Константиновым прогуляли два урока.

— Я могу узнать, в чём дело? — строго спросила Елена Юрьевна, классный руководитель нашего 5-го «Б».

— Конечно, — ответил за двоих честный Пёрышкин. — Устроили себе небольшой праздник, Елена Юрьевна! В честь вашего дня рождения!

— Причём здесь мой день рождения?! — возмутилась учительница. — У меня день рождения летом, 9-го июля!

— Вот именно, летом, — согласились Пёрышкин с Константиновым. — Каникулы, уроков нет, особо не разгуляешься…

У нас, в 5-м «Б», очень любят поэзию. Мы даже всем классом выучили наизусть стихотворение Александра Сергеевича Пушкина «Зимняя дорога»:

> Сквозь волнистые туманы
> Прибирается луна,
> На печальные поляны
> Льёт печальный свет она.

Ну, и так далее. Каждый запомнил по строчке — и порядок!

Ленке Кадниковой досталось:

> Глушь и снег… Навстречу мне…

Вовчику Нефедьеву:

> Завтра, к милой возвратясь,

Хлопотов всё про какой-то колокольчик бубнил под нос.

А вот Лёве Яковлеву повезло. Он в классном журнале по алфавиту последний, 29-й. А строчек в «Зимней дороге» — 28.

Так что Лёва поэзию любит, а зубрить ему вовсе ничего и не пришлось!

У нас, в 5-м «Б», учится мальчик Вася Агапов.

Так вот, Василий обучил своего кота Мефодия сначала грамоте и арифметике, а затем привил интерес к точным наукам и аккуратность во всех делах.

Мяфик делает вместо Васи домашние задания, ходит в магазин за продуктами, а раз в неделю убирает в квартире и пылесосит ковры.

То есть, понятно, кот Мефодий в этой жизни не пропадёт.

А вот кем станет Вася Агапов, когда вырастет, пока неизвестно.

Одно из двух: либо большим балбесом и бездельником, либо великим дрессировщиком.

У нас, в 5-м «Б», одна девочка, Ксюша Емельянова, сочиняет стихи.

И ничего в этом нет смешного, все понимают!

Пушкин ведь тоже когда-то был маленьким!

У нас, в 5-м «Б», учится Юра Хлопотов.

Он по утрам занимается гимнастикой; всякий раз обязательно моет руки перед едой; всегда приходит в школу с выученными уроками и в ботинках, начищенных до блеска; знает наизусть пятнадцать, а то и все шестнадцать стихотворений Александра Сергеевича Пушкина; поёт в хоре вторым голосом; собрал коллекцию новогодних открыток; по субботам помогает маме прибирать квартиру; поливает цветы у себя в команате; уступает старушкам место в трамвае и троллейбусе…

Ой, да хватит уже!

Все и так знают: наш Юрка Хлопотов — инопланетянин!

За день, 26 октября, во вторник Валера Поповкин влюблялся ровно пять раз.

На уроке алгебры он был просто без ума от Лены Кадниковой, на ботанике по уши втрескался в Таньку Ерину, на физике… Ну, и дальше по списку!

Конечно, удобнее, когда любовь одна — большая, всерьёз и надолго.

Только… Только вот нет, нет у нас, в 5-м «Б», девочки, которая могла бы правильно подсказывать по любому предмету!

У нас, в 5-м «Б», один мальчик не умеет ни хрюкать, ни кукарекать!

И шевелить ушами тоже не умеет!

Потому что он — новенький, его к нам перевели из другой школы.

Ничего, научится!

В нашем 5-м «Б» учатся одиннадцать мальчиков.

То есть, в точности футбольная команда.

И наши мальчишки запросто могли бы поехать на первенство мира по футболу.

Но не поехали…

Чемпионом стала сборная Италии.

Самые смешные фамилии: Пончиков, Ватрушкин и Шанежкин.

В нашем 5-м «Б» таких учеников нет, но очень хотелось бы!

У нас, в 5-м «Б», учится Толик Пшеничников.

Дома у Толяна живёт в просторной клетке пожилой попугай по имени Аркадий Семёнович.

Этот хохлатый эрудит свободно разговаривает на 13-ти иностранных языках, глубоко и тонко разбирается в современной литературе, перечитал всю классику, просто обожает химические опыты, в свободную минуту любит поболтать о неразгаданных тайнах мироздания.

Толик Пшеничников и в школу приходит, чтобы хоть немного отдохнуть от своего попугая.

У нас, в 5-м «Б», 27 учеников.

Коля Огородников всегда в автобусе уступает место старушкам.

Вася Суворов точно так же ведёт себя в трамвае, а Боря Кнопкин — в троллейбусе.

Лидка Строкова вышивает болгарским крестиком картины русских художников.

Таня Ерина побеждает подряд на всех районных и городских олимпиадах по географии.

Лёха Дядюшкин собирает значки с изображением собачьих морд.

Валера Зиндеев без лишних напоминаний помогает маме по дому…

Короче, когда мы вместе, все 27 учеников 5-го «Б», получается просто какой-то собирательный портрет героя нашего времени!

Рустам Карапетьян

По тропинке утром рано

Лучшая в мире еда — конфета
Или зубная паста.
Лучшее время года — лето,
Это любому ясно.
Лучшая в мире собака — наша,
Хоть она и дворняжка.
Лучшая в мире принцесса — Маша,
Хоть и зову её — Машка.

Плюх — упала с неба Жучка,
Плямс — упал за ней Барбос.
Это дождик из собачек
Непородистых пород.
Открывай скорее зонтик,
А не то по голове
Прилетит огромный Шарик
Или маленький Трезор.
А ещё: перед подъездом
Отряхни с себя щенков.
А не то как заведутся,
И не выведешь потом.

Я совсем забыл, что ужин,
Что уроки у меня.
Мы вдвоём играли в луже:
Отражение и я.
В небе мы парили долго
И гонялись за волной.
А потом оно промокло.
Ну и я пошёл домой.

Интересно, если кошке
Мы намажем спину маслом
И получим в результате
Длиношерстный бутерброд,
А потом подкинем к верху,
Чтобы вниз она упала,
То каким же местом на пол
Бутер-кошка упадёт?

Вот и снова доктор зубы
Вырвал мне без лишних слов.
Вот и вновь пошло на убыль
Поголовие зубов.
И опять кручина лихо
Душит жабою грудной.
И шепчу я в небо тихо:
— Ну за фто ты так фо мной?

По тропинке утром рано
Через мостик деревянный
Сквозь молочные туманы
На зелёные луга
Шли бараны, шли бараны,
Шлибараны, шлибараны,
Шлибаранышлибараны
И четыре пастуха.

Михаил Яснов

Чудетство

Во саду ли, во поле…

Во саду ли, во поле,
В городе Укрополе,
Где торчит стручок дозорный
Над оградой помидорной,
За салатной слободою,
За гороховой горою,
За морковным мокрым долом,
За чесночным частоколом,
Под светлицею свекольной
Сытый, праздничный, довольный,
Лёг на розовый бочок
Кабачок!
Держит листик на весу,
Пьёт медовую росу,
А за шиворотом греет
Полосатую осу.
До чего же он хорош—
От земли не оторвёшь!
Лучше что-нибудь другое
Мы сегодня поедим,
А на этого героя
Мы сегодня поглядим.
Вот какая грядка—
То-то
Глазу
Сладко!

Крокодилёнок

После дождика
На грядке
Разлеглись крокодилятки.

У двоих—
В пупырышках
Влажные бока,
А третий,
Самый маленький,
Гладенький пока.

Он весь день лежит в тени,
Он играет с солнцем в жмурки,
Хочешь—
Палец протяни
И погладь его по шкурке!

Хорошо висеть над грядкой,
Выбрав тёмный уголок,
И светиться шкуркой гладкой,
Как зелёный огонёк…

Вот какой крокодилёнок,
А недавно—
Из пелёнок!

Маленькая прачка

— Серый филин, пыльный филин!
— Гу-гу-гу?
— Хочешь, чистым станешь, филин?
— Гу-гу-гу!
— Будешь, филин, ты намылен!
— Гу-гу-гу?
— Ты доволен будешь, филин!
— Гу-гу-гу?
— Я полью тебя водою,
С порошком тебя помою,
Накрахмалю, выжму крепко
И повешу на прищепку.
Будешь, филин, ты не пылен,
Слышишь, филин?
Где ты, филин?..

Ни в лесу, ни на лугу—
Ни гу-гу!

Чудетство

В Чудетство откроешь окошки—
Счастливень стучит по дорожке,
Цветёт Веселютик у речки,
И звонко поют Соловечки,
А где-то по дальним дорогам
Бредут Носомот с Бегерогом…
Мы с ними в Чудетство скорее войдём—
Спешит Торопинка под каждым окном,
Зовёт нас глядеть-заглядеться:
Что там за окошком?
Чу!.. Детство!

Крапивница-капустница

Бабочка-крапивница,
Ты моя противница!
Где ты прячешься весь день—
Там, где солнце
Или тень?

Бабочка-капустница,
Ты моя союзница!
Спозаранку
День-деньской
Ты порхаешь надо мной…

Я сачок в траве припрятал:
Вот достану—
И тогда…

Эй, крапивница, куда ты?
Эй, капустница, куда?

Молочный водопой

Когда над крышей и трубой
Утихнет свет заката,
К нам на молочный водопой
Сбегаются зверята.

Приводит кошка трёх котят—
Их ждут четыре блюдца,
И в эти блюдца норовят
Котята окунуться.

Им всё не выпить до конца—
И вот на смену кошке
Лохматый ёжик вдоль крыльца
Крадётся по дорожке.

Когда и ёжик будет сыт
По самые реснички,—
К нам на ступени прилетит
Пугливая синичка.

Я занавеску отогну
И взгляд украдкой кину:
Глядит синичка в глубину—
В молочную пучину.

Потом, задрав головку, пьёт,
По капельке смакуя,
Как будто песенку поёт—
Да не слыхать, какую!

Подставляй ладошки!

Это что за рожицы
Лезут вон из кожицы?
Подставляй ладошки:
—Здравствуйте, горошки!

Кто где живёт?

Туча—в небе,
Дождик—в туче,
Жук—в большой песчаной куче,
Стриж—в гнезде,
Оса—в дупле,
Дождевой червяк—в земле,
В доме—кошка,
В норке—мышка,
А в капусте—
Кочерыжка!

Дождь

Барабанит в стёкла
Дождик нам назло.
Вся трава промокла,
Тропку развезло.

Не осталось суши,
Льёт и льёт опять…
Если бы не лужи—
По чему гулять?

Дружим с летом

Вот как солнышко
Лучится—
От реки
Не отлучиться!
Даже в дождь
Дружу с рекой—
Нас
Не разольёшь
Водой!

Клуб читателей

Ульяна Лазаревская

Сострадательный залог

О новой книге Валерия Скобло

Голос моего современника… (Читаю книгу Валерия Скобло «Записки вашего современника»[1] и слушаю Леонкавалло. «Паяцы». Ария Канио. Очень созвучно.)

Современники и соотечественники, мы инстинктивно тянемся друг к другу. И нет другой речи, кроме поэзии, которая вернула бы нам… ну, хотя бы переживание общего горя. Стихи Валерия Скобло—речь ищущего сострадания и дающего сострадание. Камертон, настроенный по операм Верди. Только это—не Калабрия. Это Питер. Россия. Наша история—живая, как собственное трудное дыхание. Тяжело, тяжело дышать. И какое облегчение—почувствовать горячие сильные пальцы, братски сжавшие твою слабую, влажную от непомерного усилия ладошку. Такова эта книжка…

Мы так долго жили мирно,
Что забыли запах крови,
Сладковатый запах смерти…
Он совсем почти зачах.
Я-то помню: было дело,
Вволю, сладко повалялся,
На казённых, на больничных
Серых, мятых простынях.

…Он уже окреп, отъелся
Разжирел на мертвечине,
Ходит где-то за рекою
И высматривает мост…
Может быть, всего и надо:
Увидать врага в прицеле,
Автомат на землю бросить
И подняться в полный рост.

Запах смерти… Неужели поддадимся, бросим оружие? Неужели, в безоружных, в нас будут стрелять? Будут. Проверено. И—вместе с лирическим героем Валерия Скобло—обливается душа слезами и тянется к ближнему—свой? чужой?

1. Скобло В. Записки вашего современника: Стихотворения.—«Геликон Плюс», Санкт-Петербург, 2011.

Анна Никольская

Сказки Сиреневого леса

Земляничина

В сиреневом лесу идёт хрустальный дождь. На ходу он развешивает стеклянные бусы на макушки голубых сосен. Бусины круглые и продолговатые — неровные, как леденцы в моей коробочке.

— Эге-гей! — кричит дождь, и с неба ему басом вторит братец гром в вязаном берете с помпоном:

— Эге-гей! Не промочи ноги, братец дождь!

На влажном, как творожный сочень, небе сидят гигантские белые старухи. В руках у них старинные прялки из можжевельника. Старухи шамкают губами и прядут облака. Сегодня выходят плотные, кучевые. А вчера были тоненькие, перистые, серебристые.

Из мокрых сосновых иголок высовывается конопатая мордочка в зелёном чепце. Это земляничина. Левая щёчка у неё алая, сахарная. А правая — бледно-розовая, с кислинкой. Земляничина подставляет личико дождю — на небо глядит. А небо глядит на земляничину.

— Прыгай в моё лукошко! — предлагаю.

— Вот ещё! — хмурится земляничина.

— Как знаешь, — улыбаюсь и тоже подставляю лицо хрустальным леденцам.

— Повторюша — баба Хрюша! — хихикает земляничина и исчезает в блестящих иголках.

Ночь

Ночь в сиреневом лесу густая и пряная, как чашечка топлёного молока с щепоткой корицы. Вкусная, сладковатая.

В потёмках тихонько шепчутся сыроежки из песочного печенья. Брусничины из бордового марципана дремлют, укрывшись глянцевым твёрдым листом. Дрожит в лунном свете, подрагивает болотце из яблочного мармелада.

Луна — головка творожного сыра с абрикосом. Летучий мышонок откусил от неё кусочек, не удержался.

Под ногами ломко хрустит лесная подстилка — смесь кешью, шоколадной крошки, грецких орешков… Муравей, отлитый из карамели, бежит по ней, торопится в свой дом из медового хвороста.

Закрыто. Опоздал.

— Забирайся ко мне, — подставляю палец и сажаю муравья в мохеровый тёплый карман.

Дёргаю шнурок апельсинового абажура, взбиваю подушку из сахарной ваты.

— Спи, братец. Пусть тебе снятся ванильные сны под малиновым соусом.

Долька мандарина на блюде из фиалковых лепестков — оранжевым по сиреневому пишу сказку леса.

Отдохни до рассвета

У Бонифация бархатный живот и рыжие пушистые щёчки. За правой он держит кедровые орешки, за левой — жареные семечки. Тётушка Му в восторге от его гусарских усов.

В речных камешках Бонифаций развёл костерок. На струганную сосновую палочку надевает две белых корочки. Бонифаций подобрал их у озера ещё в августе — берёг для особого случая.

Тётушка Му вешает на сучок тёплое кашемировое пальто. Её лапки пахнут имбирным печеньем.

Кувшинчик парного молока и горшочек свежих взбитых сливок. Голубые сосны вплетают в косы гроздья рябины и боярышника. Пощёлкивает костерок.

Бонифаций и тётушка Му хрустят поджаренной корочкой, запивая её подогретым молоком, и считают до ста одного.

На счёт сто два с неба падает звезда.

— Плюх! — прямо в горшочек со сливками.

— Отдохни до рассвета, — шепчет Бонифаций.

И они снова вместе считают до ста одного.

Четыре дырочки

Тётеньке Мыши подарили на день рождения камышовую дудочку с четырьмя дырочками. Всю зиму дудочка пролежала на полке в чулане. Она совсем охрипла. Но тётенька Мышь отпоила её чаем с малиновым джемом и укутала мохеровым шарфом.

— Отдай мне дудочку! — сказал братец Гром. — С ней я буду пасти облака. В последнее время они совсем отбились от рук.

Тётенька Мышь повязала на хвостик солнечный луч и печёт пражские вафли. Её передник пропах ванилью и июльским полднем.

В вышине играет на сосновом ксилофоне крошечка дятел. У него красная беретка и восемь синих перьев в хвосте.

Сосновая королева затеяла прятки с молодым летом. Она спряталась в куст сирени и пытается отыскать трилистник. Загадывай желание и проглоти на счастье!

Над розовым стеклом пруда тоненько звенят комары. Своими длинными носиками они учуяли запах далёкого незнакомого города. Острые шпили, старинные часы, тёплая брусчатка, горбатый мост через чёрную речку…

На песчаном кусочке берега салфетка с ещё тёплыми вафлями. Для всех — для всех!

Тётенька Мышь достаёт из кармана передника дудочку. Всего четыре дырочки — а какая нежная музыка!

Июльский вечер.

Нина Буйносова

Сказки-побаски бабушки Марии

В первые послевоенные годы в уральских деревнях не то, что о телевизорах слыхом не слыхивали, а и большая чёрная вогнутая тарелка—так тогда выглядело радио—далеко не в каждом доме имелась. Первый телевизор в нашей деревне Брод появился, когда я уже давно в школу ходила.

Огромная коробка с крохотным—со спичечный коробок—экранчиком была установлена в каморочке сельского клуба, где перед выходом на сцену переодевались доморощенные артисты и где имелся амбарный замок для пущего хранения столь бесценной ценности.

Народу в каморку во время передач набивалась тьма тьмущая, так что фактически только зрители самых первых рядов могли что-то разглядеть. Счастливчики вслух и пересказывали остальным, что творится на экране.

Книжки долгими зимними вечерами тоже были недоступны по причине экономии электроэнергии: свет на станции включали ненадолго, так что успевай, хозяйка, побыстрей по дому управляться. Не успела—зажигай керосиновую лампу. А керосин—он ещё не всегда в продаже есть, да и опять же—денег стоит. В крестьянских же семьях в те годы не то, что лишней копейки не водилось, но и необходимой не хватало, так что и этот источник света и знаний был весьма кратковременным.

Это я к тому, что в войну и после войны долгими зимними вечерами единственным доступным развлечением деревенских детей всё ещё оставались устные сказки. Их и рассказывали снова и снова, так что каждую ребятишки буквально наизусть знали. Знали и, тем не менее, без конца просили знатоков этого жанра: «Ну, расскажи!». И семьям, где такие умельцы водились, все завидовали.

Нашей семье завидовали особенно, потому что бабушка моя не только старые, известные сказки пересказывала так, что они звучали, будто только сложенные, но ещё и свои «побаски» на ходу, на лету придумывала. Герои тех её сказок, казалось, буквально рядышком с нами жили. Так же, как и мы, пасли коров, кормили кур, солили огурчики… Даже царевич оказывался простым «царёнком» из соседнего городка, которого научили и валенки подшивать, и резные наличники выпиливать.

Целые фразы тех сказок-побасок запоминались на лету, потому что в изложении бабушки они оказывались «складными», то есть рифмованными, да ещё и с песенками, пословицами, поговорками, прибаутками. Некоторые из сказок бабушки Марии я встречала потом в литературе, но ни одна из прочитанных не была столь «вкусной» по словарному запасу, по звукописи, столь богатой на яркие подробности, как в устном пересказе крестьянки. Я постаралась передать её «сказки-побаски» так, как они запомнились мне в далёком детстве, и в той обстановке, в какой их слышала.

Снега скрипучие

Зимы послевоенного детства моего были буранные. В самые морозы снег от окошек не отгребали—для тепла, и избёнки в уральской деревеньке Брод порой заносило до самых бровей, так что внутри и средь бела дня стоял голубоватый полумрак. На главной улице Ленина, где мы жили, от дома к дому всяк сам себе дорожку прочищал. И получались они в глубоком снегу, вроде тоннелей. Бежишь вечером по такому скрипучему тоннелю, а белые, плотные, только что убитые лопатами края возвышаются с обеих сторон вровень с твоей макушкой. Задерёшь голову вверх, а там, наверху, будто вырезанная ими из цельного пласта неба,—узкая, тёмно-синяя полоска с крупнющими, яркими, острыми, холодными звёздами!

Понятно, что те, кому по своим делам надо было топать дальше последнего в улице дома, пробирались к цели, как Бог на душу положит. Ну, кто станет, например, чистить метровые снега в длинном, без единого домика, пустынном переулке, через который летом с нашего края гоняли коров в лес на пастбище?! Местечко чуть дальше этого переулка отделялось от центра деревни высохшим, но весной и в дожди подмокающим-таки болотцем с неглубоким логом, и одной стороной прижималось к этому логу, а другой—к лесу. Оно так и называлось—«за логом». В тёплое время года жители «за лога» ходили на главную улицу, с её школой, сельсоветом, клубом и магазином, по переулку. А зимой прокладывали тропочки прямёхонько через огороды, в том числе и через наш, благо его заносило снегами вровень с плетнём.

Правда, после каждого очередного бурана, когда белого пуха иной раз подваливало по колено, тропку надо было протаптывать заново. Так что первому пятку прохожих тяжёленько приходилось. Чтобы не сбиться со старой дорожки на снегцелик, приметочки были. На улице Ленина такой приметкой служил край нашей навозной огуречной гряды, пригороженной к основному огороду вторым плетнём. Если честно сказать, летом этот, по-вдовьи неплотно сбитый ивовый плетешок, был не шибко надёжной линией обороны и далеко не всегда уберегал наш урожай от происков ребятни, которая зарилась на ранние огурчики и прекрасно знала, как просто раздвигаются прутья лёгонького плетня. Однако, худо-некорыстно, службу

заборчик всё-таки нёс. Особенно, когда нарочно не выкашиваемая крапива стеной поднималась вровень с ним и снаружи, и внутри огуречника. А зимами, после снегопадов, бродовчане с нашего края правились в сторону «за лога» как раз от верхушек этого плетня, поглядывая вперёд на торчавшую из-под снега трубу соседской баньки в конце огородов. А там дальше уж каждый сам о себе заботился, торя тропочку от своей избушки до соседской!

…И вот лежим мы в такую снежную зиму тёмным вечером на горячей печи, греем на истёртых до блеска кирпичах настывшие в дневной беготне косточки, а снег в огороде — скрип да скрип, скрип да скрип. А мне как раз впервые в жизни новые валенки купили. Трое старших — брат и две сестры — до того переходящую по наследству обувку нынче износили, что уж и подшивать — взяться не за что. Потому и подвезло мне с обновкой!

Ох, и хороши у меня нынче валенки! Серенькие, мягонькие, маленькие! Ну, разве что — чуть-чуть навырост, но с ноги не сваливаются, как те, старые! За полмешка лука выменяла их мама на базаре у пимоката. Вот только переживаний мне теперь с ними!

— Стара! Воры-те прознали, что у меня новы пимы, вот и ходют, вот и ходют! То — туды, то суды! То — туды, то суды…

Стара — это бабушка моя. В девичестве — Казанцева, в замужестве — Болтинских Мария Александровна. На далёком Дону, откуда родом её казачья семья, старшее поколение звали: «мама стара» да «тятя старый». С годами первая часть поименования отмерла, и для нас, единственных во всей деревне, бабушка и дедушка были не «баба» и «дед», а Стара и Старый.

На печи-то, правда, лежим только мы со Старой. Мама, когда по дому управится, на широкой лавке устроится у стены, а трое других домочадцев, которым повезло родиться раньше меня, предпочитают не на печи, а на полатях спать, где не так жарко. Меня же Стара не зря «поморозницей» звала. Не по возрасту маленькая, худющая до черноты под глазами, я вечно мёрзла, и даже на печи умудрялась лежать не на истёртой стариной шубе, а прижималась прямо к калёным кирпичам, температуры которых и Стара не выдерживала.

— Стара, расскажи сказку!

— Да каки-таки сказки?! Поздно уж. И натопталась я нонче у печки, сил нет…

— Ну, расскажи!

— Ладно, не то. Котору вам?

— А про окуту с того света!

Сказка про окуту с того света

Жили были старик со старухой. Один у них был сынок — Доронюшка, и тот помер. Вот встала старуха утречком поране, сварила шти крапивны, кашу перлову, испекла пирог гороховой…

— Садись, старик, завтрикать…

— Да я чо-то пока не проголодался… Пойду в поле, пороблю сперва. Потом приду, поем…

Вот ушёл старик в поле, а в двери — шасть — пройдоха один. Бродяжка с большой дороги! До того грязен да оборван — страсть!

Старуха и спрашиват:

— Ой, батюшко, штой-то ты грязной такой? И лопатина-то у тебя вся изорвана… Уж ты — не окута ли с того света?

— И как только ты дозналась, баушка! До чо жо востра! Верно ведь, окута я с того света!

Старуха так и вскинулась:

— Ой, батюшко, дак не видал ли ты там сыночка мово Доронюшку?

— Как не видать — видал, конешно!

— А чо жо он там поделыват?

— Ой, баушка! Ведь он свиней по оврагам да по буеракам пасёт. Весь поизносился, поизорвался!

— Дак не передашь ли ты ему гостинчик от родителёв, да справу каку?

— Как не передать дружку дорогому! Мы ведь с им вместе свиней-то пасём!

Заревела старуха, кинулась дорогому гостю на стол собирать. И шти крапивны выставила, и кашу — весь горшок, и пирог, горячий ишшо — из печи вынула: ешь, гостенёк!

Наелся окута, напился. Всё приел, что на столе было. Только на гороховой пирог силы уж не хватило. Дак он пирог-от в тряпицу завернул. С собой, дескать, возьму, унесу для Доронюшки. А старуха тем времём сундук открыла, бросила на радостях на пол празднишну вышиту скатёрку, котора нечаянно под руку попала, — и давай из сундука на скатёрку всяко добро складывать:

— Вот Доронюшке — онученьки, вот — рубашечку, вот — порточки, а вот и лапоточки…

Цельной узол добра в скатёрочку навязала. Окута узол за плечи закинул — и был таков!

Тут и старик с поля явился:

— Ну, давай, старуха, собирай на стол! Я, знать-то, проголодался!

— Дак ничо уж нетути, батюшко!

— Как, нетути? А куды всё подевалося? Неуж одна съела?

— Ну-к, ты и скажешь, родной! Нешто я без тебя эстоль съела бы! Это у нас гостенёк дорогой был — окута с того света. Он вместе с нашим Доронюшкой на том свете по оврагам да по буеракам свиней пасёт. Голодной был шибко, дак я всё ему и скормила.

У старика от такой новости в животе уркнуло-буркнуло, ну, стерпел, не стал ругать старуху. Только глядит, а сундук, в котором всё добро домашно складено, пошто-то настежь распахнут стоит.

— А чо это у тебя, старуха, сундук-от — полый?

— Ну-к, сказывал окута, что Доронюшка-то наш весь поизносился да поизорвался, дак я ему выслала онученьки, да рубашечку, да порточки, да лапоточки…

Старик только головой покачал. Вышел из избы вон, пал на лошадь, да гнать. Долго ли скоро ли — догонил окуту с узлом:

— Стой, парень, ломай вицу!

— Не могу. Я кокушки боюсь…

Слез старик с коня, пошёл сам в лес березову вицу ломать, штоб было чем окуту драть. А окута — не будь дураком, пал на лошадь — да гнать!

Старик кричит:

— Стой, парень! Стой! А кокушка-то! Кокушка!

— А, теперь — хоть с избушку кокушка — и то не боюсь!

Только старик его и видел. Пришёл домой пеши. Старуха спрашиват:
— Старик, а лошадь-те где?
— Дак окуте отдал. Што ли тебе Доронюшка-то — сынок, а мне — пасынок?!

С горы, с горочки катучей

Послевоенной изголодавшейся, оборванной, не хуже Стариного окуты, деревенской ребятне зимы долгими казались. Ждёшь-пождёшь эту весну, а она никак в нашу уральскую деревушку не торопится. Только и радости, если очередной мороз даст слабину. Тут уж — успевай! Торопясь, навернёшь на ноги чистые, тёплые онучи, дожидавшиеся такого момента на верёвке над печью, надёрнешь — эх, до чего же хороши! — новенькие пимы. Сорвёшь с гвоздя доставшуюся по наследству великоватую, плохо греющую фуфайчёшку. Пока застёгиваешься, сестра поплотней приладит к твоей головёнке сперва старенький, тонкий, медового цвета гарусный платок для тепла, потом, поверх него — серую, вязаную полупуховую-полушерстяную материну шалюшку, стянет её крест-накрест под мышками и завяжет позади, за спиной. Натянешь на руки связанные из козьего пуха варежки, а сверху — другие, кожаные, сшитые из обрезков старых овечьих шкур. Схватишь в сенях излаженные Старым, крепко-накрепко связанные лыком деревянные санки, — и айда с горы на Исеть кататься!

…Не знаю, как теперь, а в те годы из деревни от главной улицы к Исети два спуска вело. Первый — справа, крутой, срывавшийся с одного боку в глубокий-преглубокий овраг, который служил всей деревне в качестве свалки. Здесь и летом-то, пока идёшь, за каждый камушек ногами, а то и руками цепляешься. А зимой, ежели запнёшься, до самой реки будешь лететь кубарем без остановки.

Другой спуск идёт левей первого, по длинному, широкому и глубокому логу. А посередине между ними, на самом юру, своеобразной вешкой — нищенкина избёнка стоит. Сама же улица Ленина с левого краю, от начала спуска и почти до реки, в этом месте односторонкой продолжается. Домишки мостятся по верхнему краю лога, а внизу, плавно поворачивая вместе с ним, торная дорога налажена.

Конечно, кататься лучше всего здесь. С крутой-то горы — и повизжать не успел, а уже — на реке! И карабкайся потом снова наверх с почему-то разом потяжелевшими санками, то и дело соскальзывая обратно и бороздя носом обледеневший склон! А на конном спуске — красота! Едешь и едешь… Одна беда: дорога тут — для всего транспорта, и за поворотом не видать, есть ли кто впереди? Так что невзначай можно и под копыта лошади попасть! Но когда и кого из ребятни такая, воображаемая родителями, опасность останавливала?! Тем более, что здесь можно кататься и не поодиночке.

И вот сбивается у начала спуска ватажка. Самый смелый и ловкий парнишка ложится плашмя на свои санки и цепляет ногами «головку» — изгиб санок следующего юного бродовчанина. Тот, в свою очередь, руками берётся за задние стоечки, коими скреплены верх и низ санок первого смельчака, а носками валенок — за следующий «автотранспорт»… Так — до десятка саней набирается, и называется всё это — кататься «поездом».

Ухватились, значит, все, кому за что положено. Вожак пару раз руками оттолкнулся от дороги, до блеска укатанной санями и дровнями, улитой конской мочой и устланной заледеневшими, желтовато просвечивающими под ней, раздавленными конскими яблоками — и-и-и — поехали! С визгом, с криками! До поворота! За поворот! Слава Богу, навстречу — никого! Теперь — до самой речки! На неровном стыке речного льда и высоконького в этом месте берега тряхнёт хорошенько. Если повезёт, и «поезду» случится не потерять сцепку, все благополучно на реку скатимся да ещё по льду чуть не до середины Исети проедем. А не повезёт — кто куда с саней по сторонам валимся. Из сугробов встаём — чисто снеговики! Ни глаз, ни рожи не видать. Всё снегом залеплено. Протираешь глаза, вытряхиваешь снег из валенок и фуфайки, выплёвываешь изо рта…

А морозец, хоть и не велик, а стоять не велит, так что поскорей — верёвку в руки — и обратно, в тот же долгий путь, только теперь уже не под гору, а в гору. Доверху доберёмся — от спин пар валит. И снова — сцепка начинается. Раза два-три скатились — и самые маленькие, вроде меня, принимаются жалобно канючить, или, как говорит моя сестра, «нявгать»: «Пойдёмте домой! Холодно!». Старшие для виду маленько покочевряжатся, но ведь и сами-то уж замёрзли. Да и по рано темнеющей зимней поре дорогу всё равно вот-вот не видать будет…

Дома мама или Стара, охая, вытряхивают снег из моих одёжек; оттирают ледяные руки, попутно смазывая сметаной болючие цыпки; достают с печки тёплые вязаные носки и натягивают их мне на столь же ледяные ноги. А теперь — на спасительницу мою — печку! И ждать, когда Стара на кухне перестанет греметь чугунком и протянет наверх кусок серого или чёрного хлеба да две-три белых рассыпчатых картофелины, политых вкусно пахнущим подсолнечным маслом. Покосишься из-за изношенной до дыр ситцевой занавески вниз, на хлопочущую у печи Стару (не смотрит ли?) — а рука уже сама так и лезет без спросу в поседевший от старости, худой одинокий валенок на полке над печью. Там всё ещё водятся натолканные с осени, когда-то зелёные, а теперь уже пожелтевшие или покрасневшие помидоры. Они даже и сморщились маленько, но вприкуску с картошечкой за милую душу летят. Вот теперь и жить можно! Даже подремать, пока не услышишь, как бабушка завозится под боком, устраиваясь рядом на горячих кирпичах и пытаясь нащупать под мягкими носочками мои пяточки: отогрелись ли?
— Охо-хо, грехи мои тяжкие! — шепчет Стара себе под нос, напрасно надеясь, что не разбудила внучку-«проходимку».

Куда там! Я-то уже и отогрелась и даже поспала! Мне теперь сказку подавай!

— Ну, каку тебе нонче сказывать?
— А про дудочку!

Сказка про дудочку

В одной деревне жили были мужик да баба. И было у них три дочери. Старши-то ленивиньки были — ни грядки выполоть, ни избы подмести. Всё им лень да неохота. А младшинька дочушка — Овдотьюшка — така хлопотунья, така старательница. И листьев подсолнушка нарвёт, штобы коровушку вечерком посытней подкормить, и воды с утра маленькими вёдрышками натаскат в бочку, штобы за день нагрелась, штобы теплинькой огурчики-то поливать… Оне — огурчишки-то — холодну, колодежну воду шибко не любят. Оне от её хиреют да чивреют. А как её солнышко-то нагреет, да вечерком ты их польёшь хорошенько — утром и собирай огурец! Вот тогда он не задрябнет! Тут-то и соли его поскорей — крепенького да свеженького — в холодной, родниковой водичке. И такой он вкусной да хрусткой выдастся — сам бы ел, да денег надо!

Ну, вот. А дело-то было летом. Старшим-то девчошкам вовсе неохота в огороде париться над грядками, оне и придумали в лес по ягоды отпроситься. Мать, конешно, поворчала для виду, а сама и рада: наберут, дескать, девки ягоды, насушу я сладкой поболе — а зимой, глядишь, пирогов напеку! Ешьте на здоровье!

Утром мать разбудила дочерей пораньше, кажной по яичку сварила, хлебца да сольцы в тряпицу завернула, кваску плеснула в бидончик. Старшим — по туесочку под ягоды дала, а Овдотьюшке — только блюдичко с синей окаемочкой. Дескать, мала ещё с большой посудиной таскаться. А больше наберёшь — сёстрам высыплешь в туесок.

Только, как в лес-от пришли, старши сёстры первым делом под кустик присели, поели, да тут же и уснули. А Овдотьюшка, пока оне спали, цельной туесок земляны набрала. Да такой крупной, такой спелой — кажно зёрнышко в ягодке видать!

Сёстры-те проснулись, когда солнышко им в задницы уткнулось. Кака тут робота по самой жаре?! Так и проваландались цельной день без толку. А как домой-то идти, стыдно стало за своё безделье. Што родителям-то сказать? Всего один туесок на всех набран? Оне и удумали страшно дело. Взяли, да и убили Овдотьюшку! Под тем же кустиком, под которым спали, и зарыли бедную. Ягодки разделили, блюдечко раскололи, вдоль по реченьке отпустили. А сами, как ни в чём не бывало, домой пошли.

Дома родителям сказывают, дескать, потерялась наша Овдотьюшка. Уж оне, будто, её звали, уж оне её кричали, голоса надорвали, ноги избили, по лесу бегаючи, — да всё напрасно. Из-за того, мол, и другой туесок набрать не сумели.

Ну, родители в лес кинулись, кричали-кричали, звали-звали, да всё без толку. Так, не солоно хлебавши, и домой пришли. Погоревали, погоревали, да делать нечего. Живут дальше. На дочерей-то худого и не подумали. А тем только того и надо, штоб никто не догадался об их злодействе…

Только на том самом месте, где сёстры Овдотьюшку зарыли, дудочка выросла. Шёл мимо прохожий человек, присел на бугорок, пожевал хлебушка, да и надумался дудочку срезать. Проделал в ей, где надо, дырочки, поднёс ко рту — а она сама и запела:

Дяденька — потихоньку!
Свет родной, помаленьку!
Две меня сестрицы убили,
Под кустиком схоронили,
Ягодки разделили,
Блюдечко раскололи,
Вдоль по реченьке отпустили…

Испугался прохожий человек: «Ох, неспроста эта дудочка таку песню поёт!» Взял её с собой и дальше пошёл. А идти ему надо было вокурат по той самой деревне, где Овдотьюшкина семья жила. И избушка у их была с краю. Вот и зашёл он в избу — попросить водички напиться.

Ну, родители были люди гостеприимные. Как не приветить странника?! И напоили его, и окрошкой по летнему времю угостили. А он и говорит:
— Раз тако дело, што вы меня так приветили, дак позвольте, я вам на дудочке сыграю.

Достал дудочку, поднёс ко рту, а она и запела:

Дяденька — потихоньку!
Свет родной, помаленьку!
Две меня сестрицы убили,
Под кустиком схоронили,
Ягодки разделили,
Блюдечко раскололи,
Вдоль по реченьке отпустили…

Хозяева только охнули. Отец-от говорит:
— Ну-тко, странничек, не дашь ли ты мне на этой дудочке поиграть?!
— Как не дать? Дам!

Взял отец дудочку — а она и запела:

Тятенька, потихоньку!
Свет родной, помаленьку!
Две меня сестрицы убили,
Под кустиком схоронили,
Ягодки разделили,
Блюдечко раскололи,
Вдоль по реченьке отпустили…

Тут и мать к дудочке кинулась. Сохватала, ко рту поднесла, а та своё выговариват:

Мамонька, потихоньку!
Свет родной, помаленьку!
Две меня сестрицы убили,
Под кустиком схоронили,
Ягодки разделили,
Блюдечко раскололи,
Вдоль по реченьке отпустили…

Так родители про всё и узнали. Взял тут отец дочерей своих, вывел их в чисто поле и сказал:
— Была у меня, видно, одна на свете дочушка Овдотьюшка, и той теперь нет. Один голосок остался. А вы боле мне — не дочери. Идите, куда глаза глядят.

Оне и пошли. После чужи люди сказывали, што каких-то двух сестёр на том самом месте, где была

Овдотьюшка убита, волки заживо растерзали. По грехам, значит, и расплата…

…И быль про дудочку

Сказка эта про дудочку шибко мне в душу запала. И не только потому, что жалостная была. А ещё и потому, что в существование таких говорящих дудочек я с самого малого возраста свято верила. И вот как это вышло.

В деревнях издавна ребятишек подолгу грудью кормили. Иной карапуз уж сам сопли научился по мордашке размазывать и на улице вовсю верхом на хворостине гоняет, а дома всё норовит к матери за пазуху залезть. А матерям, с одной стороны,— забот меньше, чем ненасытный роток занять, а с другой—проблем меньше с рождаемостью. (Надеялись на так называемую «замену». Дескать, пока кормишь, не забеременеешь. Правда, с этим не всем везло. Бывали ведь и такие бабоньки, что мужик взглянуть не успеет, а у той уж живот пухнет. Ну, да не об этом—разговор).

Меня мама тоже долгонько у титьки держала. А потом-таки отправила к Старе на расстанюшки. (Стара со Старым тогда ещё в другой деревне—в Черемисской—жили).

И вот реву я там без сладкой титеньки и день, и другой, и третий… Не знаю, сколько прожила, только мама соскучилась, наконец, по своему «последышку» и притопала-таки по пыльной полевой дороге за десяток километров попроведать, как я там без неё обхожусь. Без маминого молочка я за это время, конечно, научилась жить, но вечером, едва забралась она ко мне на ещё тёплую после стряпни печку, я сразу принялась у ней за воротом шарить-ся: а вдруг да удастся уловить что! Мама, понятно, меня тут же по руке вразумительно шлёпнула. И никакой нечаянной радости мне не отломилось.

…Проснувшись наутро, я обнаружила сидящего на лавке дальнего родственника бабушки—кривого Проню, который, по её рассказам, давным-давно потерял один глазок, наткнувшись в лесу на ветку. И вот глядит этот Проня на меня снизу вверх своим единственным глазом и говорит:

— А што это ты, Проходимка (Проходимкой меня Стара прозвала за то, что я, по её словам, в три с небольшим года, уже прошла «огонь и воду, и медные трубы»), ночью к матере за пазуху лазила? Ай-я-яй! И как не стыдно! Така больша, а за мамкину титьку хваташься!

— А ты откуда узнал?—вполне резонно поинтересовалась я, скатившись по приступочкам на пол и подбираясь поближе к гостю.

— Дак ведь у меня волшебна дудочка есть,—и показывает мне зелёную камышинку с вырезанными отверстиями.—Как подую в эту дудочку, она мне всё про тебя и расскажет. Вот позавчера, например, ты у Старой сметану из кринки с простакишей слизала. А вчера стащила первый огурчик, который она на окрошку оставила и под листом лопуха спрятала. А поза-позавчера…

Что я там натворила «поза-позавчера», Проня так и не успел рассказать, потому что в этот момент выхватила я у него волшебную дудочку—и хрясь её об коленку! На тебе, ябеда!

Но напрасно я с торжеством глядела на кривого Проню, рассчитывая увидеть, как он расстроится. Проня лишь расхохотался в ответ на мою выходку:

— Ох! Ох!—только и выговаривал он сквозь смех.— Ох, и верно, Проходимка! Да таких волшебных дудочек у меня за деревней цельно болото растёт!

Любовь и картошка

Солнечным февральским днём брат и сёстры убирают навоз в стайке у нашей любимицы—чёрно-белой тагилки, умницы Маечки, которая вот-вот днями должна отелиться. Брат вилами выбрасывает навоз за двери, а сёстры подхватывают его вместе со снегом и перебрасывают стылые или ещё дымящиеся говяши в огород. Я кручусь у старших под ногами, пока один говяш чуть-чуть не в лицо мне прилетел. Мне тут же было велено или в избу убраться или тихо сидеть на сложенной у избы поленнице, дров в которой к концу зимы самый чуток осталось.

Бока у Маечки уже разнесло так, что крестец на спине проступил. Выпущенная во двор по случаю уборки, она зябко встряхивает всей шкурой и косит на нас большим лиловым глазом: и чего, дескать, беспокоите меня в таком положении?

А я гляжу на неё и мечтаю, как в очередной раз принесут в избу на старом половике маленькую неуклюжую тёлочку, точь-в-точь такую же, как Майка,—чёрно-белую, с красивой белой мордочкой. Как станет она шарашиться, помыкивая и пытаясь встать в отгороженном досками углу. Как, расставив дрожащие ноги, пустит первую струю на пол. Как потом станет играть со мной, взбрыкивая в своей загородке, подставлять крутой лобишко, чтобы я его почесала (что, вообще-то, категорически запрещалось делать, чтобы тёлочка не выросла бодучей). Как мама станет приносить в избу сперва жёлтое молозиво, как оно с каждым разом будет становиться всё белей и белей, и однажды—наконец-то!—после долгого межмолочья, Стара нальёт не только тёлочке, но и нам через чистенькую марлечку прямо из подойника по кружке вкусно пахнущего, пенящегося, парного, нового Майкиного молочка.

…В обед мы сидим за столом и едим из большой алюминиевой чашки сперва—тюрю—залитые кипятком сухари с накрошенным в них луком и заправленные подсолнечным маслом, а потом—из большого чёрного чугунка уже поднадоевшую за зиму пустую картошку, заедая её кислой капустой. Стара, глядя на нас, подшучивает: «Кушай, Яша, тюрю, молочка-то нет». А уйдя на кухню, тихонько ворчит себе под нос: «Бедны робятешки. Ростут ведь, а кормить нечем. Лук с кваском, да квасок с лучком—вся и перемена!».

Вечером она уговаривает маму не жалеть дров и разжечь стоявшую посередь избы на четырёх лапах чёрную печку-буржуйку. И вот намыли мы той же картошки, сели вокруг на пол, и, нарезая белые кружочки, бросаем их, посолив, на раскалённый верх буржуйки. Округлые картофельные пластинки, окаймлённые тёмной, тонкой корочкой шкурки, шкворчат, покрываются золотисто-ржавыми и тёмными пузыриками. От жара соль подпрыгивает

с них и сгорает, попадая на печку. И до чего же они вкусны—эти картофельные печёнки в голодном послевоенном феврале! Будто и не картошку вовсе едим, а невесть какое лакомство.

…К ночи забрались—кто на полати, кто на печку. Стара, которая в этот раз чуть пораньше меня на печи оказалась, греет мои ледышки своими тёплыми ногами. А на меня нежный стих нашёл. Прижимаюсь к ней, обнимаю крепко-крепко.

— Стара, знаешь, как я тебя люблю?

— Как?

— Как от земли да до небушка. Нет! Как из голбца да до небушка! А ты—меня?

— А я тебя—как… как от полу да до половиков.

…Вот те и на! А я-то думала… У меня от обиды—слёзки на колёсках. Так и царапаются в горлышке. И уже в носу хлюпают…

— Да пошутила я. Я тебя тоже люблю.

— А как?

— Как из колодца да до небушка!

Я удовлетворена признанием, но всё ещё всхлипываю. Однако Стара знает, как внуков успокаивать.

— Ладно, не реви! Хочешь сказку?

— Хочу-у-у…

— А каку тибе нонче?

А таку, что уж тебе, Старинька, за обиду мою сёдни до-олго не спать. Нарошно саму длинну сказоньку выпрошу:

— Расскажи про Восиясно Красно Пёрышко…

Сказка про Восиясно Красно Пёрышко

Вот тоже жили однова муж да жена, да дочка Марьюшка. Только мать-то возьми да и помри. Надселась, видно, на тяжёлой хресьянской роботе. И остались отец с дочкой вдвоём. Только ведь недаром говорится, что без отца робёнок—полсироты, а без матери—полная сирота. Отец-то цельнымя днями в поле: то пашет, то боронит, то сеет, то жнёт, а девчурочка с утра до ночи одна по домашности мотатся: ни умыться толком, ни косыньку заплести. Так и бегает чумаза да растрёпанна.

Прошёл год, другой. Марьюшка уж подросла, а всё ж таки тяжело ей одной-то на хозяйстве. Вот и надумал отец вдругорядь жениться. Присмотрел вдову, котора тоже одна с двумя дочерьми жила, и присватался. Дескать, вдвоём-то и подымем вместе девчошок.

Про бабу бы так сказать можно было: взамужто—не напасть, да как бы взамужом не пропасть! Только тут вовсе всё наоборот вышло. Мужик, как бился один во поле, так и бьётся, а мачеха-то дома только фуфырится. Не то, чтобы за падчерицей приглядеть, дак она на саму её втрое больше роботы наворотила. Теперь Марьюшка ещё и за мачеху, и за сестёр сводных весь день по домашности убиватся: корову напои-накорми, навоз убери, печку истопи, дров-воды натаскай, хлебы поставь, штей навари, накорми-напои бездельниц, бельишко перестирай-переполощи, золу из печки выгреби, избу вымети…

Придёт отец с поля, глянет на Марьюшку—сердце заболит:

— Што ж это Марьюшка-то у нас—така чумаза да неприбранна?

— Дак така уж она у тебя—ни к чему не приучена. Ни умыться не заставишь, ни косу заплести. На моих-то погляди—вон каки чистеньки! А эта уж так, видно, замарашкой и будет…

И по деревне то же понесла: замарашка да замарашка… Вскорости у Марьюшки и имечко крещёно забылось. И стали её все Замарашкой звать.

А, надо сказать, ещё при матере завёлся во дворе у их петушок. До того баской—глаз не отвести! И шея, и крылья, и хвост так на все цвета радуги и переливаются. Очень любила Марьюшка того петушка. Ну, как же,—по матере поминочек! И петушок её тоже любил. Во всём доме она одна иной раз раньше его вставала. И вечно она—в роботе, а никогда не забудет петушку лишний раз крошки стряхнуть, крупки подбросить. Только Марьюшка во двор выйдет—петушок слетит с забора—и к ей! Так и ходит кругом, ровно кошка, так и ластится, так и кокочет, ровно што сказать хочет. А на мачехиных дочерей злым кочетом налетат, ноги-руки им клюёт, только што глаза не выклевыват…

Жалуются оне матере, а та—к мужу чуть не с ножом к горлу пристаёт: «Заруби да заруби петуха! Совсем заклевал моих девок! И тебе на полевых-то роботах—приварок будет…

Словом, зауросила баба: спать не легу и домой не еду!

Марьюшка со дня материх похорон не рёвывала, а тут услыхала про такое дело—слезьми улилась: «Не трогай, тятенька, петушка! Одна у меня радость, один поминочек по родимой мамоньке остался!». Противился-противился мужик новой жёнке, да куды ж ты против такой бабы выстоишь. И жалеет красавца, а деваться некуды!

Побежала Марьюшка с петушком прощаться. Кажно пёрышко у его перебрала-перегладила, весь гребешок алый по зубчику исцеловала. А петушок ей и говорит вдруг человечьим голосом: «Не плачь, Марьюшка! Видно, у домашной птицы судьба така. Только ты выбери-кось у меня из хвоста само баско пёрышко и спрячь подале, штобы сёстры не увидали. Улягутся оне с мачехой-то спать, а ты возьми моё Восиясно Красно Пёрышко, вставь его в светец заместо лучины и вышей такими же перьями нарядну рубашку на добра молодца. А как вышьешь, пойди на базар и продай её. Да не всякому, а только тому, которой к душе припадёт. Только, когда тебе из дому выходить, штоб не признал никто, махни вкруг себя Восиясным Красным Пёрышком—и сама увидишь, што будет».

Погоревала Марьюшка по петушку, поплакала, да так и сделала, как он велел: выбрала само баско пёрышко и спрятала у себя за пазухой. И стала она по ночам у себя за печкой, как времё выберется, рубашку вышивать. И год шьёт, и другой. А заместо лучины светит ей Восиясно Красно Пёрышко, в светец вставленное. Так сияет, што никакова свету не надо.

А в те года в царёвой семье на здешней земле сынок вырос. Жениться ему пора, только никак себе невесту не выберет. Он, вишь, хоть и царской

сын, а парень умной да рукодельной вырос. Дядька царской, которому было поручено царенково воспитаньё, парнишонка в строгости ростил и всякому ремеслу выучил. Которы робяты из его ровни по цельному дни бездельно по лавкам валяются, а этот с утра — в роботе. То он столярничат — на дома-терема резны наличники мастерит, то для царской конюшни хомуты шьёт, то для конюшенного мужика сапожки из доброй кожи на болванку натягиват, то валенки починиват…

Ну, всё-таки дело молодое. Тоскливо ему как-то показалось во дворце. Говорит дядьке: «Пойду-кось я на базар, погляжу, каким там ещё мастерством народ владеет?» Оделся попроще, взял с собой резны наличники на продажу да малую толику денег, кои сам заробил, и отправился.

А на ту пору Марьюшка как раз рубашку вышила. Така баска рубашечка вышла — глаз не оторвать! Уловила она момент, когда мачеха со своими дочками ушла с суседками сплетничать, вышла на двор, махнула вкруг себя Восиясным Красным Пёрышком — и обернулась краса красой с русой косой. Пошла она на базар, встала с краешку, рубашку на руках дёржит. Уж не только простой народ, а и купецкой сын к рубашке прицениваллся, на мастерицу заглядывался, только Марьюшка не отдаёт своё рукоделье. Говорит: «Тому отдам, кто за рубашку не чужой, а своей денежкой расплатится».

А тут вокурат царевич идёт вдоль рядов. Глядит, эвон, како чудо красна девка в руках дёржит!

— Нешто, — спрашиват, — человеческим рукам така красота доступна?

— А ты спробуй и узнашь! — шутит Марьюшка.

— Да эдак-ту и из всёй вашей сестры, наверно, только одна изгадат. А у меня други кружева изпод руки выходят — деревянны…

А Марьюшка-то и сама уж приглядыватся к деревянным кружевным наличникам.

— А это, што ли, ты сделал?

— Я.

— Ну, раз так, — говорит, — бери моё рукоделье. Носи на здоровье!

Пока парень обнову-то в руках вертел, да разглядывал… Поднял глаза, хотел денежку отдать, да ещё разок на саму мастерицу посмотреть, а её и следок простыл.

Тут и затосковал царевич. Как бы ему хоть ещё разок, хоть в один глазок ту деушку увидать! А царской дядька на то и поставлен, штобы приглядывать за царевичем. Ну, и видит, што у воспитанника-то кусок в горло не лезет, сон в глаза нейдёт…

Нето-нето — добился, разузнал, в чём дело. Ну, и говорит царевичу:

— Таки-то мастерицы не во дворцах живут, не по балам шляются. Где-то в простом доме деушка проживат, и увидеть её можно разве што во святой церкве в воскресной день.

А у Марьюшки и у самой сердчишко щемит, зовёт куда-то. Вот в воскресной день собираются сёстры с отцом да с мачехой в город, в церкву. Попросилась, было, и она с имя. Не берут. И отцу не дали слова вымолвить:

— Куды такой Замарашке — во святу церкву! Только нас позорить!

— Дайте мне хоть гребешок причесаться.

Оне бросили ей гребнем-то, да прямо в голову.

Ну, дождалась она, когда все ушли, вышла во двор, взмахнула вкруг себя Восиясным Красным Пёрышком — и обернулась краса красой с русой косой, в серебряном платье. А уж рядом конь под серебряной дугой, в попоне серебряной по снегу копытом бьёт. Колокольчики серебряны без ветру звенят. Кошева росписная сама ступенечку под ноги подставлят. Села Марьюшка в кошеву, поехала в церкву. Подъезжат к воротам, коня не привязыват, людям не приказыват, сама заходит в церкву.

Стоит себе, молится, а народ шеи изломил — на неё оглядыватся: «Чья така? Откудова? Из какова городу?» — «А из такова городу — гребнем в голову». Што за город такой — никто не знат. Один царевич как увидал её, сразу признал мастерицу с базара. Уж и не до молитвы ему. Не чает, как конца службы дождаться.

Кончилась служба. Народ из церквы повалил. Марьюшка-то в самом конце стояла, первой и вышла. А царевич по должности своёй в самом первом, почётном ряду стоял. Оттуда пока-а-то к дверям пробрался! Выходит — а любезной и след простыл. Видали, говорят, как садилась, не видали, куды укатилась.

Дома у Марьюшки только и разговоров, што про красавицу, да про её наряд.

Марьюшка и спрашиват:

— Уж не я ли там была, сестрицы?

А сестрицы на смех подымают?

— Куды тебе, Замарашке! Сиди уж на печи, чумазая, перегребай золу с угла на угол!

Один лишь отец маленько заподумывал о чёмто, на свою доченьку запоглядывал да головой запокачивал.

На друго воскресенье опеть просится Марьюшка в церкву. Опеть её не берут. Она попросила подать ей поварёшку. Сёстры-те бросили ей поварёшку, да прямо в голову…

А царевич еле дождался воскресенья. Только там — тот же сказ. Всёй и разницы, что одета была красавица на этот раз в золото платье, и конь у ей был в золотой попоне, с золотой дугой да с золотымя колокольцами. Среди крещёных снова только и разговору, дескать, подъезжат красна девка к воротам — коня не привязыват, людям не приказыват, сама заходит в церкву. Спрашивают её, из какова она городу, а она только и молвит коротёхонько: «А из такова городу — поварёшкой в голову». После службы царевич опеть к выходу не поспел. Все говорят: видали, мол, как садилась, не видали, куды укатилась.

Дома у Марьюшкиных сестёр красавица в золотом платье с языка не сходит. Вот бы и им таки платья! Царевич-то, небось, тогда не на эту, незнаему, глазел бы, а их заметил да, глядишь, и посватался. Возраст-то у его — самый, што ни на есть, жениховский.

А Марьюшка с печки опеть тихонько спрашиват:

— Уж не я ли там была, сестрицы?

Те только руками замахали:

— Куды тебе! Сиди уж на печи, перегребай золу с угла на угол!

Только один отец сильней прежнего задумался. Платье-то — платьем, однако, ежели его Марьюшку умыть, да причесать, да нарядить так-то, дак не выйдет ли, што личиком-то она с той девицей одно в одно будет? И с прозваньем городов у ей мудрено, да не с намёком ли каким выходит: то — «гребнем в голову», то — «поварёшкой в голову»?!

На третье воскресенье отец Марьюшкин сказался занятым и не пошёл в церкву, а в сараюшке спрятался. Тут и увидел он, как его дочушка, кровиночка родная, петушиным пёрышком себя обмахнула, как оказалось на ей тако баско платье, што надо бы нарядней, да некуды! Всё, будто из радуги соткано. И дуга, и попона на коне, и колокольцы — тоже ровно с небес после дожжичка сняты, всеми цветами переливаются. Села Марьюшка в кошеву и со двора выехала. А отец пошёл в избу, пал на колени перед иконами и молится — ног от радости под собой не чует.

…Марьюшка у церковных ворот, привышным делом, коня не привязыват, людям не приказыват, сама заходит в церкву, и также, привышным делом, в последний ряд встаёт. Только слышит вдруг из уголочка сзади голос знакомый:

— Ежели ты и нонича уедешь из церквы, словечка мне не сказав, погублю я свою бессмертну душу — утоплюся в пролубе.

Оглянулась Марьюшка, а позади — тот паренёк, которому она вышиту рубашку отдала. В той рубахе и стоит. И вышивка — цвет в цвет — с её платьем сходится. Догадался царевич на этот раз тоже в последний ряд встать, а она догадалась, што не зря на их одёже одинаково Восиясно Красно Пёрышко сият. Встали оне рядышком и так до конца службы простояли вместях. Вместях и из церквы вышли. Взялись обое за руки, стоят — расходиться неохота.

Царской дядька видит тако дело, домой скореича побежал — рассказать царю с царицей, што царевич наконец-то свою сужену нашёл. Те заахали, заохали, подхватились — да к церкве. А тут и Марьюшкин отец из дому прибежал, запыхался. Сговорились скоренько, да в тот же день и обвенчали царевича с Марьюшкой в той же церковке. Пожили молоды сперва в царском терему, пока царевич свой теремок не изладил. Весь кружевной, нарядной. А на самом верху петушок крутится. Такой баской — глаз не отвести. И шея, и крылья, и хвост так на все цвета радуги и переливаются. Отца Марьюшкинова молоды-те к себе взяли. А мачеха с дочками от стыда вовсе из тех мест ушли, куды глаза глядят.

Так-то вот. Счастье-то — оно не с неба сваливатся. Его заробить надо.

Маремьянин петушок

Надо сказать, что и с этой сказкой у меня кой-какие, не совсем сказочные, воспоминания связаны. Впервые про Восиясно Красно Пёрышко я услышала от Стары, когда вовсе маленькой была, то есть — задолго до нашего обидного разговора про любовь. Тогда мои прародители ещё в Черемисской жили, а меня время от времени отправляли к ним «на поправу».

И была в той деревне у моей бабушки подружка или, как говорили в деревне, — «товарка» — совсем старенькая тётушка Маремьяна. Обе ещё с Первой Германской дружили, когда мужьёв на войну забрали. Наш-то Старый с германской войны воротился после долгого плена, а Маремьяну та война вдовой оставила. Старый по-соседски помогал ей, чем мог, — огород вспахать небольшим плужком на своём Серке или дровишек подвезти, картошку выкопать…

Был у Маремьяны сынок Яша. В деревне его так и звали — Яшка — вдовий сын или Яшка Маремьянин. Бабушка рассказывала, что дед взял его «в науку», то есть по ходу дела обучал разным крестьянским премудростям.

Однако к тому времени, когда меня впервые привели в гости к тётушке Маремьяне, Яшки там уже почему-то не было. Почему — не знаю. Только жила тётушка совсем одиноко в земляной избушке на самом краю деревни. А мы со Старой ходили к ней пельмени стряпать. И каких только пельменей не напробовалась я тогда: и рыбных, и капустных, и «картовных» (из варёной или сырой картошки), и «ретешных» (из редьки)…

Стара замешивала дома крутое пельменное тесто, приготовляла соответствующую начинку, брала с собой маленький горшочек густой сметаны, и мы гуськом пробирались с узелком по узенькой, едва намеченной в снегу тропинке «на пельмени к тётушке Маремьяне, за кумпанию посидеть».

Землянка была тёмная и низенькая. Всего убранства в ней — печка, круглый стол да несколько круглых, узких и высоких «тюриков», которые служили табуретками. Такие «тюрики» — два отпиленных от осины кругляша, соединённые семью-восемью узенькими пластинками-досочками, — использовали в станках, на которых половики ткут. (Правда, были эти «тюрики» явно не на мой характер рассчитаны, потому что падала я с них бессчётное количество раз). Со стола до полу свисала домотканая скатёрка. Под этим-то столом я однажды и устроила очередную свою проказу, из-за каких Стара и прозвала меня в своё время Проходимкой.

У тётушки Маремьяны на ту пору из всей домашней живности оставался один, совсем ручной петушок Буяшка. Летом он хулиганил в чужих дворах, где топтал куричёшек у зазевавшихся соперников, а зимой жил под печкой в землянке Маремьяны и вёл себя самым смирнейшим образом. Когда мы приходили, он выбирался из-под тёплой печки и крутился возле нас, дружелюбно о чём-то своём, курином, рассказывая. Позовёшь его — подойдёт с доверчивым кокотаньем. Зёрнышек пшеницы или семечек бросишь — склюёт и начинает крутиться да кланяться, будто благодарит за угощенье.

А петух, надо сказать, красоты был необычайной. Шея, крылья и хвост Буяшки переливались всеми цветами радуги: и тёмной синью-зеленью отливали, и ярким золотом светились, и с самым багряным закатом сравняться могли. А на ногах — ещё и пушистые «штаны» красовались. Словом — не петух, а загляденье!

Мудрено ли, что я и вообразила себе, будто он и есть тот самый петушок из сказки про Восиясно Красно Пёрышко. (Даром, что ли, Стара говорила — «баской, как в сказке»!). А раз так — почему бы мне не использовать по прямому назначению волшебное Буяшкино Пёрышко? Не зря же этот красавец всего-то в двух шагах от меня столь безбоязненно расхаживает.

И однажды, когда Стара и тётушка Маремьяна в очередной раз принялись лепить пельмени, я семечками коварно заманила Буяшку под стол и деранула у него из хвоста самое баское, самое переливчатое перо. Дерануть-то деранула, да силёнки, видать, не хватило выдернуть до конца. Только заорал Буяшка что есть мочи вовсе не покуриному и рванул из-под стола в родное подпечье, а я осталась с пустыми руками.

Хуже всего было то, что и надежды никакой обрести-таки заветное перо у меня не осталось: бедный петушок с тех пор, едва завидев в дверях мою пшеничную головёнку, с испуганным клёкотом скрывался в своём убежище. Стара и тётушка Маремьяна издивовались вконец, почему это раньше он так любил «на людях» покрасоваться, а теперь его никак нельзя из-под печки выманить?

Правда, у моей мудрой Стары, видать, были на этот счёт кой-какие сомнения, и она не раз пыталась выведать у меня: что же такое с бедной птицей под столом приключилось? Но я, естественно, молчала, как партизан на допросе, а Буяшка… Он, если и волшебный был, тоже почему-то помалкивал. Может, не хотел со взрослыми по-человечьи разговаривать, а, может, просто пожалел девчонку: за такую проделку мне могло по первое число попасть.

Побаска про Суседушка Буканушка

Сегодня наши старшие пораньше с домашними делами управились. Мама уже сходила на ночь попроведать Маечку. Новая Майкина дочка — Звёздочка угомонилась за своей загородкой. И мама «безделицей» занялась: из белых, как снег за окном, ниток очередное покрывало вяжет. Мечта у ней: всем нам — троим девкам — по такой нарядной, кружевной, лёгкой пелене сделать в приданое. А Стара взялась из надранных загодя тряпочек круглый коврик плести под ноги на холодный пол. Руки заняты, а язык-то свободен. И начинается…
— Сказывала моя баушка, што однажды её сам Хозяин давил.
— Какой — Хозяин?
— Да Суседушко Буканушко…
— А какой он? Где живёт?
— А такой. Ежели к ему с добром, дак и он с добром. Убирашь со стола — дак оставь и Ему крошечку, а на праздник — и чуток кашки в чашке нечаянно забудь. В нову избу перебирашься, с собой позови, а то осердится. И будешь потом маяться без своего домового: всё добро скрозь пальцы уйдёт. Которой домовой помоложе — за печкой живёт, а который постаре — под печкой. Буканушко — он над всем домом, над всёй скотиной — Хозяин. Видеть Его нельзя, а вот услыхать — можно. Он вить, как человек. Ему тоже и весело быват, и скушно. Как заскучат, зачнёт шутки шутить. У меня вот всё спички норовит спрятать, и посмеиватся, пока я их ищу. Скажешь Ему: «Ну, ладно уж! Поиграй да отдай!» Он и подсунет их куда-нето на видно место. А то возьмётся вздыхать да постанывать. Это он меня пугат. Только я Ему и скажу: «Што, Суседушко, вздыхашь? Али мыши одолели? Я их — счас, окаянных! Кышь! Кышь!» Он и развеселится.
— А как он баушку-то давил?
— А она тогда ещё молода была. И вот спит это она. А домовой, не к ноче будь помянут, на неё навалился и давит ей на грудь, и давит! У ей уж дыханья не хватат, а Он всё давит. Она Его и спрашиват: «К добру пришёл, али к худу?!» А Он как дунет ей в лицо, ажно волосья зашевелились. «К худу, — говорит, — к худу!». Ну, у ей на другой день робёночек и помер.

…Я так и замираю от ужаса, представляя, как кто-то невидимый давит бедной женщине на грудь, как глухо говорит ей это зловещее «к худу!», и как она плачет потом над мёртвеньким ребёночком.

Побасёнка про коси-ногу

Лето, говорят, — Припасиха, а зима — Прибериха. Припасы-то кой-какие у нас, конечно, ещё есть. Только когда каждый день — бураны да бураны, а морозы такие стоят, что мама не решается яму открывать, чтобы не застудить её, то мы уже и голой картошке радёхоньки. А тут — на тебе! Отеплело, наконец! И то сказать, март на дворе, а с крыши ещё ни единая сосулька носом вниз не нацелилась. И всё ж таки — отступили большие морозы, и наш Ваня слазил в яму не только за картошкой, а и капустки достал квашеной, и огурчиков солёненьких из бочки.

И вот мы жадно выхватываем из-под Стариных рук эти самые огурчики, сложенные горкой в миске. Они — маленькие, пузатенькие, крепенькие. С одного боку к огурчишке вишнёвый листочек прилип, с другого — тоненькая беленькая пластиночка чесночинки. А из миски мокрые растопыренные зонтики укропа торчат и па-а-ахнут — на всю избу. Куснёшь — и мастерски посоленный, крепкий огурчик так и хрустнет под зубами, так и брызнет тебе на язык холодной, солоновато-кисловатой, зеленовато-прозрачной, аппетитной мякотью, сквозь которую просвечивают белые семечки. И потом долго держится во рту этот незабываемый вкус.

Как же они назывались — те огурчики?! Ах, да — муромские и неросимые. Других сортов и не знали в наших деревнях. И не помню, чтобы огуречные плети их когда-нибудь чем-нибудь болели. То ли вовсе тогда болезней огородных не водилось, то ли спасала от них крапива по краям гряд. Разве что под самую осень пожелтеют плети, и ты переворачиваешь их, заглядываешь, не прячется ли где ещё какой-нибудь крутобокий малец, не прихваченный первым морозцем?

Ну, земляным-то огурцам не грех и до морозов жить. Они-то своих первых детёнышей не торопились выдавать! А в начале лета нас дразнил соблазном ранний урожай с навозной гряды. Остренькие, похожие на крохотные лодочки огуречные семечки, подогретые теплом уже перепревшего сверху,

а внизу ещё перегорающего навоза скорёхонько пускались в рост в своих глубоких земляных ямках. При похолоданиях мама бережно прикрывала эти ямки ветками, набрасывала сверху старые половики, и зелёные выскочки сидели там в тепле, как в гнёздышках.

Но вот миновали ночные заморозки — и, глядишь, уже поползли ко краям высоченной широкой гряды зелёные плети, и завились на них первые цепкие усики, и зажелтели ярко-жёлтые, нарядные, как солнышко, цветочки. (Мы наперегонки искали мужские, без зародышей, цветы, обрывали их и ели — самое первое летнее, сладкое огородное лакомство!). А там уже и первые крохотные огурчёночки повисли. Напиваются досыта летними дождичками, тёпленькой водичкой, которую мы таскаем на гряду из бочки, наливаются соками под летним солнышком.

И тут уж у Стары — одна забота, как бы уберечь от внучкиных и соседских ручонок два самых-самых первых?! Потому что у ней на эти два огурчика — свои виды. Первый положено было торжественно разрезать повдоль на шесть равных долек: маме, Аннушке, Ване, Вале, Нине и самой Старе. И съесть свою дольку надо было столь же торжественно, с благодарностью огурцу за то, что поспел, солнышку — за то, что грело, дождичку — за то, что поливал, Господу — за то, что дал до такой радости дожить. Второй огурчик шёл на первую летнюю окрошку. Для неё и квасок заранее готовился, и картоха загодя варилась, и сметанка в яме, в крыночке холодилась.

А укараулить Старе эти огурчики помогал Коси-Нога.

— Стара, а кто он такой — этот Коси-Нога?

— Да сродственник он нашим Буканушке и Баннушку.

— А где он живёт?

— Ну, летом-то — в огуречнике, у плетня, в крапиве, а зимой на постой просится — то к Баннушку, то к Буканушке. Ежели с Баннушком сговорится, дак у его в бане под полком зазимует, а ежели с Буканушкой — дак в избе, под печкой. Ну, живут, живут, а зима-то у нас — эвон кака длинна. Ну, и надоедят друг другу до смерти. Ругаться да драться примутся. Слыхали, поди, как нонче ночью на крыше орали?

— Стара, дак это коты орали! Наш Барсик да Васька парамоновский. Они все эту чёрну бродячу кошку, котора к нашему огороду прибилась, поделить не могут.

— Разве? Ну, может, и коты. Только ежели Буканушка с Коси-Ногой счинятся драться, дак орут точно так же. Оне ведь ещё и потому ссорятся, что Буканушко-то над всем домом, и над двором, и над скотиной — Хозяином поставлен… И над огородом норовит покомандовать. А Коси-Нога-то не соглашатся к ему в подчиненьё идти. Мол, ты там хозяйнуй, а огород — моё дело. И некоторой некоторому уступить не хочут.

— А зачем этот Коси-Нога в огуречнике живёт? Да ещё в крапиве? Его, што ли, крапива-то не жалит?

— Дак он ведь мохнатой, чо ему крапива-то!

— А пошто его так зовут — Коси-Нога?

— А у ево, вишь ли, коса есь, штобы огород блюсти от воров. Вот, ежели заберётся воришко за огурчиком, морковкой либо подсолнушком, он косу-то в ход и пустит. Как вжикнет — так ты и без ноги! Видала, поди, возле сельсовета мужика одноногова. Вот ево в детстве Коси-Нога и чиркнул по ноге-то.

— Ну, Стара, ну, чо ты врёшь! Тот мужик-от с войны без ноги пришёл.

— А-а, дак я про другова вовсе, а не про этова, про которова ты думашь.

— А пошто этот Коси-Нога тебя не трогат?

— Дак ведь не дурак он — на хозяйку-то махаться. Он свой порядок знат…

— А я, например, тоже хозяйка?

— Э-э, милая, ты сперва с моё поживи, да поробь. Может, тогда хозяйкой станешь. А пока он тебя за свою не признаёт. Ну, разве што, со мной живёшь, дак он, может, по первости не косой, а крапивой понужнёт, ежели зайдёшь в огуречник без спросу. А шибко осердится, дак и за косу может взяться. Так што, гляди…

…Гляжу, Стара! Гляжу…

«Куркураус-Мурмураус»

Стара была у нас женщина, как сказали бы сейчас, крутая. Перечить ей не то что мама, а и сам Старый даже не пытался. Только мы, с увеличением порядкового номера класса на школьных дневниках, иной раз, по неразумению нашему, делали попытки намекнуть: дескать, у тебя, Стара — всего-то четыре класса ЦПШ (церковно-приходской школы), а у нас…

Но, выслушав доказательства нашего превосходства — и то мы читали, и это мы знаем — Стара сперва нарочито прибеднялась: «Где уж нам уж выйти взамуж! Мы уж так уж проживём! Как-нибудь, как-нибудь — лишь бы не в девках!». Однако тут же, будто вовсе мимоходом, вспоминала про «одного умного сыночка из знакомой семьи». Уехал-де этот сынок в большой город учиться.

«Вот поучился он там како-то время и домой на каникулы приехал. И до того уж умной стал, слова по-русски не скажет. Куры у него — «куркураус», кошка у него — «мурмураус», грабли у него — «грабляус». Только сказал он это само слово, да как наступит на грабли-те — оне, вишь ли, к стайке коровьей были приставлены зубьями наружу. Он на зубья-те ступил — а его другим концом струмента и шабаркнуло по умной-то голове. Тут учёной сынок разом родной язык вспомнил: «Штой-то ты, тятенька, грабли на место не тем концом ставишь?»

…А добраться до бездонного кладезя Стариных сказок и побасок и записать их я решилась, когда однажды, слушая полуграмотную, до сухарного состояния иссушенную, уже почти что не русскую, а полуанглийскую речь теле- и радиоведущих, больших начальников и политиков, поняла, что донельзя истосковалась по другой, исконно русской, искуснейшей, богатейшей, которой моя Стара говорила. Может, прочитает кто, да и вспомнит про «великий и могучий» собственный, родной наш язык.

Николай Переяслов

До свидания, Гиппо!..

1. Детство Гиппо

Посреди большой столицы,
элегантный, как комод,
жил смешной и круглолицый
африканский бегемот.

Там, где солнце над болотом
жарит воздух, где-то там
он родился бегемотом,
имя взяв—Гиппопотам.

С детских лет не зная гриппа,
он носился день-деньской.
Зря взывала мама: «Гиппо!»—
малыша зовя с тоской.

Зря отец кричал до хрипа,
клича сына по кустам:
«Гиппо! Гиппо! Гиппо! Гиппо!
Где ты, Гиппо? Тут иль там?..»

В жиже луж плескаясь звучно,
корешки травы грызя,
Гиппо чуял: дома—скучно,
жить в болоте век нельзя!

И со всем болотным братством
распростился он, как брат,
и… в Россию перебрался—
в стольный город, на Арбат.

Как тут нам не веселиться,
как грустить от разных бед,
если рядом—поселился
этот миленький сосед?

Мы слыхали, как он въехал
на четвёртый свой этаж.
Он чихнёт—и громом эхо
сотрясает домик наш.

Утром он идёт из дома
на работу в зоопарк,
улыбается знакомым
не за плату, а за так.

А когда он в лифте едет
после службы иль в обед,
замирают все соседи—
оборвётся лифт иль нет?

Так вот рядышком и жили—
и народ, и бегемот.
Да при том ещё—дружили,
не кричали вслед: «Урод!»

Вместе радости делили
и последний бутерброд,
а на Новый год—водили
возле ёлки хоровод…

2. Московские будни

Бегемоту жить непросто
в тесном городе Москве.
Хоть и малого он роста,
но ведь весит—тонны две!

Кто такого согласится
посадить к себе в такси?
Тут бессмысленно проситься,
так что даже—не проси!

Летом—даже толстопятым
хочется, когда жара,
заскочить в кафе к ребятам—
съесть пломбира полведра.

Но не ставят из бетона
мебель в детский уголок.
Где взять стул, чтоб он две тонны
удержать спокойно мог?

(Я во всех кафе огромных
побывал и знаю сам—
не найти там мест укромных,
где б мог сесть Гиппопотам.)

Тяжело и магазины
бегемоту посещать:
двери там не из резины—
начинают вмиг трещать.

Потому он шёл на рынок,
где ворота широки,
покупал там десять крынок
молока и пуд муки.

Ставил дома тесто в ванне,
пёк на кухне пироги,
ну, а после—на диване
сочинял весь день стихи.

Были им в стихах воспеты
Кремль, Арбат, луна во мгле…
Что поделать, коль поэтом
он родился на земле?

А когда он шёл, как глыба,
и его народ встречал,
каждый встречный:—«Здравствуй, Гиппо!»—
увидав его, кричал.

Но грустнел душой он, ибо,
вспоминал, как средь болот:
«Гиппо, Гиппо, где ты, Гиппо?» —
мать его к себе зовёт…

3. Гиппо и воры

Гиппо был весёлый малый.
Если кто-то зло творил,
он ему: «А ну, не балуй!» —
очень строго говорил:

«Лучше нам не быть врагами,
я злодеев не люблю.
Если будешь хулиганить,
вмиг на ногу наступлю!»

Это слыша, все пугались,
забывали про грехи.
Кто ругались — разбегались
и читали вслух стихи.

В зоопарке дела много,
должен быть порядок там.
Вот за всем за этим строго
и следил Гиппопотам.

Как-то раз под вечер Гиппо
у вольера юных львят
привлечён был странным скрипом,
и смекнул — их красть хотят!

Глядь, и правда — двум патлатым
пьяным типам удалось
влезть в вольер к беспечным львятам,
безмятежно грызшим кость.

Звери поняли угрозу
лишь тогда, когда в мешок
затолкали их без спросу,
чем повергли в нервный шок.

Лишь почти у дырки самой
львята пискнули, озлясь,
и мгновенно с львиной мамой
протянулась звука связь.

Из глубин системы сложной
рукотворных гор и нор
львица рыкнула тревожно
и метнулась на простор.

Воры, радуясь везенью,
быстро бросились назад.
Но внезапно путь к спасенью
им закрыл огромный зад.

Вот она, дыра в ограде!
На свободу выход — вот!
Но к дыре — будь он не ладен! —
прислонился бегемот.

Не желая здесь погибнуть,
воры в панике орут.
Но, чтоб Гиппо отодвинуть —
автокрана нужен труд!

. . . .

— Брось мешок! — один воришка
крикнул другу во всю грудь.
И тогда другой — детишкам
развязал к свободе путь.

В куче писка, визга, всхлипа
львята бросились назад…
И тогда от прутьев Гиппо
отодвинул мощный зад.

Второпях, тесня друг друга,
воры выскочили в лаз
и, качаясь от испуга,
понеслись куда-то с глаз…

Ну, а Гиппо зорким взглядом
оглядел звериный сад
и, довольный результатом,
пошагал на свой Арбат.

Шёл по улицам столицы,
где, визжа, машины мчат,
и казалось — это птицы
в дебрях Африки кричат.

В дом пришёл. Поел, умылся,
лёг, свернувшись, за комод.
И ему в ту ночь приснился
африканский небосвод.

Над болотом вились хрипы,
в небе плыл луны калач,
и казалось: «Гиппо! Гиппо!» —
слышен мамы клич и плач…

4. Гиппо-спасатель

Время шло. И первый отпуск
вскоре Гиппо получил.
Взял он в руки школьный глобус
и все страны изучил.

Осмотрел Восток и Запад,
мёрзлый Север, жаркий Юг,
буйных трав представил запах
и дыханье снежных вьюг.

Вспомнил отчее болото,
крик мартышек в синей мгле.
«Нет, — решил он, — неохота
колесить по всей земле».

И порывшись, как в шкатулке,
в ёмкой памяти своей,
вспомнил он, как на прогулке
в Сандуновском переулке
он в один из прошлых дней

познакомился, гуляя,
с председателем одной
агрофирмы на Валдае,
и его к себе домой

звал он в гости, расставаясь.
Говорил: «Да там у нас
лес такой, что всем на зависть!
Баня, озеро и квас —
просто самый высший класс!

Там такой сладчайший воздух,
что его всё пьёшь и пьёшь.
Ты такой целебный отдых—
в целом мире не найдёшь!

Приезжай! Увидишь глыбы,
что ледник принёс во льдах…»

…И, припомнив это, Гиппо
молвил: «Еду на Валдай!»

Завернув в пакет бумажный
сто горячих пирожков,
Гиппо сел в вагон багажный
и, как мэр Москвы Лужков,

помахал Москве фуражкой,
а потом присел в углу,
молока попил из фляжки
и—состав поплыл во мглу.

Чтоб в пути не ведать скуки,
Гиппо вынул пирожки…
За стеной роились звуки,
плыли в окнах огоньки,

поезд мчался, что есть мочи,
сам себе крича: «Наддай!..»—
и среди апрельской ночи
встал на станции «Валдай».

На платформе Гиппо ждали
председатель и шофёр.
В темноте лежали дали,
в стороне урчал мотор.

У вокзала под берёзкой
припаркован был фургон.
Вот в него по толстым доскам
и взошёл тихонько он.

И потом—не так, чтоб споро—
он поехал через лес,
слыша, как скрипят рессоры,
ощущая Гиппо вес.

Час спустя, машина встала.
Дверь открылась. Он сошёл…
Над землёй—уже светало.
Быстро таял ночи шёлк.

Перед ним, ещё в тумане,
чудо-озеро легло.
У воды темнели бани,
гладь блестела, как стекло.

Вдалеке—как войско, строго—
леса высилась гряда.
И почти что у порога
тёмных бань была вода…

«Нынче снег обильно таял,
так бывает иногда,
вот и уровень Валдая
поднят выше, чем всегда,—

председатель излагает,
Гиппо улицей ведя.—
Впрочем, нас то—не пугает.
Лишь бы не было дождя!..»

И помчались дни, сгорая,
как дрова в большом костре.
В председательском сарае
Гиппо спал, как на ковре,

на душистом мягком сене,
вкусный борщ из таза ел
и, гуляя по деревне,
на окрестности глазел.

Как-то раз его в коровник
председатель пригласил.
И, введя в сарай огромный,
во всю мощь провозгласил:

«Вот, бурёночки, вам всем бы
стать фигурою, как он.
Ешьте втрое больше сена,
поправляйтесь до трёх тонн!

Зимы здесь у нас суровы,
но в кормах нехватки нет.
Будь вы все гиппокоровы—
хватит сена на обед!..»

И в свинарник как-то тоже
был он позван, где потом
свиноматкам толстокожим
был в пример поставлен он.

Но в другие дни, гуляя,
он бродил из края в край
вдоль по берегу Валдая,
а потом к себе в сарай

возвращался к ночи ближе
и, из таза съев борща,
долго слушал, как на крыше
мыши бегают, пища.

Иногда и днём он тоже,
утомившись есть-гулять,
на своём пахучем ложе
оставался отдыхать.

После сытного обеда
хорошо лежать в тиши
да внимать сквозь сон, как где-то
ветерок травой шуршит…

Но однажды он проснулся
оттого, что дождь идёт—
так идёт, словно прогнулся
над Валдаем небосвод.

Разлепив спросонья веки,
он шагнул во двор скорей—
а вокруг бушуют реки,
плещет море у дверей.

И внезапно, как от боли,
кто-то крикнул у двора:
«Там остались дети в школе!
Их спасать давно пора!..»

И в уме, как на картине,
Гиппо тут же увидал—
школа-то стоит в низине!
А вокруг—девятый вал!

Их ведь смоет этот дождик!
Вон он—всё с водой смешал…
И, рванув, как внедорожник,
Гиппо к школе побежал.

Вот и школа… В брызг тумане—
только крыша над водой,
словно остров в океане,
окружённый злой бедой.

По волнам несутся книжки,
воды тёмные бурлят.
А на крыше ребятишки,
как воробышки, сидят

Кто-то вдруг, срывая глотку,
закричал, чтоб всем дошло:
«Лодку! Надо срочно лодку!..»
Но все лодки унесло.

И, как тяжкое мычанье,
горький стон исторг народ…
И тогда, прервав молчанье,
Гиппо выступил вперёд:

«Эта крыша для ночлега—
детям вовсе ни к чему.
Вон в кустах стоит телега—
вяжем к телу моему!

Ставим мне её на спину
и верёвкой—к животу!
Я сто раз нырял в трясину,
знать, и тут не подведу…»

Так, с привязанной телегой,
Гиппо бросился в поток—
и, скользя в волнах тюленем,
быстро воду пересёк.

Где поток бурлил потише,
плавно к школе выгреб он
и дрожащих ребятишек
принял с крыши в свой «салон».

Взял за раз он душ пятнадцать—
так сказать, один лишь класс,
потому пришлось мотаться
за детьми всего пять раз.

Пятый раз на берег выйдя
с детворою на спине,
оглянувшись, он увидел
только книжки на волне.

Крыша школы напрочь скрылась
в тёмных водах глубины,
но сбылась Господня милость—
дети были спасены!

Все детишек обнимали,
не тая счастливых слёз,
и в восторге целовали
Гиппо прямо в мокрый нос…

А когда вода опала
и подсохла всюду грязь,
люди что-то вроде бала
закатили, веселясь.

И, со всеми отмечая
день спасения детей,
три ведра крутого чая
Гиппо выпил без затей.

Но пришла пора прощаться,
утром Гиппо уезжал.
И опять он всем на счастье
круглой кепкою махал.

В серых мхах лежали глыбы,
зрел малины урожай.
А вослед летело: «Гиппо!
Милый Гиппо! приезжай!..»

5. Гиппо-грибник

Как-то, ближе к дням сентябрьским
(чтобы ветры—не грубы),
все решили вдруг собраться
и поехать по грибы.

Обсудили всё с любовью
и велели приходить
тем, кто хочет в Подмосковье
по лесочкам побродить.

Час назначили для сбора.
И, когда пришла пора,
Гиппо встал с утра и скоро
вышел бодро со двора.

Никогда в лесах российских
он с лукошком не бродил,
никогда в траве росистой
он грибов не находил.

И ему хотелось часто,
утоляя в сердце грусть,
отыскать в лесу, как счастье,
белый гриб иль спелый груздь.

Потому, немного нервный,
с растревоженной душой,
в этот день он самый первый
к месту сбора подошёл.

«Как грибы искать он будет?
Как он будет их срывать?»—
волновался Гиппо, будто
шёл экзамены сдавать…

. . . .

…Все в автобусе просторном
сели дружною гурьбой,
ну а Гиппо—на платформе
потащили за собой.

Рано утром спит столица.
Нет заторов, пробок нет.
День, как чистая страница—
просит всех вписать куплет.

Попетляв по переулкам
в лабиринте городском,
по шоссе, под небом гулким,
полетели с ветерком!

В наши дни, в начале века,
эта правда многих злит:
город—губит человека,
а природа—веселит.

Стоит выехать за город—
и вовсю поёт душа,
каждый снова сердцем молод,
ну, а жизнь—так хороша!

Чтоб жевательной резинкой
дни свои не изводить,
лучше по лесу с корзинкой
в размышлении бродить.

Нет ни тучки в небе синем.
Покидает душу грусть.
Вот и смешанный осинник…
Вот и первый крупный груздь…

Гиппо тоже от тропинки
двинул в чащу напрямик.
Что ни шаг—то гриб в корзинке,
что ни гриб—то боровик.

Кислородом, как глюкозой,
наслаждаясь от души,
встретил зайца под берёзой,
крикнул: «Зайка! Попляши!»

Но косой ничуть не струсил:
«Фиг!—сказал.—Не погляжу,
что здоровый ты, и в узел,
как верёвку, завяжу!»

«Ой! А как же развязаться?»—
Гиппо в спор, шутя, полез.
И они с хвастливым зайцем
огласили смехом лес.

Целый час, наверно, кряду
(так, что начали дрожать)
хохотали до упаду,
не умея смех сдержать.

Но, в конце концов, простился
Гиппо с маленьким дружком
и к автобусу пустился.
(Не идти ж в Москву пешком?)

Там последние сходились,
выясняя: «Груздь? Не груздь?»
На свои места садились,
на коленки ставя груз.

Все расселись понемногу.
Лес был светел и багрян.
И в обратную дорогу
покатил их караван.

Гиппо, лёжа на платформе,
любовался на грибы,
столь прекрасные по форме,
что текла слюна с губы…

Но лишь тронулись, как тут же
хлынул ливень—да такой,
что вода, сливаясь в лужи,
потекла вокруг рекой.

Вмиг размыло всю дорогу,
и пустяшная гора
превратилась в недотрогу—
не осилить на ура!

Вновь и вновь скользят колёса,
но не могут взять подъём.
Час стоит перед откосом
их автобус под дождём.

Был он новым, не разбитым,
и мотор совсем не плох,
но урчал, урчал сердито—
а потом совсем заглох.

Неподъёмной чёрной глыбой
небосвод вверху завис…
Тут позвал шофёра Гиппо:
«Эй, приятель, отзовись!

Выйди, брат, на мокрый дождик
и верёвку захвати.
Да один конец надёжно
за автобус зацепи.

А другой, зубами стиснув,
я на гору потащу…
(Я геройства не ищу.
Но грибам не дам закиснуть!)»

Намотав конец верёвки
на живот свой, он шагнул
по размытой скользкой бровке
и автобус потянул.

Ноги мощные вбивая,
точно сваи, в глинозём,
Гиппо топал, напевая
ворох слов о том, о сём.

Помня тексты, как в тумане,
ставя рифмы невпопад,
вместо слов: «Комбат, *батяня*»,—
он: «*Потянем,*—пел,—комбат!»

Песни сладкое звучанье
будоражило леса,
будто трактора рычанье,
сотрясая небеса.

Так горланя, он по лужам
отбивал ногами такт…
Пусть он вырос неуклюжим,
но не хилым—это факт!

Не вприпрыжку, не проворно,
не катясь, как колобок,
но автобус и платформу—
он на гору заволок.

Тут водитель чем-то грюкнул,
пару раз нажал педаль—
и мотор привычно хрюкнул,
приглашая мчаться вдаль.

Гиппо снял верёвку с брюха,
в мыслях брюки засучил
и, подпрыгнув вверх упруго,
на платформу заскочил.

Там улёгся, как на льдине,
мокр от носа до хвоста.
Вот—корзинка. А в корзине…
Боже мой, она—пуста!

На случайной, видно, кочке
опрокинулась она—
и все дивные грибочки
улетели с её дна.

От потери, скажем честно,
Гиппо малость загрустил.
Но автобус тронул с места
и к столице припустил.

Два часа дорожной скуки,
и—привет, родной Арбат!
Все корзинки взяли в руки
и на свой «улов» глядят.

Только в Гиппином лукошке
ни грибочка не найти.
Не осталось там ни крошки—
всё рассыпалось в пути!

Он уже собрался двинуть
в дом, где он в столице жил,
вдруг ему в его корзину
кто-то гриб свой положил.

И другой, и третий следом—
подбежали все подряд.
«Будешь, Гиппо, ты с обедом!»—
улыбаясь, говорят.

Все хохочут: «Как удачно
ты на горку нас подвёз!»—
и при том целуют смачно
прямо Гиппо в мокрый нос.

Или, гладя шею Гиппо,
каждый ласково, как мог,
говорил ему: «Спасибо!
Ты нам здорово помог!»

«Если бы не ты, дружище,
мы бы ночь, подмогу ждя,
без постели и без пищи
мучились среди дождя…»

. . . .

…Так прошла суббота эта
накануне сентября.
И пришла, сменяя лето,
осень, золотом горя.

А за ней—в клубах мороза—
уж зима кричит: «Держись!..»

(…Впрочем—это больше проза.
Хоть и проза тоже—жизнь.)

6. «Возвращайся, Гиппо!..»

Эпилог

…Так развеялись два года,
как Шатуры едкий дым.
Всё ему здесь—и погода,
и российская природа,
и еда, и даже мода
стало близким и родным.

Ночью спал он у комода,
днём работал для народа—
не считал себя «крутым».

Он любил Москву всем сердцем
за открытый нрав её.
Ел салат с зелёным перцем
и ценил своё житьё.

Но порой, придя с работы
и хватив кваску бокал,
он родимое болото
вдруг с тоскою вспоминал.

Да, с Москвою он сроднился,
но душа зовёт назад.
«Где родился—там сгодился»,—
как в России говорят.

Видно, надо возвращаться—
там и мама, и отец.
Видно, час пришёл прощаться,
есть всегда всему конец.

Рассчитавшись в зоопарке,
он на все свои рубли
накупил родне подарки,
чтоб и в Африке могли

вечерком, средь звона мошек,
прежде, чем улечься и спать—
сто весёленьких матрёшек
друг из дружки вынимать…

Только как ему вернуться?
В самолёт залезет он—
будет там не разминуться:
он расклинит весь салон.

Вдруг случится так, что надо
пассажирам в туалет,
а проход огромным задом
загорожен—хода нет!

Надо срочно делать что-то,
ведь не зря, едва лишь ночь—
и вплывает в сон болото,
а Москва—отходит прочь…

…В мире много бед и злости,
но не меньше и чудес.
И пришёл вдруг к Гиппо в гости
сам министр МЧС.

В жизни множество подарков
ждёт на каждом нас шагу.
И, горя улыбкой яркой,
говорит ему Шойгу:

«Вертолёты дружным строем
завтра в Африку летят.
Мы дома там людям строим
и детсадик для ребят.

Там в пустыне—наводненье
смыло целый городок!
Русским людям—наслажденье
взять пилу и молоток.

Мы построим им бунгало
на четыреста семей.
Ну, а если будет мало,
мы им целых два квартала
возведём там для людей.

Если кто-то нас попросит—
мы, не медля, мчим вперёд…
Можем и тебя подбросить
до твоих родных болот.

Сядешь в люльку из брезента,
к ней привяжем прочный трос…
Нынче наши президенты
обсуждали твой вопрос».

…Ночь прошла—и над лесами,
через ширь полей и вод,
полетел под небесами
из России бегемот.

Вниз поглядывая робко,
Гиппо видел целый мир:
вон в сторонке—Европка,
вон—Афины, вон—Каир.

Вон—идут в потоках пота
бедуины по песку.
Вон—и милое болото,
что зажгло в душе тоску.

Полный счастья и печали,
на поляне Гиппо сел.
И все джунгли закричали:
«Гиппо! Гиппо прилетел!»

Загалдели попугаи,
затрубил слонихе слон:
«Ты слыхала, дорогая?
Гиппо—с нами, с нами он!»

Вмиг мартышки-вертихвостки
разнесли по лесу весть,
что их давний друг московский—
снова с ними, снова здесь!

Из ближайшей мутной лужи,
обе с радостным лицом,
встали две большие туши,
пошагав к нему по суше,
и узнал он мать с отцом.

Все полезли обниматься,
но свалили Гиппо в грязь.
Стали вместе подниматься,
над собою всласть смеясь.

Гиппо снова поскользнулся
и, восторга не тая,
громко крикнул: «Я—вернулся!
Это—Родина моя!..»

. . . .

…Так свершается вращенье
наших жизней на Земле—
расставанье, возвращенье,
день в сиянье, ночь во мгле.

Сладко спать среди болота,
слыша ветер в камыше.
Ни работы, ни заботы—
только счастье на душе.

Райских птиц весёлый промельк,
свист в лесу, а вкруг него—
только солнце, грязь и, кроме
солнца с грязью, никого.

Но под сенью пальм красивых
на закате слышал он,
как струился из России
колоколен милый звон.

А в ночи,—то ль всех пугая,
то ль хуля, а то ль хваля,—
тарахтели попугаи,
криком джунгли веселя.

Но в ответ кричащим птицам
и мартышкам, что визжат,
лился голос из столицы:
«Милый Гиппо, приезжай!»

И ему припоминался
им увиденный Валдай.
(А ещё ведь там остался
неизведанный Алтай!..)

Как ему в пространстве сблизить
эти джунгли и Арбат?
Как Россию не унизить
тем, что он болоту рад?..

Глядя ввысь, он погружался
в звёздной ночи синеву
и как будто возвращался
в освещённую Москву.

Даль темнела, словно глыба,
ночь звенела, как трамвай:
«До свиданья, милый Гиппо!
Ты о нас—не забывай.

До свиданья, друг! Навечно
ты теперь в душе у нас.
Знаем, будет, будет встреча
впереди ещё не раз.

Что нам—вёрсты и года?..
Дружба—это навсегда!..»

Евгений Минин

Поэты—будьте бдительны!

Малявы для смотрящего

Предисловие Юрия Беликова

Привезли однажды ко мне в Пермь на перекладных Орден Велимира «Крест поэта». Не от властей—они, слава Богу, до этого додуматься не могут, а от поэтов древнерусского города Великие Луки. Я, как ныне выражаются, никакой промы (то бишь промыва мозгов) из этого не делал—сообщил двум-трём друзьям и только. Похожий на старообрядца сибирский классик Сергей Кузнечихин проворчал из Красноярска в телефонную трубку строчками Михаила Кульчицкого: «Не до ордена. Была бы Родина с ежедневными Бородино». Я с Кульчицким и Кузнечихиным спорить не стал. Оба—на «ку».

И вдруг приходит в Пермь из Иерусалима письмо. И не просто из Иерусалима, а от имени Иерусалимского отделения Союза писателей Израиля. Мол, «поздравляю Вас с заслуженной наградой—орденом Хлебникова. Поднимаю бокал с шампанским и возгласом «Лехаим!» за вас, Юрий Беликов…» И подпись—Евгений Минин, председатель.

На всякий случай я позвонил известному академику критических наук, псковичу, а по совместительству—переводчику с русского на иврит и обратно, Валентину Курбатову и спросил, что означает «Лехаим!»? «За жизнь!»—ответил Курбатов. «Узнаю тебя, жизнь, принимаю…»,—присоединился к Курбатову Блок. Ладно.

Я тоже узнал, что Евгений Минин, до того как стать председателем, жил на Псковщине и в Белоруссии, даже был начальником цеха на Витебском заводе часовых изделий. А потом уж выпустил две поэтических книги, начал печататься в израильских, европейских, американских и российских журналах, издавать альманах «Иерусалимские голоса».

Приходит новое письмо. Минин сообщал, что готовится к изданию его книга «Сто пародий и кое-что ещё» (ныне она уже подоспела к читателю) на весь высший свет российской поэзии. И не только российской. И далее: мол, «хотелось бы видеть в том числе и вас. Не против ли вы???» Каков, оказывается Козьма! Интересно: он что, у «всего высшего света» разрешения спрашивал: «Не против ли???» Или—только у меня, у пермяка? Я-то ведь никогда не причислял себя «к высшему свету», а посему это предложение меня весьма позабавило, и ваш покорный слуга взорвался экспромтом:

Письмо вновь ополчившемуся гражданину Минину из Перми в Иерусалим

Я думал: Минин—он из Нижнего?
А он—из Иерусалима.
Ему легко обидеть ближнего—
хер положить на херувима.
С ним дружат вервие и лезвие,
и пот его недаром пролит—
на самозванцев от поэзии
он ополчение готовит.
Не зря, видать, уехал за море,
чтобы оттуда, из-за моря,
через четыре века заново
себя почувствовать Козьмою?..
И мне, что шёл к пермяцким идолам
от Богородицы Пречистой:
«Давай,—сказал,—к московским выдолбам
я заодно тебя причислю?..»
Мне не по бублику—в ту рубрику:
средь самозванцев—в самозванцы?
Я с…ть хотел на эту публику,
поскольку все они—зас…цы.
Но если всё же Минин выставит
меня, как вепря в бакалее,
я пушкой быть хочу, что выстрелит
и пепел по ветру развеет.

В ответ—по электронной почте—прилетел экспромт.

Из Иерусалима в Пермь от гражданина Минина россиянину Беликову

Напишет—думал—толику,
Коль занят он, поелику,
А он мне сделал колику—
Ну, погоди же, Беликов!
Наследства нету царского,
Но с мордою упрямою
Я даже без Пожарского
Могу всадить по самое…
Попасть ко мне не хочется?
Не стану я помехою,
Но все от смеха корчатся,
Признайтесь-ка: от смеха ли?
Пишу с улыбкой гордою—
Отлично мне поэтому—
Я—с неразбитой мордою
Столичными поэтами.
Стихи читаю новые,
Где строки поразительны:
На вахте Иванова я—
Поэты—будьте бдительны!

Не всякий Минин знаком с Ивановым. Хоть и работает по его вахтовому методу. Вот и витебско-иерусалимскому Минину лично с Александром Ивановым встречаться не довелось. «Иванов—хороший пародист,—сделал приписку Евгений,—но он не был просто поэтом. Мне кажется, это как-то сужало границы его пародийного поля. И у него не было возможностей инета. Я же практически слежу за русской поэзией по всему миру…» Минин давал понять: вы имеете дело с *самим смотрящим за всей русской поэзией!* И, дабы мы не приняли это открытие за сотрясание словес, прислал целый свод своих пародий, в котором зацементировал и меня.

Но с Мининым я ещё разберусь. Я Минину не Пожарский.

Исторический вариант

Навстречу Эсфири—Юдифь в платье из китайского шёлка.
В руках у Юдифи чёрная клеёнчатая кошёлка,
в кошёлке что-то большое, круглое, это, наверно,
кочан капусты. Или—голова Олоферна.
Борис Херсонский

Вижу—навстречу Юдифь, в макияже, модная стрижка,
в руках кошёлка, в кошёлке лежит моя книжка.
Она манит историческим взглядом—дело скверно,
я же помню историю с головой Олоферна.
Только для страсти читать стихи в постели начну—
а Юдифь меня—по голове, то есть, по кочану.
А я без кочана, как Россия без Крыма,
так что прости, Юдифь, пройду-ка, милая, мимо,
поскольку много строчек нужно сложить в этом мире!

Шагай без меня, Юдифь с кошёлкой навстречу Эсфири…

Прозаическое

дождь в мюнхене стоял стеной и в зальцбурге стеной
когда ты плакал надо мной и плакал подо мной
Лена Элтанг

в тракае ливень шёл стеной в паланге полный мрак,
когда в постели ты со мной лежал совсем не так
ты подо мною не рыдай всю простыню зальёшь
с тобой куда не поезжай повсюду дождь да дождь
париж неаполь амстердам как ветер по волнам
погода мчалась по пятам за что-то мстила нам
был заколдован этот круг и не хватало сил
а сбоку лечь мой милый друг ты не сообразил

Охренительная пародия

…а чтоб чему-нибудь случиться,
должна существовать частица
пространства-времени—хронон.
. . . .
в союзе атома с хрононом
причинно-следственная связь.
Виктор Фет

Как часто издаётся стон,
что так хреново время мчится,
а значит—где-то есть частица
пространства-времени—хренон.
За нами мчится по пятам,
проблемы—вот его примета,
со скоростью, конечно, Фета
хренон повсюду—тут и там,
везде найдёт—куда ни лазь,
и мы колотимся в испуге,
а Виктор ищет на досуге
причинно-следственную связь.

Продольно-поперечное

Живя продольно и отвесно,
с пером иль рюмкою в руке…
Глеб Горбовский

Кому не ясно, что извечно
мы все у времени в горсти.
Продольно жить и поперечно—
тут вам не поле перейти.
А жить отвесно после рюмки
я вам скажу—такая жуть,
и тех, кто пьют, как недоумки,
в могилу ждёт отвесный путь.
Я ж приспособлен капитально
творить, когда в квартире тишь,
Так и живу—горизонтально,
красиво жить—не запретишь.

Обводное

хаус холмс и пуаро
спорят до ночной звезды
кто из них возьмёт ведро
молча принесёт воды
Андрей Василевский

В горнице моей светло
Это от ночной звезды.
Матушка возьмёт ведро.
Молча принесёт воды.
Николай Рубцов

в горнице моей старо
вышел месяц молодой
хаус холмс и пуаро
не желают топать за водой

сочиняю их кляня
из-за этой ерунды
к матушке пошлют меня
чтобы принесла воды

Избитое

Ночами за дверью моею
избитые плачут слова…
Вера Павлова

Признаться могу я открыто,
стихи мои—просто фигня:
слова в них жестоко избиты,
но бил кто-то их до меня!
Подсказку принять я готова,
не знает ли кто-нибудь тут
места, где за битое слово
два слова небитых дадут?

На писательском фронте

На писательском фронте без перемен:
Плюнуть некуда — гении сплошь да пророки.
Не скажу, что ведут натуральный обмен,
Просто тупо воруют бездарные строки.
Владимир Шемшученко

На писательском фронте скажу вам — бардак,
Даже страшно смотреть — ну ни рожи, ни кожи.
Строки тупо воруют — без криков и драк,
На меня не подумайте, что я такой же.
Не хожу я с бездарных поэтов толпой
Что читают стихи, потрясая тетрадкой…
Ой, гляди, пародист — видно, тоже тупой,
У меня утащил пару строчек украдкой.

Мечте навстречу

На то ль, что в хрустальнейшее из утр
Сломается этот безумный компьютер…
Марина Кудимова

По дому кружусь в ритме Венского вальса —
Компьютер сгорел, наконец-то сломался.
Забегают сразу же по Интернету.
Кудимова — где?
А Кудимовой — нету!
Забудутся френдами все мои блоги,
Покроются пылью слова и предлоги.
Исчезну спокойно — не плача, не споря…
А Минин уж точно — повесится с горя…

Неотвратимое

Возле твоей кровати стоит капкан
вместо домашних тапочек. По стене
мечется тень, как спятивший таракан.
Выключи свет и повернись ко мне.
Ян Шенкман

Я давно готовил момент такой:
в каждом углу приладил большой капкан.
Не шевелись. И с кровати прошу — ни ногой,
даже если хочешь налить воды стакан.

Да, ещё растяжку приладил я на окне,
у дверей вверху повешена тяжкая кладь.
Так что не плачь и повернись ко мне —
буду последнюю книжку тебе читать.

Приспособленность

А правда, в общем, в том заключена,
Что я — частично Лотова жена…
Евгения Вежлян

Такая мне позиция дана,
Что я частично чья-нибудь жена.
Частично — Зевс мой муж, хоть и старик,
За мною плыл по морю, словно бык.
За солью, если кто меня пошлёт,
Тогда, конечно, муж частично — Лот.
Когда ж вода затопит шар земной —
Частично буду Ноевой женой.
А для простых, без комплексов, землян
Официальной буду я Вежлян.

Казус Иртеньева

Да, я ношу футболки потные
И сплю бывает что в пальто.
Не все ж поэты чистоплотные,
Так нас и любят не за то.
Игорь Иртеньев

Поэты — люди беззаботные,
На шмоток наплевать фасон.
В футболках летом ходим потные,
Зимою — даже без кальсон.
Нам сочинять стихи не терпится,
Писать не бросим ни за что.
А то, что пишется нелепица,
Так нас и любят не за то.

Моцарт и заскок

На пару с Моцартом мечтаем
О низких ценах на бензин
И, как эстонец иль грузин,
С акцентом Пушкина читаем.
Иван Клиновой

Мой Моцарт самых честных правил
Свой в доску, в общем-то, мужик.
Читал Гомера, как таджик,
И в казино на зеро ставил.
Он то рыдает, то хохочет,
Когда ему включаю рок.
Есть, правда, в Моцарте заскок —
Мои стихи читать не хочет…

Пизантропия

Вот разве Пизанскую башню
Обратно никак не поднять
. . . .
И только Пизанская башня
Всё падает, падает, пад…
Василий Бетаки

На вечере случай был страшный,
Пришла меня слушать толпа.
При читке Пизанская башня
Внезапно упала, упа…
Нет, я не подвергся атаке…
Запомнит пизанский зоил,
Как строчкой Василий Бетаки
Пизанскую башню свалил.
Мне было отказано в визе
С того злополучного дня,
Поскольку ту башенку в Пизе
Уже не поднять, не подня…

Расчёт

Четыре строчки —
Это слишком много.
Я никогда болтушкой не была.
Роза Виноградова

Три строчки тоже много…
Даже две…
А за одну отшлёпает Вишневский.

Затисканное

Потискать мысль. И бросить. Задремать.
Ирина Машинская

Придумала я складно всё и ловко,
Поскольку мыслей ощущаю рой:
Есть у меня такая мыслеловка,
Которой мысли ловятся порой.
Я их ночами тискаю сурово,
Тру, чтоб блестели, словно медный грош,
И в строчку сунув, закемарю снова…
А ты, читатель, точно не уснёшь…

Кондуктор, не спеши…

Я не один — со мной
И Пушкин, и Есенин.
Последняя слеза ещё не утекла…
Владимир Костров

Я накрепко заснул
В одно из воскресений.
И снилось мне, что пьём шампанское втроём.
Я не один — со мной
И Пушкин, и Есенин.
И матерят меня за творчество моё.

Сиреневый туман —
От сырости дрожу я.
Ещё не утекла последняя слеза.
Сказали, что пою
Под музыку чужую,
Что мне давно пора нажать на тормоза…

Угрожающее

У дверей из подземелья шум и крики,
папарацци наставляют аппараты.
Возвращается Орфей без Эвридики,
на кифаре его струны оборваты.
Наталья Горбаневская

Что Орфей без Эвридики — их дела-то,
но почувствовала как-то на рассвете,
что писать я как-то стала вдохновято,
или, может быть точнее, — вдохноветей.
Пародистам наперёд скажу: «Ребяты,
ох, дождётесь от меня, друзья, расплаты.
Будут книжки ваши мною разорваты,
а потом по белу свету разбросаты…»

Спортивное

Сказать, какой? Но я и сам не знаю,
Удобно ли в таком признаться сне?
Что я в футбол с Ахматовой играю,
Пасую ей, она пасует мне.
Александр Кушнер

Мы как-то раз с Ахматовой играли
В футбол — подумать, что приснилось мне!
А Рейна вместе с Найманом не взяли —
Они страдали горько в стороне.
Недолго пасовался со старушкой,
И получалось всё у нас о’кей.
Я спал в трусах, а завтра лягу с клюшкой,
Чтоб погонять с Андреевной в хоккей.

Тивисексное

Они сливаются в одно:
Неважно — кто там сверху, снизу…
Но кто-то первым всё равно
Включить захочет телевизор!
Елена Исаева

Постельных знаю много схем
И многих видела в постели,
И там не важно — кто под кем,
У голубков иные цели.
И там целуются хотя,
Но люди мы иного культа,
Нам важно не зачать дитя,
А первым тиснуть кнопку пульта.

Рыбалка

Я поймаю золотую рыбку,
И желанья сбудутся твои.
Андрей Дементьев

Удочку закинул, как бывало,
Для тебя всё, милая, смогу!
А поскольку рыбка не клевала,
Я стихи читал на берегу.
Но внезапно волны стали тише,
После — непредвиденный финал:
С вилами мужик из моря вышел
И спросил: Кто рыбу распугал?
Я сказал: Любимая! Родная!
Рыбку хочет — в этом нет греха.
И услышал: Рыбка золотая
Сдохла после третьего стиха.

Покаянно

Хоть я вас больше не люблю,
В душе не мерзость запустенья,
А пламя женского презренья —
Дотла и вы, и всё подряд…
Татьяна Реброва

Да, я покаяться должна,
Хожу с опущенной главою —
В том, что горело под Москвою,
И всё подряд — моя вина.
Молчком сижу и ни гу-гу
Оставила людей без крова
В запале женском я, Реброва!
Что сделает со мной Шойгу?

История с Емелиным

Я географию страны
Учил по винным этикеткам.
Всеволод Емелин

Я на себе деру штаны,
Беду не выразить без мата —
Я географию страны
Учил неправильно, ребята!
Когда бы, не жалея сил,
Я б не травил себя абсентом,
А всё по атласу учил —
То стал бы, может, президентом.

Предупреждающее

…выходит девочка дебильная,
по жёлтой насыпи гуляет.
. . . . .
Ей очень трудно нагибаться.
Она к болту на 28
подносит ключ на 18,
хотя её никто не просит.
Александр Ерёменко

С улыбкою не совсем умильною,
собака лает — ветер носит,
пишу про девочку дебильную,
хоть мпс меня не просит.
С ключами, с оловом для пайки
над жёлтой насыпью витает.
Она отвинчивает гайки,
те, что в головке не хватает.
Ночует в будке трансформаторной,
читает вслух Агату Кристи,
людей встречая речью матерной,
такой, что в роще сохнут листья.
Она вбивает в шпалу гвоздик,
в зубах дымится папироса,
Там маневровый паровозик
порою падает с откоса.
Дебильных девочек косички
частенько вижу за вокзалом.
И я не езжу в электричке —
хожу тихонечко по шпалам.

Дело в мышке

О, файлы удалённые в корзине
меняющего кожу бытия…
Юрий Беликов

Я объясню — зачем тянуть резину,
Терзать недоумением народ,
Что файла удаление в корзину
Практически — компьютерный аборт.
В такие игры с Музою играю,
Талант гублю бездарно, на корню!
Я файлы гениальные — стираю,
А барахло десятки лет храню.
И абы что потом вставляю в книжку,
Аж самому не хочется читать!
Друзья-поэты!
Отнимите мышку,
А иначе великим мне не стать!

Звёздный диалог

…Где ночь подряд в окне барочном
Светилась дурочка-звезда.
Борис Кутенков

Один я шёл дорогой пыльной,
Сквозь мрак неведомо куда.
На небо глянул — там дебильно
Светилась дурочка-звезда.
На сердце — пасмурно и хмуро.
И, обратившись к небесам,
Я закричал: — Звезда, ты — дура!
Звезда хихикнула: А сам?

Мавзолейное

Я почему-то не машу им вслед:
то нет платка, то нет руки свободной,
а то меня во всём народе нет —
смешно сказать: меня-то, всенародной.
Инна Кабыш

Я на трибуне лирики стою,
увы, народу ставшей непригодной.
Пройдут внизу читатели в строю —
махнула б им — да нет руки свободной.
Хотя я всеми признанный поэт,
за многое признательна фортуне,
а что меня во всём народе нет —
да как в нём быть, когда я на трибуне.

Копательное

Клонились к закату январские сутки,
Ломал тишину резкий крик воронья.
Мирза откопал меня, нежный и чуткий.
Потом пригляделся — а это не я.
Ольга Гессен

Я как-то Мирзе прочитала по блату
Поэму, а в ней ну ни слова вранья…
В тот раз почему-то схватил он лопату,
А я закричала, что это не я.
Трагедии этой опустим детали.
И всё же меня напечатал журнал.
Не важно, друзья, где меня откопали,
А главное то — кто меня откопал.

Литературоведное

Без нас решат литературоведы,
кому куда, когда и кто есть ху…
Геннадий Русаков

Решат однажды без пустой бравады,
проверить всех, кто много строк сложил:
у одного отнять его награды,
и передать тому, кто заслужил.
Литературоведы — ваше дело —
сказать всем, сочинявшим чепуху,
кому куда идти во все пределы,
тем кто на гэ…
А с ними кто есть ху…

Галлюциногенное

…Мой друг не ест обычные грибы,
Предпочитая галлюциногены.
Ольга Савельева

Ел кашу,
не чурался пирожка —
Всё ел мой друг, что только дома было.
Но как-то перед ужином дружка
Стихами невзначай перекормила.
Он час послушал — и в нирвану впал,
Приехал врач, колол чего-то в вены.
И ничего с тех пор не ест, нахал,
Предпочитает галлюциногены.

Синяя тетрадь

Вот эта синяя тетрадь
С моими детскими стихами.
Ахматова

По военным тропам истории

В Красноярском краевом конкурсе творческих работ «По военным тропам истории» приняло участие более 200 авторов, в том числе 158 в номинации «Малая проза о войне», 65 авторов—в номинации «Библиотечное издание о войне». Конкурс проводила Красноярская краевая юношеская библиотека. Учредитель конкурса—Министерство культуры Красноярского края. В номинации «Малая проза о войне» организаторы предложили молодым людям написать рассказ, эссе, повесть, новеллу или быль о том, как война повлияла на судьбы членов их семьи, знакомых, друзей семьи, изложить собственные размышления о войнах, моральных категориях «долг», «честь», «отвага».

Анна Баландина, 6 класс, г. Назарово

История семьи

В годы Великой Отечественной войны Назаровский военкомат для защиты Родины призвал 15414 человек. Из них 4898 человек (в том числе 8 девушек) не вернулись домой, погибли в борьбе с фашистами.

Тихо и мирно жила семья Поповых-Роговых в посёлке Тупик Ширинского района. Глава семьи Степан Васильевич, строгий на вид старик, с длинной седой бородой. Его жена—Алёна Даниловна, которая вечно копошилась с многочисленной детворой своей дочери Анастасии Степановны. Шутка ли сказать, три пацана и две девочки, все непоседы. Зять Степан Васильевич вместе со своим старшим сыном работали в леспромхозе. Анастасии Степановне хватало работы дома по хозяйству. Рядом по соседству жили племянники Алёны Даниловны: Василий, Леонид и Иван Поповы. Всё делили поровну: и радость, и горе, помогали друг другу, ходили в гости. Проводили всем посёлком Василия и Леонида в армию, они попали на Дальний Восток. И вот, как гром с небес, 22 июня 1941 года по селу Назарово быстро разнеслась страшная весть: война! Болью отозвалось в каждом сердце это слово. Сразу не поверили тому, что прозвучало по радио, но…

Мирная спокойная жизнь сразу оборвалась. Через несколько дней опустело село. Все мужчины, способные держать оружие, были призваны в Красную Армию. Ушли добровольцами ребята-комсомольцы и некоторые девушки.

Пришла повестка и в семью Роговых. Первым отправился на фронт Степан Васильевич, отец пятерых детей. Проводы были недолгими. Прозвучала команда: «По машинам!», и будущих защитников Родины повезли на станцию Шира, а оттуда на фронт.

Иван поехал проводить отца до пункта назначения, сестёр не взял, но они (Тае в то время было 13, а Рае всего 6 лет) побежали через пшеничное поле, перешли речку и вышли на главную дорогу, по которой должны были проехать машины. Девочки перегородили дорогу, чтобы ещё раз обнять своего отца, как будто предчувствовали, что видят его в последний раз.

Машины остановились. Отец взял на руки младшую и, какое счастье, посадил в машину, Таиску уговаривать не пришлось, она мигом залезла в кузов. Отец сел на футляр с гармошкой, с ней он никогда не расставался, был заядлым гармонистом. Девочки прижались к отцу, не говоря ни слова, доехали до станции. А потом пронзительный гудок товарняка, последние поцелуи, напутствия вперемешку со слезами—и всё…

Похоронка пришла в самом начале войны. Друг Степана Васильевича, который приехал в отпуск по ранению, рассказал, что командиру взвода в одном из боёв разорвало миной грудь, умер он сразу. Слёзы, слёзы, слёзы. Почтальонам, которые приближались к какому-нибудь дому, заглядывали в глаза, определяя по ним: к кому пришла беда. Погибших оплакивал весь посёлок, ведь все друг друга знали, а общее горе ещё больше сблизило людей.

После смерти отца Иван добровольцем уходит на фронт, а вместе с ним и его дядя, тоже Иван, два его старших брата Василий и Леонид уже с первых дней были на передовой.

Притих посёлок. Остались старики, женщины да дети. На женские плечи легла вся забота и ответственность за семью. Леспромхоз закрыли. Надо было как-то выживать. Тяжело пришлось Анастасии Степановне, но помогали родители, девочки, они из детей были старшими. Спасало хозяйство. Пасли корову, заготовляли сено на зиму. Работали в огороде. На рынке продавали молоко, сметану, зелень: щавель, лук-слизун, чеснок. На поле собирали оставшиеся колоски. Шелушили ячмень и овёс, осенью копали картошку, меняли её на жмых. Картошку растирали, добавляли отруби, которые ездили покупать в Назарово, пекли из этой смеси лепёшки. О хлебе только мечтали, так как в месяц на человека давали по 100 граммов муки.

Девочки нанимались работать в другие семьи, более зажиточные по тем временам: копали картошку, работали в огороде, белили избы. Трудно приходилось, но во время войны быстро взрослели дети. Особенно тяжело было тогда, когда от близких не приходили письма с фронта.

В соседнем дворе почтальон, который не торопится постучать в дверь. Кто на этот раз? Долгое время не было вестей от Ивана. Анастасия Степановна все ночи напролёт проплакала в подушку, а сейчас с ужасом смотрит на «вестника смерти»: «Неужели к ней?» Стук в дверь, ноги подкосились, речь отнялась… Не решился почтальон отдать письмо-похоронку на Ивана сестре Анастасии Степановны, принёс к ней, чтобы она как-то подготовила мать. А как? Как матери перенести такую утрату? Опять горе, опять слёзы.

Проходят дни, месяцы ожидания, и вот долгожданное письмо от сына. Оказывается, что он был в окружении, попал в плен к врагу. Дважды пытался совершить побег. Первый раз не удалось. После трёх дней, изнурённый, голодный, он уснул в поле, где его нашли фашисты, травили собаками, вернули в лагерь военнопленных. Но и тогда мысль убежать к своим не покидала Ивана. Как только затянулись раны, он повторил попытку. В этот раз ему повезло. Фашисты оставили машину с ключами возле небольшой группы пленных, в числе которых находился Иван, а сами отправились пьянствовать. Долго думать не пришлось, молча подали друг другу сигнал, прыгнули в машину и «сиганули» к линии фронта. Не сразу спохватились немцы, это спасло наших солдат, которые далеко ушли от погони. Машину бросили, долго бродили по лесу, пока не попали к партизанам, а потом на передовую.

«Жив! Жив!» — не покидала мысль Анастасию Степановну, а страх брал своё, ведь война ещё не закончилась, какие ещё ждут испытания впереди? Алёна Дмитриевна каждый день молила Бога за родных.

Новый удар. От долгих переживаний не выдержало сердце у Степана Васильевича. Он никогда не показывал вида, всё держал в себе. Похороны были скромными. На фронт решили об этом не писать. Мало ли что.

Без главы семьи стало ещё тяжелее. Тая устроилась работать на оросительный канал. Рая, которой только в конце войны исполнилось 10 лет, работала по дому наравне со взрослыми. Таиска придёт с работы и проверит, что и как сделала сестра, да заставит ещё и переделать, если ей что-то не понравится. Раньше полы в доме были не крашены, приходилось скрести их ножом да песком натирать, а потом таскать воду с колодца и смывать. Дело очень трудное, учитывая возраст работницы, а тут ещё и малыши под ногами вертятся, хотят помочь, но только мешают.

Тёплые и добрые отношения в семье помогли выжить и дождаться тех, кто воевал и принёс долгожданную победу. Пришёл с фронта весь в наградах Иван, да не один, привёз с собой невесту с Украины, Марью. Вернулись чуть позже Леонид и Василий Поповы, они остались после Победы на сверхсрочной службе. Василий сманил всю родню во Фрунзе, но тёплый край надолго не задержал. Тоска по родной Сибири взяла своё. Приехали в Назарово, из которого уже не уезжали до конца жизни. Жили, трудились.

Прошло много лет. Никого, кто пережил тяготы войны, уже нет в живых из этой семьи, но память о них живёт и по нынешний день в сердцах последующего поколения. Некоторые думают о молодом поколении, как об испорченном. Но мы умеем ценить и помнить то, что для нас было сделано нашими предками. Я думаю, многие из нас оправдают их доверие. Посмотрите на тех, кто был в Афганистане и Чечне. Ведь там безусые мальчишки совершали такие же подвиги, как их деды и прадеды во время Великой Отечественной войны.

Наталья Болгова, 7 класс, г. Иланский

Мой прадедушка — участник Сталинградской битвы

С каждым годом всё дальше уходят от нас события Великой Отечественной войны. Но героические подвиги советского народа и его воинов в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками никогда не забудутся. Я хочу рассказать о своём прадедушке, участнике Великой Отечественной войны.

Трудное детство и нелёгкая юность выпали моему прадедушке Александру Тимофеевичу Гончарову. Он родился и вырос в Ясной Поляне. Едва мальчику исполнилось девять лет, умер отец. В семье было восемь братьев и сестра. Каково приходилось одной матери! Санька, так звали моего прадедушку, во всём помогал ей. Когда началась Великая Отечественная война, ему не было и восемнадцати. И вот в далёкую деревеньку с красивым названием Ясная Поляна вестовой привёз сразу три повестки из военкомата.

Сборы были недолгие. Положили в котомку всё необходимое, и он пошёл на сборный пункт. Через шесть месяцев, пройдя курс молодого бойца в Новосибирске, сержант, ворошиловский стрелок Александр Тимофеевич Гончаров, а вместе с ним ещё двое молодых ребят отправляются в самое пекло войны — на Сталинградский фронт.

Погрузили их в приспособленные вагоны-теплушки, где стояли печки-буржуйки, можно было в дороге подогреть чай и согреться. В соседнем с ними вагоне ехали девушки-радистки. Часто вечерами из их вагонов доносился смех и пение: «На закате ходит парень возле дома моего…» или любимая всеми «Катюша»…

Состав часто останавливался, пропуская поезда срочного назначения с танками и тяжёлой техникой. И тогда наступали минуты, когда молодые ребята вместе с девушками разводили костёр, варили кашу и пели песни. Чем ближе подъезжали к Волге, тем чаще были налёты вражеских самолётов. Однажды им пришлось стоять целую неделю, так как железная дорога была полностью разрушена, в их паровоз угодил снаряд, и они чудом остались живы. Молодые ребята делали

все ремонтные работы, чтобы помочь очистить путь следования.

Во второй половине августа 1942 года враг особенно усилил наступление. И 23 августа прорвался к Волге севернее Сталинграда. Вражеская авиация ежедневно совершала налёты на город. Подразделение, в котором находился наш прадедушка, со станции Рязано-Уральской железной дороги, проделав многокилометровый марш-бросок, вышло к берегам Волги.

Использовали всё, на чём можно было плыть. Часть воинов разместилось на плоту и на лодках. В утреннем осеннем тумане отчалили от берега. Незамеченными преодолеть Волгу не удалось. Фашисты открыли ураганный огонь. Снаряды рвались слева и справа, спереди и сзади. Повсюду вздымались фонтаны воды. Порой вой снаряда завершался ударом в лодку или плот, и тогда слышались крики раненых и тонущих солдат, вода окрашивалась в красный цвет. И казалось, не будет конца этому грохоту, крикам, треску и стрельбе.

Вдруг под самый угол плота плюхнулся снаряд и раздался взрыв. Плот перевернулся, и молодые бойцы оказались в воде. От холода перехватывало дыхание, шинель намокла и тянула на дно. Прадедушка приложил все усилия, чтобы удержаться на воде. Но Волга широка и глубока. Держаться на воде становилось всё труднее.

Но всё-таки не погиб солдат! Когда его силы уже были на исходе, к нему подплыла лодка. Несколько рук ухватили за шинель и вытащили солдата из воды. Это было тринадцатое октября 1942 года. Противник лютовал. Фашисты ввели в бой дополнительные девять дивизий и начали штурм города. Хотя городом Сталинград назвать уже было трудно, город в виде руин и развалин.

В ходе боёв наш дедушка был тяжело ранен и отправлен в госпиталь на Урал. А потом была Великая Победа под Сталинградом. Несмотря на тяжелейшие условия, защитники Сталинграда выстояли. В конце ноября 1942 года после тщательной подготовки советские войска перешли в наступление и замкнули кольцо окружения вокруг вражеских войск. В окружении оказались 22 дивизии, где было около 330 000 человек во главе с фельдмаршалом Паулюсом, десятки тысяч единиц боевого оружия и техники.

Да, это наши деды и прадеды сражались за Родину. Это о них режиссёр Сергей Бондарчук снял свой знаменитый фильм «Они сражались за Родину». Это они остановили значительные силы немецких войск ценой своей жизни, это они нанесли удар по врагу, это они отвлекали фашистские войска от Кавказа, за которым притаилась дружественная фашистской Германии Турция, которая, в случае успеха Германии под Сталинградом, должна была вступить в войну.

200 дней битвы за Сталинград стали крупнейшим событием в ходе Второй Мировой войны, внёсшим огромный вклад в достижение победы над фашизмом. Сталинград—это больше, чем название, даже больше, чем память. Вот почему мы будем помнить каждого солдата, отдавшего свою здесь жизнь за Родину. Наша благодарность никогда не может быть выражена до конца. О величии мужества и подвигах защитников Сталинграда всегда будет напоминать мемориальный музейный ансамбль на Мамаевом кургане. «И пусть всегда в сердцах живёт глубочайшее уважение ко всем героическим защитников Сталинграда—к живым и павшим, вместе с твёрдой уверенностью, что их величайшие жертвы не были напрасны…»,—сказал бригадный генерал армии США В. Вильсон.

Родина высоко оценила подвиг бесстрашных защитников Сталинграда. Мой прадедушка был награждён орденами и медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За Победу над Германией» и другими.

А жизнь продолжается. После выздоровления Александр Тимофеевич через полгода снова был отправлен на фронт, который по значимости был равен Сталинграду,—это Курская дуга. Сражение под Прохоровкой было последним для моего прадедушки. Тяжелораненый, он долго лечился по военным госпиталям. Вернулся домой в родную Ясную Поляну только в 1947 году, инвалидом 2-ой группы. Прожив ещё несколько лет, он умер. Но я буду всегда помнить его! Его мужество и храбрость. Я прадедушку никогда не забуду!

Евгения Свитенкова, 11 класс, г. Иланский

Мой дед—герой

Осень на Украине выдалась мягкая и тёплая, явно не соответствовавшая суровому времени 1942 года. Весь правый берег Днепра был оккупирован германскими войсками, в том числе и город Ровно, в котором организовалась столица Рейхскомиссариата. На многих улицах стало пустынно: никто из уцелевших жителей не показывался, опасаясь фашистов, патрулировавших весь город.

Близ железной дороги, расположенной на окраине города, построили несколько бараков, тщательно охраняемых немцами. Оттуда слышны шорохи и постоянно перекликающиеся голоса. Здесь держали подростков, которых собирались отправлять куда-то с эшелоном. Их собирали не только из самого города, но и со всех окружных деревень и посёлков.

Никто из мирного населения не предполагал, для чего немцы ставили на учёт семьи, в которых были парни и девушки. Обернулось это тем, что самых крепких стали насильно забирать под конвой, но в каких целях всё это предпринималось—оставалось только догадываться.

В каждом из бараков содержали по пятьдесят, а то и более ребят. Девушек и парней держали отдельно. Сбежать оттуда было невозможно—вся ближайшая территория и сами бараки находились под надзором фашистов.

В одном из бараков, словно пропитанных затхлостью, стояла тишина, нарушаемая лишь изредка переговаривавшимися мальчишками. Кто-то забылся сном, скукожившись на грязной подстилке; кто-то маленьким ножиком, с трудом скрытым от конвойных, вырезал узоры на полусгнивших досках; кто-то просто сидел, зажавшись в угол и уставившись в одну точку. За дни, проведённые

здесь, они обессилели, как физически, так и духовно.

Возле стены примостился долговязый парнишка лет пятнадцати. Нахмурившись, он постоянно прислушивался к тому, что происходило снаружи, иногда отгоняя от лица назойливых мух. Худой рукой он слегка толкнул своего соседа:

— Ванька, могти нас в Германию увезти?

Второй парнишка, постарше и покрепче, не открывая глаз, ответил:

— Чего ты там, Митька, сказал?

— Я говорю, могти нас вон энти проклятые к себе в Германию отправят? А то по что ж мы им?

Паренёк, которого звали Ваней, вздохнул:

— А кто ж их знает, могти и в Германию, а могти и где-то неподалёку отсюда перевоспитывать собираются, чтобы мы потом против своих же шли.

Митя промолчал.

День ото дня прибывали новые эшелоны, в которые погружали пленных подростков, и скоро очередь должна была дойти до барака, где находились Митя с Ваней.

Митя ожидал уже всякого, был готов к тяжёлому труду на чужбине. Однако мальчишка истосковался душой по семье, некогда большой, а теперь состоящей только из трёх человек: матери, младшего брата Ромки, совсем ещё дитяти, и его самого. Отца и старших братьев убили бандеровцы ещё перед началом войны, а две сестры-двойняшки скончались от тяжёлой болезни. Вот и остались они одни. А теперь, когда Митю насильно забрали, как мать будет справляться одна? Семья-то их всегда была работящая да трудолюбивая, но уж быстро сократилась она. Вроде и не лихое дело — два рта прокормить, да разве одному управиться? К тому же и сердце у матери больное, слабое. Да и у кого оно бы слабым не стало, почти зараз пятерых потеряв? А теперь ещё приходится день ото дня жить в мучительном ожидании невесть чего, терпеть унижения от немцев. Многих дееспособных мужчин уж давно либо расстреляли, либо взяли в плен. Это пока фашисты мирное население особо не трогают, но кто ж знает, что там у них на уме? Вот и с Митюшкой, и с другими ребятами, что будет теперь — точно неизвестно.

Ваня, тоже задумавшийся о чём-то своём, глянул на своего товарища и невесело молвил:

— Эк у тебя лицо кислющее, как лимону объелся! Да ты не хмурься, ясно, что не то у нас положение, дабы радоваться, да ты всплакнул бы хочь. Авось полёгшее станет?

— Девка я, что ли, чтобы реветь? Ишо чего удумал!

Ванька пожал плечами:

— Ну, твоё дело. Моё — предложить…

А слёзы пришлось лить многим…

За дверью застучали тяжёлые кованые ботинки. Очевидно, конвойный принёс похлёбку, кроме которой ничем-то больше и не кормили. Митя поморщился:

— Опять эти помои хлебать! Изволили б они откушать её сами!

Вставая, Ваня спокойно заметил:

— Паны мы им, что ли, чтобы немцы нас чем-то лучшим кормили? Эх, Митька, радуйся хоть тому, что вообще кормят. Коли не хочешь с голоду дух испустить, так и помоям рад будешь.

К вечеру пошёл дождь. Ночью, когда все забылись тревожным сном, Митя слушал. Дождь не прекращался и, похоже, собирался идти долго. Размеренный стук капель о влажную землю уводил от тяжёлых дум и успокаивал. Дождь, дождь, дождь… Совсем как летом, да только лето закончилось, как закончилось и мирное время, не так долго продлившееся после гражданской войны. Нескоро этой земле, теперь размываемой небесной влагой, отдохнуть случится. Дождь на время зализывал её рваные раны, но всё не мог потушить огня, охватившего всё её нутро.

Мальчик почти уже уснул, вдруг у противоположной стены раздался едва слышный стук. Привстав, Митя посмотрел в ту сторону, где раздался стук. Проснувшиеся парни, те, что постарше, с недоумением пытались выяснить, что это было. Снаружи какой-то мужчина, очевидно, кто-то из своих, тихим голосом просил подозвать Митю.

Когда мальчик на четвереньках перебрался к той стене и ответил, снаружи сказали:

— Митька, нашёл тебя я таки! А уже и испужаться успел, что увезли вас немцы!

Митя признал родного дядьку. Оказалось, что, прознав про эшелоны, увозящие подростков в Германию (Митины опасения подтвердились), он стал любыми способами искать информацию, чтобы найти своего племянника и помочь ему сбежать.

— Мать твоя извелась уж вся, не мог я на неё смотреть больше. На свой риск сюда пробрался, даром, что эти лиходеи ничего не заметили пока. Тут страсть какая, всё обселили да своими орудиями пообставили, и пройти-то негде! Охранник-то ваш отошёл пока, я и воспользовался моментом, к слову сказать. Это хорошо, что я на железной дороге-то работаю, а то и вообще мог бы сюда не попасть.

— Дядька, что ты всё не о том! Не поторопишься, узрят немцы, и ой как худо придётся!

Дядя Тимофей рассказал, что на эшелон их будут садить завтра, но есть возможность, хоть и очень маленькая, сбежать. Но эта затея могла провалиться, стоит замешкаться на самую малую долю секунды.

Митя передал это всем остальным. Среди парней пошло оживление, которое, однако, быстро пошло на убыль. Похоже, парни и сами до этого продумывали план бегства, но, осознав всю вероятность того, что их убьют, отказались от него.

Кто-то охрипшим голосом сказал:

— Страшно жизню-то терять! И свобода от этой мысли не люба!

Другой, вихрастый парнишка, поддакнул:

— И то верно! К тому же хочь не сейчас пристрелют, дык потом поймают и разделаются! Прятаться-то негде больше. Я вот что скажу: нам уж почти нечего терять. Многие из нас совсем сиротами остались, у других семью в плен взяли, куда нам теперь? Пускай уж везут в Германию! Там хоть какое-то место будет, хочь до смерти работать придётся, а всё одно! Да и кто знает, что там в энтой Германии, могти даже лучше, чем здесь?

Ваня ответил ему:
— Ну-ну, чего разбушевался? Эка видано: в Германии и лучше! Сдурели вы!

Скрыться-то можно на время у дядьки Тимофея, он уж куда-нибудь пристроит, а если придётся, то и в лесу прятаться будем. Порешайте!

Пошли озлобленные споры, и Мите с Ваней то и дело приходилось попридерживать разбушевавшихся ребят, дабы не накликать беды в виде всё пронюхивавших немцев. Но уже было ясно — уговоры бесполезны. Души мальчишек совсем ослабли, чтобы бороться за свою свободу. Кое-кто ещё колебался в нерешимости, но сомневающиеся оказались в большинстве, и это всё решило.

Омрачённый Ваня обратился к Мите:
— Ну, а мы как, тоже остаёмся или бежим? И сам сразу же уверенно ответил:
— Я бегу в любом случае! Пусть хоть пристрелят, пусть тяжко затем придётся, да не люба жизня такая-то, в неволе, Митька?

Теперь и Митя оказался в нерешимости. Он растерянно смотрел на своих товарищей и, слегка запинаясь, сказал:
— Как же так? Мы убежим, а они останутся? Не-е-ет, я на такое дело не согласен… Ты пойми, мне тоже тошно в неволе, да ещё и у этих душегубов, но как же остальные?

Ванька сплюнул от досады и несколько грубовато сказал:
— Да по что ты в благородного решил играть? Не видишь, что ли? Боятся малые! Силком не поведёшь же их за собой. Митька, да прекрати ты это дело! Они сами свой удел выбрали, и от тебя ужо ничего не зависит. Бежишь?

Как плохо быть беспомощным мальчишкой, который ничего не может сделать, чтобы прекратить войну и спасти людей! Митя чуть не плакал от досады, но это действительно было не в его силах. Беспомощными оказались даже взрослые мужчины, которые погибли, и погибнет их ещё немало… А он мог решать только за себя, и то эта возможность оказалась очень ненадёжной, как натянутая нить над пропастью.

Митя отвернулся от своих товарищей. В нынешнем положении они все были товарищи. По несчастью. Мальчик не хотел смотреть на них: на тех, с кем жил на одной улице, на тех, с кем играл когда-то, и на тех, с кем довелось познакомиться только здесь, оказавшись в плену у фашистов.

Дядька Тимофей, ожидавший снаружи, и всё время находившийся в напряжении, с тревогой спросил у племянника:
— Митька, решил? Не тяни время-то, а то всем нам несдобровать!

Парнишка глубоко вздохнул:
— Бегу.

На следующий день рано утром действительно прибыл эшелон. Погода после дождя стояла пасмурная и промозглая, поэтому выгнанные из бараков подростки дрожали от холода. Размытая глина неприятно чавкала под босыми ногами мальчишек и тяжёлыми сапогами немцев. Фашисты то и дело что-то приказывали на своём грубом и непривычном языке.

Один из конвойных, толкнув к вагону ближайшего мальчишку, крикнул:
— Beeilen, Sie sich!

Митя, следовавший сразу за Ванькой, тихо спросил у него:
— Что это значит?

Товарищ передёрнул плечами. Мол, ему-то откуда знать.

Немцы выстроили подростков в шеренги и по очереди стали пропускать в вагоны эшелонов.

Митя слегка дёрнул рубашку Ваньки и глазами указал ему на вагоны эшелона, намекая на то, куда им бежать. Шёпотом он передал ему:
— Когда я второй раз так же дёрну тебя за рубашку, сразу ныряем под вагоны и со всей мочи бежим в лес. Ванька кивком согласился.

А очередь всё приближалась. Митя не видел, сколько ещё человек стояли между Ванькой и эшелоном, но почувствовал, что осталось совсем чуть-чуть.

Когда очередь дошла до Ваньки подниматься по ступенькам, Митя с силой дёрнул своего товарища и сам сразу же юркнул под вагон. Немец, стоявший рядом, не ожидал такого поворота событий и промедлил, прежде чем началась стрельба по беглецам, да и всё перегородивший эшелон был помехой. Среди фашистов поднялась суматоха.

Митя бежал к лесу из последних сил и не знал, бежит ли рядом с ним Ванька. Страх мешал обернуться, а пули свистели то справа, то слева. Сердце бешено колотилось, а мысли наоборот завершили свой ход.

Конвойные не стали догонять сбежавших, хотя стрельба не прекращалась до тех пор, пока Митю и Ваньку совсем не стало видно. Проворность и желание жить помогли. Они спаслись.

Послесловие

Я с гордостью говорю, что мой дед — герой, так как поступок, который он совершил, можно расценивать как подвиг, хотя дед и не был рядовым Великой Отечественной войны. Но он знал её не понаслышке. Это он — тот долговязый пятнадцатилетний мальчишка Митька, выживший в том пекле, не побоявшийся бежать из плена под обстрелом фашистских пуль. Он бежал, чтобы жить на своей земле, чтобы быть нужным своей Родине. Дед настолько был предан ей, что сама мысль о жизни в неволе на чужбине была для него мучительной. И какие тяжёлые периоды ни наступали бы в СССР — периоды репрессий, периоды перестроек и развалов — дедушка никогда не судил правящих страной, он всегда был патриотом своей Родины. Всё это было свято для него.

По-разному в дальнейшем складывалась судьба деда Мити, полно в ней было чёрных полос, полно было горя и разочарований, но он справился с этой ношей. Были и белые, счастливые полосы. Всю жизнь дед честно трудился; была семья, были дети, внуки, для которых дедушка был примером во всём: в своей беззаветной преданности Отчизне, трудолюбии и, несмотря на пережитое во время войны, безграничной доброте и человеколюбии.

Самым значимым праздником деда был День Победы. Этот день был для него вторым днём рождения. Он любил киноленты о войне. На его глазах были слёзы, когда он вновь и вновь просматривал те фильмы, но рассказывал о войне, о том плене и побеге скупо. Деду тяжело было вспоминать про всё это, ведь многие из тех мальчишек и многие, многие другие погибли…

Эта история — одна из нерассказанных, но я хотела, чтобы её услышали и узнали ещё одну тёмную сторону войны. Ту сторону, которую довелось пережить Тихончуку Дмитрию Лукьяновичу — моему дедушке-герою.

«Детское время» на наших часах

Литературный конкурс «Детское время» проводит Союз российских писателей. В нём приняли участие взрослые писатели, пишущие стихи, рассказы, повести и сказки для детей, и школьники, пробующие перо в разных жанрах. Результаты конкурса за 2010 год будут известны в ближайшее время. А пока мы рады познакомить читателей ДиН с самыми интересными, на наш взгляд, сочинениями самых юных его авторов.

Захар Рожин, 9 лет, Якутия

Рогатка

Однажды друг подарил Пете рогатку. Петя очень обрадовался. Перед сном он положил её под подушку.

Петя проснулся рано. Взял рогатку и пошёл погулять в лес у реки. На высоком дереве он увидел гнездо и решил проверить свою меткость. Мальчик прицелился и выстрелил. Гнездо упало. Он подбежал и увидел четырёх птенцов. Их убитая мама-синица лежала рядом. Птенцы громко плакали: «Где мама? Где наша мама?». Их плач услышали другие птицы. Они стали кружить и кричать над разорённым гнездом. Птиц становилось всё больше и больше. Петя испугался и спрятался за кустом. Он увидел, как прилетела большая сова. Она уселась на толстый сук и сказала: «Злой мальчик обидел не только синиц, он обидел всех птиц в этом лесу. Мы улетим отсюда навсегда». Тут все птицы поднялись выше деревьев и полетели большой стаей в сторону гор.

Когда птицы улетели, белки сказали: «Если обидели птиц, значит, обидели и нас». И поскакали вслед за птицами. За ними побежали зайцы, лисы, бурундуки, мышки. Потом Петя увидел стаю волков и большого медведя. Все они уходили вслед за птицами.

Когда все звери ушли, деревья закачались и зашептались между собой: «Как мы будем жить без наших друзей? Если обидели их, значит, обидели и нас». Они стали выдёргивать из земли свои корни и тяжело зашагали прочь. С ними ушли все цветочки и травы, и даже старые пни.

Не успел Петя оглянуться, как остался совсем один. Он посмотрел на реку. Пока по берегам рос лес, в реке было много воды. Без леса ветер стал гнать песок. Всё больше и больше. Целое море песка. Петя стоял посреди пустыни.

Тут Петя проснулся в своей комнате. Взял рогатку и побежал отдавать её маме: «Вдруг я нечаянно лес обижу». И пошёл гулять в лес без рогатки.

Слава Егоров, 9 лет, Якутия

Мамуля

На озерке возле нашего участка утка отложила яйца. На противоположном кочкастом и болотистом берегу, недоступном человеку, она прогуливалась, кормилась, грелась на солнышке. Но не подолгу. Очень скоро её головка мелькала в траве и исчезала. Мало ли забот у матери.

Прошло время. Однажды на лодке мы выбрались на озеро, чтобы посмотреть на её малышей — утят. Тихонько пробирались по краю озера, прячась за высокой травой, и увидели, как семь жёлтеньких птенцов скатились с кочки и, шлёпая крылышками, понеслись над водой. За ними выплыла встревоженная мать и стала плавать перед нами. Присмотревшись, мы увидели, что одно крыло она волочит по воде. Забыв о собственной боли, она носилась перед нами, пытаясь защитить детей. И какому только человеку пришло в голову охотиться на уточку с семью детьми?!

— Не трону я твоих крошек, мамуля, — прошептал я, отправляясь на свой берег.

Поздней осенью мы опять заглянули на то озеро. Семья утки плавала посреди озерка. Увидев нас на берегу, семь взлетели и стали кружить, а мать, кувыркаясь низко над водой, постепенно стала набирать высоту, догонять своих окрепших детей.

— Доброго пути, мамуля! — благословил я мужественную утку.

Виолетта Молчанова, 11 лет, Москва

В горах

Удалось нам с тобою,
Далеко убежать.
Я хочу над горою,
Как орёл, полетать.

Не страшны нам ненастья,
Мы не любим тужить.
Я считаю за счастье
С папой в горы ходить!

Как гусиные лапки
Покраснела лоза,
Запах горечи сладкой
Над горой разлился.

стр. 103
Аврутин Анатолий Юрьевич
Минск, 1948 г. р.

Выпускник исторического факультета БГУ. Работал слесарем вагонного депо, учителем, литконсультантом газеты «Железнодорожник Белоруссии», старшим редактором журнала «Служба быту Беларусі», зам. главного редактора журнала «Салон», главным редактором журнала «Личная жизнь», обозревателем газеты «Советская Белоруссия», редактором отдела культуры, первым заместителем гл. редактора газеты «Белоруссия». С ноября 1998 г.— главный редактор литературно-художественного журнала «Немига литературная». Автор полутора десятков поэтических сборников. Лауреат Международной литературной премии им. Симеона Полоцкого и нескольких всероссийских литературных премий. Награждён медалью Франциска Скорины, Золотой Есенинской медалью, медалями им. М. Шолохова, им. Мусы Джалиля и другими наградами.

стр. 196
Балабанова Юлия
Пермь, 1979 г. р.

Окончила филологический факультет Пермского университета. Пишет стихи и песни, с 2000 года создала в Перми ряд авторских телепрограмм, посвящённых современной авторской песне. Вместе с Сергеем Назаровым вела бардовский проект «Поговорим за жизнь» на радио «Ностальжи». Лауреат нескольких региональных и всероссийских фестивалей авторской песни, в том числе — Грушинского. В 2001-м году в серии «Мемуары Пермского бард-кафе» вышел диск «Ощущение времени». Стихи публиковались в альманахе «Илья».

стр. 81
Балдоржиев Виктор
Забайкалье, 1954 г. р.

Поэт, прозаик, публицист, переводчик. После окончания школы в 1972 году служил в армии: Монголия, Южная Гоби. Учился в Благовещенском государственном педагогическом институте. Работал трактористом, учителем, в редакциях районных газет Забайкалья и Сахалина. Стихотворения и рассказы в разные годы публиковались в журналах «Полярная Звезда», «Дальний Восток», «Сибирь», «Сибирские огни», «Простор». В 2010 году рассказ «Заклинание оборотня» был опубликован, в переводе на немецкий язык, в журнале «Lichtungen». Работы также публиковались в коллективных сборниках «Обгоняя время и жизнь», «Приононье». Перевёл, переложил на русский язык и издал 7 книг бурятских авторов. Член Союза писателей России. В 2008 году Указом Президента России был награждён медалью А. С. Пушкина. С 2005 по 2009 годы возглавлял Читинское отделение Союза писателей России.

стр. 148
Беликов Юрий Александрович
Пермь, 1958 г. р.

Родился в городе Чусовом Пермской области. Поэт, эссеист, публицист. В 1980-м закончил филологический факультет Пермского госуниверситета. Автор трёх поэтических книг — «Пульс птицы», «Прости, Леонардо!» и «Не такой». Обладатель Гран-при и звания «Махатма российских поэтов» (всесоюзный фестиваль поэтических искусств «Цветущий посох», Алтай, 1989), лауреат международного фестиваля театрально-поэтического авангарда «Другие» (2006) и всероссийской литературной премии имени Павла Бажова (2008) за свод избранных стихотворений «Не такой» (московское издательство «Вест-Консалтинг»). В начале 90-х входил в редколлегию журнала «Юность», где учредил и вёл две рубрики — «Письма государственного человека» и «Русская провинция». Основатель трёх поэтических групп — «Времири» (конец 70-х), «Политбюро» (конец 80-х) и «Монарх» (конец 90-х). Лидер движения «дикороссов» и составитель книги «Приют неизвестных поэтов» (Москва, 2002). Работал собкором «Комсомольской правды», «Трибуны», спецкором газеты «Труд». Стихи публиковались в журналах «Юность», «Знамя», «День и ночь», «Арион», «Дети Ра», «Флорида» (США), «Зарубежные записки» (Германия), «Киевская Русь» (Украина»), «Иерусалимский журнал» (Израиль), в антологиях «Самиздат века», «Современная литература народов России», «Антологии русского лиризма. XX век». Награждён Орденом Велимира «Крест поэта». В настоящее время — собкор «Литературной газеты».

стр. 183
Бердников Лев Иосифович
Лос-Анжелес, 1956 г. р.

Выпускник МОПИ. Кандидат филологических наук. Автор историко-публицистических монографий и более 350-ти публикаций в разных странах мира. Член Русского ПЕН-центра и Союза писателей Москвы. Член редколлегии журнала «Новый берег» (Дания). Лауреат Горьковской литературной премии. Почётный дипломант Всеамериканского культурного фонда Булата Окуджавы.

стр. 79
Бондарев Михаил Иванович
Калуга

В 2000-м году окончил Литературный институт имени А. М. Горького (семинар Николая Старшинова, Владимира Кострова). Член Союза писателей России. Автор двух поэтических книг: «Царство снеговиков» (Москва, 2001) и «Дай руку ветру» (Калуга, 2005). Участник фестиваля поэзии и бардовской песни «Оскольская лира» (1994, 2000). Лауреат международного конкурса детской и юношеской художественной и научно-популярной литературы

имени А. Н. Толстого; дипломант фестиваля искусств патриотического воспитания «За нас, за вас и за спецназ». Лауреат первого международного литературного фестиваля «Славянские традиции — 2009» (премия имени «Молодой гвардии», приз зрительских симпатий).

стр. 210 **Бредихин Владимир**
Пенза, 1969 г. р.

Родился в Норильске. Выпускник Инженерно-космического института в Санкт-Петербурге, служил на космодроме Байконур. Издательством «Дрофа-Медиа» выпущены несколько книжек-малышек со стихами для самых маленьких читателей.

стр. 216 **Буйносова Нина Ивановна**
Каменск Уральский, 1945 г. р.

Выпускница факультета журналистики УрГУ им. А. М. Горького. Работала корреспондентом, а затем редактором заводской многотиражки «Синарский трубник»; ответственным секретарём, а затем заместителем редактора городской газеты «Каменский рабочий»; собственным корреспондентом и ответственным секретарём газеты «За власть Советов!» (ныне — «Областная газета»). Многие годы была нештатным автором областных газет «Уральский рабочий» и «На смену!». В сентябре 1991 года основала и до января 2008 года возглавляла газету «Содействие. Член Союза писателей России и Союза журналистов России, лауреат областной и Всесоюзной премий Союза журналистов СССР.

стр. 199 **Вавилов Александр**
Екатеринбург, 1982 г. р.

Поэт. Публиковался в журналах «Дети Ра», «Звезда», «Наш современник», «Нева», «Новая Юность», «Сибирские огни», «Урал» и других. Лауреат премии журнала «Урал». Автор книги «Итальянский ноктюрн».

стр. 181 **Вайс Александра**
Барнаул, 1989 г. р.

Студентка факультета искусств АлтГУ, работает редактором отдела поэзии в журнале «Барнаул Литературный».

стр. 5 **Волобуев Геннадий Тихонович**
Зеленогорск, 1944 г. р.

Выпускник Томского политехнического института по специальности «Разделение изотопов и энергетические установки». Более пяти лет работал на Государственном электрохимическом заводе Минсредмаша. В 1972 г. был избран вторым, затем первым секретарём горкома комсомола (Красноярск-45, ныне — Зеленогорск). С 1976 года избирался на различные партийные и советские должности (в том числе — секретаря горкома КПСС, заместителя председателя исполкома горсовета, заместителя Главы города). Около 25 лет курировал социальную сферу города. В настоящее время возглавляет филиал СибГАУ в Зеленогорске, доцент. Автор нескольких книг и множества публикаций по краеведению.

стр. 211 **Георгиев Сергей Георгиевич**
Екатеринбург, 1954 г. р.

Закончил философский факультет Уральского государственного университета им. А. М. Горького, там же — аспирантуру. Преподавал в Свердловском государственном медицинском институте и Свердловском юридическом институте, работал в редакциях нескольких журналов (в т.ч. «Уральский следопыт» и «Голос») и на киностудии «Ералаш». Рассказы и сказки Сергея Георгиева публиковались в российской и зарубежной периодике, в том числе в журналах: «Мурзилка», «Весёлые картинки», «Вовочка», «Ералаш», «Спокойной ночи, малыши!», «Тошка», «Пампасы», «Жили-были», «Про любовь и не только…», «Урал», «Уральский следопыт», «Москва», «Юность», «Пионер», «Костёр», «Голос», «Ара-Шмель», «Чаян», «Пионер Йук», «Почитай-ка», «Серёжка», «Арбуз», «Миша», «Вожатый», «Колобок», «Колобок и Два жирафа», «МИКС», «Очаг», «Трамвай», «Куча мала», «Семья», «Головастик», «Оракул», «Воин», «Ёжик», «Витаминка», «Филя», «Schrumdirum», «Детский сад» и др.; в еженедельниках «Литературная газета», «Литературная Россия», «Неделя», в «Пионерской правде» и др. газетах; переведены на иностранные языки, а также языки народов России. В кукольных театрах страны поставлены многие пьесы Сергея Георгиева, в том числе: «Лев Петухович», «Кефирная корова», «Шуршики», «Фыр Пугалыч», «Школа начинающего волка» и др. Пьесы «Ход королевским котом», «Кефирная корова» и «Равнение на хвост!» переведены на немецкий язык и неоднократно изданы в Германии (издательство «Hartmann & Stauffaher Verlag», г. Кёльн). Сергей Георгиев — автор сценариев мультфильмов, в том числе многосерийного «Фельдмаршал Пулькин»; автор более 50-ти сюжетов в киножурналах «Фитиль» и «Ералаш».

стр. 110 **Годованец Юрий Анатольевич**
Москва, 1957 г.

Вырос на родине отца в древнерусском и средневековом европейском городе — Каменце-Подольском (Украина). Закончил Исторический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова (отделение истории искусства). Защитил диплом «Начало русской фотографии. Дагерротипный портрет из собрания Государственного Исторического музея». Автор ряда эссе по эстетике фотографии («Ангел фото», «Дни серебра (Письма о дагерротипе)», «Клубни света)». Трудовую деятельность начал в Московском областном краеведческом музее в качестве смотрителя гробницы Патриарха Никона (Воскресенский собор Ново-Иерусалимского монастыря). В Советском Союзе возглавлял службу контроля за вывозом и ввозом художественных ценностей. Имеет опыт законотворческой деятельности (Закон РФ «О вывозе и ввозе культурных ценностей»). Кандидат культурологии. В настоящее время

работает в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия, заместитель начальника отдела по контролю за соблюдением законодательства. Автор поэтических книг «Медовый век» и «Свежая жесть».

стр. 107 **Дюпин Алексей**
Норильск, 1954 г. р.

Алексей Дюпин после школы оказался на «малолетке», затем на «химии». Но, тем не менее, закончил географический факультет railинститута. Работал художником-оформителем, слесарем-ремонтником, трубоукладчиком и т. д. В настоящее время слесарит в ЖКХ. Стихи начал писать в тюрьме от тоски. Биография не очень стандартная для поэта, но и не единственная в своём роде. Вспомним Геннадия Лысенко из Владивостока или омича Аркадия Кутилова. Однако Лысенко успел при жизни издать две книги, Кутилова, пусть и не печатали, но ценители поэзии всё же знали его стихи. Дюпин норильским поэтам не известен. В антологическом сборнике «Гнездовье вьюг», выпущенном в Норильске в 94 году, Дюпина нет. Уверен, попадись его стихи составителям, они бы нашли для них достойное место, даже сами потеснились бы, потому что и Юрий Бариев, и Сергей Лузан хорошо прочувствовали крутые горки, бурелом, и трясину на пути к журнальным и книжным страницам, о которых нынешние пииты даже не подозревают. Они знали толк в стихах и почём фунт лиха, но поэта Дюпина, живущего по соседству, не знали. По досадной случайности он не стал участником бурных поэтических застолий тогдашнего Норильска и пил водку с другим контингентом. В молодости посылал стихи в «Юность», но стандартно-вежливого отказа хватило, чтобы уйти в подполье. Однако не замолчал. Если человек рождён поэтом, стихи будут появляться, не смотря ни на какие трудности, несправедливости и прочие дары судьбы.

Сергей Кузнечихин

стр. 87 **Есин Сергей Николаевич**
Москва, 1935 г. р.

Заочно окончил филологический факультет МГУ (1960). Работал библиотекарем, фотографом, журналистом, лесником, артистом, главным редактором журнала «Кругозор». Первая крупная публикация — повесть «Живём только два раза» (1969), напечатанная под псевдонимом С. Зинин в журнале «Волга». Член СП СССР с 1979. В 1981 окончил заочно Академию общественных наук при ЦК КПСС и в том же году уволился с должности главного редактора литературных вещаний Всесоюзного радио, чтобы полностью посвятить себя литературному труду. С 1987 преподаватель, в 1992–2006 также ректор Литературного института. Член правления (с 1994), секретарь (с 1999) Союза писателей России. Вице-президент Академии российской словесности. Заслуженный деятель искусств РФ. Почётный работник высшего образования РФ. Лауреат Международной премии М. А. Шолохова в области литературы и искусства.

стр. 203 **Ерёменко Маргарита**
Касли, 1982 г. р.

Родилась в городе Минусинске Красноярского края. В 2005 году с отличием окончила факультет журналистики Уральского государственного университета имени А. М. Горького (Екатеринбург) по специальности «Журналистика». С 2006 года — аспирантка кафедры периодической печати УрГУ имени А. М. Горького.Публиковалась в журналах: «Урал», «Уральский следопыт», «Транзит-Урал», «Берега», «Новый ковчег», «Новый век», «11:33», «День и ночь»; электронных журналах «Новая реальность» и «Полутона» («Звательный падеж»). Автор книги стихов «Ри-» (2005), поэтического сборника «Дуэт и соло» (2006). Лауреат Всероссийской литературной премии имени К. Нефёдьева, регионального фестиваля «Уральская лира», регионального музыкально-поэтического фестиваля «Свезар» в номинации «Поэзия», региональных Каслинских поэтических чтений. Участник Всеуральского и Всероссийского совещаний молодых литераторов. Участник литературного клуба «Подводная лодка», поэтического семинара «Северная зона».Организатор ежегодных Региональных Каслинских поэтических чтений (с 2001-го). Руководитель литературного объединения города Касли Челябинской области.

стр. 208 **Калмыков Павел Львович**
Петропавловск Камчатский, 1964 г. р.

Родился на острове Карагинском Камчатской области. Окончил Хабаровский медицинский институт в 1986 году. Работает врачом в Камчатском Краевом онкологическом диспансере. Первая публикация» в газете «Камчатский Комсомолец», 1977 г. Автор повестей, рассказов и сказок для детей, нескольких изданных книг и многочисленных журнальных публикаций.

стр. 69 **Канапьянов Бахытжан Мусаханович**
Казахстан, 1951 г. р.

Казахский поэт, переводчик, сценарист, кинорежиссёр. Почётный гражданин города Кокчетава. Участник ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Член Союза писателей Казахстана, член Правления Союза писателей Казахстана, член казахского и русского ПЕН-клубов, член Союза кинематографистов СНГ и Балтии, в разные годы избирался секретарём правления Союза кинематографистов Казахстана, вице-президентом Ассоциации книгоиздателей и книгораспространителей Казахстана. Главный редактор литературных альманахов «Литературная Азия» и «Литературная Алма-Ата». В юности занимался боксом — чемпион Казахстана среди юниоров в 1968–1969 годах. Окончил Казахский политехнический институт им. В. И. Ленина (1974), затем в течении года (1974–75) работал инженером-исследователем в лаборатории Института металлургии и обогащения

АН КазССР. Параллельно занимался литературным творчеством — в 1975 в журнале «Простор» были опубликованы первые поэтические произведения Бахытжана Канапьянова. В этом же году Олжас Сулейменов приглашает Канапьянова редактором и сценаристом киностудии «Казахфильм», Канапьянов уходит из Института металлургии и отныне полностью посвящает себя творчеству. Поступает на Высшие курсы кинорежиссёров и сценаристов (1977) и Высшие литературные курсы Литинститута им. А. М. Горького (1981–83). За эти годы выходят 3 поэтических сборника Канапьянова — «Ночная прохлада» (1977), «Отражения» (1979) и «Чувство мира» (1982). Через год после окончания Литинститута становиться старшим редактором издательства «Жалын» и литературным консультантом Союза писателей Казахстана (1984–1991). В 1991 распадается СССР, и отменяется цензура, что позволяет Канапьянову открыть первое независимое издательство в Казахстане — «Жибек жолы», президентом которого Канапьянов является по сей день.

стр. 212
Карапетьян Рустам
Красноярск, 1972 г. р.

Учился в Красноярском государственном университете: два курса математический факультет, три последних — психолого-педагогический. Несколько лет посещал литературный семинар А. Лазарчука. Публикации в журналах «День и ночь», «Новый Енисейский литератор» (дипломант журнала за 2007 год в номинации «Поэзия»), «Контрабанда», «Литературный Микс», а также различных местных коллективных сборниках. Член красноярского литературного объединения «Диалог». Победитель конкурса «Король поэтов: реванш» (2008, Красноярск).

стр. 187
Конаков Алексей Андреевич
Санкт-Петербург, 1985 г. р.

Выпускник Санкт-Петербургского Политехнического Института. В настоящее время сотрудник Центрального Котло-Турбинного Института в Санкт-Петербурге. Публикация в журнале «Звезда», № 6, 2003 год. После этого не занимался активно литературой из-за продолжительной тяжёлой болезни.

стр. 71
Косяков Дмитрий Николаевич
Красноярск

Выпускник филологического факультета КГУ, «Школы культурной журналистики» Фонда Михаила Прохорова, арт-критик и искусствовед, журналист, поэт-мелодекламатор, основатель дайв-театра, автор и ведущий дискуссионных клубов, преподаватель, сценарист кино и театра.

стр. 108
Кузнецов Валерий Вениаминович
Красноярск, 1942 г. р.

Поэт, прозаик, переводчик, бард. Книжные публикации: повести «Мы вернёмся осенью» (1986), сборники «Красноярский краевед» (1991), «На поэтическом меридиане» (1998), «Романс листочка на ветру» (2000), «Поэты на берегах Енисея — антология одного стихотворения» (2008).

стр. 167
Кузнецова Зинаида Никифоровна
Зеленогорск

Родилась в Воронежской области, в большой крестьянской семье. В Красноярск-45 (ныне Зеленогорск) приехала в 1966 году. Работала электромонтёром связи на Красноярской ГРЭС-2, затем в течение 37 лет была секретарём высших руководителей города. Творчеством стала заниматься уже в зрелом возрасте, примерно лет в 25–26. Сначала это были стихи. Вышло семь поэтических сборников: «Настроение», «Медовый август», «Ночной звонок», «Память сердца», «Облака», «Куст калины» (1-й том 2-томника), «Забытые острова». Затем начала писать рассказы, в результате вышло три сборника рассказов: «Райские яблоки», «Болеутоляющее средство», «Белый снег, дорожка чёрная…». Многочисленные публикации в газетах, в журналах «День и ночь», «Енисей», «Светлица», «Совершенно открыто», «Молодая гвардия», «Новый Енисейский литератор»; в коллективных сборниках «Поэзия на Енисее», «Поэтессы Енисея», «Антология поэзии закрытых городов», в изданных краевой писательской организацией сборниках «Какие наши годы», «Послание во Вселенную» и многих других. На многие стихи написаны песни. Увлекается живописью, состоялись две выставки в городской библиотеке. Руководитель литературного объединения «Родники» Зеленогорска, составитель и редактор коллективных и авторских сборников городских поэтов. Член союза российских писателей, член правления Красноярской писательской организации.

стр. 190
Кутенков Борис Олегович
Москва, 1989 г. р.

Поэт, литературный критик. Выпускник Литературного института им. А. М. Горького. Автор стихотворного сборника «Пазлы расстояний». Публикации в «Литературной газете», газетах «Литературная Россия», «НГ-экслибрис», журналах «Дети Ра», «День и ночь», «Урал», «Наш современник», «Литературная учёба», «Юность», «Студенческий меридиан» и др. Лауреат и призёр нескольких литературных конкурсов.

стр. 207
Кушнер Александр Семёнович
Санкт-Петербург, 1936 г. р.

Выпускник Педагогического института им. Герцена. Автор книг стихов «Первое впечатление» 1962, «Ночной дозор» 1966, «Приметы» 1969 «Письмо» 1974, «Прямая речь» 1975, «Голос» 1978, «Таврический сад» 1984 и ещё десять книг (последняя «Мелом и углём» 2010). Книги статей о поэзии «Аполлон в снегу» 1991 и «Аполлон в траве» 2006. Книги избранных стихов, в том числе «Стихотворения» 1986, «Избранное» 1997, «Времена не выбирают» 2008, «По эту сторону таинственной черты» 2011.

стр. 105 Макаренков Владимир Викторович
Смоленск, 1960 г. р.

Выпускник Смоленского филиала Московского энергетического института по специальности «Инженер-конструктор-технолог ЭВА». Служил в СА СССР в Туркестанском военном округе на острове Огурчинский в Каспийском море. Работал в смоленском НИИ «Техноприбор», на заводе «Кентавр». С 1994 года — сотрудник уголовно-исполнительной системы России, начальник пресс-службы УФСИН России по Смоленской области, подполковник внутренней службы. Участник Всероссийского семинара писателей СА и ВМФ 1989 года. Член Союза российских писателей с 1998 года, поэт. Автор трёх поэтических сборников: «Беседка» (1992), «На полотне небес» (1997), «Земли касается душа» (2006). Стихи печатались в журналах «Студенческий меридиан», «Русская провинция», «Москва», «Советский воин», «Пограничник», «Преступление и наказание» и других, в еженедельнике «Литературная Россия», в коллективных сборниках и антологиях, в том числе — «Исločь» (Молодая гвардия, 1989), «Смоленская лира 20 века», «Годовые кольца», областной и армейской периодической печати. Подготовлена к изданию поэма «Таборная гора», которую планируется выпустить в издательстве «Смоленская городская типография» в конце 2007 года. С 2004 года — председатель Смоленского отделения Союза российских писателей. Член комиссии по присуждению Всероссийской премии имени А. Т. Твардовского.

стр. 189 Мельницкая Инна Владимировна
Харьков, 1925 г. р.

Поэт, прозаик, переводчик, пишет на русском и украинском языках. Коренная харьковчанка. В течение многих лет преподавала на факультете иностранных языков ХГУ, руководила литературной студией, воспитавшей целый ряд переводчиков иноязычной прозы и поэзии. Произведения И. Мельницкой переводились на белорусский, мордовский, молдавский и итальянский языки, входили в русскоязычные издания США и Израиля. После выхода в свет книг «Когда не было лета» и «Надпись на парапете» Инна Мельницкая была награждена в 1993 году итальянской медалью Ass.Naz.Alpini, а в 1999 году была приглашена британской киностудией Би-Би-Си для участия в создании многосерийного фильма «Война века». За сборник стихов «Опрокинутые облака» автору присуждена премия имени Бориса Слуцкого и звание лауреата конкурса «Русское слово Украины 2002»; за повесть «Украинский эшелон», первую книгу одноимённой дилогии, — международная литературная премия имени Юрия Долгорукого и звание «Харьковчанин года 2005», за повесть «Страна моего детства» — юбилейная премия журнала «Радуга». Поэзия Инны Мельницкой вошла в современную русскую зарубежную антологию, вышедшую при поддержке правительства России.

стр. 84 Миллер Константин
Германия

Родился в Комсомольске-на-Амуре, но вскоре был оттуда вывезен родителями в Новосибирск. Выпускник исторического факультета Педагогического университета. Несколько лет работал в археологических экспедициях, преподавал историю в разных учебных заведениях. Автор нескольких пьес. Публикации на сайте «Проза.ру», в журнале «День и ночь».

стр. 233 Минин Евгений Аронович
Иерусалим, 1949 г. р.

Окончил Витебский станко-инструментальный техникум. Служил в войсках ПВО. После службы в армии окончил Ленинградский политехнический институт и четыре курса Витебского педагогического института. Работал мастером, начальником цеха на Витебском заводе часовых деталей, преподавателем в средней школе.Стихи, пародии и проза печатаются в израильских, американских, европейских, российских журналах и газетах, а также вошли в альманахи и журналы «Знамя», «Дети Ра», «Иерусалимский журнал», «Семья и школа», «Зарубежные записки», «Слово/Word», «День и ночь», «Дон», «День поэзии-2009», «Кольцо „А“», «Побережье», «Галилея», «Литературная учёба», «Литературный Иерусалим», «Флорида», «22», «Литературная газета» — издаваемых в США, России, Израиле и Европе. Ведущий пародийных рубрик в журналах «Литературная учёба» — Россия и «Флорида» — США, а также в газетах «Литературная газета» и «Литературная Россия» — Россия и «Секрет» — Израиль. Издатель альманаха «Иерусалимские голоса», приложений к альманахам «Литературный Иерусалим», издатель и редактор множества поэтических сборников. Автор текстов песен для шести музыкальных альбомов выпущенных российскими студиями грамзаписи. Председатель Иерусалимского отделения СП Израиля, член Союзов Писателей Израиля и Москвы, директор Международного Союза Литераторов и Журналистов (APIA) по Израилю, литературный представитель за рубежом газеты «Информпространство» г. Москва. Лауреат Третьего поэтического фестиваля памяти Поэта — Израиль, лауреат премии Поэт года-2007 Международного Союза Литераторов и Журналистов (APIA).Член судейского корпуса Международной литературной премии Серебряный стрелец 2008, 2009, 2010 гг.

стр. 3 Москалюк Марина Валентиновна
Красноярск, 1960 г. р.

Доктор искусствоведения, профессор, член Союза художников России. Окончила Красноярское училище искусств (фортепианное отделение), Уральский государственный университет (филологический факультет, специальность — искусствоведение). Автор более 100 научных статей, 6-ти монографий, составитель буклетов и каталогов художественных выставок.

стр. 85 **Нечипорук Иван Иванович**
Горловка, 1975 г. р.

Шахтёр с филологическим образованием. Член Международного сообщества писательских союзов — Межрегионального союза писателей Украины и Международного клуба православных литераторов «Омилия». Публиковался в коллективных сборниках, международных альманахах, литературных журналах России и Украины. Автор нескольких поэтических сборников, составитель тематических коллективных сборников и альманахов. В качестве нештатного корреспондента сотрудничает с периодическими изданиями.

стр. 179 **Никулина Наталья Ивановна**
Обнинск, 1955 г. р.

Родилась в Ашхабаде. Работает в газете «Обнинск». Журналист. Публиковалась в журналах «Дети Ра», «Новая Юность», «Футурум АРТ», «Крещатик», «День и ночь», в альманахе «Обнинск литературный», антологии любви С. Кузнечихина «Свойства страсти», на сайтах поэтического альманаха «45-я параллель» и православного журнала «Фома». Постоянная участница фестивалей верлибра. Опубликована в двух итоговых сборниках фестиваля верлибра — «Самое выгодное занятие», «То самое электричество» и предварительного — «Верлибр нового тысячелетия». Соавтор книги свободных стихов «Рождение пространства» и аудиокниги «Узнаю я их по голосам» (проект Валерия Прокошина). Автор четырёх поэтических книг: «Присутствие» (2002), «Среди ясного неба» (2005), «Извёстка с Эдемских садов» (2009), «Нести свет да нести» (2010). Лауреат поэтического конкурса «Перекрёсток» — 2010 г. Член Президиума Международного «Союза писателей XXI века».

стр. 158 **Песковская Мария Юрьевна**
Красноярск

Окончила экономический факультет КГУ. Работала экономистом, рекламным менеджером, копирайтером, журналистом. В 2008 году в издательстве «Астрель» вышла книга Марии Песковской «Там, где два моря». Публикации в журнале «День и ночь».

стр. 226 **Переяслов Николай Владимирович**
Москва, 1954 г. р.

Родился на Украине в Донбассе, в шахтёрском городе Красноармейске. Работал шахтёром, геологом, инструктором туризма на озере Селигер, журналистом в районных газетах, псаломщиком в православном храме, директором областного отделения Литературного фонда России и на других должностях. Окончил заочно Литературный институт им. А. М. Горького по жанру критики. Автор четырёх поэтических, трёх литературоведческих и одной прозаической книг. Печатался в журналах «Москва», «Октябрь», «Дон», «Мы», «Наш современник», «Вопросы истории», «Родина», «Подъём», «Урал», «Дальний Восток», «Русское эхо», «Донбасс», «Роман-журнал, XXI век», «Поэзия», «Проза», «Новая Россия», «Простор» (Алма-Ата), «Вітчизна» (Киев), «Берёзіль» (Харьков), «Север», «Сибирские огни», «Десна», «Нижний Новгород», «Юность», «Час России», «Наша улица», «Литература в школе», «Свет», «Мир библиографии» и других. Постоянный автор критических рубрик и обзоров в газетах «День литературы», «Литературная газета», «Российский писатель» и других. Член Союза писателей России. Член Петровской Академии наук и искусств. Секретарь Правления Союза писателей России. Член Президиума Литературного фонда России. Лауреат Шолоховской премии 2000 года.

стр. 55 **Петриашвили Гурам Мелентьевич**
Киев, 1942 г. р.

Родился в Грузии в семье сельского учителя. В 1964-ом закончил математический факультет Тбилисского университета. А в 1979-ом — кинорежиссёрский факультет Тбилисского театрального института. Автор многих книг стихов, сказок, литературно-критических и публицистических статей. Сказки Гурама Петриашвили переведены на многие языки мира. Режиссёр нескольких художественных и мультипликационных лент. Как актёр снялся в тридцати художественных фильмах. Подготовил свыше 100 телепередач о культуре, художественных и кукольных видеофильмов. Активный участник национально-освободительного движения в Грузии. В 1990 году, когда на выборах в этой стране победил политический блок Звиада Гамсахурдиа, стал депутатом. После свержения Гамсахурдиа эмигрировал в Украину.

стр. 201 **Петрушкин Александр Александрович**
Кыштым, 1972 г. р.

Поэт, организатор литературного процесса. Родился в Челябинске, жил в Озёрске, Лесном, Екатеринбурге. Учредитель Литературно-художественного Фонда «Антология». Инициатор издания журнала «Транзит-Урал». Издатель нескольких книжных серий, организатор литературных конкурсов и фестивалей. Лауреат нескольких литературных премий. Член Высшего творческого совета Международного «Союза писателей XXI века».

стр. 178 **Попова Наталья Николаевна**
Санкт-Петербург, 1986 г. р.

Родилась в г. Зеленогорске (Красноярский край). Окончила с серебряной медалью гимназию и КГПУ им. В. П. Астафьева. Стихи пишет с 2004 года. Публиковалась в журнале «День и ночь», альманахе «Новый Енисейский литератор».

стр. 12 **Саввиных Марина Олеговна**
Красноярск, 1956 г. р.

Выпускница филологического факультета Красноярского педагогического института. Публикации в литературной периодике с 1973 года: журналы «Юность», «Уральский следопыт», «День и ночь», «Сибирские Афины», «Москва», «Дети Ра», «Северная Аврора», «LiterаruS» (Хельсинки), «Побережье»

(Нью-Йорк), «Образы жизни» (Сан-Франциско), в еженедельнике «Обзор» (Чикаго), в коллективных сборниках и антологиях. Автор шести книг стихов, прозы, художественной публицистики. Первый лауреат премии Фонда им. В. П. Астафьева (1994). Член Союза российских писателей. Член Президиума Международного «Союза писателей XXI века». Автор проекта, организатор и первый директор Красноярского литературного лицея. Главный редактор литературного журнала «День и ночь».

стр. 76 **Свиридов Георгий Иванович**
Москва

Секретарь Правления Союза писателей России, почётный председатель Союза русских писателей Восточного Крыма, широко известный поэт и прозаик, классик военно-приключенческой литературы, лауреат десяти литературных премий СССР и России, в т.ч. первый лауреат литературной премии МО СССР, литературной премии КГБ СССР, Всероссийской премии «Сталинград», Большой литературной премии России. Заслуженный работник культуры Российской Федерации, генерал-лейтенант Союза казачьих войск России и Зарубежья, атаман Совета старейшин казачьих войск. Ветеран ВОВ. Автор пяти поэтических сборников, автор около двух десятков романов, которые переведены на языки народов республик СССР и более 30-ти языков мира, от финского до вьетнамского. Более двадцати лет был президентом Федерации бокса СССР.

стр. 166 **Соколов Глеб**
Санкт-Петербург, 1996 г. р.

Учащийся естественнонаучного Аничкова Лицея. Стихи, прозу пишет с семи лет. Увлекается рок-музыкой: играет на гитаре, сочиняет песни. Дебютировал как поэт в журнале «День и ночь» (№ 1, 2011).

стр. 52 **Спектор Владимир**
Луганск (Украина), 1951 г. р.

Лауреат международных литературных премий имени Юрия Долгорукого и Николая Тихонова, премий имени Владимира Даля, Никиты Чернявского и Леонида Первомайского, руководитель Межрегионального Союза писателей Украины, центр которого находится в Луганске, член исполкомов Конгресса литераторов Украины, Международного сообщества писательских союзов (МСПС) и Президиума Международного Литературного фонда. В 90-е годы получил возможность реализовать свои способности на радио и телевидении, где создал сотни авторских программ, став лауреатом региональных журналистских конкурсов. Последнее время совмещает работу в пресс-службе на заводском предприятии с деятельностью собственного корреспондента киевской газеты «Магистраль». Член Национального Союза журналистов Украины, заслуженный журналист республики Беларусь, главный редактор литературного альманаха «Свой вариант». Автор 18 книг стихотворений.

стр. 10 **Степанов Евгений Викторович**
Москва, 1964 г. р.

Выпускник факультета иностранных языков Тамбовского педагогического института, Университета христианского образования в Женеве и аспирантуры факультета журналистики МГУ. Кандидат филологических наук. Литератор, издатель, культуролог. Автор многочисленных журнальных публикаций и нескольких книг стихов и прозы, вышедших в России и за рубежом, а также культурологических монографий. Генеральный директор издательства и типографии «Вест-консалтинг». Издатель и главный редактор журналов «Дети Ра», «Футурум АРТ», «Зинзивер» (Санкт-Петербург), «Другие» и газеты «Литературные известия». Член редколлегии журналов «Крещатик», «Окно» и «Другое полушарие». Член Союза журналистов Москвы, Союза писателей Москвы, Русского ПЕН-центра. Почётный гражданин штата Кентукки (США). Лауреат Отметины имени Отца русского футуризма Д. Д. Бурлюка. Президент Международного «Союза писателей XXI века».

стр. 156 **Тамкович-Лалуа Юлия**
Лимож (Франция)

Родилась в Ставрополе. Публицист, прозаик, эссеист. Публикации в журналах «День и ночь», «Дарьял», «LiteraruS» (Хельсинки).

стр. 46 **Торопцев Александр Петрович**
Москва

Доцент Литературного института им. А. М. Горького, руководитель семинара по Детской литературе. Закончил МИЭМ в 1976 г. работал мастером на радиозаводе, инженером на телецентре в Останкино, заместителем главного редактора в журнале «Школьный вестник» для слепых и слабовидящих детей. В 1994 г. экстерном окончил Литературный институт им. Горького. Писать начал в 1971 г. Первую публикацию получил в 1991 г. Первую книгу — в конце 1994 г. К апрелю 2011 г. вышли из печати: 41 книга историологического содержания для детей и взрослых, 4 книги прозы, а также книга «Лесков и Ницше. Сравнительное описание двух параллельных творческих миров».

стр. 38 **Трефилов Владимир Александрович**
Ижевск

Специалист по религиозной философии, заведующий кафедрой философии и гуманитарных наук Ижевской государственной медицинской академии, кандидат философских наук, доцент, профессор Международной Славянской Академии, соавтор классического университетского учебника «Основы религиоведения» (М.: Высш. школа, 1994, 1998, 2000, 2002, 2004, 2005, 2006, 2008 — 508 с.), поэт, автор книги сонетов «Зерно Огня» (М.: Прометей, 1989), Председатель Союза литераторов Удмуртии, художник, работающий в области живописи и графики, руководитель секции интегральной йоги, имеет международный сертификат преподавателя йоги.

стр. 198 **Трофимов Артём Евгеньевич**
Красноярск, 1995 г. р.

Ученик Красноярской гимназии «Универс» (№ 1) и Литературного лицея. Стипендиат Красноярской краевой именной стипендии им. В. П. Астафьева за достижения в литературном творчестве.

стр. 173 **Ходос Алла**
Сан-Леандро (США), 1958 г. р.

Родилась в Минске. Выпускница филологического факультета БелГУ. Работала воспитателем в школе-интернате для детей-сирот, соцработником в райсобесе, социологом на заводе, учителем в школе. В Америке с 1994 г. Работала в русскоязычной газете «Запад-Восток». Автор нескольких книг стихов и прозы. Публикации в журналах и альманахах «День и ночь», «Terra Nova», «Побережье», на сайтах «Интерлит» и «Другие берега». Редактор литературного альманаха «Образы жизни».

стр. 37 **Хомутов Сергей Адольфович**
Рыбинск, 1950 г. р.

Родился в Рыбинске. Выпускник Литературного института им. А. М. Горького. Работал на предприятиях Рыбинска, в многотиражной, районной и областной газетах, директором издательства «Рыбинское подворье», главным редактором журнала «Русь». Печатается с 1966 г. Автор десяти книг стихов. Член СП СССР с 1987 г.

стр. 45 **Чучилина Римма Петровна**
Красноярск, 1948 г. р.

Родилась в Охотске. Закончила Индустриально-металлургический техникум по специальности «техник-электромехаик». Жила в Ташкенте, играла в народном театре, затем в Красноярске — в театре эстрадных миниатюр «Фиалка». Работала художественным руководителем заводской самодеятельности. В 1986 г. закончила Ленинградскую высшую профсоюзную школу культуры. Автор нескольких изданных книг. Публикации в коллективных сборниках, в альманахе «Новый Енисейский литератор», журнале «День и ночь».

стр. 174 **Шалыгина Нина Александровна**
Красноярск, 1934 г. р.

Выпускница Московского историко-архивного института, Московского института патентоведения и Московского информационного института. Работала архивариусом, руководила Зеленогорским (Красноярского края) отделом культуры. Была заместителем начальника штаба комсомольской стройки «Сибволокно», внештатным корреспондентом красноярских СМИ. Руководила зеленогорским литературно-музыкальным объединением «Родники». Автор 12-ти поэтических сборников и шести книг прозы. Дипломант нескольких краевых творческих конкурсов. Член Союза российских писателей.

стр. 112 **Щербаков Александр Илларионович**
Красноярск, 1939 г. р.

Родился на юге Красноярского края, в селе Таскино, в старообрядческой крестьянской семье. В различных вузах окончил факультеты истории и филологии, экономики и журналистики. Работал учителем, корреспондентом краевых и центральных изданий. Автор двух десятков книг стихотворений, прозы, публицистики. Печатался во многих журналах СССР и России (в «Нашем современнике», «Молодой гвардии», «Огоньке», «Уральском следопыте», «Сибирских огнях» и др.). Заслуженный работник культуры Российской Федерации. Академик Петровской академии наук и искусств.

Редакционная подписка

Журнал выходит шесть раз в год. В отдельных случаях возможен выпуск сдвоенных номеров. Полный комплект журнала за 2011 год стоит 1320 рублей. Возможна подписка на отдельные номера. Стоимость одного номера (252 страницы) — 220 рублей. Номера журнала доставляются подписчику по мере выхода в течение срока подписки. Подписка производится по России, странам ближнего и дальнего зарубежья. Издания доставляются по почте.

Чтобы оформить подписку, необходимо заполнить квитанцию и перечислить в любом отделении Сбербанка на территории РФ стоимость заказа на расчётный счёт ООО «Редакция литературного журнала для семейного чтения „День и ночь“». Оплату можно произвести наличным расчётом в офисе журнала.

По вопросам приобретения журнала обращайтесь по т. 8 (391) 240 10 65,
e-mail: disksid@mail.ru

Извещение

ООО «Редакция литературного журнала для семейного чтения „День и ночь“» ИНН 2463042749 КПП 246301001
р/сч № 40702810500600000186 в Красноярском филиале
ОАО «Банк Москвы» кор/сч 30101810900000000967; БИК 040407967

Ф.И.О.: ______________________________

Адрес для доставки: ______________________________

____

Назначение платежа:	Сумма

Кассир

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т. ч. суммы взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен.

______________________ (подпись плательщика) ______________________ (дата платежа)

Извещение

ООО «Редакция литературного журнала для семейного чтения „День и ночь“» ИНН 2463042749 КПП 246301001
р/сч № 40702810500600000186 в Красноярском филиале
ОАО «Банк Москвы» кор/сч 30101810900000000967; БИК 040407967

Ф.И.О.: ______________________________

Адрес для доставки: ______________________________

____

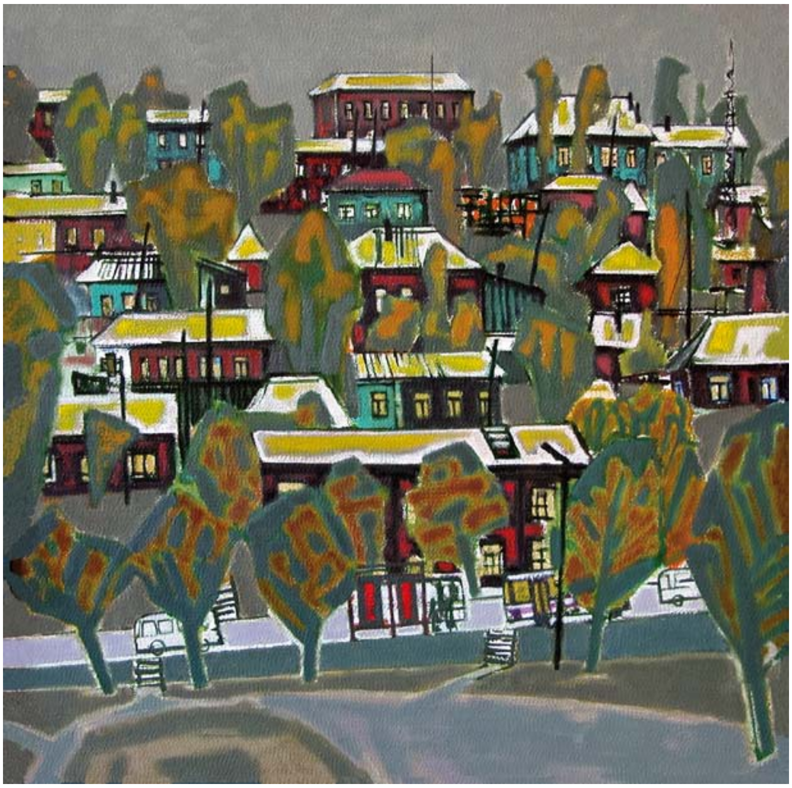
Назначение платежа:	Сумма

Кассир

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т. ч. суммы взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен.

______________________ (подпись плательщика) ______________________ (дата платежа)

Вечерний свет
холст, масло
80 × 80 | 2000 г.



Остановка
холст, масло
70 × 70 | 2006 г.

На страницах номера…

Евгений Степанов о книге Беллы Ахмадулиной «Ни слова о любви»:

«Белла Ахмадулина как подлинный художник всегда сомневалась в своём даре, была не уверена в себе: «Дарила я свой дар ничтожный»; «Пусть не сбылись стихи / за всё меня прости». В этих сомнениях нет ничего удивительного — уверены в своей гениальности, как правило, посредственности».

«Жила-была Белла», с. 10

Публикация наследия выдающегося русского писателя *Николая Душки*:

«Если б здесь ничего не останавливало взгляд, кроме суслика или зайца, пробегающих полем, да шумящей травы, пусть ковыли, или перекати-поле скакало бы перебежками с места на место, тогда было бы легче, было бы не так обидно. Люди куда-то идут, бегут, двигаются, деревнями, городами, странами. И только он один, теперь это ясно, яснее ясного, стоит на обочине, не в стороне, а на обочине этого движения. И никто его не понимает, не чувствует того, что есть внутри него, каких-то миражей, которые можно описать какими-то словами. Может, поэтому ему так одиноко».

«Согрей безгрешных», с. 22

Рассказы *Александра Щербакова* о национальном достоянии — крестьянских орудиях труда.

«Национальный клад», с. 112

Впервые в «ДиН» — лучшие детские писатели России под рубрикой

«В гостях у „Жёлтой гусеницы“», с. 205

Евгений Минин с блистательными пародиями на современных стихотворцев.

«Поэты — будьте бдительны!», с. 233